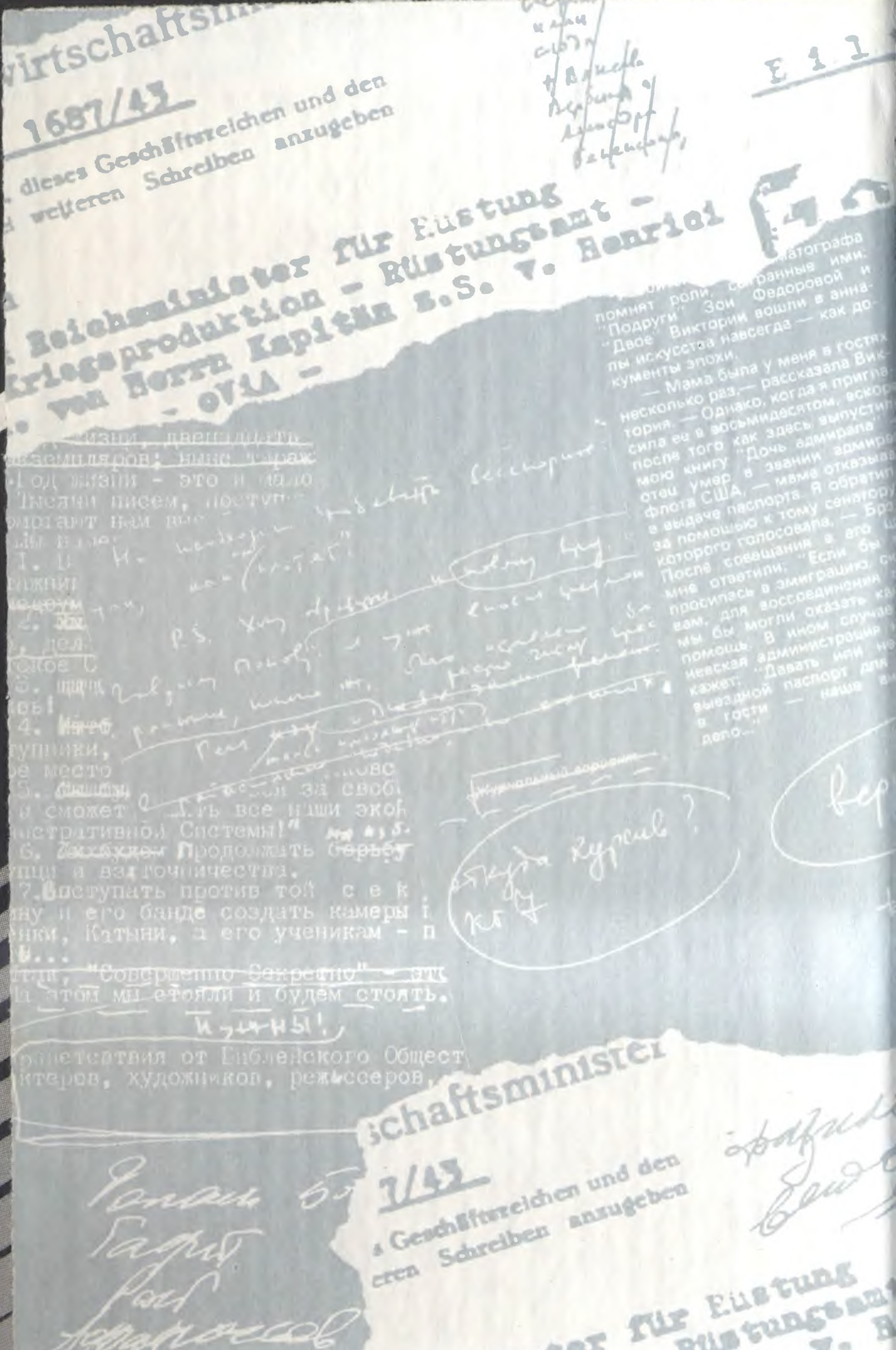
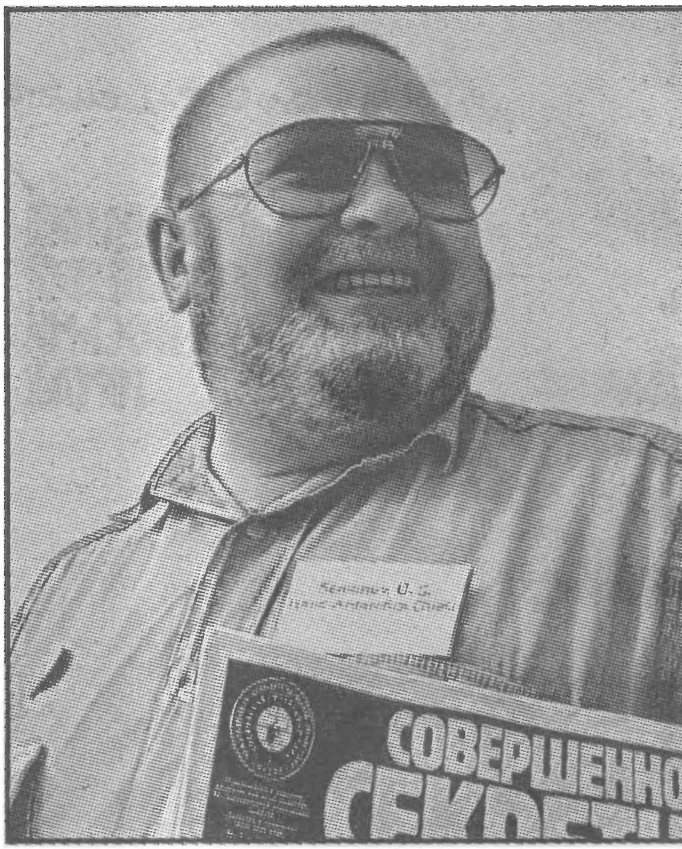
ЮЛИАН
СЕМЕНОВ


wirtschaftsmi
1687/43
dieses Geschäftszeichen und den
weiteren Schreiben anzugeben
Reichsminister für Rüstung
Kriegsproduktion - Rüstungsamt -
von Herrn Kapitän z.S. v. Henrici
- OV1A -
E 1 1
помнят роли, сыгранные ими.
"Подруги" Зои Федоровой и
"Двое" Виктории вошли в анна-
лы искусства навсегда — как до-
кументы эпохи.
— Мама была у меня в гостях
несколько раз,— рассказала Вик-
тория. — Однако, когда я пригла-
сила ее в восьмидесятом, вскор
после того как здесь выпустил
мою книгу "Дочь адмирала"
отец умер в звании адмира
флота США, — маме отказыва
в выдаче паспорта. Я обратил
за помощью к тому сенатору
которого голосовала, — Бро
После совещания в его
мне ответили: "Если бы
просилась в эмиграцию, си
вам, для воссоединения
мы бы могли оказать ка
помощь. В ином случае
невская администрация
кажет: "Давать или не
выездной паспорт для
в гости — наше
дело..."
Год жизни - это и мало
Тысячи писем, поступ
7.Выступать против той сек
ину и его банде создать камеры
енки, Катыни, а его ученикам - п
На этом мы стояли и будем стоять.
приветствия от Библейского Общест
итеров, художников, режиссеров,
schaftsminister
7/43
s Geschäftszeichen und den
eren Schreiben anzugeben
minister für Rüstung
ktion - Rüstungsam
itän z.S. v. H

Антон Семенов

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ВОСЬМИ ТОМАХ



Дюма

Семенов

ТОМ ВОСЬМОЙ

ПОВЕСТИ И НЕНАПИСАННЫЕ РОМАНЫ

Москва
МШК МАДПР, ДЭМ
1994

ББК 84.3Р7
С30

Редакционная коллегия

Л. АННИНСКИЙ
А. БЕНЕНСОН
В. КОЗЬМИН-БОРОЗДИН
О. СУЛЕЙМЕНОВ

Художники

В. БЕЛЯКОВ,
В. ПОМОЧИЛИН,
М. ШЕСТОПАЛ

ISBN 5—85207—019—X (общий)
ISBN 5—85207—041—6

© Ю. Семенов, Т. 8., 1994
© Составление и оформление МШК МАДПР, ДЭМ, 1994

ПЕРЕСЕЧЕНИЯ

1

Неторопливым, вальяжным, а потому начальственным жестом Назаров пригласил Писарева к длинному отполированному до зеркальности столу совещаний, поднялся со своего рабочего места, сел напротив, сдержанно улыбнулся, отчего его сильное лицо со следами загара собралось в морщинки, спросил:

— Что будем пить? Чай? Или попросить кофе?

— Если позволите, кофе.

— Я-то позволю, а вот как доктора?

— На сердце пока не жалуюсь.

— Вам сколько?

— Сорок восемь.

— Не возраст, конечно, но уж пора начинать серьезно думать о здоровье.

— Как начнешь думать, — улыбнулся Писарев, чувствуя, как проходит скованность, охватившая его, только он переступил порог этого большого, в деревянных панелях, кабинета заместителя начальника главка, — так непременно заболеешь.

— И то верно, — так же улыбчиво согласился Назаров и нажал кнопку, вмонтированную в стол рядом с телефонным аппаратом.

Вошла секретарь с блокнотиком в руках. Назаров покачал головой:

— Нет, писать ничего не будем. А вот не могли бы вы сварить кофе: заслуженный артист, — он кивнул на Писарева, — от чая наотрез отказался. Если у нас остался зеленый, узбекский, заварите мне чашку, пожалуйста, только не крепко, чтоб сердце не молотило; эскулапы требуют соблюдать режим, — пояснил Назаров и, сцепив крепкие пальцы, придвинулся к Писареву, опершись локтями о стол.

«И как локти не покатятся?» — успел подумать Писарев. — Стол словно каток».

...Он всегда с почтением относился к тем, кто умел кататься на коньках. Отец как-то привел его в Парк культуры; это было в последнюю предвоенную зиму; гремела музыка: «Утомленное солнце нежно с морем прощалось»; юноши и девушки в байковых курточках и модных тогда, очень широких шароварах катились по льду; звук, который издавали коньки, соприкасаясь со льдом, был хирургическим, жестким.

В раздевалке, взяв напрокат коньки, отец посадил его в кресло, привязал коньки ремнями к ботинкам и сказал:

— Сейчас я надену свои, серебряные, и научу тебя кататься.

Сане Писареву было тогда восемь лет а отцу тридцать два, и он казался ему очень старым, но самым добрым и умным; он очень жалел отца, особенно после того, как папу сняли из-за брата Лени с работы и ему пришлось перейти слесарем на автобазу редакции «Известий».

— Ну, пошли, сына, — сказал отец, забросив на плечо свои ботинки, связанные тесемочками. — Давай руку.

Саня поднялся, хотел было протянуть отцу руку, но нога его подвернулась, и он, не удержавшись, упал, больно ударившись локтем об урну.

— Не беда, — сказал отец, подняв его легко и сильно, — я ушибся о камень, это к завтрему заживет.

— Я об урну, какой же там камень?

— Тоже верно, — легко согласился отец; он всегда легко соглашался с Саней; когда мог, говорил «да»; только раза три в жизни он сказал сыну «нет», и мальчик запомнил «нет» на всю жизнь. Особенно одно. Он часто слышал, как сестра отца говорила бабушке: «Лене уж ничего не поможет, его не восстановят, а Игорь (так звали отца) губит и свою жизнь, и жизнь Саньки! Неужели так трудно написать десять слов, отмежеваться от Лени — он и так подвел всех нас под монастырь, — и все вернется на круги своя, Игоря вернут в институт, тебе не надо будет считать копейки, чтобы дотянуть до получки... Саньку и в лагерь-то не взяли из-за его упрямства!»

— Папа, — сказал Санька перед сном, когда отец сел к нему на диван и приготовился сочинять сказку на ночь, — напиши, чтоб меня взяли в лагерь.

— Нет.

— Почему?

— А что я должен написать? — после долгой паузы поинтересовался отец.

— Десять слов.

— Какие это должны быть слова, ты знаешь?

— Нет.

— Если бы тебе сказали, что твоя мама — воровка, что она уносит из своей библиотеки книги к нам в дом, а ты знаешь, что это неправда, но тебе говорят: «Напиши, что она берет книги, и ты поедешь в пионерлагерь «Пахру», — ты бы написал?

— Нет.

— Молодец. Никогда нельзя писать неправду. Говорить, впрочем, тоже. Иногда, правда, случается, соврет человек, стыдно, конечно, но можно простить, если он не со зла это сделал. А вот если он пишет осознанную неправду, тогда он хуже Бармалея и Барабаса. Тогда он просто-напросто... гадюка.

— Как змея?

— Как змея.

— Живая или мертвая?

— Живая.

— С жалом?

Отец высунул язык и сказал:

— Вот с таким!

Санька долго смеялся, а отец гладил его по лицу, и глаза его стали отчего-то очень большими, почти без зрачков.

— Запомни, сына, — сказал он, закончив сказку, — легче всего сказать «да», только есть у нас пословица: «Доброта хуже воровства». Это долго объяснять, но это ты запомни, как «дважды два», — сгодится, когда вырастешь. Очень трудно говорить «нет»; станут обвинять: «упрямый», «своенравный», обижать станут и обижаться, но, если ты знаешь, что прав, иди на все, но ответь «нет». Пройдет время, и незнакомые люди скажут тебе за это спасибо. Большая подлость всегда начинается с маленькой, безобидной лжи.

...Второй раз отец сказал «нет», когда Саня попросил заступиться: его лупили Беркут из второго подъезда и Гога, сосед по парте.

— Почему? — спросил сын.

— Потому что ты сам должен уметь давать сдачи.

— Но они ж сильней меня!

— Ну и прекрасно! Неужели ты станешь драться с теми, кто тебя слабее? Это не драка, а избиение. Если они сильней и тем не менее бьют вдвоем, значит, они трусы. А с трусами расправляются. И не бойся синяка: он проходит. А вот ощущение собственной слабости, страх, неуверенность не пройдут никогда, и ты сделаешься несчастным, маленьким мышонком, а не человеком...

...Отец тогда, в Парке Горького, вывел Саньку на лед, но мальчик никак не мог устоять на коньках; он то и дело падал, ноги тряслись, разъезжались, отец хохотал, показывал, как надо катиться, расслабив тело. Санька попробовал и снова растянулся, набив себе шишку на лбу. Это было до того обидно, что он заплакал, а отец все равно весело смеялся, и этого Санька не мог перенести: «Какой же ты, папа, жестокий!» И пополз по льду, а мимо него проносились конькобежцы, и звук металла, режущего лед, был страшным и близким.

Отец поднял его на руки, стал целовать, и снова глаза его сделались какими-то по-особенному большими, и Санька, уткнувшись ему носом в шею, прошептал: «Вы все умеете скользить, а я так и останусь на всю жизнь неуклюжим».

И остался. Но с тех пор сохранил какое-то особенное испуганно-восторженное отношение к конькобежцам, даже все соревнования посещал, силясь понять тайну устойчивости человека на зеркале.

...— Я думаю, Александр Игоревич, — заговорил Назаров, — что разговор наш будет посвящен тому, что вы в своем письме обозначили «генеральной темой». Письмо ваше ставит интересный вопрос, но кое в чем вы перегибаете палку: излишний максимализм в век культурной и научно-технической революции чреват... как бы точнее определить... неоправданным риском, что ли...

Писарев отчего-то явственно увидел лицо отца, услыхал его «нет» и заметил:

— Тот ничего не достигнет, кто не рискует, Станислав Федорович...

Назаров чуть покачал головою, мягко поправил:

— Тот ничего не достигнет, кто не ошибается, — с такого рода формулировкой я готов согласиться. Риск и ошибка суть понятия полярные. От ошибок никто не застрахован, да и поправить ее можно загодя: никогда не поздно просчитать исходные, что ли, данные ошибки. А риск внезапен; экспромт, а не спасительная логика.

Вы, ваша творческая группа — это малая общность, которая обращается со сцены к большой общности, так стоит ли рисковать в такого рода деле? Будь вы гимнастом — куда еще ни шло, но и там я бы подумал: а ну, неподготовленный толком, грохнетесь и позвоночник сломаете? Каково тогда будет вашему тренеру смотреть в глаза товарищам?

— Искусство не спорт...

— Почему? — искренне удивился Назаров. — Разве катание на льду не искусство? Или возьмите футбольный матч на первенство мира, Франция и Западная Германия. В этом поединке было что-то гладиаторское, а разве можно отказать гладиаторам в праве считать себя артистами?

Писарев улыбнулся:

— Только у нас вместо львов критики...

— И мы еще покоя не даем, — так же улыбчиво добавил Назаров и еще ближе заскользил локтями к Писареву. — Словом, ваши драчливые идеи мне нравятся. Я, конечно, не всесилен, но, сдается, руководство главка поддержит меня. Сформулируйте поточнее темы, которые вы хотели бы вынести на подмостки экспериментальной мастерской.

Писарев собрался было отвечать (он вообще-то говорил сумбурно, увлекаясь, поэтому несколько раз дома репетировал сегодняшнюю беседу), как вошла секретарь с подносом; поставила кофе, чай, сухое печенье и конфеты; обратилась к Писареву:

— Только сгущенного молока в моих запасах не оказалось.

— Спасибо, но я как раз пью черный...

Назаров легко глянул на большие часы, стоявшие в углу кабинета, и Писарев сразу же понял, что времени у него в обрез.

«Только б успеть все выложить, — подумал он, — и не переторопиться».

Он отчего-то вспомнил, как мама учила его: «Прежде чем сказать, проведи языком по небу пять раз, ты ведь всегда бухаешь, что думаешь, нельзя так».

А отец сердился: «Если человек боится говорить то, что думает, значит, он дрянь! Из таких получаются предатели».

Эта разность точек зрения мучила мальчика: когда он поступал так, как советовала мама, его лупили, над ним смеялись: «Трус». Попробовал жить по-отцовски

чуть не исключили из комсомола в десятом классе.

Поэтому, рассказав своим сыновьям, Васе и Димке, про то, как ему приходилось выбирать между отцом и матерью, Писарев посоветовал: «Вы, парни, говорите то, что думаете; это верно, что из молчунов получаются изменники чаще, чем из тех, кто костит все направо и налево; но все-таки прежде, чем произносить слово правды, проведите языком по небу раза три-четыре».

Вася, старший, студент уже, посмотрел на младшего брата (они тогда сидели в кафе-мороженое, это у них был воскресный ритуал с тех пор, как Писарев расстался с Лидой, их матерью, и жил отдельно, сняв однокомнатную квартиру у Потапчука, уехавшего в загранкомандировку на три года) и сказал:

— Нам тоже трудно выбирать, па.

Писарев хотел ответить, что не он в этом виноват, но потом сказал себе, что и он виноват, поэтому промолчал и, чувствуя, что выглядит в глазах сыновей жалким, начал делать жесты официантке; та подошла быстро, узнав, видимо, его по недавнему телеспектаклю, и он стал излишне экзальтированно выспрашивать ее про какое-то особое ассорти, и тогда Вася положил свою крепкую ладонь на его колено и сказал:

— Па, ты только не сердись, ладно?

...Назаров придвинул к себе маленький блокнот, лежавший возле телефона, раскрыл его, достал ручку, приготовился записывать; на часы больше не смотрел.

— Мы хотели бы, во-первых, сделать представление, очень красочное, некий мюзикл, «Министерство сердечности»... О том, как важно нам всем жить с открытой душой, как горько, когда сердечность исчезает из человеческого общения...

— Хорошая мысль, — отметив что-то в своем блокнотике, согласился Назаров, — только за создание нового министерства вас не похвалят, и так их слишком у нас много, нарушать намерены принцип режима экономии?

— «Центр сердечности» — еще хуже, — возразил увлеченно Писарев. — Вроде как «онкологический центр»...

— Ну, это не мне решать, а вам, я только высказываю соображение; повторяю: идея хорошая, добрая, я «за».

— Второе представление, над которым мы много думали, называется пока что условно: «Урок политеса». Я, знаете, до сих пор не могу себе простить, что в букинистический сдал книгу «Правила хорошего тона»..

Студент был, денег не хватало на билет, ехали на море нашей коммуной отдыхать...

— Я помню это издание, — откинувшись на спинку стула, сказал Назаров. — Мы изучали эстетику, и наш профессор советовал нам посмотреть именно эту книгу. Мы тогда, — усмехнулся он, — должны были как раз драконить этот хороший тон... Крутые были времена, что поделаешь... Тема тоже интересная, нравится мне все это... Я только не очень представляю, как урок политеса можно сделать зрелищем... Если нет интриги, будут ли смотреть? Впрочем, это опять-таки ваша забота, вы художники, вам и решать...

— Это будет очень сюжетно, Станислав Федорович, поверьте, я не умею рассказывать замысел, мне легче показать все это на сцене, с музыкой, кинопроекцией; зрелище, особенно массовое, всегда сюжетно...

— Уговорили, — легко и тактично поторопил Назаров, — согласен.

— У нас множество планов, — заторопился Писарев, но, вовремя спохватившись, провел языком по небу два раза и, кашлянув, заключил: — Политес не в том, чтобы соблюдать внешние правила хорошего тона, это мелко; политес — если хотите — можно также подтвердить неким учреждением типа «Министерства красоты»... — Но, угадав смешинку в глазах Назарова за мгновение перед тем, как она вспыхнула, легко отыграл: — Штатное расписание, как понимаю, горплан нам не утвердит, так что поищем варианты. И, наконец, последнее из того, что мы считаем первоочередным, столь же важным, как и первые две задумки, — спектакль под названием «Вехи»...

— Название не годится, наши горячие головы вас обвиняют в устряловщине, «смене вех» и во всем таком прочем! И так многих подкусываете в ваших постановках, думаете, мало у вас врагов из числа перестраховщиков?

— Но это же вехи нашей истории, Станислав Федорович!

— Назовите «этапы». Или «часы». «Звездные часы», наконец, никто не упрекнет вас в подражании Цвейгу.

— Еще как упрекнут...

— Опять-таки я высказал свою точку зрения, вы вправе не согласиться со мною, Александр Игоревич... В конечном счете это вопрос формы... Какие периоды истории намерены осветить?

— Начиная с Киевской Руси и до наших дней.

— Думаете уместить в одно представление?

— Нет, мы хотим попробовать сделать спектакль, который бы распадался на три представления, вроде бы трехсерийный, по три вечера.

— Любопытно... Вы никак не тронете проблему борьбы за мир?

Писарев неожиданно для себя заскользил локтями к Назарову и чуть что не выкрикнул:

— Так вот ведь и название, Станислав Федорович! Для всего предприятия! «Концепция мира»! Разве нет?!

— Здорово, — согласился Назаров, — просто здорово.

Он снял трубку телефона, предварительно нажав одну из кнопочек на столе, — видимо, включился в сеть, набрал номер и сказал:

— Кирилл Владимирович, добрый день... У меня в гостях Александр Игоревич Писарев... Да... Именно по поводу его письма. У него очень, с моей точки зрения, интересная идея с созданием нового театра массовых зрелищ... Кто у нас этим занимается? Кто? — Назаров быстро пометил что-то в своем блокноте. — Очень хорошо. Вот вы его и попросите подготовить решение, а письмо товарища Писарева я перешлю вам. Хорошо... Да нет, еще не выносили... Просто-напросто плохо проработано, поверхностно... Как бы сказал Александр Игоревич, бессердечно... Да... Пусть посмотрят еще раз, тогда и примем решение... Хорошо, спасибо...

Он положил трубку на рычаг; лицо его чуть расслабилось, потеплело, когда он увидел сияющие глаза Писарева, хотел что-то сказать, но в это время раздался звонок.

— Если бы не мог отключаться, — заметил он, снимая трубку, — о работе не было б и речи, звонки, как в справочном бюро.

Глянув еще раз на часы, он сказал:

— Слушаю.

Прикрыл трубку ладонью, извиняюще шепнул:

— Дочка...

Писарев удивился той перемене, которая произошла в лице Назарова: крепко рубленные морщины разошлись, стало заметно, как он стар, — мелкие, сетчатые морщинки на висках, запавшие, усталые глаза, цыплячьи — от постоянного напряжения — продольные складочки на шее.

— Да, Ариночка, да, маленькая... Нет, нет, пара минут у меня есть... Да что ты говоришь?! Ну, поздравляю тебя... Только осторожно, Аришка... Ну, об этом мы еще поговорим. Мы с мамой ждем тебя сегодня. До свидания, Арина...

Он положил трубку, выключил аппарат из сети:

— У Арины очередь на «Жигули» подошла, вчера купила, сейчас номер дали. Она у меня хоть молоденькая совсем, но послезавтра защищается, бытовая химия, чертовски интересно и нужно. Так вот, Александр Игоревич, вашим вопросом, как вы слыхали, займется мой коллега, зовут его Кирилл Владимирович... Возьмите у Аллы Лукиничны — она нас кофе угощала, мой секретарь, мы вместе двадцать лет работаем — номер его телефона и позвоните ему сразу же, быка надо брать за рога, наше дело чиновное, закрутит по совещаниям, не ровен час забудет. И — приглашайте на премьеру.

В приемной было полно народу.

Алла Лукинична улыбчиво покачала головой:

— Говорили, что на десять минут... Все вы такие, режиссеры да артисты...

Она пропустила к Назарову трех человек из горснаба, сказала ожидающим, что все, так или иначе, смогут посетить Станислава Федоровича до обеда, потом обернулась к Писареву:

— Ну, все хорошо?

— По-моему, замечательно, — ответил он. — Простотаки лучше и быть не может. Станислав Федорович велел мне от вас позвонить Кириллу Владимировичу...

— Звоните, — ответила секретарь, — вот по крайнему телефону, это наш местный, прямой, три-пятнадцать.

Кирилл Владимирович звонку Писарева обрадовался, спросил о здоровье, планах, посетовал на сумасшедшую погоду и сказал, что через пару дней с Писаревым свяжутся, когда проект решения о создании нового зрелища обретет форму приказа.

...Готовить приказ по театру было поручено не кому-нибудь, а Василию Викторовичу Грущину, который знал Писарева с институтских времен; режиссер из него не вышел, он поначалу работал в кинофикации, потом начал пописывать о театре; защитил диссертацию и, наконец, осел в управлении в должности главного консультанта...

2

Труппа репетировала в бывшем складе: начальник отдела нежилых помещений района Трофим Германович Лаптев оказался тем юным «спецом» по кличке Трюфель, который жил в одной квартире с Писаревым; они занимали комнату возле ванной, а родители Трюфеля получили чулан возле кухни.

Трюфель был на девять лет старше Писарева и учился в военной «спецухе» возле Бородинского моста; носил клеши и гимнастерку с узенькими погончиками. Ребята преклонялись перед ним; в сорок третьем он ушел на фронт, семнадцатилетним; прощаясь, подарил пацанам кисет с махоркой и три пакетика папиросной бумаги; вернулся — капитаном уже — в сорок пятом, отправляясь на Дальний Восток громить японцев.

Сане Писареву тогда жилось тяжко, мать работала посудомойкой в эвакогоспитале, спасало то, что главврач позволял брать с кухни пюре и капусту в судке; Лаптев пришел к ним в комнату и, взъерошив Саньке голову, положил на стол трофейную «лейку» и упаковку шоколада.

— Перебьешься, — сказал он, — только счастье бесконечное, а всякое горе свой срок знает.

С тех пор они не виделись.

Когда Писарев, взяв двух актрис, много снимавшихся в кино, и композитора, песни которого знают и любят, пришел на прием просить хоть какое-нибудь помещение в аренду для его труппы, Лаптев, щуря маленькие, слезящиеся, прозрачно-голубые глаза-буравчики (глянет — как прошьет, поэтому глаза поднимал редко, боясь, видимо, понять все то, что про него, замухрыжистого, в стоптанных ботиночках и кургузом пиджачке не по росту, думали), выслушал просьбу и, резанув Писарева глазами, ответил уныло:

— М-да, вот штука-то кака...

Писарев тронул локтем актрису Киру; та, подвинувшись к Лаптеву так, чтобы он близко видел и лицо ее, и вырез на платье, и ощущал аромат горьких духов, повела свою заранее расписанную роль:

— Трофим Германович, станьте нашим другом и советчиком! Мы обещаем вам, что наш театр сделается самым массовым в районе, самым добрым, самым нужным людям!

Вступил композитор:

— Молодежи негде проводить вечера; танцзалов у них нет, кафе тоже, пивных тем более, вот они и разбредаются по подъездам и подворотням, хулиганство, драки, пьянство. Театр станет неким магнитом, и нужно для этого всего-навсего позволить труппе арендовать пустой склад в Опалихинском...

— М-да, — снова повторил Лаптев и приготовился слушать вторую актрису, Клару.

Та стала говорить ему о трагическом величии подмостков, о Станиславском, о том, как тот начинал; Лаптев вертел в плоских пальцах огрызок химического карандаша, согласно кивал головою, потом, откровенно зевнув, откинулся на спинку скрипучего канцелярского стула и, прикрыв ладонью рот, сказал:

— Поскольку театр начинается с вешалки, во-первых; поскольку вы не можете работать без кулис и подмостков, во-вторых; и, наконец, в-третьих, поскольку актерам нужны гримуборные, склад на Опалихинском вам никто не даст.

Писарев посмотрел на коллег, вытаращив глаза (они у него — это от отца — делались большими, вываливающимися, что ли, когда он удивлялся чему-то или радовался; редко — если был обижен), потом захлопал в ладоши:

— Господи, живой! Он живой, люди!

— Я живой, — ответил Лаптев, — а ты — Санька, что ль?

— Ну да, — ответила Кира. — Александр Игоревич...

— А я Трюфель, — улыбнулся Лаптев, поднял глаза на Писарева и вдруг замер весь, съежившись оттого, что испугался: а вдруг тот не вспомнит. Тогда вся его игра (он к ней загодя готовился, зная что на прием записался Александр Писарев, заслуженный артист и лауреат) обернется жалкой и не понятной никому клоунадой, и он представил вдруг себя со стороны, а дальше и не знал, про что думать, пока Писарев не поднялся медленно, обошел стол и потянулся к Лаптеву, словно к старенькому отцу, и они обнялись и начали молча и судорожно — что со стороны казалось ужасно деловитым — тискать друг друга и ерошить волосы.

Кира заплакала, а композитор и Клара отошли к окну.

— Ну, вот что, — сказал наконец Лаптев чужим голосом, — я тут на всякий случай в шашлычной заказал

столик у Жоры, пошли, там и поговорим, я ж нарочно прием на пять тридцать назначил, чтоб вы были последними, приглашай друзей, Саня, милости прошу...

Как и большинство людей, влюбленных в искусство, Лаптев был невыразимо горд тем, что Писарева он называл «Саня», был чуть снисходителен к нему, когда представлял в шашлычной Жоре; после первой рюмки заговорил о театре Максимова; заботливо и чуть старомодно угощал актрис, наблюдая, чтобы у них были самые прожаристые куски мяса; загрустил, когда композитор, так и не выпив ни рюмки, поднялся из-за стола — «концерт, нельзя опаздывать», «да как же, только сейчас чебуреки сделают, Жора сам в честь Сани решил приготовить, он мастер по этому делу», и чуть не до слез обиделся, заметив, что Писарев полез за деньгами, расплачиваться.

— Сань, так не надо, я ж заранее все подготовил, — сказал он тихо, — для тебя это просто вечер, а я как словно озону надышался...

Потом, отправив актрис по домам, они ходили по городу чуть что не до утра; Лаптев рассказывал про себя; в шестидесятом демобилизовали, полковник в отставке; дочь замужем, на Шпицбергене, надо покупать кооператив; старуха, да-да, старуха, пятьдесят девять, она ж на два года старше меня, хворает, ревновать стала, как задержусь, так, значит, у баб, а мне б только до дивана и телевизор включить заместо массажа, говорят, как журчат, если не вслушиваться, то и заснешь спокойно, без димедролу, пенсия богатая, двести пятьдесят, и старуха сто десять, но без работы нельзя, погибель, думы грызут, все тебе не то, все не туда, а когда сам в деле, так мир чище видишь, понимаешь две стороны медали, не только на дядю, что сверху, гневаешься, но и на себя самого, на всех нас, тоже хороши; Обломов, Сань, не в Америке родился и не при нашем строе, так что, коли все на шустрых валить, и вовсе замшеем, на себя надобно оборачиваться, как-никак, мы сила, с нас и спрос; а ты изменился, знаешь, вроде б даже помолодел; нет, правда, мы ж не женщины, чтоб комплиментировать, в тебе, мальчишке, больше старика было, чем сейчас; я понимаю, любимое дело всему голова, как песню поешь каждый день с утра; знаю, и про папу твоего знаю и про матушку, я ж в нашу квартиру заходил, покуда тетя Фрося из девятой комнаты не представилась, ей же телефон поставили за

два года до смерти как ветерану, так она всех обзванивала, все про всех знала, старушка, пусть ей земля будет пухом; она на тебя не сердилась — они ж, старухи, добрые, — говорила, что ты ей часто звонишь, а мне-то известно, что ты и номера ее не знал, два раза торт принес, от твоего имени записочки писал, ну чего ты, Сань, ну, не надо, извини, ей-богу...

...Склад писаревской труппе дали через две недели, Лаптев провел решение рекордно быстро, причем сумел сделать так, что тарной базе, примыкавшей к складу, предложили другое помещение, и Писареву, таким образом, представилась возможность переоборудовать базу под мастерские, гримуборные и костюмерную. Молодежь района помогла отремонтировать склад и базу, выходили, как на субботник, два месяца кряду; программа была вчерне подготовлена, но все дело, как всегда, уперлось в формалистику; нужно было получить официальное разрешение на название театра, утвердить Писарева главным режиссером и выбить штатные единицы — директора, администратора и художника.

И вот сейчас, выскочив из такси, Писарев бегом пересек двор, прошел сквозь крошечный вестибюль, задрапированный ситцем так ловко, что казалось — муар или атлас, черт не разберет, — толкнул ногою тугую дверь, обитую войлоком, и оказался на сцене.

Здесь, на табуретках, столах и стульях, на всем небогатом пока еще реквизите, принесенном из домов, устроилась вся труппа: и профессионалы, репетировавшие у Писарева в выходные дни, и студенты театральных институтов, тайно посещавшие его занятия, и самодеятельные артисты.

Было очень тихо; все знали, что решается их судьба; собравшихся освещала маленькая сороковаттная лампа, болтавшаяся под потолком; возле Киры сидел Лаптев; он теперь дневал и ночевал в «театральном складе».

— Ура, — тихо сказал Лаптев, первым увидав Писарева. — Победа, Сань?!

— Но какая! — закричал Писарев.

...Никто так быстро не умеет обживать новое место, как актеры. Чуть еще только наметилась какая-то общность единомышленников, как появляется девушка, влюбленная в искусство, которая может все, только не может играть, и она понимает это, и это не мешает ей отдавать всю себя людям сцены; она достает стаканы, бу-

мажные цветы, пальто девятнадцатого века, набор люстр, приводит на репетицию известного актера или режиссера, едет к композитору и легко уговаривает его написать музыку — бесплатно, ради нового театра (которого еще нет, но ведь он есть, пойдите, посмотрите, вы должны найти полчаса, машина ждет, нет, конечно, это не машина театра, это брат нашей самодеятельной гитаристки, но он помогает нам постоянно, его хозяин на три часа каждый вечер отпускает); она отправляется к поэтам, и те дарят свои песни; потом она приводит старушку, которая вечно ворчит, бесплатно убирает, моет окна, угощает артистов чаем и сушками, купленными на пенсию; появляется меценат из соседнего овощного ларька и по-царски одаривает труппу гигантскими гидропоническими огурцами и маленькими, крепкими, натуральными помидорами, факирским жестом достает из «дипломата» пару бутылок «лимонной», и начинается пир, какой не доступен сильным мира сего с их черепаховыми бульонами и зимней спаржей с фазаном; возникает женщина (обязательно средних лет, как правило, очень полная, в очках, с виду злая) из районного Дома народного творчества; она приглашает журналистов, писателей, фоторепортеров, рассерженных художников; и возникает понятие д о м а, а что есть в мире нежнее чувства очага, то есть добровольной человеческой общности!

...Поэтому, когда стихли аплодисменты (никто так не умеет аплодировать, как актеры), внештатный главный администратор Ирочка принесла три бутылки шампанского, купленные ею на деньги, одолженные у мамы; тетя Аня, пенсионерка из соседнего дома, ставшая внештатной уборщицей, расставила на ящиках из-под апельсинов стаканы, и Писарев, сияя огромными глазами, подробно рассказал, как его принял Назаров, какой хороший был разговор, какой Назаров сторожкий мужик, себе на уме, но думает славно, не зря, видно, его назначили, не костолом, с ним можно дискутировать, доказывать свою точку зрения; не навязывает решения, предлагает варианты; ждет приглашения на премьеру; вопрос по конституированию театра решится формальным актом в течение двух дней.

— Он утвердил три наши задумки, — продолжал Писарев. — Что касается названия «Вехи», то он против, с ним надо согласиться; Назаров советовал не подставляться под прицельный огонь перестраховщиков, верное соображение. У нас мало времени и много дел, чтобы

тратить себя на пустые споры. Сегодня, когда все свершилось, мы должны спросить себя: готовы мы поднять занавес в осеннем сезоне или нет?

— Готовы, — донеслось со всех сторон.

— А я вдруг испугался, — сказал Писарев. — Честное слово! Недавно сидел с Михайловым, он начал работать своего «Дмитрия». Он рассказывал, как видит главную сцену, определяющую будущий фильм: раннее утро, поле Куликово, трава в капельках росы; угадываются воины, ждущие начала боя, и сквозь эти травы идет мальчик, худенький, черноглазый с блекло-белыми волосиками. Это ведь прекрасно, не правда ли? Кон трапункт всей картины заключен в этом простом и, казалось бы, сотню раз нами виденном или представляемом плане. Но мы проходили мимо, а Никита споткнулся на этом, вывел в формулу. Явление не существует отдельно от того, кто заметил его; оно незримо увязано с его душою, и только тот, кто смог не только увидеть, но и понять, делается художником. Лев Данин готовится к постановке «Леса». Он говорил мне: «Я еще не знаю всех подробностей, я не умею еще ничего толком объяснить, но мне все время видится сцена в гиацинтах. Они должны внезапно посыпаться сверху, они будут выстреливать, как шутихи... Сначала голая сцена, встречаются Счастливцев с Несчастливцевым и говорят, как мы с вами обычно, буднично о тетушке, о том, как бы хорошо поехать к ней в имение, а потом вдруг п р о и г р ы в а ю т этот же текст традиционно, как мы к тому привыкли — они актеры; а в театре все можно, и я заявляю свое право на это «всесилие сцены». Позиция? Блистательная позиция. Мы начинаем наше «Министерство сердечности» с монолога Хемингуэя. Когда я возвращался от Назарова, мне вдруг стало ясно, что в оформлении ничего-то не потянули, мы и в ткани слова не до конца точны, мы боимся документа, не верим ему, хотим и документ сыграть, не понимая, что в век информационного взрыва истинная драма не выдумка, а факты биографии человечества. Наша сцена обязана вобрать в себя планету; максимум перспективы; проекция, которая обязана отмести все случайные преграды для чувства. Искусство тем выше, чем больше оно приближается к бесконечности. Софокл бесконечен, как и Шекспир, Мольер, Островский. Наш Грибоедов родился, когда Радищев закончил свое «Путешествие», то есть когда в России утвердились револю-

ционная мысль, интеллектуальное бесстрашие, а погиб, когда Пушкин подходил к идее «Медного всадника». Шекспир родился в год смерти Микеланджело, а ушел в добровольное изгнание, когда запищал младенец, нареченный Рембрандтом. Шекспир ушел, преодолев статику, он был бесстрашен на площадке, где разыгрывал свои действа, лестница так лестница, буря в поле так буря, если так было, если это переживал Лир. Да, действительно, всякая даль страшит человека, ибо она требует преодоления пространства между тобою, актером, и им, зрителем; всякое преодоление трагично и подвластно лишь тому, кто имеет мужество, волю и силу; живописец трагически переживает пространство между его глазами и чистым холстом, он обязан преодолеть его и создать новый мир; близкое угодно людям, оно продиктовано привычным чувствованием, «мне это знакомо, нужно лишь протянуть руку», но разве это искусство, когда близко?! Готовы ли мы к преодолению? Мы рискнули заявить себя как сообщество новаторов, это прекрасно, но отдаем ли мы себе до конца отчет в том, какое нам предстоит преодолеть п р о с т р а н с т в о в оставшиеся до открытия сезона месяцы? — Писарев давно уж слышал, как надрывается телефон, проведенный в костюмерную стараниями монтера Гарика, занятого самодеятельным оркестром. Это мешало ему, поэтому он несколько раздраженно обернулся к главному администратору:

— Ириша, ну, подойдите же, так говорить трудно...

Ириша бесшумно побежала к телефону, а Писарев продолжал:

— Эклектика, то есть совмещение разностей, не есть нечто антихудожественное, отнюдь. Я чувствую, что нам совершенно необходимы киноустановка и подбор хроники; мы должны смонтировать сюжеты гнева, юмора, надежды, трагедии... Дмитрий Степанов рассказывал, как он в Нью-Йорке попал в дансинг «Сиркус». Это было в годы, когда шла война во Вьетнаме, а в Сан-Франциско началось движение хиппи, «люби, а не воюй». Противопоставление любви войне трагично, потому что беззащитно. В этом «Сиркусе», рассказывал Степанов, были установлены фосфоресцирующие лампы, от которых светились бело-голубым, мертвенным светом нейлоновые рубашки — тогда их еще носили, — а вместо лиц были

провалы, только фиксировалась краска на губах, веках, щеках. Парад масок, феерия грима! Молодежь танцевала рок-н-ролл, а на сцене бился в истерике певец, зажигая людей на движения, на подготовку к завершающему акту плотской любви, которая даст усталость и возможность впасть в сладостное забытье потом, и зал сотрясался от этого ритуального движения, но за певцом, на экране, постоянно крутили ролик хроники: самолеты ВВС США бомбят джунгли, поджигают их напалмом; на улицах Сайгона расстреливают молодого партизана, и мозги несчастного выбрызгиваются на асфальт; салон, где делают педикюр собачкам; операция на глазах японки, чтобы сделать их круглыми, то есть модными, безликими, среднеевропейскими; холера в Пакистане... Понимаете меня? Я слушал Степанова, и мне казалось, что я сам нахожусь на этом антиспектакле, который, по-существу, и есть истинный спектакль без зрителей — одни участники...

Писарев заметил, что все смотрят в проем за его спиною; оглянулся — тоненькая контурная фигурка Ирочки была там.

— Кто? — спросил Писарев. — Пусть позвонят позже.

— Из милиции, — ответила Ирочка. — Говорят, по срочному делу...

— Подождут, — отрезал Писарев, но вдруг с фотографической, слепящей резкостью увидел лица своих мальчиков, уехавших с матерью в Гагру, и, не говоря более ни слова, бросился вон со сцены.

3

Молоденький капитан подвинул Писареву пепельницу:

— Если хотите курить — пожалуйста.

— Вы мне, пожалуйста, подтвердите: с мальчиками действительно все в порядке?

— Я же говорил вам: в полнейшем.

— Так отчего же такая срочность?

— Это связано с вашей женой, Лидией Афанасьевной.

— С женой? Несчастье?!

— Да нет... Не то чтобы... Вы ее подругу Дину знаете?

— Я не знаю ее подруг.

— То есть как?

— Не знаю, и все тут. Вы, пожалуйста, объясните, чем вызван вызов. Я б не приехал, право, не нафантазировав бог знает что про детей... У меня работа, я бросил людей...

— У меня тоже работа, Александр Игоревич... Итак, Дину Гаврилову вы знаете?

— Не знаю.

— Какие драгоценности есть у вашей жены?

— Я подарил ей обручальное кольцо; потом — сережки, когда первый сын родился, и браслет, когда появился Васька, младшенький.

— А колье?

— Какое колье?

— Бриллиантовое.

— Не знаю, я, во всяком случае, не дарил.

— Как же так?! Муж — и не знаете?

— Мы живем врозь уже пять лет.

— Но в одной квартире?

— Мне непонятен предмет разговора... Не имею чести знать вашего имени и отчества.

— Капитан Друзов, Роберт Дмитриевич, уголовный розыск...

— Мне предмет разговора непонятен, Роберт Дмитриевич.

— Объясню... Ваша жена сейчас отдыхает с детьми в Гагре, да?

— Верно.

— Так вот, вчера неизвестный мужчина, — на жаргоне говорят «фармазон», — забрал у Дины Гавриловой бриллиантовое колье вашей жены, оцененное в очень большую, прямо-таки громадную сумму. Из Гагры пришло спецсообщение, мы обязаны разобраться во всем этом деле...

— Фу ты, боже мой! — улыбнулся Писарев. — Слава богу, а я уж черт знает что себе нафантазировал...

Капитан Друзов посмотрел на Писарева с несколько недоверчивым недоумением:

— Неужели вас не удивляет все это? Подруга, которую вы не знаете; колье, которое не дарили...

— Пусть бы это было самым большим несчастьем в ее жизни...

— Вы разведены?

— Нет.

— Где вы в настоящее время проживаете?

— На квартире моего товарища, который находится за границей.

— В качестве кого?

— Нет, нет, — снова улыбнулся Писарев, — не эмигрант, упаси бог... Доктор, он работает в Африке, в нашем госпитале.

— Назовите, пожалуйста, его фамилию и адрес квартиры.

— А при чем здесь он?

— Мы будем обязаны опросить всех.

— Ну, так я съеду с его квартиры... Мне вообще этот вопрос непонятен, да и весь разговор какой-то странный.

— Я имею основание задавать вам любые вопросы, Александр Игоревич, так же как и вы обладаете законными гарантиями ни на один мой вопрос не отвечать.

— Это допрос?

— Пока беседа. Не захотите говорить со мною в интересах расследования дела — придется писать допрос; не станете отвечать — ваше право, будем ковыряться сами, вот и вся недолга...

— Ну, хорошо, я понимаю... Только мне все это в высшей мере, сами понимаете, неприятно; точнее говоря, горько... Лида — очень хороший человек, добрый, но мы... Словом, как ни клеили, не склеилось... Фактически мы не живем вместе лет семь, но уехал я из своей квартиры пять лет назад... Разводиться не мог. Да и, в общем, мне это не надо, если только ей... Семьей обзаводиться я не собираюсь, у меня работа и дети, да еще друзья... Младший мой, Васька, ужасно любит мать, очень болезненно переживает, что мы врозь живем, так что приходится поддерживать ради него какую-то видимость семьи — мол, поссорились, помиримся; о разводе не может быть и речи, пока он не вырастет, грозился сбежать, если это случится...

— Сколько вы даете денег семье?

— Половину зарплаты... Половину всего, что зарабатываю: на радио, в институте — я там веду курс, в кино... Много плачу, с избытком хватает...

— А зачем же было продавать колье?

— Откуда я знаю...

— У вашей же... у Лидии Афанасьевны есть какой-нибудь друг?

— Об этом говорить не будем.

— Ну откуда же у нее это колье?

— Не знаю. И не хочу знать.

— Лидия Афанасьевна сказала, что колье ей подарил дедушка.

— Лев Дмитриевич? Наверняка. Сам академик, и отец был академиком, и дедушка... Наверняка у них есть фамильные драгоценности...

— Вы не видели?

— Я ж не на драгоценностях женился, а на Лиде... Да вы Льва Дмитриевича спросите...

— Лидия Афанасьевна не хочет, чтобы спрашивали деда, она говорит, что это может его травмировать, а он только недавно перенес третий инфаркт...

— Верно. Золотой старик. Его надо поберечь. Но если Лида говорит, что это колье — подарок деда, можете ей верить, так, значит, и есть.

— Если вы достаточно платите семье, зачем ей надо было продавать это колье? Почему именно на юге? Отчего через подругу?

— Не знаю.

— А вот она показала, что ей нечем было отдать долги...

— Это ее дело.

Капитан Друзов пожал плечами, подвинул Писареву стопку бумаги:

— Напишите объяснение.

— Какое?

— По поводу этого дела.

— А что я должен писать?

— То, что сказали мне: подругу не видали, какие долги — не знаете, колье не дарили, дедушка — мог... Захотите добавить, что, может, как-то помочь нам в поиске похищенного — буду благодарен... Вы ведь тоже формально потерпевший. Прописаны в одной квартире, не разведены, муж и жена...

— ...одна сатана, — добавил Писарев, внимательно оглядев капитана, его ладно кроенную фигуру и аккуратно подогнанную форму. — Я понимаю, как вам противно копаться во всем этом дерьме, в нашем дерьме, добавил бы я...

— Каждому свое, — вздохнул Друзов.

...Прочитав объяснение Писарева, капитан отметил пропуск и, провожая к выходу, поинтересовался: над чем сейчас работаете?

— Да много всего... Театр собираемся новый открывать, сразу три представления работаем.

— Новый театр? Думаете, количество перейдет в качество?

— Изверились?

— Есть маленько. Как куда в театр ни пойдешь — всюду вливают новое вино в старые мехи. Навязывают Мольеру и Шекспиру с Чеховым проблемы, которые тем и не снились... Думают, человечество не изменилось... Уж если такое философское понятие, как «скорость», вздыбили, себе подчинили, пространство преодолели, так неужто человек поры Шекспира во всем подобен нынешнему? Огораживаться в наш век — глупо, если не смешно...

— Огораживаться? Это как?

— Это пытаться огородить себя от прогресса. Пусть, мол, все движется, а мы какими были, такими и останемся.

— Мы как раз об этом и хотим сделать спектакль. «Урок политеса» будет называться.

— Кто автор?

— Дмитрий Степанов.

— Любопытно. Ну, всего вам хорошего. Если что вспомните, позвоните.

— Хорошо, если вспомню, позвоню. Только вряд ли что вспомню, право.

...Подполковник Хорошилов, прочитав объяснение Писарева, поднял глаза на Друзова; тот покачал головою:

— Он действительно ничего не знает... А если б и знал, то не сказал бы...

— Повесили на нас дельце, пойди отыщи этого мошенника... А почему Писарева отдала колье Дине этой самой? Отчего в комиссионный не понесла?

— В комиссионном сказали, что слишком дорогое колье, долго будут ждать покупателя, а за хранение какие-то проценты берут... Дине отдала оттого, что носит фамилию мужа; говорит, мол, не хотела, чтоб излишний был интерес к его имени.

— Что он, Высоцкий, что ль?! Или Райкин? Диной этой самой занялись?

— Конечно.

— Попусту его не тревожьте, они ведь обидчивые больно, эти артисты с режиссерами, у каждого — покровителей тьма, самого высокого ранга... Запросите

на Дину и всех знакомых Писаревой характеристики...

— А на него?

— Дело есть дело, надо соблюдать форму. Справочку мне напишите, чтоб я толком начальству доложил, у меня в пять рапорт. Успеете?

— Схематично — да.

— Так вы иначе как схематично пока ничего и написать не сможете, как ни бейтесь... Месяцев восемь — в лучшем случае — придется ковырять эту кучу... Вот бабы, а?! Особливо избалованные... Им бы белье постирать да полы помыть по квартирам, чтоб устатку поболе... А как этот Писарев? Не фордыбачил?

— Нет, — ответил Друзов, чуть помедлив поначалу. — Достойно себя вел.

...В кабинете кадровика управления, когда раздался звонок капитана Друзова, как раз и находился главный консультант управления, кандидат искусствоведения Василий Грущин, готовивший по поручению руководства справку на Писарева и его коллектив...

Грущин не просто не любил Писарева; он болезненно, до темноты в глазах ненавидел его.

Поначалу в институте они были друзьями, особенно на первых двух курсах; высокий, очень спортивный Василий и Санька, квадратный, словно обрубок, с перебитым в драке носом, растолстевший после того, как врачи запретили ему заниматься боксом после третьего по счету нокаута.

Санька был всегда влюблен в своих друзей, очень ими гордился, выставлял их вперед: «Василий Грущин — грандиозный режиссер, он наделен даром, он впереди всех нас, мы ему в подметки не годимся», «Митя Степанов — великий репортер, я убежден, что после института он сделается звездой» (имя Михаила Кольцова тогда еще не произносилось вслух), «Левон Кочарян — самый замечательный парень, какой только есть, он вообще гений, он всесторонен, а его главный талант — быть другом».

Санька всегда помнил, как на дне рождения у Льва Маломанова в Покровском-Стрешневе отец произнес тост:

— Молодой грузин, гуляя по развалинам старинной крепости, забрел на кладбище. Тишина там была, только сухо стрекотали кузнечики и налетал порою сухой, горячий ветер. Молодой грузин ходил среди надгробий и читал надписи. На одном камне выбито: «Шота, ро-

дился в тысяча восьмисотом году, умер в восемьсот девяностом, жил на земле двенадцать месяцев». На другом: «Серго, родился в восемьсот десятом, умер в восемьсот тридцать шестом, жил двадцать шесть лет». На третьем: «Акакий, родился в восемьсот пятом, умер в девятисотом, жил на земле пять месяцев». Повстречался молодому грузину старый пастух, и обратился юноша к деду с вопросом: «Ответь мне, уважаемый, отчего такие странные надписи на здешних надгробиях? Человек прожил чуть что не сто лет, а написано всего пять месяцев?» Старик ответил: «Юноша, в нашем крае возраст человека определяется не по тому, сколько лет он провел на земле, а по тем мгновениям, что он отдал дружбе». Так выпьем же за дружбу, Левушка и Сережа Новиков!

Санька долго раздумывал над отцовским тостом, а потом однажды сказал:

— Па, а все равно не выходит...

Отец удивился:

— О чем ты?

— Помнишь, ты про грузин рассказывал, которые дружат?

— А как же.

— Так вот, не мог Серго прожить двадцать шесть лет.

— Почему?

— А спать-то он должен был? Во сне ведь нельзя дружить!

— Можно, сын. Если ты ложишься спать, зная, что есть у тебя друзья, то и во сне ты будешь с ними и проснешься счастливым.

Санька ужасно тосковал, когда видел, что в команде что-то не складывалось; Митя Степанов не любил Василия Грущина, подтрунивал над ним постоянно, как-то сказал: «Вася, знаешь, на кого ты похож? Ты похож на Мартынова». «Ничего подобного, — ответил Грущин. — Мартынов — крепкий, приземистый, резкий, груболикий, чисто тамбовский тип лица». «Да я ж не о поэте говорю, — усмехнулся Митя, — я о том Мартынове, который Лермонтова убил».

Ответь бы ему Василий что-нибудь резкое, и все бы обошлось, мало ли, неудачная шутка, с кем не случается, но быстро реагировать Грущин не умел; он зато умел тяжело, глубинно обижаться; таил гнев в себе, думал, как отомстить, придумать не мог, оттого злобился, и не

только на Степанова, но и на Левона, и на Саньку: отчего промолчали? Зачем не ответили?

Он не знал, как Санька, провожая Левона и Степанова в общежитие, корил Митю:

— Разве можно так? Ведь это действительно обидно. Трудно тебе было обернуть все на шутку? Васька, знаешь, какой ранимый? Придумай что-нибудь, как все это уладить, Митяй, так нельзя, честное слово. Вася даже побледнел, ты не заметил, а у меня все внутри застыло.

— Ты почему его не любишь, Митяй? — спросил тогда Левон. — Может, ты что-то знаешь и не хочешь сказать нам?

— Не люблю — это точно, — согласился Митька. — А почему — не знаю. Чувствую я и ничего с собою не могу поделать, чувствую.

— Ты не прав, Мить, — сказал Писарев. — Это все как-то нехорошо. Ты не прав... Пусть девушки чувствуют, мы, мужики, должны поначалу думать, но перед тем как сказать жестокое, если это правда, все-таки нужно хотя бы пару раз провести языком по небу.

Но Митька, к сожалению, был прав. Он всегда оказывался правым.

Недавно он сказал Писареву: «Знаешь, Сань, литератор, если, конечно, он литератор, а не слагатель слов во фразы, а фразы во книги не про человеков, а про то, как лучше модернизировать фабрику или наладить уборку озимых раньше срока, обязательно чувствует все кожей, ладонями, что ли. Меня недавно скрутил радикулит, встать не мог. Кирилл Симонян приезжал, ничего не смог сделать; тогда Саша Горбовский привез Владимира Ивановича, инженера по нефтепроводам. Тот перевернул меня на живот, приказал расслабиться, замер надо мной, и я минут через пять ощутил тепло на позвоночнике, возле копчика. Так было недолго, но мне показалось, что я уснул. Владимир Иванович между тем тронул меня за плечо и сказал: «Вставайте». Я рассердился: «Двинуться не могу, а вы — вставайте». «Вы здоровы, встаньте, попробуйте, во всяком случае». И я, несмотря на страх, что снова проколет дикая боль, пошевелился. Боли не было. Я встал. Боли не было. Вышел в комнату, где сидел Вася Романов. Боли не было. Спросил, можно ли выпить по этому поводу. Владимир Иванович ответил: «Не только можно, но и нужно, тем более что я беру гонорар коньяком».

Симонян сказал: «Нельзя пить, снова начнется боль, да и вообще все это похоже на гипноз». «Гипноз так гипноз, — ответил Владимир Иванович. — Я ведь ничего не прошу, я просто помогаю человеку, чтобы не было боли. Пить можно. Боли не будет». Вася Романов сказал: «Хочу подтверждения эксперимента!» Владимир Иванович ответил: «Пожалуйста. Поднимитесь, отойдите в угол, выставьте перед собою руки и честно отвечайте на мои вопросы». Вася поднялся, отошел в угол; напротив него встал Владимир Иванович, протянул руки и нацелился своими ладонями на Васины. И так они стояли минуту-две. А потом Владимир Иванович спросил: «Что вы ощущаете?» И Вася честно ответил: «Жжение в ладонях». Владимир Иванович обернулся к Симоняну: «Я могу в вашу честь, как представителя консервативной медицины, поставить диагноз моему визави?» «Извольте», — хмыкнул Симонян. Владимир Иванович снова вытянул руки перед собою, и навел ладони, словно локаторы, на Васю, и начал медленно водить ими, повторяя контуры Васиного тела. А потом сказал: «Я чувствую металл, под ребрами, слева, ниже сердца... Не отвечайте мне пока что, не перебивайте меня... Я ощущаю нечто чужеродное правее печени, в желудке, нет, в кишечнике, слепое утолщение, оно неопасно...» Вася не утерпел, победно глянул на Симоняна и изрек: «Ладонный рентгенолог установил абсолютно точно: правее печени у меня киста, доброкачественная, как говорят консерваторы; под сердцем — осколок, удалять опасно, ношу свинец войны с гордостью. Владимир Иванович, я поражен и восхищен. Откройте ваш секрет!» А тот ответил: «Никакого секрета. Просто я настраиваюсь на вас, я ответствен за свое чувствование и, таким образом, за слово». Митя, рассказывая об этом Писареву, был грустен, лоб резала резкая морщина. «Писатель, — повторил он тогда, — если он писатель, обязан чувствовать человека, ситуацию, возможность, грядущее, прошлое. Ладонями. Всей кожей. Мясом, если кожу содрали. До последнего дыхания. И никак иначе».

Степанов почувствовал Василия Грущина первым, хотя тот ценил Митьку, старался, как мог, услужить ему, дважды просил помочь написать сцену к первой самостоятельной постановке, но Митька ему помогать не стал, сидел с Саней, готовили композицию по мотивам «Романтиков» Паустовского. Вообще-то на курсе Василий

Грущин был первым поначалу: всем преподавателям импонировала его манера неторопливой раздумчивости; память у него была феноменальной, мог читать наизусть чуть что не страницы пьес; великолепно отвечал по всем общественным дисциплинам; на первом семестре сдал за весь институт немецкий и попросил себе факультативный английский; работал в лекторской группе, очень потел, когда выступал на незнакомой аудитории, причем потеть начинал с кончика носа; правда, он ловко придумал себе чисто актерское приспособление — вроде бы поправлял очки, а на самом деле утирал капельку небрежным жестом левой руки... А Санька еле тянул от сессии к сессии; пропадал со Степановым и Левоном в танцзале «Спорт», единственном тогда в Москве, упоенно танцуя танго «Нинон» со спортивными «чувихами»; после каждого заработка (они калымили втроем на Киевском вокзале ночными грузчиками на товарной станции) принимал участие в «процессах», которые чаще всего происходили в бывшем ресторане «Аврора», что на Петровских линиях; неделями ездили на подмосковных поездах, чтобы записать песни инвалидов, собиравших милостыню...

Василий показал сцену из «Бесприданницы». Он раз двадцать ходил в кинотеатр «Повторного фильма», когда там показывали протазановскую ленту; его актеры абсолютно точно скопировали интонации Кторова и Алисовой, но ведь копия хороша, если только она авторская...

Преподаватели недоуменно переглядывались; Грущин показал н и ч т о , подделку. А Санькиных «Романтиков» приняли на «ура» и предложили обкатать композицию в колхозных аудиториях Подмосковья. Это было прекрасное лето, когда Санька, Митяй, Лена Шубина и Юра Холодов бродяжничали на попутных грузовиках, ночевали в маленьких домиках сельских школ, свернувшись калачиками на полу, а по вечерам давали представление на открытых площадках, и не было в жизни более благодарных зрителей, чем тогдашние беспаспортные, без права выезда в город колхозники, все больше женщины, дети да инвалиды.

А на втором курсе Митяй написал Саньке композицию по «Лейтенанту Шмидту» Пастернака. И Санька, несмотря ни на что, стал сталинским стипендиатом. А Василий показал отрывок из «Югославской трагедии» Мальцева, и ему поставили тройку Было обсуждение показов;

Санька утешал Грущина, говорил ему, что хорошее начало, как правило, оборачивается дурным концом. «Ты меня задавишь на третьем курсе; хочешь следующую постановку сделаем вдвоем?» — Василий докурил сигарету, жадно затянулся напоследок и ответил: «Что ж, спасибо, подумаю». Они вошли в зал, и первым на трибуну поднялся Василий.

— Думаю, все согласятся со мною: у нас определился лидер, и этого лидера зовут Александр Писарев. Его постановка, бесспорно, самая интересная, именно потому я и хочу поделиться с вами своей тревогой за будущее нашего товарища, которого все мы успели полюбить за те полтора года, что вместе учимся в стенах нашего замечательного института, ставшего для нас родным домом. Постановка Сани, повторяю, талантлива, но ведь она вся... как бы не обидно выразиться... она вся формальна, в ней налицо рациональность, расчет, в ней нет изначального чувства, все выверено, как в математике... Разве это типично для нашего искусства? И оформление какое-то модерновое, будто не в Москве придумано, а далеко на Западе. А ведь там художнику приходится фиглярничать, чтобы заманить зрителя, ошеломить его и на на этом сделаться заметным... Разве нам это нужно? Разве наш зритель этого ждет? Когда я смотрел постановку я забыл о Шмидте, товарищи, я только ждал: чем Саша еще ошеломит нас? Чем? Саня, не сердись, Платон мне друг, но истина дороже! Ведь когда ты показывал свою работу, ты не о лейтенанте Шмидте думал, а о себе как режиссере! Ты стал им — для меня, во всяком случае... Но ты им останешься навсегда и для всех, если будешь сначала думать о герое, а потом уж о себе... Не сердись, Саня...

Писарев сидел, глупо улыбаясь, не в силах понять, что случилось. За него заступались студенты; профессор смотрел на своих питомцев влюбленно; когда страсти накалились, бросил с места:

— Так сказать, мне нравится все это! Молодец Писарев, и Грущин тоже молодец! Сшибка мнений рождает, так сказать, атмосферу творчества! Но в споре не надо использовать бланки обвинительного заключения! Истинную принципиальность отличают широта взгляда, терпимость и доброжелательство! К барьеру, Писарев! Я хочу посмотреть, сколь вы сильны и доказательны в

диспуте! Я намерен послушать, как вы умеете защищать свое искусство!

Писарев тогда поднялся, долго молчал, хотел было говорить о том, что он понимает под термином «формализм», думал рассказать о Шостаковиче, Таирове, Кончаловском и Прокофьеве, которых корили этим самым формализмом, но потом неожиданно для себя повернулся к Грущину и сказал:

— А ты, знаешь ли, большая подлюга.

— Значица сказа, — рассмеялся профессор, точно сыграв свое понимание слов Писарева, как актерскую, хорошо поставленную шутку, — не довод! Не довод!

— Есть и довод, — ответил Писарев. — Я только сейчас понял, что такое зависть. Это когда один человек не может осуществить свой замысел, а другой может. Такое не прощают. И человека пепелит изнутри, он кончен, и ничто его не спасет, он пропал для людей...

...Дослушав разговор кадровика с капитаном Друзовым, консультант управления Василий Грущин легко пробросил:

— Вы б порасспросили, что случилось... Саня Писарев — мой институтский знакомец, он горяч и крут; когда его исключили из комсомола и института за неправильное поведение как комсорга, он такое натворил... мы его с трудом спасли от ба-альшой беды... Сейчас его думали двигать на главрежа... Надо вовремя во всем разобраться... И, с другой стороны, талант не убережем — отвечать придется не перед кем-нибудь, перед собственной совестью...

А вернувшись к себе, он снял трубку телефона, набрал номер и сказал:

— Игорек, ты позвони завтра нашему кадровику, попроси его навести справки о том периоде, когда Саньку Писареву подставил его директор, Киреев, помнишь, этот деляга сгорел на левых концертах? Я готовлю для Саньки сюрприз, его двигают вверх, так что надо парня прикрыть, если кто-нибудь решит копать его белье... Да как не помнишь? Это было в пятьдесят девятом, когда Киреев возил их группу на Абакан — Тайшет, его потом посадили за махинации на два года, а Санька год отмывался за чужие грехи... Пусть наш дед перепроверит, не висит ли еще что на нем; вовре-

мя отбить товарища — святое дело... Да... Именно... Только на меня не ссылайся, все ж знают, что мы однокурсники, рука руку моет, и все такое прочее... Да.. Когда поужинаем? Нет, завтра закрыт... Давай в пятницу, святой день, в субботу похмелиться можно!

4

Писарев проснулся ровно в шесть, будто кто потряс его за плечо. Он проснулся счастливым, потому что ему показали хороший сон; это было у него четыре раза, когда он видел именно этот сон, и он считал это счастливым знамением, особенно еще потому, что сегодня было тринадцатое, а цифра эта была для него добрым знаком.

Ему виделось, как по васильковому лугу (от того, что в него было вкраплено несколько белых ромашек, синее было явственным, близким, слышимым, особенно когда налетал ветер, — он был теплым, пахло полынью) бежали Васька и Димка. Они были маленькими еще; в руках у Василька был змей; Писарев не умел делать змея, только помнил, как отец мастерил ему эти штуки, и еще он помнил ощущение прерванного дыхания, когда змей взмахнул из папиных рук в небо и затрепетал в белом знойном небе, и вокруг него метались черные тире ласточек, которые приняли этого воздушного змея за большую, беззлобную птицу, умеющую радоваться солнцу так же, как и они сами.

И каждый раз, когда Писареву показывали этот сон, он просыпался с ощущением счастья оттого, что научился мастерить змея, что отныне, что бы с ним ни случилось, он сможет дарить детям радость: на прозрачную бумагу, клей и палочки много денег не надо, даже если лишат телеэкрана и кино, зарплаты в театре хватит, ставку актерам повысили, сто семьдесят в месяц, чуть что не персоналка...

И действительно, каждый раз после того, как Писарев видел этот сон, его ждала удача.

Он потянулся за сигаретой, продолжая улыбаться, но потом вспомнил вчерашний вечер, когда вернулся в театр, и там уже никого не было, и он заказал разговор с Прокопьевыми в Гагре (у них всегда останавливалась Лида с мальчиками), и услыхал глухой Лидин голос, и сразу же представил себе ее заплаканное лицо, он до сих пор очень любил ее лицо, потому что все в ней

изменилось, кроме лица, и поначалу долго не мог понять ее, потому что она повторяла одно и то же:

— Господи боже мой, господи, ну, за что же, боже ты мой, за что?!

Он подавил в себе желание объяснить ей, отчего все это случилось, он понял, что этого сейчас нельзя говорить, и не оттого, что не всякая правда нужна человеку, пожалуй, что все ж таки всякая, только нужно точно знать время, угодное для того, чтобы ее открывать.

— Лида, не надо, — сказал он мягко. — Возьми себя в руки и объясни, что случилось. Меня вызывали в милицию, что-то рассказывали, но я до сих пор не могу толком понять...

— Что ты не можешь понять?! Ну, что ты не можешь понять?! Я не хотела зависеть от тебя, ясно?! А мальчики очень тебя любят. И они хотят, чтобы ты с ними какое-то время жил в Москве в квартире! А куда мне деваться? Я мечтала купить себе половину какой-нибудь дачи, чтоб уезжать туда и быть там, не понятно разве?! Они сказали, что уйдут из дома, если я решу устроить свою жизнь! Отцам можно все, только матерям ничего нельзя!

— Лида...

— Что Лида! Ну, что?! Дед подарил мне это колье, разве не понятно?! И это была моя надежда, единственная надежда! Мне сорок семь, жизнь прожита, у тебя дело, а у меня было одно дело — растить мальчиков, а теперь они выросли, и им нужен ты, а что ж мне теперь делать?! Что?!

— Лида...

— Что Лида?! Что?!

— Эту штуку найдут, только ты не плачь, не рви сердце мальчикам...

— А мне можно?!

— Лида, не говори так... Я готов тебе помочь, чем только могу... Я завтра поговорю с Митей Степановым, у него много друзей в уголовном розыске, он позвонит, я обещаю тебе... Лида, пусть это будет самым большим горем в твоей жизни... Мальчики здоровы, это ведь главное. Представь себе только, если бы что-нибудь случилось с Васькой или Димкой, ты только представь себе на минуту.

Лида перестала плакать, долго сморкалась, потом спросила:

— Кому будет звонить Митька?

— Генералу Усову, — солгал Писарев, — это самый большой человек в розыске. Он завтра едет к нему с утра...

— Ты объясни Митьке, что я отдала эту проклятую штуку моей подруге, оттого что в магазине не брали на комиссию, только оценили...

— Неужели ты не могла откладывать каждый месяц из тех денег, что я тебе давал, на эту самую дачу?

— Ты на рынок ходишь? Так сходи посмотри, сколько стоит зелень! И позвони по объявлениям в газете, спроси, сколько стоит дача! Откладывая, я б ее смогла купить в девяносто лет!

Писарев засмеялся и услышал, что Лида тоже смеется сквозь слезы; на сердце у него полегчало; он увидел ее очень явственно, и сердце его сдавила жалость.

— Как у тебя с деньгами? — спросил он. — Что-нибудь осталось?

— Я одолжила у Любы.

— Сколько?

— Двести.

— Я достану... Я вышлю тебе телеграфом сегодня же... Дай мне, пожалуйста, мальчиков.

Они, видимо, стояли рядом с матерью, потому что он сразу же услыхал Васькин голос:

— Пася, ну как ты?

— Прекрасно, Вася! Мне дали театр!

— Да ну?!

— Честное слово!

— Значит, ты теперь худруг и главный режиссер?

— Выходит, так...

— И будешь ставить, что придумали?

— Да.

— Поздравляю, пася... А у мамы, видишь, что вышло...

— Как это произошло?

— Дине куклу сунули... сверху деньги, а внутри бумага... Ты поможешь маме?

«Он считает, что я все могу, — подумал Писарев. — Но я ведь тоже считал папу всемогущим. Потому у отцов и рвутся сердца, что они не могут выполнить все желания детей».

— Конечно, помогу, Вась... Только ты объясни маме, что это быстро не делается... Милиция должна работать постепенно, чтобы не спугнуть вора... Это вопрос месяцев, а не дней... Постарайся успокоить маму...

— Хорошо, пася... Как ты себя чувствуешь?
— Прекрасно. Димка далеко не плавает?
— Я не позволяю...
— Он рядом?

Димка очень любил мать, к отцу относился особо, с каким-то недетским интересом; ревновал ко всем актрисам; больше всего любил животных, кормил всех собак и кошек во дворе, подбирал на улицах больных голубей, приносил их домой, лечил, потом отпускал; ворона, у которой было перебито крыло, прилетала потом на балкон месяца два кряду.

— Алё, — услыхал Писарев писклявый Димкин голос и представил его себе — толстого, конопатого, голубоглазого, маленького еще, а потому принадлежного ему телесно; потного, пахнет детством, если прижаться лицом к его шее; мальчик не любил этого, стыдился, можно было целовать его, только когда спал; Вася утешал отца: «Это пройдет, пася, я был таким же, правда, у него возраст такой, он только за маму боится, ты для него мужчина, он считает, что ты сильный, поэтому он не беспокоится о тебе...»

— Димуля, как ты?

— Знаешь, у Джульки, соседской собаки, щенки открыли глаза на десятый день, это невероятно, я веду наблюдение, правда, не начал еще записывать в тетрадку, дядя Коля сказал, что катранов в море больше нет, но и барабуля тоже отчего-то перевелась, а в горах уже пошли грибы, дядя Коля обещал отвезти на мотоцикле, у него теперь «Ява» с коляской...

Он всегда выпаливал новости через запятую, словно боясь, что отец задаст вопрос, главный для него вопрос, и на него надо будет однозначно ответить...

Поди ж ты, пятнадцать лет, а уже выработал стратегию защиты от вопроса про развод, которого не по-детски страшился, не хотел про это слышать, заранее отталкивал от себя придуманной самообороной...

Потом снова трубку взяла Лида, попросила прислать не двести, а триста рублей, и это — как ни странно — успокоило Писарева: все вернулось на круги своя; конечно, пришлет, как не прислать... Да, конечно, попросит Митьку поторопить, да, убежден, что найдут, главное, чтоб все было хорошо у мальчишек, да, перезвонит...

Писарев вздохнул, поднялся с дивана, пошел в ван-

ную, долго чистил зубы, потом надел тренировочный костюм, который устроил ему Володя из спортмагазина, прекрасно гонит пот, очень теплый, почти до ноября можно бегать, и отправился трусить от инфаркта... (В Одессе он снял в одном из подъездов табличку: «Трусить в подъездах воспрещается». Бабеля нет, а жаргон остался. Митька рассказывал, что в Японии известный переводчик, «знаток» русского, в одной из наших книг объявление «сорить воспрещается», вывешенное на танцплощадке, перетолмачил как «драться нельзя». Все очень просто, объяснил Митяй, «сорить» показалось японцу производным от слова «ссора»; а наш Пастернак, чтобы найти истинное значение пустячного слова (впрочем, есть ли такие?!), перелопачивал все британские словари и литературу по Шекспиру, чтобы только понять истинный смысл, вложенный великим англичанином в эти строки, ибо коль слово само по себе безжизненное, то оно делается взрывоопасным, когда соседствует с другими словами.)

На улицах было пусто еще; только метро пульсирующе выбрасывало людей, которые работали в Боткинской; они начинали в семь и шли через скверик возле Беговой; Писарев ужасался тому, как много мужчин курило на ходу, чаще всего «гвоздики»; раньше эти папиросы называли «Норд», потом переименовали в «Север» — в то как раз время, когда в футболе старались избегать слова «тайм», и вместо этого Вадим Синявский, самый наш великий комментатор, говорил «период», очень, конечно, русское слово, не то что космополитический «тайм»; тогда нельзя было говорить «форвард», только «нападающий»; только никак не могли придумать, чем заменить в боксе «брэк»; одно время пытались привить «разойтись!», но это звучало, словно в фильмах про то, как царские жандармы разгоняли рабочие демонстрации.

...Воздух был р а н н и м, только в Москве бывает такой особый воздух в начале июля; когда Писарев пробегал мимо пешеходов, он особенно остро ощущал сухую горечь табака и думал, какая же это гадость, курево, и клялся себе каждый раз, что с сегодняшнего дня завяжет, но возвращался в квартиру, залезал под душ, растирался докрасна шершавым полотенцем, ставил себе кофе, засыпал овсянку в кипящую воду, завтракал и, составляя план дня, машинально закуривал, испыты-

вая при этом острое чувство счастья и безвозрастности; раз курю — значит, еще не старый, все впереди...

Когда на висках и на лбу появился пот, Писарев отчего-то представил себя бегуном на дальнюю дистанцию — он еще не потерял способности видеть себя со стороны — и потрусил быстрее, а потом вдруг вспомнил, что завтра можно звонить Кириллу Владимировичу, а послезавтра придет приказ из управления, и звенящая легкость родилась в нем, и он высоко подпрыгнул, вытянув над собою руку, и дотронулся до холодного кленового листа, и подумал, что только если человек не разучился верить и радоваться, он может прыгать, несмотря на то что ему сорок восемь.

«В «Уроке политеса», — подумал он, — сцена должна быть забита актерами. Каждый человек, а еще лучше каждая пара обязаны быть поначалу разобщенными; движения всех — при определенной пластике пар — вызовут ощущение хаоса. Организация гармонии, которая совсем не идентична понятию «порядок», станет тем фоном, на котором можно разыграть действо о традициях и новациях, о высоком смысле «пропорции», которая вовсе не обязательно берет свой отсчет из геометрии... Весь задник сцены должен быть организован узнаваемыми плакатами и объявлениями: «запрещено рвать цветы», «не разрешается ходить по газонам», «нельзя», «запрещено», «нет», «нет», «нет», «нет». Сколько еще таких объявлений, бог ты мой! И какая поразительная изобретательность, когда дело касается того, чтобы не позволить?! Наш спектакль — бой этому бессердечию, порочащему величие наших идеалов. А какими должны быть костюмы? Каждая культура смогла, точнее, была обязана сформировать свою собственную науку; этика — одна из ключевых позиций знания... Как не угодно проникновение этики в повседневность; тогда объявления могли бы звучать иначе: «Спасибо, что вы не пошли по клумбе» или «Цветам тоже больно!». Костюмы актеров обязаны нести громадную идейную нагрузку, их можно трактовать как наскальную живопись: не раз и навсегда, в случае атомного ужаса, — а так, как было раньше, в чреде веков, когда творчество угасало, ибо исчезновение данной, конкретной культуры есть исчезновение созидающего ее творческого элемента: в моменты пика символ и суть соединяются воедино; в годины спада остаются схемы, царствует безжизненность... Кто же сможет нарисовать

нам эскизы декораций и костюмов так, чтобы через них проследить закономерность развития? Надо разбить сцену на две половины... Антика, царство обнаженной натуры, философия статики, ясности, близости; и устремленность нашей культуры, нетерпеливый рывок в науку, то есть превращение бесконечности в конечность, подход к венцу знания. И это — через костюм и задник сцены. Как? Не знаешь, Писарев, еще не знаешь...»

Он посмотрел на часы. Восемь. Степанов наверняка спит. Его вчера не было до двух. Пьет димедрол, вот счастливец, такое легкое снотворное... А вдруг сегодня вскочит раньше обычного и унесется?

«Надо придумать одну из декораций так, чтобы это была огромная доска в университетской аудитории. Пусть будет слышно, как крошится мелок, когда академик пишет формулы. Кадр в кино только тогда к а д р, когда в нем работает и первый план и пятый. Доска с формулами не просто формальный изыск... Если бы уговорить академика выйти на мизансцену и начать диалог с поэтом или режиссером?.. Экспромт, как выражение таланта... Стихи Пушкина в альбомах... Талант расточителен, суверенен и сам назначает себе цену...»

Пробегая мимо длинного барака, где обосновалось строительно-монтажное управление, Писарев увидел возле двери бачок для питьевой воды; кружка была прикована к нему металлической цепью. В каждом хозяйственном магазине таких кружек полным-полно, и красная им цена сорок копеек.

«Можно было б при нашей любви к объявлениям вывесить табличку: «Спасибо, что вы не вор», — подумал Писарев. — Впрочем, этично ли это? А с другой стороны, если каждый день какой-нибудь скот будет эту кружку уносить, начальнику придется платить из своего кармана рублей пятнадцать в месяц, все-таки деньги. А еще хуже, если станут вычитать деньги у уборщицы; хоть им позволяют совместительство, на трех работах некоторые вкалывают, больше инженера или врача получают, но ведь пол мести и окурки собирать не сахар... Вообще объявление может быть либо злобным надсмотрщиком, либо добрым воспитателем, наделенным чувством юмора... Разумное «можно» больше способствует воспитанию человека в человеке, нежели чем слепое и постоянное «нельзя»... Мы постоянно говорим про культуру поведения, а хамство тем не менее не убывает...

Значит, неубедительно говорим... Надо опереться на науку и провести ряд бесед по телевидению, в которых бы ученые, в первую голову медики, доказали людям, что улыбка способствует продлению жизни, а хамство, резкость, рявканье делают больным истериком не только тех, кого обижают, но и того, кто лает вместо того, чтобы говорить... Надо использовать такое человеческое качество, как зависть: отчего у американцев во всех учреждениях на столе стоят таблички «смайл» — «улыбайся»? А оттого, надобно доказать с цифрами в руках, что хитрые американцы просчитали прямую выгоду для здоровья людей, следовательно, для богатства общества, они без выгоды ничего не делают, прагматики бездуховные, все на деньгу переводят...»

Навстречу Писареву шла девушка: видимо, она приехала не на метро, очередной пульсации пассажиров еще не было; она шла быстро, на тоненьких каблучках, стройная, словно козочка; Степанов свою дочку Дуню называет «Бэмби», круглоглазая и стройненькая.

Писарев поймал себя на том, что прибавил шагу и поднял плечи, чтобы казаться более спортивным; девушка, словно бы поняв его, улыбнулась. «А что, — подумал Писарев, — Татьяна говорила, что нынешние девушки к мужикам моего возраста относятся лучше, чем к сверстникам, те, говорила она, какие-то маниловы, нет борцовских качеств, хотя мускулы накачали, будто тарзаны; даже чахоточный, если он борец духом, более привлекателен для женщины, чем избалованный атлет...»

— Алло, Митяй, ты спишь?
— Уже нет.
— Слушай, мне театр дали...
— Нет...
— Клянусь!
— Почему сразу не позвонил?
— Тебя до двух не было.
— А в три не мог?
— В три я спал.
— А я только начал заниматься любовью.
— Так уж светло было...
— Темнота — друг молодежи, а мы ж с тобою старики, доживаем последнее... Подожди, дай я закурю... Ты был в управлении?

— Да. Первый заместитель принял Назаров... Завтра надо звонить, передадут приказ...

— Поздравляю, член худсовета...

— Позволяю, член худсовета...

— Уволь, я уж и так в двух числюсь.

— У меня будешь работать, а не числиться...

— Посмотрим.

— Слушай, приезжай в театр к десяти.

— Не могу, Сань. Я веду своего режиссера, гада, в бассейн «Москва». Подъезжай, а? Будем как римляне, все там и обсудим.

— Приеду. А потом ко мне, да?

— Решим.

Писарев опустил трубку и только тогда вспомнил: о Лидином деле так и не сказал; ничего, в бассейне расскажу, да и потом, что Митька может? Ну, переговорит с кем, ну, попросит помочь, а разве и так не помогают? Капитан этот прекрасный парень, только в России есть такие прозрачные люди, когда сам получает двести, и нет в нем ненависти к тому, кто имеет в двадцать раз больше, сострадает, будто сам зарплату потерял... Конечно, деньги огромные, только эта потеря ничто в сравнении с той, когда дядя Алик потерял в сорок втором карточки на всю семью... Где было достать продуктовые карточки, черт?! Детскую и иждивенческую... Там так и было написано: «иждивенческая», прямо хоть и не отоваривайся, от стыда сгоришь... Бабушка была «иждивенка», а она ведь просто работать уж не могла, совсем старенькая, еле двигалась... Спроецировать слово на всю сцену.. И на этом фоне с у м е т ь поставить пантомиму домашней работы, то есть, по тогдашним понятиям, иждивенческой... Или спроецировать на задник рабочую карточку; кажется, шестьсот или четыреста граммов хлеба на нее давали; и на фоне этой карточки показать лабораторию с окнами, заклеенными крест-накрест бумагой, чтобы не выбило взрывной волной во время бомбежек, и работу мыслителя, человека в белом халате, который недвижим, ибо он думает... В каком же мы долгу перед людьми науки! И на фоне доски с формулами можно как раз дать образ труда рабочего, Сталинградский тракторный, когда возле входа в цех шел бой, а на выходе ремонтировали танки... Придумать бы что-нибудь про сварку... Это будет грандиозно: фонограмма боя, и встык — рождение формулы сухой сварки... Черт,

есть ли такая? Срочно, сегодня же позвонить в институт сварки... Красивое сочленение понятий: «сухая сварка»... Выборочность памяти, чертовски интересно. Я не мог придумать этой самой сварки, наверняка где-то слышал или читал.. А почему запомнил? Неужели потому, что мой визит к Назарову был заложен в ка ком-то таинственном коде? Как это у Борева в «Анализе «Медного всадника»? «Внимательное чтение»? Он говорил мне, что академик Щерба рекомендовал студентам читать строфу Пушкина полгода, а то и год... «Только в этом случае, — говорил он, — вы сможете приблизиться к пониманию Пушкина, его гения...» А вообще-то страшно... Этак можно подменить Пушкина своими видениями, а еще хуже — представлениями... А может, именно толкователь — гарант вечности? Не будь у Христа апостолов, его учение б не дожило до наших дней...»

Первый звонок раздался в девять, Писарев был убежден, что звонит администратор Ирочка; звонила, конечно же, она.

— Александр Игоревич, сколько мы просили штатных единиц?

— А что? Звонили из управления?

— Нет, пожарники пришли, спрашивают, кто будет подписывать акт, у них тут много замечаний, а со мной говорить не хотят, интересуются, кто у нас есть штатный...

— Скажите, что я приеду..

— Нет, им главный режиссер не нужен, им директор нужен или заместитель...

— Заместителя нам пока не дают, Ирочка, а единицу директора мы делим на две: главный администратор, то есть вы, и главный художник...

Ирочка зажала трубку ладонью и начала ворковать с пожарниками; Писарев при этом быстро писал расписание на завтра: «9.00 — Кирилл Владимирович, 9.15 — звонок в АН СССР, в Ин-т сварки; 9.30 — Дом моделей, переговоры о костюмах; 9.45 — звонок или поездка в мастерские Худфонда, разговор о заднике и занавесе, утверждение эскизов...»

— Александр Игоревич, ни в какую.

— Давайте им трубку...

Ирочка сказала кому-то:

— С вами будет говорить главный режиссер театра, заслуженный артист Александр Писарев, пожалуйста..

— Здравствуйте, — услыхал Писарев низкий бас, — это лейтенант Жаворонков...

— Доброе утро, товарищ Жаворонков, что там у нас приключилось?

— А приключилось вот что, Александр Писаревич...— Жаворонков басисто откашлялся. — Мы акт подписать не можем, потому что нет у вас тут ни одного ответственного человека... Нам общественность только тогда нужна, когда мы нарушителей правил пожарной безопасности привлекаем... Так что придется склад опечатать.

— У нас есть решение исполкома, товарищ Жаворонков.

— Оно у вас есть. У нас его нету. Нас исполком и прислал. Так что мы своей печатью вас запечатаем, пока не будет уполномоченного подписать и принять ответственность...

«Тащить и не пущать, — вспомнил Писарев слова Щедрина. — А у нас начальников за это костят... При чем здесь бедные начальники?»

— Товарищ Жаворонков, давайте сговоримся так... Я приеду вместе с начальником отдела нежилых помещений Лаптевым к семи часам; поговорим по-людски, все обсудим ладом, а? Потом я должен передать для вашего коллектива три билета на творческий вечер Андрея Митрохина, он очень хотел, чтобы лично вы пришли...

...В одиннадцать тридцать Писарев был в райплане — надо загодя обговорить все вопросы, связанные с выделением фондов на оцинкованное железо (крыша склада все-таки протекала во время ливневых дождей); а еще Ирочка сказала, что можно выбить стеклянные панели, это вообще прекрасно: свет на сцену падает с потолка, как в ателье хорошего художника («или в хорошем ателье плохого художника», весело поправил себя Писарев), плановики отнеслись к просьбе нового главного режиссера доброжелательно, однако посетовали на бюрократию и попросили принести официальное письмо от строителей, которые бы гарантировали выполнение работы в плановый период; поехал к строителям; те узнали Писарева, долго жаловались на то, как мало выходит хороших фильмов, просили помочь достать томик Высоцкого, обещали посодействовать.

...Писарев поглядел на циферблат; на поездки он потратил уже три с половиной часа.

«Ну отчего же, — горестно подумал он, — проклятые буржуи так щедро оплачивают труд секретарей?! Почему профессор в университете имеет трех помощников? Что они там, добрее нас? Более щедрые? Да они задушатся из-за цента! Но ведь платят! Потому что просчитали: эксплуатируя г о л о в у того, кто может особенно полезно и продуктивно думать, они получат в миллион крат больше прибыли, чем сэкономят на тех грошах, которые затрачивают на оплату работы маленького штаба при том, кто изобретает, готовит лекцию, снимает фильм... Те часы, которые я потратил впустую, имеют товарную ценность... За это время я мог бы провести репетицию. Сто репетиций — спектакль; если спектакль удался, он будет приносить государству ежедневную прибыль примерно пятьсот рублей; допустим, люди ходят на этот спектакль пять лет; пять спектаклей в месяц; спрашивается в задаче: сколько мы отдадим обществу денег?»

Писарев остановился, достал из кармана блокнотик, долго умножал, шепча при этом, сколько останется в уме, и сам даже удивился получившейся цифре — 150 000 рублей.

«Это мы, лицедеи, — горестно подумал Писарев. — А если такое просчитать на академиках?»

5

В одиннадцать тридцать Кирилл Владимирович принял Грущина; машина уже сработала, кадровик побывал здесь перед ним; его подтолкнул к этому Игорь Ветлугин, друг Грущина, задействованный им вчера, словно «болван» в польском преферансе; он и вправду считал, что его звонок в кадры должен помочь Грущину протолкнуть Писарева; лучше если про огрех скажут свои, доброжелательно, чем недруги зло.

Похвальные грамоты редко хранят в личных делах; выговоры, однако, из личных дел не изымают, даже после того, как они сняты.

Не будучи человеком творческим, Грущин тем не менее обостренно, как-то даже сладостно чувствовал душу художника, видел ее пульсирующей, сокращающейся, живой.

Мешавшая ему в творчестве изначальная логика (в истинном искусстве логика возникает лишь после рождения замысла, который обычно внезапен) спасла Гру-

щина от жизненной катастрофы после того, как он, закончив институт, провалился с выпускным спектаклем. Другой бы на его месте отчаялся, запил, обрушился, но Грущину нельзя было отказать в мужестве и выдержке; он, что называется, «лег на грунт», начал оглядываться. И во время этого своего затаенного оглядывания он сумел увидеть и просчитать те линии связей людских, которые незримо, но постоянно (на какой-то отрезок времени, понятно) определяют те или иные секторы общества.

Грущин разбил на составные части такие понятия, как «сострадание», «благородство», «жалость», «ответственность», «долг», «честность»; особо тщательно он анализировал суть отношений старших к младшим, выделяя при этом, конечно же, мир театра; мужчин — к женщинам и наоборот; он просчитывал для себя допустимые границы выражения обиды, отчаяния, странности, счастья.

Он легко защитил диссертацию по искусствоведению, взяв темой творчество профессоров своего института, одним из которых был Самсоньев, художественный руководитель их курса.

Его статьи были посвящены лишь тем, кто уже был на вершине.

Он знал, что похвалу с н е с е т каждый.

Он готовил свои позиции загодя.

Он сумел доказать свою нужность. «Он доброжелателен, — говорили о нем. — Да, не режиссер, но другой бы озлобился, а этот нашел себя в новом качестве; он живет по закону открытого забрала».

Именно поэтому, перед тем как ехать в управление, Грущин позвонил народному артисту профессору Самсоньеву и попросил уделить ему десять минут.

— Алексей Алексеевич, — сказал он, когда мастер пригласил его на кухню (гордился тем, что вся была отделана обожженной вагонкой; чисто деревенская атмосфера; над электрической плитой была устроена стилизованная под старину вытяжка; сковородки висели медные, подарили ученики с Кавказа), — надо выручать Саню Писарева.

— А что, та сказа, случилось? По-моему, он на коне...

— Это по-вашему. Его, бедолагу, конь может с минуты на минуту растоптать... Я бы хотел, чтоб пронесло, но сие не от меня в настоящий момент зависит...

— Бутерброд хотите?

— Спасибо, я завтракал, с удовольствием выпью стакан чая.

— Крепко заварить?

— Нет, не надо, спасибо, я пью шиповник.

— Что случилось, рассказывайте...

— Вчера мне поручили готовить на него приказ: открываем театр, то есть придаем коллективу титул театра, он ведь уже состоялся, и состоялся здорово, талантливо...

— Вы не писали о нем? Я смотрел его выездные представления, здорово... Но вы не писали, та сказа?

— Еще не опубликовал, но уже написал. Не в этом сейчас суть. Саня снова попал в какую-то грязь, что-то там связано с бриллиантами, его жена занялась куплей или продажей... Но он об этом вроде бы не знает, поэтому я и приехал к вам как к мастеру...

— Ну? — нетерпеливо спросил Самсоньев. — Куда надо звонить?

— Пока никому. Я надеюсь успеть провести приказ сегодня, но если докатится до верха, Саню надо прикрыть...

— А что это за история с бриллиантами? Откуда это у него?

— Не у него, у жены...

— Ах, какая незадача... Уголовщина?

— Нет, нет, спаси бог! Разве он на это пойдет? Но вы же знаете, как у нас все обрастает слухами? Словом, я боюсь, что мой шеф решит переиграть, отступит, скажет, что сейчас не время открывать его театр, все-таки Саня заявил свою труппу как коллектив политического действа... Вот штука-та какая... А если отложат открытие, то это надолго...

Самсоньев намазал сухой хлебец творогом, алчно и хрустко откусил большой кусок, проследил маленькими глазами, не упали ли крошки на стол (был опрятен до болезненного), спросил, прожевав:

— А как ваши отношения с Писаревым?

— Никак.

— То есть?

— Вы же знаете его не хуже меня. Я им восхища-

юсь, но ведь он наверху теперь, что ему до меня, бюрократа?

— Я скажу ему, как вы по-рыцарски себя вели...

Грущин пожал плечами:

— Не ради этого приехал... Я думаю, что если мне удастся уговорить шефа в случае, если до него уже докатилось...

— От кого докатилось?

— От кадров... Я вчера совершенно случайно узнал об этой бриллиантовой истории, когда был у кадровика, понимаете? Я сидел у него, а тут стали звонить из угрозыска...

— Ну, дальше...

— Есть один только способ спасти и Саню и его театр... Вы должны согласиться стать председателем художественного совета, худруком нового коллектива...

— То есть?

— То есть ваш авторитет не позволит зарубить все дело на корню.

— А Писарев?

— Будет ставить свои спектакли! Не станете же вы отбирать у него эти двести рублей...

— Погодите, погодите, но ведь на афише будет стоять мое имя, а не его... А он придумал и затеял все это предприятие... Да нет, погодите, так нельзя, Вася... Надо позвонить Писареву и спросить его, что он думает об этом.

Грущин знал, что мастер скажет именно так; он ждал этого вопроса, точнее говоря, вел к нему, ибо ответ его был готов и слажен, выверен до самой последней мелочи.

— Вы тогда заодно позвоните моему шефу Кириллу Владимировичу и расскажите ему, как я занимаюсь разглашением служебных тайн...

Самсоньев аж крякнул, дожевал свой хрустящий хлебец и сказал:

Если вы думаете, что мое согласие спасет писаревский театр, то придумайте, как отбить для него имя в афише...

— Сначала надо открыть театр... Повторяю, может быть, до Кирилла Владимировича еще и не дошло, давай-то господь...

- Хорошо, держите меня в курсе дела...

— Надо, чтобы вы побыли дома хотя бы до часу...

— Не могу. У меня репетиция со студийцами в двенадцать.

— Я должен быть у шефа в двенадцать. Но вы же знаете, его могут задержать, вызвать... Пожертвуйте для дела репетицией, вы ж нас к себе домой приглашали работать...

— Моложе был, потому и приглашал, — вздохнул Самсоньев.

— И последнее, мастер. — Грущин вел свою роль точно, выверив все до малости, ибо знал, как Самсоньев чувствует фальшь. — Теперь уж обо мне... Я закончил докторскую... Если вы не станете моим оппонентом — удавлюсь...

По тому, как Самсоньев поднял на него глаза, Грущин сразу же понял, что тот подумал. Он обязан был подумать, что Грущин пришел к нему с просьбой о Писареве лишь для того, чтобы получить свой навар с этого неожиданного визита. Пусть он думает про меня как про мелкого торговца, я же знаю, он не очень меня жалует, потому что я никогда не открывался с ним, как Санька, пусть он даже побрезгует мною или пожалеет меня, пусть, только бы он ответил Кириллу Владимировичу «да», когда тот позвонит, а уж то, что тот позвонит, сомнения нет, я знаю, как там сыграть, легче, чем здесь.

...Самсоньев подумал именно так, как понудил его к этому Грущин.

...Месть — это наслаждение бездарей, и сколь же оно им сладостно!

...Выйдя от профессора, Грущин сел в свой старенький битый «москвичок» и поехал в центр через Ленинские горы. Там, затормозив напротив маленькой церквушки с синими куполами, он, включив стоп-сигналы и моргалку, вышел из машины и внимательно оглядел колеса (ему сделали предохранительные колпачки, потому что постоянно боялся, как бы кто не ослабил винты; до ужаса явственно представлял себе катастрофу, когда машина летит в кювет и взрывается; так же мучительно близко ему виделся взрыв в самолете при наборе высоты, в момент отрыва от земли, поэтому никогда не летал, даже на конференцию во Владивосток ездил поездом, мотивируя это необходимостью посетить театральные труппы Восточной Сибири, Бурятии и БАМа).

Колпачки были на месте.

Грущин перебежал дорогу, остановился на краю обрыва, долго смотрел на прекрасную панораму утренней Москвы, потом достал из кармана старую трубку — с ее именно помощью пять лет назад бросил курить, — сунул в рот, представил себе, что набита она хорошим медовым «глэнном», пыхнул «по будто бы» и сказал себе: давай-ка, Вася, перепроверим еще раз расстановку фигур на доске. Сначала давай еще раз проанализируем изначалие моего решения поступить именно так, как я поступил. Почему я решил ударить? Вспомнил второй курс? То, как он оскорбил меня при всей профессуре, а я не смог ему ответить, не ударил его и с той поры был отброшен со своей позиции раз и навсегда? Можно, конечно, начать отсчет оттуда. Но ведь я могу сказать себе, что Писарев просто-напросто занесся, он счастливчик в искусстве, его не били, он входил в театр, как нож входит в масло; человек, который не страдал, не может быть по-настоящему великим художником, только боль рождает новое качество в творчестве; оно добреет, делается глубоким, открывает новые, дотоле неведомые пласты жизни. Значит, получив этот удар, Писарев поднимется на новую ступень, и общество будет благодарно тому, кто помог случившемуся. Почему я не вправе выстроить такого рода партию? Грущин услышал в себе вопрос: «Ты строишь партию защиты?» Нет, возразил он тому, кто позволил этому вопросу, неприятному и чужому, возникнуть в нем самом, я не намерен защищаться, ибо я не нападал. Я лишь корректировал происходящее. Жизнь определяется вероятиями. Разве я не вправе допустить мысль, что кадровик сам бы пошел к шефу? Наверняка пошел бы, это его долг; мы централизованны, и это целесообразно при наших размерах, иначе все разъедется, по швам разойдется; информация необходима, ибо живем в век информации; разве кто-то оклеветал кого-то? Написал донос? Я не виноват в том, что милиция запросила на него характеристику. Так получилось, что именно я узнал об этом первым. Случайность? Но ведь всякая случайность есть выявление закономерности. Другой бы на моем месте легко мог сделать так, чтобы вся идея Писарева оказалась битой, ни о каком театре могло бы не быть и речи. Действительно, и его директор Киреев с левыми концертами, и институтские еще дела, когда он участвовал в драке, и было возбуждено дело, и его спасло лишь то,

что изменилось в его пользу время, а сейчас эта афера с бриллиантами... «Какая афера? — снова услыхал он в себе вопрос и понял, что ему неприятно то, что вне его воли в мозгу возникают ч у ж и е вопросы. — У его жены украли колье жулики... Это колье ее деда, в чем же афера?»

Он вдруг ощутил поднявшуюся в нем волну теплой радости, но он заставил себя подавить ее, эту слепую, родную ему радость, и ответил кому-то другому, что Пушкин только потому смог написать и Моцарта и Сальери, что рядом с ним жил Кукольник, и купался в лучах славы, и государь любил его... Да, каждый человек рожден из «я» и «анти-я» — ничего не попишешь. Пушкин умел быть Моцартом, но ведь смог примыслить Сальери.

И снова в нем родилась мысль, неподвластная ему, какая-то сторонняя и холодная: «Ты мог бы гениально поставить Бомарше, никто еще не мог точно прочесть образ Дона Базилио; во всех трактовках он стращал, играл порок, а надо все делать наоборот: Дон Базилио — обескоженный добродетель, искатель высшей правды, он разоблачает клевету, вскрывает ее механизм ко всеобщему сведению, предупреждает человечество об опасности...»

А что, верно, подумал Грущин. Но, к сожалению, в ближайшее обозримое будущее мне нет смысла ставить Бомарше, во всяком случае, пока жив Самсоньев...

Он скажет «да» шефу. Он обязательно скажет «да», потому что последние десять лет его преследовали неудачи и на телевидении и в театре. Его постановки хвалили, но на них никто не ходил. Он потерял темп, а может, не понял стилистики нового времени. Оно очень сложно, наше время. Как у каждого времени, у него есть свои законы, которые станут понятны лишь потомкам. «Лицом к лицу лица не увидать». Именно так. А Лену он любит, а ей тридцать четыре; он старше ее на сорок лет. Как это говорят, «ночная кукушка дневную перекукует»? Так, кажется. Он может куковать только днем. А этого Лене мало, чтобы удержать ее, он обязан вновь стать объектом общественного интереса. Памяти сострадают, привязаны лишь к живому. Афиши с его именем по всему городу — это живое, это привяжет к нему Лену, она человек деловой,

у нее в мозгу компьютер, просчитывает на пять ходов вперед... Саня так бы себе не ответил, впрочем... Он бы наверняка пошел к Ботвиннику и дотошно его выспросил, на сколько ходов вперед думает большой мастер... А вот мне кажется, что просчитывают на пять ходов вперед. И я навяжу это мнение тем, кому хочу его навязать. Вот так-то...

Самсоньев, конечно, выдвинет какие-то условия, и я, в общем, чувствую, какими они будут, я подготовлю к разговору шефа. Саня — после случившегося — не станет звонить, узнавать, писать... Если бы речь шла о Митьке или Кочаряне, он бы, конечно, полез в драку. А за себя не станет... Да и потом он в углу... «Неужели творчество вам не дорого, но лишь тщеславие? Побольше скромности, товарищ Писарев... Станиславский не думал об афише, когда создавал театр... Мейерхольд был счастлив тем, что мог ставить свои вещи и после того, как перестал быть главным режиссером... Для любого художника честь работать вместе с профессором Самсоньевым, разве нет? Он выпестовал вас, за ним звание, опыт, имя, наконец... Или вы не хотите работать с прославленным мастером сцены?»

Пусть поносит в себе обиду... Как я ее носил всю жизнь... Неотомщенную обиду... Пусть поворочается всю ночь напролет в кровати, пусть покусает костяшки пальцев, как я кусал... Ничего, если переживет, то поднимется еще на одну ступень... И сделает такое, что потрясет людей...

«И тебе это будет приятно?» — он снова услыхал чужой голос.

Грущин отчего-то заставил себя усмехнуться; он потом так и не смог понять, зачем он понудил себя к этому, но улыбнулся.

Хорошо, а как на все это посмотрит Назаров? Он с завтрашнего дня в отпуске, радость, защита у дочки, поездка на юг и все такое прочее... Хорошо, а ежели шеф все-таки не станет подписывать без согласования с Назаровым? Писарев ведь был именно у Назарова, и тот дал добро театру... Надо проработать вопрос о «мелочах»... Верно говорят, мелочей нет... Тезис и антитезис. «Зачем, Кирилл Владимирович, идти с этим частным

вопросом к большому шефу? Стоит ли вообще ворошить грязное белье? Обернется-то против нас, работа с кадрами и все такое... А Писарев будет рад, что к нему пришел сам мастер, он обожает Самсоньева... А еще лучше дать дополнительную единицу для режиссера, это вообще гениально... Все соблюдено... Ради престижа нового дела во главе становится народный артист, лауреат, профессор, а режиссер Писарев... Театр публицистики, яркая современность, стоит ли подставлять большое новое дело? У Писарева множество завистников, слухи об этом несчастном колье не удержишь; не вода за плотиной — слухи все равно пойдут. Уверяю вас, Писарев будет по-настоящему рад такого рода решению... Пройдет время, улягутся разговоры, которые неминуемы, можно будет пересмотреть афишу, да и Самсоньев не вечен...» Стоп, про это не надо... Есть национальная корпоративность, есть классовая, но и возрастная тоже довольно сильна... «Уверяю вас, Кирилл Владимирович, мы нашли оптимальный вариант, что ж по каждому пустяку согласовывать, в конце концов, инициатива решает все». «Судьба таланта не пустяк, товарищ Грущин, талантом надобно дорожить...» Может и так ответить, верно... «Видите ли, Кирилл Владимирович, Писарев в письме на имя товарища Назарова ставил вопрос о театре, и этот главный вопрос решен положительно. Смотрите, Писарев просил пять штатных единиц: главреже, директора, дирижера, главного художника, механика... А мы даем ему дополнительную единицу «режиссера». Можно, конечно, и подождать с приказом, время терпит, но, вы говорили, Назаров просил провести все за два дня, снова на нас все шишки посыплются. Поверьте мне, все-таки я вырос в театральной среде, предлагаемое решение — оптимально... Вспомните, наконец, кино... Посмотрите титры... Ученик — в качестве режиссера-постановщика, и отдельный титр для мастера и художественного руководителя... Ближайший друг Писарева, помню, Левон Кочарян был счастлив, когда известный режиссер согласился быть его художественным руководителем...» А потом можно подбросить на закуску: «Пригласите к себе Писарева, поговорите с ним начистоту». Ага, конечно же, поежится, кому охота? И к Назарову идти не с руки; в конечном счете именно Кирилл Владимирович санкционировал начало работы Писарева, когда **тот** начал катать со своим табором по клубам и дворцам культуры... «Ах, Кирилл Владимирович, Кирилл

Владимирович, думаете, не найдутся и в нашем коллективе люди, которые с радостью бросят в нас камень: вы ж первыми поддержали опыты Писарева, когда тот начинал два года назад! Еще как бросят! А чем мы с вами будем крыть?» Именно так, надо постоянно связывать его с собою, не бояться ответственности, да, виноват, промолчал, ибо хорошо знал грешки Писарева поры его юности, но какой талант безгрешен?! Это я, чиновник, должен быть на просвет чистеньким, а Писарев — человек особый, ищущий, на что-то приходилось закрывать глаза, да и потом меня бы не преминули упрекнуть в зависти, как-никак окончил театральный, в дипломе стоит профессия «режиссер»... Нет, об этом не надо, начнет задавать вопросы, когда, где, у кого, с кем... Можно и дальше поднажать, что, мол, юного хирурга — надо уточнить кого — даже судили, дали два года, зарезал на столе больного, а потом героем стал, академиком... Или Рамзин? Первый лауреат Сталинской премии — ведь был обвиняемым на шахтинском процессе, искупил вину талантом своим... Нет, опасно, Кирилл Владимирович может сказать, что и Писарев искупил... Хотя есть ответ: там шахты или больница, здесь театр... Нет, не надо, перебор во всем хуже, не только в картах... Впрочем, держать про запас надобно все; кто знает, глядишь, пригодится главное, оглоушить, вызвать растерянность, заставить прийти к решению подумать еще раз, пообождать.

В одиннадцать сорок Кирилл Владимирович позвонил Самсоньеву. Тот репетицией со студийцами пожертвовал, звонка ждал...

6

...В бассейне «Москва» седьмой павильон сделался своего рода литературно-театральным клубом.

Два раза в неделю, по утрам, здесь собирались актеры театра и кино; плавали, однако большую часть времени проводили в парной, сгоняя лишний вес; мазались солью или медом и, чтобы не скучно было потеть, предавались беседам об искусстве.

Именно здесь-то и нашел Писарев своего друга.

— Знакомься, твой коллега из Питера, — сказал Степанов, кивнув на пепельноволосого гиганта с римским профилем. — Лаемся второй день, в пору печатать коммюнике; «переговоры проходят в духе сердечности и откро-

венности», особенно если речь идет об иракско-иранском конфликте.

— Удалов. — Гигант протянул длинную ладонь.

— Писарев.

Степанов вздохнул, потянулся по-кошачьи, зевнул:

— Слушай, Удалов, а где ваш Пикассо?

— Он любит плавать, — ответил Удалов. — Соли разгоняет.

— Наш художник, — пояснил Степанов. — Он традиционалист, поэтому мы зовем его Пикассо. Ведь Пикассо был так же традиционалистом в своей манере, нет?

Писарев понял, что Степанов зол; он не ошибся.

— Мы спорим, Саня, — вздохнул Степанов. — Второй день спорим. Удалов, пригласим Писарева в арбитры?

— А я, честно говоря, не считаю себя поклонником манеры Александра Писарева, — ответил тот. — Меня интересует маленький человек в его каждодневных заботах; я, Дмитрий Юрьевич, Чехова чту.

— Ба-альшой оригинал, — заметил Степанов. — Скажи на милость, как храбр, Сань, а?! Он Чехова не боится чтить!

— Я не совсем понимаю происходящее, — сказал Удалов, поднимаясь с подоконника, на котором они сидели у входа в парную. — Если у вас есть претензии к снятому материалу, давайте их обсуждать, а так... Я не понимаю предмета... Вы ж подписали мой режиссерский сценарий? Подписали. А теперь то не нравится, это не годится...

— Подписал — не подписал, дорогой Удалов, это из другой сферы жизнедеятельности. Я ж не протокол задержания подписывал, а режиссерский сценарий. Вы изложили свое видение моего сочинения... Я ведь обязан верить вам, старина! Нельзя начинать предприятие и не верить в того, кому надлежит вести дело до конца! Я полагал, что когда появится третье измерение, то есть его величество актер, то заиграют новые краски, родится интонация... А вы мои слова пробрасываете, купируете, вам важно, как актер сидит, ходит, закуривает... Понимаю, без этого нельзя, но я знаю свои слабые стороны, но и сильные тоже знаю... Вы не даете актерам говорить мои слова, вы торопите их, у них нет времени думать, и в результате получается не моя вещь... Так, рюшечки, грусть, тоска, маленький человек... Премьер-министр может быть маленьким человеком, а сельский учитель — великим

мыслителем. Если отсчет «маленького человека» в российской литературе начинать от пушкинского Евгения, из «Медного всадника», так он царю грозился, когда его беда настигла, царю, да еще какому! Чеховские маленькие люди тоже, кстати говоря, большую опасность в себе несли, порох в бочке, поднеси фитиль — жахнет! А у вас оборочки... В сцене говорят о политической ситуации, зрителю должно быть все ясно, как дважды два, а вы велите актерам разыгрывать упражнения из режиссерских задачек для второго курса, когда обязательные предметы проходят... Я заранее знаю, куда вы поведете: плохой у вас — очень плохой; хороший — обязательно молчалив и скорбно улыбается... А мои герои не такие... Плохой обязан быть и хорошим, очень хорошим, только тогда он станет страшным, то есть по-настоящему плохим! А хороший пусть в чем-то будет сукиным сыном, пусть болтает, задирается, жене изменяет!

— Это не пропустит худсовет...

Степанов изумленно посмотрел на Писарева:

— Да при чем здесь худсовет? Я же не рецепты даю и не пишу реплику! Я рассуждаю вместе с вами! Я пытаюсь обговорить концепцию, Удалов, хороший вы мой! Ладно, плавайте, потом договорим...

Посмотрев вослед картинно удалившемуся Удалову, Писарев покачал головой:

— Митя, ты ни о чем не договоришься с ним. Он другой, понимаешь? Есть люди, мы с тобой, наши друзья, а есть и другие... Так вот он — другой. Он говорит на другом языке, у него другие мысли... В нем нет неожиданности, он «селф мэйд мэн», «самосделанный человек», только в дурном выражении... «Он неожидан, как фишка, ветрен, словно март, нет у поэта финиша, творчества — это старт...» А разве в нем может быть хоть какая-то неожиданность?

Степанов неожиданно спросил:

— Ты Ахматову любишь?

— Очень.

— А я только вчера полюбил, вот дуралей-то, а? «Один идет своим путем, другой идет по кругу, и ждет возврата в отчий дом и прежнюю подругу, а я иду, за мной беда, не прямо и не косо, а в никуда и в никогда, как поезда с откоса...» Поразительно, а? По стилистике — Анна Каренина в рифме, да?

— Ты ее раньше не знал?

— Наверное... Пытался читать, но не входило... Надо

ведь, чтобы в о ш л о, тогда только поэзия станет твоею... Я бы в пропагандисты принимал, как в члены творческого союза, со всеми вытекающими отсюда льготами и наградами, честное слово... «Бу-бу-бу», а сам не понимает, что говорит... А мне женщина вчера читала... Хотя нет, сегодня уже... Знаешь, есть стихи утренние, а есть вечерние...

— Точно. Особенно у Ахматовой.

Он любил три вещи на свете:
За вечерней пенье, белых павлинов
И стертые карты Америки.
Не любил, когда плачут дети,
Не любил чая с малиной
И женской истерики.
...А я была его женой.

— Слушай, давай сбежим, а? — сказал Степанов. — Поедем в «Арагви», мы там вечность не были. Едем, Сань?

— А ты мне триста дублонов одолжишь?

— Конечно.

— Только я верну не раньше, чем через три месяца.

— С главрежской зарплаты? Сколько тебе положили?

— Постучи по дереву.

— В данном случае по дереву можно и не стучать, дело верное.

— Заедем тогда на телеграф, я переведу в Гагру...

О своих домашних делах они старались не говорить — и тому и другому это было больно; когда в компании малознакомых людей Степанова начинали выспрашивать, где Надя, отчего не пришла, чем сейчас занимается, Писарев, глядя на друга, испытывал острое чувство тоски, даже под ложечкой холодело. И он всегда горделиво поражался выдержке друга: тот отвечал рассеянно, улыбался при этом, умело уходил от слишком уж назойливых вопросов, ловко переводил разговор на другие темы, захватывая при этом инициативу; только Писарев замечал, как потом менялось его лицо: он старился, делались заметными сеточки морщин под глазами, на висках проявлялась нездоровая желтизна, и весь он делался как фотопортрет, выполненный на крупнозернистой пленке.

...Первым человеком, кого Писарев увидал в «Арагви», был Назаров.

— Банкет у Арины здесь будет, — пояснил он, — в семь часов. Проверяю готовность... Ну, у вас все в порядке? Можно поздравлять?

— Завтра, видимо.

— Ну-ну... От всего сердца. Я дал все команды...

— Я вас поздравляю, Станислав Федорович, с молодым кандитатом Ариной Станиславовной.

— Постучите по дереву.

Писарев представил себе, как бы фыркнул Митька, если б услыхал эту фразу большого босса. Как же все стремительно меняется, бог ты мой! Тридцать лет назад человека в узких брюках называли «стилягой», а уж того, кто носил пиджак с разрезом, молодые ревнители нравственности могли попросту задержать на улице. А сегодня стоял рядом с Писаревым первый заместитель начальника главка, и брюки у него были узенькие (сейчас, правда, стилягами считали тех, кто носил широкие, расклешенные, в которых раньше ходили ревнители), в пиджаке со шлицей, и галстук на нем был нарядный, яркий, и он не костил Писарева формализмом, а, наоборот, поддержал его идею создания нового зрелища. А что это, кстати, такое, формализм? Разве балет — от начала и до конца — не есть гимн форме? А греческая статуя? Да и вообще разве реализм существует вне формы? Что существует вне формы? Дух? Но ведь и религии ищут для себя соответствующую форму.

...Никого из тех официантов, с которыми Левон, Степанов и Писарев дружили, когда приезжали сюда — с первых своих заработков — пировать вместе с Эдиком, Мишей, Андреем, Эриком, не было уже. Работали все больше женщины, а раньше они всегда садились к Аркаше, армянину, дружочку, который не спрашивал, какой будет заказ; он приносил много зелени; тогда здесь была и кинза, и цицмади, и тархун; потом он угощал их жареным сулугуни и горячим лобио, а заключал пиршество куриной чихуртмой, господи, когда ж это было?!

...Толстая, малоподвижная официантка на их вопросы о тех блюдах, которые они всегда брали, отвечала односложным «нет»; было ей откровенно скучно; она ждала вечера, когда придут компании и закажут ветчину, водочку, сыр, коньяк, икру, все будет, как полагается, а эти базлают про какие-то потроха, где они их видели, эти потроха; гребешки; еще чего захотели, поди выполни план с этими гребешками, сразу в трубу вылетишь.

Писарев заметил, как Степанов набычился; положил руку на его колено, обезоруживающе улыбнулся официантке:

— Девушка, вы не сердитесь, мы бутылку тоже закажем и порцию икры возьмем... Только у моего друга мать — грузинка, он сам приезжий, поблагодарит от души, главное, чтоб зелень принесли, кавказцы без нее не люди...

Официантка подобрела, заказ приняла, «отколыхала» на кухню, а Степанов, посмотрев ей вслед с горестным недоумением, сказал:

— Саня, запомни: лишь двумя инструментами природа одарила истинных литераторов — впечатлительностью и вдохновением... Нет, правда, когда меня обидят, я писать начинаю как одержимый... И еще одно я вычитал, про нас, пишущих и созидающих... Никто так легко не истолковывает в плохом свете любой поступок окружающих, никто так подозрительно не относится к обычным событиям, никто так не подозрителен и не впадает так легко в ярость или уныние, как люди, одаренные даром творить... Скажи нет?

— Скажу да.

— Серьезно, я сейчас ехал и думал все время: ну, почему возник этот самый Удалов? Он же дуб! Почему я согласился, чтобы именно он ставил мой фильм? Я всех знакомых перебрал в уме: кто-то ведь рекомендовал его мне? Значит, интрига?! Хотят подставить под удар?! Раздолбать в газете?! Критика повлияет на моих издателей, они начнут страховаться, высчитывать, что это может значить, начнут мурыжить рукописи, не включать в план публикаций; заговор, караул! Я хоть и провожу сам с собою психотерапию, но помогает далеко не всегда.

— В этом нет ничего странного, Митя. Талантливость — это определенного рода аномалия. Ньютон страдал периодическими расстройствами ума; Глюк от пьянства умер; вспомни Руссо. Где талант — там редко встретишь логику. Тассо всю жизнь бранил царский двор, а сам жил их подаянием и пресмыкался перед каждым, кто стоял выше его; Свифт, будучи священником, поносил религию; Руссо отрекался от всего того, что перед тем славил. Никто из больших гениев не мог жить на одном месте, как, например, я, простой, смертный. Кардан метался по миру, Руссо, Эдгар По, молодой Горький; а Пушкин? А непонятная тяга к постоянным изменениям? Паскаль часто бросал физику и принимался за проповеди, Свифта

всегда тянуло в политику и историю, Уолт Уитмен был счастлив, когда бросил свое плотницкое ремесло и сделался чиновником..

— Хорошо б, если ты рассказал об этом Наде лет пятнадцать назад, когда мы только начинали... А я — твоей Лидухе...

— Я интерпретатор, Митяй, я вне категории созидателя, сиречь таланта... А вот что ты станешь делать с этим своим Феллини, я ума не приложу..

— Ты ощущаешь, как стремительно стало время, Сань? Как это гениально сформулировано: «С ярмарки», а?

— У тебя по-другому, Митяй. Ты сам. Сам с собой. А мы в группе, мы кончаем репетицию и ждем завтрашнего дня...

— А ты думаешь, я не жду завтрашнего дня, когда кончаю главу? Еще как жду. А все равно ужасно боюсь времени, до черта, видно, придется унести с собою идей в мир иной, я уж думаю записать побольше сюжетов, которые не успею... которые могу не успеть реализовать.. Ничего фраза, а? «Реализатор сюжетов»...

— Ты — сам, — повторил Писарев. — Тебе труднее.

— Левона Кочаряна часто вспоминаешь?

— Очень.

— Я каждый день. Утром и вечером... Странное мы поколение: вот-вот пятьдесят, времени стали бояться, а внутри все равно ощущаем себя мальчишками. Разве ты веришь, что тебе сорок восемь, Сань?

— Нет. Только если сердце кольнет.

— Когда колет — не страшно, невралгия...

Официантка принесла закуски, бутылку; изучающе посмотрела на Степанова и заметила:

— Никакой он не грузин, самый что ни на есть русский.

Они выпили; Степанов вздохнул

— Знаешь, о чем мечтаю? Чтоб как раньше было... Когда мы скидывались на бутылку с красной головкой; бородинский хлеб с солью, луковица и вареные яйца...

— А пельмени? Помнишь, как мы варили пельмени?

— Я на тебя тоску нагоняю, да, Сань? У тебя радость, а я в полнейшем миноре... Кстати, могу тебе подбросить занятную тему для спектакля... «Клан»... О семье Кеннеди; может быть, крайне интересно... Что определяет судьбу человека? Закономерность? Или рок? Или генетический код?

— Интересная тема. Закономерность, рок и код, все связано в один узел...

— Саньк, а ты помнишь Коктебель шестьдесят второго?

— Помню. Отчего ты про это?

— Не знаю. Налей, а?

— Заставишь своего Удалова переснять материал, фамилию в крайнем случае снимешь...

— Э, — Степанов махнул рукой. — Проигрывать больно. Слишком мало партий осталось... А я Коктебель теперь тоже чуть что не каждый день вспоминаю.

Он, Митяй, устроил тогда так, что и Писарев и Левон смогли — по письмам театра и киностудии — получать путевки в писательский Дом творчества «Коктебель».

То лето было особым; ни разу погода не портилась, небо было высоким и до того голубым, что иногда казалось, будто его совсем и нету; Мария Степановна, вдова поэта Максимилиана Волошина, была еще совсем бодрой, часто принимала у себя, рассказывала о прошлом так, будто «коктебельские встречи» были вчера, и будут завтра, и приедут знаменитые наши писатели, академики, режиссеры, артисты — и наши одногодки, будущие знаменитости...

— Иных уж нет, а те — далече, — сказал Писарев. — Ты об этом?

— Об этом, — вздохнул Степанов. — Помнишь, как мы делали шашлыки возле забора?

— Помню. Это, когда ты молодой, кажется, что можно отойти за двести шагов и будешь сам по себе...

— Хорошо сказал.

— Ты давно не был в Коктебеле?

— Я боюсь ехать туда, Сань. В молодость возврата нет, есть уход в память, а это самый близкий путь к сентиментальной старости.

— Слушай, а давай махнем туда вместе, Мить? Хоть на пару недель?

— Я боюсь, — повторил Степанов. — Даже вдвоем — боюсь. Можно, конечно, пригласить подруг, не брать пишущей машинки, но это будет реанимация, а реанимируют все же ненадолго, потом станет еще хуже; мы будем все время играть, и даже перед самим собою играть, а это, мне кажется, невыносимо...

— Если увлечешься — не утомительно, даже приятно.

— Это если на сцене, Сань... Жизнь-то прожита, брат...

Он сказал это просто и спокойно, и Писарев вдруг понял весь ужас этих слов, но словно бы какая-то незнакомая защитная сила возникла немедленно в его сознании, и он услыхал одно лишь — «театр», а потом увидел зал; сцену, где собираются друзья; лица будущих зрителей; он ощутил сладостный запах кулис, таинственную темноту, возникающую за колосниками, и ответил:

— Мить, не прожита. Она была б прожита, если б мы сделали все, что могли.

— А мне кажется, что мой пик кончился... Я сделал все, что мог. И спускаюсь... Иду с горы, стараюсь замедлить спуск, а никак; давит спину, все быстрее бежится, все быстрей...

— Я тебя в нашем театре задержу, Мить, — пообещал Писарев.

Тот вздохнул, посидел, закрыв глаза, потом улыбнулся:

— Попробуй, Сань... Это было б замечательно...

После театра он заехал домой, проспал ровно час, без будильника; принял душ, отправился на завод, где работал брат одного из студийцев; обещал помочь с заказом на особый кран; Писарев считал, что скорость монтажа сцены сейчас, при том, что есть кино и телевизор, имеет огромное значение; в цеху молодой парень, глянув на чертеж, пожал плечами:

— Если уж блоху подковали... Ваня объяснял, вам нужен резкий отъезд и спуск... Я понимаю, я на встрече был с режиссером Дашковым, он рассказывал, как его замысел погубили таким краном...

— Это как? — заинтересовался Писарев.

— А так. Ему в финале надо было вертолет получить, чтоб оператор медленно поднимался и снимал убитых героев, которые город спасли... Чтоб зритель сначала лица видел, потом тела, а потом маленькие точки на снегу, а потом — ничего... Вертолета не дали, говорил; их, оказывается, тоже жмут, киношников-то; уговорили взять кран, обещали высокий сделать; обманули; очень Дашков образно про это излагал, я даже расстроился; я ему объяснил, как можно кран переделать, а он: «Полно, в кино что снято, на том точка».

С завода Писарев поехал в балетное училище, обещали отдать старые станки; думал выпросить старые зеркала, студийцы были связаны со стекольщиками, просили дать им основу, остальное обещали сделать сами; Писа-

рев считал, что современный театр невозможен без пластинки, движения; какие-то сцены он видел обрамленными танцем; движение мысли можно выразить движением движения, а уж подтвердить — тем более; подтвердить — не проиллюстрировать.

Оттуда поехал смотреть в Дом культуры картину Элема Климова.

Домой вернулся с фотографом Шурой; тот предложил использовать его персональную выставку в качестве макета будущих декораций; проговорили допоздна, чертовски интересно.

Перед сном, проводив Шуру, Писарев подумал о Степанове; весь день, после того как расстались в «Арагви», ему было тревожно за друга.

«Завтра вечером устроим пиршество в театре, — решил он. — И позовем Митьку. А потом утащу его сюда. Или к нему поедем. Не надо ему сейчас быть одному»

Закрыв глаза, он сразу же увидел лица детей и поэтому уснул радостным.

7

«А голова-то не болит, — подумал Писарев, открыв глаза. — Когда ждешь счастья, голова никогда не болит; страдаешь, если только надвигается неприятность».

За мгновение перед тем, как посмотреть на часы, он уже знал, что сейчас шесть часов десять минут.

Стрелки показывали шесть часов три минуты.

Писарев взбросился с дивана, оделся, натянул шерстяные носки, затолкал чуть опухшие ноги в свои старые разношенные бело-красные «ботосы» и отправился на пробежку.

«Позвоню в четверть десятого, — подумал он, переходя на бег. — Это тактично, никто не обвинит в назойливости, хотя ужасно хочется набрать номер в девять, как только стрелки замрут на секунду, организовав эфемерный, стремительно и безвозвратно проходящий сектор девяноста градусов... Эк, куда потянуло... «Аркадий, ну, пожалуйста, не говори красиво...» Великие тем и великие, что рубили афоризм... Запомнить легко... Лишь память людская гарантирует величие, то есть жизнь после смерти...»

Он бежал валко, чувствуя тело собранным, ощущая продольные мышцы спины; это была его защита; когда было плохо, он напрягался, и если чувствовал жгуты

вдоль спины, то ему казалось, что это Левушка стоит сзади, а тогда не страшно, от кого угодно можно отмахнуться, никакая кодла не опасна.

«Митька щедрый. Только щедрые могут творить, — рассуждал он с самим собою. — Спектакль будет называться «Расследование». Задник — пальмы. Митька говорил, что в Голливуде стоят огромные пальмы, крона, словно взрыв, голову приходится задирать, разгоняешь соли, смерть остеохондрозу! Как это у Пастернака? «В траве меж диких бальзаминов, ромашек и лесных купав лежим мы руки запрокинув и к небу голову задрав... И так неистовы на синем разбеги огненных стволов...» Черт, вот слово! Впрочем, пальма — волосата, неэстетично... Надо сказать художникам: найти символ устремленности. Объект для фантазии — пальмы Голливуда... А сцена должна быть казенной; деревянные стены, американский флаг; черные костюмы, белые рубашки, синие или темно-серые галстуки... Представление о том, что Америка многоцветна и безвкусна, провинциально... Чиновная Америка столь же традиционна, как любая иная, и сплетни такие же, маленькие, и те же удары из-за угла... На креслах, во вспышках репортерских блицев, под камерами кинохроники сидят обвиняемые: Чарли Чаплин, Поль Робсон, Артур Миллер, Бертольд Брехт, Ганс Эйслер. Это не важно, что каждого допрашивали в свой день... Ужасно, когда режиссер ищет абсолютную правду на сцене. Он должен создавать на сцене свою версию жизни: поиск правды — предтеча рождения нового качества бытия. Председательствующий комиссии — хорошо бы добиться сходства с Никсоном — назовет каждого по имени, перечислит их работы; подсудимые будут подниматься, как и полагается в расследовании, и отвечать лишь одно слово: «Я». А потом назовут свидетелей обвинения: Рональд Рейган, Рут Фишер, Дуглас Фербенкс... А Рут Фишер, бывший генсек австрийской компартии, родная сестра Ганса Эйслера, начнет давать показания на брата: «Агент Коминтерна, русский шпион, его исправит лишь тюрьма...» А ведь действительно «поднялся брат на брата»... Вот они, пики истории... Отрывок из «Карьеры Артуро Уи», в стык — допрос Брехта... Отрывок из Артура Миллера, можно взять даже позднюю вещь, «Смерть коммивояжера», а в стык — его допрос; песня Робсона — допрос; сцена из фильма Чаплина — допрос; показания свидетелей обвинения... Это был особый процесс, расследование националистов, которые ре-

шили на ужасе новой импровизации сплотить «истинных» американцев, тех, которых можно считать полнокровными а́риями... Все люди чужой крови — агенты Коминтерна, они несли Америке «иностранную» идею... Ну и чего добились? Чаплин уехал, Брехт уехал, и сколько же лет прошло, прежде чем появился Спенсер Треси в фильмах Поллака?! Началось культурное безлюдье Америки... Протестующий голос Альберта Эйнштейна остался гласом вопиющего в пустыне... Фейхтвангер замолчал, Хемингуэй осел на Кубе, в Штатах не появлялся... Началась «эра посредственности». Понадобился Вьетнам, чтобы в Америке проснулась совесть художников; неужели только трагедия по-настоящему движет искусство?

Писарев прибавил скорость, хотя знал, что до девяти пятнадцати еще ждать и ждать, варить кофе, колдовать над овсянкой, маяться от желания позвонить Степанову.

«Черт, а что я скажу Лиде? — подумал он. — Надо Ваську как-то проинструктировать, чтоб он успокоил ее... Или Николашку Прокопьева... А еще лучше попросить выдать туда звонок Митяя... Лида очень авторитарна; я скажу — не поверит; тот, кого она уважает, считает талантливым и сильным, для нее истина в последней инстанции. И даже не обязательно им быть, важно, чтоб она так считала».

Возле станции метро он ощутил запах табака; пульсация выбросила первую смену.

«Митька прав, когда говорил о «Клане», — сразу же забыв о том, что надо звонить в Гагру, вспомнил Писарев. — Тоже грандиозное зрелище... Три брата: Джон, Роберт, Эдвард Кеннеди. Сцена разбита на кадры замершей хроники; как только придумать лестницы, чтобы поднимать и опускать игровые площадки. Начало действа в верхнем левом углу. Характеристика на Руби, Освальда, на тех свидетелей, которых потом перещелкали люди ЦРУ и мафии. Сюжет ведет Роберт, он уже близок к тому, чтобы открыто выдвинуть версию убийства старшего брата. Снова включаются кинокадры, возникает Сирхан; противники Роберта; их позиция, точки расхождения. Выстрел на кухне отеля «Амбассадор» в Лос-Анджелесе; оцинкованные стойки, белый кафель, словно заранее приготовленная мертвецкая... Эдвард... Подборка его выступлений по узловым проблемам политики и экономики... Он тоже подбирается к главному, он накануне того момента, когда сможет сказать то, чего не сказал брат... А тут хорошо сработанная трагедия с его секретаршей.

Это л у ч ш е, чем убийство, это попытка навсегда девальвировать его как политика, подорвать веру в его слово... Начнут цепляться наши перестраховщики, это точно... Ну и что? «И засуху победим»...

— Дай же поспать, ирод, — чуть что не пропел Степанов в половине девятого, когда Писарев, не утерпев, позвонил ему. — Я снова в четыре лег!

— Любовью занимался?

— Я верстку правил! То, се, а ты выспаться не даешь! Все вы, главрежи, на одно лицо... Ну, что тебе?

— Ничего. Хотел сказать «доброе утро» и позвать сегодня вечером на пир.

«Можно сделать гениальный спектакль, — подумал Писарев, вымыв кастрюлю, где варил кашу. — Назвать его надо «Сюжеты». Ну, Митька, ну, талантище! Сцену, как и в «Клане», разбить, но не на кинокадры, а на десять, а то и пятнадцать маленьких сцен. Каждая — своя эпоха, своя культура, должна быть разящая, подчеркнутая разность каждой сцены. Черт, был бы я художником, озверел бы от такой задачи, раздолье для выдумки... Нет, не верно... Раздолье для знания... Выдумка — следствие знания... Перелопатить дневники великих... Пушкин — Мицкевич, рождение замысла «Медного всадника»... Пушкин — Гоголь, замысел «Мертвых душ»... «Дневник писателя» Достоевского полон неосуществленных сюжетов... Записки Салтыкова-Щедрина... А дневник братьев Гонкур. Письма Ван Гога... Заметки Эйзенштейна о «Полтаве»... Фильм, который мог быть гениальным, хранится в замысле, проработан до мелочей... Мысль, которая осталась нереализованной, подобна словам Костера: «Пепел Клааса стучит в моем сердце».

— На подписи, Александр Игоревич, на подписи, — ответила секретарь Кирилла Владимировича, когда он, не удержавшись, набрал номер в девять часов десять минут. — Позвоните перед обедом, думаю, сможем вас порадовать...

— В районе часа, да?

— Да, да, около часа... Тут уж с утра хлопочет Василий Викторович, так что не волнуйтесь...

«Кто такой Василий Викторович? Если хлопочет, спасибо ему, — подумал Писарев, — только пусть бы активнее хлопотал. Нет страшнее казни, чем казнь временем».

В десять часов он был в институте; светила собрались

на защиту докторской диссертации; он намерился изловить их здесь всех, скопом. Он не думал поначалу оставаться на защите, тема не входила в сферу его нынешнего интереса, но чем дальше он вслушивался в слова, произносимые довольно еще молодым соискателем, тем любопытнее ему становилось; впрочем, не одному ему.

— Если допустить некоторую вольность, — неторопливо говорил диссертант, — и обозначить историю термином «вечного будущего», а природу как «вечное прошлое», то позволительно, думаю, определить нашу физику как чувство, свойственное интеллектуалу, не только пытающемуся понять смысл природы, но и связать его с историей... Если считать, что антика подарила человечеству лишь ту систему, в которой запечатлено учение, как себя держать, то наша эпоха все более и более занимается вопросом: «Как действовать?» На смену созерцанию пришла активность. Физика Древней Греции есть наука о статике осязаемых тел, наука пластики, выраженная терминами, смыкающимися с языком античной трагедии. Арабская алгебра родила концепцию арабской физики, то есть поиск таинственной субстанции тел. Инквизиция, изгнавшая арабов и евреев из Европы, опустила занавес над сценой, где разыгрывалось великое действие прогресса. Но и после того, как трагедия свершилась, мысль не была убита. Если древние считали огонь предметом, то с тем большим правом они бы могли считать предметом мысль. Мысль можно заточить, но ее невозможно уничтожить. Она найдет себе такие обходные пути, которые не может представить ни светская, ни церковная власть. Родилась алхимия, которую я позволю себе назвать способом «научного сомнения в сущности предметов»; поиск золота — форма защиты от властей предержащих. На самом деле алхимия как наука искала тайну сущности предметов. Парацельс — блистательное подтверждение моего допуска: именно он превратил практику магии в теорию научной медицины. От исследования тайны — к анализу Ньютона и Лавуазье. От исследования внешнего вида элементов — к осознанию их действия. Кажется очевидным, что понятия «время» и «судьба» неразрывно связаны, вне одного нет другого и наоборот. Однако состоявшееся есть особого рода состояние: попробуем вставить в физическую формулу вместо привычного нам термина «время» слово «судьба», и мы увидим крушение формулы. Значит ли это, что столь дорогой нам мир физических форм ограничен дей-

ствием, как и мир чисел? Мир представлений? Мир анализов? Об этом мне и хотелось бы порассуждать, предложив вашему вниманию известную всем задачу...

И диссертант, отойдя к доске, начал крошить мелок, стремительно р и с у я какую-то загадочную колонку цифр и обозначений.

«А я ведь думал именно об этом, когда представлял себе задником сцены университетскую доску», — подумал Писарев. Он теперь мог рассуждать спокойно, потому что перестал понимать диссертанта, мог обдумать все сказанное им и подивиться тому, как невероятно спрессовалось время и разум, сколь объемно знание, как важно быть подготовленным к нему; то, что сказал сейчас этот патлатый, измеряется двумя тысячами лет, пророчеством Эвклида, сожжением Джордано Бруно, заточением Галилея, эмиграцией Эйнштейна. А этот диссертант заколотил свои гвозди в течение пяти минут. И перешел к делу, то есть к новому. А мы, театралы, топчемся в старом, боимся пошевелиться, страшно раскачать лодку... Ну а другие не побоятся? Тогда — они первые, а мы — в хвосте? Так ведь нынешняя физика, как он сказал, изучает действие, вот в чем вся штука... У того, кто вырвался вперед, фора в действии. Каким оно может быть? Движение — это жизнь, а можно ли вообще разрешить эту проблему? Фаусту оказалось не по плечу, хоть и произнес: «Остановись, мгновенье, ты прекрасно!» А потом надо же делать Фауста! Именно так! И перемежать сцены Гете выступлением этого патлатого физика, пусть порисует у меня на сцене свои формулы... Или уравнения... Бедный Димка, ему еще три года страдать со школьной физикой. Если бы в школе преподавали, как здесь, я бы стал отличником, потому что это интересно! Истинный отличник тот, кому интересно. Все другие — фикция, самообман, хорошая память, ловкость или крепкая задница! Во, теперь ясно!

...Ничто так не окружено тайной, как наше знание, наше оружие, наше счастье и горе — с л о в о, произносимое со сцены. Пусть он объяснит такие слова, как преодоление или случай! Не напиши я письма, не прими меня Назаров — не было бы нового театра, а сколько людей пройдут через него, сколько родится нового качества знания, сколько гениев задумают с в о е в нашем зале, и это с в о е станет всеобщим, той точкой опоры, которая не дает перевернуть мир... Физика не сможет считать то, что мы чувствуем, погружаясь в таинственный смысл

слов! Как просчитать слово «надежда»? Что это?! Кто вложил в это слово всю неизмеримую гамму чувств и мыслей, которая рождается сразу же, как только оно произнесено?! Судьба — это необходимость жизни... Стоп!.. Еще один спектакль... Он будет называться «Случай». А что?! По-моему, гениально! Ну и скромность у тебя, Писарев, не занимать! И начинаться он будет с вопроса: открыл бы Ньютон закон всемирного тяготения, не наблюдай он яблоню? Ощущал ли он тихое, спокойное счастье, слушая осенней ночью, как эти спелые яблоки глухо падали на землю, или этот прекрасный, связующий с понятием вечности звук проходил мимо, не разрывая сердце ощущением безвозвратности мига?

...Писарев успел договориться с академиками. Они обещали переговорить с патлатым, фамилия его была Берзинь, приехал из Риги.

...В управление позвонил из автомата, при выходе из института.

— Поздравляю, — сказала секретарь, — все подписано, у меня на столе, сегодня отправляю вам копию...

— Не надо, — ликующе попросил Писарев. — Я сейчас скажу кому-нибудь из моих товарищей, они к вам подъедут. Передайте, пожалуйста, мою самую низкую благодарность Кириллу Владимировичу за его столь доброе к нам отношение...

...Он не обратил внимания на лица друзей, которые встретили его в театре, не понял сразу той особой тишины, которая была на сцене, куда он чуть что не ворвался, как ветер.

— Где?! — воскликнул он. — Ириша, вслух!

Он понял все, когда прочитал текст приказа.

Сначала он услышал в себе жалостливое, чуть что не детское «за что?». Ему стало стыдно самого себя, он поднял глаза на товарищей; увидал слезы в глазах Ирочки; понял, сколь стар Лаптев и, видимо, тяжело болен; с удивлением отметил, что тетя Аня, внештатная уборщица, красит волосы.

Первым, неподвластным ему желанием было подняться и уйти. Так у него бывало на боксе, после тяжелого

боя, особенно если его отправляли в нокаут. («Кстати, — как-то отрешенно подумал он, — это слово тоже было отменено одно время».)

Потом он вспомнил давешние слова секретарши о каком-то Грущине, который «хлопочет». Так это ж Васька Грущин, кто ж еще, сказал он себе.

И он понял, что ему нельзя сейчас уйти. Он должен — во имя его же друзей — сыграть сцену. Надо собраться, заставить себя почувствовать продольные мышцы спины, они должны стать его вторым хребтом, ничего, что они какие-то вялые и вообще внутри все похолодевшее и вялое...

«За что?»

Надо подняться и усмехнуться. Вот так. И что-то сказать. Только спаси бог ошибиться в интонации, они ведь талантливые, они сразу же заметят фальшь, а если его станут жалеть, то погибло дело. В конечном счете не один он затеял все это, с ним единомышленники, а состоявшееся не исчезает. Или исчезает на какое-то время, чтобы потом возродиться снова.

«Но ведь это будет совсем другое?»

Ну и что? Важно сложить лестницу, по которой пойдут.

«Только врать не надо. Растрелли был убежден, — хоть, верно, и не думал об этом, — что на его домах укрепят мемориальные доски, только потому и работал на века».

— Конечно, обидно, — сказал он наконец. — Просто чертовски обидно. Умел бы плакать, ей-богу, заплакал бы. За что? Не знаю, хоть побейте. Как всегда, есть два пути, и не более того. Первый путь... — он достал сигареты, закурил, красиво затянулся, он знал, что в труппе любят, как он курит, ему Кира об этом говорила, когда они сидели на банкете, после того как ей дали государственную премию. — Первый путь, — повторил он, — это обида. И отказ от работы, тем более что актеры у нас пока что сидят на зарплате в других театрах, а самодеятельные патриоты нашего предприятия получают оклад содержания по основному месту работы... Видите, как формулирую? — Он улыбнулся. Значит, оклемался. — Есть второй путь, и я стою за то, чтоб мы его избрали. Продолжать работу. Мы получили на это право... В форме приказа. Обида — плохой советчик в нашем деле... Путь к звездам всегда лежит через тернии... Самсоньев — мой мастер, это настоящий художник, он союзник

нам... Если мы обидимся, мы не скажем того, что хотели сказать, а мы обязаны это сделать, разве нет?

— Мы напишем... — дрожащим голосом начала Ира, но убежала со сцены, в слезах.

— Хочешь, я схожу поговорю с ними? — спросил Лаптев. — Надену все свои регалии, их у меня двадцать четыре, и пойду...

«За что? Ну за что же?!»

— Писать не надо, — ответил Писарев. — И ходить не надо. Помните, как Фадеев закончил «Разгром»? Здорово закончил: «Надо было жить и продолжать выполнение своих обязанностей». Вот так. Отлито в бронзу. Репетицию проведем завтра, в девять часов, как обычно.

— Ты позвонишь Самсоньеву? — спросила Кира.

— Зачем? — Писарев пожал плечами. — Я думаю, он сам придет к нам...

— Он позвонит тебе домой сегодня, — сказала Клара. — И попросит тебя приехать на чашку чая.

— Съезжу, — заставил себя усмехнуться Писарев, но понял, что просто так закончить этот разговор нельзя, он не имеет права, они почувствуют, что он неискренен с ними, они ж понимают, что произошло крушение его судьбы, не зря Стендаль говорил, что ему нужны ордена и кресты лишь для того, чтобы защищать свое искусство.

— Мне очень, конечно, больно все это, люди, — сказал он. — Я должен сегодня подумать обо всем происшедшем, и, видимо, мне предстоит принять какое-то решение, и, мне сдается, оно будет в известной мере крутым... И все-таки это мое решение будет исходить из вероятий второго пути, а это путь работы. Не кукситься, люди! Не станем давать повода для радости тем, кто этого ждет. До завтра.

...Потеряв сознание от рвущей боли в сердце, Писарев упал не сразу; он стоял еще, а потом, переломившись пополам, но мертвый уже, сделал несколько шагов, прежде чем обрушиться тяжело на асфальт, под колеса новенького «Жигули».

...Судебно-медицинским экспертам предстояло еще выяснить, от чего наступила смерть пешехода, но Арина Станиславовна Назарова, только что защитившая кандидатскую диссертацию, ехавшая в «Арагви» на банкет, где ее ждал отец, Станислав Федорович Назаров, и друзья, была до выяснения обстоятельств задержана и препровождена в дежурную часть ГАИ Кунцевского района.

ТАЙНА
КУТУЗОВСКОГО
ПРОСПЕКТА

Вместо предисловия

Когда главы повести шли в набор, я встретился в Нью-Йорке с гражданкой США Викторией, дочерью замечательной русской актрисы Зои Федоровой, убитой в 1981 году.

Любители кинематографа помнят роли, сыгранные ими: «Подруги» Зои Федоровой и «Двое» Виктории вошли в анналы искусства навсегда — как документы эпохи.

— Мама была у меня в гостях несколько раз, — рассказала Виктория. — Однако, когда я пригласила ее в восьмидесятом, вскоре после того как здесь выпустили мою книгу «Дочь адмирала» — отец умер в звании адмирала флота США, — маме отказывали в выдаче паспорта. Я обратилась за помощью к тому сенатору, за которого голосовала, — Брэдли. После совещания в его штабе мне ответили: «Если бы мама просилась в эмиграцию, сюда, к вам, для воссоединения семьи, мы бы могли оказать какую-то помощь. В ином случае брежневская администрация нам откажет: «Давать или не давать выездной паспорт для поездки в гости — наше внутреннее дело...»

Я позвонила маме и рассказала ей об этой беседе.

— Меня скоро убьют, — сказала она, и это было не первый раз, когда мы перезванивались. — Ладно, в среду пойду на прием...

Она позвонила в среду вечером: «Я им сказала, что, если меня, русскую до последней капельки, патриота России, не выпустят в гости к дочери и внуку, я подам на эмиграцию...»

В пятницу ее убили... «Мосфильм» отказал в том, чтобы выделить зал для гражданской панихиды. А мне не дали визу, чтобы приехать на ее похороны: «Кто такая Зоя Федорова?. У нас нет на нее никакой информации...» Тогда я положила мой советский паспорт в конверт и отправила его в Посольство СССР

* * *

...Сталин любовался открытым, с ямочками на щеках, улыбчивым лицом Зои Федоровой; вручая ей очередную Сталинскую премию, заметил:

— Это вас не я награждаю, а народ благодарит, товарищ Федорова.

Зоя не смогла сдержать слез счастья:

— Спасибо, дорогой Иосиф Виссарионович... Как говорят военные: «Служу Советскому Союзу!»

— Нет уж, пожалуйста, оставайтесь замечательной русской актрисой... Военными становятся, художниками рождаются.... Как у вас дела? С жильем все нормально?

— Если б даже было плохо, я бы все равно не сказала, Иосиф Виссарионович... Без квартиры жить можно, без вас — нет...

— Я ж не бессмертен, — с болью, тихо заметил Сталин. — Придется и без меня пожить. Просьбы есть какие? Говорите честно, мне в радость помочь вам...

Федорова замерла, покрылась внезапно — от шеи — бледностью:

— Иосиф Виссарионович, у меня репрессирован отец... Он ваш солдат, его оклеветали... Он ни в чем не повинен...

На мгновение лицо Сталина закаменело; как-то заново, словно бы оценивающе обсмотрев Зою, чуть усмехнувшись, ответил:

— Вот мы вам и подарим машину — неудобно отца домой везти на трамвае... Зайдите к товарищу Берия, потом позвоните Поскребышеву, он вас соединит со мной... А Лаврентия Павловича я предупрежу...

* * *

Из материалов дела: «В период приблизительно между тринадцатью и семнадцатью часами одиннадцатого декабря 1981 года в доме номер 4/2, квартире 243 по Кутузовскому проспекту была убита Федорова Зоя Алексеевна, семидесяти двух лет, заслуженная артистка РСФСР, лауреат Государственных (Сталинских) премий.

Смерть Федоровой З. А. наступила в момент, когда она говорила с кем-то по телефону, от выстрела в затылок, произведенного из пистолета «Зауэр» калибра 7,65 (пистолет системы «Зауэр» продается в США, Аргентине (гор. Игуасу) и Бразилии).

В квартире обнаружены отпечатки пальцев неизвестных. С журнального столика изъят отпечаток пальца на дактилоскопию.

Из протокола осмотра квартиры жертвы, проведенного следователем прокуратуры Сазоновым, прокуроромкриминалистом Герасимовым, экспертами НТО Главного управления внутренних дел Мосгорисполкома Антроповым и Гритьевым в присутствии понятых Александровой

и Кондрашкиной, явствует, что обстановка в комнатах не нарушена. Дверные замки шкафов целы. Следов взлома нет. Обнаружено 2400 рублей, кольца — с камнями и без камней, браслет, подвеска, кулон, цепочки и запонки желтого цвета. Следы насилия в комнатах не просматриваются.

Дверь взломана не была. По данным экспертизы, квартира чужим ключом, сделанным со слепка, не отпиралась, из чего можно сделать предположение, что убийцей был человек, хорошо знакомый Федоровой, который и находился в квартире жертвы».

...Из справки: «Федорова Зоя Алексеевна привлекалась по ст. 58, пп. 10 и 11 и по решению ОСО МГБ СССР была приговорена к двадцати пяти годам тюремного заключения. В 1956 году полностью реабилитирована».

* * *

«...Советское государство понесло тяжелую утрату. 19 января 1982 года после тяжелой продолжительной болезни скончался советский государственный деятель, член ЦК КПСС, депутат Верховного Совета СССР, Герой Социалистического Труда, первый заместитель Председателя КГБ СССР генерал армии Семен Кузьмич Цвигун.

Более четырех десятилетий жизнь и деятельность С. К. Цвигуна были неразрывно связаны с работой по обеспечению государственной безопасности нашей Родины. Этому ответственному делу он отдавал все свои силы, опыт и знания...

Светлая память о Семене Кузьмиче Цвигуне, верном сыне партии, государственном деятеле, навсегда сохранится в сердцах советских чекистов, всех советских людей...»

Франс Пресс: «В московских кругах упорно говорят о том, что родственник Брежнева и его креатура в КГБ Семен Цвигун не умер, а покончил жизнь самоубийством в правительственном загородном санатории».

Рейтер: «Осведомленные московские круги утверждают, что гибель Цвигуна связывается с именем артиста Бориса Буряцы, вхожего в дом Брежнева. При этом подчеркивается, что Цвигун был многолетним сотрудником и близким другом Брежнева: тем более странно, что подпись Брежнева под некрологом отсутствует...»

* * *

«...25 января 1982 года на восьмидесятом году жизни после непродолжительной тяжелой болезни скончался член Политбюро, секретарь ЦК КПСС, депутат Верховного Совета СССР, дважды Герой Социалистического Труда Михаил Андреевич Суслов. Ушел из жизни видный деятель Коммунистической партии, Советского государства и международного коммунистического движения. Вся его жизнь, все его силы и знания, весь его талант были отданы партии и народу...

На всех постах, которые ему доверяли Коммунистическая партия и народ, Михаил Андреевич Суслов проявил себя выдающимся организатором, несгибаемым борцом за великое дело Ленина, за успешное решение задач коммунистического строительства. Являясь крупным теоретиком партии, он многое сделал для творческого развития марксистско-ленинской теории, твердо отстаивал ее чистоту. Он внес большой вклад в дело расширения и укрепления интернациональных связей...

Михаила Андреевича Суслова отличали большевистская принципиальность, требовательность к себе и другим, исключительное трудолюбие, умение творчески подходить к острым и сложным вопросам современности. Человек большой души, кристальной нравственной чистоты, исключительной скромности, он снискал себе глубокое уважение в партии и народе...»

Из медицинского заключения о болезни и причине смерти Суслова Михаила Андреевича:

«М. А. Суслов, 79 лет, длительное время страдал общим атеросклерозом с преимущественным поражением сосудов сердца и мозга, развившимся на фоне сахарного диабета. В 1976 году перенес инфаркт миокарда. 21 января 1982 года возникло острое нарушение кровообращения в сосудах ствола мозга с глубокой потерей сознания, нарушением дыхания и некоторых других жизненно важных функций организма...»

* * *

«Спецгруппу Угро МВД СССР, созданную по делу об убийстве Федоровой З. А., расформировать.

Полковников Павлова В. Я., Савицкого У. Р., Костенко В. Р. вернуть в их подразделения.

27 января 1982 г.

Министр внутренних дел СССР
Н. Щелоков».

Савицкого перевели в Ригу заместителем СКБ по режиму с прибавкой зарплаты на девяносто рублей; запил; вскоре умер от цирроза печени.

Павлова отправили в Узбекистан с повышением.

...С января по май восемьдесят второго года Костенко — после того как группу расформировали — провалялся в клинике у Ларика: тот удар в печень, что получил в Армении, в семьдесят втором еще, когда брал бандгруппу на аффинажной фабрике по делу Кешалавы, время от времени давал себя знать; вернувшись в министерство, на глаза начальству не очень-то показывался, запомнив на всю жизнь слова, сказанные как-то Константином Симоновым: «Служить не отказываюсь, но служить не навязываюсь...»

...Что-то изменилось в стране: в КГБ сел никому не ведомый Федорчук из Киева — новая метла по-новому метет; один из первых приказов был весьма странный, носил явно идеологический оттенок: «Запретить сотрудникам появляться в джинсах, только пиджак и галстук — желательно отечественного покроя».

В октябре Костенко пригласили в кадры, предложили перевод с повышением, куда-то на Камчатку. Он обещал подумать, поняв, что все, кто был завязан на деле Федоровой, отчего-то неугодны в Москве; Андропов, хоть и лишенный реальной власти, ибо теперь сидел в ЦК, на идеологии, под Брежневым и Черненко, тем не менее интересовался делом Федоровой, хотя кому-то это явно не нравилось.

Второго ноября Костенко вызвал заместитель министра по кадрам: «Приказ я завизировал, поздравляю от всего сердца, вернетесь генералом, обещаю...»

Десятого ноября, в День милиции, министр Щелоков обратился к народу по телевидению; лицо — пергаментное, как маска, глаз от текста не отрывал. Брежнев лежал мертвый уже, началась схватка за лидерство; победи Андропов — министр внутренних дел знал это, — и дни его будут сочтены.

Так и случилось: перевели в «царскую группу» Министерства обороны — с «Чайкой», пятьюстами рублями, бесплатным питанием, пайком, адъютантом, порученцем, кремлевкой и госдачей... Негоже обижать номенклатуру, все должно быть тихо, тактично, с соблюдением привычного этикета: выводы, однако, сделали все — при встрече норовили обойти, не заметить, а уж если некуда было деться, разговор облекали в форму междометий, лица

каменные, срок на обмен мнениями — минута-две, иначе может быть неверно понято н а в е р х у, каждый второй донесет; какое там второй — каждый...

1

На пенсию Костенко вышел в конце восьмидесятых — после того, как с помощью журналиста Ивана Варравина закончил разгром банды заместителя министра Чурина и его помощника Кузинцова...

...Поднимался он, как и раньше, в семь тридцать, полчаса занимался утомительной гимнастикой, а потом, проводив Маняшу, насыпал в кастрюлю брусничный лист, брикетик почечного чая, зверобой, шиповник, бросал щепотку валерианы (дефицит; впрочем, у нас все дефицит; раз в месяц приносил заместитель министра Цветмета Федя из аптеки Четвертого управления Минздрава — в простонародье, со сталинских времен — «кремлевка»), долго спускал воду, чуть не пять минут; чайник покрывался накипью за полгода, водохозяйство Белокаменной редко меняет фильтры, «экономика должна быть экономной», трубы проржавели, по бюллетеням платим почечникам в тысячу раз больше, но посчитать, что выгодней — ремонт канализации или выплата по болезни, — недосуг, да и зачем? Одно дело — была б личная выгода, а так считай, не считай, деньги — ничьи, беречь государственные — пропади они пропадом, прожил день — и слава богу.

После того как бурый чай начинал пузыриться — спасение от камней, почечных колик и печени, — Костенко забирал из ящика «Аргументы и факты», «Книжное обозрение», «Огонек» и принимался за проработку прессы. Толстые журналы не выписывал, и не потому, что денег не хватало: пенсия полковничья, двести пятьдесят, Маня свои приносит, да еще по совместительству нанялась чертежи на дом брать; правительство подобрело, раньше за такое в тюрьму гнали, а теперь даже Аришке помогают, ей, как молодому специалисту, п о л о ж и л и сто десять, а за фирменные зимние сапожки две сотни отдай и не греши, на панель, что ли, идти?!

Толстые журналы он не выписывал *оттого*, что Булганина помнил, Николая Александровича, бывшего премьер-министра. Было это в шестьдесят третьем, в районе Новодевичьего монастыря и Пироговки; там в те годы орудовала банда Носа. Костенко его «вытаптывал», об-

ходил ЖЭКи; разговорился с отставником, который управлял домом, куда с Воробьевых гор, из замков, что москвичи нарекли «Заветами Ильича», переселили опального члена Политбюро.

«Что значит наша школа, сталинская, — задумчиво говорил управдом. — Каждое утро Николай Александрович получает двенадцать газет, я точно помню, информацию чекистам давал, и работает с ними — с красным карандашом в руке... Многотиражки даже получает, не только центральные... Резолюции кладет, служебные записки пишет, все в шкап складывает — придет время, вернут его в Кремль, помяните мое слово... «Кукурузник» не вечен, бог ему за Иосифа Виссарионовича отомстит... На кого руку поднял, мужик, а?! Так вот, Булганин поработает с газетами часов восемь — и на прогулку... С рабочим классом связь поддерживает, «на примкнувшего» порою бутылочку берет, на Шепилова, значится... Выпьет глоток — и беседует, расспрашивает о ситуации, советуется с народом, светлая голова, одно слово — сталинская гвардия...»

Костенко вспомнил этот разговор, как только отдал пистолет и получил пенсионную книжку: на следующий день после того, как не надо было ехать в министерство, отправился в библиотеку и сел за журналы; ходил, как на работу, — восемь часов, с обеденным перерывом; стресс поэтому, связанный с отставкой, перенес спокойно.

Вчитываясь в журнальные публикации, Костенко поначалу диву давался, как он отстал от жизни. Вспоминая обязательные политзанятия, нудные лекции пропагандистов, на которых он сидел, надев черные очки, чтобы не заметили, когда уснет (почти все, кстати, приходили в темных очках, не один умный), он поражался тому, какой гигантский вред приносили обществу эти о б я з а л о в к и, во время которых все спокойно внимали обязательной лжи, внешне принимая ее как правду — так и рождалась государственная шизофрения, раздвоение, а то и просто расщепление (как лучины) общества: в кабинете — один человек, с женой на кухне, включив радио, — другой, на собрании — третий, у начальства — четвертый, во время разбора очередной «персоналочки» — пятый...

Порою он по два-три раза перечитывал особенно сме-

лую статью: как можно такое печатать?! В меня въелся, а может, передался по наследству инстинкт охранительного страха, думал он. Сколько лет Россия жила в условиях свободы мысли и слова? После освобождения крестьян — лет десять, потом пришел Победоносцев, тогдашний Суслов; начало века — мелькнули либералы Витте и Столыпин; с февраля семнадцатого разгул свободы, потом — гражданская, террор — белый ли, красный, все одно террор; после — восстание с в о и х, Кронштадт, и как следствие — нэп, кооперация, сытость, право говорить — вплоть до двадцать девятого... И — снова ночь легла над Россией, кровавая ночь бесправия и страха. Несчастная страна, то — пик, то — провал.

Статьи серьезных экономистов и историков были альтернативны — не привычные плач и критиканство, но предложения выхода из кризиса, — поражали его смелостью: неужели это не читают в Кремле?! А если читают, то отчего не следуют рекомендациям ученых? Костенко взял чистый лист бумаги — по привычке статьи и обзоры конспектировал — и записал колонку: четыре часа — прочтение и анализ шифровок от послов из узловых столиц мира; четыре часа — изучение сводок по стране, особенно из республик (хотя, считал он, столичные амбиции влияли на информацию, что шла из Прибалтики — республик с трагической историей, — кто-то явно нагнетает страсти, причем не только с той, но и с нашей стороны. Зачем? Кому на пользу?); три часа — официальные приемы, переговоры; три часа — текущие дела, совещания со штабом, выработка стратегии — на завтрашний день, тактики — на сегодняшний вечер, ситуация такова, что считать надо минутами, не часами. Итого кремлевский рабочий день — четырнадцать часов. Вот и получается, что нет времени на журналы, ведь теперь и по субботам работают... Тут-то и начинается трагический разрыв между тем, что не доходит до кремлевских кабинетов, но зато впитывается сотнями миллионов читателей. У нас ведь так алчно читают не оттого, что мы какие-то особые, просто нечем себя занять; в бизнес не пробьешься, кругом запреты; индустрии развлечений до сих пор нет и в помине, рестораны плохи, дóроги, а решишь пойти — места не сыщешь, в одном Париже кафе и ресторанов больше, чем во всем Советском Союзе. У нас принято бифштекс брать с водкой, а у них можно с чашкой кофе весь день просидеть за столиком; такого б клиента наши официанты в сортире утопили... Туризм?

Нет его. Дансинги для молодежи? Раз, два — и обчелся... Вот и читают...

Костенко поначалу традиционно пугался слов «собственность», «выкачивание денег», «бессрочная аренда»; в нем жило привычное о т т а л к и в а н и е, вдолбленное с детства, которое на самом-то деле, признался он сам себе на пятом месяце библиотечной р а б о т ы, есть некий генетический код привычного страха перед новым. Действительно, спросил он себя, когда я лучше работал и раскрывал дела, которые до меня лежали в архивах? Когда надо мной не стоял погоняльщик и не требовал ста справок каждый день. Ну а крестьянин? Что он, из другого теста сделан? Сейчас над ним бригадир, председатель, агропром, райком, райисполком, и все его учат, как хлеб убирать... Ну а дай ему волю? Продай землю? Сделай его свободным, как при Столыпине? Или нэпе? Тогда на кой черт ему погоняльщик? Дай магазин, чтоб принимал его продукт, и деньги за это плати... А куда ж администраторов девать? Если бы американский фермер отчет в исполком писал, а пуще того — в агропром, мы бы народ на хлебные карточки должны были посадить, мор бы начался... Всегда на Руси был управитель над мужиком, помещик, урядник, контролер: «семеро с ложкой, один с сошкой»... Сами отучили народ работать — жди к о м а н д ы сверху! Чего ж на несчастный народ валить? Сверху все видней... Сам держу все в руках... Самодержавие... Абсолютизм власти... А он, абсолютизм этот, всегда одним кончается — бунтом, особенно когда Человек начинает осознавать свою уникальную неповторимость...

Костенко возрадовался, услыхав по телевидению, что теперь колхозам и совхозам будут платить за хлеб валюту. А фермеру? Арендатору? И тут же: «...объединения и главки помогут купить колхозам и совхозам то, что им требуется». Одну минуточку! А отчего председатель или тракторист не могут сами поехать за границу и купить то, что им надо? Снова бюрократия оттирает мужика от плодов его труда? Опять недоверие к личности? Государственное опекунство? Как же растить поколение тех, кто может сам принимать решение? — «Значит, государство все должно отдать мужику и работяге?! А что тогда делать аппарату?» — «Пенсию пусть получают! Царскую пенсию! Только б все напрямую было, чтоб не путалась страна в бумажках и отчетах, — погибнем!»

...В ту памятную пятницу Костенко засиделся в биб-

лиотеке до позднего вечера, разбираясь с понятием «акция». Сделать работяг хозяевами заводов, завязать качество труда с заработком, ввести закон о помощи по безработице — повышение производительности труда всегда связано с уменьшением числа работающих за счет новой техники, — представил себе ярость консерваторов («мое поколение — все как один консерваторы») и журнал закрыл; снова уперся рогом в те термины, которые вбили в него за тридцать пять лет работы.

На улице дождило, грусть была в городе, в людях, что стояли возле автобусной остановки, в бутафорских витринах магазинов, да и в самом небе, низком и сером.

— Товарищ Костенко, — услышал он за спиной вальяжный, красивый голос, — извините меня, я б вас подвез домой, а по пути посоветовался бы.

Костенко обернулся: рядом с ним стоял невысокий мужчина в скромном сером костюме, серой шерстяной водолазке, только туфли из лайковой кожи, с медными пряжками, видно, очень дорогие.

— С кем имею честь?

— Меня зовут Эмиль Валерьевич, фамилия Хренков, я из кооператива «Заря», вчера про нас была передача на телевидении, в шестнадцать сорок...

— А какое я имею отношение к кооперации?

— Что, считаете нас акулами капитализма?

— Не считаю. Откуда, кстати, вы меня знаете? Почему здесь ждете?

— Бдительность и страх — категории пересекаемые, товарищ Костенко, — заметил Хренков. — Простите, если что не так. Просто Ястреб мне сказал, что вы в этой библиотеке работаете, ну я и подъехал...

Ястреб торговал в киоске «Союзпечати», снабжал «Московскими новостями»; Костенко сажал его дважды: домашние кражи, брал квартиры номенклатуры, называл себя «Робин Гудом, Народным мстителем». Воровать начал с голодухи, — отца расстреляли по «ленинградскому делу», мать спилась; вернулся из лагеря с туберкулезом, пришел домой к Костенко, тот помог ему прописаться; воры добро не забывают: завязал, получил киоск, сейчас живет кум королю...

— Что у вас? — спросил Костенко. — Говорите здесь.

— Не согласились бы пойти к нам работать? Помочь в борьбе с рэкетирами, очень трудно жить, товарищ Костенко.

— Частный сыск хотите создать?

— Что-то в этом роде... Я не смею унижать вас разговором об оплате, но, как понимаете, денег мы не пожалеем.

— Оставьте телефон, — сказал Костенко.

— Это несерьезно... Ваше министерство против частного сыска, зачем мне светиться? И так живем, как мишени...

— Тогда до свидания...

— Честь имею, — кивнул Хренков и пошел к «Волге», что стояла поодаль.

Когда он сел за руль и резко (слишком резко) взял с места, чтобы набрать скорость, проезжая мимо остановки, Костенко вгляделся в окно машины — лицо человека в темных очках, что устроился на заднем сиденье, показалось ему знакомым, и не просто знакомым, а очень его в свое время интересовавшим. Машинально взглянул на номер «Волги», запомнил; назавтра заехал в ГАИ — машина принадлежала летчику международных линий Аэрофлота Полякову; в настоящее время находится в Латинской Америке, доверенности никому не оставлял. Ребята из Угро проверили: «Волга» Полякова стояла запыленная на втором этаже кооперативного гаража возле памятника Гагарину. Вечером Костенко зашел в министерство.

— Слушайте, мужики, как бы мне посмотреть дело об убийстве Зои Федоровой?

Он просидел с папками до одиннадцати, надо бы Машуне позвонить; впрочем, она привыкла, что он порою исчезал на неделю — работа. Набрал номер: «Маняш, я зашел к себе, в министерство... Хм... «К себе»? К ним, так точнее... Скоро буду. Как ты? — и, не дожидаясь ответа, положил трубку.

— Слушайте-ка, — спросил он дежурного по управлению, — я помню, была папка с фотографиями свидетелей, где она?

— Осталась на Петровке.

Раньше б сразу же туда рванул, подумал Костенко; годы, а может, ощущение отлученности от дела; любительство предполагает неторопливость и право на свободу во времени, только действующий профессионал — физически, до боли в затылке — ощущает фактор времени, некая вмонтированность в твое существо внутренних секундомеров...

На Петровку Костенко приехал утром, в девять. Сначала сделали «робот» того, кто подходил к нему, Хрен-

кова. Папку искали долго, дело нераскрытое, п о в и с л о. Как ни странно, Щелоков и Цвигун были в высшей мере корректны, не гнали, как обычно; порою Костенко казалось, что все они хотели спустить дело на тормозах, хотя не только Москва гудела, но и Запад тоже.

Папку нашли только к одиннадцати. Костенко медленно пролистал страницы, остановился на семьдесят третьей: «Иосиф Павлович Давыдов, театральный администратор, проживает в Москве, на улице Красных строителей, дом семь, квартира девять, не судим, образование среднее».

Справка на него пришла довольно быстро, к двум: «Давыдов Иосиф Павлович выехал из СССР по израильской визе в Вену 29 января 1982 года».

Вторая справка пришла из ОВИРа к пяти: «Джозеф Дэйвид, гражданин США, вылетел сегодня утром рейсом Москва — Нью-Йорк самолетом «Пан Американ», экономическим классом, приезжал по туристскому ваучеру, неделю жил в Москве, отель «Националь», три дня в Ялте, отель «Ореанда».

Вечером установили всех Хренковых. В кооперативе «Заря» Хренков ни в штате, ни на договоре не числился. По приметам ни один из семисот сорока трех человек с такой фамилией не мог быть случайным собеседником Костенко, ибо никто из установленных Хренковых не имел маленького, едва заметного шрама на левой брови. Костенко усмехнулся: «Я как могильщик Литфонда; Митя Степанов рассказывал, был у них старик, который приходил к больному писателю, болтал с ним о новостях, если тот был в сознании, сулил счастливую жизнь, а сам тем временем промерял мизинцем и большим пальцем рост несчастного — какой длины заказывать гроб... Нормальные люди ищут в лице собеседника что-то новое для себя, запоминают глаза, манеру улыбаться, а я, словно легавая, цепляюсь за то, что может впоследствии оказаться с л е д о м. Наверное, я пропустил множество интереснейших людей, потому что для меня родинка какая или прыщ важнее глаз, слез, трясущихся пальцев, смертельной бледности...»

— Дело тухлое, полковник, — заметил заместитель начальника столичного Угро, — что это тебя потянуло? Или соскучился по работе?

— Хочу маленько поковыряться...

— Пиши рапорт.

— А без рапорта нельзя?

— Ты что, целка? Забыл законы?

Костенко усмехнулся:

— Законы помню, бардак забыл.

Заявление тем не менее написал и отправился к Ястребу.

...Мишаня Ястреб сделал свой киоск совершенно особым: весь в портретах писателей — Шекспир, Шукшин, Хемингуэй, Толстой, Пушкин, Лермонтов, звезд кино и эстрады — Высоцкий, Пугачева, Вилли Токарев, Бабкина, Элвис Пресли, битлы, Тихонов и Броневой; где-то достал мегафон, которым пользуются экскурсоводы, гоняющие туристов по Москве (бедолаги-провинциалы в магазины норовят, колбасы ухватить, а их силком в Пушкинский музей — голых римлян смотреть; сами раздеты, пальто б где к зиме взять), поэтому киоск Мишани сделался своего рода культурным островком в микрорайоне.

— Кто не купит академический журнал «Вопросы экономики», — вещал Ястреб своим хриплым голосом, — рискует остаться в неведении, отчего мы катимся в пропасть!

Старик в фетровой шляпе (отчего наши старики ходят в тапочках, спортивных брюках, но обязательно при галстуке, в черном пиджаке и коричневой шляпе?) усмехнулся:

— Терпеливые, дурни, лентяи и трусы — оттого и катимся.

В очередь, однако, встал.

— Неужели вы упустите возможность приобрести справочник железных дорог? — продолжал между тем Ястреб. — Да, он прошлогодний! Но что сейчас так ценится, как старая книга?! Через пять лет она станет уникальной и ее у вас купят в любом букинистическом за десятку!

— А на хрена эти справочники? — снова пробурчал старик. — Езжай на вокзал, становись в очередь и прей. В России справочникам верить нельзя, мы — непредсказуемые...

Торговля шла бойко. Увидев, что очередь разрастается (один стоит, а к нему трое подлетают, мол, мы раньше свой черед занимали), Костенко понял, что минут двадцать он потеряет, а времени в обрез (Военная прокуратура дала справку, что генерал Трехов, тот, что реабили-

тировал Зою Федорову, живет в Переславле-Залесском, туда пилить и пилить), обошел киоск, постучал в дверь и сказал:

— Ястреб, это я.

Тот приоткрыл дверь.

— А, полковничек! С кандалами пришел? Погоди, я мигом всех раскидаю, заходи, гостем будешь...

И внутри киоск у него был как маленький теремок: занавесочки, столик с тремя резными табуреточками, коечка, покрытая ковром, электроплитка, турочки из Сухуми — чеканные, ручной работы, то ли медь, то ли латунь; под прилавком — ротапринтные издания, книги, которые на черном рынке стоят сотню, не менее.

— Уважаемые покупатели, приношу глубочайшее извинение, — возгласил Мишаня, — пришел фронтовой друг, я вынужден прервать работу на полчаса. Рекомендую посетить кооперативное кафе «Сладость» — во дворе, третий подъезд, угостят настоящим кофе, учитесь цивилизации, кафе — место для любви, разговоров и сделок!

Он захлопнул окошко и сел напротив Костенко.

— Ты мне должен доказать, полковник, что эти ротапринты я получил незаконно. У меня накладная есть. В БХСС подался?

— Да ладно, — Костенко махнул рукой, — если у нас государство не может торговлю наладить, так хоть ты их научи... Наши из Угро не тревожат?

— Русский человек за книгу душу отдаст, — ответил Ястреб, — так что с вашими орлами порядок, работаем в полном контакте... Я им пообещал вывесить плакат: «Разыскиваются особо опасные преступники», ручку жали, меня в простоте не возьмешь...

— Я в отставке, Ястреб... Ни в каком я не в ОБХСС... К тебе пришел по другому делу...

— А разве в отставке дела бывают? Если ты, к примеру, отставной маршал — в дурака с адъютантом режешься, генерал — клубнику разводишь, а полковник — совместительствует, на двести пятьдесят только святой ныне проживет...

— А если не совместительствую, а для души?

— Полицейский для души наручники надевает, ему это как циркачу гиену отдрессировать...

— Тоже верно, — согласился Костенко. — Скажи-ка мне, Ястреб, ты Хренкова давно видел?

— Кого?

— Эмиля Валерьевича Хренкова...

— Не знаю такого. Откуда он?

— Из «Зари».

— Это которые инструментами торгуют? Компьютерами?

— Точно.

— Я оттуда Людку харил, секретаршу ихнюю...

— Старик, а греховодишь.

— Ничего подобного. Тренирую простату. В нашем возрасте это необходимо... Кто-то рассказывал, как один наш знаменитый поэт к академику Фрумкину пошел, тот был главным урологом Красной Армии, про него еще Михалков написал: «генерал из генералов, маршал моче пол-каналов»... Поэт его спрашивает: мол, сколько раз в неделю надо трахаться? А Фрумкин ответил: «Чтобы трахаться — надо трахаться постоянно»... Если запустишь — конец... Сломанную руку сколько месяцев человек после гипса разрабатывает! То-то и оно! А женилка, полковник, не рука! Без руки жить можно, а без женилки, да еще с простатой, как булыжник, — прямой путь в онкологию.

— Ну-ну, — вздохнул Костенко...

— Нужна девка? — спросил Ястреб. — Отставнику можно. Партийцы не схарчат, пенсию не отымут...

— Жены боюсь, — ответил Костенко.

— Так тебя ж после молодухи на нее потянет! Спасибо еще скажет, полковничек... Ислам надо учить... Многоженство — верх разума. Хочу в мусульмане податься, татары народ надежный, ей-богу... И звучит красиво: «Михаил Рувимович Ястреб-заде». За одного этого «заде» мне десять «рувимов» простят...

— Ты бы не мог эту самую Людку про Хренкова спросить, а?

— Полковник, если я в лагерях за дополнительную пайку не ссучился, то разве сейчас в сексоты пойду?

Костенко закурил:

— Дай слово, что в тебе умрет, что я сейчас открою.

— Даю слово.

— Помнишь артистку Зою Федорову?

— Это которую Щелоков уконтрапупил?

— Кто это тебе сказал?

— Так Нагибин в «Огоньке» напечатал, неужели не читал?

— Читал... Писатель в книге на все имеет право, на то он и отмечен искрой божьей... Так вот Хренков этот

меня интересует именно в связи с Зоей Федоровой...

— Не сходится, полковничек... Если ты в отставке, то при чем здесь несчастная Федорова?

— Надо уметь отдавать долги.

— Мне отдай... Мне эта власть задолжала, за всю мою растоптанную жизнь задолжала...

— Бабок у меня нет, Мишаня. Чем возьмешь?

— Хренков, Хренков, Хренков, — задумчиво повторил Ястреб. — Ну-ка, покажи ксиву...

Костенко протянул ему пенсионное удостоверение. Ястреб изучил его, вернул, заметив:

— В ваших падлючих типографиях и не такое можно напечатать...

— Кстати, о Щелокове... Хоть он мне генерала заре-зал, а ведь обещал звезду дать, но я помню, как он на встрече с детективщиками запонки им показывал золо-тые: «Это подарок великого советского музыканта Рост-роповича, моего друга, он мне их дал перед тем, как его изгнали с Родины... А я их ношу, потому что придет вре-мя — он героем сюда вернется...» Так что прямолиней-но и однозначно ни о ком судить нельзя, Ястреб, даже о Щелокове.

— Это он в застое этакое брякнул?

— Так он после застоя сразу и слетел... В зените своей власти официально заявил... И еще сказал, что ди-рижерскую палочку Ростроповича у себя на столе дер-жит, как напоминание о расейском бездумном расточи-тельстве, когда сами собственные таланты давим. Мол, что имеем — не храним, потерявши — плачем...

— Полагаешь, на него напраслину возвели?

— Ястреб, я п о л а г а ю только в том случае, когда имею улики... Ладно, если вспомнишь что о Хренкове, зайди, чайку попьем.

— Адрес не поменял?

— А кто легавым новые квартиры дает? Я ж не пере-довик какой или министр... Ну, пока, Ястреб... Мне нра-вится, как ты дело развернул... Учишь государственных идиотов коммерции...

Костенко вышел из киоска, Ястреб тут же открыл окно, высунулся с мегафоном и моментально собрал оче-редь. Внезапно закричал: «Полковник, погоди!»

Сначала Костенко решил было не возвращаться — зачем о т к р ы в а т ь с я, но потом сказал себе: «Ты отставник, ты никто... Кому ты нужен? Раскроешься, за-кроешься, все кончено, жизнь — мимо, конец...»

И — вернулся.

— Слушай, — сказал Ястреб, — в лагере со мной один бес сидел, мы его раскололи, его в пятьдесят седьмом взяли, подполковником МГБ был, курва... Мы его сквозь строй гоняли — у-у-у-у... После двадцатого съезда его окунули, пытал, говорили, пятнадцать вмазали... Так мы ему кличку дали — Хрен; злой был, отмахивался по форме, за себя стоять умел...

— Хрен? От фамилии, что ль?

— От злобы. Знаешь, как говорят: злая горчица, злой хрен... Фамилия у него другая была...

— А шрамик на левой брови был?

— Он весь у нас в шрамах ходил...

Костенко достал из кармана фоторобот Хренкова, протянул Ястребу:

— Он?

— Он, курва, чтоб я свободы не видал, он! Ну, сука, а?! Жив, выходит!

— Он не просто жив, Ястреб... Он, сдается, в деле. Ко мне подошел, сославшись на тебя, иначе я б с ним и говорить не стал... Забыл все, что я тебе показал?

— А ты мне ничего и не показывал, полковник...

...В Переславль-Залесский Костенко приехал в полночь, потому что у автобуса полетел скат. Менять его — да еще под дождем — дело долгое, матерное, пассажиры пытались остановить машины, — куда там.

Странные у нас люди, думал Костенко, глядя, как мимо несчастных пассажиров, чуть не кидавшихся под колеса, проносились «Волги», «Жигули», «рафики». Стоит поговорить с человеком часок-другой — откроется тебе, душу распахнет, последним поделится, а вот помочь незнакомцам, проявить номинальную культурность — ни-ни. Почему в нас мирно уживается Бог с Дьяволом? Оттого, видно, история наша столь трагична: собирали Империю кровью, жестокостью собирали, небрежением к людишкам, во всем превалировала Державность, а ведь происходит это понятие от «держать», то есть «не пускать», а всякое «непускание» по своей сути грубо и безжалостно, то есть бескультурно...

В какой еще стране так собачатся в очередях, на рынках, в трамваях, в какой, как не у нас, доносы на соседей пишут?

Он никогда не мог забыть немецких военнопленных; в сорок шестом работали на Извозной — строили «ремеслуху». Кирпичи друг другу передают, и каждый: «битте

зер» — «данке шен», как только язык не отваливался за день?

...В Переславле, ясное дело, мест в гостинице не было, их ни в одной гостинице страны никогда не бывает, если только не запасся предварительной начальственной бронью или не сунул администратору в лапу; решил подремать в кресле. Дежурная раскричалась: «Тут что, ночлежка?! А ну вали отсюда, у меня люди отдыхают!» Он попросил разрешения позвонить в милицию, женщина разошлась того пуще: «Ты меня не пугай! Пуганая! Вали, говорю! А то сама милицию вызову, пятнадцать суток враз схлопочешь».

— Где хоть милиция, объясните.

— Иди да ищи, я тебе в гиды не нанималась.

— Сука, — сказал Костенко, — гадина...

— Товарищи! — женщина заверещала тонко, пронзительно. — Бандит! На помощь!

Двери пооткрывались, выскочили постояльцы — кто в длинных сатиновых трусах, кто в кальсонах, только один выглянул в пижаме и тут же дверь захлопнул.

Костенко машинально просчитал, что дверей отворилось восемь, а номеров — тринадцать. Дежурная рыдала в трубку: «Милиция? Коль, это ты?! А ну, давай сюда наряд! Бандюгу забери, у меня свидетели, гони быстро».

Колей оказался крепыш сержант, он с порога спросил дежурную:

— Где хулиган?

— Вон, гад! Грозился, матерно обзывал... Правда, мужчины? — спросила она постояльцев.

Те отвечали невразумительно, смотрели, однако, на происходящее с интересом.

— Поехали, — сказал сержант. — Там разберемся. — Дежурной бросил: — Составь заявление, и чтоб свидетели подписались.

— Вы сначала проверьте мои документы, — попросил Костенко.

— В отделении проверим.

— Проверим здесь, — сказал Костенко и протянул ему свою полковничью пенсионную книжку.

Коля долго изучал ее, потом сказал зрителям:

— Расходитеся, граждане, театр здесь, что ль?!

— Нет, а в чем дело? — сказал тот, что вышел в кальсонах. — Вы нам по-гласному все объясните... Нас ото сна оторвали... За спиной у народа теперь нельзя, не разрешим...

— Молчи, «народ»! — отрезал сержант. — Как на рынке виноградом спекулировать, так, понял, «индивидуал», я твой номерок давно заприметил, а если скандал, на «народ» киваешь...

Люди молча и быстро разошлись по номерам.

Костенко предложил сержанту сесть рядом:

— Пусть гражданочка дежурная возьмет ключи, и давай-ка посмотрим пять номеров — есть там постояльцы или пустуют?

— Коля, он меня матерно обзывал и грозил глаз вырвать! — испуганно заплакала администраторша.

Костенко спросил сержанта:

— По какой статье дамочка проходила?

Сержант понизил голос:

— Так вы с контрольной проверкой, что ль, товарищ полковник?

Услыхав последнее слово, дежурная заплакала еще пуще:

— Начальник, не губи, не губи, начальник, дам я тебе номер, но он же бронированный, без исполкома не могу я, запрет мне на эти номера, вдруг начальство нагрянет, их селить надо, не губи...

— Агентов надо выбирать понадежнее, — заметил Костенко сержанту, — она ж взятки за номера берет. По нонешним временам вы ее не отмоете, придется сажать, как ты ей будешь в глаза смотреть? Да и сам под монастырь попадешь... Смотри, парень...

— А я чего? — спросил сержант, потупив очи долу, — я ничего такого с ней не имею... А без присмотру гостиницу оставлять нельзя: скопление, мало ли чего может случиться...

...Утро было солнечным, небо — высокое, синь непроглядная, какое-то странное ощущение невесомой массы; ассоциировалось с вселенской тишиной, миром, бессмертием и безмятежным вечным покоем... Хотя вечный покой скорее приложим к кладбищу, если идти от «передвижников»... Все двоякотолкуемо, нет одной правды и никогда не будет; приближение к правде — слагаемость множества мнений...

До того домика, в котором жил отставной генерал Трехов, можно добраться на автобусе, что ходил раз в два часа, или топать семь километров вдоль по берегу Плещеева озера — оно искрило мелкой зыбью, сентябрь-

ский камыш казался бархатным, стайки чирков пролетали стремительно, как реактивные истребители: брать пример с Божьей твари и подвешивать — под копию с нее — атомные бомбы..: Эх люди, люди, порожденье крокодилов... Жуки — прообраз танка, крот — сапер, воистину из ничего не будет ничего; проецируем Божью тварь на мощь разрушения, вгрызание в глубь самих себя, подкрадывание к дьяволу, который сокрыт в каждом...

На третьем километре на поднятую руку откликнулся наконец шофер бензовоза — молоденький парень, волосы что солома, глаза — синие, громадные.

— Куда вам, дядя?

— А здесь неподалеку, на берегу, возле Зубанихи старик живет...

— Генерал, что ль?

— Точно.

— Чокнутый...

— Да ну? Давно ли?

— А как Горбачев пришел. Раньше молчал, а вот стали товарища Сталина хулить, так и он, — туда ж...

— Любишь товарища Сталина?

— Его все честные люди любят.

— Ты сам-то с какого года?

— Старый уже, — усмехнулся паренек, — с шестьдесят пятого.

— Да, дед прямо-таки... Ты ж ни Хрущева не застал, ни Сталина... Откуда в тебе любовь к Иосифу Виссарионовичу?

— А папаня работал в охотхозяйстве, его Василий Иосифович держал, сын вождя... И консервов привезет егерям, и бутылку каждому... Чего ни попросишь — кровель там, стекло, — всем помогал, и взятки, как сейчас, не брал: все от чистого сердца... За это его масоны с сионистами и погубили мученической смертью...

— А масоны — это кто?

— Ну как? Враги народа, нерусские.

— А сионисты?

— Так это ж евреи! Вы что, шуткуете, дядя?

— Почему? Просто интересуюсь, как ты себе это мыслишь. Радищева в школе проходил?

— А как же! До сей поры помню, очень замечательно писал про страдания народа...

— Он, кстати, масоном был. Радищев-то...

— Ты, дядя, давай, напраслину на русского писателя не неси, а то высажу, и точка...

— Да вот тебе истинный крест, — серьезно ответил Костенко. — Для интереса сходи в библиотеку, посмотри издание Радищева, там про то сказано...

— Какая у нас библиотека?! Одни собрания сочинений — то Брежнев был, то сусловы там всякие с соломенцевыми, двух слов сказать не могут, а туда ж — за Пушкиным в ряд...

— Сионисты, — рассмеялся Костенко. — Дорогу небось тоже они, сионисты, мешают проложить, по ухабинам елозим?!

— У них руки длинные... Если б от нас что зависело — сразу б провели...

— Ну так и провели б!

— А ты пойди в исполком, сунься! С Гушосдором поговори! От ворот поворот — и точка!

— Масоны там сидят? Нерусские?

— Да что ты с этими долбанными масонами ко мне привязался, дядя? Все об них говорят, что ж, людям не верить?!

— Об них не все говорят, об них наши цари говорили с охранкой... И Гитлер... Ладно, хрен с ними, с масонами этими... Мясо дают? Колбасу? Сыр?

Шофер покосился на Костенко, оглядел его наново, прищурливо, холодно:

— А вы вообще-то наш?

— Нет, украинец...

— Ну, это разницы нет, что хохол, что русак...

— Полагаешь?

— А что? Если б вы чуркой были — я б вас по физиономии отличил, прибалтийца какого — по выговору, я с ними в армии служил, аккуратные ребята, своих в обиду не дают, молодцы, это только мы как в расколе живем, только и ждем, чтоб друг дружку схарчить, будто шакалы какие...

...Генерал Трехов отмахнулся от костенковского удостоверения:

— Я любому человеку рад, мил-душа, живу бобылем, милости прошу в зало...

У Костенко стало тепло на сердце; «зало» было комнатой метров шестнадцати, вдоль стен стеллажи с газетами, журналами и книгами, уютный абажур, такой у бабульки был, только у нее белый, а у этого — красный; спаленка крохотная, метров шесть, зато кухня с русской

печкой — настоящая, просторная, впрочем, Костенко отметил, что ему мешало здесь что-то, потом понял — холодильник; чужероден.

Генерал словно бы понял его:

— Погреб отме́нен, мил-душа, но я дважды сверзился, еле отлежался, пришлось изнасиловать российскую первозданность атрибутом антиэкологической цивилизации... Увы, молочко из погреба несравнимо с тем, что хранится в холодильнике, но годы вносят свои коррективы... Чайку с дорожки? Хлебушка с салом?

— Ни от чайку, ни от хлеба с салом не откажусь, товарищ генерал...

— Мое имя-отчество легко запоминаемо, мил-душа... Я Иван Иванович... А вы?

— Владислав Романович.

— Красивое созвучие. Очень раскатистое, какое-то театральное... Присаживайтесь, сейчас накормлю... С чем пожаловали?

— Я по поводу Зои Федоровой...

— Кто это?

— Актриса, которую убили восемь лет назад...

— Погодите, погодите, я ее реабилитировал вроде бы... Так?

— Именно... Я думал, вы ее сразу вспомните...

— Через меня прошли десятки тысяч людей, Владислав Романович... Я и Сергея Королева дело закрывал, и Туполева, и детей Микояна, и Тату Окуневскую реабилитировал, жену моего фронтового друга Бориса Горбатова, и Павла Васильева, гениального сибирского поэта... Пильняка, Бабеля, Тухачевского, Мандельштама, Мейерхольда, Вознесенского, Михоэлса — разве всех в памяти удержишь?! Видимо, ее дело было легким, в других-то приходилось разбираться, мил-душа... Таких показаний навыбивали, стольких свидетелей выставили... Липа? Ясное дело... Но — докажи! Молотов требовал развернутых справок по каждому делу, особенно в связи с военными, его же подпись там стояла... Каганович велел справки на всех секретарей райкомов Москвы ему лично пересылать... По Наркомпути — тоже... Никита Сергеевич постоянно интересовался Украиной, только Ворошилов в ус не дул... Знаете, кстати, как он пил? Две чарки водки, а после — для похмельной бодрости — фужер шампанского. И — все. Умел пить, знал, когда остановиться... Но он уже тогда, мил-душа, мало что воспринимал, парил, так сказать, считал, что если Хру-

щев в своей речи сказал, мол, Сталин винил Ворошилова — «английский шпион», то с него все списки автоматически снимутся, а он ведь тоже на сотни тысяч давал свою подпись...

— Иван Иванович, вы не помните, кто был следователем Зои Федоровой?

Генерал поставил на стол квашеную капусту, буханку хлеба, сало, порезанное щедрыми кусками, и варенье:

— Конечно, не помню, мил-душа... Если б записи вел, а то ведь все тогда было «совсекретно»... Никто не знал, когда придет приказ прекратить реабилитацию и вернуться к восхвалению великого кормчего, будь он проклят...

Костенко достал фоторобот Хрена, показал его генералу. Тот долго вглядывался, потом задумчиво произнес:

— Я его допрашивал... Он в Лефортове сидел...

— По какому делу?

— Кажется, по тем спискам, которые подписывал Абакумов...

— Зою Федорову арестовали по указанию Берии...

Генерал покачал головой:

— Сдается мне, там была какая-то игра... Что-то там было особенно коварное... Вы угощайтесь, мил-душа, угощайтесь, а я пока расслаблюсь и повспоминаю...

Костенко положил кусок сала на черняшку, чуть присолил, съел быстро, с нескрываемым аппетитом; есть дома, где угощение в с л а с т ь, а бывают такие, где совестишься кусок со стола взять.

— Хорошо едите, — заметил генерал. — Я-то на твороге сижу, рак был, полжелудка вынули, ничего, третий год уже, дети всех врачей-убийц съехались, чьих отцов я реабилитировал, а их следователей — сажал...

— Иван Иванович, врачей реабилитировал Берия...

— Он их выпустил, мил-душа... А дело по-настоящему закрывал я... Лаврентий Павлович только крохотный кусочек айсберга приоткрыл в своей борьбе за интеллигенцию, он был игрок мудрый, учитель был не кто-нибудь, а Хозяин... Кстати, у вас портретов Зои Федоровой нет?

Костенко с готовностью разложил перед генералом фотографии Федоровой: и кадры из фильмов, и в шикарном платье со знаками лауреата Сталинских премий, и убитую — с телефонной трубкой в руке...

Генерал отодвинул все фото, оставив одно — со Сталинскими премиями.

— Вот что я помню точно, мил-душа... Прямо-таки страницу дела вижу: «...после вручения мне Сталинской премии я набралась смелости и обратилась к Иосифу Виссарионовичу: «Дорогой товарищ Сталин, у меня отец репрессирован...» Зоя Федорова была у Сталина на Ближней даче... Потом ездила к Берии на улицу Качалова... Сталин умел давать в з я т к и, это не брежневские дилетанты, тот был злой гений дозировок, все просчитывал вперед... Эк ведь как сумел «обоймы» создать, организовать классиков... Детская литература: ба-бах ордена Ленина Чуковскому, Маршаку, Михалкову, Гайдару и Барто — гении, высшие авторитеты, только их и читать детям... Ба-бах премии артистам, любимым народом: Крючкову, Алейникову, Андрееву, Черкасову, Марецкой, Зое Федоровой — только они говорят с экрана правду, они, и никто больше... Так же и в балете было, и в театре, в науке, живописи... Пойди кто хоть слово скажи против Александра Герасимова, Серова, Налбандяна, Иогансона... Что там всяких Гудиашвили, Кончаловские, Мешковы, Сарьяны?! Третий сорт... Хоть и тем давал от пирога, но орденок поменьше, премию пожиже, все взвешивал, фармацевт... Так вот я вспомнил: вскоре после визита Федоровой к Сталину на дачу и к Берии в особняк ее и забрали... Ей ведь шпионаж шили, я вспомнил, шпионаж и террор, мил-душа, у нее какой-то американец был во время войны, верно?

— Верно. Военный атташе, капитан Джексон Роджер Тэйт...

— Его когда выслали из страны?

Костенко улыбнулся:

— Ухватили кончик шнурка?

— Не сглазьте, мил-душа... Так в каком его турнули?

— В сорок пятом.

— В сорок пятом, — задумчиво повторил генерал. — Смотрите, как интересно: первый американец, которого турнули, — в год Победы... А Сталин «железный занавес» начал заново строить в сорок шестом... Понимаете, к чему я веду?

— Понимаю... Вы ищете л и ч н ы е мотивы для высылки американца.

— Точно... Ее, видимо, пытались вербовать... Впрочем, о мертвых или ничего, или хорошо...

Костенко хмыкнул:

— А как быть со Сталиным? Он же мертв..

Генерал покачал головой:

— Жив... Многомиллионен... Его жаждут рабы, мечтающие о жесткой руке и «новом порядке»... Если о нем молчать — придут те, кто страшнее его... Придут такие тупоголовые изуверы, такие неграмотные солдафоны, что Россия после них перестанет существовать как цивилизованное государство... Стоп, стоп, стоп... Фамилия Бивербрук вам говорит что-нибудь?

— Доверенное лицо Черчилля? Прилетал к нам в июле сорок первого?

— Молодчина, мил-душа, молодчина, память — форпост ума... Так вот я вам расскажу историю с Бивербруком, а потом напомню про любопытный приказ Лаврентия... Лично я документ не видел, вероятно, братья Кобуловы, его заместители, часть архивов успели сжечь накануне ареста, их же взяли только на другой день, а Всеволода Меркулова, ставшего в сорок первом начальником разведки, и вовсе арестовали через неделю — после первых показаний членов группы Берии... Но об этом эпизоде вспоминали все... Так вот, мил-душа, когда к нам приехал Бивербрук, зная о его специфических наклонностях, Берия п о д в е л к нему мальчика-переводчика: после того как лорда торжественно проводили, мальчик исчез, как в воду канул... Берия посрывал шевроны со своих помощников, кого-то отправил на фронт, кого-то приказал вывести на Особое Совещание, а потом выяснилось, что Сталин этого мальчика просто-напросто подарил лорду. Тот обратился к нему с личной просьбой — после успешного окончания переговоров, — и вождь отдал приказ заранее загрузить прелестное дитя в аэроплан англичанина... Тогда-то Берия и издал приказ: следить за всеми союзниками, мотивируя это необходимостью гарантии личной безопасности наших «боевых друзей по антигитлеровской коалиции». Вот мне и сдается, не было ли желания у Лаврентия Павловича превратить Зою Федорову в «охранницу» ее американского друга? Конечно, она отказалась, и тогда на нее начали крутить дело... Абракадабра была какая-то: «Он просил ездить в районы, где расположены военные заводы, и производить там фотографирование заборов, через которые можно сделать лазы...» Что-то вроде этого, мил-душа. За точность — не отвечаю... И еще — но это тоже надо проверять — где-то и как-то пересеклись пути Зои с Галиной Серебряковой, писательницей, эпопея о Марксе, с Лидией Руслановой... И, кажется, с Ром-Лебедевым, этим чудесным цыганским актером... Конечно, я сде-

лал преступление: надо было б вести хоть одностраничные конспекты, но я тогда полагал, что оттепель быстро кончится: через полгода после двадцатого съезда Хрущев круто повернул, стал говорить, что, имей он Сталинскую премию, — с гордостью бы носил на груди. Все время печатались статьи о «неоднозначности» Сталина... Расстрелял всех ленинцев, сделал страну концлагерем — и на́ тебе: «неоднозначен»... Мы ж нация мифотворцев, живем иллюзиями и преданиями, подгоняем факты под то, что нам угодно, а не следуем за ними.. Чайку подогреть?

— А не трудно? Давайте я сам...

— Все вещи в труде, — усмехнулся генерал. — Когда слишком бережешься, начинается распад... Все сам, только сам — в этом залог жизнестойкости...

Он вернулся через пять минут: на лысом большом черепе римского патриция бисерился пот, виски были запавшие, с синевой; уши восковые — морщинистые и очень большие.

Не жилец, подумал Костенко. Это пот у него выступил от усталости, плитка нормальная, не спиральная, только та дает жар... Надо уходить, а я не имею права уйти, потому что он ящичек доброй Пандоры, если такая была; его надо разговорить, он вспомнит, он обязательно даст мне зацепки, помимо той, которую уже дал; будь проклята безнравственная нравственность моей профессии; прав Ястреб, «легавый, взял след», не сойду, а утеряю — скулить стану, тьфу, противно.

А женщина, которой выстрелили в затылок, когда она говорила по телефону? Несчастная женщина, прошедшая одиночки, пытки, лагеря? Потерявшая во Владимирском изоляторе свои лучшие дни? И бабьи — безвозвратно, и, главное, те, что принадлежали искусству: несыгранные роли, расстрелянные мечты, постоянное воспоминание о съемочной площадке, о крике «мотор!», когда начинается таинство кинематографа и все замирает вокруг оператора: ты и камера, и никого больше...

Почему меня сняли с дела Федоровой? Всех асов сняли, оставили стариков и мальчиков, а тех, кто прошел огонь и воду, отвели: «Не пачкайтесь, тухлое дело; незачем вам в нем мараться, повиснет на всю жизнь нераскрытая феня...»

Сначала делом интересовался зампред КГБ Цвигун; погиб — загадочно; потом посадили цыгана Борю, д р у г а дома; после умер Суслов — одно за другим, все в

течение полутора месяцев; Федорчук, пришедший на смену Андропову, вообще отказался помогать: «Это дело Угро, к нам не имеет отношения».

Господи, какие же все советологи наивные! Неужели им было не ясно, что после смерти Суслова ситуация наверху стала накально-критической?! Что может человек, б р о ш е н н ы й на пропаганду? Андропова лишили власти, то есть реального знания происходящего, переместив с Лубянки на Старую площадь; ЧК оказалась целиком в руках группы Брежнева: Федорчук, Цинев, их окружение... А Старый Господин был на последнем издыхании. А Москва, столица, как издревле повелось, решала все: Гришин и Черненко шли в одной упряжке... Новое руководство ЧК в их руках, Щелоков — само собою...

Стоп, остановил себя Костенко, а ведь группу по Федоровой окончательно раскассировали недели через две после того, как умер Андропов, а Черненко стал Генеральным... Точно! Вон оно куда тянет, а мы, дурни, дальше собственного носа ничего не видели... Вот уж воистину, лучше свобода — с карточками на сахар, чем коррумпированная тирания, смысл которой — оболванить народ, лишить его права на мысль, слово, несогласие, альтернативу... Неблагодарные мы люди... Черт, но кто ж из наших говорил мне тогда, когда я особенно активничал: «Голову сломишь, Славик, не высовывайся, все сложнее, чем тебе кажется...»

И Костенко вспомнил этого человека — Дима Степанов, он, точно.

— Я чай завариваю особый, мил-душа, — продолжал между тем Иван Иванович. — Зверобой, брусничный лист, шиповник...

— ...валерьяновка, пустырник, — добавил Костенко, — и почечный брикет...

— Слежку за мной поставили? — усмехнулся генерал.

— Я отставник, не в моей власти, просто одним недугом маемся, — ответил Костенко. — Я этим чаем держусь последние семь лет...

— Вы что-то очень важное вспоминали, мил-душа?

— Точно. Плохой я сыщик, если вы смогли прочесть это на моем лице...

— Какой вы сыщик — не знаю, а вот я прокурор — отменный, честно признаюсь... Я ведь до этого в ЦК ра-

ботал, у Кузнецова, убиенного Сталиным, Маленковым и Берией...

— Вас чаша миновала?

— Представьте — да. Но я всегда старался как можно меньше попадаться на глаза начальству. Тихо делал свое дело — и точка... Потом я не курировал органы, а только готовил проекты речей, следил, сколько раз упомянуто имя Сталина, какие оценки даются его теоретическим работам и практической деятельности... После ареста Кузнецова пару раз со мной провели беседу, вызвал Георгий Максимилианович, передвинули в ВЦСПС, на этом все кончилось... Кстати, о Федоровой... Вы не поднимали дела, кто ей дал квартиру на Кутузовском проспекте? Это — симптоматично, там чаще жили те люди, к которым был интерес у первых лиц, режимный проспект, режимные дома...

— Спасибо, Иван Иванович... Это — интересное направление поиска... Сколько я помню, такого рода версию мы не отрабатывали...

— Поглядите, кто ордер выписывал, встретьтесь, коли жив человек, большое обычно начинается с малого... Когда я выбивал комнату дочери Рыкова, потом Крестинской, Серебряковой, всюду стоял и номер решения той инстанции, которая выделяла жилплощадь... Что-то меня крепко зацепил Кутузовский проспект, мил-душа, — задумчиво повторил генерал. — У вас никаких намеков на ее связь с первыми лицами, членами их семей не проскакивало в деле?

— Так круто мы не смотрели, Иван Иванович... Но ее вроде бы посещали люди, связанные с семьей Леонида Ильича...

— Кто именно?

— Певцы, актеры... Галина Леонидовна — человек общительный и в общем-то демократичный... Она не чуралась людей и была совершенно независима в знакомствах и встречах...

Генерал усмехнулся:

— А бедные дети сталинского Политбюро представляли родителям список школьных друзей, которых намеревались пригласить на день рождения... Из двадцати фамилий вычеркивали пять-шесть кандидатур — как минимум..

— Охрана?

— Нет, отцы. Охрана только подбирала справки, вычеркивали отцы, — генерал снова усмехнулся. — Недавно

я подивился краткости нашей памяти: читал воспоминания Никиты Сергеевича в «Огоньке», там фотография дана: впереди высокий, широкоплечий Сталин, а чуть позади маленькие Микоян, Хрущев и Маленков... Но ведь это слепленное фото, монтаж... Сталин был коротышка... А тут — чуть не на голову выше соратников... Сноску б дали, что ли... ЧК помогала вам в расследовании?

— Поначалу — да. А потом как отрезало... Вы ж помните, тогда произошла трагедия: наша пьянь забила до смерти одного из работников секретариата Андропова в метро, ночью уже, ну и пошла вражда... Да и потом Щелоков... Мне сдается, он ощущал на себе постоянный глаз Андропова, но был прикрыт Чурбановым — да и то в какой-то мере, ибо понимал, что первый заместитель вот-вот станет министром...

— Щелоков бы стал либо зампредом Совмина, либо секретарем ЦК, партитура была заранее расписана... Меня только до сих пор ставит в тупик то, что сердце Брежнева само «остановилось»... Он же на американском стимуляторе жил... И умер за два дня перед пленумом, когда, говорят, новый председатель КГБ Федорчук, не являясь членом ЦК, должен был войти в Политбюро, — невероятная кооптация... Федорову, кстати, убили из пистолета иностранной марки?

— Да. Вы слыхали об этом?

— Нет. Просто подумал, что убийца — если это было заказным убийством — ни в коем случае не использовал бы советское оружие...

«Заказное убийство?» — Костенко полез за сигаретами, но, вовремя спохватившись, сунул пачку в карман.

— Да вы курите, курите, — сказал генерал. — Когда Леониду Ильичу врачи запретили курить, он просил помощников себя не ломать: «Хоть любимым запахом потешусь...» Кстати, — генерал поднялся, — один из следователей Зои Федоровой по профессии был инженером, специалистом по радио... Да, сдается, что так, мил-душа... Они ж все начинали плакать, когда я выкладывал на стол папки с их «делами»... А тот держался крепко, достойно, сказал бы я, держался... Когда я взял с него подписку о невыезде — ясно было, что сажать надо, сажать и судить: гнал в каземат заведомо честных людей, — он тогда рассмеялся, глядя мне в глаза: «А с ЦК подписку о невыезде не хотите взять? Меня ЦК мобилизовал в органы, был бы радиоинженером, горя б не

знал, а меня с любимого дела сорвали, сказали, что партии угодна борьба с врагами, а каждый, кто попал на Лубянку, — враг, невиновных Советская власть не карает... Как бы вы на моем месте поступили?» И я был обязан ему ответить: «Не знаю...» Я и до сих пор не знаю, как бы повел себя, окажись в его положении...

— Но ведь вы ничего не показали на секретаря ЦК Кузнецова, Иван Иванович? А покажи вы на него — большую б карьеру сделали...

— То был не допрос, мил-душа, то было собеседование, а это, как Бабель говорил, две ба-альшие разницы... Мы, мил-душа, все грешны... Если не делом, так помыслом, не помыслом, так незнанием того, как бы повели себя, усевшись на табурет, что ввинчен в пол напротив следовательского стола... Вы мне оставьте фотографию этого господинчика... Копия есть? Или единственный экземпляр?

— Есть еще. Но учтите — это робот, правда, прекрасно выполненный.

— А может, останетесь у меня постоем? Я вам кое-что расскажу из прошедших эпох — может пригодиться: в частности, о том, что мне рассказала Федорова, когда я вручил ей документ о реабилитации...

Встретив Костенко (на кухне пахло картошкой с луком), Маняша ахнула:

— Миленький, миленький, что с тобой?

— Ничего...

— У тебя глаза больные! Совершенно больные глаза... Ну-ка, давай мерять температуру...

Он погладил ее по щеке (Господи, когда ж я в последний раз называл ее «персиком»? Как же быстро мы отвыкаем от ласковой поры влюбленности; неблагодарность человеческой натуры? моральная расхлябанность? ритм нынешней жизни?), покачал головой:

— Температура нормальная, Маняш... Просто во многия знания — многие печали.

— Ты его нашел?

— Да...

— Интересно?

— Если «страшно» может быть «интересным» — да.

— Самые интересные сказки — страшные.

Костенко устроился возле маленького бело-красного кухонного столика, улыбнулся:

— А ведь воистину счастливый брак — это затянувшийся диалог... Мне с тобой чертовски хорошо, Маняш...

— Заведи молодую любовницу, тогда еще больше оценишь... Хочешь рюмку? С устатку, а?

— Стакан хочу.

— Плохо тебе?

— Очень.

— Да что ж он тебе такого наговорил? Черт старый!

— Не надо так... Он — чудо... Он выдержал испытание знанием ужаса... И остался жив... Нет, я неверно сказал... Не как медуза там какая, а как гражданин идейной убежденности...

— Ты не боишься таких людей? — спросила Маша, налив ему водки и поставив на длинную деревянную подставочку сковородку с картошкой; лук слегка обжарен, присыпано петрушечкой; четверть века вместе, каждый п о н и м а е т каждого («знает» в этом случае звучит кощунственно, протокольно: впрочем, и «понимает» — не то; «ощущает» — так вернее).

— Каких? — спросил он, медленно выпив стакан водки. — Сформулируй вопрос точнее, Маняш...

— После всех этих ужасов, о которых пишут, после моря крови... У меня перед глазами все время стоит письмо Мейерхольда, как его, старика, били м о л о д ы е люди, которые не могли не помнить театра имени Мейерхольда... Как можно остаться идейным? Я понимаю, это не мимикрия, но все же, по-моему, это борьба за себя, Славик, борьба за свою обгаженную жизнь, за крушение идеи...

Костенко ковырнул картошку, есть, однако, не стал, хотя мечтал об ужине, пока трясся в автобусе...

— Робеспьер был идейным человеком, Маняш...

— А сколько голов нарубил?

— Давай тогда предадим анафеме и Пугачева, и Кромвеля, и Разина... Действие рождает противодействие... Око за око, зуб за зуб... Из ничего не будет ничего... После республики Робеспьера появилось консульство «железных» диктаторов, а после — император Наполеон... А потом вернулись Бурбоны, родившие — своей дурью — террор новой революции, которая наряду с лучшими людьми поднимает и муть, люмпен, жестокость, месть... Но ведь — через кровь и восстания — все кончилось демократической республикой... Значит, несмотря на реакцию, кто-то хранил веру в государственную уважительную доброту? Если бы до февраля семнадцатого

Россия властвующая — крохотулечка, процент от всего населения — поделилась своими благами с массой народа, думаешь, люди б пошли громить околотки? Если б в сентябре Керенский дал народу хоть что-либо, кроме свободы слова и митинга, думаешь, Октябрь победил бы?

— Ты стал отставным крамольником, — сказала Маша и автоматически, по привычке, включила маленький приемник.

— Выключи, — сказал Костенко. — Как не стыдно...

— Мне не стыдно, Славик... Мне страшно. И чем дальше — тем больше... Сейчас всем страшно, милый...

— Оттого, что много говорим, а мало делаем?

— Так думаете вы, мужчины, умные — особенно... А ты постой в очереди... Ради интереса — постой... Злоба людей душит, понимаешь?! Черная, одержимая... И — толкают друг друга, осатанело толкают, Славик, с яростной сладостью толкают, а локти — хуже кулаков, такие костистые, такие безжалостные... Детей толкают, Славик!.. Поешь картошки, пожалуйста... Я уж и так второй раз на плиту ставлю, перехрустит... Да, забыла, тебе какой-то Птицын звонил... Раза четыре...

— Кто такой?

— Я же не знаю твоих знакомых, Славик; Птицын и Птицын... Сказал, что он тебе очень нужен...

— Наверное, из Совета ветеранов... Телефон оставил?

— Нет.

Костенко начал уплетать картошку, усмехнулся:

— Найдет, если он мне нужен... Если б я ему понадобился — тогда другое дело... Заметила, как мы разобщены и не умеем друг другом пользоваться? Нет, не шкаф достать или там заказ к празднику — а в общем государевом деле... Погоди, Маня, — он вдруг поднялся. — А ты фамилию не спутала? Может, Ястреб звонил?

Она расхохоталась:

— Точно, Ястреб, я ж говорю, птичья фамилия!

...В киоске Ястреба горел свет; Костенко постучал в дверь, никто не откликнулся; странно. Он обошел киоск, выискивая щелку, чтобы заглянуть внутрь: по всем законам свет ночью в киоске должен быть выключен. Впрочем, у него здесь все схвачено, подумал Костенко. Этому закон не писан. Щелочку он нашел между портретами Пугачевой и Высоцкого; первое, что увидел, была бутылка коньяка, почти до конца выпитая, три бутерброда; левая нога Ястреба была неестественно задрана,

словно бы вывернута и м е р т в о лежала на коечке, покрытой аккуратным ковриком...

2

На счастье, дежурную группу МУРа возглавлял майор Глинский, один из учеников Костенко; принесся через десять минут.

Мишаня Ястреб убит был сильным ударом «колющего тонкого предмета» в шею, в то время, когда он наклонился за книгой — ротапринтное издание «Царствование Алексея Михайловича». Отпечатков пальцев обнаружить не удалось, работал профессионал; следов ограбления не было; эксперт взял анализ на запах; собака потеряла след в двухстах метрах от киоска, видимо, убийца сел в машину.

Взглянув на эксперта, Костенко поинтересовался хмуро:

— Когда его убили — примерно? Рискните ответить на глазок...

Эксперт Галина Михайловна еще раз прикоснулась тыльной стороной ладони к шее Ястреба:

— Вы меня ставите в неудобное положение, Владислав Романович, я должна поработать в морге... Приблизительно часа полтора тому назад... Но это не официальный ответ, чисто априорный, не взыщите...

Костенко попросил Глинского проверить карманы Ястреба, все бумажки с записями, а сам пошел к автомату.

— Манюнь, я, видно, сегодня поздно вернусь, ты ложись, солнце... Постарайся вспомнить, когда мне Ястреб звонил.

— Что-нибудь случилось?

— Да...

— Серьезно?

— Да.

— Ты не один?

— С табором...

— Слава богу... Он три раза звонил, Славуль... Днем, потом часов в семь и незадолго до твоего приезда.

— Разница была какая?

— Не понимаю...

Костенко рассердился:

— Ну, днем спокоен был, потом заволновался, вечером торопился...

— Я не помню, Славуль... Я как-то этим звонкам значения не придала... Последний раз он, кажется, чуть пьяненький был, какой-то агрессивно-торжествующий...

— «Я ему очень нужен», так он сказал?

— Вроде бы... Или «он знает, как я ему нужен»... Ты правда не один?

— Куда я один-то гожусь ныне, Машуня?! Спи, малыш... Не жди меня, чтоб я не дергался...

...Глинский выложил на стол паспорт Ястреба, удостоверение Общества книголюбов, ручку марки «Паркер» с золотым пером и записку: «Отдать Лене за поставку «Слепящей тьмы» в четверг, в семь».

— Сегодня четверг? — спросил Костенко.

— Четверг.

— Денег в киоске нет?

— Пять рублей в кармане убитого.

— А чего ж не вытащили?

— Наука хочет посмотреть п а л ь ц ы.

— Слушай, Глинский, мы с тобой можем сейчас установить Люду? Ту, которая работает секретарем в кооперативе «Заря»? Кооператив заметный: продает инструменты, компьютеры, ксероксы...

— Нам бы хоть один подарил... Фамилии этой Люды нет, товарищ полковник?

— Я Костенко, а не полковник, Глинский... Не надо так меня... Фамилии нет. Проси установку на председателя правления кооператива, через него пойдем на эту самую Людку, она мне нужна...

Бригада осталась работать в киоске, а Глинский с Костенко поехали на Петровку.

...Дмитрия Игоревича Аршанского, председателя кооператива «Заря», нашли у Черных, в кооперативном ресторане на берегу Москвы-реки; г у л я л, плясал самозабвенно — махал маленькими ручками, изображая рок, вертел двух роскошных жопастых девок, которые смотрели на него, маленького лысого коротышку, с обожанием.

Костенко пригласил его на улицу.

— Мне Людка нужна, Дмитрий Игоревич. Срочно. Не откажите в любезности дать ее телефон или адрес.

— Что, малышок наградила столицу еще одним спидом? — Аршанский мгновенно протрезвел. — Документы извольте, пожалуйста.

— Я оперативный дежурный по МУРу, — представился Глинский. — Вот мое удостоверение.

— МУР не по нашей части, — усмехнулся Аршанский. — Кооперацию добивают затаившиеся сталинисты и общинные плакальщики... Что с ней случилось? Девка хорошая, слаба, правда, на передок, но ведь это МУР не тревожит... Телефон у нее легкий для запоминания: четыреста девяносто девять, девяносто девять, сорок, она, мне кажется, с начальником абонентской сети установила дружеские отношения...

— Адрес не помните?

— Один раз был. Ночью... В состоянии подпития, не взыщите... Еще вопросы есть?

— Завтра не нашли бы время поговорить со мной? — спросил Костенко. — Не допрос, не вербовка — мне нужен ваш совет, всего лишь.

— Совет вам — это и есть вербовка, — заметил Аршанский. — Звоните после семи, может быть, я выкрою для вас полчаса. Но не обещаю, очень много встреч.. Предмет с о в е т а?

— Убийство.

— Рэкет?

— Нет.

— Хм... А каковы побудительные причины?

— Не знаю. Поэтому прошу о встрече...

Оттуда же, из ресторана, позвонили Людке. Заспанная бабулька ответила раздраженно, с надрывной обидой:

— Побоялись бы Бога, в такое время тревожить..

— Люда сама просила, это Аршанский, председатель, — ответил Костенко, — из кооператива...

— Аршанский, Засранский, какое мне дело?! Увезли Людку, взяла сумочку, намазалась и укатила. Сказала, что на час, а уж два ночи, стерьва поганая!

— Это будет второй труп у тебя сегодня, Глинский, — прикрыв трубку, шепнул Костенко. — Звони в прокуратуру, доставай понятых, гоним к старухе.

— Прокуратура потребует оснований, Владислав Романович... Не дадут они постановления...

Костенко дал Глинскому трояк.

— Купи шоколадку, ладно?

...Бабулька дверь не открывала:

— Ракитники, — причитала она, — смотрите, вымогатели паскудные, я уж ноль-два набрала, тикайте добром...

— Ракитники — это как? — Костенко недоуменно оборотился к Глинскому.

— Рэкетиры, — ответил тот. — Россия чужие слова трудно приемлет.

— А — бюрократ?

— На это есть свое: «волокитчик», «супостат», «коваристый», «сутяга»...

— Соседей будить неудобно, про «ноль-два» она лапшу на уши вешает, — заметил Костенко. — Дура баба, сейчас ее внучку где-то топят или жгут, а она — вишь ты, а?

Глинский приник к двери:

— Бабулька, я из милиции, майор Глинский, позвони по «ноль-два», тебе подтвердят... Мы чего к тебе просимся-то, бабуль? Мы боимся — не было б с Людкой беды...

Старуха позвонила в милицию, было слышно, как она переспрашивала из дальней комнаты: «Глинский?! Как, Габинский?! Тьфу, православных у вас нет, что ль?! Все с подковыкой, ни черта не разберешь... Так открывать ему?! Я трубочку не ложу, я при вас открою, если замолчу, значит, извели меня, на вашей совести буду...»

Старуха цепочку сняла, потребовала документ, Глинский протянул ей удостоверение, она долго шептала звание опердежурного и фамилию, потом наконец впустила в квартиру.

Маленькая двухкомнатная «хрущевка» была обставлена антикварной мебелью (правда, красное дерево соседствовало с карельской березой и орехом), на кухне стояла западногерманская ультразвуковая плитка — положи в духовку мясо на минуту — вот тебе и готовый ромштекс, там же, на кухне, стоял диковинный приемник; неплохо секретарша живет.

— Бабушка, я за Люду волнуюсь, — сказал Костенко.

— Бабушка преставилась, царство ей небесное... Я — прабабушка ейная... Так и я за ее волнуюсь, за стерьву...

— Она когда уехала?

— Да часов в восемь... Сбежала вниз, потом вернулась, вроде бы краски эти самые взять, чтоб морду загорелой делать...

— Вы в окошко не видели, ее такси ждало?

— Она на их не ездит! Ее сюда то черные иностранцы привозят, то коричневые, меня запрет в чулане, — старуха кивнула на внутренний шкаф, — и чтобы носу не

казала... А если чихнешь или там храпанешь с духоты, то назавтра так отлупит, что и жить не хочется...

— Так какая ж машина ее ждала? — рассеянно поинтересовался Костенко. — Наша или та, на которой коричневые ездят?

— Не, не наша, — бабка покачала головой, — цвет уж больно бесстыжий.

— Это как? — не понял Костенко и достал из кармана шоколадку. — Вот вам подарок, бабулечка.

— А это чего?

— Шоколад, — сказал Глинский; его всегда раздражала манера Костенко вести разговоры со свидетелями, хотя он понимал, что именно такой неторопливый, но с к а ч у щ и й разговор (внешне скачущий) — Костенко через каждую фразу умеет тащить с в о е, аккуратно и ненавязчиво, понимая, что страх перед должностным лицом даже если оно не в форме, но с красной к с и в о й, — непременная константа советского человека — должен создать атмосферу располагающей постепенности, никакого форсажа, тем более наступательного...

— Вроде конфекты, что ль? — спросила бабуля, разворачивая шоколадку; она отломила малюсенький кусочек, положила его под язык. Так тетя Феня пила чай вприкуску, вспомнил Костенко, только вместо шоколада были п о д у ш е ч к и; сейчас днем с огнем не найдешь все скупают на самогон...

— Да, — ответил Костенко, — вроде сливочных конфет, очень полезно для сердца... Бабуль, а где Людина записная книжка?

— На столе, — ответила старушка Возле телефона

— Не позволите взглянуть?

— Вы ж при чине... Глядите... Я власти покорная Только башмаки снимите, она за ковер боится..

Ни на столе возле телефона, ни в столе записной книжки не было.

— А косметичку она где держала? — поинтересовал ся Костенко. — В ванной?

— Там у нее всякие мыла, что пену дают и сосной воняют... Я-то в баню хожу, она меня не пущает, говорит, что..

Глинский настойчиво поинтересовался

— Что она говорит?

Костенко укоризненно глянул на него, спросил

— Как шоколадка, бабулечка?

— Страсть как скусная... Я уж ее приберегу...

— Пенсию вам сколько платят?

— Пятьдесять шесть... Спасибо родной партии и правительству... Раньше-то я сорок получала, ну а сейчас как сыр в масле катаюсь, и сметанки можно взять, и сливочек, яички теперь не битые беру... В капитализьме мрут старики с голоду, а мы старость чтим...

— Так вот о красках Людиных, — аккуратно повторил Костенко, — она их на столе держала?

— Нет, на трюме... Чтоб всю себя разглядывать... Особливо когда елочные украшения клеила...

— Какие еще елочные украшения? — не очень-то сдерживая раздражение, спросил Глинский...

— А это когда на лице разного цвета блесточки сияют... На лбу синяя, на щеке желтая, теперь так полагается, вроде закон вышел в защиту женщин, чтоб красоте были прилежны...

— Бабуль, а Мишаня к ней когда звонил? Ястреб?

— Так он завчера звонил! Точно, звонил! Я еще уморилась: «Я, грит, Ястреб»... А я возьми да ответь: «Ты — ястреб, а я — кукушка»...

— Он вечером звонил, да?

— И то верно... Приехал к ней, дверь заперли, меня в чулан замкнули, ну и... Дело молодое, все такими были.. Только раньше по-тайному, а теперь бегом да бегом, а в торопливости какая тайна? Одно бесстыдство...

— Ушел-то он поздно?

— Рано ушел... Поутру... Люда ему еще отнесла рюмку для поправки. Печенье и рюмашку, это я точно помню... Она печенья мне не дает, говорит, для здоровья старикам плохо...

— А где ее большая записная книжка? — тихо спросил Костенко.

— Так ведь здесь же, на столе должна быть...

Большой книжки тоже не было...

...Дома у Мишани Ястреба (жену увезли на «скорой помощи», подозрение на обширный инфаркт) остался сын Мишка — до синевы бледный, трясущийся; сказал, что большую телефонную книжку папка взял с собой; все утро звонил куда-то, занято было, а потом плюнул, положил ее в «дипломат» и пошел в киоск.

— Кто ж папку-то моего? — Мишка сжал кулачки (не в пример отцу был худенький и жилистый). — За что?

— Ищем, Миш, — ответил Костенко. — Ты помнишь меня?

— Как не помнить?! Папка вашу фотографию всегда держал, заступник, говорил...

— Где эта фотография?

— В столе.

— Достань.

— А ее при обыске забрали... Пообещали, что завтра вечером вернут, только копии сделают.

— Тебе сколько? Тринадцать?

— Четырнадцать.

— Деньги есть?

— Мама оставила.

— Сам готовить умеешь?

— Мы с папкой сами мясо жарим... Жарили...

Костенко вырвал листок из блокнота, написал свой телефон:

— Звони, Мишка... А если кто будет расспрашивать про обыск — это не потому, что против отца у нас зло... Полагается так... Начнут расспрашивать, а ты трубочку положи, крикни, мол, суп выкипает и звони от соседей вот по этому номеру: «Срочно для товарища Глинского»... Понял?

— Это чтоб посечь того, кто звонит?

— Точно.

— А папку когда домой привезут? — глаза у мальчишки были полны слез, по-прежнему бил озноб, но — сдерживался, не плакал.

— Папка твой крещеный был, Мишка, его надо в церковь везти, а не домой... Я помогу... Договорюсь с батюшкой, там и отпоют его, и все будет по христианскому обряду... Дома тебе не надо его держать, чти отцовскую веру, сынок...

В НТО на Петровке работа еще не кончилась, но Галина Михайловна (боже ты мой, что бессонница делает с женщиной, «Галочка», «Галочка», а она старуха совсем), запомнив три главных вопроса, которые интересовали Костенко, сказала ему:

— Шило, которым убили Ястреба, сделано из особо прочных металлов с добавлением компонентов, употребляемых в радиопромышленности.

— Металлы фондируемые?

— Не просто фондируемые, а строго фондируемые... Часть идет на Байконур, каждый грамм на счету.

— Что дает добавление такого металла?

— Максимальная крепость орудия убийства... Проходит сквозь кость, о ребрах и говорить нечего... Теперь второе... Судя по стертостям внутреннего кармана пиджака, там находилась записная книжка — красного цвета, очень старая, неотечественного производства... Изымали записную книжку в резиновых перчатках — советских, у нас же не резина, а визитная карточка вселенского бардака...

Костенко вздохнул:

— Галочка, бардак в первую очередь отличает как раз порядок.

— У вашего поколения страсть к прямолинейным сталинским формулировкам, Владислав Романович.

— Увы. Хотя сейчас многие по нему вздыхают: алчут порядка.

— Пусть тогда добровольцы едут восстанавливать концлагеря.

— Зачем? Если что случится — будут косить из пулеметов... Учтут уроки прошлого: Иосиф Виссарионович оставил много свидетелей... Что-нибудь еще есть?

— Да. Вы просили поработать с «Волгой» летчика Аэрофлота Полякова... Так вот, его номер сворачивали инструментом с примесью такого же радиокосмического материала, который обнаружен на следах, оставленных шилом... На машине Полякова никто не ездил, это мы установили точно...

Костенко попросил Глинского узнать фамилии всех членов гаражного кооператива, адреса и телефоны, выяснить место жительства полковника Савицкого, который работал в расформированной группе по делу Федоровой.

— За один день?

— Надо бы... Пожалуйста..

— Попробую... Но — не обещаю.

Костенко устало потянулся; слышимо захрустели суставы:

— Я — обрушусь... Телефон отключу на четыре часа... Если что-нибудь особенно срочное — приезжай..

...Глинский приехал через час: в морге опознали труп Людмилы Васильевны Груздевой, секретаря-машинистки кооператива «Заря»: сбита на небольшой скорости, обнаружен след от удара ребром ладони по шей-

ному позвонку, который вызывает мгновенную потерю сознания...

— Сумочки, конечно, нет? — спросил Костенко.

— Само собой, — вздохнул Глинский.

— Размножьте ее фотографию — живой и убитой, — и отправляйте людей по всем ресторанам: кто ее видел? И — на бензоколонки... Да, да, — Костенко отчего-то рассердился, — могли подзаправиться, сбили-то ее не в Москве, правда?

— Оборотень вы, Владислав Романович... Возле Архангельского ее сбили...

— Там рядом есть ресторан?

— Да. Я туда сам махну.

— Бессмысленно. Работает банда профессионалов, они ее поили в другом месте... Впрочем, для страховки покажите, чем черт не шутит...

...Вахтер в министерстве довольно тщательно изучал пенсионную книжку Костенко, потом звонил куда-то (отделен толстым стеклом, ничего не слышно), после этого книжку вернул:

— Вы отставник... Не можем пропустить... Надо, чтоб пропуск спустили...

Костенко пошел в кабиночку, где были внутренние телефоны, нашел номер отдела редких сплавов; ответила секретарь, голосочек тоненький, детский.

— Мне бы, солнышко, с вашим начальством поговорить...

— Во-первых, я вам не солнышко, а во-вторых, начальство занято.

Отбой.

«Мы — «самые-самые»! Нация великой культуры! Да ни в каком Таиланде так себя не позволят вести в офисе».

Костенко набрал номер еще раз:

— Простите, я только что звонил вам...

— Я ж русским языком ответила: идет совещание!

Отбой.

Костенко позвонил в партком, объяснился; пообещали спустить пропуск, ждал полчаса, позвонил еще раз; девица озлобилась:

— Мы — режимное министерство! Сказала ждать — ждите.

— Я ждать не буду, а поеду в МВД и позвоню вашему министру по «кремлевке»! А вы из парткома уходите! Из-за таких, как вы, будут вешать коммунистов!

— Что, что?! Да вы...

Костенко яростно швырнул трубку на рычаг, распахнул дверь ногой (никакой вентиляции, весь покрылся потом), пошел к выходу; день потерян; преступление; решил было позвонить в первый отдел, но побоялся за сердце: а что, если и там такие же держиморды?

Возле милиционера (первый кордон) его окликнули:

— Где здесь Костенко?

— Я.

— Пропуск заказывали?

— Да.

— Оформляйтесь...

...Заместитель начальника отдела редких сплавов — рослый, широкоплечий человек с негритянской шевелюрой, хмуро выслушав Костенко, спросил:

— Анализ проб у вас с собой?

Костенко протянул ему заключение НТО.

Человек внимательно ознакомился с заключением экспертизы, вызвал секретаршу (расфуфыренная стерва, откуда в хорошенькой девке — если грим стереть — столько холодного хамства?), попросил сделать две копии и пригласить товарища из первого отдела...

— Как мне вас величать? — спросил Костенко. — Вы не представились.

— Ах да, простите, товарищ Кузьменко, меня...

— Не Кузьменко, а Костенко, с вашего позволения.

— Простите еще раз... Я Иван Спиридонович Назарян. Вы меня, скажу прямо, ошарашили вашей экспертизой... Это ж стратегическое сырье особого назначения... Мы считаем его по граммам...

— Где добываете?

— Я не могу ответить на этот вопрос, скажу прямо... Секретные данные...

— Американцы с разведспутников НАСА имеют об этом информацию?

— Конечно... Но зачем нам самим подтверждать их выводы?

— Заключенных на добыче этого элемента используют?

— Сейчас придет наш первый отдел, — Назарян откинулся на спинку кресла, — с ним обговорите детали, я готов помочь только техническими спецификациями.

Сотрудником первого отдела оказался совсем еще молодой человек лет тридцати пяти, веснушчатый, одетый вызывающе шикарно, с хорошей улыбкой — внезапной и открытой.

— Я Ромашов Сергей Георгиевич, — представился он, — служба безопасности и все такое прочее.

— Костенко Влади...

— Знаю, знаю, Владислав Романович... В связи с чем ваших коллег заинтересовал наш металл?

— Он не коллег заинтересовал, а меня...

— Вы же в отставке, насколько мне известно... А дело по убийству Ястреба поручили вести капитану Строилову... Вас утвердили внештатным консультантом...

— Хорошо работаете, — заметил Костенко. — Мне еще об этом не сообщили... Откуда этот Строилов?

— Из академии, Владислав Романович... С кафедры следственной работы.

— Я должен понять вас так, что разговаривать вы намерены с ним? Консультант, да еще внештатный, вас не устраивает?

— Ну почему же... Мы готовы побеседовать с вами и ответить на те вопросы, которые входят в нашу компетенцию...

Кто же меня эдак-то подсек, подумал Костенко, я ведь в рапорте черным по белому написал, что прошу разрешить мне довести до конца прерванную (не по моей вине) работу; ей-ей, как скорпионы в банке...

— Тогда я изложу суть дела, а вы уж решите, вправе ли мне отвечать или нет, ладно?

Назарян и особист кивнули одновременно, однако Назарян при этом мельком глянул на большие часы с вестминстерским боем, стоявшие в углу кабинета.

— Итак, вчера шилом или, если хотите, штыком был убит киоскер Ястреб, имеющий... имевший выходы на человека, который контактирует с неким американцем... Ястреб сидел в одном лагере со спутником американца, — отбывал срок за садизм: до пятьдесят третьего был следователем МГБ... Номер «Волги» использовали с чужой машины, сворачивали отверткой, в ней тоже обнаружена примесь вашего хитрого металла... Ночью была убита женщина, ее ударили ребром ладони по шейным позвонкам, а потом бросили под машину... У нее дома продолжается обыск, и я... точнее, руководство группы... сориентировали оперативных сотрудников на поиск всех металлических предметов — нет ли там

каких статуэток, ножичков или вилочек с примесью вашего металла. Вот, собственно, и все.

— Что значит старая гвардия, — заметил особист. — Весь доклад — две минуты.

— К понятию «старая гвардия» я чаще отношу Молотова или Кагановича, — отрезал Костенко.

— Мерзавцы, конечно, но работать умели, этого у них не отнимешь... Авиационные заводы во время войны ставили за три месяца, — заметил Назарян.

— Только потому, — сказал Костенко, — что Байбаков вымаливал у Берии дополнительное питание для каторжан, в основном партработников ленинской поры... Строили, действительно, быстро, но похоронили там не менее ста тысяч большевиков...

Словно бы стараясь уйти от этой темы, особист поинтересовался:

— У вас есть оперативные данные на американца?

— Я допрашивал его в свое время...

— Вы же не служили в ЧК...

— Этот американец меня интересовал с восемьдесят первого... Впрочем, — отыграл Костенко, — он был русским, эмигрировал, шел по моему профилю, по делу «катал»; аферы, но с выходом на мафию... Для вас, полагаю, он интереса не представлял... Другое дело — человек, который возил его на машине с фальшивыми номерами до пятьдесят третьего, повторяю, был майором или подполковником бывшего МГБ... Потом его судили и дали пятнадцать лет...

— Фамилия?

Костенко улыбнулся, ответив вопросом на вопрос:

— Фамилия? Если б я знал всех, кто сидел в Саблаге по делам Берии или Абакумова, я бы назвал фамилию...

— Ни фото, ни робота?

— Есть фоторобот.

— Можно взглянуть?

— Зайдите к капитану Строилову, он теперь шеф... Но по роботу его опознал убитый, Михаил Ястреб; кличка у этого садиста была Хрен.

— Можно познакомиться с вашей разработкой? — спросил Ромашов.

— К начальству обращайтесь...

— Мы дадим наше заключение по металлу завтра к вечеру. Согласны, Иван Спиридонович? — Ромашов обернулся к Назаряну.

— Не успеем. Дня через три. И потом нам нужен этот самый штык... Завтра не успеем.

— Время теряем, — сказал Костенко.

— Мы пришлем ответ завтра вечером, — повторил Ромашов.

Дружески распрощавшись, уже возле двери, Ромашов остановил Костенко вопросом:

— Это поможет раскрытию обстоятельств убийства Федоровой, Владислав Романович?

Костенко сдержался, чтобы не повернуться на каблуках, так неожидан был вопрос; положил руку на медную ручку массивной двери, спросил:

— У вас было слишком мало времени, чтобы узнать о моей причастности к расследованию убийства Федоровой.

— Было. Еще в восемьдесят втором, когда меня перевели сюда... А до этого я работал в КГБ, слыхал о деле Федоровой, вашу фамилию знаю отменно... Если хотите перемолвиться парой слов — милости прошу, пропуск выпишут без свинской волокиты... Фамилию мою запомнили?

...Костенко решил было поехать на Петровку — новость с капитаном Строиловым его ошарашила, но потом сел в холле на диванчике возле рахитичной пальмы; три кресла, две пепельницы; странно, сейчас надвигается новая кампания — на этот раз против курения; неужели начальство не понимает, что любой запрет рождает постепенный, но грозный протест миллионов?

Запретили водку — взвинтилась наркомания, самогон повсеместен, теперь ввели карточки на сахар...

Запретят курево — еще страшнее станет наркомания, спекуляция будет ч е р н о й, хоть все внутренние войска против этого дела брось.

Разрешение — к добру, запрет — к гибели. Какой плод сладок-то? В том и штука, что запретный, это тебе не «Краткий курс», это — Библия.

Сколько ж времени он там просидит у Назаряна, подумал Костенко об особисте Ромашове; наверняка сейчас к Назаряну потянутся люди с папками...

Действительно, через пару минут запыхавшись прибежали два сотрудника с папками под грифом, потом женщина, затем генерал с кожаным портфелем.

...Ромашов вышел через полтора часа; не удивился тому, что Костенко ждал его, кивнул:

— Пошли ко мне. Отвечу, что помню.

Костенко достал фоторобот, показал Ромашову.

— Этого человека не встречали?

— Нет, — ответил Ромашов.

— Твердо?

— Абсолютно.

— Фамилии следователей Федоровой запамятовали?

— Один умер. Либачев, сдается мне. А Бакаренко, по-моему, жив, работал в ВОХРе Академии наук, но вроде бы оттуда погнали — спивается.

— Их сажали?

— Не помню. Кажется, из партии исключили.

— Звания и пенсии оставили?

— Сняли. А почему вас так интересует этот? — Ромашов кивнул на фото.

— А потому, что он сидел вместе с Ястребом... А Зою Федорову мучили садисты... И работал этот человек на руднике Саблага, где добывали тот металл, из которого сделаны шило и отвертка... Что из себя представлял Бакаренко?

— Говно. После ареста Берии развалился до задницы, руки тряслись, плакал...

— Тогда он боялся, что посадят, теперь-то страх прошел...

— Почему вы у Назаряна сказали, что у вас нет фото?

— Потому, что не знал о вашем участии в работе по Федоровой.

— Вот моя карточка, — сказал Ромашов, протянув Костенко визитку. — Давайте я допишу домашний телефон. Звоните, если чем могу быть полезен. От Назаряна ответ получите завтра. Металл действительно с рудников Саблага. Этого, однако, в назаряновском заключении не будет. Если встретитесь с Бакаренко, я дам вам заявление старого большевика Савушкина — на этом он дрогнет.

...На Петровку, после того как Костенко нашел домашний адрес Бакаренко, эксперты позвонили с квартиры Люды: ножичек для разрезания страниц книг сделан из такого же металла, что и шило с отверткой.

Ну, Хрен, теперь держись, подумал Костенко, теперь я на тебя кандалы надену, сука! Тогда от вышки ушел, сейчас не открутишься, курвин сын...

С таким настроением он и пошел к заместителю начальника МУРа:

— Разрешите войти внештатному консультанту, товарищ подполковник?

Заместитель начальника в свое время стажировался у Костенко; прилюдно величал «Мастером»; сейчас, не поднимая глаз от бумаг, разложенных на столе, сухо ответил:

— Да, пожалуйста... Присаживайтесь, я закончу работу, а потом побеседуем.

— Ты потом доработаешь свои вшивые бумаги, — с холодной яростью ответил Костенко. — А сначала поговоришь со мной, ясно?

Подполковник медленно поднял голову — круглую, с приплющенными ушами боксера и свернутым носом; глаза у него были страдальческие, растерянные, бегающие.

— Я завизировал бумагу, что ты руководишь работой как главный научный консультант, Мастер. С правом на проведение оперативных мероприятий... А меня вызвали на ковер, и я с боем отстоял для тебя титул «внештатного консультанта»...

— Кто на меня попер?

— Не отвечу. Хоть казни...

— Причина?

— Ты с Мишаней Ястребом дружил?

— Если не будет кощунством соединить такие понятия, как «дружил» и «профилактировал», я дам тебе положительный ответ.

— Ты знал, что он купил завскладом той типографии, где печатают самые дорогие ротапринтные издания?

— Нет.

— Но ты знал, что он ими торгует из-под полы?

— Догадывался.

Подполковник достал листок бумаги:

— Это нашли у Ястреба при повторном обыске: «Костенко — в подарок — набор ротапринта».

— Ты знаешь, что я его два раза сажал на скамью подсудимых?

— Да. Но при этом просил прокурора не вертеть ему на полную катушку.

— И судей просил, потому как советская власть виновна в том, что он стал вором в законе: отца расстреляли, мать спилась, он уму-разуму учился в детприемнике.

— Романыч, поменяй имя на Дон Кихота. Ты что,

дитя? Не понимаешь, что высшая благодать у нас — схарчить своего?

— Понимаю. Объясни: что входит в функцию «внештатного консультанта»?

— Ничего не входит! Ни-че-го! А Строилов — сука, чей-то сыночек или племянничек! Но поскольку мозгом дела — так или иначе — будешь ты, он получит внеочередное звание и тему для диссертации! А тебя потом разберут на парткоме. И вклеят связь с уголовным элементом! Не понятно, что ль?

— Где Мишанину бумажку нашли?

— В мусоросбросе.

— Больше ничего?

— Нет.

— Почерк его жены взяли?

Подполковник вздохнул:

— Нет, конечно... Чего не подсказал?

— Только сейчас допер... Может, она какие телефоны для него записывала...

— И еще: стоило тебе влезть в дело, как на город повесили два убийства: Ястреб и Людка. Думаешь, приятно? Звонки, запросы, вызовы...

— Объясни мне еще раз мои права — в новом качестве.

— Давать идеи, когда потребует Строилов.

— И все?

— И все.

— Правом контроля за реализацией своих идей я не обладаю?

— Ты ничем не обладаешь. Никакими правами... Операцию ведет Строилов.

— Передай ему от меня привет... А я уж лучше вернусь к себе в библиотеку... Приобщусь к динамиту знаний... Жаль, что Мишаню погубили... Он ведь на Хрена вышел, через Людку вышел... Их поэтому и убрали... Ребенку ясно... Ты завтра из Цветмета ответ получишь, придержи у себя на час, дашь взглянуть, ладно?

Подполковник покачал головой:

— Нет, Романыч. Я по горло с тобой нахлебался. Не проси, не ставь меня в сложное положение, шкуру снимут.

— А когда ты у Розки дох, — вздохнул Костенко, — с меня шкуру не снимали? Она ведь «малину» держала, и санкции тебе никто не давал, чтоб ее трахать! Я это на себя взял?! Или нет? А когда ты выступал на

бегах, пьяный в лоскуты, я на себя это ЧП взял?! Или, может, кто другой?!

Костенко поднялся и вышел из кабинета, яростно захлопнув за собою дверь.

...В квартирке, где ютились «афганцы», Костенко спросил, кто здесь старший по званию; им оказался Игорь, капитан, инвалид второй группы, двадцать восемь лет. Принимал со сдержанной солдатской доброжелательностью, открыто.

— Я хочу представиться, — сказал Костенко, протянув свою пенсионную книжку. — Из Афганистана меня выслали через пять дней после введения наших войск...

— Были советником в «Царандое»*?

— Да.

— Почему выслали?

— Потому что не хотел консультировать нацизм... Амин — нацист: «революцию в белых перчатках не делают». Любимая его фраза, цитировал Сталина, как «Отче наш»... Несчастного Тараки задушил, семью его вырезал, интеллигенцию и духовенство посадил в тюрьмы, расстрелы проводил из пулеметов, без суда и следствия... Когда наши высадились, когда открыли ворота тюрем и освободили узников, я считал, что, освободив тех, кого еще можно было спасти, наши ребята должны сразу же вернуться домой... А когда я понял, что это — надолго, с прицелом на Персидский залив, я отправил злой рапорт, сослался на здоровье и был отозван, так сказать... Открыл вам все, чтобы не было недомолвок... Согласны говорить по делу? Или что-то в моем поведении вам кажется неправильным?

— И да, и нет, товарищ Костенко... Но то, что консультировать фашизм — грех, в этом я согласен... Нас там натаскивали на ненависть, киплинги конца двадцатого века, но мы честно смотрели в глаза смерти.

— Все смотрели в глаза смерти, Игорь... по батюшке-то как?

— Можно без батюшки, возраст позволяет... Что у вас к нам за дело, товарищ Костенко?

— Вы фильмы с участием Зои Федоровой видели?

— Это которую убили? Нет, не видел.

— Можно устроить у вас просмотр?

---

* Министерство внутренних дел Афганистана.

— Какой просмотр?! — Игорь горько усмехнулся. — Откуда деньги на видео? Где зал с креслами для инвалидов? «Наши мальчики выполнили свой интернациональный долг!» Государственная болтовня и никакой реальной помощи! Нам, знаете, кто помогает? Вьетнамские ветераны США! А «комсомольцы-добровольцы» только раскачиваются... А Язов и вовсе молчит, будто не было Афганистана...

— Хорошо, а если я устрою просмотр?

— Где?

— На киностудии... С хорошим залом...

— Цель?

— Какая цель? — задумчиво переспросил Костенко. — Как вы думаете, что нам сейчас более всего вредит?

— Всеобщее равнодушие.

— И хамство... А еще?

— Бюрократия.

— Точно. А еще?

— Саботаж перестройки...

— Верно. Кто руководит саботажем?

— Правые силы... Аппарат... Бюрократия, которая ненавидит Горбачева...

— Государственная мафия — вот наш бич, Игорь...

— Верно, государственная мафия — это страшно... Только при чем здесь смерть Зои Федоровой? Я читал в «Огоньке», как у нее Щелоков кольцо забрал после того, как адъютант ее шлепнул...

Костенко отрицательно покачал головой.

— Нет, Игорь, это все на поверхности... Слишком просто... Покойница устраивала левые концерты, тогда актерам очень мало платили, надо было вертеться... Данные об этом в ее деле лежали, хватало на то, чтобы арестовать и провести дома обыск... Вот тебе камушек и тю-тю — без мокрухи... Найдутся у вас люди, которые захотят мне помочь? Я кое-кому из начальства поперек горла стал...

— Мы не штурмовые отряды, товарищ Костенко... Нам надо наших ребят лечить, ставить на ноги, стресс снимать...

— Про лечение обещать боюсь, хотя, может, что и удастся... А вот стресс снять можно... Стресс рождается резким сломом жизни, невозможностью адаптироваться в новых, мирных условиях... А они, наши условия, не мирные, Игорь... За прошедшую ночь мафия убила

двух людей, которые вышли на того, кто мог бы пролить свет на дело Федоровой...

...Через два дня Игорь позвонил Костенко, пригласил зайти, угостил чаем и сказал:

— Так вот, по поводу кооперативного гаража... Слесарь Окунев чалился в Саблаге с пятьдесят четвертого по пятьдесят восьмой, — грабежи и квартирные кражи. Свой инструмент запирает в сейфик. Однако отвертку у него поменяли...

Игорь достал из стола отвертку диковинного цвета и протянул ее Костенко...

Тот спросил:

— Он заметил пропажу?

— Он только послезавтра вернется... На рыбалку уехал, так что отверточку надо вернуть завтра вечером... И еще: ребята о Федоровой с родителями поговорили, с бабушками и захотели посмотреть картины, где она снималась. Только небось они все черно-белые?

...От «афганцев» Костенко отправился на Петровку, позвонил из автомата, чуть изменив голос, попросил Галину Михайловну выйти, передал ей отвертку: «Из того гаража, где стоит машина пилота. Ответ мне нужен завтра утром, иначе подведу друзей... Зашла к Лысому?» — «Да. Бывший следователь Бакаренко действительно жив, квартира на Кутузовском проспекте...»

— Спасибо, Галка.

Женщина вздохнула:

— Возраст, словно воронка, все в себя вбирает! Для Ксюши я «баба», старуха, для тебя «Галка»... В двенадцать подъезжай, думаю, управлюсь с отверткой...

— Запомни, хозяин отвертки — тоже пациент Саблага... Пусть ребята посмотрят... Но, понятно, сделать это надо м и м о Строилова...

С Петровки Костенко поехал в отделение милиции, что было возле Киевского вокзала; начальником Угро туда бросили Колю Ступакова. Когда Федорчук разгонял кадры, особенно обрушился на тех, у кого была крепка хозяйственная хватка, а Николашка сколотил для стариков из ящиков маленькую сараюшку на участке, который выбил возле Наро-Фоминска; донос написали через неделю после новоселья: «Отгрохал хоромы, интересно, на какие деньги?»

Из инспекции министра пришла «телега»: «Разобраться и доложить».

Николаша, зная, что живем среди гиен и крокодилов,

хранил квитанции на каждый гвоздь, не то что фанерный ящик; представил начальству, через неделю пришло решение: либо Ступаков сносит строение, либо увольняется из органов.

Николаша предпочел увольнение. «Знаешь, — сказал он тогда Костенко, — при Ленине самым страшным наказанием для врагов была высылка за границу и лишение гражданства, а потом уж расстрел. Я б скорректировал: самое страшное наказание — работать под дураком в бесправном государстве, а потом — расстрел... Как понимаешь, о высылке теперь мечтают, как о манне небесной, да хрена выпустят...»

Он утеплил свой сарайчик и нанялся комендантом поселка, семьдесят пять рублей, завел кур и двух коз — не жизнь, малина...

Как только Черненко, очередной великий теоретик марксизма, преставился, а Федорчука из министерства унизили переводом в маршальскую группу, Николаша Ступаков написал письмо новому министру; в органах восстановили, но, правда, сунули его в Угро маленького отделения — дорабатывать до пенсии.

Костенко он обрадовался, достал из сейфа початую бутылку коньяка и пачку вафель:

— Давай, Славик, за нашу просранную жизнь по пять капель!

— Потом, Коль... Я к тебе по делу... Разрешишь сейчас вызвать некоего Бакаренко? Пенсионера по статусу, сталинского палача по профессии. И дай мне комнатушку: надо провести разговор...

— Так меня за это снова попрут, Славик! Превышение полномочий, самодеятельность...

— А ты позвони на Петровку, поинтересуйся: мол, Костенко — внештатный консультант или нет?

— А меня спросят: отчего вас это интересует?

— А ты ответишь: он пришел устанавливать адреса кооперативных мастерских радиоремонта.

— А они припрут с проверкой... Если тебя нарекли «внештатным консультантом», значит, выдры, копают...

— Фамилия Строилов у тебя на слуху?

— У меня в районе генерал Строилов живет...

— Наш?

— Нет. Военный строитель...

— Ну так как, Николашка?

Тот вздохнул, пододвинул Костенко телефон, налил

себе коньяк, сделал долгий глоток, вафлей закусывать не стал, приложился к мануфактурке...

Костенко набрал номер Бакаренко:

— Ивана Львовича, пожалуйста...

— Деда, тебя, — голосок был пронзительный, девичий. Господи, в чем они-то виноваты, маленькие? За что и на них грехи взрослых ложатся?

Костенко вспомнил, как Розка (дочь его агента Рыжего, был карманным вором, завязал, не мог прописаться; Костенко помог, с тех пор Рыжий — дочку очень любил — был с ним на связи) кричала проституткам, которые расшифровали ее отца: «Мой батя сука, говорите, да? Я ему ноги мыть буду и воду пить, потому что из-за него не стала такой лярвой, как вы, из-за него я в семье жила, как нормальная! Все стучат, только одних колют, а другие проскальзывают! Из вас, подлюг, две — стукачки, не меньше! Бейте, бейте, все равно ваш проигрыш, а батьку моего не трожьте, бритвой глаза повырезаю!» Не она вырезала... Ей вырезали; Рыжий повесился; жена его, Линда, лежит в психушке и заливается истеричным смехом с утра до ночи, — хохот у нее постоянный, никак помочь не могут...

— Бакаренко, — услышал Костенко раскатистый, достаточно молодой голос.

— Полковник Костенко, — ответил ему в тон, рокочуще. — Я не мог бы просить вас, товарищ Бакаренко, заглянуть в отделение...

— Милости прошу ко мне... Можем поговорить дома.

— Это служебный разговор...

— У меня отдельная комната..

— Спасибо. И все же лучше у нас, в отделении...

— Что-то срочное? Я ж только вчера беседовал с Виктором Павловичем...

Да ты на связи, цыпонька, понял Костенко, ну и ну...

— Я приехал из Владимира по делу, связанному с «малограмотными внуками Дзержинского»...

— Простите, не понял...

— Так у нас кое-кто расшифровывает МВД. Жду вас в отделении возле Киевского, вы адрес знаете, получасовой разговор, нужен совет, причем — безотлагательно. Машину подослать?

— Да я ж в трех минутах от отделения, товарищ Костенко... Хорошо, подойду..

Но сначала он позвонит в отдел, подумал Костенко. И те ввалятся сюда; наверное, разумнее было идти

к нему. Впрочем, дома он, как в крепости; удостоверение пенсионера на него не подействует, а здесь и стены мне в помощь. Да еще сейф, да еще два портрета.

...Бакаренко оказался маленьким сухоньким старичком, в форме без погон, с орденской колодкой: две Красные Звезды, медали «За отвагу» и «За победу».

— Здравствуйте, Иван Львович, — Костенко поднялся ему навстречу, обменялся рукопожатием, сунул руку в карман и тщательно протер ее о подкладку. — У меня к вам только один вопрос, — он достал фоторобот Хренкова, — когда вы его видели последний раз?

— По-моему, в пятьдесят третьем, — ответил Бакаренко. — А в чем дело?

— Как его фамилия?

— Не помню... Встречались мельком.

— Он арестовывал Зою Федорову вместе с вами?

— Я дело Федоровой не вел. Я оформлял документы, которые были заранее подготовлены... Пару раз побеседовали — и все.

— А он? — Костенко кивнул на фоторобот, не отводя немигающих глаз от лица Бакаренко.

— Иногда оставался с ней в камере, когда полковника Либачева вызывали на совещание... Вам бы лучше спросить обо всем этом деле Либачева, он был старшим, я — исполнительствовал...

— Либачев ее бил, да? — нажал Костенко.

— Зачем повторять досужие вымыслы, товарищ Костенко? Расшатаем доверие к органам, кто станет порядок держать, когда стачки станут всеобщими? Хотим получить вторую Польшу? Были садисты, слов нет, одни Кобуловы чего стоят... Но не надо же бросать тень на а п п а р а т...

— Вы Федорову не били, я понимаю, Иван Львович... А он, — ткнув пальцем в фоторобот Хрена, спросил Костенко, — мог? В ваше отсутствие?

— К Зое Федоровой запрещенные методы следствия не применялись... Тем более, в деле были бесспорные улики: ее связь с американским разведчиком, разговоры с ним... Это все зафиксировано техникой... Но я не очень понимаю, зачем меня потребовалось вызывать в милицию, когда ее дело закрыто?

— Оно только начинается, Иван Львович.

— Вы мне предъявите, пожалуйста, удостоверение

и постановление на допрос... Вы ж не совета у меня просите, товарищ Костенко... Вы допрашиваете меня... С нами такие фокусы не проходят...

— Постановление на допрос не выписывается, — Костенко достал из стола бланки допроса свидетеля, — что ж вы, юрист, а такие азы позабыли? Дело в том, что он, — Костенко снова ткнул пальцем в фоторобот Хрена, — связался с гражданином США, который проходил по делу Федоровой... А у меня к тому же есть показания ветерана партии Савушкина про то, как вы, лично вы, его били... Он написал об этом. Так вот, от того, как пойдет наша беседа, будет зависеть судьба этого письма: я вашей крови не жажду, мне лишь нужно докопаться до истины. Ясно?

— Ясно, — тихо ответил Бакаренко.

— С письмом Савушкина ознакомиться не желаете?

— Покажите.

— Хорошо. После того как вы мне ответите: перед походом сюда, ко мне, вы Виктору Павловичу, оперуполномоченному, у которого состоите на связи, звонили? Он вам посоветовал прийти ко мне?

— К сожалению, он в отпуске...

— Кому еще звонили?

— Никому.

— Читайте, — Костенко протянул Бакаренко письмо Савушкина, переданное ему особистом Ромашовым.

Тот словно бы обсматривал каждое слово, лицо закаменело еще больше, но когда дошел до фразы «в суде подтвердить правильность моих слов могут Граевский Роман Иосифович, он меня отхаживал в камере после допросов, и персональный пенсионер, ветеран КПСС Григорий Сергеевич. Оба живы, письменные показания дали в нотариальной конторе», — хрипло попросил стакан воды.

Выпив алчущими, но при этом медленными глотками, письмо вернул...

— Где гарантии, что, если я вам стану отвечать, это письмо не попадет в комиссию по реабилитации?

— Попроситесь в больницу, — Костенко усмехнулся, — с сердцем плохо... Больных не судят... А партбилет и погоны у вас и так отобрали, чего же бояться-то?

По этому делу ты не пойдешь, ты по Зое пойдешь, подумал Костенко, да и Савушкину уж не поможешь — три месяца как на Ваганьковском...

— Хорошо, — медленно ответил Бакаренко. — Я готов к собеседованию...

— Федорова отвечала на все ваши вопросы без принуждения?

— Без принуждения.

— Вы сказали, что ее вам передали... Кто?

— Помощник това... простите, Абакумова вызвал меня и Либачева... Сказал, что Зоя Федорова призналась в шпионаже в пользу американской разведки и в подготовке терактов против тов... против Сталина... Дал нам папку с записями ее разговоров с этим самым американским капитаном... Вот и все...

Костенко покачал головой:

— Не сходится, Иван Львович... Вы бы за шпионку «Красное Знамя» получили... А у вас только «Звездочка»... И в постановлении Особого Совещания ее в шпионаже не обвинили... Лишь разговоры в целях ослабления, подрыва и свержения Советской власти... Свидетелей практически не было, только данные, собранные на капитана Тэйта...

— Моя заслуга, что ее под шпионаж не подвели, ну меня и отблагодарили за это... Всю жизнь партии отдал, а сделал доброе дело — выставили из рядов...

— Как же вы рискнули? Против самого министра государственной безопасности восстали?

— А не надо из всех, кто тогда правил державой, делать недоумков. Недальновидность эта чревата рождением у молодежи нигилистического недоверия... О державе болею, не о себе...

— Между прочим, «держава» происходит от слова «держать», «не пускать», «обуздывать»; есть такая пословица из русской сказки: «Жил-был татарский державец...» А державец — это хан, владелец, султан... Это понятие к нам от татаро-монгольской оккупации пришло — «держава-то»... Аккуратней с ним обращайтесь... А что касается «безверия», то как вы мне объясните феномен веры в Сталина, который уничтожил всех, кто вместе с Лениным руководил Союзом Республик?

— Вместе с Лениным Союзом руководили Молотов, Калинин и Ворошилов.

— Молотов был техническим секретарем ЦК, Ворошилов — с четырьмя классами образования — сражался против Ленина в «военной оппозиции», а Калинин подписал декрет о «сплошной коллективизации». И п р а-

вить они стали после Ленина, а не вместе с ним... Ленин не правил, он руководил. Есть разница?

— История рассудит...

— Рассудила... Ее, конечно, можно и в четвертый раз переписать, сглотнем, но правда — сказана, чтоб ее убить, нужно карательный аппарат раз в пятьсот увеличить... Вы в органы пришли в тридцать пятом?

— Ничего подобного... В тридцать восьмом, накануне ареста Ежова... Я первые реабилитации проводил, когда Лаврентий Пав... когда тов... простите, когда Берия пришел...

— Сколько раз вы были у Абакумова по делу Федоровой? Чем он интересовался в первую очередь?

— Он ее сам вызывал, я только вел ее в секретариат...

— По скольку времени он ее держал у себя?

— Не помню... Часа по три, надо ведь размять человека, а уж потом приступать к делу...

— К какому?

— Не понятно, что ль? Она ж по дочке убивалась, крохотуля совсем была... Абакумов обещал ее выслать — без суда, потом, говорил, вернем, на студии восстановим, познакомим с иностранцем, англичанином вроде... Ну, мол, станешь с ним работать...

— К американцу ее тоже подвели?

— Нет. А в общем-то никто этого не знал, такие вещи това... Берия на личном контроле держал: взаимоотношения с союзниками, да тем более сорок пятый год... Не дала она Берии, вот он и взъелся... Это у меня такое предположение...

— Вы знали, что Зоя ни в чем не виновата?

— Она жила с американцем...

— Это криминал?..

— По тем временам — да!

— Но вы не верили, что она шпионка?

— Нет. Я и отмыл ее от этой статьи.

Костенко покачал головой:

— Вы ж подписали — для постановления Особого Совещания — «шпионаж, антисоветская пропаганда и преступная группа сообщников». Кто-то на ОСО оставил ей одну лишь «пропаганду». Кто?

— Не мой уровень. Не могу знать.

— Кто вам передал материалы с требованием оформить статью о шпионаже?

— Полковник Либачев.

Костенко снова закурил:

— Который мертв... След обрывается..

— Это точно, оборван.

— Помните Савушкина? — снова нажал Костенко.

— Помню

— Кого вызывали на допросы по делу Федоровой?

— Запросите архивы... Столько лет прошло... Разве в голове все удержишь?

— Бориса Андреева, народного артиста, трудно из памяти выбросить...

— Так он мычал, ни «да», ни «нет»...

— Значит, кого-то помните... Ладно, найдем всех, кого вы выдергивали на допросы и очные ставки...

— Все поумирали, — усмехнулся Бакаренко. — Мартышкин труд.

— После того как шлепнули вашего шефа, люди все рассказали ближним...

— Пересказ — не улика... Нет и не может у вас быть улик... Нас теперь так легко не взять — демократия...

И Бакаренко вдруг рассмеялся мелким, трясущимся смехом.

В это время дверь отворил Николаша Ступаков и, не глядя на Костенко, сказал:

— Сейчас получим постановление на обыск у вас дома, Бакаренко... По поводу самогонного аппарата. Пошли, будем изымать, телевидение я уже пригласил, «Добрый вечер, Москва!» приедет... Лицо твое покажут москвичам, жди звонков и встреч в подъезде с теми, кто тебя опознает.

И тут Бакаренко рухнул:

— Ладно, ставьте вопросы.

...Вопросы ставить не пришлось; Костенко позвонил Глинскому, и тот сказал, что слесарь Окунев, владелец саблаговской отвертки из кооперативного гаража, утонул во время рыбалки; лодка перевернулась; последний свидетель мертв...

3

Дмитрия Степанова удалось найти не сразу; раньше, до того как он занимался главным своим делом — литературой и журналистикой, Костенко знал, где его отловить, а теперь, когда прочитал интервью про то, что тот начал выпускать газету, вытаптывал его два дня, по-

ка наконец Бэмби, старшая дочь Митяя, не продиктовала ему тайный телефон отцовского офиса.

Звонил часа три — без перерыва; все время занято; решил было, что Бэмби перепутала номер; та рассмеялась: «Дядя Слава (а самой-то уж тридцать! вот время-то бежит, а?! Жизнь прошла — и не заметил!), у них всего две комнаты, один аппарат на десять человек, там ад, но совершенно особенный — ощущение шального, краткоданного, неведомого всем нам ранее счастья». — «И такой появился?» — «Появился; зайдите к отцу, убедитесь сами...»

...Секретарь звенящим голосом задала ужасающий вопрос.

— А вы по какому вопросу?

Костенко хотел было повесить трубку, но удержал себя: все секретари в нашей стране одинаковы, в чем-то подобны сыщикам, только в нас, сыщиках, заложен инстинкт гончей — догнать и схватить, а в них — гены немецкой овчарки, охранить и не дать.

— Скажите вашему шефу, что это Костенко... Он у меня стажировался на Петровке, в шестьдесят втором...

(Господи, двадцать семь прошло! Старики надменно и самоуверенно не ощущают собственной слабости... Делом Федоровой надо б какому двадцатисемилетнему заниматься, а не мне!)

— Не сердитесь, — ответила секретарь подобревшим голосом, — его рвут на куски, поэтому я получила указание от коллектива стать цербером.

— Перечитайте Булгакова, — посоветовал Костенко. — Там про это уже было.

Сняв трубку, Степанов усмехнулся:

— Не ярись, Славик... Зоя у нас каторжанка, дисциплине не на курсах училась, в концлагере, школа что надо...

Встретились в кооперативном ресторане «Кропоткинская, 36» около десяти, за час перед закрытием.

— Что грустный? — спросил Степанов, обсмотрев осунувшееся лицо друга.

— Думаешь, ты — веселей?

— Я — в драке, сие понятно, а ты у нас теперь созерцатель...

— Нам, созерцателям, труднее, Митяй... Со стороны все много страшнее видится, потому что есть время на обдумывание следующего хода... А ведь ходят не одни только черные; белые тоже обдумывают каждый ход..

— Раньше ты говорил без намеков.

— За то и погнали... — он вдруг зло рассмеялся. — «Вы по какому вопросу?»... Надо ж, а?!

— Слава, мы начали полгода назад... С разгульной демократии начали: «никакой табели о рангах, все равны, делаем общее дело, единомышленники, человека ценим по конечному результату труда...» Все, как полагается... И — понесло! Шофер начал учить журналиста, как писать; стенографистка дает советы художнику, как верстать номер, бухгалтерия: «так — нельзя и эдак нельзя, а здесь не велит инструкция» ... А — как можно? Ты мне это скажи, я ж на хозрасчете, самофинансировании и полнейшей окупаемости! И — пошла родимая расейская свара: а почему он такую премию получил?! я ему не подчиняюсь! а по какому праву его послали за границу, а меня — нет?! Равенство?! Э-э-э, Славик, нет, до равенства мы еще должны расти и расти, пьянь гению не ровня, исполнитель созидателю не пара...

Костенко удивился:

— Что-то слышатся в твоем плаче нотки привычного: «да здравствует гениальный пожарный, биолог, филолог, экономист и жандарм всех времен и народов» ... Эк тебя за год своротило...

— Должен сказать, что наша генетически-рабская душа, увы, все еще жаждет дубины и окрика... «Мы ленивы и нелюбопытны...» Не диссидент писал — Пушкин...

— Нет на тебя «Памяти»...

— А что — «Память»? Может ли она одержать верх? Не она, так тенденция? Может, Слава. Но кто тогда России будет хлеб продавать? Америка? Не станет. Во веки веков запретит своим фермерам иметь с нами дело... Синдром гитлеризма стал единым с понятием «погром», а этого интеллигентный мир не примет более...

— Чего тебе-то волноваться? — Костенко хотел улыбнуться, но получилась какая-то гримаса скорбного, презрительного недоумения. — Или таишь в крови гены Христа, Эйнштейна, Левитана и Пастернака?

— Власти, Славик, если она не хочет превратиться в изуверскую, придется выводить на защиту маленьких эйнштейнов и пастернаков русских солдат. А это и будет началом гражданской войны. И презрением цивилизованного мира... Впрочем, Каддафи нам поаплодирует...

— «Память» не зовет к погрому... Она требует выслать инородцев в Израиль...

— Татары и якуты в Израиль не поедут... А равно

калмыки с черкесами... Гитлер поначалу тоже предлагал выслать немецких евреев на Мадагаскар... Кончилось — Освенцимом, несмываемым позором германской нации...

Официант стоял чуть поодаль, лощеный, готовый к работе, сама корректность: раз люди беседуют, нельзя перебивать; взгляд Степанова, однако, поймал сразу, шагнул к столу, приготовился запоминать, хотя блокнотиком не гребовал.

— Что хочешь? — спросил Степанов. — Давай закажем пельмени и копченую курицу, это у них фирменное... Пельмени, словно в «Иртыше»... Помнишь?

— Это в подвале, напротив Минфлота? Где теперь «Детский мир»?

— Да... Ты ж там с нами выступал... Помнишь, как Левон Кочарян отметелил пьяного Волоху?

— Тоже умер...

— Мне сказали... Мины рвутся рядом... Смерть одногодок перестала удивлять... Ужас ухода друзей стал нормой...

— Водку здесь подают?

Степанов хмуро усмехнулся:

— За валюту. Спасибо, что хлеб еще за рубли отпускают... А водку выпросим... У директора Федорова, они тут с Генераловым добрые... Никогда мы взятку, кстати говоря, не победим... Идеалист был Ленин... Полагал, что эту генетическую язву можно исправить законом, судом или — пуще того — расстрелом... Ясак триста лет несли, потом триста лет борзыми щенками платили, при Леониде Ильиче бриллианты были в цене, а сейчас кому чем не лень... Вечное в нас это... Лишь российский интеллигент никогда никому не давал, оттого и страдал всегда... Впрочем, Некрасов шефу тайной полиции Дубельту засаживал — измудрялся в винт проигрывать, за это цензорский штамп на Чернышевского получил, нигде такое невозможно, вот она, наша особость, в этом — спору нет — мы совершенно особые...

— А ты Федорову какую взятку даешь, что он тебе водку за рубли отказывает?

— Дружбу я ему даю Слава... Дружбу и восхищение...

...Федоров словно бы почувствовал, что говорят о нем, вырос как из-под земли, весь словно бы вибрирующий (так напряжен внутренне), смешливо поинтересовался, когда в городе начнут стрелять; «То есть как это не начнут?! Смешишь, барин! Мы без этого не можем»; дело-

вито рассказал два анекдота, один страшнее другого, оттого что и не анекдоты это вовсе, а крик душевный; в водке, подморгнув усмешливо, громко отказал; прислал графин с «соком»; самая настоящая «лимонная».

— Поразительный бизнесмен, — заметил Степанов. — Начал на пустом месте, за пару лет вышел в лидеры, партсобраний с коллективом не проводит, а дисциплина — как в армии... Впрочем, нет, там про нее стали забывать... Тебе, кстати, фамилия Панюшкин ничего не говорит?

— На слуху, но толком не знаю...

— Поразительной судьбы человек... В двадцать первом, после введения нэпа, ушел в оппозицию: «Ленин предает социализм, кооператоры — акулы капитала, им место в концлагере, а не в столице»... Его и предупреждали, и уговаривали добром, — ни в какую: «Требую чрезвычайного съезда!» Дело кончилось тем, что Дзержинский его о к у н у л на Лубянку. Спас Сталин, — отправил на н и з о в к у в провинцию, спрятал до поры... Вернул в тридцатых, провел через испытание — говорят, поручил Панюшкину, — купно с управляющим делами ЦК Крупиным уничтожить Николая Ивановича Ежова... А у того — за полгода перед казнью — советские люди должны были учиться «сталинским методам работы»... После этого Панюшкин стал послом в Китае и США, а засим возглавил отдел ЦК, который формировал наш загранкорпус, всех тех, кто кибернетику считал происками космополитов, а генетику — вместе со всякими там буги-буги, Пикассами, Хемингуями и Ремарками — сионистским заговором. И стал на Руси самым великим писателем Бубеннов вместе с Павленко и Суровым... А ведь Бунин в ту пору был еще жив... Да и Платонов улицы подметал — не в Париже, а здесь, на родине, в Москве...

— Я другое сейчас в библиотеке нарыл, Митяй, — откликнулся Костенко. — Я убедился в том, что большинство сталинских министров, кого он привел к власти в тридцатых, были родом из бедняцких крестьянских семей... Почитай некрологи — убедишься...

— Это ты к тому, что после нэпа бедняками остались лишь те, кто водку жрал и рвал на груди рубаху: «даешь всеобщее равенство?!» Тогда как справный мужик всей семьею вкалывал на земле? Ты про это?

— А про что ж еще? Именно про это... Сталин привел к власти тех, для которых главный смысл жизни:

«скопи домок»... А при этом — «разори хозяйство».. И Даля они — по безграмотности своей — не читали, а ведь тот писал: «Только расход создает доход»...

— При Сталине, Митя, Даль был запрещен, это я доподлинно в своей библиотеке выяснил... Знаешь, почему?

— Доподлинно — нет, но догадываться — догадываюсь.

— Ну — и?

— Никто так любовно не разъяснял несчастному русскому человеку — в массе своей лишенному права на собственность, — что такое «земля», «хозяин», «купец», «выгода», «предпринимательство», «труд», «закон», «право», «найм», «рубль»...

— Сходится, — вздохнул Костенко. — Несчастный народ, лишенный права на понимание истинного смысла самых животворных понятий...

— Это точно, несчастный...

Сладостно выцедив лимонную, Костенко усмехнулся:

— Тот, кто пьет вино и пиво, тот наемник Тель-Авива... Видал майки «памятников»? Ничего поэзия, а? Рифмоплеты из общества трезвенников сочиняли, не иначе... Слушай, Мить, ты когда Щелокова впервые увидел?

— Что-то через полгода после того, как он въехал на Огарева, шесть.

— А когда он вам про запонки Ростроповича говорил? Что, мол, гордится великим русским музыкантом и все такое прочее?

— В самый разгар шабаша, Славик... Меня это, кстати, здорово удивило... Нет, поначалу обрадовало... Удивило — потом уже... По тем временам такого рода ремарка требовала мужества.

— Не помнишь, это уже после того было, как его молодцы забили насмерть андроповского чекиста в метрополитене?

— Не «его», а «ваши»... Ты ведь при нем третью звезду получил, нет?

— Это ты меня хорошо подсек, — усмехнулся Костенко. — И поделом: нет лучшего адвоката человеку, чем он сам...

— Не сердись.

— Так ведь поделом... За это сердиться грех... Ястреба давно видел?

— Года три назад... Он в полном порядке, мне кажется...

— Его убили, Мить... Из-за меня...

— То есть?

— Давай его помянем...

Выпили; закусывать было как-то неудобно; подышали корочкой теплого еще калача.

Закурив, Костенко сказал:

— Я снова начал дело Зои Федоровой крутить...

— Ты ж в отставке... Ешь, пельмени остынут... Почему «из-за тебя»?

— Я расскажу, если хочешь...

— Хочу.

— А с Цвигуном тебе видаться не приходилось?

— Приходилось.

— Когда?

— По-моему, в начале семидесятых... Потом он себе подобрал бригаду писателей, они ему романы шлепали и сценарии... Настоящий разведчик, прокладывал дорогу в литературу Леониду Ильичу, великому стилисту...

— Тебе кажется, что это он прокладывал дорогу Брежневу? Или есть факты на этот счет?

— Хронология — это факты... Сначала он стал выпускать свои боевики в кино, а вскорости Брежнев захотел поучить писателей тому, как надо создавать настоящую литературу... — Степанов вздохнул. — До чего ж мы гуттаперчевы, а? Но Цвигун не производил впечатлений злодея... Вполне доброжелательный мужик... Все, кто его знал, относились к нему с симпатией.

— В последние годы он не изменился?

— Вроде бы — да.

— А в чем? Глаза стали другими? Ищущими? Испуганными? Затаенными? Мерцающими? Изменилась походка? Манера речи?

— Когда я видел его в последний раз — кажется, в Доме литераторов это было, — он сидел в ресторане с друзьями, за рюмочкой и — крашеный был... Не седой, каким я его помнил, а густо-каштановый...

— Сколько ему тогда было?

— Не помню... Хотя, погоди-ка, он вроде бы с геройской звездой сидел... А ему дали Героя в шестьдесят два года, странно как-то, после юбилея...

— Брежневские книги появились уже? Я про восемьдесят первый спрашиваю, когда Зою Федорову *убили*...

— Боюсь соврать, Славик... Почему ты вернулся к

этому делу? Отставникам разрешили работать по расшитым делам?

— Думал — да. Выяснилось — нет... Меня всегда жал один эпизод: в подъезде, где жила Зоя Алексеевна, лифтеры — во время ремонта — нашли в шахте пакеты с долларами... Не помню точно сумму, не в этом дело, завтра буду знать... Один пакет — над выходом из кабины шестого этажа, другой — на четвертом... Рядом... Очень что-то близенько, понимаешь? Словно кто-то версию нам навязывал... Мы было сунулись по начальству, да тут же сразу и обожглись... Намекнули, будто этот эпизод ушел к людям Цвигуна... И — с концами... Мой коллега — его потом из Москвы перевели — намекал, что, мол, держал в руках кончик... Какой именно — не открыл... Но вроде бы ему запретили отрабатывать ту версию...

— Почему?

— Не знаю...

— И сейчас молчит?

— Может быть, сейчас-то и сказал бы, но — умер...

— Жена? Дети?

Костенко хохотнул:

— Митя, ты нас не знаешь... И никогда не узнаешь... Мы, Митя, молчуны... Нас так жизнь научила... Чтобы жена и дети были живы, надо молчать... Намертво... Мы ж комбинаторы, ходим по темному лабиринту... И не знаем, откуда ударят... А особенно больно бьют свои, понимаешь?

Костенко вдруг резко поднялся, стремительно осмотрел зал.

— Ты что? — Степанов удивился.

— Отсюда по «межгороду» позвонить нельзя?

— Куда?

Костенко сел, как сломился:

— Хороший вопрос... Позвонить надо в Узбекистан... А куда именно — не знаю... Хотя бы на Петровку, а?

(О том, что «держал кончик», ему сказал полковник Савицкий, тот, которого — после того, как раскассировали группу — перевели в Ригу; там и умер от цирроза печени; Павлова подвинули в Узбекистан, а Павлов с Савицким крепко дружил, ему мог открыться, только ему, никому больше.)

...Как всегда, выручил майор Глинский; позвонил в крошечный кабинетик ресторанного бухгалтера через десять минут, продиктовал телефон полковника Павлова

(генерала, значит, так и не дали, отметил Костенко, а ведь сулили, на кресте божились); живет в Ташкенте; «Капитан Строилов сбился с ног, вас ищет, если будет спрашивать, что сказать?» — «Промолчи». — «Он въедливый». — «А ты будь умным»...

...Услыхав сонный голос Павлова, Костенко понял, что в Ташкенте сейчас раннее утро; извинился:

— Я могу к тебе вылететь, если подтвердишь, что Савицкий рассказывал про к о н ч и к...

Зевнув, Павлов поинтересовался:

— Ты уже на пенсии?

— Да.

— А я еще нет... Так что приезжай через три месяца и двадцать семь дней...

— Будет поздно.

— Это твой вопрос, Костенко.

— Ответ понял.

— Ждал другого?

— В общем-то — да.

— Зря. Все возвращается на круги своя... Не бейся жопой об асфальт, мой тебе добрый совет...

Костенко вернулся к столу, посмотрел на пустую бутылку; Степанов понял его:

— Поздно уже... Едем ко мне на чердак. Там и добавим...

Степанов жил на двенадцатом этаже, один; дети теперь наведывались к нему редко — свои заботы; в одной комнате пытался работать, освободив крохотный пятачок на письменном столе, захламленном старыми верстками, записями и корреспонденцией; вторая комнатка, заваленная книгами (стеллажей не хватало), горнолыжными ботинками, альпинистскими пуховками, мыслилась как спальня, хотя обычно обваливался он у себя в кабинете на узенькую кушетку, застланную буркой, которую ему подарил на Домбае Миша Лотоков, самый ранимый и нежный черкес изо всех, кого так любил Степанов; больше разве что любил Магомета Конова, но тот не черкес, тот человек мира, личность особой к о в к и, таких бы менеджеров нам с миллион — не дали б завалить перестройку... За что нам такой удел: отдавать на закланье молоху нищей и злобной зависти лучших людей страны?!

— Посмотри, что в холодильнике, — сказал Степанов, — а я выдам пару звонков; газета идет в печать, мои работают до утра...

В холодильнике было три плавленых сырка, немного масла, несколько яиц и два ломтика колбасы. В морозилке лежала ледянющая бутылка «посольской», две свекольных котлеты и куриная нога.

Жаль Митьку, подумал Костенко; хотя он сам избрал свой удел; неужели все люди творчества обречены на одиночество? Живут в себе, внутри постоянно движется что-то, ищет выхода, мучает; я-то его не всегда могу терпеть, а как женщина? Ей другое потребно, ей хочется всегда и во всем покорной ясности, надежности, изначальных гарантий... Да, «гарантии» скорее мужское понятие, завязано на политику и бизнес... Политика — одно; мужчина и женщина — другое, непересекаемость... Кто это сказал: «Только гений не боится жены»? А-а, это Митька вспоминал Твардовского...

Костенко включил газ, вымыл сковородку, порезал тоненько плавленые сырки, положил их в расплавившееся масло (какой-то неестественный белый цвет, раньше было желтое, да и теперь на базаре бабы желтое продают, с б и т е н ь, только стоит дорого), отодвинул письма, нераспечатанные еще конверты, блокноты с л е т я щ и м и Митькиными записями и накрыл стол:

— Митяй, жду!

Тот пришел через пять минут, разлил по рюмкам, кивнул на маленькое поляроидное фото длинноносой голубоглазой женщины в очках:

— Давай за нее... Татьяна... Чудо... Единственная — после Нади, — кого я любил... Люблю...

— Расстались?

— Да...

— Твердо?

— Не от меня зависит... «Старость — это большое кораблекрушение...» Знаешь, чьи слова?

— Нет.

— Де Голля... Сказал моему партнеру по бизнесу Алексу Масковичу, тот у него начальником разведки Северного фронта был...

— Давай за светлую память Левушки Кочаряна жахнем, Митяй...

— Мы ж пили...

— Он заслуживает того, чтобы повторить, - ш т у ч н ы й был человек...

Жахнули; прошло медленно, с теплом; Костенко подошел к плите, разбил яйца, «сейчас сказочной яичней угощу; по-прежнему сам кормишься, бедолага; смотри,

в старости надо режим блюсти, откроется язва — не встанешь».

— «Жизнь моя, иль ты приснилась мне». За одну такую строку поэт обречен на бессмертие...

Костенко поставил сковородку на стол:

— Давай с пылу, с жару... Вкусней, небось, чем если по тарелкам раскладывать...

— Ужасно рад, что ты позвонил, Славик... Я днем парю, а здесь, ночью, один, отдаю концы...

— Переезжай к нам...

— Я особь прячущаяся, Слав... Мне себя постоянно слушать надо: заворочается что внутри — я мигом к машинке... Спать вам с Манюней не дам...

— Слушай, Мить, помнишь, в восемьдесят первом, когда я позвонил после убийства Федоровой, ты сказал чтоб я в это дело не лез, голову сломаю... Объясни, отчего так резанул?

— Думаешь, помню?

— Надо вспомнить.

— Черт его знает... Время было зыбкое, Славик... Не было в нашей истории более мягкого и безотказного человека, чем Брежнев... Когда у его сослуживца по Молдавии, у предсовмина Рудя, сын умер, Виталик, аспирант Бауманского училища, похоронен рядом с Высоцким, кстати, говоря, Брежнев приехал на панихиду и плакал, как ребенок... Он злого близким не делал, Слав... Чем мог помочь — помогал, если, конечно, удавалось к нему пробиться... А — глядишь ты, и в Чехословакию войска ввел, и в Афганистан, и Сахарова при нем сослали, и Некрасова с Ростроповичем и Барышниковым страна лишилась...

— Трагедия тоталитаризма: великой страной правил неграмотный человек...

— Ты, кстати, на Ваганьковское сходи... Посмотри могилу Щелоковых... Две гильзы: и она застрелилась, и он... Там же и могилка бабки, матери его жены... Осталась сиротой, беспомощная, неухоженная... Повесилась...

— Щелоков, кстати, был не злобный... Старался добро делать... Но разве это качество определяет лидера и его команду? Добрый человек — не профессия, а данность...

— Злодей — хуже, — отрезал Степанов. — Знаешь, когда Брежнев пережил свою первую трагедию? Молодым еще человеком... Дочь, десятиклассница, сбежала из

Кишинева с артистом цирка Евгением Милаевым... Да, да, тот, который потом героем соцтруда стал... Почти одногодкой Брежнева был и уволок девчонку из дома первого секретаря молдавского ЦК... Представляешь? Скандал... И, говорят, именно Щелоков предложил это дело не таить, а сразу же доложить Сталину... Расчет был сметливый — у вождя дочь Светлана номера откалывала, сын Василий пил по-черному, а Яков и вовсе в плен попал... Тиран жалел тех, кто оказывался в его ситуации, норовил приблизить — хоть в этом был человечен... Кстати, незадолго до гибели Федоровой я видел, как Цвигун в Доме кино ей руку целовал... А ведь к Федоровой, говорят, не только дочь вождя заезжала, но и те, кого она любила... И в это же время ваши забили до смерти андроповского человека в метро... Свара... А Щелоков и Цвигун — дети гнезда Леонидова... Понимаешь, какая передряга была? Видимо, поэтому я тебе и сказал это... Кстати, ты книжку Вики Федоровой читал?

— Конечно, нет!

— Могу дать.

— Где достал?

Степанов удивился:

— Разве не говорил? Вика подарила, Зоина дочь, я ж ее в Америке нашел...

Костенко отодвинул бутылку:

— Митяй, больше не пьем... Я тебя сейчас допрашивать стану, ладно? С меня даже хмель соскочил: она ж — свидетель!

Сняв пиджак, он набрал свой номер, сказал Маше, что задержится у Степанова, поинтересовался, кто звонил, удивился тому, что капитан Строилов два раза спрашивал, не терпится р е з в у н ч и к у, и, положив трубку, придвинулся к другу:

— Постарайся вспомнить все мелочи, имена, детали, Митяй, это для нас, легавых, главные у ц е п ы.

...Через минуту после того, как Костенко положил трубку, неизвестный мужчина вышел из «Волги», стоявшей возле дома полковника с выключенными фарами, валко двинулся к автомату и, набрав номер, не представляясь, сказал:

— Эмиль Валерьевич, сейчас Славик у некоего Степанова... Его постоянно разыскивает капитан Строилов, мадам Машуня сама никому не звонила. Пока все...

...Выслушав сообщение боевика, Хрен поднялся с широкой тахты, застланной громадной шкурой уссурийского тигра, подошел к звукосистеме и включил запись Вагнера. Он долго стоял возле колонок, которые рождали неземной, возвышенный эффект звучания, густо, ощутимо заполнявшего квартиру: в свое время он сломал стену, разделявшую две комнаты, получился зал; тахта, небольшой секретер, шведская стенка, сделанная из карельской березы, и — все, ничего лишнего. Поэтому музыка была абсолютной, поглощающей пространство, властвующей...

Хрен сел к секретеру, подвинул стопку голубоватой финской бумаги, достал «паркер» и начала чертить схему. Сначала он написал букву «К», от нее провел линии к трем «Б», поставил в кружки буквы «Д», «Я», «Л», «С»; получилась система: Костенко — боевики — Дэйвид — Ястреб — Люда — слесарь.

Себя он обозначил «А»; завязал все линии на себе.

Да, увы, допущен ряд ошибок; я позволил себе поддаться эмоциям. Я поверил записям бесед Костенко по телефону: «катимся в пропасть, правые тащат нас к сталинизму, поворот общества к концепции люмпена: «Пусть хоть трижды гений, но если живет лучше меня — сажать его на кол, все должны быть равны». Я переоценил его критику Системы, восхваление кооперативов как единственной альтернативы выходу из тупика, я слишком доверился его нападкам на темень и остолопство миллионов наших обломовых, которые никогда не научатся работать, быдло, без кнута не умеют, прав был Сталин, знал чернь, как никто... Я плохо подготовился к операции с человеком, который держит в голове те нити к Зое, которые мне неведомы и без которых мое дело не зазвучит так, как могло бы... Почему он снова полез в расследование после нашей встречи? Что подтолкнуло его к этому? Узнал Дэйвида? Ночью? Стекла затемнены... Да и столько лет прошло... Нереально... Тогда — почему? Подтолкнул Степанов? С нейтрализацией Ястреба, Людки и слесаря все концы обрезаны, нитей, ведущих ко мне, нет... А если?

И он дописал еще несколько букв: «П», «С», «В» — Пшенкин — Строилов — Варенов. А букву «Д» обвел еще одним кружком и поставил в центр большого, с завитушками, вопросительного знака...

Смяв лист бумаги, посмотрел на свет второй — не осталось ли следов; сколько раз корил себя за то, что приучился нажимать, как заставляли в первом классе;

посмотрел и третий лист; здесь — чисто; первые два сжег, пепел спустил в унитаз, вернулся на тахту и, закрыв глаза, долго лежал, наслаждаясь Вагнером; потом набрал номер и сказал:

— Варенку хочу...

Ответа ждать не стал; незачем; фирма веников не вяжет: люди получают большие деньги, но лишь по конечному результату...

4

Капитан Строилов, возглавивший группу по расследованию обстоятельств убийства Ястреба Михаила Рувимовича и Груздевой Людмилы Васильевны, был высок ростом, по-донкихотовски тощ (хотя, подумал Костенко, мы знаем рыцаря печального образа по фильму, где его сыграл Черкасов, может, в мировом кино есть другие идальго, отличные от нашего, однако теперь иного не примем, привычен), в подчеркнуто элегантном переливно-черном костюме с двумя шлицами (в таких выступают декламаторы во время скучно-официальных кремлевских концертов) и прямо-таки распахнуто-доброжелателен.

— Как я рад, что вы откликнулись на мой к вам призыв, Владислав Романович! — Он стремительно поднялся из-за стола и выбросил длинную руку навстречу Костенко.

(«Он был, как выпад на рапире, гонясь за высказанным вслед» — Костенко сразу же вспомнил пастернаковские строки о Ленине и услыхал в себе последние, провидческие слова этой поэмы, написанной в середине двадцатых: «Предвестьем льгот приходит гений и гнетом мстит за свой уход...»)

— Здравствуйте, — ответил Костенко, пожимая ледяную, очень сухую, казавшуюся поэтому старческой, ладонь Строилова.

— Меня зовут Андрей Владимирович, — представился капитан. — Устраивайтесь, пожалуйста... Садитесь за мой стол, вам, асу, положено сидеть на председательском месте... А я примощусь на подоконнике; рассказывают, что в молодые годы вы сидели на подоконнике или уголке стола — обязательно с линейкой в руке, правда?

— Правда.

— Можно поинтересоваться — почему?

— Черт его знает... Линейка — метроном, отсчет внутреннего темпоритма... Ногами можно поболтать... Потом, знаете ли, в мои годы сад «Эрмитаж» часто посещали хорошенькие девушки... А я по природе наблюдатель, доставляет радость любоваться прекрасным... По какому поводу искали, Андрей Владимирович? — Костенко устроился на подоконнике и сразу же полез за сигаретами.

— Во-первых, хотел познакомиться с вами. Наслышан, как и все, но ведь работать с вами никогда не приходилось... Во-вторых, хотел посоветоваться о деле... В-третьих, мне сказали, что вы как-то увязываете гибель Зои Алексеевны Федоровой с убийствами Ястреба и Груздевой. Это правда?

— Допустим... Но вы ж в расследовании дела Федоровой участия не принимали...

— Я Зою Алексеевну хорошо знал, Владислав Романович...

— Да? Но если вы ее хорошо знали, то ваша фамилия наверняка была б в ее телефонной книжке...

— Моя фамилия была в ее телефонной книжке, — так же невозмутимо, со странно-доброжелательной улыбкой ответил Строилов. — Более того, я сам вписал в нее свой домашний и служебный номера.

— Это когда было? — Костенко раздавил в маленькой пепельнице окурок и сразу же закурил новую сигарету. — В каком году?

— В том самом, — лицо Строилова резко изменилось, постарело в мгновение. — Они тогда у моего отца собирались, отмечали годовщину Лидии Андреевны Руслановой, все владимирские узники съехались, кто еще был жив...

— Погодите-ка, — лоб Костенко свело рублеными морщинами, — вы хотите сказать, что именно ее записная книжка — надо понимать последняя — была похищена преступником?

— Почему «преступником», а не «преступниками»?

— Вопрос правомочен... С вашим батюшкой об этой трагедии говорили?

— Конечно... Он считает убийство Зои Алексеевны политическим преступлением.

— Мотивы?

— Мотивов нет... Интуиция...

— В каком году вашего отца забрали?

— По «русскому делу»... В сорок восьмом... Следом за Вознесенским и Кузнецовым... Он в Ленинграде ра-

ботал, по строительной части... И очень дружил с Лидией Андреевной Руслановой и ее покойным мужем...

— По Особому Совещанию шел?

— Конечно... Старик — кремневый, его на процесс просто так не выведешь...

— Герой гражданской войны Иван Никитович Смирнов, член Реввоенсовета Троцкого, тоже был не робкого десятка, однако ж — уговорили, вышел...

— Отец знал об этом... Поэтому предпочел бы смерть ужасу постановочного процесса.

— Вам тогда сколько было?

— Три месяца... Кстати, отец убитого Ястреба с моим стариком по одному делу шел, — Ястреба расстреляли, моему вломили двадцать пять с поражением в правах: «попытка создания Российской республики с выходом из СССР»... Так что искал я вас столь настырно оттого, что ко всему этому клубку, — Строилов кивнул на тома старого дела Федоровой и папочки с материалами по Ястребу и Людке, — у меня интерес не столько служебный, сколько гражданский.

Верю ли я ему, подумал Костенко; мы отучились верить людям; змейски просчитываем свои мысли и поступки почище шахматных гроссмейстеров — на много ходов вперед...

— Отчего вы меня унизили внештатным консультантом, капитан?

— Я не могу зачислить вас в опергруппу, Владислав Романович... Закон есть закон... Поэтому пробить статус внештатного консультанта тоже было не просто, но, к счастью, прошло, да и взрыва зависти не будет...

— Зависть всегда будет... Если что и неистребимо, так это зависть, особенно в нас.

— Гены бесправного рабства? В этом народ неповинен, его поставили в условия жути — вот и результат.

Костенко достал еще одну сигарету, но удержался, закуривать, не стал, в маленькой комнатке и так было синё от табачного дыма, а Строилов постоянно покашливает, может, с легкими нелады, эка какой пергаментный, хоть и не стар...

— Матушка жива, капитан?

— Умерла.

— Воспитывались у родных?

— В детдоме...

— Слушайте, может, пойдем кофейку попьем? А то задохнетесь в вашей конуре...

– Жду звонка, Владислав Романович. Чекисты обещали подослать материалы...

— Вы о книжке Виктории Федоровой, дочери Зои Алексеевны, знаете что-нибудь?

— Нет.

— Рассказать?

— Конечно.

— Книжка называется «Дочь адмирала»... Виктория пишет о трагедии матери и о том, как Зоя Алексеевна смогла найти в Штатах ее отца... Через американцев... Виктория написала о том, кто и как пытал ее мать, о Руслановой, кстати, написала, когда они вместе сидели в одной камере владимирского политизолятора... О том, как именно Зоя Алексеевна организовала... Как бы это помягче выразиться... Побег, что ли... Да, видимо, так... Легальный побег своей дочери... Впрочем, «легальность» и «побег» понятия взаимоисключающие... Словом, после опубликования этой книги за океаном Зоя Федорова стала о т к а з н и ц е й, хотя, как говорится, мать за дочь не отвечает, как и сын за отца... Такую формулировочку помните?

— Не то чтобы помню... Знаю.

Костенко кивнул на папки дела Федоровой:

— Познакомились как следует?

— С этими документами не знакомиться надо, Владислав Романович... Их следует в компьютер запускать — если бы они у нас были — для тщательного анализа... Я не очень-то понимаю, отчего в выдвинутых версиях на первое место сразу же вывели убийство с целью грабежа? И почему вероятие убийства с политическими целями было на самом последнем месте?

— Вы раньше в МУРе не работали?

— Нет.

— Какая у вас тема диссертации?

Строилов улыбнулся:

— У вас хорошие источники информации.

— Плохих не держим.

— Тема у меня выстраданная, Владислав Романович... «К вопросу об истории подготовки процессов тридцать восьмого года: анализ процессуальных нарушений действовавшего законодательства».

— Голову не свернут?

Строилов ответил вопросом на вопрос:

— Полагаете, возможна реставрация?

— Аппарат-то ведь по-прежнему всемогущ..

— У меня пистолет есть... Коли реставрация — застрелюсь, позора не переживу, это равнозначно разгрому поколения, публичная казнь идеи, вселенская компрометация нации, от такого страна не оправится...

Медленно закурив, Костенко, не отрывая глаз от лица Строилова, сказал:

— Я готов более подробно рассказать о книге Виктории Федоровой... Мне кое-что перевели... Есть зацепки...

— Серьезные?

— Как размышление для поиска — да... Конкретных — нет... И еще... Что вам известно о том процессе, который Зоя Алексеевна была намерена возбудить в Штатах против адмирала Тэйта?

— Против отца Вики?

— Да.

— Этого нет в деле...

— Вы п р о с к о л ь з и л и... Там об этом упоминается, но почерк у оперов районной милиции детский... Она намеревалась начать процесс, потому что адмирал использовал в своих мемуарах те материалы, которые Федорова хотела опубликовать сама... Ясно?

— А в те годы публикация за границей книг и мемуаров, связанных с разоблачением Сталина и его палачей, каралась, — словно бы продолжая Костенко, заключил Строилов.

— Горячо, — усмехнулся Костенко. — Вот-вот наступите на угли...

Строилов не понял:

— О чем вы?

— Забыли детские игры?

— Мы в детприемнике не играли, Владислав Романович. Нас там гусиным шагом учили ходить сызмальства... Мы дикие были, дикие и тихие, игр сторонились, каждый в себе... И последний вопрос: у вас врагов много?

— А как без них жить?

— Дело в том, что вчера на вас анонимка пришла... Просто так от нее не отмазаться, придется писать объяснение.

— Сюжет каков? Что я Мишаньке Ястребу помогал ротапринты воровать?

— Это было позавчера, Владислав Романович... Это б полбеды... Кто-то из тех, кому о вас многое известно, очень многое — словно бы друг писал, — сигнализирует руководству, что, мол, полковник Костенко катит бочку

на чекистов, обвиняя их в убийстве Федоровой, и что результаты своего частного сыска запродал западникам.

— Так вы и разберитесь с этой анонимочкой, — враз заскучав, ответил Костенко. — Я в общем-то не защищен, карты свои — не все, конечно, но весьма серьезные — разложил на столе, валяйте, тешьтесь...

Строилов достал из стола конверт:

— А я уж начал, Владислав Романович... Поскольку в анонимке много пишется о вашей семьей, словно бы, повторяю, сочинял близкий человек, — поглядите-ка почерк, а?

Костенко покачал головой:

— В такой постановке — глядеть не стану... А как уликовый документ, как след к убийце Федоровой — посмотреть стоит. На дактилоскопию не брали?

— Брали.

— Ну и что?

— Ответ в вашу пользу, Владислав Романович... На конверте пальцев нет, обнаружили подобие следа от перчатки... Эксперты определенно ничего не утверждают, но высказывают предположение, что состав, из которого изготовлены эти самые перчатки, идентичен тому, который остался в киоске Ястреба... Нерусское производство — во всяком случае... Поэтому ваш интерес к бывшему театральному администратору, а ныне гражданину США Джозефу Дэйвиду, мне кажется в высшей мере оправданным... Хотите работать вместе — вот вам моя рука...

Они обменялись рукопожатием; Костенко снова подивился тому, как холодны пальцы капитана, сколь суха его ладонь и как она аристократически длинна; он похож не на Дон Кихота — на коня; странная ассоциация; впрочем, нет, — у породистых скакунов очень узкие лодыжки; а вообще кони — хорошие люди, с ними можно идти в дело; он сразу принял мою версию: дело Федоровой тлело все эти годы; молодец, подеремся...

— Ну а если мы вместе, — Строилов поднялся, — не сочтите за труд сказать нашей науке, чтобы она меня не обтекала... Говоря откровенно, эксперт Галина Михайловна меня в упор не видит...

Костенко наконец усмехнулся:

— Видит... Точнее — присматривается...

...Через десять минут Галина Михайловна из НТО положила на подоконник (не на стол Строилова) таблицу с отпечатком пальца:

— Это я накопала на пояске убитой Люды. Дактилоскопия проходит по картотеке, — не глядя на капитана, докладывала она Костенко. — Варенов Исай Григорьевич, сорок седьмого года рождения, проживает на Солнечной, семнадцать, освобожден из мест заключения три года назад, проходил по делу о вооруженных грабежах и насилии...

— Где отбывал наказание? — Костенко легко спрыгнул с подоконника и потянулся к телефону.

— Не в Саблаге, — Галина Михайловна словно бы ждала этого вопроса. — Но работает он в том кооперативном гараже, где стоит «Волга» вашего подопечного пилота.

Строилов набрал номер районного управления, продиктовал адрес Варенова, попросил немедленно взять на контроль; «сотрудников высылаю, буду на связи».

Дал команду по селектору:

— Членам группы срочно выехать в Измайловское управление...

— Едем, — сказал Костенко Строилову. — Только лучше в отделение, оттуда сподручней начать работу...

— Нет, — ответил капитан, побледнев еще больше. — Пусть начнут молодые сыщики, надо позволить им проявить инициативу. Подождем...

— Если бы не анонимочка — можно ждать, капитан... А так я не очень-то понимаю, кто за кем охотится: мы за ними или они за нами?

— Спасибо, Галина Михайловна. — Строилов мягко улыбнулся эксперту. — Ваш босс и я делаем одно дело, вы меня признайте, ладно?

Галочка даже не обернулась:

— Я свободна, Сла... Владислав Романович?

— Не меня надо спрашивать, Галка, — ответил Костенко, — босс — боссом, а капитан руководит группой... Помогай ему...

Когда Галина Михайловна ушла, Строилов прерывисто вздохнул:

— Спасибо, полковник... Перед тем как мы начнем работу по Варенову, заедем к отцу... Не отказывайтесь... Простите, конечно, что я смею давать вам советы... Дело в том, что одним из следователей моего отца был тот самый, кто терзал и Зою Федорову...

Костенко лениво поинтересовался:

— Либачев? Или Бакаренко?

Строилов этому вопросу не удивился:

— И они тоже. Кстати, Бакаренко уже отправил письма о вашем самоуправном допросе — сразу по трем адресам... Но речь идет о третьем... Его фамилия Сорокин...

— Покойный ныне...

Строилов как-то странно пожал острыми птичьими плечами, хотел было возразить, но — промолчал.

— Может быть, к вашему батюшке попозже заглянем? — спросил Костенко. — Время, счетчик включен...

— Полагаю, получасовой визит к отцу поможет вам.

— «Нам».

— Нет. Именно вам... Вы же считаете, что Сорокин мертв...

— А вы?

— А я нет...

...Уже около «Волги» Костенко — в обычной своей манере (полнейшая, чуть ленивая незаинтересованность) — спросил капитана:

— Вы себя не озадачивали вопросом: отчего после убийства Федоровой у нее дома изъяли двенадцать кассет?

Строилов словно бы споткнулся:

— Где они?

— Попробуйте поискать... Да и сохранились ли эти записи? Вот в чем вопрос...

5

Когда Семену Кузьмичу Цвигуну в пятидесятом году исполнилось тридцать три, торжество отметили славно, было много гостей, говорили хорошие слова, застолье получилось отменным, воистину дружеским, хотя виновник торжества словно бы кончиками пальцев ощущал, что среди собравшихся находится некто, цепко и настороженно наблюдавший за каждым его жестом, не то что словом. Впрочем, через неделю это ощущение размылось, отошло, но не исчезло, оттого что не в первый уже раз за последний год ему приходилось слышать шелестящий заспинный шепот, будто никакой он не запорожский казак, а самая настоящая жидовская морда, ибо на их хазарском языке слово «цви» означает «олень», а у них только аристократов так называли, главных шейлоков и раввинов...

На всякий случай он отправил запрос в архив, получил метрические выписки не только на отца, но и на деда

с бабушкой; рассеянно показал сослуживцам; усмехаясь, заметил при этом:

— Хочу докопаться до Сечи, все ж таки именно оттуда идет мой род, репинскую копию не зря держу в спальне...

Спустя месяца три после торжеств хозяин Молдавии Брежнев пригласил его (рядового начальника отдела республиканского МГБ) в кабинет и, угостив чаем с традиционными сушками, шутливо заметил:

— В тридцать три Христа уже распяли, а ты все отделом командуешь... Смотри, упустишь свое время, Семен...

Наделенный смекалистым юмором, человек от природы рисковый (хоть и чуть заторможенный), Цвигун знал о Брежневе все: Центр требовал информацию о республиканской верхушке; шептались, что товарищ Сталин обмолвился о возможности проведения съезда; как-никак, со времени последнего прошло двенадцать лет, да и война уж давно кончилась, пора бы.

В его, Цвигуна, маленький кабинетик на третьем этаже одного из самых больших и красивых зданий молдавской столицы стекалась информация обо всех, кто хоть как-то был на виду, то есть имел реальную силу, а таких — пять процентов от всего населения, не больше, над ними и работать. Над ними и одновременно под ними — в этом именно крылась трагедийность ситуации, могуче-бесправными подданными которой были все работники аппарата МГБ, ставшие — волею Сталина, в тридцатых еще годах, — суверенными владельцами секретных досье на тех именно людей, которым они — по старым нормам партийного этикета — должны были подчиняться.

Связи начальственных жен, поведение детей, утехи самих руководителей, мнения, высказанные ими в кругу друзей, количество упоминаний имени великого вождя в рапортах, отчетах, речах, застольях — все это поступало в сейф Цвигуна — прежде чем быть (или не быть) переданным министру, который, понятно, назначался Москвой, ей одной служил, на нее во всем и ориентировался.

— Будь моя воля, — ответил тогда Брежневу волооkий, статный красавец Цвигун, тая странную, чуть подмигивающую улыбку на округлом, женственно-мягком лице, — я б уж давно себя заместителем министра назначил, Леонид Ильич... Но ведь сил нет, без благословения партии ничто в республике невозможно...

Брежнев пружинисто поднялся; рассмеялся; сняв трубку телефона, соединился с домом:

— Вика, пусть что-нибудь на стол соберут, скоро буду...

Цвигун сразу же отметил, что хозяин не сказал «мы будем», хотя человеком он был хлебосольным и открытым гостям; впрочем, какой я ему гость; сошка; у него Черненко, Щелоков, Дымшиц, Гречко, Тихонов — гости; вместе начинали в Запорожье и на Днепропетровщине, малая родина, да и потом держатся молодости своей; только в молодости дружба бескорыстна, на всю жизнь закладывается.

В машине ехали молча (поговори, когда рядом охранник торчит), и лишь в особняке, когда Леонид Ильич шел по дорожке к двери, Цвигун понял: сейчас решается его судьба.

И — не ошибся.

— Слушай-ка, Семен, — Брежнев легко утвердился в привычном ему одностороннем «ты», — что это за сплетни такие идут, мол, секретарь ЦК, — он ткнул себя пальцем в грудь, — гоняет на трофейных машинах, покупает их в Москве, сам сидит за рулем, уезжает куда-то один?! А еще какую-то гнусность начинают возводить и на детей?! Кто за этим стоит? Думал? Подумай, я не тороплю. Имей в виду, если на предстоящем съезде большевистской партии все будет так, как должно быть, то есть товарищ Сталин подвинет к себе именно нас, молодое поколение, прошедшее войну, то и всем вам откроются весьма и весьма серьезные перспективы... Так что, рассуждая обо мне, вы все о себе в первую очередь думайте... Ясна позиция?

— Конечно, Леонид Ильич... Я рад, что получил от вас установку...

Брежнев покачал головой, усмехнулся чему-то:

— Никаких установок я никому не даю... Я обмениваюсь мнениями. Установки — по твоей части... С товарищами из Москвы я перемолвился, так что жди назначения, олень — цви...

...В тот именно день, после обеда, в саду, Цвигун и назвал благодетелю несколько имен информаторов, чего делать не имел права, — нарушение служебного долга.

Именно он решился сказать Леониду Ильичу про то,

что кое-кто из аппарата начал обсуждать связь первого секретаря с Надеждой, умницей-красавицей, женой члена бюро Ивана Ивановича, говорят и о том, что за городом содержится специальный особнячок для их потаенных, трепетно-нежных встреч, — Брежнев любил эту женщину высоко и отверженно.

Молдавский хозяин ничего на это не ответил, заперся потом с женой, Викторией Петровной (настоящая хозяйка дома, д р у ж о ч е к); разговор был тихий, долгий, добрый; она погладила мужа по голове, горько вздохнула:

— Я все про нее знаю, Ленечка... Бог тебе судья... Не волнуйся попусту, я всегда рядом с тобой, защищу, если кто посмеет написать в Москву... Нам с тобой теперь о будущем надо думать, а его достигают только те семьи, где жена обладает даром понимающего всепрощения... Мне теперь детьми только и заниматься, женщина стареет скорей... Не страшись...

Именно он, Цвигун, разыскал дочь х о з я и н а, когда та сбежала из Кишинева с циркачом; просил простить девочку и понять ее: «скандал надо обернуть романтической трагедией, лишь это смогут простить московские пуритане».

Именно поэтому он вошел в у з к и й круг доверенных людей п е р в о г о — Щелокова, Черненко и Бодюла.

...Лишь когда Сталин рекомендовал Брежнева кандидатом в Президиум и секретарем ЦК на девятнадцатом съезде партии, переставшей быть «большевистской», превратившейся в партию д е р ж а в ы, Цвигун впервые за последние два года уснул спокойно и без кошмарных сновидений, ставших за последние месяцы привычными, рвущими душу, даже в ушах стучало молоточками, — «цви, цви, цви...».

Прощаясь с соратниками, Брежнев (парил как на крыльях, ночью просыпался, щипал себя за руку — «не во сне ли все это, боже?!») сказал Цвигуну:

— Жди вызова, Семен. Будет для тебя и в Москве работа...

В Москву, однако, перевести его не успел, оттого что вскорости после окончания съезда великий вождь приказал долго жить; практически сразу же после похорон Брежнев з а г р е м е л заместителем начальника политуправления — по военно-морскому флоту; был в Молда-

вии королем, переместился в тамплинный секретарский кабинет на Старой площади — и, на́ тебе, сокрушительный обвал...

Но и за те короткие месяцы, что провел в Москве, он успел обзавестись с в я з я м и, а у нас только тот переживет смутное время, кто понарасставлял потаенные в е х и; наша общность тем и разительна, что не только одни муравьишки и свистокрылые чирки живут законами с т а и, но и человечки тоже. Что о д и н может? А — ничего! Кто на крыло поставит? Кто путь укажет? Это на Западе — один и есть один, а у нас он не один, он — нуль без палочки, дерьмо, н и ч т о. У нас общность нужных держит, у них — надменная личностная гордыня, на ней они лоб-то и расшибут, сгниют в одночасье, попав в пучину очередного кризиса капитализма...

Именно поэтому все его к а д р ы не полетели в тартарары, хотя ждали этого (коль х о з я и н нагнулся, всем его близким греметь), а худо-бедно сохранили свои позиции. И когда — путем сложной интриги — Брежнев вымолил себе пост второго секретаря ЦК КП Казахстана, Цвигун вскорости оказался неподалеку — на посту зампреда таджикского КГБ; республики близкие, то на охоте свидятся, то на каком слете передовиков; чаще всего собирались в Ташкенте, ибо Брежнев смог переместить Рашидова с поста декоративного президента Узбекистана на ключевую партийную позицию.

Там, в Таджикистане, Цвигун бесстрашно восстал против концепции республиканских приписок, повалил местную мафию, несмотря на недовольство некоторых московских руководителей.

Анализируя работу Рашидова и его окружения, Цвигун прекрасно знал (рапорты читал ежедневно, ходу не давал, но и не уничтожал), что, действительно, Шараф Рашидович по-царски принимает гостей, а все расходы списывает на министерства, крупные заводы, институты. Конечно, непорядок, но ведь нет в нашей дикой тьмутаракани цивилизованной (как во всем мире) статьи под названием «представительские расходы»! Не себе же Рашидов эти деньги берет! Зачем они ему?! И самолет свой, и машины, дачи, квартиры, дома, повара, охрана, массажисты, врачи, портные, обувщики, шоферы, стенографисты — за все ж это платит государство! Избранник народа должен всего себя отдавать работе, благу трудящихся, общему делу... Дефицитные строительные материалы (люди Цвигуна провели негласную ревизию)

шли не на черный рынок, а на возведение новых научных центров, промышленных комплексов спортивных сооружений... Да, этот дефицит Рашидов получал взамен на сердечность гостеприимства, отправку в Москву посылок со свежими овощами и фруктами, передачу нужным людям сувениров — в конце концов, надо делать скидку на национальный характер: и каракулевое пальто здесь принято называть «сувениром», у них так испокон веку было... Самое страшное для партийца что? Личная корысть. А где она? Только возвращаясь в ужас тридцать седьмого года, можно было позволить разгоряченному мозгу фанатичного правоохранителя назвать радение о благе республики «взяткой» или «подкупом». И Брежнев всегда повторяет: «Дайте людям пожить спокойно, народ устал от нервотрепок». Но когда однажды Цвигун пробросил, что неплохо бы ввести статью представительских расходов, Леонид Ильич заколыхался в смехе: «Семен, ты, может, и законсервированные лагеря прикажешь уничтожить? Власть вправе разрешать или не разрешать, но ее инструменты должны быть неприкосновенны. Без страха мы жить еще не научились, да и вряд ли когда научимся, а уж если научимся — державе придет конец, помяни мое слово»...

...Когда однажды, в Баку уже, кто-то — воспользовавшись его мягкостью и доброжелательством, — сказал, что отец посаженного за валютные операции мальчика готов дать миллион тому, кто поможет несчастному, Цвигун рассмеялся:

— Что ж, приводите... Только с миллионом чтоб пришел... Расстреливать за взяточничество без вещдоков — против закона, мы по закону живем, не как-нибудь...

(Значительно позже, когда в Баку Леониду Ильичу подарили бриллиантовый перстень о десяти — а то и больше — каратах, стоимость которого исчислялась упаковками зеленых, не рублями, он даже не смог разрешить себе и подумать, допустим ли такой подарок, да и подарок ли это вообще? Разум отторгал возможность самого рождения такого вопроса, хотя он рождался, иначе б не мелькало в голове и не просыпался бы порою среди ночи от жуткого крика. Но — поздно уже: кричи — не кричи, никто теперь не поможет, «ставки сделаны, ставки сделаны, ставки сделаны, господа!»)

Когда Брежнев, восстав из пепла, переместился в Москву, накануне октябрьского заговора против кукурузника, посмевшего замахнуться на память Вождя,

Цвигун был загодя направлен председателем КГБ Азербайджана: пора искать верных людей и там; пролетарский интернационализм рождается не на пустом месте, а из фамилий верных инородцев, приведенных штабом Первого Лица на ключевые посты.

В Баку лепил своего заместителя Гейдара Алиева; ему же отдал кресло, когда Брежнев порекомендовал Андропова в КГБ.

Назначение было несколько неожиданным:

— Я этого здания боюсь, — усмехнулся Андропов, чуть побледнев.

Брежнев кивнул:

— Именно поэтомы мы вас туда и назначаем. Ничего, кадрами поможем, дадим орлов в помощь...

Первым орлом оказался Цвигун, вторым — Цинев, палладины Брежнева; западня; крышка захлопнулась..

...Столичная жизнь была Цвигуну внове. Поначалу он чувствовал себя неуютно, но постепенно приобщился к миру культуры — сызмальства испытывал почтение к артистам; покойного Алейникова иначе как «Ваня Курский» не называл, идентифицируя художника и роль, им сыгранную. Познакомился с писателями, режиссерами, сценаристами, завороженно слушал их рассказы. Говорить поначалу совестился, боялся сморозить не то, умел, однако, поддерживать разговор доброжелательной заинтересованностью и ни к чему не обязывающими междометиями. Попросил соответствующую службу послушать, что о нем говорили новые знакомцы; оказывается, отзывались хорошо и много, горделиво делясь с приятелями (особенно в редакциях и на киностудиях) своим дружеством с «первым человеком в ЧК». Того, кто слишком амикошонствовал, полегоньку от себя отводил; тех, кто знал меру, внимательно обсматривал, прикидывая, какой прок может из этого выйти, не понимая еще толком потаенный смысл своей задумки — что-то зыбкое чудилось ему, неоформившееся покуда в четкий план мероприятия. Как-то рискнул рассказать фронтовой эпизод — воевал честно, прошел фронт с первого дня и до последнего; подлипалы застонали восторженно: «Ваше истинное призвание — литература!» Не он, но они, без всякого понуждения, от сердечного холодеющего перед золотопогонством рабства, предложили записать его застольные истории прозой; ему, однако, мечталось —

сценарием, чтоб фильм был, чтоб все, как по правде; слепили сценарий. И — пошло-поехало! Читал написанное соавторами, как свое, постепенно все более и более отталкивая от себя правду: «Неужели это я, господи!» Началось постепенное раздвоение личности; засиживался до утра, исчеркивая написанное профессионалами, потому что хотел приблизиться к идеалу — его, Семена Цвигуна, литературному идеалу. Словно немой, он слышал в себе мелодию, но не мог ее выразить; он только ощущал, что — можно и хорошо, а что — нельзя, то есть плохо.

...Став первым заместителем Андропова, он не мог курировать девятку, ибо традиционно она замыкалась на председателя, однако исподволь, неспешно Цвигун добился того, что начал влиять на кадровую политику и в этом подразделении, загодя обмолвившись об этом с благодетелем.

В ту пору Леонид Ильич набрал силу, удивляясь тому, как легко Косыгин и Подгорный отдали ему безбрежное главенство, добровольно, без особого, а тем более явственного нажима переместившись в его тень; впрочем, помогал Суслов, постоянно повторяя, что русскому народу нужен державный символ, ничего не попишешь, такова традиция, а в традиции заложена мудрость седой старины, не нам ее менять, грех; «культ личности был отмечен перегибами, спровоцированными окружением, в то время как у нас сейчас нет никаких оснований к подобного рода страхам — Леонид Ильич русский человек, и окружают его верные друзья, так что издевательства над нацией, спровоцированные инородцами, исключены сами по себе».

Тогда именно Брежнев и заметил Цвигуну:

— Надо знать все обо всех... И еще: чтоб не трепали имя детей! Такого не прощу. Они широкосердные, как и я, этим легко воспользоваться, народец наш кнут чтит, добротой — брезгует...

Когда «грязные сплетни» о детях первого лица неудержимым шквалом покатили по Москве, Цвигун позвонил супруге благодетеля: «Как быть?»

Конкретных рекомендаций не получил, поэтому сделал так, что дети — сначала сын, потом дочь — сами пригласили его на ужин; говорил с каждым по отдельности, по-отцовски, но в то же время подставляясь для удара и шутки: был бы родней — одно дело, а так —

надобно держать дистанцию, не забывая ни на секунду, кто ты, а кто они.

Дети смеялись:

— Не в полицейском государстве живем! Что ж нам, списки приносить на утверждение — с кем можно встречаться, а с кем нельзя?!

Именно тогда он ощутил себя между молотом и наковальней: дети не хотели менять принятый ими образ жизни — вольготный и богемистый, а к благодетелю с этим не пойдешь, не поймет...

Именно тогда он до конца растворился в творчестве — единственное успокоение...

Правил свои рукописи, записанные профессионалами, как можно чаще выходил на люди, словно бы норовя этим отмыть манеру поведения детей Первого Лица; тогда же и подбросил Леониду Ильичу идею о написании им своих воспоминаний. С молчаливого благоволения вождя подобрал кандидатуры «коллективных брежневых»; в том, что будут молчать, — не сомневался, правила игры в державе известны всем, напоминать не надо, ученые.

Когда однажды кто-то из охраны все же рискнул доложить, что один из контактов детей «связан с уголовным миром», раздраженно ответил:

— Так развяжите...

Пусть думают. В конечном счете вопрос охраны Первого Лица замкнут на Андропова, пора научиться скалиться, из добрых веревки вьют.

Наконец о скандалах детей спросил и Председатель.

— Юрий Владимирович, — ответил Цвигун, — я не смею вторгаться не в свою прерогативу... Если поручите мне курировать охрану Леонида Ильича и семьи — приказ выполню. Иначе — не хочу быть неверно понятым. — И нажал: — Есть ведь люди, которые не прочь поспекулировать нашими отношениями с генеральным, более четверти века вместе...

Андропов тогда ничего не ответил, но вскоре после этого расписал ему информацию, поступившую на дочь и Щелокова; присвоенные драгоценности из Гохрана страны, уникальные картины, гоночные машины, подарки вождю ко дню рождения: на аффинажной фабрике был заказан план Москвы с трассой следования благодетеля из Кремля на дачу — светофоры сделаны из топазов, изумрудов и сапфиров, подсвечивались маленькими лампочками, чудо что за игрушка!

Цвигун ощутил тогда безысходность, тревогу и рвущую тяжесть в груди: сказать об этом можно только Брежневу, но поймет ли?! Не был бы Леонид Ильич так добр, возьми он хоть в малости манеру сталинской суровости, но ведь нет! Нет у него этого, норовит править людьми Хозяина добром. Нельзя! Они только сталинский страх понимают, слово для них не закон, им кнут надобен... Чего медлит?! Почему не отдает хозяйство?! Кто, как не я, предан ему?! Да, верно, Андропов подконтролен, но все равно последнее слово за ним, а вдруг не уследишь?! Тогда что?

Вспомнил информацию о разговоре Юли Хрущевой с друзьями: «Если бы Никита Сергеевич пожертвовал Серовым — в угоду тем, кто вроде бы болел о престиже лидера, о том, чтобы его не корили потворством сотруднику Лаврентия Павловича, — никогда бы Брежнев с Сусловым не захватили власть, Серов был предан семье до последней капли крови...»

Ах, если бы и эту расшифрованную запись подслуха можно было доложить благодетелю! Но ведь теперь иные правила: «да» и «нет» не говорить, «черного» и «белого» не называть!

Он вспомнил слова одного из своих знакомых писателей, цитировавшего Библию: «Во многия знания многие печали».

...Он понял, что Андропов поставил его под неотмываемый удар, передав ему, Цвигуну, решение верха лично задержать академика Сахарова и увезти его в ссылку.

По роду своей службы он знал, обязан был знать, что Брежнев вызвал к себе Щелокова и безулыбчиво заметил:

— Ты кончай у себя посиделки с музыкантами устраивать! Очкарик твой, что на большой скрипке пилит, — Рамтрапович, что ль?! — в эмиграцию подает... И пусть себе! А за тобой из-за этого Андропов следит! И вообще будь разборчив с теми, кого приближаешь...

Цвигун знал, что с тех пор благодетель не принимал Щелокова; при этом он отдавал себе отчет в том, что именно Щелоков истинный друг ему, как-никак вместе начинали в Молдавии. Такой работник, да тем более сидящий на ключевом охранительном посту, сладок, но разве может ему быть союзником тот, кто теперь еженедельно звонил Голикову, помощнику Вождя, и плачуще

молил, чтоб тот устроил ему встречу с Леонидом Ильичом, а Стратег был непреклонен.

Он мучительно искал выхода, — об этом ни с кем делиться нельзя, — искал и не мог найти его, потому что надо было принимать самостоятельные решения, а годы, проведенные в аппарате, отучают человека от того, чтобы быть самим собою, и снова тяжкий сплин безнадежной депрессии давил на него гранитом жуткого надгробия, когда вроде бы дышишь, ходишь, смеешься, жмешь чьи-то руки, а на поверку — мертв, отпевают...

Вызвал Суслов, обрушился грубо:

— Вы взяли на себя заботу о семье Леонида Ильича, а к чему это привело?!

Цвигун бросился звонить Брежневу, не соединили; семья тоже отказала в поддержке; впал в еще более тяжкую депрессию; а тут Андропов добавил, сказав на коллегии, публично:

— Все сочиняешь, писатель? Может, профессию пора менять? Кто вместо тебя делами будет заниматься?!

...Щелокова пасли, собирали компромат постоянно; как остановить это?!

За дочерью Первого Лица тоже смотрели неотступно; доложили о ее новых контактах — якобы встретилась с актрисой Зоей Федоровой, которой вновь отказано в выездной визе в США; сидела за одним столом с двумя диссидентами; ходатайствовала перед отцом за каких-то цеховиков, запросившихся в Тель-Авив, требовала присуждения Борису Буряце государственной премии.

Что делать? Как поступить ему?

Андропов усмешливо молчит; Суслов срывается на фальцет, кричит, белеет лицом; Брежнев не выходит из кинопросмотрового зала на даче, словно бы исключив себя из жизни страны, — пусть все идет, как идет...

Именно в тот день он ощутил — как и в пятидесятом — кожей, кончиками пальцев, что кто-то постоянно смотрит за ним, за всеми, кого он любит, что-то страшное готовят против него, и он сел к столу — писать письмо Леониду Ильичу о заговоре, который теперь постоянно виделся ему — явственно и ужасающе...

Но письмо не давалось; он привык работать с секретарями, помощниками и консультантами, которые писали тексты выступлений и записок. Он научился легко забывать литераторов, сочинявших для него сюжеты романов и сценариев, считая, что пахнущая ледерином обложка с его именем на корешке создана им самим. Он поэтому

растерялся, ощутив свое бессилие выразить то, что рвало сердце и мозг, и снова тяжкая, словно мокрое ватное одеяло, тоска навалилась на него, и он уехал за город, а потом попросился в Барвиху, на лечение, полагая, что там сможет закончить свое письмо-обвинение...

Но его снова и снова вызывал Суслов, и безжалостно-требовательно глядели в его переносье голубые глаза Андропова, и ощущалась пустота окрест — с каждым днем все более зловещая. И он понял тогда, что только-только начавшаяся жизнь катится в тартарары.

Чем чаще Семен Кузьмич просыпался среди ночи — снотворное не действовало уже, — тем явственнее он понимал, что работы по коррупции, против тех людей, имена которых то там то здесь проскакивали в соседстве с неприкасаемыми, да и не только с ними, невозможна, ибо приведет к непредсказуемым последствиям, когда надо будет называть черное — черным и принимать решения, а разве это возможно?!

Кому верить, в ужасе думал он; кому открыть сердце, у кого спросить совета?! Нет кругом людей, пустыня; затаенная, ледяная, окаянно-душная, с низкой черно-дымной хмарью, в которой роятся враги, давно уже алчущие броситься на спину, распластать на ледяной изморози и найти острыми резцами слабенькую синеву сонной артерии...

Каждое утро он поднимался с бессонной барвихинской кровати разбитым, ожидая очередного звонка Суслова: «Что у вас нового по делу Федоровой? Что с Буряцей? Есть ли информация о том, где находится истинный штаб по фабрикации гнусных слухов о семье того, кто так дорог советскому народу?;

Ну что, что отвечать этому страшному человеку, что?!

6

Генерал-лейтенант в отставке, Герой Советского Союза Строилов, удостоенный этого звания в сорок третьем, после ранения, медленно поднялся с кушетки навстречу сыну и Костенко, тяжело оперся на массивную палку (как он ее только в руках держит, он же ее легче, пушинка, в чем только душа держится) и, сделав качающийся шаг к столу, кивнул на массивные стулья:

— Прошу...

Усаживался он осторожно, как бы по частям, — сна-

чала завел одну ногу, потом, уцепившись длинными (точно как у сына) пальцами за краешек стола, медленно опустил торс, после этого подтащил рукою левую ногу, а уж затем откинулся на спинку, сделавшись величественным и отстраненно-недоступным.

— Знакомься, папа, это...

Генерал чуть досадливо перебил его:

— Присаживайтесь, Владислав Романович... Имя мое вы знаете, отчество Иванович, рад, что откликнулись на просьбу заехать... Не взыщите, что не тяну вам длань, верен нашему революционному изначалию: «рукопожатие отменено»...

— Почему, кстати? — поинтересовался Костенко, усаживаясь напротив генерала.

— Думаю, профилактика тифа. Этическая подоплека — если она была — мне неизвестна. Я ж из своей деревни Мирославлево — прямиком в Смольный...

Строилов-младший улыбнулся:

— Отцу понравился анекдот про двух англичан: один спрашивает: «Джон, вот ты рафинированный, истинный интеллигент, скажи, как и мне стать таким же?» — «Надо закончить Оксфорд». — «Я закончил!» — «Не тебе — дедушке!»

— Это не просто анекдот, — заметил генерал. — Это притча, а в любой притче сокрыто Библейское. Слава Богу, мой отец был справным мужиком, церковной книге был прилежен, чему и нас, детей, наставлял... Андрюша, не сочти за труд, сделай кофе... Вы голодны, Владислав Романович?

— Нет, благодарю.

— Глядите, — генерал усмехнулся. — Я, как ветеран, прикреплен к гастроному, в дни праздников отоваривают копченой колбасой, гречневой крупой и финскими плавлеными сырками...

— Спасибо, — повторил Костенко, — я, честно говоря, сижу как на иголках, у нас ЧП, нашли преступника, надо начинать д е л о...

— Понимаю... Постараюсь быть кратким... Я увидал у сына робот человека, которого вы ищете... Это мой следователь Сорокин. Он человек страшный, потому что в нем совмещены ум, садизм, сила и сентиментальность.

— Но ведь он мертв... Так мне сказал Бакаренко, так считают в ЧК...

— Это он, — повторил генерал. — В таком не ошибаются.

Костенко сразу же полез за сигаретами, генерал покачал головой:

— Единственная просьба: если можете не курить хоть полчаса — удержитесь, пожалуйста. Я вас более чем на тридцать минут не задержу... Некоторые психологические штрихи к портрету палача помогут вам нарисовать образ преступника...

— Да, да, конечно, — сказал Костенко. — Если станет невмоготу, выйду на лестничную площадку, там покурю.

— Вы очень любезны, благодарю вас. Итак, Сорокин... Знаете, с чего началось наше с ним собеседование? С побоев? Отнюдь. С пытки бессонницей? Это — потом. С лампы в глаза? Тоже — после... Он начал работать со мной, зачитывая отрывки из книги «История царских тюрем»... Да, да, именно с этого... Я процитирую по памяти ряд пассажей, если угодно... Еще в конце восемнадцатого века, долбил мне Сорокин, была принята инструкция, по которой секретные арестанты доставлялись в острог глубокой ночью — он многозначительно посмотрел на меня тогда, — и тюремному офицеру нет дела ни до имени, ни до преступления секретного узника... Тогда же придумали заталкивать арестантов на ночь в долбленое бревно — чтоб сделать невозможным побег... Отмечалось, что на пойманного полицией человека, еще не судившегося, часто невиновного, в уезде — по приказанию не только исправника, но и дежурного писца суда — надевали рогатки на шею или приковывали цепью к стулу, чаще всего из дуба, так что арестант и шага сделать не мог... А еще Сорокин зачитал мне про то, как разгромили Запорожскую Сечь и последний кошевой Петр Кальнишевский был брошен в Соловецкий застенок, заточен в башню и умер там, в возрасте ста двенадцати лет — без права свиданий или переписки, живой труп... Вот так... Посмеиваясь, пуская мне табачный дым в лицо, — генерал как-то странно усмехнулся, глянув на сигареты Костенко, лежавшие на столе, — только он папиросы курил, «Герцоговину Флор», Сорокин заключил чтение выдержек из труда Гернета выводом: «Мы ничего нового не изобрели, следуем тому, что было в державе искони... Мы не торопимся, время для нас не существует, мы его регулируем, оно не теснит нас своими рамками... Можем ждать сколько угодно, пока вы решитесь выскоблиться, облегчить себя чистосердечными показаниями, только это может сохранить вам

жизнь». Это было, хочу напомнить, в сорок восьмом году, здесь, в этом городе, в трех километрах отсюда, на Лубянке... Я готов отвечать на ваши вопросы, Владислав Романович... Я —единственный, кто выжил и помнит его лицо — до самой крошечной морщинки, до шрамика на брови, до манеры разговаривать, думать, до выражения его глаз, когда он впервые ударил меня резиновой дубинкой — сверху вниз, с оттягом... ниже пояса... Вы не можете представить себе его глаза, когда он заглядывал мне в лицо, после того как я очнулся после болевого шока... В его глазах стояли слезы, на губах плясала истерическая улыбка, но временами лицо замирало, и он не мог сдержать оскала... Да, да, он как-то не по-людски скалился, мне даже показалось тогда, что у него растут резцы, словно у вампира, перед тем как наброситься на жертву...

— У него действительно довольно заметны резцы, — сказал Костенко. — Сколько ему тогда было лет?

— Запросите комитет, — посоветовал Строилов. — Я могу ответить довольно приблизительно... Лет двадцать семь, не больше...

— Значит, сейчас ему под семьдесят? — Костенко удивился. — Он выглядит значительно моложе... В каком он тогда был звании?

— Он допрашивал меня в штатском. Неудобно же бить, когда ты под погонами...

— Когда кончилась война — если он начал работу с вами в возрасте двадцати семи, — ему было двадцать четыре?

— Ну и что? Александр Исаевич Солженицын был капитаном, когда его схватили, и было ему тогда немногим больше двадцати...

Строилов-младший пришел с подносом, на котором стояли три чашечки кофе:

— Я уже запросил чекистов, — заметил он, — и мне объяснили, что после вывода из Политбюро Молотова и Кагановича с Маленковым было отдано устное распоряжение Никиты Сергеевича — «почистить архивы»... Иван Серов почистил довольно круто, особенно московские, львовские и киевские хранилища...

— Я обязан дать показания, Владислав Романович, — продолжал Строилов-старший. — Я — единственный свидетель зверств Сорокина... Остальные — ушли... А мне — восемьдесят девять, с вашего позволения.

— Надо позвонить в прокуратуру, — сказал Костенко.

— Но прокурор спросит, кто ознакомил меня с вашим фотороботом? Это же пока что хранится в вашем деле, следовательно, секретно. Вот почему я хотел, чтобы мы обсудили ситуацию вместе... У меня уже было три инфаркта... Зафиксированных...

— Если мы... Если вы, — Костенко обернулся к капитану, — обратитесь к начальству с просьбой опубликовать в газетах фоторобот? Пройдет?

Строилов-младший отрицательно покачал головой:

— Какие основания? Дело против Хрена еще не возбуждено... Улики косвенны... Прокуратура нас истопчет...

— Меня несколько пугает, — вздохнул Владимир Иванович, — что вы норовите бороться с фашизмом методами крепкой парламентской демократии... А нашей демократии всего пару лет от роду, парламентской и года нет... Смотрите, не свернули б вам шею... Фашизм крепок единством, а вы друг с дружкой разобраться не можете... Кстати, это традиционно: правые у нас всегда были едины, кодла, а либеральные интеллектуалы рвали друг другу чубы, вот их по одному и щелкали...

— Выход есть, — сказал Костенко. — Или Ваню Варавина я к вам подошлю, боевой репортер, славный парень, н а ш, либо писателя Дмитрия Степанова... Это будет документ... Это печатать надо в газете... Вы готовы рассказать подробно про систему пыток, которым вас подвергал Хрен... Сорокин?

— Конечно, — ответил генерал. — Он и током меня пытал, почему-то пристрастие у него было к половым органам, ток через них пропускал... И бил дубинкой по шее — так, что глаза вываливались, язык становился огромным, как кусок вареного мяса... Никаких следов на теле, очень обдуманно работал... И самое главное — через день после того, как Андрей взял ваше дело, поздним вечером раздался звонок... И мне сказали следующее... Цитирую дословно: «Если пикнешь хоть слово, твой сын никогда не станет майором... Похороны за твой счет»... Могу свидетельствовать под присягой: звонил Сорокин.

— Именно поэтому, — добавил капитан, — я выступил против того, чтобы вы, Владислав Романович, были включены в группу... Я хочу, чтобы вы были свободны в выборе форм и методов того поиска, который вы вели до меня...

Генерал, начав поднимать себя со стула — так же по ч а с т я м, как и садился, — заключил:

— И чтобы вы оба точнее поняли Сорокина: он был невероятно изобретателен в психологическом давлении: раз вызвал меня, положил на стол его фотографию, — Строилов кивнул на сына, — крохотуля еще, серенький, будто старичок, и говорит: «От тебя зависит, лишим мы выродка фамилии и ты потеряешь дитя, если не шлепнут в одночасье, или оставим его Строиловым, решай». В блокаду я потерял семью... Всю... Без исключения... На Смоленщине деревню сожгли немцы, Строиловых постреляли каратели... Один как перст... А любого человека сопрягают с миром — то есть с памятью поколений — кровные связи, от этого не уйти... И снова вспоминаю глаза его... Я порою относился к нему, как ботаник к мурашу, я его анализировал... Согласитесь, явление: палач под советскими погонами и с той же партийной книжкой, что у меня... Хотя в камере мне рассказывали, как следователи-комсомольцы били первого главкома революции Николая Крыленко... Галошами по лбу, а ему было за пятьдесят... Если фальшивый суд над Промпартией был политической постановкой, направленной против академиков, против тех, кто группировался вокруг Бухарина, то пытки тридцатых годов отмечены печатью зверства нового Хама против апостолов революции, эра всепозволенности... Неужели самое важное — назвать врага? Неужели мы с готовностью поверим в то, что вчерашний друг — это враг, лишь бы только обвинили с амвона? Неужели в нас сокрыто нечто непознанное и страшное, неистребимо и угрожающе таящееся в каждом, готовое выплеснуть ужасом в любой миг, лишь бы снова пророкотали сверху — «ату»?!

— Вы на Сорокина установку запрашивали? — спросил Костенко капитана.

— Интересующий нас Сорокин действительно числится умершим, — ответил Строилов-младший и набрал номер районного управления; ответили, что Варенова дома нет, ждут; бригада н а и з г о т о в к е.

...Выехав из двора на Бородинский вал, Строилов спросил:

— В отделение поедем? Или у вас другие планы?

— Другие...

— Будем брать Варенова?

— Рискованно.

— Точнее — бесполезно.

— Польза-то будет, хоть придется отпустить через семьдесят два часа: наверняка у него алиби...

— А палец?

Костенко поморщился:

— «Я с ней танцевал. За поясок ее держал...» Если за ним стоит Сорокин, — от всего откажется, роль вызубрена... Но польза будет, банда станет его мотать, отчего выпустили, о чем допрашивали, кто... Но кто же мог стукнуть Хр... Черт его раздери! — Костенко рассердился. — Кто мог настучать Сорокину про вашего отца? Про то, что именно вы ведете дело Ястреба и Людки?! Почему вообще он подошел ко мне на улице? Почему он держал в машине американца, которого я допрашивал по делу Федоровой и который свалил через месяц после того, как мы вышли на связи Галины Леонидовны? Чего он добивался? Зачем я ему? Или он переоценил информацию, собранную обо мне: «критикует, недоволен медленностью реформы, считает, что растет организованный саботаж правых сил, очевидны попытки скомпрометировать Горбачева, заметна консолидация бюрократической системы, идет наработка подпольных связей в борьбе против **демократии** и гласности»?! Говорил я так? Да. И продолжаю говорить... Но ведь я по пальцам могу перечесть тех, с кем общаюсь... Щупальца? Спрут?

Костенко полез за сигаретами, глянул в зеркальце, закурил, усмехнулся:

— Заметили номер машины, которая нас пасет?

— Конечно.

— У вас хорошая выдержка.

— Иначе б не выжил.

— Не думаете пропустить тот «москвичонок» вперед и стукнуть его?

— Думаете, у него чужой номерной знак?

— По аналогии с «Волгой» Сорокина — да.

— Остановить возле автомата?

— Нет.

— Почему?

— Голуби насторожатся. И про то, чтобы жахнуть их или, тормознув, поставить задницу, — я не прав. Я наляпал за эти дни массу глупостей... И очень важно, что ваш батюшка вспомнил про то, как с у к а сострадательно показывал ему вашу фотографию... Казалось бы, проходное палачество, но я в этом вижу какую-то отмычку ко всему делу

— Какую именно?

— Не знаю... Просто я почувствовал нечто... Я никогда не умею сказать, Андрей Владимирович... Давайте-ка заедем на Петровку, возьмем лист бумаги и начертим схему: что знаем, что чувствуем, что надо делать: мне — свое, вам — ваше...

— Вместе не хотите?

— Получится — так или иначе — вместе... Только к этому «вместе» надо идти с разных сторон... Ваш отец прав: с фашизмом бесполезно бороться методами парламентского демократизма... Мы кокетки, Андрей Владимирович, мы играем в демократию... Знаете, как в свое время Шеварднадзе н а г н у л домушников в Грузии? Нет? А очень просто: провел изменение Уголовного кодекса республики и в два раза повысил срок за домашние кражи... Ну, воры и ринулись из Тбилиси... А здесь — «ах, нет, что вы, надо профилактировать преступность, Леонид Ильич правильно говорил: «Народ устал от жестокостей, дадим людям пожить спокойно!»... Дали...

...Свернув с бульварного кольца на Петровку («Москвич» за ними не поехал, г а з а н у л к рубной), Строилов вывалился из-за баранки, Костенко не успел его даже остановить (дуралей, наверняка вторая машина идет следом, контрольная), бросился к телефону, набрал «02»; зря все это; бандюги сейчас свернут к ресторану «Узбекистан», там можно не только номер поменять, а слона вывести, никто внимания не обратит: в условиях демократии, даже молодой, люди начинают терять рожденный тоталитарностью дух всеобщего внимательного доносительства, думают больше о себе (личность пробуждается), чем о том, как одеты и о чем беседуют окружающие...

— Напрасно вы это, — сказал Костенко, когда запыхавшийся капитан бросился на свое сиденье, яростно газанув, развернулся, чуть не врезавшись в маршрутное такси, и погнал вниз, следом за «Москвичом». — Смысл? Куда несетесь?

Не отвечая (совсем пепельный стал), Строилов сделал круг, проскочил мимо «Узбекистана», свернул к Центральному рынку, в ярости ударил кулаками по баранке и, неожиданно для Костенко смачно выматерившись, пояснил:

— Дежурный по ГАИ начал выяснять, кто я такой,

вместо того чтобы номер записывать и передавать тревогу на посты...

— Внове вам? Бисмарк еще писал, что русские медленно запрягают, но быстро ездят... Сначала нас жареный петух должен в зад клюнуть, до этого — неповоротливы мы и спокойны до абсолютной избыточности... Я ж говорил — зря...

Лишь отзвонив по начальству в ГАИ (говорил с едва сдерживаемой яростью, но корректно, выдержки не занимать), запросив Измайлово, не засекли где Варенова (нет, не засекли, как сквозь землю провалился, ищем повсюду), закончив обмен информацией с КГБ — запросил данные на родственников Сорокина, если такие остались, — Строилов ждуще повернулся к Костенко.

Тот поискал глазами большой лист бумаги; Строилов словно бы понял его (как же это часто бывает: чувствование желания собеседника за миг перед тем, как он выразит это словом! Мы еще только стоим перед познанием безбрежных загадок мира, щенки полуслепые, а гонору сколько?! убежденности в собственном всезнании?! исступленной веры в дурьи побасенки?!), достал из ящика убогого стола (только в малоразвитых странах такая мебель в рабочих кабинетах, как у нас) графленый для преферанса лист (ай да кооператоры, ну, молодцы, а!) и убежденно заметил:

— Не умеете на огрызках писать... Я тоже... А за гонки — простите. С обидой не совладал...

— Ничего, бывает... Я через это проходил. Ну, давайте чертить... Вернемся к декабрю восемьдесят первого... Из дела явствует, что Маргарита Набокова, подружка Зои Алексеевны, приехала к ней между двенадцатью и часом с небольшим, так?

— Так.

— Из ее показаний можно сделать вывод, что она ждала под дверью чуть не пятьдесят минут, так?

— Именно.

— И слыхала в федоровской квартире шум льющейся воды, так?

— Так.

— Потом стала звонить от соседей, но телефон Зои Алексеевны был постоянно занят... Верно?

— Да.

— Переносной телефонной трубки в ванной комнате у Федоровой не было, так?

— Верно.

— Значит, по логике, ее именно в это время убивали... Или уже убили... Или убийца просил ее не открывать дверь. Так?

— Так.

— Или она сама почему-то не хотела открыть дверь... Возможно, к ней пришел Гена, просил снова пустить его на постой... Так?

— Так...

Костенко поудобнее устроился на подоконнике, лоб свело морщинами, упрямо шел за мыслью:

— Кто и сколько раз допрашивал ее постояльца Гену из оркестра МВД? То-то и оно... Один раз, потом — нини! Откуда он взялся в доме Федоровой? Кто навел? Кто дал ее адрес и телефон? Назвал администраторшу, а ее и не вызывали на беседу... Все прошло мимо нас... Я ж говорю: только-только приближались к чему-то, что было неугодно некоей силе, нас одергивали: «Занимайтесь расследованием, а не фантазиями...» Но возникает следующий вопрос... И Бронислав Брушинский, старый друг Зои, и артист Москонцерта Владимир Руднев в один голос показывают, что Федорова звонила к ним от часу до трех, сколачивала бригаду для поездки на гастроли в Краснодар... Так?

— На это я не обратил внимания.

— Я ж говорю, почерк у оперов плохой... Я обратил внимание, десять раз дело утюжил... Какой смысл врать этим людям? По-моему — никакого... Да, верно, следов насилия и воровства не было, но не значит ли это, что к версии обыкновенного грабежа нас подталкивал убийца, оставивший на полу гильзу? Профессионал наверняка б забрал... А перед нами разыграли спектакль любительства...

— Почему? Испуг, желание поскорее уйти...

— Верно... Все верно, только почему в районе двенадцати в квартире слышался шум льющейся воды? А когда Федорова говорила по телефону с друзьями, то никакого шума не было? Вроде б только она с кем-то переговаривалась... Кстати, подружку свою, Маргариту, она звала к себе после часа, та приехала раньше... И знаете, что я сейчас подумал? Как-то мой друг из ЧК сказал, что разведчики, желая избежать п о д с л у х а, включают воду — никакое радио или телевизор не упасет от звукозаписи, все равно отделят нужные голоса от посторонних, а вот шум воды делает невозможным сохранить смысл того, о чем говорят люди, желающие хранить

тайну... Кто-то из наших выдвинул версию, что Зоя Алексеевна, попав в о т к а з, была связана с организацией, которая помогала деньгами таким же, как и она, несчастным... Я начал крутить эту линию, но поступил приказ — «не надо, ерунда, мы проверяли»... А что, если нынешний Дэйвид, в прошлом Давыдов, был тогда у нее? Или Хренков... Тьфу, Сорокин! А уж эта сволочь наверняка знает, как уходить от звукозаписи...

— Связи не вижу.

— Я тоже пока не вижу, но что-то во мне молотит... Чем дальше, тем больше меня интересует, чем этот советский Дэйвид занимается в Америке. Мы допрашивали по делу Зои племянника Арманда Хаммера, почему-то писали его «Гаммером», и очень большую лису допрашивали, по имени Лев Иосифович Родин, американский бизнесмен русского разлива... Как думаете, можем через них установить нынешнюю профессию Дэйвида, которого возит в «Волге» с чужими номерами садист с плачущими глазами — штурмбаннфюрер Сорокин, он же Хренков?

Строилов, подражая Костенко, ответил с ленцой:

— Мне сегодня в Госконцерте сказали — я наобум лазаря туда позвонил, — что Дэйвид сейчас подвизается в качестве менеджера русскоязычных писателей и актеров.

Костенко усмехнулся:

— Ну, Строилов, ну, сукин сын, умыл меня, губочкой обтер, как младенца! Ну а дальше? Кассетки-то Зоины где?! Где они?! Кому понадобились?!

Спрыгнув с подоконника, Костенко достал записную книжку, пролистал ее, досадливо выматерился, полез в карман, перебрал несколько визиток, нашел нужную, набрал номер и, закурив, присел на краешек стола:

— Алло, товарищ Ромашов? Это Ко... Неужели у меня такой приметный голос, что по первым словам узнаете? Правда? Хм, не знал... Ну, здравствуйте, угрозыск приветствует ЧК... У меня вопрос: не могли бы вы — а если не можете, то кто может из следственной службы КГБ — установить: не имел ли некий Сорокин из бывшего следственного или Пятого управления, ранее называвшегося Секретно-Политическим отделом, осужденный в пятьдесят седьмом за палачество, в личном пользовании пистолет марки «Зауэр»? Я-то? С Петровки... Телефон? Сейчас спрошу... Какой у вас номер, товарищ Строилов? Готовы? Диктую...

...Строилов позвонил Костенко около часа ночи, долго извинялся за то, что так поздно тревожит, наконец объяснил:

— Я бы не посмел вас тревожить, Владислав Романович, но эксперты из Ярославского областного НТО сообщили, что лодку слесаря Окунева подняли...

— Того, который из кооперативного гаража? Что в Саблаге сидел?

— Именно... Так вот, ребята считают, что лодочку его кто-то расконопатил перед тем, как отправить по рыбу... И бензина в мотор залили на самое донышко, только б к середине озера выехать...

— Окунев один там был?

— В том-то и дело, что привез его какой-то приятель на «Волге»..

— Только не говори, что это был Сорокин.

— Не говорю. Другой был. То ли кавказец, то ли еврей... Переночевал у той бабки, где всегда останавливался Окунев, уехал затемно, вот все, что пока имеют...

— Ехать туда надо.

— Завтра поутру отправлюсь.

— Вам нет резону... Вы — городской, пусть там районная милиция граблит, они это умеют... Вы меня ждите, у меня завтра архиважная встреча.

С кем — не сказал. Он и не мог говорить об этом никому; если хочешь сделать настоящее д е л о, научись молчать, иначе все пробалаболется.

7

— Эмиль Валерьевич, вы мне поверьте, — Варенов снова подался к боссу; пахнуло перегаром; Хренков поморщился, откинулся на спинку стула; на холеном, сильном лице мелькнуло жалостливое презрение. — Я битый-перебитый, тертый-перетертый, Эмиль Валерьевич, сейчас самое время уехать на отдых! Володя точно формулировал: «лечь бы на грунт, опуститься на дно»... Я это шкурой своей изодранной чувствую...

— Обнаружил за собой слежку? Что-то подозрительное во дворе? Странные телефонные звонки? Если чувство подтверждено фактами, тогда это спасительная интуиция, повод для действия... Если же просто кажется — надо перекреститься, нервы разгулялись... Негоже, Исай, впадать в панику попусту...

Они сидели в обшарпанном общепитовском кафе;

народу не было — утро; лениво-снисходительные официанты не обращали на них внимания — ни коньячку не просили, ни пивка, чтобы поправиться: кофе, сыр, омлет, три порции студня; это не клиенты, хотя седой, поджарый, спортивного кроя, лет шестидесяти пяти, в скромном американском костюме и фирменных американских туфлях с медными пряжечками производил впечатление настоящего г о с т я, — именно такие и в ы с т у п а ю т по высшему разряду, с коньяком «Варцихе» и десятью порциями черной икры. Да и собеседник его, человек молодой, в элегантной спортивной куртке, джинсах и «адидасах» последней модели, производил впечатление человека денежного. Официант — психолог что твой Фрейд, он от государства зарплату получает сто рублей, а заработать надо тысячу, чтобы хоть как-то сводить концы с концами, без знания людей, без обостренных женских чувствований клиентов будешь жить впроголодь, как чернь инженерная...

— Ну, вспоминай, — дружелюбно нажал Хренков; лицо непроницаемо, постоянно собрано, глаз не видно, скрывают дымчатые очки «ферарри» (говорят, в странах гниющего капитала такие двести зеленых стоят, страх подумать). — Выскобли себя. Во всем себе самому признайся, сразу гора с плеч свалится. Каждый человек таит в себе нечто такое, в чем ему страшно или стыдно признаться. Но это — дурь! От неуважения к себе такое проистекает, поверь... Помочь тебе? Задать вопросы? П о д в е с т и? Может, пьешь чрезмерно? Это убивает в человеке душу, невосполнимо... Похмельный человек, особенно если норовит вином успокоить страх, — находка для противника; такой и на язык невоздержан, и колется в первый же момент, и подозрителен сверх меры... Вчера где пил?

— У Коли.

— Он один был?

— Один, — о ч и щ а я с ь, с тянущейся готовностью, будто бы даже завороженно, рапортовал Варенов.

— Что пили?

— Коньяк.

— Где купил?

— В «Арагви».

— Когда?

— Позавчера.

— Как попал туда?

— Приехал поужинать.

— С кем?
— Один.
— Кто обслуживал?
— Баба. Новая, я ее не знаю.
— Какая из себя?
— Жирная.
— Сколько лет? Приметы?
— Лет сорока, блондинка, глаза черные, родинка на левой щеке.
— В каком зале сидел?
— В правом, слева от оркестра.
А до этого? Пил?
— Да. Друг зашел...
— Кто такой?
— Поделец.
— В завязке?
— Да.
— Как зовут?
— Вы не знаете.
— Назовешь — узнаю.
— Вася Казаneленбаум.
Хренков усмехнулся:
— Знаешь, как звучит самая распространенная фамилия русского атеиста?
Варенов расслабился: Хренков ставил вопросы неспешно, но как-то изнутри требовательно, не отрывая постоянно ощущаемого тяжелого взгляда, замеревшего где-то на его переносье; с трудом разорвал нечто, притягивавшее его к собеседнику, и откинулся (но не резко, свободно, а осторожно, о ж и д а ю ч и) на спинку стула; ответил, откашлявшись:
— Не знаю, Эмиль Валерьевич, откуда мне...
— Крестовоздвиженберг.
— Что, правда был такой? — Варенов удивился искренне, с подкупающим доверием.
— Был, — усмехнулся Хренков, — у нас все возможно... По какой статье этот твой В а с я проходил?
— Валюта.
— Больше с ним не встречайся. Валютчиков не только угрозыск пасет, но и ЧК.
— Не мог же я лагерного друга погнать, Эмиль Валерьевич...
— Кстати, подавай на обмен квартиры... И сиди на даче, там же рай, мы ее не зря купили, Исай... И девок вызывай наших, проверенные, ни СПИДа, ни триппера,

да и не стукачки, резвись — не хочу! Скажи-ка мне, а после этого самого Крестовоздвиженберга ты ощутил тревогу?

Варенов покачал головой:

— Нет, он здесь ни при чем... Он мне ничего такого не предлагал, не щупал, я б почувствовал... Мне после Людки, ночью, пригрезилось, будто указательный палец у меня резиновую перчатку порвал... Когда мы перчатки жгли, я толком внимания не обратил, но во сне, словно кино показали: торчит палец из этого американского треклятого гондона, торчит, чтоб свободы не видать...

— Вот так, да? — нахмурившись, спросил Хренков. — Пригрезилось во сне? Или убежден, что было на самом деле?

— Не знаю... Если пригрезилось, то уж так явственно, так по делу, что и понять нельзя: было или сон дурной... Но вроде бы я ее за пояс пальцем держал...

— Ладно, — задумчиво протянул Хренков, — хорошо, что выскоблился... Ко мне больше не звони, договорились? Я сам звонить стану — в случае нужды... Не мне учить тебя: сейчас в стране демократия, так что, если вдруг твой пальчик действительно торчал, мы тебя все равно вытащим, только молчи как камень... Теперь без вороха улик в суд не отправят. Людку ты драл, как и все, не отрицай этого... И походи-ка завтра и послезавтра по городу... Можешь выступить в хаммеровском центре, где угодно... Хвост увидишь — не реагируй, и проверяйся как можно меньше, живи с расправленной грудью, забудь страх, Исай, перестраивайся...

— Хотите усечь легавых, если они наладили за мной слежку?

— Нет такого термина «слежка». Непрофессионально это... Употребляй слово «наблюдение», так будет грамотно... Но в принципе ты прав, я хочу именно этого... Пить не больше двухсот грамм... Это не просьба. Это — приказ... Технику проверки наблюдателей я сейчас тебе на улице преподам, нехитрая наука, но азы ее знать надо... И последнее, — Хренков достал из кармана несколько фотографий, разложил их на столе. — Этот человек тебе никогда дорогу не пересекал?

Варенов долго разглядывал цветные поляроиды, потом вернул их боссу и задумчиво ответил:

— Черт его знает... Что-то знакомое в облике есть. Если я его видел, то на Петровке, у него глаза мусорные...

— Верно говоришь... Именно на Петровке ты и мог его встречать...

— Он не полковником ли был? В б е с а х ходил, командовал в сыске?

— Допустим... Фамилию запамятовал?

— Да разве они свои фамилии называют...

— Костенко... Тебе это имя ни о чем не говорит?

— Нет, — ответил Варенов убежденно. — Не слыхал.

Хренков сунул в карман фотографию и поднялся, бросив на стол десятку:

— Запомни это лицо, Исай. Сейчас поработаем часок, потом езжай на дачу, прими элениум и поспи, а в семь можешь начинать гульбу, о'кэй?

Натаскав Варенова на а з ы установки за собою наблюдения, Хренков расстался с ним возле «мерседеса» Исая, вышел на площадь, остановил такси и отправился в библиотеку Ленина; оттуда, из курилки, позвонил по телефону и, не называясь, ограничившись лишь раскатистым «добрый день», чуть изменив голос (добавил хрипотцы), сказал:

— Моченов хромает, одному ходить трудно, пусть ему помогают в передвижении начиная с сегодняшнего дня, он с дачи выйдет в шесть, вот бы его и встретить, все же фронтовой друг, кто ему поможет, как не однополчане?!

...Через полчаса по цепи будет передан приказ босса: «Поставить наблюдение за Вареновым; проследить все его контакты; по возможности сделать фотографии тех, кто его топчет; главная задача — установить, не пасут ли его с л у ж б ы».

А Хренков в это время сидел в читальном зале для научных работников за книгой и делал выписки из «Истории социального страхования в России» — хотя думал о другом, о главном, о жизни своей думал...

...Оказавшись в Саблаге, пройдя через издевательские побои, он ощутил, как начал крошиться его изначальный стержень; убежденность, что произошедшее — дурной сон, вот-вот кончится, не может такое длиться долго, сменилась отчаянием: жизнь проиграна, растоптана, пущена по ветру.

Глумление блатных, которые легко перебросили кликуху «фашист» с долбанных пленных, недобитых троцкистов с бухаринцами на него, верного сталинца, отдавшего жизнь борьбе против контрреволюции и запрятанного в глубинную человечью потаенность предательства, именуемого УК «шпионажем», подвело его к грани слома: залезь на нары к пахану, подставь задницу, и побои враз кончатся, позволят покупать в ларьке печенье и маргарин — вот и начнется нормальная жизнь зэка. Что ж, это тоже надо пройти, за одного битого двух небитых дают.

Он замкнулся, ушел в себя, держался, как мог, более всего страшился признаться в том, что рожден в городе Глупове: конвоиры, для которых еще пять лет назад он был богом, истиной в последней инстанции, теперь, усмехаясь, смотрели, как его гоняли урки, смешливо переговариваясь: «Палачей народ метелит!», «Кому служил?». Он все чаще слышал в себе этот вопрос и чем дальше, тем больше убеждался в том, что никому здесь служить нельзя, кроме как самому себе, ибо остальные предадут за понюшку табаку, почувствовав хоть малейшую себе угрозу.

Он ощутил слабый м е л ь к надежды, когда Хрущев отрулил назад, заявив, что он бы с радостью носил сталинские премии, имей хоть одну, воспринял это как симптом — масса не простит д у р а к у замах на Иосифа Виссарионовича, люди чтут самодержца, слюнтяев не жалуют. Людишки хотят иметь над собой твердую руку, которая лишь и указует, как жить, что думать, кого чтить, а кого бить насмерть...

Написал письмо в Москву: «Был, есть и буду верным сталинцем! Признание на суде рождено давлением новоиспеченных чекистов из к о м с о м о л я т; в лагерях царит террор, урок натравливают против верных дзержинцев, раньше такого произвола не было...»

Из-за его ли письма, из-за других ли писем подобного рода, но в Саблаг прибыла комиссия, — МВД, КГБ при Совете Министров (п р и — эк изгаляются, только б унизить контору, нет на них Сталина, сразу бы в щели заползли, тараканьи нелюди) и прокурорские работники — всего девять человек.

Когда пришел его черед предстать перед комиссией, сердце ухнуло от счастья: за столом, но с краешку, в н е з а м е т и н к е, устроился полковник Шкирятов (то ли племяш, то ли еще какой родич незабвенной памяти

Матвея Федоровича, главы партконтроля, — гроза контры и всех прочих интеллигентишек); знакомы были с сорок пятого, по Венгрии еще, работали под Абакумовым, подчищали вражин, жили душа в душу, только Шкирятов хозяйственными делами занимался, в оперативной работе был слабаком, не всем такая способность отмеряна, особой кости люди, да и крови особой, самой что ни на есть чистой...

В отличие от въедливых прокурорских (вшивари, почувствовали послабление, начали из себя целок строить, вернуть бы наше время!) и медлительных, несколько тяжеловесных — толком еще не сориентировались — эмвэдэшников, отвечавших теперь за порядок в лагерях, Шкирятов и его начальник (этот — из новых, в коридорах не встречался, а может, из провинции переместили в Центр, дай-то бог) не задали ему ни одного вопроса, только строчили в блокнотики, не поднимая на него глаз.

Эти условия игры он принял сразу, нападал на прокурорских: «Произвол, культ личности осужден, а методы остались! Я никого никогда не пытал, свидетелей нет, меня взяли давиловкой и шантажом, не один я маяк потерял, посильней люди терялись, свято веря Сталину!» Требовал пересуда, отмены приговора, как необоснованного: «А пока будет приниматься решение — партия во всем разберется, справедливость восторжествует, зароком тому деятельность нашего ленинского ЦК во главе с выдающимся марксистом Никитой Сергеевичем Хрущевым, — прошу оградить нас, политических заключенных, от преследования уголовного элемента...»

...Шкирятов вызвал его вечером, молча подмигнул, кивнув на тарелку репродуктора, говорил сухо, рублено, давал понять, что беседа фиксируется:

— С вашим заявлением разбираются... Напишите, кто из лагерной администрации проводит политику на раскол среди заключенных...

— Вы уедете, а мне тут жить... Я в своей жизни никого не продавал и сейчас продавать не намерен, — не отрывая влюбленных глаз от лица Шкирятова, ответил тогда он, — не «Хрен» какой, а подполковник Сорокин, сталинец, а значит — патриот. Если б меня перевели из этого гадюшника в дальний филиал, где ссыльные живут, в библиотеку, скажем, и не тыкали всем и каждому моей статьей, — тогда бы я дал информацию... Устную, конечно... А так — увольте...

Через две недели его отправили в лагерь, где сидели бытовики; часть из них была расконвоирована уже; приносили с воли продукты, водку, теплые носки, деревенские валенки; посадили в библиотеку; началась ж и з н ь; со дня на день ждал отмены приговора, но Никита вдруг снова круто повернул, пуще прежнего попер на Сталина; вскорости, правда, снова отступил — петляет, понял Сорокин, на этом и сломит себе голову! Люди хотят линии, чтоб как рельс была, блестела чтоб и вдаль уходила, а когда сегодня одно, а завтра другое — р ж а начинается... Это можно там, где парламенты всякие и конгрессы, а у нас крутить нельзя, у нас надо дрыном по шее, тогда проймет.

Там-то, в тишине и покое, он по-настоящему пристрастился к науке, признавшись себе, что пропустил целую жизнь, относясь к знанию, как к школьной занудине. Только здесь, в лагере, понял, отчего у арестованных интеллигентов в первую очередь опечатывали библиотеки, а после все книги свозили в контору: динамит, страх как рвануть может, если всех до него свободно допускать.

И пуще всех иных наук привлекла его сравнительная история; н а в о д к у дал учитель из Тамбова, посаженный за гомосексуализм. Грех его был столь уникален в городе, что даже разбирался на б ю р о; кое-кто предлагал судить педагога по любой статье, только не по этой, стыдной, — позор области. Учителя пробовали склонить к даче чистосердечных показаний, которые бы позволили вывести его на пятьдесят восьмую статью, сулили минимальное наказание, но тот твердо стоял на своем: «Не я один грешен, но и Чайковский был таким, и англичанин Оскар Уайльд, готов нести крест за врожденную любовь к брату, не к сестре...»

Он-то и наставлял Сорокина:

— Вы посмотрите, мой сладкий, поглядите внимательно и неторопливо, сколь капризна и недотрожлива амплитуда истории! Растворитесь в ней, поддайтесь ее непознанному разуму, и, право, каторжная жизнь наша покажется вам не такой уж жуткой... Я готов с вами поработать, у вас здесь тихо, устроимся под лампою, станем спорить, как други, и поражаться, будто малые дитяти, тому таинственному, изначально заложенному в нас, что не поддается никакому логическому объяснению...

Слова п и д а р а лились скользким маслом; тошнотворный запах, исходивший от него, был омерзительным, но тюрьма — бо-ольшой учитель, быстро наламывает бока: бери разум ото всех, кто рядом, хоть по крупице, но бери, а коли запах гадости, так ртом дыши, за каждую науку надобно платить, ничто само с неба не падает, это только бородатый еврей обещал: «Провозгласим коммунию равных, и все блага мира станут нашими»... Не станут. За них дохнуть надо от зари до зари, чтоб хоть какой интерес получить, а интерес никогда общим не бывает, он завсегда с в о й.

Сорокин тогда зримо увидел в о л н ы российской истории: от ужаса Ивана Грозного, убившего космополитическую новгородскую демократию и затолкавшего в имперскую мясорубку казанских мусульман, чтобы открыть путь в сибирскую Татарию, страна пришла к благостной тихости Федора Иоанновича — ни опричнины тебе вседержавной, ни казней, спустилось на человецев благоволенье Божье... Однако же в затаенной тихости этой вызревал уже дух заговора бусурмана Борьки Годуна; убил он несчастного царевича, не убил ли, — одному Господу известно, но молва людская единит Московию покрепче указа или площадной казни — раз п о н е с л о, что загубил истинного продолжателя династии, — ничем не отмыться, хоть ковром перед народом стелись... Не мы, не подданные, но Бог должен хранить царя, Бог, и никто другой! Мы — малость козявочья, если что и можем, так Богу следовать, куда поведет он нас за истинного государя — туда и пойдем. А умер Годун (или т р а в а н у л и его, поди разберись теперь), и понесло-поехало! Одного за другим скидывали всех, кто царапался на престол: «дай нам Димитрия, он — кровинушка Иванова, от своего все снесем, только б был н а ш, в кого деды и отцы уверовали»... И только когда Димитрий нагрянул с поляками и стал из-за этого Л ж е, только пройдя сквозь чумную жуть, выбрали Михаила Романова, и настало успокоение на многострадальной земле... А как воцарился на троне его сын Алексей Михайлович, державший власть без малого полвека, захомутал вольных хлебопашцев крепостным правом, сделав их государевыми людьми (кому крепости служат, как не мощи государства?!), так смог и Смоленск вернуть, и Украйну присоединить к Московии! Мужицкие бунты вроде разинского — ишь, пьянь, вольницы захотели! — выжигал к а л е н о, голов рубить не

страшился, оттого и остался в памяти собирателем. При этом он понимал, что России потребны окна в Европу, но пуще всего боялся скорости — исподволь приглашал в Москву западных мастеров, лицедеев и газетных дел мастеров, но держал их при себе тайно, люду не очень-то показывал, знал, чем может дело кончиться...

И снова, как и сто лет назад, в середине шестидесятых, по смерти его, началась привычная уже катавасия, драка за трон, а точнее — за влияние на него. У нас, как понял Сорокин, влиять важней, чем править... Покато Петр Алексеевич набрал силу, пока-то заворочался на удивление пораженной Европе, сколько мути в конце века прошло, сколько крови пролилось?! А ушел Петр — после четверти века правления, — снова буза: те, кого взрастил он, первые же и предали его, а Марта Скавронская, чухонка, стервь, ставшая русской императрицею, завела Верховный тайный совет, где кости трещали у всякого, кто на язык слаб и мнение свое имел, шпионов расплодила, кровушка пошла по державе, ей и захлебнулась, а на смену ей пришел внук государя, угодный боярской оппозиции, и под диктовку светлейшего, Меншикова, сукина сына, отменил все то дедово краеуголье, на чем стала империя. Но и того вмиг схарчили, а уж что дальше пошло, когда бусурманные супостаты правили народом, так и сказать ужас, и шло все, как шло, покуда во дворец не ворвалась гвардия и не привела на трон дочь Петра, нежную Лисафет, и стал мир, и Михайло Васильевич Ломоносов явил себя изумленному человечеству, и сверкали Воронцов и Бестужевы-Рюмины... Но почти ровно век после смерти Алексея Михайловича, деда, преставилась внучка, дочь Петра. И пришел на русский трон сын ее сестрицы Аннушки, рожденный от брака с голштинским принцем Карлом Фридрихом, нареченный в своей прусской неметчине Карлом Петром Ульрихом, ставший в Москве Петром Третьим, женатый на немецкой куколке Софье Фредерике Августе. Он сразу повернулся к своей треклятой неметчине, заключил постельный мир со своей Пруссией, ввел в армии западные порядки, норовил отворить ворота Московии всем своим пруссакам, да не успел: женушка задавила в одночасье, превратившись из немецкой принцессы в русскую государыню. С тех пор и пошло: тот, кто громче всех об русском интересе вопит, тот и есть нерусский! Династия отныне только именова-

лась романовской, на самом деле немецкой стала: в наследнике Павле от Петра Великого лишь шестнадцатая долька русской крови осталась, остальная — немецкая... Вот и встает вопрос: мог ли русский, славянский государь (или государыня) пойти на то, чтобы разодрать славянскую Речь Посполиту, легко отдав ее краковское сердце австриякам, а познанские земли — Пруссии?! И ведь снова, — отмечал для себя Сорокин, — именно середина века переломилась, и снова другая история началась — те же шестидесятые, как и в прошлом веке... Вперед-назад, вперед-назад, как словно кто тормозами неразумно балует... Кто?! И в конце века — как в прошлом — началась вакханалия! То Годун хитрил, то Сонька егозила, а тут Павла задушил собственный противник; в пятьдесят четвертом преставился Николай, расстреляв декабристов; в двадцать пятом — века предшествовавшего — убили Петра I, в двадцать четвертом века нынешнего пришел Сталин, раскидав своих противников; в пятьдесят четвертом преставился Николай Павлович, а в нонешнем веке, через девяносто девять лет, Иосиф Виссарионович почил в бозе... В прошлом веке в начале шестидесятых Александр Освободитель даровал землю мужику, а его за это неблагодарные бомбой подняли. А век до того Екатерина пришла... А еще век прежде — Алексей Михайлович помре, и заваруха приспела в одночасье... Так, может, не случайно были эти повторения в нашей истории? Может, следует ждать и ему, Сорокину, нового знамения?

И — дождался ведь! Именно в шестьдесят четвертом, на сломе века, сбросили окаянного кукурузника, а спустя два года его расконвоировали...

Вот тогда Сорокин и сделал для себя главный вывод: никакие идеологии этой Державе не подойдут, не по Сеньке шапки! Надо таиться, ждать свое время и служить тому, кто себя утвердил не погонами и звездой, а делом, то есть золотом, — оно и здесь, в лагере, красит жизнь, дает масло, теплые кальсоны и меховую шапку — о большем в нашей Державе мечтать не приходится, она — прихотливая, живет не разумом, а шальным случаем, с ней ухо надо востро держать, а то расплющит ненароком, не заметив даже...

Обслуживая книгами бытовиков, ведя среди них агентурную работу — не столько на кума, сколько на себя, — Сорокин неторопливо плел свою сеть, рисовал в уме схемы, поражаясь тому, сколь несовершенен разум

русского дельца: только б урвать поболее, нахапать, напиться, а потом голову под крыло — и ждать, когда легавые забарабанят в дверь леденящей ночью, — пусть даже на дворе июльская духота...

Он не сразу и не случайно заводил разговоры с зэками; к у м, ставший корешем, рассказывал многое о каждом узнике: кто цех держал, кто с подчиненных взятки драл, а кто сидел в паутине, не шевелился, а ему со всех сторон несли.

— Если сами несли — на чем сгорел? — удивлялся Сорокин.

Кум похохатывал:

— Милый, им бы такого, как ты, заполучить, конспиратора, знающего с л у ж б у, никто б не прихватил... Но, по счастью, н а ш и люди — кремень, никто не разинется на их икру с «Волгой»...

Сорокин долго прицеливался к дельцам, а потом словно сокольим камнем рухнул на заведующего лагерной баней Осипа Михайловича Шинкина, хозяина семи цехов — в Москве, Днепропетровске, Сочи, Ашхабаде, Запорожье, Краснодаре и Кишиневе.

Слушая его («жидюга пархатый, не хватило на вас Гитлера, и Сталин не успел, все цацкался, суда ждал на Лобном месте, — душегубки надежней»), Сорокин не мог себе даже и представить, что именно этот человек сделается его благодетелем, крестным отцом, наставником в новой жизни.

Именно там, во время лагерных посиделок в библиотеке, они и разработали свою теорию охраны бизнеса, не ведая, что открывали велосипед, заново изобретая структуру мафии: «босс» должен иметь «заместителя», который обладает навыками сыска, понимает толк в агентурной работе, знает, как строить допрос, и не страшится применить такие методы воздействия на представителя чужого клана или того, кого подозревают в стукачестве, которые заставят заговорить самого, казалось бы, сильного человека.

Именно он, Шинкин, продиктовал перед выходом Сорокина на волю адреса своих заместителей по «праву» и «бизнесу», подарил свою фотокарточку с безобидной надписью («это — пароль для них»); именно он снабдил его паспортом умершего Бренкова Эмиля Валерьевича — родственников не осталось, ч и с т о т а, проверку на воле провели, документ вполне надежен, живи — не хочу!

Сорокин хохотнул:

— Меня «хреном» урки звали, хочу, чтоб в паспорте не «Бренков» был, а «Хренков».

— В Москве сделают, не штука... Сорокина похорони надежно, с этим именем тебе будет трудно, — тянешь хвост. С одним паспортом тебе, — если дело раскрутишь, — не управиться... И еще: тут, в округе, потрись, с немцами Поволжья дружбу наладь, пригодится, особенно баб ищи, всякое может случиться в жизни...

...Заметив, как лицо Сорокина свело нескрываемо-яростным презрением, когда тот заметил в пятой графе своей новой к с и в ы слово «еврей», Шинкин хохотнул:

— Привыкай, дзержинец-сталинист! У вашего Феликса Эдмундовича жена не русская была и не полька, да и бог ваш, Карла Марла, — не чуваш, а вы ему до сей поры поклоны лбом бьете... И запомни: не нация определяет человека, но — ум. Тебя не жид сажал, вы в ЧК всех жидов постреляли, но твой же русский собрат... И судил тебя русский... И били тебя смертным боем не жиды, а — твои, кровные... А не хочешь со мной дело иметь, брезгуешь, — других найду, вали отсюда, падла...

Простые эти слова поначалу ошеломили Сорокина своей чугунной, рвущей душу правдой; паспорт молча положил в карман, зная, что при освобождении шмона не будет, — давно расконвоирован, как и христопродавец этот долбанный...

Предъявив — по прошествии года — паспорт «заместителям» Шинкина, получил еще два паспорта и деньги на приобретение дома в Краснодарском крае и дачи в Малаховке (смеясь, называли ее «Мэйлаховка»). Положили оклад в тысячу рублей и поручили р а б о т у; так и начал он плести свою сеть боевиков, осведомителей, «разведку» и «контрразведку» подпольного синдиката, который производил люстры, колготки, водолазки, модельную обувь — миллионные доходы; государство в упор не видело, чего хочет народ, то есть рынок, а цеховики — видели, жили без шор, не старыми догмами, а извечным, непрерываемым делом.

Именно он, Хренков Эмиль Валерьевич, наладил первый контакт с Системой, з а р я д и в тех, кто имел выходы на охрану п р а в а; именно он стал заниматься «кадровой политикой», способствуя п р о в о д к е нужных людей в начальственные кабинеты министерств и комитетов.

Все шло, как шло; Шинкин, вернувшийся из лагеря,

вновь поселился в Кратове, на даче (какая там дача, замок) тещи своей, Аграфены Тихоновны Загрядиной, дело расширил, Хренкову дал премию — двести пятьдесят тысяч и вторую степень инвалида Великой Отечественной; когда Шинкин пошел на риск и, используя хренковские связи, подал на индивидуальный автотуризм в Польшу и ГДР, Хренков впервые ощутил душное чувство обреченной зависти: страх перед п л о щ а д ь ю в нем был вечный, в могуществе конторы не сомневался, расколют.

Тогда-то и потянуло его в ш и к: приобщился к с в е т у, начал обедать в «Национале», а ужинать в Доме кино, — воистину, «не говори, забыл он осторожность».

Там-то, в ресторане Дома кино, к нему за столик и подсела Зоя Федорова — чуть пьяненькая, глаза сужены тяжелой яростью:

— Ну, здравствуй, следователь! Давно я этой встречи ждала...

8

Уже доехав до Марьиной Рощи, Костенко вдруг ощутил в себе страх; еще в метро он установил, что за ним т а щ а т с я двое; он знал, что этих двух должны пасти ребята с Петровки, счетчик включен, операция вступает в решающую стадию; он был убежден, что переиграет мафиози, запутает их, ш м ы г а я через проходные дворы и чердаки, как-никак тридцать пять лет оперативной работы, полковник Дерковский был отменным учителем, да и Григорий Федорович Тыльнер, ставший агентом угрозыска в ноябре семнадцатого, часто встречался с молодыми, даже после того как ушел в отставку, не говоря уж об Иване Парфентьеве, начальнике МУРа; самородок; блатные его Цыганом звали, может, действительно, было что-то цыганское в его крови — а уж глаза явно р о м э н о в с к и е, пронзительно-черные, с голубиной поволокою, в них постоянно были сокрыты страсть, песня, доброта, ярость, колыбельная нежность, чудо что за народ, цыгане, загадка цивилизации, скорбь о вселенской тайне, и г р а...

Страх, родившийся в Костенко, был настолько оглушающим, неожиданным для него самого, что он сел на скамеечку, достал из кармана свой любимый «Московский комсомолец» (молодцы ребята, костят что надо,

работают во фронтовых условиях, но не сдаются, словно по к р и к у живут: «Великая Россия, но за нами Москва, отступать некуда») и углубился в чтение, хотя строк не видел, слились в штрихованную черно-белость...

С самого начала работы на Петровке, а потом и в угрозыске Союза повелось так, что начальство направляло его на самые боевые участки (бандформирования, вооруженные группы налетчиков — предшественники нынешних штурмовых отрядов мафии, особо опасные одиночки — с пистолетом и финкой).

Постепенно Костенко все более и более ощущал в себе появление обескоженных, порою даже каких-то радарных чувствований; он явственно видел опасность за несколько дней до того, как приходили данные о том, что действительно именно э т а опасность угрожает ему и в том именно месте, которое ему зыбко представлялось. Чем дальше развивалось в нем это качество, тем увереннее он предсказывал погоду на ближайшие два, а то и три дня (впрочем, профессор Юра Холодов, соученик по школе, отдавший жизнь изучению магнитного поля, только посмеивался: «У тебя остеохондроз, Слава, сосудики жмет, а этот индикатор понадежнее барометра, ты не Сафонов и не Кашпировский, живи спокойно»).

Лишь мельком взглянув на человека, он ощущал его скрытые недуги, особенно с т р а ш н о чувствовал приближение неминуемого конца у раковых больных; смерть Левушки Кочаряна предсказал за месяц до того, как любимый друг их шалой, растерзанной молодости (вот уж воистину «потерянное поколение») сел в свое большое кресло возле окна, в нем и умер — бесстрастно-мужественно; смерть мужчины должна быть формой продолжения стиля его жизни.

Во время охоты за Скрипачом, который перестрелял пять человек во время налета на кассу фабрики, когда взял семьсот тысяч рублей, поиск привел Костенко в Молдавию. Опрашивать ему пришлось людей самых разных, вплоть до шофера секретаря ЦК Щелокова; тот, кстати, и рассказал ему поразительную историю: председатель Совмина Константинов занимал роскошный особня́к, а в этом особняке, в прихожей с лепниной (музею б тут быть, а не пристанищу бюрократа с челядью) висело четырехметровое зеркало венецианской работы, цены которому не было. А круглосуточную охрану молдавского вождя нес солдатик из глухой деревни; замерз бедолага в своей деревянной будке, продуваемой

насквозь сухим зимним ветром, решил войти в прихожую барского дома, отогреться; света нет, только в кухонном окне торчал огрызок окаянно-желтой луны; страж осторожно вошел в святая святых, и первое, что увидел, было лицо человека, пристально и неотрывно на него смотревшего; солдатик сделал шаг навстречу смутно знакомому ему парню, прошептал отчаянно «кто идет?», царапнул заледеневшими ногтями затвор; «стрелять буду!», еще один шаг сделал (колени трясло ужасом), а тот, похожий на него, — навстречу, ну и жахнул из трехлинейки. Зеркало с шуршаще-водопадным грохотом заискрило на пол... Сначала в городе потешались, но — как говорили бабки — не в потехе дело, на зеркало грех руку поднимать, быть беде. И впрямь — через три дня Константинова погнали, надо было крепить интернационал, предсовминовское место завсегда отдавали молдаванину, назначали местного Рудя, и Константинов из-за этого помер от сердечного приступа, не смог пережить обиды, да и с особняка погнали, как теперь людям глядеть в глаза?!

Костенко навсегда запомнил слова щелоковского шофера: «Можно, конечно, продолжать издеваться над народными приметами, только если народ над ними столетиями не смеялся, значит, резону не было... Битое зеркало — к горю, так было, есть и будет вовек». А что? Правда. Пойди поспорь. Объяснить не можем, оттого и потешаемся: «Этого не может быть, потому что не может быть никогда».

Когда же я ощутил страх, подумал Костенко. Сегодняшним утром? Нет. В метро, когда обнаружил за собой слежку? Нет. Этот страх жил во мне со вчерашнего дня. Видимо, с той минуты, когда Строилов-старший рассказал, что к нему постоянно звонят. Наверное, я соотнес жестокость затаившихся нелюдей с беззащитной беспомощностью несчастного старика. Да, я за то, чтобы взорвать наши ужасные тюрьмы, пропахшие вековым ужасом карболки, крови, затхлости, и построить цивилизованные помещения для тех, кто преступил Закон; разные люди его преступают, по разным причинам, да и государство сплошь и рядом повинно в том, что граждане встают на стезю зла: когда мир незащищенных бедных, которых не тысячи, а многие десятки миллионов, соседствует с миром упакованных, — о социальной гармонии говорить преступно... К милосердию надо взывать, с Богом идти к каждому, кто оказался

за решеткой... К каждому? К тому, кто растлил пятилетнюю девочку тоже? Или готовит убийство беспомощного старика? Меня всегда упрекали в гнилом либерализме, но растлителей я бы сажал на электрический стул; американцы народ верующий, богобоязненный, но безжалостно сажают зверей под ток и — правильно делают. А мы считаем, что, если режим в колониях будет унизительно-беспощадный, это остановит тех, кто освобождается; не остановит, ожесточит еще страшней, убьет все человеческое...

Нет, сказал себе Костенко, я испугался в тот момент, когда принял решение идти сюда, в Марьину Рощу, к Артисту. Я иду к бывшему (бывшему ли? пойди установи с гарантией?!) вору в законе Дмитрию Дмитриевичу Налетову, окрещенному Артистом потому, что был похож на Николая Черкасова; он и говорил «под него», и плясал, и стихи декламировал, особенно Маяковского — точь-в-точь как Черкасов в фильме «Весна».

И шел он к нему не в бирюльки играть, а договариваться о том, чтобы Артист включился в д е л о. С Вареновым, был убежден Костенко, милицейскими методами не справишься, тут надо по-иному, иначе просрем все, а прощения за это не будет...

Имею ли я на это право, снова и снова спрашивал себя Костенко; возможно ли мне, полковнику уголовного розыска, садиться за стол переговоров с вором в законе, даже имея целью разгром банды?

Во-первых, в который уже раз возражал он себе, я не полковник, а отставник, дистанция огромного размера; во-вторых, Павел Нилин не зря написал «Жестокость» про то, как именно бандит спас ситуацию в далеком таежном районе, разрушив общность своих сотоварищей по банде. А кто сейчас помнит Нилина? Или Паустовского? «Государеву дорогу» Пришвина? Юрия Тынянова? Ольгу Форш? Вот уж, воистину, беспамятство! А «Дикая собака Динго» Фрайермана? Тот же «Март-апрель» Кожевникова? Иваны не помнящие родства, воистину! Или коршуны, кидающиеся на упавшего, — только б свежей кровушкой пахло... Ни в одной стране нет таких зашоренных групп, как у нас: одни не принимают того или иного писателя, оттого что он не с ними, другого — потому что сам по себе, третьего — традициям не верен, а как им быть верным в искусстве?! Были б верны — Пушкина б не имели, он первым стал

писать тем языком, которого и поныне нет краше и современней...

Понесло, сказал он себе; стой; не об этом речь; если я разрешил себе переступить границу служебной этики, которой был верен всю жизнь, тогда надо прыгать в такси и мотать отсюда, чтобы запутать г о л у б е й, которые воркуют в ста метрах от меня, переговариваясь о чем-то и придерживая при этом книжечки на крутых коленях. Нельзя прыгать в такси, возразил себе Костенко, словно бы продолжая дискуссию со своим вторым «я», поймут, что я их обнаружил; уходить надо лениво, путать рассеянно, чтобы их не оставляла уверенность в том, что я ничего не заметил. Главное — ответь себе: имеешь ли ты право на тот поступок, который может дать ключ ко всему делу? Или следует идти так, как велит традиция? И, таким образом, остаться в тупике, темном и безнадежно-глухом? И, опасном для людей на улицах, ибо Сорокин и Варенов (а сколько еще с ними? только ли эти два боевика?) будут спокойно жить в городе и продолжать свое дело, которое ежедневно, ежечасно и ежеминутно разлагает не только тех, кто близок им, но и грозит смертью тем, на ком они остановят свой страшный цинковоглазый взор.

Костенко поднялся, сложил газету, сунул ее в карман, поискал глазами урну, не нашел, конечно; втер окурок каблуком, совестясь и за самого себя, а пуще за несчастный Моссовет, и неторопливо двинулся к блочным домам; Артист жил в километре отсюда, возле церкви; там и н ы р н у...

...Дмитрий Дмитриевич Налетов пришел в уголовный мир путем, увы, типическим: отец его, Дмитрий Федорович, в прошлом слесарь Дорхимзавода, был призван в июле сорок первого, когда старшему сыну, Николаю, исполнилось семнадцать, среднему, Василию, четырнадцать, а младшему, Дмитрию, одиннадцать. Жена его, Галина Никифоровна, продолжала работать на Дорхиме уборщицей, на пятьсот сорок рублей в месяц; Николашка, закончив десятилетку, стал учеником слесаря, приносил шестьсот; хватало выкупить карточки — и хлеб, и сахар, и соль, и макароны, и четыреста граммов масла, и кило мяса в месяц; в сорок втором призвали и его; отец и старший сын погибли в одночасье, под Сталинградом; осталась Никифоровна с двумя мальцами, в

комнате с земляным полом на Извозной улице, без воды и света, всего в ста метрах от Можайского шоссе, по которому лётали, как и раньше, улюлюкающие «паккарды» вождей: из Кремля — на дачу, с дачи — в Кремль, к семужке, фазанчикам, буженинке, икорочке и копченостям...

Мать вымолила еще полставки, надрывалась, чтоб можно было выбрать мальцам еду по карточкам, тяжко кашляла, а в соседских домах на Можаечке жили начальники, приезжали на «ЗИСах» и «Эмо́чках» поздней ночью, раньше двух-трех часов редко; как великий вождь советского народа уедет к себе, так и они по домам в одночасье — кто одну сумку с продуктами волокет, кто две, а детишки у них румяненькие, ухоженные, голосенки звонкие, веселые, особенно когда во дворе после уроков играют (с сорок третьего налетов не было уже), вокруг пересохших фонтанчиков вольготно детворе, только «извозных» к себе не подпускали, «хулиганье», мол, замарашки рваные...

А как маманя у Налетовых слегла в лихорадочном ярко-румяном ознобе, как заволынили в бухгалтерии с б ю л л е т н е м, как принялись гонять мальцов от стола к столу, так Василек замкнулся в себе, лицом повзрослел, особенно, когда врач сказала, что матери нужно молоко с медом и маслом, а его только на базаре можно взять — в обмен на шмотье или за большие сотни, откуда?!

— Господи, — надрывно стонала мать, плохо понимая, что с нею, только кулачки прижимала к груди, жженье там у нее было и мокрота заваривалась, — раньше-то б на паперть вышли, люди добрые б подали, а сейчас и церквей нету, бедненькие вы мои сироты...

Мальчики снова пошли в завод, заняли очередь на прием; выдали две банки американского яичного порошку и буханку хлеба, а что с порошком делать, если подсолнечного масла ни капли нет, на чем омлет жарить?! Да и дровишки кончились, буржуйка третий день не топлена, от земляного пола могилой тянет, холодом...

Вот тогда-то Васек взял длинный столовый нож, сунул его за пазуху и отправился в подъезд, где жили начальники; время было позднее, сел он на третьем этаже, дождался, когда приехала машина и здоровенный дядька в черном пальто, меховой шапке и бело-желтых бурках з а с о п е л по лестнице; вытащив нож из-за пазухи, стал у него на пути (рослый был, хоть и жердь

жердью, а шея, как веточка ромашки и, колотясь мелкой дрожью от ужаса, прохрипел:

— Отдай добром жрачку, а то нож суну...

Здоровенный дядька бросил сумку под ноги, Васек подхватил ее и ухнул в темную жуть лестничного пролета, слыша вдогон вопль:

— На помощь! Товарищи, грабят!

...Наутро Васек поменял на толчке уворованные банки шпрот, «Казбек» и связку сосисок на бидон молока, масло и мед; вернулся домой — там участковый сидит; молоко с медом не взял, а Ваську увел; через два дня в каморку Налетовых пришел пахан — руки в наколках, русалки какие-то да якоря, ни одного родного зуба — сплошь фиксы, бросил к буржуйке охапку поленцев, достал из кармана трубочку денег, перевязанную ниткой, пояснив Димке:

— Братана твоего выслали, мы — подможем... Я пока мать покормлю, а ты валяй в партию, слезу пусти, иди на крик и, пока сюда кого из них не приведешь, — не слезай...

Мать кое-как выходили, пошла на инвалидность; Димка сунулся в завод, но — не взяли, молодой еще, иди учись...

Вот и стал его учителем дядя Женя, вор в законе, домушник.

И пошло-поехало...

...С Костенко жизнь свела Артиста в шестьдесят пятом: задержали его оперы райотдела, но, поскольку Налетов был в розыске, вызвали дежурного по МУРу:

— У нас тут концерт, прямо хоть кино снимай!

...Артиста взяли на малине, хмель не прошел еще; концерт, действительно, давал отменный: и черкасовская чечетка, когда тот в молодые годы патипаташонил, и подражание песенкам Марка Бернеса (оперативники ему гитару принесли), и Мирова с Новицким шпарил, закрой глаза, ну, точно эти самые конферансье изгиляются, один к одному!

Костенко устроился на лавке, отполированной до зеркального блеска задницами задержанных, закрыл глаза и прямо-таки подивился таланту арестованного (три побега из колоний, семь судимостей, вор большого авторитета), позвонил Левону Кочаряну, тот, по счастью, был дома, попросил приехать; взял Артиста под расписку и, вместо того чтобы везти его в тюрьму, пригласил в ресторан «Будапешт», который раньше был «Авророй»

и славился как центр всех московских процессов, особенно когда там держал джаз Лаци Олах, лучший ударник Москвы.

Артист попросился на сцену, и Костенко, не унижая его честным словом, пустил, прочитав в глазах вора такую благодарность, что в клятвах надобности не было; выступил; проводили аплодисментами, звали на бис...

Договорились, что Кочарян покажет Артиста своему режиссеру. Он, Левончик, тогда еще не постановщиком был, а ассистентом; однако назавтра Костенко закатали строгача, Артиста отправили в Бутырки, но Левон смог перебросить ему весточку: «Держись, Слава из-за тебя погорел, отмотаешь срок — жду, постараюсь помочь, ты этого заслуживаешь, место твое — в искусстве, а если и нет, то — рядом с ним».

Артист вышел через месяц после того, как Левона похоронили; в Москве, конечно, не прописывали; позвонил на Петровку, спросил телефон Костенко; увиделись.

— Против стены нет смысла переть, — сказал Костенко. — Дуборылы и есть дуборылы... Я позвоню в Зарайск, у меня там приятель начальник розыска, постараюсь устроить в городской клуб... Образование получил?

— Восемь классов.

— Поступай в школу рабочей молодежи.

— Зарайский угрозыск захочет, чтобы я стукачом у него стал?

— У него своих хватает... А и захотел бы — ты агент сладкий, о таком только мечтать можно, — я бы не позволил, тебя на сцену за уши надо тащить...

— Не выйдет, — Налетов покачал кудлатой седой головой. — Я только под газом расслабляюсь, а трезвый от зрительских взглядов леденею, двух слов сказать не могу...

— Пройдет... И приезжай в Москву почаще, по субботам и воскресеньям приезжай, в концерты ходи, театры... Денег не предлагаю, у самого нет, наймись на какую еще работу, там можно подкалымить... А будешь по театрам ходить — наверняка хорошую бабу снимешь, женишься... Вот тогда иди ко мне, прописку пробьем...

Пробивать ему пришлось не прописку, а отмену новой статьи, которую закатали Артисту. В клубе, где он начал работать, был детский танцевальный ансамбль, детишки занимались всласть, он им и «полечку» ставил, и «крако-

вяк», заканчивали поздно, не хотели расходиться от дяди Димы... И возьмись откуда нелюди — маленькую Ниночку, девять лет всего, крохотулечка, тростиночка с косичками, опоганили и прирезали в осеннем безлюдном парке...

Налетов ждал неделю, две, поиски ничего не давали; тогда он нащупал м а л и н у, купил водки, пришел туда гулять; ф е н я его была уникальной, провел т о л к о в и щ у с местными урками, получил след и прихватил двух нелюдей — одному шестнадцать лет, другому семнадцать.

Перед тем как казнить псов, отобрал у них показания, все честь по чести, заставил написать, что пили перед преступлением, где время провели, отчего на такое решились; связав намертво двух с у к, неторопливо сходил домой, взял магнитофон и записал их показания на пленку; слушаешь — леденит... После этого спокойно сунул нож в горло, даже лицо не изменилось...

В городе его судить не решились — народ бы отбил; все стояли за него, бабы криком исходили вокруг милиции, из обкома комиссия приехала, с трудом вывезли в Москву.

Костенко поднял Митьку Степанова, тот подключил коллег, драка за Артиста продолжалась год; мастодонты грохотали: «Самосуда захотели? Может, линчевать начнем подозреваемых?! А где наше главное завоевание — демократическое судопроизводство?!»

Налетов относился ко всему этому шуму равнодушно, словно бы дело касалось не его; от адвоката отказался; на суде вместо последнего слова задал молодой судьихе вопрос: «А если бы вашу доченьку вот так распяли, тоже б процессуальных норм требовали? Или сами б нехристей исполосовали по глазам бритвой? Если скажете, что ждали бы суда, приговаривайте меня к расстрелу, жить в этой сучьей державе не желаю...»

Крутили и вертели, что, мол, он ничего не замышлял, в порядке аффекта все это у него вышло, а он стоял на своем: «Никакого аффекта, все заранее обдумал, ибо знал, что п с ы получат исправительную колонию, а оттуда выйдут стервятниками, и не одну мою Нинульку погубят, а десятки детишек, виноватых лишь тем, что народились в нашей стране».

Дали ему срок, но через три года помиловали: весь город отправлял каждый месяц по письму, так Костенко общественность научил, у нас главное, чтоб каплей дол-

бить, отписываться бюрократам надоест, придумают что-нибудь...

И снова Артист поселился за сто первым, опять ему Костенко помог; каждую субботу приезжал в Москву, тут и повстречался с женщиной — в церкви, где заказывал службу по Кочаряну; тихая, маленькая, в очках, преподаватель химии в техникуме, Диана Артемовна; женился, работал в заводском клубе, стал а в т о р и т е т о м, не воровским им он был всегда, — а человеческим.

Вот к нему-то, оторвавшись от боевиков, и пришел Костенко, не в силах скрыть нервный озноб, потому что шел он сюда для того, чтобы снова отправить этого человека в тюрьму, на муку и — вполне вероятно — гибель.

...Ночью, когда Варенов, отпустив такси, медленно поднимался к себе на четвертый этаж х р у щ о б ы, Артист, дождавшись, когда тот вставил мудреный ключ в сияющий медью финский замок, сделал два кошачьих прыжка с того пролета, что вел на пятый этаж, схватил лицо Варенова так, что указательный и безымянный пальцы правой руки уперлись в глазные яблоки, а левой рукой н а ж а л финочкой ровно на столько, чтобы металл пропорол куртку, и осторожно ввел Исая в темную квартиру, пришептывая:

— Будешь умным — уснешь живым, Варево...

9

...Людмила Николаевна Дрожжина, по первому мужу Сорокина, оказалась очень крупной женщиной; глаза у нее были водянистые, чуть навыкате, волосы тщательно крашены, хотя седина у корней безжалостно оттеняла искусственную каштановость; на ней был байковый халат, ужасающей — как и все сделанное отечественной легкой промышленностью — расцветки.

Приняла она Костенко в маленькой комнате, заставленной коробками и дырявыми чемоданами, на радиаторах отопления стояли треугольные картонки из-под кефира и молока, повсюду были разложены скукоженные пластиковые пакетики; закуток утильщика, а не жилье...

На вопросы женщина отвечала поначалу раздраженно, но, видимо, возраст брал свое — старость любит разговор и воспоминания об ушедшем.

— Так ведь я и не хотела на развод подавать — говорила она, стремительно лузгая семечки. — Это его мать, она тогда со мной жила, пилила каждый день: «Выкинут из квартиры, в Сибирь сошлют, подавай, дура, бумаги!» А тут и вправду пришли из ХОЗУ, стали метраж обмерять, будто он и так им неизвестный; пугали... Чтоб словом претензию какую выразить, — так нет же... У нас слова только для того чтоб врать, у нас намеками людей со свету сживают, все кому не лень намекают ну и начинает страх душить... Я — за ручку, написала по форме: и Хрущеву, и Булганину, и Ворошилову что, мол, так и так, меня-то за что?! Дошло, видать, письмо, комиссию прислали, а бабка в одночасье от страха-то и померла... Ну, меня и оставили в покое, только через полгода прислали бумагу, чтоб я добровольно одну комнату освободила... А я что, дура?! Одну освободишь так они и со второй попрут... Вот я и подала на развод, так, мол, и так, не хочу быть женой врага народа... Они перепугались, вызвали меня, говорят, что сейчас врагов народа нет... А потом я за Дрожжина замуж вышла, он сначала у полковника Либачева шофером был, а как всех пересажали при Никите в дежурной части работал...

— Где он?

— Так оппился и в одночасье преставился... Я ж с магазина каждый день то колбаски принесу, то чекушку, то сырку... Это раньше разрешалось, только теперь злоба людей одолела, при Сталине-то начальство понимало, что на семьдесят три рубля зарплаты не проживешь, разрешали брать, только чтоб не беспредельничать: унес на пятерочку или там десятку, но больше — ни-ни, стыд надо иметь, да и потом не в заграницу воруем, не чужим даем, а себе, народу...

Костенко вздохнул:

— С тех пор Сорокина не видели?

— Ни разу...

— Любили его?

— Вообще-то он непьющий был... Культурный... Только один раз ударил, и то — поделом...

— За что?

— Надька ко мне с деревни приехала, соседка.. А тогда ж только по справке можно было в город катать... Иначе разве наш народец к работе приучишь? Потому и еда в магазинах была, что деревенским барьер поставили... Ну а она без всякого разрешения прикатила,

лекарства для матери хотела купить, хорошая была женщина, Полина Васильевна, как сейчас помню... Мой-то поздно на работу уезжал, не то что сейчас все валом к девяти прут... Он ночью приедет, отоспится, а к себе часов в одиннадцать шел, не раньше... Ну, посидели мы, мадерки взяли, он с распределителя часто ее приносил, разговорились, она и сказала, что, мол, председатель у них людоед, никого в город не пускает, как Гитлер какой... Он ее повыспрашивал — как змей был хитрый, уж так стелет, такой ласковый, так поддается, — а потом меня в спальню пригласил, да и поучил: «Кого в дом пускаешь, такая-сякая?! Чтоб духу ее не было сей миг!» Прав был, конечно, нельзя закон нарушать... Я не в обиде на него за то, что отлупил, он грамотный, лучше меня знал, что можно, чего нельзя...

— Так вы про него ничего не знаете, Людмила Николаевна? Ни письмеца он вам не написал из лагеря, ни посылки не попросил?

— Я как замуж вышла, мне с Сорокиным нельзя было... Дрожжин-то, я ж говорю, шофером на службе остался, приписали б какую с в я з ь...

Кивнув на сковородки, маленькие тарелочки, стоявшие на столе, пустые консервные банки, сложенные под радиатором, Костенко улыбнулся:

— Угощать любите? Стряпать?

— Каждая женщина этому прилежна...

— Наверно, когда с Сорокиным были, от гостей продыху не было?

— Да что вы?! Только Либачев с Бакаренкой и приходили... Они ж в те годы новых к себе не подпускали, только чтоб свои! Да и то, мы, бабы, на кухне, а они в столовой, отдельно... У них же все тайное было, мы только тарелки подносили, стюдень, конечно, первым делом, винегрет, колбаску с сырком...

— После того как Сорокина увезли, к вам никто не приходил от него?

Она махнула рукой, колышаще рассмеялась:

— Ой, да что вы! У них и раньше-то, в хорошие времена, когда Сталин был живой, царствие ему небесное, как кого из ихних в подъезде заберут, так они в упор не замечали жену или там детей, наскрозь них смотрели... Так теперь не умеют, опаскудел народ, бессильные все... Почему порядок был? Потому что в каждом был страх! Разве можно без страха жить?! Только страх совесть и хранит... Э, верни Либачева с моим-то, дай им

на недельку воли, все б наладилось! И в магазинах было б полным-полно товару! И болтать бы приутихли! И депутатов этих самых в Сибирь бы — заводы строить!

— Думаете, если депутатов сослать — вмиг бы еда появилась?

— А то?! Раньше поди слово скажи! Вмиг захомутали б! Ну и работали поэтому!

— Ну а с артистами как быть? С писателями? Говорят да пишут.

— Так от них вся беда! Еврей-то этот... как его? Жванецкий... Со сцены над нами глумится, а зрители хохочут и хлопают...

— Сорокин вам про Зою Федорову ничего не говорил?

— Как не говорил?! Еще как говорил! Признался, что влюбленный был в нее, когда холостяковал... В нее все мужики были втюренные... Уж так ее любил, так восхищался, даже карточку ее на стене держал, клеем прилепил, потом ножом сдирал, следы остались, обоев-то не было тогда, композитором каким-то заклеили, Будашкиным вроде б...

— А чего же он ее содрал?

— Сказал «так надо». Вопросы ему задавать нельзя, государственная тайна... «Надо» — значит, «надо»... Потом-то уж люди говорили, что она и не Федорова была на самом деле, а какая-то американка, подменили вроде ее, операцию на лице сделали, чтоб сподобней шпионить... Ее ж и убили за то, что на американца шпионила... Кара все одно настигнет, куда б от нее ни прятался...

— Считаете, что и после тюрьмы шпионила?

— А они все, кого Никита повыпускал, шпионили... Обида их грызла, ну и будоражили народ... Не, я верно говорю, без хлыста с нами не управиться, нам строгость нужна, иначе дом по кирпичикам разберем...

...Сестра Сорокина — звали ее Нинель Дмитриевна — оказалась двоюродной, однако брата своего любила очень и гордилась им нескрываемо:

— Зорге Звезду дали, Николаю Кузнецову тоже, а Женю нашего обошли... Он же в тылу врага работал, был грозой гитлеровцев, и взяли его по ложному доносу, никогда и никого он не сажал... И убили его от страха, что он добьется правды...

— Как убили? — Костенко удивился. Кто?

Из лагеря письмо пришло, там все было написано: власовская банда его извела... Милка, его жена, от него отказалась, заявление против него отправила, а все его письма — он сначала ей писал — мне переправляла... Я ему только ответила, а тут похоронка...

— Это когда ж случилось?

— При Брежневе уже... Тогда и Либачев освободился, заглянул ко мне, чайку попили...

— Симпатичный был человек?

— Страшный он был, — ответила Нинель Дмитриевна убежденно. — Но я его в этом не виню, его таким сделали... Сейчас их всех костят почем зря, а в чем их вина? Что присяге были преданы? Приказ старшего выполняли? Честно служили партии? Вот пусть партию и обвиняют, она их такими сделала, поди не выполни приказ — это ж преступление! И тогда так было, и сейчас так... Только тогда кричали «Ура, Сталин!», а сейчас «Долой Сталина!», вот и вся разница... Корень не тронули, корень жив...

— А от кого вы узнали, что ваш брат был разведчиком вроде Зорге?

— Милка говорила... Когда она еще его агентом была... Он ведь жениться на ней и не думал... А она его брюхом прижала, мол, понесла от тебя... А она бесплодная, потому что нелеченой венерикой переболела... Я раз увидела у Белорусского мужчину — ну Женя, и все тут! Я за ним... А он не один, с дамой в манто, вроде иностранки, красотка, только больно уж худенькая... Я уж крикнуть наладилась: «Женечка, дорогой» — а он как сквозь землю провалился.

— Это где ж было?

— А как от Белорусского вокзала к Дому кино идти... В костюмчике шел сером, седой, поджарый, точно как иностранец... Я тогда и решила — может, его для хитрости в лагерь посадили? А на самом деле к другой работе приставили... Я там два раза его видала, только второй раз из маршрутного такси...

— Давно?

А нет... С год тому как...

— Тоже в сереньком костюмчике и в ботиночках с золотыми пряжками, да?

— Неужто он?! Вы знаете его, что ль?

— Нинель Дмитриевна, мне сдается, что под Евгения Сорокина другой человек р а б о т а е т... Только поэтому

я к вам и зашел Та женщина что с ним шла какая была из себя?

А зачем она вам? Что-то уж больно я разговорилась..

Костенко усмехнулся:

— Теперь не страшно. У вас, кстати, похоронка на брата где?

— Да я ж три раза комнату обменяла! Разве бумажка при таких переселениях сохранится? И потом, даже если б я начала за льготы хлопотать, мне б так и так отказали — только родителям дают, детям да женам... А Милка его мать отравила. Чего ж мне хранить-то? Смысла нет... Ну а та женщина, что с ним шла, была вертлявенькая, рыжулька, по земле как лётала и ножки, словно балеринка, ставила — шлеп-шлеп...

...Сын полковника Либачева, кандидат технических наук Револт Федорович, назначил Костенко встречу во время обеденного перерыва у себя в институте. Выслушав вопрос, кивнул:

- Понимаю... Вами, конечно, движет не праздный интерес?

— Отнюдь. — Костенко понял, что с этим человеком силки ставить бесполезно: резкий, реагирующий на каждое слово, он не принял бы игры, говорить надо в открытую.

— Я готов ответить, если смогу...

— Кого из сослуживцев вашего отца вы помните?

— Я должен быть убежден, что мои ответы не обернутся какой-нибудь разоблачительной статьей, где будет склоняться имя родителя...

— Даю слово.

— Я не оправдываю его, никоим образом не оправдываю, но у меня взрослые дети, сами понимаете...

— Понимаю. Поэтому повторяю свое обещание еще раз.

— Я вам верю.. Чтобы вам было понятнее то, в каких условиях я воспитывался, расскажу один эпизод... В девятом классе один мой дружок шепнул, что, оказывается, вместе с Лениным в шалаше под Разливом скрывался Зиновьев... А Сталин туда приезжал потому, что ближайшие ленинские соратники — Троцкий, Каменев и Луначарский — сидели в тюрьме у Керенского, в Крестах... Я возьми да и спроси отца — правда ли? Он ответил

не сразу, походил по комнате, потом спросил, кто рассказал мне об этом; я ответил; он кивнул, достал из холодильника бутылку, выпил, закусил квашеной капустой и только после этого сказал: «Как же ты, Револя, позволяешь всякого рода мерзавцам безнаказанно клеветать на Ильича?» А через месяц родителей моего школьного дружка забрали, а его самого сослали за Полярный круг... Он только через девять лет вернулся, когда моего отца посадили, встретил меня возле подъезда и плюнул в лицо... Драться не мог — безрукий, на лесоповале по плечо откорныжило... От него я это снес — по заслуге получил... А когда беда с ним случилась, я отца спросил: «За что ж Леньку выслали?! Неужто ты помог?!» — он снял ремень и меня в кровь исхлестал... Не по заднице бил — по лицу, по шее... Пряжкой, наотмашь, и спрятаться некуда, всюду доставал... А ночью пришел ко мне — я в столовой спал, на диване, — сел в ноги и завыл: «Сыночка, любимый, прости ради господа бога, у меня сердце рвет, за тебя каждый миг страшусь, знаешь, сколько у меня врагов, представь только, скольким нелюдям счастье будет, если тебя в камеру сунут?! Никому ж верить нельзя, сыночка! Миленький мой, пойми это на веки вечные! Ни-ко-му! Каждый у нас предатель, каждый!» Знаете, как он плакал той ночью? Мать его успокаивала, я был щенком, а он сидел и рыдал, а потом поднялся, взял стул, начал в отдушины заглядывать, а сам себя по голове кулаками молотил — боялся, что записали нас... Несчастный человек, так ему страшно было жить на земле, так одиноко... Я помню, раз к нам его учитель зашел, Ройтман, дядя Мотя, тоже полковник, его уволили из органов в сорок девятом, тогда всех евреев гнали, а потом сажали под гребенку... Никогда не забуду, как отец спрятался за шкаф, а матери шептал: «Скажи, что меня нет дома, не могу я с ним говорить!» А тот слышал все, стоял, посмеивался, а потом крикнул: «Тебя сразу после меня возьмут, дурак! Лучше б поговорил да и рапорт написал...» И — ушел... Отец вышел из-за шкафа, плюнул под ноги, а после кинулся его догонять, но не смог... Ну, давайте, спрашивайте, времени у меня в обрез, на хозрасчет сели, надо поворачиваться, только так и можно из нашей тьмутараканьей спячки выползти, если не задушат страну квасные недоделки...

— Сходно мыслим, — кивнул Костенко. — Кого из отцовских сослуживцев помните?

— Все на одно лицо... Хотя одного помню... Дядю Женю Сорокина... Это, пожалуй, самый был из всех симпатичный...

— В чем это выражалось?

Либачев удивился:

— То есть?

— Ну, «симпатичность» его...

— Он приветливый был, без подарка не приходил, умел слушать... Когда дядька мой — он был физик — начинал говорить о проблемах науки, слушал внимающе, остальные-то баранами глядели... Отчаянный был — это мальчишкам и женщинам нравится: раз стойку на подоконнике выжал, а мы ведь на шестом этаже жили...

— Он у вас с женой бывал?

— Да... С Кирой... Красавица была, по-английски прекрасно говорила...

— Кира?

— Да... Она приходила к нам лет десять назад — отец уж не поднимался... Тоже умерла... Кажется, они вместе работали...

— Когда отец вернулся, вы с ним о его делах говорили?

— Пытался... Но это кончалось ссорами... Он защищал не Сталина или Рюмина, он себя защищал, свою жизнь... Каково себе признаться, что лучшие годы отдал дьяволу?

— Вы знаете, что он работал по делу Вознесенского?

— Догадывался... Он этой темы избегал...

— И вел дело Федоровой...

— Об этом обмолвился... Сказал, что жалел ее, но американец, с которым была связана, еще в двадцатом году был в России, шпион, работал при штабе Колчака, дружил с адмиралом... А ее, говорил, Сталин поначалу опекал, хотел снова пригласить на дачу... Прямиком из камеры...

— «Снова»? Она бывала у него на даче и прежде?

— Видимо, да... Я отчетливо помню отцовское слово — «снова»... Я, кстати, это допускаю... Сталин не был отшельником, отнюдь... Но, в отличие от Берии, он не был хамом, он, мне сдается, жаждал любви... И когда женщина тянулась к нему, начиналась высокая связь, не скотская... Такую связь держат в тайне — и мужчина и женщина... И потом — это мне отец открыл, — в охране Берии были сталинские осведомители, поэтому перечень женщин, которых к нему таскали, остался в архи-

вах. . А сталинского архива не было, все уничтожалось на корню.. Сказывался опыт его сотрудничества с охранкой..

Полагаете, эта версия небезосновательна?

– Убежден... Другое дело: вступил ли он в эту связь с санкции партии? Или же продал душу дьяволу

— Вас не зацепило, когда отца посадили?

Либачев усмехнулся:

— Еще как! У нас всегда бьют по родственникам, институт заложников, высшее проявление людской злобы... Пришлось уехать из дому, работал в тайге, в Сибири поступил в институт, скрыл, конечно, что отец осужден, а когда все открылось, я уж диссертацию защитил, за год управился, у нас, на мое счастье, бюрократия медленная, гниет, а не действует... Я-то еще ничего, а каково несчастному сыну Берии? Прекрасный инженер, честнейший человек, но ведь живет под чужим именем... А чем он виноват? Или сын Ягоды? Того и вовсе расстреляли, когда тринадцати не было... У нас сын отвечал, отвечает и будет отвечать за отца — в этом вся наша вековая жестокость и мелкое неблагородство... Я помню, как родитель, больной уж, его рак поедал, телевизор смотрел, особенно когда артисты разные выступали, поэты... Посмеивался презрительно, ногти грыз: «Дружочки мои! Ишь, как разливаются соловушками...» Да вот еще что, — лицо Либачева помягчело, улыбка тронула рот, — отец, помню, дядю Женю Сорокина «пересмешником» называл... И правда: он так потешно копировал всех, кто сидел за столом, так менялся, изображая людей, что, казалось, в нем жил не один человек, а множество совершенно разных индивидуальностей...

— Он к отцу не приходил после освобождения?

— Так он же умер в лагере... Отцу кто-то из стариков об этом сказал, письмо, что ли, оттуда пришло... Бакаренко, отцов заместитель, тот частенько к нам захаживал... Всегда бутылочку приносил, самогонку сам делал, как слеза была, на травах...

— С Бакаренко давно виделись?

— В прошлом году...

— Как вы к нему относитесь?

— Мне кажется, он только потому не сел, что сдал отца и дядю Женю Сорокина... Трусливый он человек, но — беззлобный...

Костенко не сдержался:

— Этот беззлобный человек комиссара Савушкина галошей бил по лбу и под ногти иглы засаживал...

Либачев не удивился, пожал плечами:

— А чего вы хотите? Если бы он не выбил из него показания — самого б посадили... И галошами б по лбу били, иглы загоняли... Все в порядке вещей... И все это может повториться, если Горбачев не сумеет удержать ситуацию лет десять, пока не придут люди, подчиняющиеся закону, а не п а х а н у...

Как считаете — сумеем?

— Если Запад не поможет — провалим... Мы живем в условиях такой бесправной нищеты, что злоба может разъесть страну, как ржа... Только состоятельные люди сочиняют для детей сказки и песни, голодные учат злу и зависти...

Прощаясь, Костенко крепко пожал короткую, сильную руку Либачева-младшего.

— Слушайте, а что особенно любил Сорокин? Книги? Картины?

— Какие книги?! — удивился Либачев. — При чем здесь картины?! Кто тогда об этом думал?! В нашем классе только один я жил в отдельной квартире, все остальные — в коммуналках, по пять человек в комнатушке... Куда книги ставить? Где репродукции вешать?! Он студень любил, вот его страсть! Студень, понимаете?! Я до сих пор такой студень в кулинарии покупаю, хоть в прошлом был раскормлен до безобразия, — отец паек получал, «врачебное питание», так сказать... Мамаша на нем не только дом держала, но и свою сестру с братом в люди вывела... Студень — вот истинная страсть дяди Жени, да еще ансамбли песен и плясок, он танцевал, как бог, все мечтал живую балерину посмотреть...

10

Когда Зоя Федорова подсела к столику Сорокина в Доме кино, он ощутил в голове тонкий, изматывающий душу писк. Этот рвущий виски писк напомнил тот, что он никогда не мог забыть: первую бомбежку в сорок первом, когда он трясущимися руками дергал веревку черной светомаскировки, то и дело оглядываясь на подследственного, который сидел перед его столом, кажется, военный, готовил его под расстрел уговаривал

взять на себя шпионаж (раньше мотал на связь с англичанами, потом срочно переделывал на гестапо, пришлось переписывать целый том показаний)... Веревка не поддавалась, никто не мог и предположить, что ф р и ц прорвется в московское небо, думали, что очередная кампания с этими чертовыми светомаскировками, повисят и снимут... Арестованный поднялся: «Давайте помогу». Сорокин тогда сорвался от ярости, подбежал к двери, распахнул ее, заорал конвою, чтоб бежали к нему, а сам накинулся на несчастного, сшиб его ударом на пол и начал бить сапогами по лицу, повторяя слюнно-пенно: «Я тебе помогу, фашистский ублюдок, я тебе так помогу, что Лон... Берлин кровавыми слезами заплачет!..» А полковник этот, пока был в сознании, хрипло выдыхал смех — вместе с кровавыми пузырьками, делавшими рот его проститутским, вульгарным: «Лонд-Берлин, ой, не могу, Лондо-Берлин...»

Сорокин перестал бить его, лишь когда ухнула бомба, заглушившая на мгновение лай зениток; прохрипел конвою, справившемуся наконец со светомаскировкой, чтобы утащил к о н т р у из кабинета, а сам бросился в подвал, ощущая подвертывающую, разболтанную дрожь в суставах...

...И здесь, в Доме кино, пережив леденящее ощущение б е з г л а з о г о, дурно пахнущего (сладкое тление ужаса, сопровождавшегося все той же — к счастью, никому не заметной — разболтанной трясучкой в суставах, он понял, что если сейчас, не медля, не перейти в яростное наступление, то может случиться непоправимое: актриса чуть п о д д а т а я, здесь у ней, суки, все свои, начнется скандал, придут легавые; протокол, «фамилия, имя и отчество», а паспорт на другое имя, вот и конец жизни, больше не подняться, каюк...

...Сломав очередного арестанта, Сорокин обычно переходил на доверительное дружество с несчастным, а они, словно бы отторгая спасительно-выборочной памятью кошмар унижений, бессонницы, пыток, которые предшествовали с л о м у, шли на это, тянулись к нему, полагая, что он, Сорокин, единственное ж и в о е существо, с кем они общались в течение месяцев, а то и лет, теперь-то, когда ужас кончился, не может не отблагодарить за те п р и з н а н и я, которые несчастный сам и формулировал, старательно выводя буквы ученическим пером.

Именно во время этих собеседований Сорокин, не педа

лируя, очень мягко, возвращался к самому началу, называл имена людей, вскользь упоминавшихся в деле, заинтересованно и доброжелательно расспрашивал о них, демонстративно закрыв папку: «Это не для протокола, писать ничего не будем, сам хочу для себя разобраться, поговорим, как большевики, — открыто, без страха...»

Особенно интересовали его те, которых жертвы называли в самом начале следствия (еще до применения высшей степени устрашения) в качестве свидетелей, способных подтвердить их невиновность и верность делу великого Сталина.

Когда арестант был сломан уже и подписал все то, что позволяло доложить руководству о раскрытии очередного контрреволюционного заговора (а это автоматом давало повышение по службе, премию, квартиру, а возможно, и орден), надо было создавать задел на новых вражин.

Поэтому, разговаривая за чашкой чая с бутербродом о тех, кого поминал арестант, Сорокин порою лениво выбрасывал на стол протоколы допросов: «Вы на него (нее) надеялись, а вот что она (он) о вас показывает... Нет, не сидит... Дома живет... А вы верили, голубчик (голубушка). Люди, батенька моя (милая моя), животные неблагодарные, это вам не олени какие или медведи, предадут за милую душу, словно бы это доставляет им удовольствие, сладострастие какое-то...»

Не каждый, конечно, арестант ярился на «предателя», некоторые держались, а случайные, кого надо было изолировать по спущенным спискам, на этом сыпались, такие подробности вываливали, столько пикантностей открывали, что о заделе можно было не беспокоиться... Протокола нет, а пленочка-то шуршит серебром шуршит, навечно закладывает в память казны новеньких вражин; связь поколений, так сказать. Прав Федор Михайлович: «Социализм — это когда все равны и каждый пишет доносы друг на друга...»

Сорокин, конечно, не помнил имен всех людей, которые упоминались во время допросов Федоровой, но за ресторанным столиком, где сейчас сидели ее друзья, он видел и Татьяну Окуневскую, отпущенную в одно время с Зоей Алексеевной, и актера, чем-то похожего на Жженова, — отгрохотал на каторге долгие годы, и поэтому стратегия атакующей защиты родилась в его мозгу немедленно: высший смысл первых часов ареста заключается в том, чтобы доказать узнику: «Как ни оп-

равдывайся, все равно в тебе есть грех, в каждом есть грех, безгрешные только на небе живут», и на этом смять его, вынуть человеческий стержень, породить в душе мятущийся ужас, полнейшее переосмысление прожитого: действительно, каждый в чем-то затаенно виновен, особенно в той стране, где все законы про «нельзя», но нет — и, дай боже, не будет — закона про то, что «можно»...

Не отрывая глаз от лица Федоровой, он тогда сказал:

— Да и я сюда не просто так пришел, я с вами повидаться пришел... Нет, я не стану сообщать вашим приятелям о наших с вами собеседованиях про них всех — забыли, небось, как мы о вашей подруге беседовали? О Борисе Андрееве? О третьем, что за столиком вашим сидит, Жженов, кажется? Могу напомнить. Архивы у меня, пленочки держу дома, голос-то у человека не меняется — если только не рак горла...

Он заметил, как обмякло тело женщины и в глазах появилось что-то темное, словно кто перед лицом одеялом взмахнул; значит, угадал, попал в точку страха...

— Я никого не закладывала, — сказала Федорова потухшим голосом. — Как вы это из меня не выбивали...

Сорокин расслабился:

— Фамилию мою запамятовали?

— Имя помню: Евгений Васильевич...

— Это не имя, Зоя Алексеевна, это псевдоним. Кто ж свое настоящее имя арестованному открывает? Хотя, неважно, зовите как угодно... Вы действительно никого не предавали: один на один могу вам это подтвердить... Но ведь пленочку можно настричь так, что и не отмыться... Мы людям верить не умеем, мы документам приучены верить... Так вот, давайте-ка мирно и дружно перенесем наш разговор на тот день, который вас устроит; у меня к вам серьезное деловое предложение, Зоя Алексеевна... Насколько мне известно, вы в Америке процесс против адмирала Тэйта то ли проиграли, то ли не начали, а на кону, как мы слыхали, большая сумма стояла... Вот у меня и возникла идея: почему бы нам с вами не написать книжечку «Палач, адмирал и жертва. Диалог трех жертв двух Систем»? Не отказывайтесь сразу, не надо... Я после смерти Сталина был, как понимаете, демобилизован, работаю в Академии наук, кандидат, есть свободное время и друзья, которые могут предложить выгодный контракт... Не ру-

бите сгоряча, Зоя Алексеевна, подумайте... А я к вам загляну, если разрешите... Дня через два... Хотите — вы ко мне, оставлю адрес...

Он играл беспроигрышно, знал, что к нему она не пойдет, дома и стены помогают; нажал:

— Кстати, ваши непосредственные следователи Бакаренко и Либачев понесли наказание: Либачева нет в живых, а Бакаренко спился, бог шельму метит...

— Били-то меня не только они... Вы — тоже...

— Я спасал вас, Зоя Алексеевна... Вы не знаете, как т а м били... А у вас и зубы целы, и лицо не изуродовано... Я докладывал Абакумову, что вы стойко переносите воздействие у с т р а ш е н и е м, значит, действительно не виноваты в самом страшном — в попытке террора против товарища Сталина...

Федорова сгорбилась, руки бессильно упали вдоль тела:

— «Товарища Сталина»... Волк свинье не товарищ...

— Тогда за такие слова вас бы шлепнули в одночасье... А сейчас они — в ваших устах — дорогого стоят, ведь нынешние владыки норовят Иосифа Виссарионовича о т м ы т ь, все на Берию валят... Мелюзга, мелкие врали, на этом и сгорят... Что Берия без Сталина мог? Несчастный чучмек, плохо говоривший по-русски... Я вам про ту пору много могу рассказать — с этой стороны баррикады... А вы — с той... Чем не сенсация? И про адмирала у меня сенсация припасена, верьте слову, — обеспечите дочь и внука на всю жизнь...

...И когда через два дня, собрав через свои старые связи всю информацию о Федоровой, ее дочери, о том, что, находясь в отказе, актриса была на грани с р ы в а, он пришел к ней, предварительно обложив квартиру н а б л ю д е н и е м, она ему дверь открыла; не сразу, правда, таясь какое-то мгновение около замка, ощущая бессильный, душащий страх, но — открыла все же; палач, если он настоящий палач, навсегда входит в плоть и кровь жертвы, превосходством своим входит, ибо долгие месяцы он был ее всевластным владыкой, а такое никогда не забывается.

Включив воду в ванной, Сорокин тогда начал первым наговаривать на магнитофон, изредка поднимая глаза на Федорову (она была в синем платье, туфли с замшей, даже грим наложен, молодец старуха, не сдается, женщине и умирать-то надо молодой):

— Да, я палач, — по должности и званию. Я рас-

скажу про то, через что мне пришлось пройти, прежде чем я приказал ввести в мой кабинет гордость советского кинематографа Зою Федорову — глаза громадные, распахнуты миру, ямочки на щеках, растерянная улыбка, известная в стране каждому, — дважды лауреата Сталинской премии, звезду экрана, королеву мальчишеских грез...

Я родился в двадцать первом году; отец, демобилизовавшись из Красной Армии — он воевал под знаменами конницы Буденного, — вернулся в свою будочку сапожника. В партию его приняли перед наступлением на Львов, которое планировал Сталин. Сапожников было мало, партийцев среди них того меньше, поэтому он примкнул к ячейке коммунхоза и был в городском активе, все большевики шли к нему набойки ставить — с в о й, так что и заработок был, и напрягаться особенно не надо — до той поры, пока не провозгласили нэп и не поперли изо всех щелей кооператоры... Мать мне уж после рассказывала, какая это была трагедия для отца: «Ленин предал революцию, перекупили его немцы, снова буржуи при деле, а где ж торжество мировой революции?! Всеобщее равенство?! Чтоб никто ни от кого не отличался?! Чтоб все были равны по достатку?!..»

Мать перечила ему: «Так ведь зато теперь голодных нет, Вась! Кто работает до устали, может и булочки купить, и конфетку ребенку, а раньше-то хоть зубы на полку клади...» Отец не унимался: «Пусть зубы на полку, но мое красноармейское сердце не может терпеть, чтоб один форсил в шубе и на пролетке катил в ресторан-кабак, где буржуйские танго играют, а другой — как жевал черняшку, так и поныне ее жрет!» Матушка замечала: «Так ведь укомовские не толь на пролетках, на автомобилях шикарят, и пайки им дают, и барские дома под себя позанимали». Отец отвечал: «Власти так положено! Власть на то и власть, чтоб над нами стоять, сами такую выбрали!» От обиды запил, работы поубавилось, да и активничать начал — как ни вечер, так идет на диспут какой и костит новых буржуев на чем свет стоит... А людям приятно, когда того, кто сноровистее, прилежнее, а оттого — богаче, матюгом кроют и требуют у него все нажитое отобрать... Ясно, такому хлопают и «ура» кричат... Мать моя слова боялась, в России все пуще смерти слова боятся, и не зря, как оказалось... Кто уж там придумал петицию Ленину, не знаю, но отец одним из первых подписался,

чтобы нэп отменить, кооператоров посадить в концлагеря, с конфискацией имущества, только чтоб все люди были равны по заработку и чтоб никто не выделялся... Из Москвы приехал комиссар Забуров, предупредил, что это есть уклон, просил одуматься, потому что, мол, самим нам из разрухи не встать, голытьба, надо привлекать капитал и головы деловых людей, пусть хоть они гниды и кооператоры, все равно надо терпеть... Отец — ни в какую! А тут еще Гликман организовал товарищество сапожников, большинство работяг к нему примкнуло, потому что он жратву давал и заказами обеспечивал; отца, как родительница рассказывала, аж знобило от ярости, пустился во все тяжкие, примкнул, говорила мама, к группе, которая стала тайно печатать прокламации против буржуазного нэпа и кооперации, стал выступать на бирже труда, собирал безработных, зажигал их словом ненависти к тем, кто сыт и одет. На базаре выступал среди тех, кто нэпманские кадки таскал и с утра хлебное вино пивком лакировал, хоть и в запрете был алкоголь... И по этому поводу отец гневался: «Ленин сам не пьет, поэтому не понимает душу нашего человека, не дает завить горе веревочкой, а новый буржуй любой финьшампань добудет, был бы золотой червонец в кармане...»

Ну и докричался: сначала из партии вычистили, а как обиделся и пошел во весь голос костить Ленина с Троцким за измену великой идее, так нагрянули ночью люди в кожанках и увезли отца в ГПУ... Вернулся он через полгода, изношенный до крайности, но — тихий... И сидел на углу бывших Губернаторской улицы и проезда императора Александра Второго, переименованных в улицу Ленина и проезд Зиновьева до той поры, пока Сталин не прикрыл нэп и начал коллективизацию... Вот тогда-то папаша и распрямил спину... В партии его восстановили, поручили проревизовать гликмановский кооператив, он, конечно, постарался и стал после этого начальником горкомхоза... Ну, ясно, ордер нам выдали, занял отец три комнаты Гликмана в большой семикомнатной квартире, жить бы и жить, но, видно, слишком долго его обида терзала, сердце стало шалить. Однако — не сдавался, пил, как пил: тогда ведь ему со всех сторон несли, даже когда голод пришел, как начальнику не потрафить?! От него теперь все зависит — разрешит или нет. У отца в подчинении двести человек стало одних контролеров под семьдесят душ, не то

что раньше у кооператоров: три человека в правлении вот тебе и вся бухгалтерия...

Словом, в тридцать четвертом преставился отец, опился, говоря честно... Через пять дней нас с матушкой уплотнили, две комнаты бывший отцов заместитель отнял, а мне уж тринадцать лет было, соображал что к чему, жрать хотел постоянно, а что мать могла дать, когда карточки упразднили?! Раньше, при карточках, хоть что-нибудь обламывалось, а как отменили их, так для нашего уровня людей начался истинный голод, с тех пор про карточки и мечтаем — какая-никакая, а гарантия, что не помрешь с голодухи... Вот и пошел я в шестнадцать лет на завод, как раз в тридцать седьмом это было, тогда и объяснили нам, отчего с продуктами перебои, жилья нет и ботинки нельзя купить... Кто правил страной? Промышленностью? Сельским хозяйством? Вот они, перед вами, на скамье подсудимых, глядите: Розенгольц, Радек, Ягода, Дерибас, Ратайчак, Лившиц, Пятаков... Всех не перечесть... Троцкисты как один, да и нация одинаковая... Правда, про нацию шепотом говорили, намеками, потому что на Мавзолее рядом со Сталиным стоял Лазарь Моисеевич... Но хоть, слава богу, один, а раньше-то — страх и перечислить! Троцкий, Зиновьев, Каменев, Кон, Цеткин — а русские-то где?! Один Калинин?!

В тридцать девятом меня призвали, поучили год, дали габардиновую гимнастерку и синие галифе, повесили у г о л о к и направили в НКВД... До этого я и вправду винтиком был, что скажут, то и повторял, как попка, пойди не повтори, страна притихла, только на митингах все друг перед другом выворачивались, никто чтоб не молчал — круговая порука! Дали мне комнату на Можайском шоссе, восемнадцать метров, пол паркетный, в ванной — газовая колонка, горячая вода круглый день, мойся — не хочу! Мать к себе привез, к больнице ее прикрепил — и души там всякие, и лекарства, и синий свет от бронхита, рай!

Первый допрос я не один проводил, со старшим лейтенантом Либачевым, — он наконец поднял глаза на Федорову, — да, да, с вашим главным следователем, который на меня ногами топал: «Слюнтяй, не можешь от американской потаскухи показаний получить! В белых перчатках решил работать?! Это на фронте стрелять кончили, а мы продолжаем, пока всю скверну не выжжем!» Никогда не забуду первый допрос, Зоя Алек-

сеевна, умирать буду — не забуду... Я ведь парнишкой еще был, двадцать лет всего, несмышленыш...

Лермонтов в двадцать лет уже был великим поэтом, возразила Зоя Федорова, зябко слушая исповедь своего палача.

– Так ведь он гений был! Ему культура мира была открыта, потому что по-французски да по-английски говорил, как на родном языке... А я? Что я знал в жизни? Что молчать надо — знал! Не высовываться — тоже знал! Беспрекословно верить тому, кто над тобой сидит, — вдолбили! А разве вы не преклонялись перед Сталиным, как перед богом?

Словно бы сопротивляясь самой себе, Федорова ответила

— Не то чтобы преклонялась, но, во всяком случае...

— Ах, Зоя Алексеевна, Зоя Алексеевна! Зачем себе-то лгать? Вспомните, как молили меня: «Разрешите написать Иосифу Виссарионовичу! Он не знает, что вы здесь со мной делаете! Он немедленно освободит меня!» Разве не было такого? Запамятовали? Не сердитесь, я ж вас не корю... Когда меня наладились после смерти Сталина исключать из партии, я тоже писал письма «дорогим товарищам», членам хрущевского Политбюро, мы спокон веку челобитные несли вождям, они только и могут спасти и сохранить... Не от Сталина в нас это — ото всей горькой истории нашей... Ну да ладно, отвлекся я... Я ж еще и не начал выскабливаться перед вами, я только подхожу к этому... Так вот, вызвал меня ночью Либачев... Было это, как сейчас помню, четырнадцатого июня сорок первого года... На стуле посреди его кабинетика сидел человек в шелковой сорочке какого-то нежно-кремового, невиданного мною раньше оттенка, брюки на нем были модные, широченные, расклешенные, с серебряной искоркой, туфли, хоть и без шнурков, на босу ногу, но — лаковые, с тупым носком, я такие только в кино и видал...

— Вот, — сказал Либачев, — смотри на этого типа! Смотри и запоминай каждое его слово!

— Я не «тип», а дзержинец, — ответил арестант с довольно заметным акцентом. — Меня в ЧК лично Феликс Эдмундович принимал...

— Один он? — спросил Либачев. — Или еще кто с ним был?

— Были.

— Фамилии, конечно, позабыл?

— А почему вы мне «тыкаете»? Научитесь соблюдать чекистский кодекс.

Либачев задумчиво повторил слова арестованного, словно бы осматривая их, как диковину какую, и чеканно повторил вопрос, перейдя на «вы».

— Фамилии помню, — ответил арестованный, — Артузов там был, Уншлихт и, кажется, Беленький.

— Очень замечательно, — кивнул Либачев. — А Кедрова не было?

— С товарищем Кедровым я познакомился на следующий день... Я с ним работал до двадцать седьмого года.

— Я могу записать ваше показание в протокол?

— Это — можете.

Либачев нацарапал вопрос и ответ, дал подписать, промокнул здоровенным пресс-папье и продолжил:

— А как вы относились к товарищу Кедрову?

— Странный вопрос... Это мой учитель... Большевик, в партии чуть не с начала века, конспиратор, он меня в первую командировку отправлял.

— Когда?

— В двадцать втором.

— Куда?

— Этот вопрос является посягательством на государственную тайну... Запросите мое командование в разведке, если там посчитают нужным — ответят... И объясните: меня вызвали по срочной надобности из Берна, вызвали шифром тревоги, я бросил группу, чтобы повторить здесь сообщение о дате начала войны, а меня — вместо того чтобы начать немедленную работу по переводу группы на новые задачи — держат в камере... Вы хоть доложили Сталину, что я здесь? Товарищу Берии, наконец.

— Доложили... Скажите-ка, у вас никогда не было подозрений по поводу Кедрова?

— Да вы с ума сошли!

— Выбирайте выражения!

— Война вот-вот начнется! О чем вы думаете?!

— Вы утверждаете, что война начнется «вот-вот»?

— Да!

— Кого с кем?

— Нацистов против нас.

— Нацисты — это кто? Дружественный нам рейх?

— Это он вам дружественный, — взорвался арестант. — Вам! А не мне!

— Что ж вы от остальных чекистов отгораживаетесь? Зря, мы тоже дзержинцы... Ладно, это нервы у вас стали шалить... Давайте запишем ваши показания о том, что Кедров — настоящий большевик и что Германия нападет на нас в ближайшие дни... Какого числа, кстати?

— Двадцать первого.

Либачев хохотнул:

— Кто ж войны по будням начинает? Настоящие стратеги войну к воскресным дням приурочивают... Не откажетесь подписать правильность ответов?

— Этих — не откажусь.

Либачев снова промокнул бланк протокола допроса своим пресс-папье и, подойдя вплотную к арестованному, склонился над ним к р ю к о м:

— Так вот, «дзержинец» сратый, Уншлихт и Артузов признались в своей троцкистской контрреволюционной, диверсионно-шпионской деятельности и расстреляны! А «товарищ» Кедров идет под трибунал за то, что, являясь старым агентом английской разведки, выполнял задание своих хозяев и сеял панические слухи о предстоящем нападении Германии на Советский Союз! Ты был его человеком — сам признался, за язык не тянули. Поэтому, если хочешь, чтобы твоя семья не оказалась в соседней камере, садись и пиши собственноручное признание: когда и где получил указание Кедрова завербоваться к англичанам, чтобы разрушить союз двух великих держав Европы.

— Вы что, с ума сошли?

Либачев тогда посмотрел на меня так, что я на всю жизнь запомнил:

— Вот как ведут себя настоящие враги... Запомни это... И заставь его говорить... Сейчас... при мне...

У меня даже голос осел:

— Как?

— А так, как тебе подсказывает революционное сознание.

Я подошел к арестанту и, скрывая дрожь в голосе, сказал:

— Наших товарищей пытают в буржуазных застенках... Революция не мстит... Скажите правду, и мы передадим дело в наш пролетарский суд.

— Я сказал всю правду. Я никогда ни к кому не вербовался. Кедров для меня был, есть и останется большевиком.

Либачев обгрыз свои ногти — и без того чуть не до мяса обгрызанные и сказал тихо:

— В зубы только не бей. Он на процессе с расквашенным ртом не нужен. У нас неделя сроку, двадцать второго Кедрова трибунал судит, этот — соучастником пойдет, если не хочет свидетелем обвинения.

— Какие у вас доказательства? — спросил арестант. — Улики какие?

— Ну! — Либачев прикрикнул на меня. — Слабый, что ль?! Или — жалеешь вражину? Вот на него показания, — он ткнул пальцем в папку, — девять человек на него показали, как на шпиона, продажную шкуру, за фунты работал, сволочь! Чтоб отнять у нас все то, что дала революция!

И я, зажмурившись от страха, со всей силы ударил человека в ухо, да так ударил, что он, слетев со стула, остался лежать на полу...

— Из графина хлестани, сказал Либачев, — враз заскребется.

Вылил я на него воду трясущейся рукой, арестант открыл глаза, посмотрел на меня с невыразимой тоской и жалостью, медленно поднялся, сел на свой стул посреди комнатки и сказал:

— А я не верил, что нацизм — заразителен... Ты ж гитлеровец, сынок, самый настоящий гитлеровец.

Вообще-то в сорок первом «гитлеровец» не было обидным словом... В какой-то многотиражке даже напечатали «товарищ Гитлер», чуть ли не на заводе имени Сталина... Но ведь недавно еще мы «Профессора Мамлока» смотрели, «Семью Оппенгейм», там фашистов несли, только в сороковом эти фильмы запретили, но все же обиделся я и еще раз ему врезал — никакой я не гитлеровец, а молодой большевик, ученик великого Сталина, страж завоеваний революции.

И снова он сбрыкнул, но не обмяк, готов был к удару.

— Бейте, — сказал он. — Можете до смерти забить, ничего от меня не добьетесь, клеветать не стану, гитлеровцы поганые.

Тут выскочил Либачев из-за стола и стал его пинать сапогами в пах, живот, грудь.

— Ну чего?! — задышливо крикнул он мне. — Помогай! Что говорю?!

Никогда я не смогу описать, а уж тем более объяснить, как и почему во мне поднялась неведомая

дотоле, но все же какая-то родная т ь м а и забилось что-то давно забытое, но — теплое...

Я не мог сдержать дрожь, бившую меня, будто малярия колотила; в глазах ощутил песок, скулы свело, ужас и шальное ощущение в о л и сделались неразделимыми, я почувствовал в себе огромную силу, что-то рысье, тягучее, и даже зажмурился оттого, что мысль исчезала, уступая место ознобному, неуправляемому инстинкту...

А потом я ощутил чудовищно-сладостное ощущение всепозволяющей в л а с т и — особенно когда и мой мысок вошел в мягкий живот арестанта, корчившегося на полу...

...Умаявшись, Либачев позвонил по телефону и дал команду, чтоб привезли жену арестанта:

— Он молодой, — кивнул на меня, не отводя глаз от серого лица арестанта, лежавшего недвижно, — стенки здесь тонкие, фанера, послушаешь, как он с нею на диванчике поелозит, посопят вдоволь, вот веселье будет, а?!

...Словом, дал арестант показания, поди не дай... Сторговались, что возьмет на себя английское шпионство, но Кедрова закладывать отказался.. Кедрова вывели на трибунал двадцать второго июня, когда уж война шла, — судили за «распространение заведомо ложных, панических слухов о подготовке войны Германией против своего союзника — СССР». Судить начали утром, а после выступления по радио Вячеслава Михайловича оправдали... А двадцать третьего забрали снова — свидетель, как-никак... Ну и шлепнули в одночасье. — Сорокин вытер пот, выступивший на лбу, и неожиданно спросил: — У вас доски какой нет, Зоя Алексеевна?

Что? — Федорова не поняла его сразу, слушала с ужасом, кусая губы...

— Досточка, может, какая есть на кухне? — Сорокин сейчас говорил тихо и спокойно, словно не он только что истерично хрипел в магнитофон.

— Подставка есть хохломская..

— Не сочтите за труд принести, а?

Женщина с трудом поднялась, опасливо озираясь, вышла на кухню, вернулась с хохломской доской, протянула гостю...

Сорокин расставил ноги, положил досточку на колени и, коротко взмахнув рукой, ударил ребром ладони, доска хрустнула, как кость, в ы б е л и л о свежее де-

рево — с той лишь разницей, что открытый перелом только в первый миг сахарно-белый, потом закровит, а дерево — неживое, не больно ему; как было белым, так и осталось...

— Вот так-то, Зоя Алексеевна, — сказал Сорокин. — Это сейчас, когда я не молод уже... Представляете, какая сила во мне была, когда я вас допрашивал? Что бы с вами стало, ударь я хоть раз по-настоящему? Я ж вас далел, Зоя Алексеевна, жалел... Думаете, снимаю с себя вину? Нет. Я когда с Абакумовым в Венгрии был, книжек запрещенных начитался, начал кое-что понимать про нашу профессию, знал, что план гоним — для пополнения бесплатной рабочей силы! Но я никогда не мог забыть того страшного ощущения, когда сильный, казалось бы, человек, вроде того нелегала из разведки, которого мы с Либачевым уродовали, становился все более подвластным мне, маленьким и беззащитным, а ничто так не разлагает человеческую душу, как ощущение властвования над тем, кто тебя слабее и безответнее... Кого ж мне винить в этом, Зоя Алексеевна? Кого? Вы Сталину верили, и я Сталину верил... Вы своему режиссеру верили — «мол, так играй, а не иначе!» — и я своим начальникам-режиссерам не мог не верить: «Вот показания на вражину — два, пять, десять! А он молчит! А что он по правде задумал?! Какое зло может принести народу?!» Я ж не человека бил! Шпиона! Диверсанта! Фашиста! Разве я вас бил больно? А?

— Не в этом дело, — Федорова судорожно вздохнула. — Боль перетерпеть можно, женщина к боли привычна... Но нельзя передать словом состояние, когда здоровенный мужичина замахивается на тебя, шлепает пощечину, за волосы таскает, господи... Вы ж из меня человеческое выбивали, делали из меня животное...

— А как мне было поступить?! Ведь если б вы не подписали хоть что-нибудь, меня б бракоделом объявили! А бракодел — сродни шпиону! За ним глаз да глаз... Я знал, что такое попасть в камеру... Я знал, что для меня это сроком вряд ли кончится, скорее всего — пулей... Да, да, так! Поэтому мне, палачу, было страшней жить, чем вам, жертве... Думаете, я не знал, что вы ни в чем не виноваты? Знал... Сострадал вам, ох как сострадал! Но что я мог сделать?! Как должен был поступить человек — по профессии палач, который знал, что его жертва ни в чем не виновата?! Если бы он, палач,

сказал об этом во всеуслышание, то Берия бы его, палача, превратил в кусок мяса! В отбивную! Дайте совет, молю, дайте! А то мне трудно будет вам рассказывать, как страшно было вести ваше дело, самое, пожалуй, страшное изо всех... Ведь про вас сам Сталин спрашивал, понимаете?! Лично он!

— Господи, да что ж мне вам посоветовать-то? Вы, который мучил меня, лишил материнства, бабьей короткой жизни, вы, который... Вы, тот самый, вы... просите совета у меня?..

Подбородок ее задрожал, глаза наполнились слезами, она отвернулась к окну, и в это короткое мгновение он о б н я л ее холодным, оценивающим взором, вновь потупился, свел лоб морщинами (он научился менять лицо, особенно — враз с т а р и т ь его) и прошептал глухо:

— Что вы почувствовали, когда вас привезли во внутреннюю тюрьму?

— Стыд, — ответила Федорова без раздумий и, утерев глаза пальцами, вновь поворотилась к нему.

— Что?

— Стыд...

— Это когда вас раздели, обыскивая?

— Да нет... Женщины к этому иначе относятся, мы ж к гинекологу ходим, такая доля... Мне за все стало стыдно... За то, что меня — артистку, которую знает народ, могли затолкать в машину и упрятать в тюрьму... За то, что бессловесная женщина в советской военной форме полезла пальцами... Зачем? Искала, не спрятано ли там чего? Те, кто меня брали, знали, что и одеться-то не успела толком... разве не могли ей об этом сказать? Стыдно стало за то, что нет у нас людей, а только истуканчики, которые следуют не мысли и сердцу, а одной лишь инструкции. Стыдно стало за тот мертвящий запах карболки и затхлости, у б о г и й запах извечной, привычной нам несвободы... За вас мне было стыдно — за то, что мучили меня, зная, что я ни в чем не виновата... Достоевского почитайте... У него все про это сказано... За страну стало стыдно... Только это потом случилось уже, во Владимире, когда я — слава тебе, господи, — с Лидией Руслановой в одной камере оказалась... Там и за нас, арестанток убогих, бывало стыдно, когда баба голосила под окном: «Юноша с лицом слоновой кости, карие глаза! Откуси, отгрызи два моих соска...»

А страшно было?

— Не знаю, — задумчиво ответила Федорова. — Если б вы все быстро делали, а вы ж по-обломовски работали, изморной ленью брали... Месяцы шли, годы... За это время начинаешь смерти жаждать, как избавления... Наверное, Сталин понял наш характер, когда в ссылке среди русских жил, почувствовал, что хоть мы и неумелые обломы, зато совестливые, стыдимся сказать, когда видим, что не так, боимся словом человека обидеть, страшимся врагом назвать врага — если только не чужеземец он, все думаем, образумится, ошибка вышла... Вот он на хребет-то нам и влез... И разобщил народ на квадратики, чтоб вам его было легче держать под мушкой... И в каждом квадрате радиотарелка с утра до ночи в уши — бу-бу-бу-бу... Одно и то же, одно и то же, а раньше-то этого самого репродуктора никто в глаза не видел, новинка, поди не поверь, если месяцы и годы талдычут одинаковые слова, а кто их не повторяет — исчезает из жизни... Повторяй человеку месяц, что он свинья, — поверит... А тут годы бубнили... Чтоб стыд наш гневом залило и бунт заполыхал, надо такого натворить, чтоб к а ж д о г о задело — а пуще того баб, у которых на руках некормленные дети и дров нет, чтоб буржуйку растопить... А Сталин все мерил жменей: одного — под пытку, другому — орден, третьему — новую комнату, четвертому — расстрел... Чересполосицей народ разомкнул, поставил друг против друга... Стыдно мне было, — повторила Федорова — только одно и держало, что дочка осталась на воле... Хотя какое там «на воле»... Я была в тюрьме за стеной, она — в тюрьме без стен, разница невелика, гарантий ни у нее, ни у меня не было, не знали мы что такое гарантии, да и не узнаем никогда...

— Ну ладно, Сталин, все понятно, — согласливо кивнул Сорокин, — а сейчас-то вам разве не стыдно, что не пускают к дочке в гости?

— Еще как стыдно... Так мы ж всегда под глыбой державы жили! Не она для нас, а мы под ней... Сейчас хоть, слава богу, нами правит не больной деспот, так что надежда есть, у Брежнева дети добрые...

— Сын или дочь? — рассеянно уточнил Сорокин.

— А это уж мое дело, не ваше..

— Вот видите, — он сострадающе улыбнулся, — размякли, сказали то, что говорить никому не надо...

Хорошо, я — как копилка... Все умрет во мне... А если б на моем месте г а д сидел?

— А разве вы не гад? — Федорова вздохнула. — Самый что ни на есть гад.

— Мы ж уговорились, Зоя Алексеевна... Я — палач... Но — одновременно — жертва более сильных палачей... И те, в свою очередь, тоже жертвы... У нас виновных нет, у нас одни расплющенные... А ведь стыд есть сострадание... Сталин-то велел вас к себе привезти, на Ближнюю дачу... А вы в несознанке были... Каково Абакумову? А? Вы об нем подумайте! О Берии подумайте! Сталин ваше кино часто смотрел, он «Подруги» любил, повторял, что хочет побеседовать с глазу на глаз...

— Ну и как же вы посмели ему отказать?

— Расскажу. Только вы к нашему следующему собеседованию постарайтесь припомнить, что с вами было в камере в мае, вскорости после праздника Первомая... У нас тогда цепочка получится: вы — я, я — вы... Чем не сенсация?!

После этой б е с е д ы он провел тщательную р а б о т у: слетал (никому не доверил) в Краснодар, повстречался с нужными клиентами (его группа работала в тесном контакте с начальством из Сочи, имевшим в ы х о д ы наверх; гарантировали передачу ц е х а м необходимых станков и сырья), договорился со старым д р у ж к о м, что тот отправит в Москву несколько людей с посылками для актрисы: «Надо побаловать любимицу народа фруктами, не умеем хранить память, оттого и живем в дерьме, найдите к ней подходы по своим каналам, посмотрите, с кем она тут контактовала во время гастролей, оттуда и тяните»; вернувшись в Москву, вышел на тех, кто был знаком с солистом оркестра МВД Геной Титовым, пустил по Москве информацию о том, что он не просто квартировал у Федоровой, но выполнял ряд ее поручений коммерческого характера — купить что, продать, да и, мол, тянуло его с детства к пожилым женщинам, форма эдипова комплекса. Только после того как з а ш у р ш а л о в городе, отправился на вторую встречу, дав задание своей команде искать неудачливого литератора, который сидит без денег, считая при этом, что в его бедственном положении виноваты вездесущие враги, а никак не он сам...

11

— Ты меня хорошо знаешь, Вареный? — переспросил Артист, пробуя лезвие финки о ноготь большого пальца. — Что замолчал? Комбинируешь? Отвечай! Зря мыслью танцуешь, проиграл — толкуй.

— Я ж говорю, по кликухе — знаю.

— Это понятно. Меня все блатные по кликухе знают. Я спрашиваю, как ты меня знаешь? Хорошо или понаслышке?

— Хорошо.

— Кто тебе про меня говорил?

— Леня.

— На Руси полмильона Лень. Кликуха? По какому делу проходил?

— Косой... В Донецке брал кассу...

— В Новочеркасске он кассу брал... Кем ты ему был?

— Я не жопник, не подставлялся... Массаж делал, брюки гладил, подарки принимал как б л и з к и й...

— Ну и что он тебе про меня рассказывал?

— Говорил, что вы ему учитель.

— Верно говорил. Значит, если ты ему б л и з к и й, то мне ты — ф л е н д р а, в рот написаю — проглотишь. Так?

— По закону — да.

— Сомневаешься, что ль?

— Я говорю — по закону имеете право.

— По закону я на все имею право. А ты проглотишь?

— Вы мне предъявите, в чем я провинился? В чем предмет разбора? Из-за чего вы начали толковщину?

— Это не толковщина, Вареный... Это п р о ц е с с... И чтобы ты понял, отчего я заявляю эту толковщину процессом — хотя мне с тобой толковать не положено, ты м а с е н ь к и й для меня, такими, как ты, я расплачивался, на кон ставил, — расскажу тебе случай про то, как два а в т о р и т е т а пошли в побег... Они шли через мордовскую тайгу, понимая, что их уже объявили в розыск... Шли по компасу, ели четыре сухаря в день и один кусок вяленого мяса. И однажды ночью к их костру вышел медведь и попер на одного из друзей, и шваркнул его лапой по спине... А второй не потек, схватил тлеющее полено и засадил в глотку медведю и поворотил зверя на себя... А в этот миг я — да, да, я тебе, если дотолкуемся, спину свою покажу — успел

выхватить из-под рюкзака штык и засадил его медведю в шею... Я не знаю другого человека, который бы пошел с поленом на медведя, только чтоб друга спасти... Таких людей на этой грешной земле больше нет, Вареный... Таких людей надо оберегать и холить... А вы этого человека убили...

— Кого вы имеете в виду?

— Ястреба.

— Мне эта кликуха неизвестна.

— Это не кликуха. Фамилия.

— Я такого не знал. Зря вы мне выдвигаете это обвинение. Если недостаточно моей клятвы, скажите, когда и где это было, я выставлю алиби, и, если вы мне не поверите, можете пригласить кого хотите для официального разбора.

— Подумай еще раз, Вареный. Я отдаю себе отчет в том, что ты не был скрипачом в этом деле, не ты вел соло, ты шел вторым, стоял на шухере, ждал в машине — это мне понятно... Но то, что замазан его кровью, для меня ясно.

— Жизнью клянусь, не мазался!.. Ничего об этом Ястребе не знаю!

— Хорошо... Что ты делал неделю назад?

— На даче дох.

— На малине, что ль?

— Нет... Мы малин не держим... Нормальная дача...

— А потом?

— Потом был в деле.

— В каком?

— Отношения к Ястребу не имеет. По закону могу не отвечать, другое число.

— Хорошо... Кто подтвердит, что ты д о х на даче? Семь дней назад, день и ночь, главное — ночь?

— Нянька.

— Блатная?

— Нет.

— Какая же ей вера? Ты выставь мне свидетеля, который ботает по фене и готов ответить перед нашим законом, я ж не один буду решать, со мной еще два авторитета в деле...

— Официально заявляю: няньку можно взять в т о л к, она проверенный человек, покрывать ложь не станет.

— Мне нянька не нужна... Мне твой пахан нужен, Вареный. Я ему хочу этот вопрос задать. Если он тебя отмоет и даст м а з у, я пойду по другому следу.

— По закону я не имею права отдавать пахана. И вам это известно лучше, чем мне, потому что вы не просто законник, но и авторитет...

— Пеняй на себя, — задумчиво ответил Артист и, не спуская глаз с Вареного, медленно, словно бы с натужной болью, откинулся на спинку стула. — Где телефон?

— А что? — Вареный подался к нему. — Зачем? Кому вы хотите звонить?! Не верите?! Я ж официально клянусь! Абсолютно официально!

— Где телефон? — повторил Артист и поднялся; он сыграл усталость, позволив Вареному увидать опущенные плечи, обвисшие руки, склоненную набок голову, — все эти минуты говорил с напряжением, сейчас настала разрядка; ну, прыгай на спину, Вареный, уникальный шанс, я ж к телефону иду, а в т о р и т е т о в вызову, придет твой последний час, не пропусти мгновение...

Он шел медленно, шаркающе передвигая ноги; только б не переиграть; любой вор — артист, только опытный — талантливей, а ш е с т е р к а — как провинциальный конферансье с прошлогодними анекдотами, разрешенными к публичному исполнению цензурой.

Артист ощутил движение за своей спиной за долю секунды перед тем, как услышал его; пружинисто пригнулся; массивная пепельница грохнула в дверь; он шарнирно развернулся и п р и н я л Варенова на грудь; тот словно бы лётел следом за пепельницей, выставив лобастую голову, чтобы опрокинуть врага, заломать шею, разбить лицо об пол, а потом подтащить к телефону и вызвать с в о и х, для совсем иной уже толковищи.

Артист ударил Варенова ребром ладони по загривку; тот рухнул кулем, распластавшись по полу обмягчевшим телом.

Ухватив Варенова за чуб, Артист поднял его голову, заглянул в побелевшее лицо; веки дрожали, значит, беспамятство играл; ударил лицом об пол, раз, два... пять, снова посмотрел на веки: лежали ровно, восково.

Медленно разжал пальцы; голова грохнулась на паркет; пошел в ванную, набрал воды в стакан и заглянул на кухню; телефон стоял на подоконнике, моргала красная лампочка автоответчика; нажал кнопку костяшкой указательного пальца, убавил громкость, прослушал голоса, записал номера телефонов, куда просили позвонить, пошел в комнату и вылил воду на голову Варенова. Тот дрогнул, заскребся; Артист вернулся на кухню, тщательно вытер стакан полотенцем, оставил на столе.

Закурив, неторопливо повернулся: Варенов стоял на пороге, раскачиваясь, как пьяный; кровь текла по лицу.

— Иди сюда, — сказал Артист. — Снимай трубку и набирай телефон... Винить меня нечего, я упреждал... Или отдай добром Хрена, я с ним толковищу наедине проведу...

Произнося эту фразу, глаз с лица Варенова не спускал, ждал, как отреагирует на слово «Хрен»; тот дрогнул; попался, сука...

...К Костенко позвонил отсюда, от Варенова, когда тот ушел смывать кровь в ванную; продиктовал телефон:

— Вроде бы сейчас живет по этому номеру...

...Костенко сразу же связался со Строиловым, сказал, что едет к нему, пусть ждет; Строилов дождался, тут же установил адрес по телефонному номеру; через двенадцать минут туда, на Парковую, отправили бригаду; через пятьдесят три минуты муровцы засекли неизвестного, вышедшего из дома «объекта»; неизвестный (лет тридцати пяти, блондин, голубоглазый, рост примерно сто семьдесят пять, одет в кожаную куртку и черные брюки, особых примет не замечено, на мизинце правой кисти массивное золотое кольцо) остановил частника и, профессионально проверившись, сел в машину (номерной знак МЕУ 74—81). Машина взяла направление в центр; возле большого барского дома на Потаповском неизвестный, не отпуская водителя, быстро прошел во двор и скрылся в подъезде двухэтажного строения. (После Октября во дворах красивых ампирных громадин, законченных как раз накануне переворота, таких уродцев понатыкали во множестве; и старорежимную красоту приятно изговнять, мстительно пригнув до уровня безликого равенства, да и в графу «заботы о повышении благосостояния трудящихся» вполне вписывается реляция про то, что увеличили жилфонд, — в такую трущобину можно вселить двенадцать семей, на каждую — по комнате, экономия налицо: одна стена — капитальная, барская, три других — в один кирпич, не замерзнут, батарею поставим.)

В строении «неизвестный» пробыл не более пятнадцати минут; наружка, оставленная на Потаповском, приняла в наблюдение молодого парня, вышедшего из

темного подъезда через минуту после «неизвестного»; две машины продолжили прослежку частника. «Неизвестный» расплатился с ним возле дома семь на улице Строителей, вошел в четвертый подъезд; судя по тому, что зажглись окна на третьем этаже, он жил в квартире номер двенадцать; установили имя и фамилию: Владимир Аркадьевич Никодимов, сорок четвертого года рождения, русский, не судим, образование незаконченное высшее, работает на договоре в москворецком торге, разведен; жена, Никодимова Валерия Юрьевна, сорок девятого года рождения, инструктор Росконцерта по организационным вопросам.

Парень, вышедший следом за Никодимовым, был взят в наблюдение под кличкой Длинный. Его д о в е л и до Варсонофьевского переулка; там жила Валерия Юрьевна Никодимова. Пробыв у нее десять минут (устанавливать не пришлось, на двери была табличка с фамилией и инициалами), Длинный вернулся домой в двадцать три сорок семь и больше никуда не выходил; фамилия Страхов, зовут Геннадий...

Установку по жильцам всех квартир на Парковой (судя по номеру телефона, который дал Артист, там жил Сорокин) Костенко и Строилову принесли в пять утра на чердак дома, стоявшего напротив того подъезда, из которого вчера вечером вышел Никодимов! Н у ж н ы х фамилий — ни Сорокина, ни Хренкова — среди жильцов не оказалось.

— Что будем делать? — спросил Строилов.

Не отрываясь от окуляров бинокля, Костенко ответил:

— Ждать.

...Ждали до восьми.

— Глаза не слипаются? — спросил Строилов, растирая лицо своими донкихотскими, длиннющими пальцами.

— Слипаются.

— За кофе, может, съездить?

— Потерпим.

— Хотите отдохнуть?

— В лицо его знаю один я...

— Думаете, мог бороденку отпустить?

— Мог... Судя по всему, у него очень развито чувство опасности... Но я не могу взять в толк: зачем ему следить за нами?! — Костенко опустил бинокль, закурил, потер покрасневшие глаза и недоумевающе, с нескрываемой растерянностью поглядел на Строилова.

— Я постоянно задаю себе этот же вопрос.

— Кто ему мог рассказать, что вы теперь ведете дело Ястреба? Кто?

— Об этом знают восемь человек, все наперечет...

— То-то и оно... Оттого и страшно...

Костенко снова уперся в окуляры бинокля и сжался: Хренков, он же Сорокин, неотрывно смотрел ему в глаза — протяни руку, тронешь.

— Он, — прошептал Костенко.

Строилов неожиданно для самого себя съежился, опасливо поднес к губам «воки-токи» и прошептал:

— Человек в спортивном костюме — тот, кто нам нужен. Не спускать с него глаз. Делайте фотографии. Докладывайте о маршруте постоянно...

...Строилов-старший посмотрел на мокрые еще фотографии человека в спортивном костюме, трусившего по улице, откашлялся, положил пергаментную руку на птичью свою грудь и тихо сказал:

— Это он, Сорокин, мой следователь...

В десять часов тридцать минут Валерия Юрьевна Никодимова зашла в кабинет своего начальника с текстом телекса в Нью-Йорк. Адресат — Джозеф Дэйвид; американца срочно вызывали на переговоры о концертном турне советских актеров по Соединенным Штатам.

В одиннадцать сорок Костенко подвезли с Петровки домой — отключиться хоть на пару часов, не спал всю ночь.

Во дворе было ч и с т о; в подъезде тоже; однако взгляд его — тренированный, всезамечающий, особенно в ситуациях экстремальных — отчего-то задержался на деревянной дверочке, закрывавшей электрическую и телефонную разводку на лестничной клетке. Костенко даже не понял, что его к о л ь н у л о; зашел в пустую квартиру, прочитал Маняшину записку про то, что и в какой последовательности надо подогреть, вынес табуретку на лестничную клетку («вот ведь ужас, какие слова напридумывали, а?! сами себя к тюрьмам толкаем, — «клетка»; какая же у нас чудовищная, беспросветная судьбина»), осторожно встал на нее, приоткрыл зелененькую дверочку пошире и сразу же заметил возле своей разводки маленькую пластмассовую присосочку; надел очки, зажег

спичку; «Мэйд ин Гонконг»; («Вот так номер! Значит, и мои разговоры пишут?! Кто?!»)

...Вместе со Строиловым приехал эксперт из НТО; пока смотрел присоску и «пальчики», капитан, выпив чашку крепчайшего кофе (бессонная ночь сделала его лицо серым, глаза, окруженные с и н е-ж е л т ы м, провалились, такие у здоровых людей с тяжкого похмелья бывают), заметил, хрустко потянувшись:

— Заезжал ваш знакомец Ромашов, из комитета, сказал, что нам высылают все материалы следственного дела по Сорокину... Пистолет у него был... Именно «Зауэр»... Подарен лично Абакумовым... Изъят при аресте, где находится сейчас — неизвестно.

...Позвонили с Петровки:

— Добрый день, товарищ полковник, это дежурный по...

— Я сплю, — перебил Костенко, — позвоните через два часа...

— Так к вам же капи...

Костенко осторожно положил трубку на рычаг, пояснив:

— Не надо знать тем, кто нас слушает, что капитан Строилов находится сейчас у меня... Интересно, определит эксперт, куда подтянут этот телефонный жучок? Или он может передавать текст моих разговоров на расстоянии?

Оказалось — на расстоянии, до километра; сиди себе в машине и катай на диктофон. Ну бандиты пошли! Ну техническая оснащенность! Сыщикам бы такую!

Костенко зашел к соседям, оттуда позвонил на Петровку; дежурный сообщил, что Злой (так называли Сорокина в сводках наружного наблюдения) был прописан на Парковой под фамилией Витман; после пробежки был дома, никого не принимал, только что вышел из квартиры и в настоящее время приехал в Безбожный переулок, к Пшенкину Борису Михайловичу, литератору...

В два часа позвонили из Ярославля: фотографии Никодимова и Страхова, переданные по фототелеграфу в редакцию областной газеты, предъявлены той старушке, у которой останавливался слесарь кооперативного гаража Окунев и его неизвестный спутник. Старушка (Цыбунина Анна Максимовна) опознала в Геннадии Страхове

человека, приезжавшего вместе с ее покойным постояльцем. Однако после того, как к ней зашли соседки, показания изменила, сказав участковому, что это не точно: «могла и ошибиться, глаза-то старые, слепые»...

В три часа Строилов собрал оперативное совещание; прежде чем идти с докладом к высокому начальству, решил связать все эпизоды воедино, постараться выработать версии; первое слово предоставил Костенко.

Тот поднялся, оглядел членов оперативной группы (мальчишечки совсем, лица хорошие, с такими можно идти в разведку; куда тебе в разведку? отходил; а может, нет еще?), горестно вздохнул и, спросив у капитана разрешения закурить, начал д о к л а д ы в а т ь:

— Я признателен нашему руководителю, капитану Строилову, за предоставленную возможность поделиться своими соображениями по тому узлу проблем, который ва... нам предстоит развязать... А не выйдет — будете... будем рубить... Итак, первый осмотр квартиры Зои Алексеевны Федоровой, проведенный двенадцатого декабря восемьдесят первого года, показал, что в комнатах не было следов борьбы, насилия и грабежа. Обстановка в шкафах и тумбочках не была нарушена; найдены пустые коробочки из-под колец с товарными ярлыками — от тридцати до трехсот пятидесяти рублей, изъяли двенадцать кассет, бывших в употреблении, — лежали в тумбочке возле кровати, нашли сберкнижку на имя Федоровой — вклад сто девяносто семь рублей восемьдесят девять копеек... В стенке — при тщательном осмотре — найдены еще две кассеты, «Лоу Войс» и «Панасоник», кулон желтого металла с белым камнем, брошь, перстень. С журнального столика изъят отпечаток пальца на дактилоскопию. В корреспонденции, лежавшей на пианино, обнаружено четыреста сорок рублей; десять золотых коронок; около балкона нашли изделия из белого и желтого металла: шесть пар запонок, подвеску, серьги, кольца, браслеты... Что-то еще было — точно не помню... На следующий день осмотр квартиры продолжался... Нашли конверт с двумя тысячами рублей, еще несколько колец, гарнитур из браслета, двух колец и кулона... Следовательно, версия грабежа должна была отпасть сама по себе... Однако кто-то сверху требовал работать именно эту версию... Почему? У меня нет ответа... Незадолго до

гибели Зоя Алексеевна получила письмо... Вскрыв его, она обнаружила свой портрет из журнала — с выколотыми глазами; там же была записочка: «Грязная американская подстилка, тебя ждет именно такая смерть за предательство Родины!». Вскорости она получила еще один свой портрет с идентичной записочкой... Заметьте, выстрелили ей в затылок, пуля вышла через глаз... Однако версию политического убийства нам отрабатывать не давали... Один из допрошенных мною сотрудников ВЦСПС — он посещал несколько раз Зою Алексеевну — обличал ее в своих показаниях: «Я слушал разговоры тех людей, которые у нее собирались, — о пытках, расстрелах и мучениях в так называемых «сталинских лагерях» и словно бы погружался в грязь. Однажды я не выдержал и сказал: «Как вам не смрадно жить прошлым?!» В ответ на это она обозвала меня стукачом и сексотом... Больше я у нее не бывал...» Одна из допрошенных показала: «Федорова очень плохо говорила о товарище Сталине — даже после того, как убрали Хрущева и снова начали писать правду, каким великим стратегом был Иосиф Виссарионович. И вообще у нее слишком часто бывали какие-то странные типы... Раз я у нее встретила отвратительного еврея с длинным носом... Может, ее сионисты убили?»

Строилов усмехнулся, процитировав злую эпиграмму на одного литератора: «И сам-то ты горбат, стихи твои горбаты, кто в этом виноват? Евреи виноваты».

Костенко кивнул:

— Тем не менее мы и эту версию пытались отрабатывать... А вот ее квартиранта, солиста ансамбля песни и пляски МВД некоего Геннадия Семеновича, нам удалось допросить только один раз; сверху жали: «хватит, надоело, не туда гнете»... Он утверждал, что познакомила его с актрисой — в семьдесят седьмом году еще — администратор московского эстрадного объединения общества слепых, а у меня были сведения, что эту самую администраторшу кто-то аккуратно к солисту подвел... Кто? Я вышел на краснодарский след, тоненький, пунктирный, но — многообещающий... Однако из Краснодара позвонили руководству, скорее всего Медунов: «Не цепляйте честных людей»... Я не утомил вас, товарищи?

Ответили, как школьники, завороженным единым выдохом:

— Не-эт!

Ладно, — хмуро улыбнулся Костенко, — пойдем

дальше... От этого самого квартиранта Гены я вышел на некоего «Олега» и «Викторию Ивановну» из Свердловска... Вроде бы она — работник Ювелирторга, сделала Федоровой гарнитур за пятнадцать тысяч рублей, как раз на ту сумму, что актриса выручила от продажи своей дачи... Но ведь, судя по осмотру места происшествия, гарнитур этот похищен не был... Мне и эту линию оборвали — не приказно, конечно, а, как говорил великий кормчий, «тихой сапой»... Ну и, наконец, главное, «Олег»... Тот ли это был «Олег», которого называл квартирант, или нет, выяснить не удалось — не дали. Об этом эпизоде я говорю вам первым... Время настало... Не потому, что гласность, но из-за того, что произошло в Москве за последние дни... Итак, «Олежек» этот был артистом, гастролировал от Москонцерта, ездил с цыганскими ансамблями, с грузинскими, армянскими, кажется, еще с еврейскими и молдавскими... «Олежек» говорил — и я эту информацию получил, — что его друг Борис Буряца, артист Большого театра, продал одному из тузов уголовного мира, скупщику краденого, некоему «Федору Михайловичу» кулон работы Фаберже за двадцать пять тысяч... А некий студент Ленинградской духовной академии поведал, что у Бориса Буряцы, который пользуется покровительством какой-то очень важной дамы по имени Галина Леонидовна, дома хранится на миллион рублей антиквариата и пистолет, похожий на «Зауэр»... Я эту информацию отправил своему начальству... Те перебросили по инстанции; прошло часа три, и меня выдернули: «отдайте материалы». Я возразил — мол, не по правилам; не понял еще, о ком шла речь; врезали выговор, информацию отобрали... Но ведь память отобрать нельзя... Так что — я помню... А на следующий день я еще одно сообщение получил: тот же «Олежек» говорил друзьям, что о Зое Федоровой, о том, кто ее окружает, информирован Борис Буряца... Вот так-то... А он, Борис, после скандального ареста, связанного вроде бы с похищением бриллиантов у Ирины Бугримовой, укротительницы тигров, и последовавшего затем довольно скорого освобождения прожил недолго — где-то в поездке, уж не в Краснодарском ли крае?! — занедужил внезапно, попал на операционный стол и умер в одночасье, а ведь молодой еще человек, все свои тайны унес, а их было много, ох как много... И я их знаю...

Костенко снова полез за сигаретой, извинительно глянув на Строилова; тот пожал плечами:

— Владислав Романович, не ставьте меня в неловкое положение, вы здесь старший...

Костенко закурил и, сильно потерев затылок, продолжил:

— Теперь давайте посмотрим, что произошло десять дней назад... Все бы шло, как шло, не подойди ко мне человек, представившийся Хренковым Эмилем Валерьевичем... Ну подошел, ну пригласил поработать в кооперативе, ну назвал нашего общего знакомца Мишаню Ястреба... Все бы ерунда, не разгляди я в его машине Давыдова, которого допрашивал по делу Зои Алексеевны, — говорил я с ним на свой страх и риск, без протокола, оттого как он вертелся вокруг Буряцы и его сотоварищей, а также «дамы-покровительницы»... И когда я пришел сюда — посмотреть, что осталось от дела Федоровой, — выяснилось, что Давыдов этот теперь стал «Дэйвидом», причем чудодейственно быстро, без всяких препятствий свалил в Америку — через месяц после убийства... За него, как я выяснил, п о х л о п о т а л и: сверху было указание, то ли от Щелокова, то ли от кого еще... Ясно? Вот поэтому я и запросил данные на Хренкова. Но того, который ко мне подошел, в столице среди Хренковых не оказалось... Пришлось сделать робот; сначала робот опознал Мишаня Ястреб: «садист-следователь, арестовали в пятьдесят седьмом, били смертным боем в Саблаге, называя Хреном»; потом опознал генерал Трехов, который и Зою Федорову освобождал, и следователя ее сажал... Я, именно я, попросил Ястреба найти мне подходы к Хрену, который назвал «свой» кооператив... А по случайности в этом кооперативе работала подружка Мишани, и, видимо, Ястреб нашел — скорее всего, через Людку — эти самые подходы, за что и был убит... И Людка — тоже... Практически одновременно... А затем — убрали слесаря гаража Окунева, где хранилась машина, с которой снимали номерной знак... Тоже, кстати, чалился в Саблаге... А затем батюшка нашего руководителя, генерал Строилов, назвал фамилию робота — подполковник бывшего МГБ Сорокин, Евгений Васильевич. Поэтому я вновь и вновь задаю себе вопрос: отчего Федорову не пускали в гости к дочери? Кто именно? Она не хотела эмигрировать, мечтала повидать дочь и внука — всего лишь. Почему раньше ее пускали в Штаты, а потом превратили в озлобленную отказницу?

Я задаю себе вопрос: почему спустя восемь лет после убийства актрисы ко мне — вполне конспиративно, чувст-

вуется профессионал — подошел Хренков, он же Витман, он же Сорокин, имевший прямое отношение к той трагедии, которая в конце концов и разметала ее семью? Почему вместе с ним был Дэйвид, завязанный на Бориса Буряцу? И тех, кто его окружал, поддерживал, двигал?

Я задаю вопрос себе: отчего в квартире Федоровой было так много магнитофонных кассет? Я посмотрел книгу Виктории Федоровой «Дочь адмирала». Почему мать не рассказала ей о том, что она обратилась с просьбой об освобождении своего отца к Сталину? Именно к Сталину, а уж после возник Берия... Это мне подтвердил и народный артист Юрий Медведев во время нашей беседы, это же он повторил на допросе у инспектора угро 40-го отделения Карасева — пятого февраля восемьдесят второго года... Многие свидетели утверждали, что Зоя Федорова жила довольно стесненно, но, как любая мать, мечтала помогать дочке и внуку — поэтому так много гастролировала, — нужны были деньги... Покупала — для этого же — золотишко и камушки... Так говорили — фактов нет... Опрошенный тем же инспектором Карасевым друг Федоровой — они вместе работали на картине «Иван Никулин, русский матрос» в сорок третьем году еще — утверждает, что Виктория за свою книгу получила в Штатах двести двадцать пять тысяч долларов, ни в чем не нуждалась... У одного из допрошенных писателей проскочило утверждение, что во время поездки к дочери Зоя Алексеевна намеревалась обратиться в суд с иском к отцу Вики адмиралу Тэйту — он вроде бы использовал ее откровения, опубликовав их без ее на то согласия: в случае положительного решения суда она бы получила сто тысяч долларов неустойки... Эта линия тоже не отрабатывалась... Впрочем, сие понятно: мы не входим в Интерпол, дикари...

Снова спрашиваю себя: зачем я, знающий о деле Федоровой больше других, понадобился Сорокину и Джозефу Дэйвиду? Странный симбиоз садиста из бывшего МГБ и так называемого импресарио из Нью-Йорка... Причем понадобился я им вскорости после того как вышел в отставку, на пенсию, отнюдь не «райскую», а всего лишь полковничью. Ну а все дальнейшее вам известно... И про то, как за мною поставили слежку, и жучок к телефону, и как звонят к генералу Строилову, странно звонят, почерк чувствуется соответствующий, манера сороковых годов, абакумовско-рюминская школа нагнетания ужаса, расшатывания человеческой психики

Сорокин, он же Хренков, он же Витман, — под контролем, Никодимовы — тоже, никодимовские боевики — выявляются; наблюдатели, что за нами топают, установлены; версия убийства слесаря гаража Окунева отрабатывается... И — главное: ждем прилета Дэйвида. Как с ним построить комбинацию? Или - сразу брать? Так ведь МИД не даст — улик нет, я б на их месте тоже был против... Что прикажете делать?

Строилов осторожно кашлянул, прикрыв рот узкой ладонью:

— Видимо, сначала вы расскажете, как удалось выйти на адрес квартиры Витмана-Хренкова-Сорокина, Владислав Романович...

Он смотрел на Костенко, не мигая, лицо было замершим и бледным — до синевы.

Старый дурак, сказал себе Костенко устало, когда же ты отучишься влюбляться в людей с первого взгляда? Мало себе лоб бил? Ну, отвечай; закладывай Артиста, предавай его, он же тебе верит, как Богу, а Богу все прощают, даже измену...

12

Брежнев, Андропов и Щелоков жили на Кутузовском проспекте, в одном доме и одном подъезде — на третьем, пятом и седьмом этажах.

Эти три человека, являясь членами ЦК одной партии, членами «парламента» одной страны, были притом индивидуальностями совершенно разными, друг друга взаимоисключающими.

К заговору против Хрущева секретарь ЦК Андропов, отвечавший за связи с компартиями социалистических стран, примкнул на самой последней его стадии, после того уже, как Никита Сергеевич, р а з ы г р ы в а е м ы й Сусловым, провел новые постановления против крестьянства, когда секретарям сельских партячеек и руководителями райкомов (сельскохозяйственных) было приказано развернуть кампанию за сдачу коров колхозам: «объясните народу, что более выгодно получать бесплатное молоко на ферме, чем мучиться с кормами, пасти, вручную доить». Так по самой идее крестьянского хозяйства был нанесен еще один хрясткий удар. С тех пор и пошли н е в о д и т ь Москву «плюшевые десанты» — крестьяне, которых отучили работать так, как они привыкли спокон веку. При Сталине они жили и помирали в деревнях

беспаспортными крепостными, в город — ни-ни, за это каторга светит, только какие сорвиголовы, окаянные смельчаки рисковали прорываться в столицу, чтобы купить колбасу да сыр — узнает кто из соседей, в тот же миг напишут куда следует, ну и «воронок» тут как тут — восемь лет по Особому Совещанию за «экономическую контрреволюцию». Но когда Хрущев разрешил несчастному классу-кормильцу получить паспорт, гарантировавший свободу передвижения по стране, но при этом вновь начал отнимать у бесправных хозяев коров и свиней, когда землепашец получил взамен за это возможность взять в городе масло, сметану, колбасу, не вкладывая в товар ту любовь, сладостную усталость, силу, поэтическое рассветно-закатное время, что вкладывали его дед и бабка, ситуация в стране изменилась кардинально; еще более хрустко затрещала казарменно-плановая экономика, начались закупки зерна за границей.

Подталкиваемый аппаратом к сталинско-сусловской догматике, Хрущев повторял на каждой «встрече с тружениками села», что лишь избыточные бюджетные вложения государства изменят облик деревни, только трактора, грузовики, гигантские агрогорода, элеваторы, фермы, оборудованные по последнему слову техники, определят перелом в сельском хозяйстве.

Он запрещал себе понимать (да и Лысенко рядышком, захотел бы — не позволил, обладал распутинской магией, действовал на Хрущева как удав на кролика: когда дочь пыталась говорить, что Лысенко — хуже шамана, Никита Сергеевич багровел, разве что ногами не топал, хоть детей своих нежно любил), что лишь одно может спасти крестьянина: гарантированное право собственности на землю, скот и корма. Ленин, введя нэп, не вложил в сельское хозяйство ни единого червонца — просто на смену продразверсточному грабительству пришел разумный налог. И признательный крестьянин уже на второй год продналога ответил стране тем единственно, чем мог ответить, — изобилием продуктов, ибо труд только тогда в радость, когда видны результаты его, коими ты, хозяин, вправе распоряжаться по собственному усмотрению, а не по приказу чиновного рыла.

Андропов изучил все работы Ленина, написанные после введения нэпа; особенно тщательно конспектировал его кооперативный план, но постоянно соотносил это с

ситуацией в Венгрии (эпизоды будапештского восстания отложились в нем навечно; синдром этой памяти жил отдельно от него; он никогда не мог забыть, как побелело лицо сына, когда тот увидел на фонаре, перед воротами резиденции, тело «Пишты», их служителя по дому дяди Иштвана, повешенного за ноги; мальчик постоянно играл с ним в шахматы. Он всегда помнил последнюю встречу со сталинским гауляйтером Венгрии Матиасом Ракоши; тот задумчиво говорил: «Вы сами еще не понимаете, что натворили на двадцатом съезде...» Тем не менее, когда дети подросли, Андропов убежденно повторял: «Однообразие — противоестественно; в равной мере это приложимо и к социалистическим моделям»). С одной стороны, поработав в европейской Венгрии, он видел воочию, сколь результативны кооперативные и единоличные хозяйства, но, с другой, будучи я в л е н и е м, сформировавшимся в сталинское время, он не мог отказаться от той схемы, которую вдолбили всем и вся в стране: «лишь через совхозы и колхозы, а никак не через Личность пахаря, общество может прийти к благосостоянию».

Он еще не был готов к тому, чтобы предложить свою доктрину (все мы по каплям выдавливаем из себя рабов, да никак выдавить не можем — сколько лет уже, чуть не весь двадцатый век!), но и не мог соглашаться с тем, куда повернул Хрущев: началось новое отчуждение крестьянина от последних остатков собственности, хоть и бескровное, отличное от ужаса коллективизации, но, тем не менее, безнравственное по своей сути, форма цивилизованного сталинизма (если, впрочем, таковой возможен). И если кровавый вихрь коллективизации (точнее — уничтожение крестьянства как основополагающего фермента общества) можно было свалить на инокровный элемент, злокозненных и вездесущих жидомасонов, п р о б р а в ш и х с я в ЦК в Октябре семнадцатого или того ранее (вокруг Ленина много ю р к и х роилось), то на кого сваливать эксперименты шестидесятых годов, когда страной правили русские и — в какой-то мере — украинцы?

Примкнул к антихрущевскому заговору Андропов и потому еще, что Никита Сергеевич, героически провозгласивший (наперекор могущественным адептам жесткого курса) борьбу со сталинским культом, сам начал сползать в реанимацию этого же культа: три геройские Звезды; фильмы, посвященные его семидесятилетию;

симпозиумы ученых о его теоретическом вкладе в сокровищницу марксистско-ленинской мысли, премии мира — все это было чуждо Андропову и как политику, и как личности.

Зная незлобивость Брежнева, лояльность по отношению к коллегам, сентиментальную чувствительность (это, кстати, несколько пугало, лидер должен быть логиком, открытым всем точкам зрения и поэтому чуждым сантиментам, которые таят в себе примат личных привязанностей), Андропов все же решил поддержать его, тем более что тот обещал полную свободу рук Косыгину с его экономической реформой, призванной передать предприятиям права на действия, а не на слепое выполнительство пробирочно спланированных приказов, спущенных из центра...

Первую зарубежную поездку Брежнева и Косыгина в социалистические страны организовал именно он Андропов.

В передачах Центрального телевидения было видно невооруженным взглядом, как д а в и л Косыгин, — своей неторопливой убежденностью, точностью формулировок и совершеннейшим спокойствием, в то время как Брежнев страшился камеры, фразы вязал с трудом тушевался, хотя внешне явно выигрывал, — широкая улыбка, ямочки на щеках, заинтересованная доброжелательность; Косыгин был сух, с годами его сходство с Керенским сделалось совершенно разительным, одно лицо, разве только не было постоянного п о р ы в а, столь свойственного первому русскому социалистическому премьеру.

В следующую поездку Брежнев отправился уже один· Косыгин явно мешал ему. Андропов не просто почувствовал это, он это узнал от своих коллег в социалистических странах; тогда именно он и написал свои грустные стихи: «Бывают всякие напасти, да, люди часто рвутся к власти, но и такая есть напасть, что люди сами портят власть»

Аналитик, он понял стратегию Брежнева, когда тот п о д т я·н у л Щербицкого, битого Хрущевым; Рашидова — подружились в Средней Азии; Кунаева, который работал с ним бок о бок во время «ссылки» в Казахстан после смерти Сталина; передвинул из ВЦСПС на Москву Гришина, одним из первых начавшего славословие нового в о ж д я; ввел в ЦК Романова, поставил на важнейший отдел в аппарате Черненко — стародавнего помощника, работавшего п о д ним в Кишиневе; оттуда же

перетащил Щелокова, поставив его на ключевой пост министра охраны порядка, обладавшего правом отдавать приказы внутренним войскам и дивизии имени Дзержинского, расквартированной в Москве.

Именно тогда Андропов впервые задумался о державной концепции «стаи». Сталин захватил руководство вместе с теми, кто был с ним на критических рубежах истории. Молотов в семнадцатом еще занимал, как и он, антиленинскую позицию в вопросе войны, мира и сотрудничества с Временным правительством. Тащил Ворошилова, Буденного и Мехлиса, работавших с ним в Царицыне, откуда их всех вместе с треском отозвал Ленин; двигал вверх Маленкова и Ежова, прошедших обучение в его секретариате.

Так и Брежнев начал собирать с в о и х, именно тех, кто был верен ему л и ч н о; воистину инстинкт стаи.

Хрущев на такое не шел; после того как убрал Молотова, Кагановича, Маленкова, Булганина, Шепилова, Первухина, Ворошилова и Сабурова, всю сталинскую рать, работал с теми, кого в ы н е с л о наверх, не очень-то конструировал с в о е большинство, полагался на то, что пришедшие вновь — с ним, и не потому, что он их назначил, но оттого только, что верны предложенному им курсу... Лишь с Жуковым и Фурцевой он поступил по-византийски, потеряв, кстати, в их лице своих наиболее надежных сторонников... (Не тогда ли Суслов начал плести силки дворцового переворота?!)

Анализируя неторопливую, аппаратно-кадровую политику Брежнева, его кошачьи, осторожные подвижки, Андропов понял, что тот работает методами Сталина, — поры двадцатых годов, когда все перемещения верных людей в конструировавшейся партийно-государственной Системе осуществляли Каганович и Куйбышев, ведавшие л и ч н ы м и листками, хранившимися в оргинструкторском отделе ЦК на Воздвиженке.

Поняв это, Андропов предпринял первую попытку спрогнозировать будущее: Брежнев, видимо, плавно спустит на тормозах решения XX и XXII съездов; чувство благодарности было присуще ему; Сталин был его кумиром времен войны, Сталин переместил его из Кишинева в Кремль, сделав секретарем ЦК, он не станет завершать начатое Хрущевым дело, он, наоборот, отдаст должное памяти великого кормчего, народу это угодно, дрожжи традиционного самодержавия и оскорбленного в своей вере чувства народа («мужик, что бык, втемяшится в

башку какая блажь, колом ее оттудова не вышибешь») дадут ему, продолжателю великого дела, политический барыш — «прилежен памяти»; за это одно многое простится и спишется, особенно когда экономика затрещит по всем швам.

Андропов не ошибся в прогнозе — дело пошло именно так, как он и предположил...

Оставаясь секретарем ЦК по связям с социалистическими странами, Андропов продолжал отстаивать линию XX съезда; это был вызов — молчаливый, корректный, но совершенно очевидный.

Убирать Андропова — всего через два года после октябрьского заговора — было не так-то просто: новый вождь обещал аппарату спокойствие и стабильность, он должен держать слово; спасла матерь Византия: либерала переместили на площадь Дзержинского.

Андропов ответил по-своему: «Ни одна политическая акция — будь то процесс типа Синявского и Даниэля, размещение ракет на Кубе или операция в регионе Среднего Востока — не может быть осуществлена без соответствующего решения Политбюро; за деятельность Комитета отвечает партия, она же обладает правом и обязанностью постоянного контроля, как, впрочем, и Прокуратура Союза».

Этот его мягкий ультиматум, аккуратно упакованный ссылками на труды Ленина, было трудно не принять.

Приняли, полагая, что Цвигун и Цинев смогут предложить новому председателю свои условия игры, профессионалы, на них лежит вся текущая работа, поди уследи, что делается во всех кабинетах Дома.

(Он, тем не менее, у с л е ж и в а л; стань любой другой на место Андропова, в стране бы полилась кровь, как в тридцатых; в России порою куда важнее не дать свершиться массовому террору, чем сделать решительный шаг вперед к прогрессу; рискованно; чревато откатом в прошлое; ужас стал привычным, благо — зыбко-загадочным, страшно в него верить.)

Став председателем КГБ при Совете Министров, аккуратно лавируя между Косыгиным, Сусловым и Брежневым, Андропов, тем не менее, смог убрать странно звучавшее «при»; появился КГБ СССР; войдя в Политбюро наравне с Громыко и Устиновым, они создали свое, наиболее оперативное подразделение в Системе, даже на трибунах кремлевского зала сидели вместе, «могучая кучка», триумвират.

Понятие «текучка» Андропов исключил из лексикона, замкнул дела на себя.

Именно ему на стол пришла информация о генезисе Щелокова: приехал в Москву с множеством планов по реконструкции системы внутренних дел, повороту к общественности, связям с творческой интеллигенцией, но постепенно его окружение начало создавать вокруг новоявленного генерал-полковника ореол выдающегося партийно-государственного деятеля; начались подношения — на первых порах безобидные хрустальные вазы с портретами ко дню тезоименитства, уникальные ружья, а там уж до японской аппаратуры недалеко, до «мерседесов», «БМВ», квартир родственникам... У Брежнева было сто семьдесят с в о и х, прикрепленных к кремлевскому спецпитанию; Щелоков прикрепил к министерскому спецбуфету всех родственников; теща, Галина Ивановна, гоняла шоферов с пайками: «У, власть ваша паскудная, даже колбасу не умеет сделать нормальнóй, один крахмал! Пожить бы вам, как при царе-батюшке люди жили!»

Выходить с этими с и г н а л а м и на Брежнева было невозможно: тот держал на даче подарочные «роллс-ройсы», по двести тысяч долларов каждый, гоночные звероподобные «альфа-ромео» и штучные «даймлеры»... В коллекции ружей хранились «Черчилли», «Пёрде», «Перле», нет им цены; потом пошли подношения изумрудами, бриллиантами, сапфирами — в доме повешенного не говорят о веревке...

...Несколько раз Брежнев вызывал Андропова, ласково уговаривал его принять погоны генерала армии, большую Звезду; тот отказывался наотрез, не входило в систему его представлений о личности современного политика. (Сын, Игорь, подарил ко дню рождения одно из первых изданий Плеханова о роли личности, самый дорогой подарок, перечитывал в который уже раз.) Брежнев сыграл обиду: «В какое положение ты ставишь меня, в конце-то концов?!» Андропов пожал плечами: «Но я никогда эту форму не стану носить». «Да ходи хоть в пижаме!» — Брежнев усмехнулся. А вскоре такие же генеральские звезды получили Щелоков, Цвигун и Цинев — всех уравнял Леонид Ильич, никакой разницы между членом Политбюро и рядовыми членами ЦК; вот как надо сажать либералов на задние лапы, вот оно — искусство византийской власти...

Андропова, как и всех в стране, шокировали герой-

ские звезды нового в о ж д я, литературные и прочие премии, не меньше, чем фильмы о Щелокове, снимавшиеся к его очередному юбилею; он все чаще вспоминал октябрь шестьдесят четвертого, слезы Хрущева на Пленуме ЦК, и в сердце его рождалось ощущение трагической и непоправимой безысходности...

Он трудно скрывал свое отношение к Щелокову; первому лицу, увы, был обязан — правила игры; держался, как мог, но именно потому, что внешне держался вполне спокойно, не имел права в ы п л е с н у т ь, болезнь шла вовнутрь, жгла его, каждодневно и ежечасно пепелила. Особенно резко обострилась в семьдесят пятом, когда Шелепин разослал членам Политбюро записку о новом культе — на этот раз Брежнева... Поддерживать Шелепина было поздно уже: окруженный Кириленко, Сусловым, Кунаевым, Щербицким, Романовым, Гришиным, Тихоновым, Гречко, Черненко, Щелоковым, в о ж д ь теперь был недосягаем. Пришла пора и г р ы: не перечить, когда выносилось постановление об очередной звезде, не возражать против публикации теоретических трудов о выдающемся вкладе в сокровищницу, но, наоборот — зная о настроениях в массах — способствовать этому шабашу честолюбия, нацелив себя на будущее; воистину, приказано выжить...

Однажды, занедужив, Андропов приехал домой днем; возле лифта толкались три милицейских чина, генерал и два подполковника: загружали огромные вазы, оленьи рога, живопись (портреты щелоковской жены и невестки). Вспомнил, что секретарь утром оставил на столе записочку, — у министра внутренних дел сегодня день рождения; поздравлять — мука; говорить обязательные в таких случаях слова — язык не повернется, учиться начальственно-лакейской науке не уважать себя было противно его существу; поступаться можно многим, только не основополагающими принципами; решил дать телеграмму; впрочем, это еще рискованнее — Щелоков немедленно покажет всем: «мы с Андроповым неразлива́нны»...

Он держал в своем огромном сейфе (остался в кабинете от Дзержинского) оперативную информацию не только на Гречко, Рашидова, Кунаева, Щелокова, с Запада приходили сообщения и о других; о Первом Лице тоже: когда, где, кто, сколько.

Этой информацией Андропов не мог делиться ни с

кем; она жгла руки и рвала сердце; порою его охватывало гулкое, безнадежное отчаяние.

Желание выйти на трибуну Пленума становилось все более неподвластным ему, хотя он прекрасно понимал, что тщательно подобранное большинство освищет его и сгонит с позором, прокричав при этом начальственным уголовникам, обиравшим страну, подобострастное «многия лета», — а внутренние войска Щелокова позаботятся о том, что должно произойти следом за такого рода выступлением.

Все чаще и чаще он ощущал себя пленником обстоятельств; в ушах звенело постоянно повторяемое Сусловым и Брежневым: «Только психи могут выступать против того спокойствия, которое наконец воцарилось в стране; несчастным надо помогать в больницах»; с каким трудом удалось спасти от психушки Виктора Некрасова?! Генерала Петра Григоренко травил лично Епишев, ставленник Брежнева, второй человек в Министерстве обороны, к о м и с с а р: «Сумасшедшего надо лечить, он не ведает, что несет!»

Сын и дочь принесли Андропову книги Бахтина — дворянин, репрессированный, ютился в каком-то крохотном городишке, жил впроголодь.

Андропов прочитал книгу Бахтина в воскресенье, а в понедельник приказал найти квартиру для писателя: «Нельзя же так разбрасываться талантами, это воистину великий литературовед».

Позвонили от Суслова (непонятно, кто н а с т у ч а л?!); разговор с Михаилом Андреевичем был достаточно сложным, главный идеолог считал Бахтина опасным, чересчур резок в позиции, бьет аллюзиями. Андропов, однако, был непреклонен: «Михаил Андреевич, я подчинюсь лишь решению секретариата ЦК, речь идет о выдающемся художнике, не так уж у нас много таких, истинную цену «выдающемуся стилисту» Маркову вы знаете не хуже меня».

А на стол каждый день поступала информация о крахе экономики страны, о тотальной коррупции и взяточничестве, но при этом мелькали такие имена, которые составляли цвет брежневской гвардии, его надежду и опору, — табу, не тронь, сгоришь!

Глухой ропот в народе и был р о п о т о м — не страшно, пусть себе, главное, чтоб недовольство не оформилось в идею, не стало Словом. А Словом владеют интеллигенты, кому Бог силы не дал — наградил умом,

а ум — разрушительная сила, от него горе, верно Грибоедов писал...

Суслов внимательно читал сводки, держал руку на пульсе происходящего, изучал критические выступления инакомыслящих, особенно Солженицына, Сахарова и братьев Медведевых; труды Чалидзе и Некрича вниманием не баловал — ч у ж а к и; с Солженицыным во многом соглашался и поэтому все жестче и круче требовал принятия мер против него. Андропов провел через Политбюро повторное решение: КГБ не вправе провести ни один арест, не получив на то соответствующего постановления Прокуратуры; наиболее заметный диссидент может быть арестован лишь по согласованию или постановлению ЦК; «слово партии прежде всего». Казалось бы, простецкое решение, однако прохождение было трудным: номенклатурные мудрецы раскусили андроповский ход,— тот умывал руки, легко ставя над собой и ЦК, и правоохранительный орган, призванный надзирать за соблюдением норм, записанных в кодексах и Конституции...

Чем жестче был нажим Суслова, тем последовательнее Андропов подчеркивал в своих выступлениях, что КГБ работает под руководством партии и выполняет лишь указания ЦК, — никакой возврат к тридцать седьмому или пятьдесят второму году невозможен, каждый шаг подотчетен...

Когда он был на отдыхе в Кисловодске, позвонил дежурный по КГБ: «Выставка абстракционистов снесена бульдозерами».

Обычно сдержанный, научившийся прятать истинные чувства под личиной снисходительного юмора, Андропов тогда сорвался:

— Какой идиот посмел сделать это?! Какой кретин решился на эдакий неотмываемый вандализм?!

Дежурный аккуратно кашлянул в трубку:

— Указание члена Политбюро ЦК товарища Гришина..

...Андропов располагал информацией, что ряд м о л о д ы х были противниками вторжения в Чехословакию; тридцатисемилетний секретарь Ставропольского горкома Горбачев встретился со своим соучеником по юридическому факультету Млынаржем, ставшим секретарем ЦК Чехословацкой компартии при Дубчеке; во время беседы поддерживал «Пражскую весну», бесстрашно говорил, что «нас ждет такой же процесс, надо к нему готовиться загодя»; человека этого Андропов запомнил, такие —

редки, увы; куда как легче бездумно повторять лозунги, никто не подкопается...

Стань эта информация известна Брежневу и Суслову, никогда бы Горбачев не был передвинут в ЦК...

Так же, как и тогда, в Кисловодске, Андропов сорвался в разговоре по ВЧ с Андреем Павловичем Кириленко; осень семьдесят девятого года, проблемы Афганистана:

— Хотите, чтобы мы получили свой Вьетнам?! Понимаете, к каким последствиям приведет высадка наших войск в Кабул?! Отдаете себе отчет, что мы там завязнем?! Это же любительство, а не политика!

Однако (и в этом Андропов, как и все люди его поколения, был убежден) он не смел даже допускать и мысли о том, чтобы саботировать решение большинства; все чаще вспоминал слова Троцкого, стоившие ему жизни: «Права или не права партия, но это моя партия, и я обязан выполнять все ее решения...»

А Брежнев между тем, купаясь в сусловской пропаганде, уверовал в себя окончательно, любовался авторскими экземплярами с в о и х книг, оглаживая тяжелой рукой сафьяновые переплеты, перечитывал страницы, шевеля потрескавшимися губами, и как-то по-детски дивился с в о е й смелости в отдельных пассажах (Суслов отредактировал те фразы, в которых «писательская бригада» забивала положения об инициативе и собственности; инициативу Михаил Андреевич пропустил, «собственность» почеркал: «Век должен пройти, прежде чем наше общество согласится на то, чтобы спокойно обсуждать смысл русского слова «частная», слишком много н а с л о е н и й»). Иногда Брежнев засыпал со своей книгой на коленях; Виктория Петровна тихо плакала, глядя на любимого; победив Шелепина, Леонид Ильич резко сдал; раньше надо было постоянно чувствовать мышцы спины, быть собранным, пружинным; теперь же, ощутив надмирность, одинокую, плывущую величавость, он позволил себе расслабиться, а это бьет по организму — настоящий спортсмен умирает во время тренинга, тот, кто лег на диван, — уходит раньше...

Он лишь изредка зажигался, становясь прежним Брежневым: то, когда Алиев преподнесет перстень, — очень идет лидеру рабоче-крестьянской партии, то, раскатывая по дорогам дачи на штучном лимузине, отделанном внутри красным деревом, — новый подарок Хаммера, то, включая макет Москвы, усеянный драгоценными самоцветами светофоров.

Будет ошибочным считать, что Брежнев не знал о ситуации в стране. Знал, дети ему говорили. Он, однако, достаточно устал от тридцатилетней изматывающей борьбы за лидерство; теперь борьба кончилась; Андропов бессилен предпринять что-либо, ибо окружен его гвардией — Цвигун и Цинев не спускают с него глаз; рядом с Устиновым сидит верный ему Епишев, первый заместитель, комиссар, без его визы ничто и никто не двинется в армии; Щелоков — хоть и безумствует со своими артистами, что мутят в стране воду (жили б как все, а то сами нервничают и народ баламутят, безумцы), — крепко держит в руках аппарат внутренних войск, а с тех пор, как Зять стал его первым заместителем, каждый шаг ш а л у н а известен в доме, да и дети за него горой, балует их, позволяет все, что захотят; не надо бы так, но, с другой стороны, если мы не имели молодости, прошла в борьбе за хлеб насущный, который только должность гарантировала, то им-то можно пожить всласть, жизнь ведь быстролетна...

Когда однажды Андропов т р о н у л на Политбюро вопрос о теневой экономике, о том, что в ряде регионов страны произошло сращивание разветвленной мафии с аппаратом Системы, причем в Сочи, как и в Днепропетровске и Ростове, нити ведут к воротам государственных дач, Брежнев повторил обычное:

— Не надо раскачивать лодку... Обобщения — опасны... Можно разбираться с отдельными случаями, но делать в ы в о д ы — преждевременно, пусть аппарат работает спокойно, он наша надежда и опора...

Суслов молчал: с о з д а в образ Брежнева, он оказался им же и раздавленный; голосовал против предложения Андропова; арест директора Елисеевского магазина ЧК пришлось проводить без санкции члена Политбюро Гришина — не позволил бы; так же — без санкции партийного руководства — был взят сочинский городской голова Воронков; началась о б х в а т ы в а ю щ а я, внешне, правда, незаметная, затаенная атака на брежневскую коррупцию; Андропов п о д в и н у л к этой работе Прокуратуру, вычленив изо всех замов одного — Найденова; подсказал ему направление удара, снабдил материалами, но сам в эту драку не лез — за Медуновым и иже с ним стоял аппарат, не сладить, сомнут...

...Случай действительно закономерен в такой же степени, как закономерна случайность.

Лениво отмахиваясь от текущих дел, новый в о ж д ь

подолгу жил на своих дачах, все чаще и чаще просил показывать ему те фильмы, которые полюбил с молодых еще лет; растрогался после «Тихого Дона», повелел наградить исполнителя главной роли орденом Ленина и званием народного артиста СССР — одновременно, такого раньше не бывало: «уж больно хорошо этот Мелихов играет, надо отметить»; после любимого «Зигмунда Колосовского» посмотрел «Подруги» с Зоей Федоровой; поплакал; Андропов, узнав об этом, нажал: Викторию Федорову, дочь актрисы и адмирала, выпустили в Штаты, к отцу; «угодно духу хельсинкских соглашений, Белый дом оценит такой жест Москвы».

Кто-то, запамятовал, кто именно (наверное, дети), похлопотали за саму Зою Федорову в восемьдесят первом: «мать не пускают в гости к дочери, в Америке может начаться очередная кампания»; Брежнев поинтересовался, сколько актрисе лет; ответили, что за семьдесят; сказал — обратиться к помощнику по культуре Голикову, разберется; тот р а з о б р а л с я: «с ней дело плохо, организовала побег дочки, сейчас имеет дело с отказниками, говорят, через ее руки проходят миллионы, распределяет деньги тем, кто ждет выезда, да и ей помогают, рука руку моет».

Брежнев повелел, чтобы уточнили; можно б помочь: старуха, какой от нее вред?

В одночасье начался скандал в доме — на этот раз с артистом Буряцей; краем уха Вождь услышал, как говорили, что ц ы г а н знаком и с Зоей Федоровой; того, что касалось близких, не забывал никогда, становился внимательным, постоянная сонливость слетала вмиг, глаза делались прежними, зоркими; начинал подолгу смотреть на свое отражение в зеркале — перед каждым Пленумом так с о б и р а л с я (вспомнил, как брат, крепко поддав, позволил себе шутку: «Лень, про тебя говорят — «бровеносец в потемках»; отлучил на время; дурак, знай, что можно позволять при гостях).

— Пока во всем не разберутся, никуда эту Федорову не отпускать, — сказал, как отрезал.

Между тем, наблюдая за ростом коррупции и мафии, понимая, что страна катится в пропасть, Андропов, закрепив свои позиции в Прокуратуре, решил, что настало время переходить к решительным действиям, ибо вся Москва уже говорила о том, что дочь Генерального секретаря проводит дни и ночи в обществе Буряцы, а тот, как сообщали информаторы, связан с людьми,

имевшими выходы на коррумпированное подполье; сделки заключались миллиардные, был задействован высший эшелон Системы.

Аккуратные попытки подтолкнуть к действиям Щелокова успехом не увенчались: тот тормозил дело, говорил, что надо тщательно перепроверить полученные сообщения, возможно, кто-то хочет бросить тень на семью Вождя, можно допустить, что все это — дьявольская работа сионистских западных спецслужб, которые страшатся гигантского авторитета, завоеванного в мире добрым гением Леонида Ильича, — понятно, что это бесит противника, следовательно, возникшая ситуация должна быть подконтрольна лишь ЧК, а никак не Министерству внутренних дел.

Андропов согласился с такого рода концепцией Николая Анисимовича, попросил его, однако, не отказываться от совместных проработок отдельных эпизодов, и в тот же день поручил Цвигуну осуществлять руководство операцией, заметив при этом, что на нем, Семене Кузьмиче, лежит прямая ответственность за то, чтобы Генеральный секретарь был в абсолютном неведении о происходящем: «никто не вправе попусту нервировать Леонида Ильича, нам слишком дорого его спокойствие».

Этим он отрезал все пути Цвигуну и Щелокову идти с челобитной к Брежневу: «сами принимайте решения, сами выносите рекомендации, решать буду не я, а ЦК, слишком сложное дело...»

Андропов понимал, что каждый его шаг и поступок подконтрольны; он жил в состоянии постоянной круговой обороны; неожиданный для всех арест Буряцы, проведенный Прокуратурой и следственным отделом КГБ в январе восемьдесят второго года, — вскоре после того как была ограблена укротительница тигров Ирина Бугримова, казалось бы, частный эпизод, стоявший, тем не менее, в одном ряду с делом Федоровой, — повел к непредсказуемым последствиям.

(Как только Андропова с помпой проводили из ЧК на место Суслова, новое руководство КГБ сразу же передало Буряцу уголовному розыску со строжайшим указанием Щелокова подойти к делу неординарно...

Казалось бы, скандал был погашен, но, тем не менее, Брежнев по-прежнему не принимал Щелокова, хотя тот нажал на следователей, и статья, по которой Буряца был взят КГБ и Прокуратурой, была заменена на другую, значительно более легкую...

А перемещение Андропова вверх означало, что он теперь обязан курировать не только идеологию, но и внешнюю политику, — то есть своих прежних коллег по триумвирату, Громыко и Устинова; разделяй и властвуй; в Кремле они теперь сидели поврозь — Громыко и Устинов, как всегда, вместе, Андропов — возле спящего Брежнева и бойкого Черненко; ЧК, таким образом, от борьбы с коррупцией была устранена; на этот раз пронесло...)

Борьба за власть входила в решающую фазу, и, ясно, победить в этой борьбе обязаны Черненко или Гришин, но никак не Андропов, — ч у ж а к.

...Хренков, он же Витман, он же Сорокин, узнал об этом через вновь налаженные связи: ниточки-то высоко тянулись, вокруг д е т е й бродили свои люди, выходившие на вельможных массажистов, ясновидящих, поваров, министров, секретарей, певцов, к а т а л, педикюрш, гадалок, портных, скорняков, танцоров, актрис, фарцовщиков, академиков и шоферов — вот они, истинные источники информации, да здравствует информационный взрыв!

13

— Полагаете, что я должен отвечать на ваш вопрос? — Костенко закурил, не спуская глаз со Строилова. — Это что-то новое в сыске... Раньше каждый из нас имел право не называть своих источников информации...

— Вы и сейчас обладаете таким правом, Владислав Романович, — ответил капитан. — Тем более, вы не состоите в штате... Речь идет о другом... Варенов исчез...

— То есть? Убили, что ль?

— Нет...

— Входили в квартиру?

— Нет. В квартиру пока не входили, чтобы не засветить... Но на телефонные звонки он не отвечал — ни утром, ни днем, в квартире царит полнейшая тишина, из з н а к о м ы х нам боевиков в подъезде никто не появлялся...

— Через чердак могли попасть!

Строилов кивнул, посмотрев при этом на своих молодых коллег:

— Именно эту возможность мы и просчитали... На чердаке обнаружили следы, ночные следы, которые вели от подъезда Варенова к тому, где есть выход во двор, к продуктовому магазину... Нашли его пальцы на люке, который ведет именно в тот подъезд, следы совершенно свежие, идентифицированы. Значит, он с в а л и л... Я не хотел обращаться в прокуратуру за постановлением на обыск в его квартире, за его берлогой постоянно смотрят люди Сорокина, мы их уже установили, нити завязываются на некоего Рославлева Павла Михайловича... Мы взяли его в наружное наблюдение, выходов пока что, во всяком случае, ни на Никодимова, ни на Сорокина — нет.

— Знаете что, — задумчиво сказал Костенко, обращаясь к сыщикам, — я бы просил вас оставить меня — на пару минут — наедине с руководителем группы.

— Пожалуйста, не сердитесь, друзья, — сказал Строилов, посмотрев на Костенко с некоторым удивлением; дождавшись, пока все вышли, заметил: — Верные же ребята, Владислав Романович... Зачем вы их так?

— Только затем, что не хочу вас подводить под монастырь... Вы б меня лучше отчислили, капитан, пойдет на пользу дела, право... Я установил адрес Хрена так, как считал нужным, единственный шанс... Вы бы пошли за Дэйвидом, считая, что он вас выведет на Сорокина... Я тоже допускал такое вероятие, но мне хотелось исключить малейшую возможность провала — мы имеем дело с профессионалом... Если станет известно, к а к ваш консультант получил информацию о квартире Сорокина, — с вас сорвут погоны...

— Пусть. Главное, что меня интересует: Варенов жив?

— Был — во всяком случае... Уйти мне из вашей группы надо потому еще, что я хочу задействовать связи моих друзей... И не здесь, а в Нью-Йорке... Вы понимаете, что вам и вашим сотрудникам — а я им, хоть и внештатно, пока что являюсь — надо согласовывать такую операцию. И не дни на это уйдут, а недели.

— Я готов поручить вам отладить такую связь... Я не боюсь ответственности... Заканчиваю докторскую, так что — в случае чего — найду работу юрисконсульта...

— Вы умеете играть, как оперативник старой школы...

— Не люблю слово «оперативник»... Предпочитаю — «сыщик», традиционно и в десятку.

— Верите людям, Строилов?

Капитан откинулся на спинку стула:

— Скорее «нет», чем «да».

— А вот я, старый дурак, верил.

— Вы не были сыном репрессированного, Владислав Романович... А я это с детского дома помню... Не со школы или университета, а именно с детского дома... Постарайтесь меня понять.

— Понял... Мне верите?

— Да. Другое дело — вы не очень-то верите мне.

— В чем-то — нет.

— Почему? Я дал какие-то основания?

— Пожалуй, что нет... Просто я привык к постоянным подножкам начальства... А вы мой начальник...

— Улика весьма чувственна, — усмехнулся Строилов. — Женственная, сказал бы я.

— У вас детский дом, у меня опыт тридцатипятилетней работы в системе: мы ж все друг друга харчим, закладываем, подставляем... При генетически общинно-коллективистской традиции на практике мы злющие индивидуалисты, разобщены, словно гиены: все друг дружке враги, глотку готовы перегрызть по любому поводу...

— Жизнь трудная, Владислав Романович... Бытие определяет сознание... В очередях люди научились ненавидеть друг друга, особенно тех, кто стоит впереди...

— Накануне нашествия Чингисхана очередей, сколько мне известно, не было... Завоевали нас только потому, что князья катили бочки друг на друга... Князей нет, а в остальном картина не изменилась... Ладно, капитан, обменялись мнениями, и — слава богу... Зовите людей, неловко...

Строилов поднялся, распахнул дверь, пригласил своих сотрудников, извинился за то, что заставил ждать, и продолжил — будто и не прерывал совещания — повторением той же фразы:

— Пожалуйста, не сердитесь, друзья... Какие у кого соображения? Прошу...

— Товарищ капитан, — Костенко поднялся с подоконника, — как с моим предложением?

— По поводу того, чтобы задействовать ваши связи в Нью-Йорке? Информация на Джозефа Дэйвида?

Зачем он все раскрывает, подумал Костенко; нельзя ж так все вываливать! А может, их поколение по-новому строит комбинации? Нет, но откуда во мне такое страш-

ное, пепелящее чувство недоверия ко всем?! Я ж никому не верю! Никому! Ты веришь, возразил он себе; ты по-прежнему веришь, просто за эти дни тебе открылось много такого, о чем ты не знал, и ты испугался и поэтому пригибаешься от каждого произнесенного слова... Ты боишься, признался он себе, что один из этих славных парней может быть связан с тем, кто расскажет о совещании другу, а тот — подруге, а подруга — еще одной подруге, и это дойдет до Сорокина: у него хорошие уши и длинные руки, на него работает С и с т е м а, не кто-нибудь.

Костенко молча кивнул, разъяснять ничего не стал.

— По-моему, интересное предложение, — сказал Строилов, обводя взглядом лица коллег. — Ни у кого возражений нет?

Самый молоденький паренек в джинсовом костюме, что сидел у двери, спросил:

— Каким образом полковник намерен задействовать американцев?

Строилов наконец улыбнулся:

— Нам был дан ответ: «источники информации обсуждению не подлежат, расшифровке — тоже»...

Костенко заново обсмотрел сидевших в комнатке Строилова, ощущая неловкость за то, что с м е л не верить им, а потому — бояться; он хотел сказать что-то этим ребятам, напряженно ждавшим от него хоть какого-то слова, как-никак, живая легенда; «давайте выпьем за тех, кто в МУРе, за тех, кто в МУРе, никто не пьет»; за него как раз пили, ему и песня эта посвящена, так, во всяком случае, утверждали старожилы НТО; он, однако, ничего не сказал, только дверь распахнул рывком, как-то грубо, но в этой грубости была видна растерянность.

Строилов проводил его взглядом, хотел было продолжить совещание, но, заметив в глазах сыщиков мольбу, поднялся и побежал следом за Костенко.

Он нагнал его уже у лифта, тронул за локоть:

— Если я вас чем-то расстроил — простите, пожалуйста...

— Да будет вам, — вздохнул Костенко. — Ничем вы меня не обидели, просто очень страшно стареть... Знаете, как об этом сказал де Голль?

— Откуда мне...

— Он сказал: «Старость — это большое кораблекрушение»...

Строилов достал из внутреннего кармана конверт и протянул его Костенко:

— Что делать с этим?

Костенко открыл конверт, увидел дактилоскопию, справки НТО и картотеки: «Отпечаток пальца принадлежит Налетову Дмитрию Дмитриевичу, клички Паташон, Зверь, Артист...

— Где сняли палец? — спросил Костенко, почувствовав, как ухнуло сердце.

— А вы как думаете?

— Наследил у Варенова? Но вы ж к нему не входили...

— На косяке двери...

— К делу подшили?

— Нет. Жду ваших рекомендаций...

— Кто проводил экспертизу?

— Галина Михайловна.

— Народу было много?

— Одна... Ее страховал один из моих мальчиков.

— Верите ему?

— Как себе.

— Можете дать эту дактилоскопию мне?

— Да.

— Понимаете, чем грозит?

— Конечно.

— Почему так легко идете на это?

— Потому что мне вас очень жаль...

— Это как понять?

— Понимать это надо так, что поколение моего отца уйдет не сломанным, со стержнем внутри, мы — дети своего времени, а оно — новое, а вот вы живете с разорванными сердцами...

Костенко вздохнул:

— Слушайте, мне очень неспокойно за вашего батюшку... Постоянно один... Можете кого-то попросить — на эту неделю хотя бы — посидеть с ним?

— Кому он мешает?

— Сорокину. Как и Федорова ему мешала... Чекисты сказали, что на процессе Сорокина не было ни одного свидетеля, — только документы, страницы следственных дел... Ни вашего отца, ни Зою Федорову, ни Лидию Русланову отчего-то на процесс не вызвали — а ведь они убойные свидетели... Выступи они против него, он бы не девять лет получил — а он получил именно девять, Мишаня Ястреб ошибался, — а все пятнадцать... Рома-

шов сейчас выясняет, кто отвел свидетелей... Скажете: «срок давности». А существует ли он — по отношению к такого рода преступлениям?

...Степанов долго чертыхался, — «нет времени, Славик, зашиваемся»; потом, однако, согласился:

— Я позвоню американским коллегам отсюда, подъезжай, зануда.

— Знаешь, что такое «зануда»?

— Знаю, знаю, — это человек, который подробно, в течение получаса, отвечает на дежурный вопрос «как дела?»...

...В редакции у Степанова было как в Содоме и Гоморре; в крошечной двухкомнатной квартирке работали двенадцать человек.

— Здесь у нас и газета и журнал, — пояснил Степанов. — По советским стандартам надо держать в штате душ семьдесят, платить в среднем — каково словечко?! — по сто пятьдесят, только б сохранить равенство нищих, а у нас вкалывают с утра до ночи, но и получают полюдски.

— Посадят, — убежденно сказал Костенко. — Как что изменится наверху — в одну ночь заберут.

— Это у нас умеют, — согласился Степанов. — Только это будут последние посадки нашей государственности — реабилитировать нас станет государственность качественно новая... Ладно, садись и жди, сейчас приедет мой приятель, крутой американский газетчик, изложишь ему суть дела, только не хитри и не секретничай, они этого не понимают.

— Слушай, а на кой черт тебе эта суматоха? Жизнь прожил вольной птицей, зачем под занавес навесил на себя вериги?

— А кто демократии поможет? Болтать все здоровы...

— Демократии в этой стране никто помочь не в силах, — убежденно заметил Костенко. — Утопия.

...Они подружились двадцать девять лет назад, когда Степанов пришел в МУР стажером-сыщиком, после того как в очередной раз поскандалил с гаишником (мощная сила, воспитывающая среди водителей ненависть к Советам и ее зловещим детям под погонами, — нигде так не умеют унижать человеческое достоинство, как у нас, особенно на нижних этажах власти, абсолютная всепозволенность при полнейшей всезапрещаемости). Он пришел

на Петровку, чтобы до конца утвердиться в сложившемся издавна мнении: все мусора — гады, негде пробы ставить.

И навсегда запомнил ту ночь, что провел в дежурке МУРа, — вместе с Костенко.

Он никогда не мог забыть, как Костенко — тогда еще худенький, кожа да кости, иссиня-черноволосый, в модном переливчатом костюме и узконосых туфлях (выплачивал долги три месяца, мечтал одеваться, как Бельмондо, все те, кто рос в нищете, поначалу мечтают иметь красивые вещи) — по-волчьи крался вдоль маленького, покосившегося домишки в Тропарях, неподалеку от церкви, там в те годы была деревушка, городские огни едва виднелись...

Костенко шагал бесшумно, порою с яростью оборачивался на двух сыщиков из дежурной опергруппы и Степанова, беззвучно матерился, потому что в домишке дох Длинный, вооруженный ТТ и финкой; три часа назад угнал «Волгу», взял во Внукове промтоварный, ранил сторожа; если сейчас что услышит — станет отстреливаться, терять нечего, рецидивист.

Костенко махнул Степанову рукой, чтоб остановился в простенке между оконцами; если, спаси господь, зацепит «стажера-писаку», с него сорвут погоны, выгонят взашей, на такого рода операции вольных не берут, самореклама, сам иди под пулю, за это деньги платят, стольник в месяц, а других не тащи...

Степанов, тем не менее, поскакал за ним, больше всего страшась, что загремят пятаки в кармане, поэтому руки держал по швам, как солдат на параде.

Костенко долго стоял возле двери, что вела в комнату, задышливо успокаивая дыхание. Он не оглядывался, потому что не мог себе представить, что кто-то ослушается его и потащится следом за ним под пулю.

Степанов чувствовал, как собирался Костенко, он не отрывал взгляда от его спины, словно бы слыша в себе медленные «раз, два, два с половиной, два и три четверти»; откинувшись, Костенко жахнул в дверь каблуком, бросился в комнату, мгновенно сориентировавшись, чуть не упал на кровать, где спал Длинный, укутавшись с головой красным ватным одеялом, выбросил в падении правую руку, скользяще сунул ее под подушку, ухватил ТТ, неловко оступился, упал, стремительно перекрутился два раза и навел пистолет на бандита:

— Руки в гору!

Длинный заорал что-то, выхватил из-под матраца финку и хотел было броситься на Костенко, но запутался в одеяле и по-клоунски, беспомощно рухнул на пол.

Сыщики кинулись на него, финку выкрутили, надели наручники, бросили на стул.

Костенко медленно поднялся и с тоской посмотрел на свои переливчатые брюки: при падении вырвал кусок с мясом, ни одна штопка не возьмет, когда еще соберет б а ш л и на новый костюм?!

— Где ворованное барахло, Длинный? — спросил Костенко, не отрывая глаз от дыры на брюках.

— В сарае, где ж еще...

Костенко обернулся к сыщикам, те сразу же вышли; старуха, вернувшись из чулана, хрипло спросила:

— Натворил чего?

Костенко кивнул.

— На кого ж меня кидаешь, сы́ночка? — старуха заплакала. — Пенсии нет, помру с голоду, кто глаза закроет?

— Общественность, — усмехнулся Длинный.

— Пасть порву, — пообещал Костенко.

— Значит, в один лагерь со мной пойдешь, — огрызнулся бандит.

— Где его одежка? — спросил Костенко старуху. — Дайте ему, мамаша, пусть одевается, в тюрьму повезу.

Старуха принесла ратиновое пальто, мохеровое кашне, костюм-тройку и лаковые туфли.

Костенко покачал головой:

— Ватник ему дайте, мамаша... И сапоги... Он теперь надолго сядет.

— Это мое, — сказал Длинный, кивнув на пальто. — Заработал честным трудом, свидетелей выставлю.

— Оставь матери, продаст, харчиться ж ей надо... Кто теперь об ней позаботится?

Длинный усмехнулся:

— Власть... Она у нас добрая, всенародная.

Пришли сыщики, доложили, что барахло действительно спрятано в сарае, под дровами, все в целости, продать ничего не успел.

...Когда Длинного вывели на улицу, Костенко обнял плачущую старуху, прижал ее к себе, и Степанова тогда поразило сходство их лиц: в них была одинаково безнадежная скорбь и отчетливое понимание того, что никому, никогда, ничего не дано изменить в этом мире, — кому

что отмерено, того не избежать, как бы кто ни старался искусить судьбу...

Вздохнув, Костенко пролистал паспорт Длинного, открыл его портмоне, достал оттуда сотенную ассигнацию и подтолкнул ее старухе мизинцем:

— Возьми, мать... На первое время, глядишь, хватит, больше дать не могу, ворованные...

Старуха прижалась пересохшими губами к его руке; он руку не отдернул, смотрел куда-то в угол темной комнатушки с земляным полом, трухлявыми стенами и обшарпанными, кривыми рамами; разруха и безысходность...

В машине уже сказал Степанову:

— Сколько б ни кричали о борьбе с преступностью — с места не сдвинемся, покуда власти угодно, чтобы народ жил в нищете...

Степановского приятеля из «Пост» звали Джон Малроу...

Он внимательно выслушал Костенко; записал что-то на маленьких листочках растрепанного блокнотика, поинтересовался, получит ли его газета право «первой ночи», если он накопает серьезную информацию в Штатах; Степанов сразу же включился в разговор: «Мы опубликуем материал — если дело пойдет так, как рассчитывает полковник, — одновременно, это по-джентльменски».

На этом и порешили.

...Неподнадзорная пересекаемость судеб, рожденная встречами — запланированными и случайными, — являет собою одну из основных загадок цивилизации. Высшее таинство человечества — записные книжки с номерами телефонов и адресами; если бы какой диктатор смог отдать приказ (еще сможет, найдется такой!), обязывающий математиков просчитать на компьютерах таинственные линии общности, связывающие (или, наоборот, разделяющие) людей, составляющих те или иные государственности, то картина получится жутковатая, ибо станет ясным, что история развивается не по объективным законам, но по принципу неконтролируемых случайностей, подвластных лишь высшей логике Бытия.

Джон Малроу начинал журналистскую работу с того, что проводил дни и ночи в управлении криминальной полиции Нью-Йорка; шел шестьдесят восьмой год, взрыв леворадикального движения в Гринвич Вилледж, пре-

лестном районе огромного города, где традиционно жили художники, артисты, писатели, студенчество. Взрыв этот совпал с вьетнамской трагедией; на каждом углу продавались майки и значки: «Я люблю Хо!», «Народ, угнетающий другие народы, кует цепи для самого себя»; хорошо продавались лозунги Мао: «Империализм — бумажный тигр», «Винтовка рождает власть». Здесь же во время ночных гулянок продавали марихуану; то и дело вспыхивала белоглазая, неуправляемая поножовщина; задержанные проходили наркологический контроль — практически все ширялись.

Одновременно (словно бы заранее был разработан сценарий) в Вашингтоне начались расовые беспорядки, запылали особняки — всего в трех милях от Белого дома; столица была заклеена лозунгами: «Черные предают Америку», «Белые расисты продолжают дело Гитлера», «Цветные — главная угроза мировой цивилизации», «Евреи — наймиты масонского капитала, хайль Гитлер!».

В Вашингтоне, однако, не поддались панике; телевидение и газеты печатали фотографии улыбающегося Вилли Брандта: «Каждый настоящий социал-демократ в юности обязан пройти через леворадикальный коммунизм, естественная болезнь роста». Он сказал это, когда его сына арестовали в Западном Берлине во время демонстрации, проводившейся немецкими маоистами.

Американские политологи разработали стремительно-продуманный план: черные общественные деятели были приглашены в правительственные организации; в районах с цветным населением лидеров этнического меньшинства подвинули в мэрии; расовая проблема поэтому постепенно нормализовалась, хотя поначалу казалось — особенно натурам неуравновешенным, склонным к шараханьям, — что положение в стране вышло из-под контроля центральной власти...

Тогда-то Джон Малроу и сделал себе имя, потому что именно во время столкновений представителей закона с преступными элементами выстраивалась концепция преодоления тупиковой ситуации: власть достаточно сильна и мобильна, чтобы сдержать хаос, пока законодатели приведут основные уложения страны в соответствие с качественно новой ситуацией, создавшейся в мире.

...Джим Волл, инспектор полиции, в группе которого Малроу чаще всего пасся, сделался — по прошествии двадцати лет — большим начальником, при этом вложил свои деньги (взяток не брал, невыгодно — слишком ве-

лик риск) в акции той химической компании, где работала жена; получил крепкие дивиденды, это дало ему высокое ощущение независимости и уверенное право на отставку — в том случае, если бы приказ руководства вошел в противоречие с его принципами.

Прочитав факс, отправленный из Москвы стародавним другом Джоном Малроу, заместитель директора Волл попросил нью-йоркских п а р н е й поинтересоваться, что из себя представляет некий Джозеф Дэйвид; ответ пришел ошеломляющий; Волл немедленно послал факс Малроу: «Дело — любопытно; я не смогу рассказать того, что можно, ни по факсу, ни по телексу, хотя есть и такое, что рассказать — даже при нашем дружестве — я тебе не смогу».

Основания отвечать именно так у Волла были серьезные: оказывается, нью-йоркское бюро его к о н т о р ы уже давно присматривалось к Джозефу Дэйвиду в связи с «русской мафией», довольно крепко утвердившейся в Бруклине и на Майами.

Первые годы после выезда из Москвы Дэйвид перебивался тем, что толкал русских певцов и актеров в рестораны и на съемки в массовках; бизнес не очень-то получался; языковой барьер; учил английский по словарю, потом нанялся мажордомом к директору издательства, полагая, что, если погрузиться в англоговорящий мир, исключив общение со с в о и м и, дело сдвинется с мертвой точки. Мучительно стараясь понять босса и его гостей, тоскливо думал: «Эх, вас бы научить русскому, мы б горы своротили — с моими-то московскими связями!»; протолкнул хозяину томик мемуаров отказников, получил небольшие комиссионные; не бизнес; права на рукописи заметных людей эмиграции ему не передавали, слишком мелок; все чаще вспоминал Россию — вот где можно вертеть бизнес, если только имеешь голову на плечах...

Все изменилось в восемьдесят шестом, когда разрешили навещать родных, — сразу же полетел к сестре, та работала педиатром в Хабаровске, уезжать категорически отказалась: двое сыновей в институте, чего бога гневить?!

Дэйвид попал в поле зрения таможенного контроля, полиции и ФБР, когда он, вернувшись из очередного вояжа в Москву (это было два года назад), обратился к наиболее престижным охотничьим магазинам с предложением приобрести тульские ружья, сделанные ведущими русскими мастерами по спецзаказу. Его выслушали с яв-

ным интересом (никто так не умеет прощать коверканье своего языка, как американцы; страна интернационалистов, чистый Вавилон), попросили внести конкретные предложения, одобрили идею («фантастик», «марвэлэс»), но после того, как Дэйвид передал условия будущим партнерам, в дверь его маленькой однокомнатной квартиры на 23-й улице (неподалеку от отеля «Челси») позвонили около двух часов ночи; он посмотрел в глазок; на площадке стоял старик в дорогом желтом пальто ангорской шерсти, в руке трость с серебряным набалдашником; рядом с ним торчал молодой верзила в кожанке, с остервенением жевавший резинку.

— Кто? — спросил Джозеф Дэйвид, ощутив внезапный озноб. — Что вам надо?

— Меня зовут Петрилли, — ответил старик. — Я пришел к вам с добром... Это по поводу ружей... Пожалуйста, не бойтесь, отворите дверь...

— Я вас совершенно не боюсь! Почему я вас должен бояться?! Но вы не позвонили заранее и не сделали аппоинтмент... У меня гостья...

— Поговорим на кухне, — усмехнулся Петрилли. — Я тоже начинал работу в подвале, потом уж перебрался в особняк... Повторяю, не бойтесь, у нас пока нет к вам претензий. Я пришел с предложением... И зря вы сказали про девку. Лгать — дурно. У вас нет девки, мы следили за квартирой...

Словно загипнотизированный, Дэйвид открыл дверь, повторяя себе все время: «Идиот, звони в полицию! Что ты делаешь, безумец?»

Петрилли пальто снимать не стал, по-хозяйски вошел в комнату, обставленную старой мебелью, сел в скрипучее кресло; верзила замер в дверном проеме.

— Слушайте, Джозеф, вы очень молодой американец, — начал Петрилли. — Вы не знаете жизнь этого сложного города, поэтому можете наломать дров и потерять голову... ее вам просто-напросто отрежут, понимаете? Запомните, торговля оружием традиционно находится в наших руках, итальянцев. Мы выяснили, что вы не обсуждали вопрос о ружьях в русском Бруклине. Иначе бы могла начаться война. И вы бы в этой войне проиграли, поверьте. Вы решили действовать без нас — мы вам этого не позволим. Мы готовы уплатить вам пять процентов со сделки, если поможете нашим людям заключить хороший контракт с русскими оружейниками. Советовал бы вам не отказываться от этого предложения... Нам

выгодно то, что вы владеете русским, знаете русских, еще бы вам их не знать, если вы среди них выросли... При этом мы готовы помочь вам в продюсерском бизнесе, у нас и там достаточные связи. Понятно?

С трудом скрывая озноб, Дэйвид ответил:

— Я должен все взвесить. Оставьте свой телефон.

Петрилли поднялся:

— Не валяйте дурака! Мышь интересуется адресом льва. Завтра в десять вечера мои мальчики придут к вам, и вы заключите с ними соглашение... Все... Теперь можете вызывать девку — без этого не уснете...

...Девку он вызывать не стал; трясущимся пальцем набрал номера телефонов знакомых импресарио — Пантелея Давыдовского и Шпильмана; один был в Москве, пробивал гастроли Робертино Лоретти, другой вел переговоры с Еврейским театром; позвонил к Игорю; в Бруклине о нем говорили как о человеке, который знает все и всех; встретились утром, на Брайтон Бич, в центре «русского Нью-Йорка».

Выслушав бледного Дэйвида, срисовав его тонкие трясущиеся пальцы и синие обгрызанные ногти, Игорь вздохнул:

— Вы же здесь не первый год живете, Ося... Что за русская манера ухватить все самому?! В этой стране такие штучки не проходят — возьми свое, но поделись с ближним. Это только в России каждый хочет ухватить все, поэтому и здесь живут черт-те как... В одной руке два члена не удержишь...

— Какой член?! — взмолился Дэйвид. — Я же объяснил вам: пришла итальянская мафия! Они не шутят! Они хотят отнять мой кусок хлеба! Я готов поделиться с теми, кто возьмет меня под защиту. Итальянцы предложили мне двадцать процентов, это грабеж!

Игорь попросил подождать; через три часа в маленькое кафе, где они встретились, подъехал невысокий мужчина с копной негритянских волос, одет в старый свитер и истрепанные джинсы; «мерседес» (последняя модель, серебристый, тяжелый) запирать не стал — там остались два телохранителя; присел рядом с Дэйвидом на краешек стула и горестно покачал головой:

— Послушайте, не надо нас ссорить с итальянцами. Мы не хотим перестрелок. Вам предложили пять процентов со сделки, пять, а не двадцать — никогда не лгите своим, вырежем язык. Так вы соглашайтесь. Понятно? Нам отдадите два процента, три себе, хорошие деньги.

Что же касается вашего бизнеса, связанного с актерами и писателями, — мы обладаем всей информацией о вашей активности — будете платить десять процентов со сделок, мы, в свою очередь, поможем вам через наши возможности, а у нас они серьезные. При этом вы будете выполнять ряд наших просьб, которые вас ни к чему не обязывают, — во время поездок в страну победившего счастья. Я думаю, вы достаточно умны, чтобы не ответить «нет».

С тех пор Дэйвид стал курьером мафии.

Именно он заказал Хренкову (после того, как заключил с ним договор на книгу «Палач и жертва») сенсационный труд: «Советская мафия. Структура. Устав. Связи».

Именно за этой микрофильмированной рукописью он и отправлялся сейчас в Москву.

Именно об этом Волл и рассказал Джону Малроу; как все же хорошо дружить с полицией!

— Можешь назвать издателей, с кем он вел переговоры? — спросил Джон Малроу.

— Нет, малыш. Это конфиденциальные сведения.

— Но ты ведь понимаешь, что я вытопчу имена людей, которые вели с ним переговоры на издание столь сенсационных книг...

— Это будет большая ошибка, Джон, — сказал Джим Волл.

— Почему?

— Потому что за этим маленьким человечком стоят большие силы... Он не догадывается об этом, его, говоря на жаргоне, и г р а ю т... Я бы просил тебя не влезать в это дело, Джон... Ты можешь сломать операцию... Мои люди караулят его...

— Хорошо, я обещаю тебе не лезть в дело, Джим. Но тогда расскажи мне сам: какие проекты он обсуждал с издателями? Я могу быть полезен. У меня есть информация с той стороны.

— Серьезная?

— Сенсационная...

— Я весь внимание, малыш.

— Это я весь внимание, Джим. И чтобы у нас с тобой получился разговор, я назову тебе одно слово: «Хренков». Это русская фамилия. Она упоминалась в разговоре Дэйвида с издателями?

Волл открыл папку с грифом «Совершенно секретно», пролистал страницы, их было не меньше пятидесяти, остановился на последних трех, пробежал глазами, профессионально вычленяя нужные фразы, покачал головой:

— Нет, малыш. Эта фамилия не упоминалась.

— Ты должен назвать мне фамилию, которой оперировал Дэйвид! Я тогда назову тебе другие имена, это может помочь делу...

— Он оперировал фамилией русской актрисы... Мисс Зоя Федорофф, жена адмирала флота Джексона Тэйта...

Малроу покачал головой:

— Не хитри, Джим... Имя этой женщины давно известно по обе стороны занавеса... Это не есть ключ... Я обещаю тебе помочь, если назовешь человека, которого представлял Дэйвид.

— Ты никогда не был так настойчив... Завербовался в КГБ?

— Туда не вербуются... Это не наша армия... Туда вербуют... Разные состояния, Джим... Корень один, смысл разный...

— Не сердись, но я должен задать вопрос: кто оплатил твой билет из Москвы? Ты сам?

— Бедный Джим... Вы все чокаетесь к концу службы... Вы перестаете верить друзьям... Позвони моему редактору, я отправил ему факс, он оплатил расходы, связанные с моим расследованием... Это первый случай, когда ты и русские могут работать сообща... Пока они идут на это — надо рисковать, Джим... Мы боимся, они боятся, мы не верим, они не верят, пропустим момент, потом может быть поздно, у них все может быстро измениться, слишком много людей, которые мечтают все повернуть вспять... Если мы не протянем им руку, там может быть катастрофа... Придут новые коричневые, а это очень опасно для мира, Джим...

Волл поднялся из-за стола; огромный, грузный, в широких старомодных подтяжках, он забросил сильные руки за спину, прошелся по кабинету, потом остановился над Малроу и, переваливая свое огромное тело с пяток на мыски, спросил:

— Тебе что-нибудь говорит имя Айзенберг?

— Нет.

— Какие имена они тебе дали?

— Это не по правилам, Джим.

— Это по правилам. Я назвал тебе Айзенберга. Назови теперь ты.

— Дэйвид оперировал именем Айзенберга? Как автора манускриптов?

— Да.

— Он оперировал только одним именем?

— Это второй вопрос, Джон.

— Хорошо, я отвечу тебе... «Витман» или «Сорокин»... Такие имена не упоминались?

— Нет.

— Как зовут Айзенберга?

— Его имя идентично имени известного французского писателя... Если русские не играют тобой, ты должен угадать.

Малроу покачал головой:

— Мне не надо гадать, Джим. Я знаю. Этого французского писателя звали так же, как интересующего меня человека, — Эмиль.

Волл вернулся за стол, положил свои огромные руки на папку:

— Верно. Мистер Эмиль Айзенберг. По словам Дэйвида, он в ближайшее время приедет в Штаты — подписывать контракт на будущие книги...

— Одна связана с делом Федоровой, а другая?

— «Русская мафия».

— Как будет называться книга о Федоровой?

— Я не отвечу на этот вопрос, Джон... Я сказал и так слишком много... Я верю тебе — только потому и говорил, малыш... А сейчас я думаю, что не должен был этого делать...

— Но ты знаешь, как должна называться будущая книга об актрисе?

— Я знаю несколько названий... Какое выберет издательство — их дело, не мое... Меня вообще не очень интересует эта книга... Меня интересует второй манускрипт — о русской мафии... о ее с в я з я х...

— Хорошо... Я помогу тебе... Мистер Айзенберг — это, как понимаешь, псевдоним — пытал миссис Федорову.

Волл кивнул:

— Сходится... Одно из возможных названий «Палач и жертва»... Можешь передать это русским...

— А если они спросят, когда ожидается приезд мистера Айзенберга?

— В этом месяце.

— Дата неизвестна?

— Нет... И передай, что я бы хотел получить данные

о том, чем занимался в России мистер Игорь Бах, в прошлом москвич, тридцать девятого года рождения, художник, ныне — один из бруклинских мафиози, контролирует бензиновый бизнес в Майами и два рыбных дока в нашем городе...

...Через день после получения информации об «Эмиле Айзенберге» семипалатинское УКГБ сообщило, что «Сорокин Евгений Васильевич — после расконвоирования в марте 1965 года — снимал комнату в семье Фрица и Марты Айзенберг, механизаторов колхоза имени Шестидесятилетия Октября (до этого — колхоз им Берия, им. Кагановича, им. Хрущева).

Фриц и Марта Айзенберги выехали в ФРГ сразу после того, как им не разрешили прописаться в Саратовской области, где они проживали до массовой депортации немцев Поволжья летом сорок первого. Дочь, Ева, еще в 1986 году переехала в Краснодарский край, где вышла замуж за Хренкова Эмиля Валерьевича, который взял ее фамилию, эмигрировала в ФРГ следом за родителями; муж остался в СССР.

— Сходится, — сказал Костенко, возвращая Строилову информацию чекистов, — надо обращаться в ОВИРы, там где-то его фотография торчит. Вполне может быть, что он уже получил выездной паспорт... Не упустить бы...

— Готовьте запрос, — сказал Строилов. — Действительно, счетчик включен, хотя я не очень-то понимаю, отчего он так заторопился.

— На нем трупики висят, — ответил Костенко. — Мишани и Людки...

— Думаете, только их двоих?

...Из Краснодарского края сообщили, что Эмиль Валерьевич Айзенберг, пенсионер, пасечник, прописан в Привольном; большую часть времени проживает в отрогах гор — сдает мед в потребкооперацию; четыре месяца назад запросил выездную визу в ФРГ для воссоединения с семьей: его жена, Айзенберг Ева Фрицевна, выехала в Эссен в 1988 году; вызов прилагается.

...Корреспонденцию в доме Айзенберга доставала из ящика соседка, Меланья Тихоновна Божко; к ней-то и

приехал разбитной, чубатый шофер, «Здорово, бабка, не померла еще? Давай, что есть, дядьке Эмилю»..

Охапку газет, два письма и овировскую открытку передал экспедитору армавирского райпотребсоюза Гнушкину; тот зашел в кабинет заместителя председателя, следующим утром зампред отправился в Сочи, заглянул к стародавнему приятелю — в прошлом завотделом исполкома, а ныне директору кооперативного ресторана, оттуда поехали на почту и позвонили в Москву; люди из группы Строилова сразу же установили, что фамилия московского абонента была Никодимов, боевик Хренкова-Витмана-Сорокина.

Затем были зафиксированы три звонка; Никодимов связался с неким Ибрагимовым; тот позвонил Сандумяну, который и вышел на Сорокина

— Эмиль, пришла путевка в санаторий, будешь выкупать?

14

Борис Михайлович Пшенкин начал фейерверково. Его повесть о рабочих Дальнего Востока пришлась ко времени, особенно образ главного агронома — добрый, смелый, широко образованный передовик, пример для подражания, настоящий литературный герой, а не ломкий студент или страдающий интеллектуал, полный сомнений и комплексов. Повесть издали в конце шестидесятых; поросль молодых литераторов, «дети XX съезда», ворвавшиеся в литературу, когда их отцы и матери возвратились из тюрем, медленно, но неуклонно з а д в и г а л и с ь в тень. Переизданиям они не подлежали, рецензированию в газетах — тоже, незачем лишний раз напоминать читателям имена, которые должны исчезнуть. Суслов уже дал неписаную директиву поворачивать вспять, к привычному прежнему; «с критикой можем выплеснуть и ребенка; да, были отдельные нарушения законности, но не это определяло наше триумфальное движение к развитому социализму, которому ныне аплодирует все прогрессивное человечество»

Именно тогда был до конца фальсифицирован марксизм: примат «сознательности» (или «духовности») вынесли на первое место; «бытие» стало подчиненным, вторым, суетным. Один из шестидесятников пошутил: «Если, действительно, сознание определяет бытие, то пришло время распускать компартию и примыкать к Лавре или

Ватикану, поскольку это их лозунг — «Сознание определяет бытие», «Дух превалирует над Материей».

Всю нашу убогую нищету, произвол, закрытость границ нужно принять как разумную данность, благоволение, сошедшее на страну победившего счастья, а если человек не хотел согласиться с этой аксиомой, то сразу же отправлялся следом за Синявским или Григоренко.

Рокоссовский однажды сказал, как отрезал: «Недоучившийся поп пытался командовать нами, профессионалами армии».

История повторилась: такой же недоучка от религии — Михаил Андреевич Суслов, — предавший самоё доброту учения Христова, затолкал в марксистские догмы те огрызки нравоучения, которые позволяли ему и его присным, клянясь народом (в первую очередь русским, самым, пожалуй, многострадальным, если не считать тех, на кого обрушился геноцид, — карачаевцев, балкарцев, крымских татар, немцев Поволжья, греков, калмыков, турок, чеченцев, ингушей, да и прибалтийские республики с западными регионами Украины испили горькую чашу), манипулировать п о н я т и е м, требуя от людей убежденной в е р ы в то, что дважды два есть пять, а высшее счастье жизни составляет тотальная несвобода.

...Придворная критика, получив сладкий социальный заказ, подняла повесть Бориса Пшенкина до небес: и талантливо это, и смело, и недостатки показаны — но не злобно, разрушающе, а конструктивно, и характеры выписаны, и слог — в отличие от телеграфного, американохемингуёвого — самый что ни на есть народный, верный раздольным и неспешным традициям отечественной словесности.

Твардовский однажды сказал про литератора, в судьбе которого сыграл исключительную роль: «Выдержит ли у него темечко ухнувшую тяжесть нежданной славы?»

Пшенкинское темечко славы не выдержало; погарцевав на читательских конференциях, он сел за новую повесть, сконструировал ее довольно быстро, по привычной схеме: всезнающий балагур-колхозник, крутой председатель, прославившийся в войну, но чурающийся передового опыта; партийный вожак, сменивший городскую квартиру на избу (жена танцует буги-вуги, упивается отвратительным Ремарком), встретил на селе молодую ветеринаршу, свою судьбу; ну, конечно, и пьяноту Пшенкин вывел, и бабку-колдунью, что зелья знает и несет тара-

барщину, в которую, как ему казалось, он заложил глубокий, сокрытый смысл — с критикой основ марксизма... Журнал печатать его не стал: «Повторяешься»; он махнул в другое издание, там тоже отвели, толкнули в третий, противуположного лагеря — жахнули отрывок под рубрикой «Нарочно не придумаешь».

Начинались семидесятые, пришло время глухого самопознания, хоть и не разрешенного, но, тем не менее, повсеместного — все народы страны глухо роптали, дразнить их становилось все опаснее, как-никак дважды два есть четыре, а отнюдь не пять.

Как былинные плачи, так и крикливые агитки, набившие за десятилетия оскомину, не устраивали более читающую публику; ждали альтернативных героев и неординарных ситуаций; р а з р е ш е н н а я литература, вырождаясь в титулованное графоманство, молчала; люди уходили в себя, замыкались, шел подспудный раскол общества на ячейки; тех, кто отчаялся ждать и срывался на крик, — сажали, высылали или увозили лечить в психушки.

Другие, промучившись годы в ОВИРе, валили на Запад; «еврейская жена не роскошь, а средство передвижения»; левые, как и полагается спокон веку на Руси, били друг друга, словно Пат и Паташон, — на усладу зрителям; правые теснились единой группой, понимая, что любое изменение обстановки ударит в первую очередь по их позициям, — в бой ринутся интеллектуалы, связанные с наукой и техникой, люди знания, адепты а с ф а л ь т а, их на «Синь-травах» да «Багряных закатах» не возьмешь, им давай анализ и новый ритм, им, видишь ли, Петр Первый угоден, которого все истинные патриоты Державы не зря считают Антихристом за бесовскую страсть к западной гнили и небрежение к исконным традициям Государства, превращенного им в империю, где правили одни чужеземные супостаты...

Пшенкин попытался переписать повесть, но — зациклило, не мог превозмочь себя, пальцы отказывались выводить слова, что бились в голове, — дурных нет, теперь все все видят, но одни имеют силу крикнуть правду, а у других она словно комом в горле встает...

Тогда-то ему и стали объяснять, кто погубил Русь, разрушил уклад, угодный нации, перевел стрелки на чужие рельсы, что гонят в бесовскую пропасть.

Пшенкин внимал этим словам, холодея от боли и гне-

ва; сорвался, прокричал на собрании: «Кто нами правит?!»

Скандал замяли, даже в Союз писателей приняли, чтобы сподручнее было «работать» с «народным самородком»; отложив свою рукопись, Пшенкин отправился в Бюро пропаганды советской литературы и вкусил сладость беструдного заработка: выступил на заводе в обеденный перерыв, полчаса отбарабанил — вот тебе деньги; поехал куда на север — двойные; чем не жизнь?!

Но ведь память — страшная сила, в ней постоянно сокрыт взрыв: он не мог забыть рецензий на свою первую вещь, чтения ее по радио, приглашения на телевидение, в литературную передачу, всяких там диспутов в газетах с двумя портретами: один твой, другой — кто спорит; дарить можно, женщины падки на тех, чьи фотографии печатают...

Сел за третью повесть — решил рассказать о горьком детстве своем, но все равно не шло: как надо расписать черное зло и выразить ужас, что клокотал в нем так, словно кто кисть сдавливал холодными пальцами: «Неймется? Окстись! В тепле живешь, квартиру дали, деньги даром плывут — хоть и небольшие, но жить можно в сытости! Не замай!»

Поделился с приятелем; тот убежденно ответил: «А это гипнотизирует тебя. Сейчас всех талантливых самородков сатанинские силы стараются отвести от творчества, чтобы самим занять ваши места в литературе... Ты магнитами себя окружи, бесы магнит не переносят».

Пшенкин достал три магнитных бруса, поставил на стол, но — не помогло: страх давил его пуще прежнего, и чем больше появлялось новых имен в литературе, чем больше премий раздавали всяким недоделкам, тем ужаснее было его отчаяние — словно за поездом бежишь, последний поезд, не догонишь, хана, руки тянешь к поручню, а вагон все дальше и дальше, тю-тю...

Ну и запил Пшенкин, по-черному запил... Винил в трагедии всех, только не себя; денег теперь не хватало; стал занимать; долги отдавать не мог, по Москве не ходил, а крался.

Но поскольку Пшенкин пользовался благорасположением писательского начальства (те хорошо знали, кого поддерживать, а кого з а д в и г а т ь; помогали прежде всего незаметным, их страшиться нечего, не конкуренты, а выдернешь из дерьма — руки будут лизать, да и устойчивое большинство на съезде, любых интеллектуаль-

щиков задушат, истинный г о л о с народа), он получил новую квартиру в том доме, куда заселяли литераторов, чтоб были под надзором; когда все скопом, легче толкать лбами и получать информацию: любые перевыборы, гарантирующие руководящим литкорифеям сохранение их «Волг», дач, премий, переизданий, хвалу наемной критики, надо готовить загодя, знать настроения каждого и, соответственно, с каждым р а б о т а т ь. А уж работать — умели, ух как умели! Кого поднять на щит («соловей русской поэзии!», а этот «соловей» хуже воробья); кого ударить пыльным мешком по голове: «далек от чаяний народа», но потом — в знак примирения — отправить в Монголию или Чехословакию, у монголов кожаные пальто дешевые, в Праге люстру можно в з я т ь, да и красный загранпаспорт есть высшее свидетельство благонадежности: «смотри, т о в а р и щ, не подведи, родина тебе верит»... Так, разделяя и властвуя, создав обойму дутых гениев, «Баянов отечественной словесности», жили сами, да и покорным середнякам не мешали, не считая, конечно, таких досадных эпизодов, как предательство власовского недобитка Солженицына, сионистского наймита Виктора Некрасова или злобного клеветника Василия Гроссмана, — но с теми решал в е р х, «Баяны» лишь оформляли через «Литературную газету» гнев общественности...

Могучий директор ведущего военного издательства (постоянно держал руку на пульсе передряжьей писательской жизни, ибо надо было пополнять группу в е р н ы х людей, которые могли бы сочинить за какого-нибудь генерала мемуары, угодные основополагающему направлению, спущенному начальством для военной истории) получил информацию и о Пшенкине. Поскольку «стервятники» (так он с лаской называл членов его постоянной группы «переписчиков») были при деле, загружены сверх головы, деньги гребли лопатой, переиначивая в нужном русле смысл наговоренного на диктофоны военачальниками, Пшенкин показался ему кандидатурой вполне приемлемой для использования: лишенный хоть какой-либо индивидуальности, этот сочинитель как раз и годился для мемуаристики: за строками воспоминаний не виделось слово мастера, все гладко, никаких неожиданностей...

С Пшенкиным поработали еще пару месяцев, пригласили в застолье, где собирались литературные «авторитеты», пообещали договор на новую книгу, съездили

к его родственникам — не таит или в себе ненароком семена «малой нации» — и после всесторонней проверки пригласили в золотопогонный кабинет, отделанный, как и следует быть, мореным дубом, где и заключили договор на «спецредактирование».

Встретился с тем генералом, за которого надо было написать фолиант, получил от него в подарок диктофон и наговоренные пленки, сел за работу, управился быстро, сдал в печать... Тут же подкинули второго в о с п о м и н а т е л я: обработал и этого. Встречаясь порою с «авторами», с теми то есть, чья фамилия будет стоять на обложке будущей книги, Пшенкин запоминал многое из того, что д е д ы говорили за рюмашкой; часто это было в противовес тому, что ему предписывали готовить для читателя. И когда Пшенкин сел за третий том, решил блеснуть — жахнул в нескольких местах неправленую п р а в д у, то, что ему говорил очередной генерал, пригласив на дачу, подальше от чужих ушей.

После этого договор с Пшенкиным не то чтобы расторгли, но заволынили, записи отдали другому, и он снова обрушился в тяжелое, безысходное пьянство, но теперь уж в новом качестве: он жил не только былинными мифами, что закладывали в него те, которые исподволь готовили таких, как он, к черновой (но высокооплачиваемой) литературнозаписной работе, но и высверками неожиданной, пугающей правды, которыми поделились старцы.

Тот генерал, что оказался последним, читая «свой» труд, замотал вдруг лысой, крутого лада головой и произнес с горечью: «Ах, Боря, Боря, не так же это все было! Врем! В глаза врем! Ведь, если б Тухачевский скрутил голову усатому засранцу, такой войны, что выдюжили, не было б, сколько б русского народу сберегли! Лучше б сейчас про это аккуратненько напечатать, чем таить... Через десяток лет правда так бабахнет, что склады могут вспыхнуть... Сколько истину не таи, все одно откроется! И про заградбатальоны откроется, и про «СМЕРШ», который больше своих стрелял, чем шпионов, — своих завсегда легче, и про то, какие болваны пришли на командование, когда усатый весь командирский корпус под ежовские пулеметы подвел! Эх, Боря, сынок, ты запоминай, что я говорю! Ты старайся мою крамольную правду между строк затолкать, люди намек быстрей всего понимают...»

Вот тогда-то с ним и встретился Витман-Хренков-

Сорокин, давно уже запросивший у своих боевиков информацию на тех, кто умел писать, но — в силу каких-то причин — скатился в пьянь и злобу...

— Боря, Боря, талантливый ты наш человек! Не губи себя! Ты державе нужен! У тебя ж книга — брильянт, своим словом написана, — говорил он, похмеляя Пшенкина в кафе на улице Герцена, что напротив ТАССа. — Сейчас ляжешь спать, я рядом побуду, не оставлю тебя... А проснешься, в баньку пойдем, попарю, алкоголь выведу, человеком станешь...

Годы, проведенные им под министром государственной безопасности Абакумовым и последним его шефом, начальником следственного управления Рюминым, лагерное житье, работа в подпольном синдикате цеховиков — все это не могло не научить Сорокина лицедейскому искусству мимикрии...

С одними он был кликушей — чувствовал в самой глубине своей постоянное трепетное ожидание близкого горя, которое очистит и облегчит, так что и играть-то не надо было, стоило лишь позволить себе стать самим собой. Иногда он пугался этой дергающейся жалости, томящего ожидания близкой и неотвратимой беды, сладостного удовлетворения, которое возникало в нем, когда он зримо представлял себе миг крушения, а ведь теперь только б и радоваться, восстал ведь из пепла, жил так, как и представить себе раньше не мог, — не надо оглядываться, страшиться зайти в ресторан, чтоб донос сослуживцы не отправили в партком по поводу морально-бытового разложения, считать мятые рубли, откладывая на «Победу», взвешивать каждое слово в разговоре с коллегами, онанировать в сортире на зыбкий образ женщины-мечты, потому что любая связь, не оформленная в ЗАГСе, была чревата тем, что сорвут погоны и выбросят на улицу, как нашкодившего кота... Умом все это он понимал, но затаенного в генах изменить не мог, чаще думал о плохом, чем о хорошем, особенно когда планировал операцию...

Труднее было работать с интеллектуалами. Особенно долго готовился к беседе с профессорами, которые сидели на науке, на такой именно, которая могла пойти навстречу просьбе седого, немногословного, видно, много пережившего на своем веку «заместителя генерального директора по вопросам снабжения и сбыта», а могли и отказать в заключении договора на экспериментальное опробование новой техники в цехах подве-

домственных ему предприятий. Он выбрал себе роль суховатого прагматика, понимающего рабский ужас нашей экономической школы, общинную тьму и бескультурье импотентной бюрократии, — роль свою играл достойно, срывов не было.

С партийными работниками и областными мышатами было легче всего: фронтовой офицер, инвалид, служил под Гречко, видался с Леонидом Ильичом, лично он и орден вручал; в сырье и станках, говоря откровенно, мало что понимаю, но комсомолята затеяли нужное дело, молодежь — наша надежда, как не тряхнуть стариной да не помочь им?! После беседы н а к р ы в а л стол, по первому разу не в ресторане, а у себя в номере отеля, на г а з е т к е, важно, чтоб балычок был, салями, домашние маринады, вареная курочка и хорошая водка... Это уж когда начальники крючок заглатывали и приезжали в Москву — тут и ресторан (кабинет в «Узбекистане»), и девочки в номер; и сувениры — поначалу скромные, всякие там альбомы икон, набор дефицитной литературы, а к шубкам да зимним сапогам можно переходить только во время третьей встречи...

...Пшенкина взял именно на истеричном кликушестве, «я — старый разведчик, сражался в тылу врага, помоги, Боречка, завершить книгу, написал, а дошлифовать нет таланта, кто поможет русскому человеку, как не однокровец, остальные-то зло в себе несут, зависть и зло, эх, Боря, Боря, пострадал бы ты с мое, помучился б, тогда понял мою кровоточащую душу».

Иногда ему казалось, что последние двадцать лет он и не живет вовсе, а играет роли — сегодня злодея, завтра добряка, послезавтра дурня, а уж заканчивает неделю несчастным, всепрощающим простаком...

Навсегда запомнил, как в лагере п е д р и л а рассказал ему про английского актера, приглянувшегося королеве в роли Отелло: «Пусть этот мавр придет ко мне на ужин».

Пришел. Ужин закончили в спальне ее величества; первая леди осталась довольна.

Через неделю увидала этого же актера в роли Гамлета: «Хочу, чтобы датский принц провел со мной вечер за чашкой шокелату».

Провел. Закончили в спальне. Была в восторге; на прощание заметила: «Сегодня хочу тебя без грима, таким, каков ты есть на самом деле».

— На самом деле я импотент, ваше величество. Ес-

ли вы хотите именно меня — любви не будет, я играю в постели роли — либо мавра, либо принца.

Сорокин много раз перелопачивал с Пшенкиным те фрагменты, которые наработал с Федоровой. Пленки расшифровывал сам, переписывал от руки, дав себе имя Палача, а Зое — немки Марты; действие перенес в гестапо военных лет и сегодняшний германский город; палач и жертва, все сходится, никаких подозрений, в аллюзиях сами побоятся себе признаться, каждому здравомыслящему понятно, что Сталин и Гитлер — две стороны одной медали, только Гитлер чужих изничтожал, а кормчий — своих; текст дал перепечатывать машинистке, адрес который нашел на доске объявлений; оказалась глухая бабка, тыкала одним пальцем; тогда приспособил Людку — раньше-то Вареный поставлял ее в номера, нужным гостям, только потом обратили внимание, как она на машинке барабанила, — что твой Ван Клиберн.

Сухая точность изложения, которой учили его Абакумов, Либачев, Бакаренко, играла с ним злую шутку. Он выхолащивал написанное, чувствуя при этом, что своими руками губит работу, но переступить через себя не мог — в нем неистребимо жила его правда, а он постоянно старался обернуть ее в свою пользу, понимая, впрочем, что чем меньше поворачивать ее себе на выгоду, тем она страшнее, — то есть вещь будет д о р о ж е.

...Пшенкин, откормившийся на щедрых хлебах п а л а ч а, готовил для него раз в месяц переписанный наново текст той или иной главы.

Сорокин садился к столу и, обхватив голову сильными пальцами, шлифовал каждую фразу. Он с ужасом отмечал, что Пшенкин в ы т я г и в а л все то русское, что он намеренно скрывал, замыслив сделать для западного читателя предисловие, в котором заложит фугас, дав подлинные имена, адреса, объяснив истинные обстоятельства дела и прокомментировав, что по законам конспирации он не имел права писать правду, — даже в перестроечной России.

«П а л а ч. Скажите, Марта («Зоя», «Зоя», «Зоя» — в нем все ликовало и пело), что́ вы ощутили, когда вас впервые поставили в шкаф? Вас там сколько времени держали? Двадцать четыре часа?

М а р т а. Уж и не помните? Сами, небось, распоряжение отдавали...

П а л а ч. Я был лишен права на то, чтобы отдать распоряжение, Марта... Я выполнял приказ... Понима-

ете? Мы все были звеньями одной цепи. Цепочка протягивалась сверху донизу, прервать ее было невозможно... Следовало хитрить, таиться, идти на обман, но такой, который бы оказался приемлемым для начальника; тот, в свою очередь, обманывал высший эшелон; тотальность лжи, подчиненной непререкаемому, хоть часто и бесполезному, основоположению: «применить высшую степень устрашения»... Срок, срок, срок... Отчет, отчет, отчет... А может, ради успеха комбинации надо было затаиться и ждать, пока арестованный д о з р е е т без применения пыток и устрашения? Это верх наслаждения, когда арестант с а м разваливается...»

Сорокин поднял глаза на Пшенкина, покачал головой:

— Ах, Боря, Боря, милый ты мой человек, добрая душа... «Разваливается» — русское слово, тюремный жаргон... А это «небось»? Так в гестапо не говорили, ведь читатель невесть что может подумать...

— Валерий Юрьевич, в каком веке живете?! Сейчас все, что угодно, можно печатать...

— Сейчас — да. А завтра? Ладно, эти словечки мы замараем... Кофейку сваргань, я продолжу чтение...

«М а р т а. Значит, считаете, вам было страшнее жить под Гитлером, чем нам, жертвам?

П а л а ч. Конечно! Вам-то ведь было уж нечего терять! Когда захлопывалась дверь камеры — человек кончен, вместо имени — номер или инициалы. А мы ж д а л и, Марта... Мы верили в то, что бред рано или поздно кончится, потому и норовили установить добрые отношения с теми, кого вводили к нам на допрос: неизвестно, как повернется дело в будущем...

М а р т а. Неужели вы сомневались в незыблемости рейха?

П а л а ч. Поначалу — нет, не сомневался... Но ведь чем глубже погружаешься в п о д р о б н о с т и, чем больше правды открывается, тем хуже становится сон, тем больше у нас появляется психов — был нормальный товарищ, как все мы, — а назавтра кукарекать начал в кабинете...»

Сорокин тщательно вымарал слово «товарищ», заменил на «человек» и, принюхавшись к запаху кофе, продолжил чтение, усмешливо покачивая головой.

«М а р т а. Хотите, чтоб я пожалела вас, бедненьких?

П а л а ч. Хочу... Мне было страшнее и горше, чем вам, поверьте...

М а р т а. Не верю... Когда вы бросили меня в камеру, полную клопов, и они жрали меня всю ночь, а свет был выключен, и не было от них спасения, казалось, я хожу по ним, как по болотной воде, хрусткой и кровавой, а они лезут по мне, шевелятся в волосах, заползают в уши, ноздри, глаза, я забыла, что такое жалость, я испытывала звериную сладость от того, как давила их, била вспухшими ладонями, прыгала, вслушиваясь в сытный звук лопающегося умирания безмолвных палачей.

П а л а ч. И снова вы не вправе судить меня, Марта... Судите науку... Думаете, такая камера родилась сама по себе? Нет. Она появилась как следствие работы человеческой мысли... Да, да, не возражайте! Трудился целый институт, сориентированный на то, чтобы помочь рейху быстрее добиваться от узников правды... Конечно, пытки надежнее всего развязывали языки, физическая боль противоестественна, она отторгается разумом, но ведь после того, как узник дал показания, угодные высшей правде фюрера, он мог отказаться от них в суде! Скандал! Брак! Палач становится узником! В то время как мука, подобная той, которую пришлось перенести вам, входит в мозг навечно, никаких следов, зато постоянная память об ужасе, вы никогда не начнете скандал в суде... Намерены возразить, что наука не имела права на такие эксперименты?

М а р т а. Вы никогда не думали, что этой муке могла быть подвергнута ваша мать? Дочь?

П а л а ч. Моя мать выросла в условиях ада, ей не привыкать к клопам, тесноте, голоду... Нашими пациентами были люди иного разлива, Марта, те, которых отличал внутренний аристократизм... Чернь не страшна режиму, страшны мыслящие, которых всегда крошечное меньшинство... Вы говорите «дочь»... Это вопрос морали — отношение к детям... Но мораль сама по себе аморальна, дорогая Марта. Инквизиция зажигала костры, следуя морали той поры. Ученые, отправившие на костер Бруно, свято следовали постулатам своей морали... Наши доктора, работавшие со вшами и клопами, следовали в своей работе утвержденным нормам морали рейха.

М а р т а. Мораль вашего рейха подобна старой кликуше, которая истошно выкрикивает заученные слова, лишенные здравого смысла... Она не может изменить себя, она безграмотна и темна, она психически нездорова... А вот ученые... Неужели здравомыслящие люди служили вашей камарилье?

П а л а ч. Мораль не только выкрикивает заученное, Марта... Эта кликуша контролирует деятельность финансовых органов, которые платят деньги, — оклад содержания, премии, награды...

М а р т а. Тридцать сребреников...

П а л а ч. Почему тридцать?! Десять! Пять! Нужно время, не очень к тому же большое, чтобы объяснить ученому: «Твори! Ты свободен. В условиях нашей системы, которая дала тебе все! Неужели ты не отблагодаришь ее за то, что она подняла тебя, приобщив к знанию?! Неужели ты не ощущаешь связующих корней с той нацией, которая отточила твой разум и отличила тебя из миллионов подобных?! Твори! Все то, что неизвестно человечеству, может быть открыто тобою, и не думай о том, морально это по отношению к другим или нет, всякое открытие морально, даже если поначалу оно кажется варварством, — не ты бы открыл, так другой! Это только посредственность мечтает быть на виду, истинный гений презирает людей, они словно мошка для него, мораль толпы он должен презирать, чтобы свершить такое, что сделает его бессмертным; плоть — тленна, имя обречено на память, будь свободен, как ветер!»

М а р т а. Неужели ученые — а они мне кажутся мудрецами — могли пойти за такой абракадаброй? То, что вы сейчас говорили, — не просто грешно, это истерично, то есть глупо... А ученые прилежны логике...

П а л а ч. О, как вы ошибаетесь! Они люди, и ничто человеческое им не чуждо... А если не им, то их женам, детям, родителям... Нельзя жить в обществе и быть от него независимым... Я помню одного доктора, он занимался изучением психологии человека в экстремальной ситуации... Он был совершенно аполитичен, этот ученый, он жил в мире формул, но когда он вывел, что постоянный писк комара может привести человека к полнейшему истерическому безволию, мы испробовали это изобретение — да, да, мы, я не смею скрывать от вас, — мы показали ему фильм о работе с подследственным, и я наблюдал за его лицом: оно сияло счастьем, потому что он увидел реальное подтверждение своей высокой правоты, он прорвался к бессмертию, ибо вывел закон соотношения звуковых колебаний человека и насекомого, новый шаг к пониманию единства всего живого на земле... Он сказал мне: «Если бы не я, то к этому пришел бы кто-то другой»... Миром правит «ego», его величество «я»! И мне стало страшно жить, когда я до конца убе-

дился в этом... Страшно, Марта... Нет морали, нет идей, есть «я», огромное, крошечное, грохочущее, тихое, но только одно «я-я-я-я-я»! Вот в чем начало и конец всего...

Марта. Когда меня грызли эти ваши страшные клопы, я думала только об одном существе — о моей дочке, которая осталась одна...

Палач. «Моей»! Именно так! Вы думали о вашей дочке! Потому что она принадлежит вам... Вы же не думали о чьем-то ребенке, вы страдали о своем...

Марта. С вами страшно говорить...

Палач. А когда вам было страшнее: тогда, в Моабите, или сейчас, на свободе?

Марта. Конечно, сейчас.

Палач. Почему?

Марта. Потому что вы ходите среди людей и ничем из них не выделяетесь... Сколько таких, как вы? Только моложе — вот в чем ужас... Ждут своего часа... Вас не повесили за ваши злодейства — он какой ухоженный, дородный... Значит, кому-то вы нужны? Кто-то заинтересован, чтобы вы и вам подобные были живы? Кто? Сколько их? Чего они ждут?

Палач. Боитесь, что прошлое может повториться?

Марта. Очень.

Палач. Но ведь ваша дочь живет за океаном! И внук там! Вы же за них страшитесь? Но они нам теперь недоступны... Значит, «я»?! Опять «я»?! Значит, все же каждый думает лишь о себе?! Если так, то мы, действительно, будем нужны постоянно! Думаете, я хочу, чтобы вернулось прошлое? Нет, я его тоже боюсь, потому что никогда не знал, выйду ли из своего кабинета или окажусь в камере с клопами, дорогая Марта... Но вы правы в одном: я — профессионал... Я знаю, как переступать через свое «я» во имя «мы»... Знаете, что такое «мы»? Это рабство, то есть страх. Хотя — точнее — наоборот: страх, то есть рабство... Как бы вы вели себя, окажись снова лицом к лицу со мною в камере тюрьмы?

Марта. Я бы покончила с собой.

Палач. Как? Чем? Вы забыли прошлое, Марта. Тюрьма обрекает на долгую жизнь — до объявления приговора или звука шарнирно-падающей гильотины.. В тюрьме, в нашей тюрьме, никогда и никто не может кончить с собой, — слишком это сладко для узника, он не вправе распоряжаться ничем, а уж тем более своей жизнью... Вы боитесь меня до сих пор, да?

М а р т а. Да. Я даже страшусь сказать старому генералу, что вы живы... Он один не боится вас...

П а л а ч. У него порвется сердце, если вы скажете, что я жив... Вы слишком добры, чтобы сказать ему об этом...

М а р т а. Но я все чаще и чаще думаю написать о вас в прокуратуру... Наверное, я сделаю это...

П а л а ч. Можете... Только после того, как выйдет наша книга. Вы же понимаете, что закон обратной силы не имеет, да и доказать вы ничего не сможете... Мы были гражданами одного рейха, молились одному богу — вы в камере, я в кабинете, нельзя уйти от себя, Марта...

М а р т а. Во всем виновата Система?

П а л а ч. Только она. И чем скорее мы это поймем, тем будет лучше для будущего. Люди рождаются ангелами, дьяволом их делает наша Система, с нее и спрос...»

Сорокин вымарал слово «наша», крикнул Пшенкину, разливавшему кофе по чашкам:

— Борисочка, душа моя, ну что же тебя так в русизмы тянет? Ты уж, пожалуйста, ближе к подлиннику будь, у тебя не немцы говорят, а наши люди... Слышишь меня?

— Слышу, — ответил Пшенкин каким-то иным, потухшим голосом; он вошел в комнату с хохломским подносом и, поставив перед Сорокиным чашку крепчайшего кофе, добавил: — Очень хорошо слышу. Только ведь и я не дурак... Не про какую ни Германию и гестапо вы пишете, а про Россию с ее ГУЛАГом! И у палача имя русское, и у жертвы... Я ж какой-никакой, а писатель... Хоть и неудачливый — из-за того, что черт меня дернул на этой земле родиться...

Сорокин колышаще посмеялся, потом лицо его замерло, он взял ручку и быстро дописал:

«П а л а ч. Марта, а вы и впрямь не знали, что ваш любимый прилетал в нашу страну не первый раз?

М а р т а. Он никогда не был здесь раньше... Он никогда не лгал мне...

П а л а ч. Лгал... Он был здесь в двадцатом году. Он работал с нашими врагами...»

15

Сорокин потер лицо короткими пальцами, покрытыми щетинистыми волосками, почувствовал, как к щекам прилила кровь и забила злыми колючими молоточками, — такими доктор Бензель простукивает нервные корешки,

китайская медицина, спасает ото всех болезней, а пуще всего от старения; умирать надо здоровым, без гниения, внезапно.

Бензель работал в Крыму, в санатории ЦК; Сорокин ездил туда каждый год — до восемьдесят второго, пока был жив Леонид Ильич; при Андропове, когда начали закручивать гайки, сразу же прекратил; снимал квартиру в Ялте, даже в интуристовский отель не лез, хотя можно было: пришла пора н е з а м е т н о с т и, надо отлежаться, долго такое не продержится, слишком надежно все с х в а ч е н о, вопрос месяцев, пары лет — от силы; перемелется — мука будет.

...Тщательно побрившись (одно из самых любимых занятий; употреблял опасную бритву золингенской стали, любил рисковый с к р и п металла о кожу, особенно возле сонной артерии; часто виделось, как металл легко перерезает пульсирующую синеву; отчего-то возникал явственный запах парной свинины), Сорокин открыл платяной шкаф, выбрал костюм — как обычно, скромный, но обязательно американского кроя; одел легчайшую шелковую сорочку, повязал карденовский галстук, примерил туфли, которые позавчера привез Никодимов, — отдавал ему, чтобы разносил кто-то из боевиков, непрестижно надевать новые вещи, уроки английских лордов — дворецкий должен п о м я т ь костюм и пару раз пройти под дождем в новых лайковых туфлях, только после этого можно появляться в свете...

Выйдя из подъезда, Сорокин неторопливо двинулся по улице; остановился возле будки телефона-автомата, подставил лицо неяркому, осеннему уже солнцу, пробившемуся сквозь низкий московский смог, постоял так мгновение, глянул в стекла витрины — там четко отражались те, кто шел у него за спиной, только после этого снял трубку и набрал номер Варенова; долго слушал длинные гудки, дал отбой, набрал другой номер (наружка смогла сфотографировать через телевик его палец, тыкавшийся в цифры), спросил, не представившись:

— Ну, что с Вареным? Не попал, случаем, в к л и н и к у?

— Мы проверяли, — ответили ему. — Его там нет. Э к с п е р т ы допускают, что у него мог случиться нервный криз...

— За городом не появлялся?

— Нет.

— С соседями беседовали?

— Ничего тревожного.

— А если инфаркт? Лежит в квартире без помощи?

— У нас есть ключи.. Можем зайти... Действительно, вдруг с человеком беда...

— Без моего указания — не надо... Дайте помозговать...

Положив трубку на рычаг, Сорокин резко повернулся, охватив улицу сузившимися глазами; ничего подозрительного; остановил такси и поехал к трем вокзалам; там нырнул в туалет, вышел оттуда в очках и кепчонке, надвинутой на глаза, вскочил в последний вагон электрички; на станции Кратово соскочил последним, когда состав уже двинулся; по тропинке т р у с и л — сквозь сосновый бор, любуясь огненными стволами громадных деревьев.

Остановился он возле дачи с покосившимся забором; на участке работали три парня спортивного кроя; немецкие овчарки, ринувшиеся было к нему в рыкающем оскале, признали своего, играючи пошли рядом.

...Шинкин Осип Михайлович, лагерный благодетель, который паспортами его снабдил, работой, квартирой и дачами, сидел за столом красного дерева (восемнадцатый век; скупил антиквариат в конце шестидесятых; реставрировал; отправил на свою дачу возле Риги, в дом сына и племянника; по нынешним подсчетам на каждый вложенный рубль получил не менее двух тысяч прибыли — пару миллионов, если считать ч о х о м). Возле камина в низких, т о п я щ и х креслах со львами-подлокотниками устроились три гостя — из Сочи, Грозного и Днепропетровска, руководители тамошних к л а н о в, тузы.

Впервые они встретились на совещании У п р а в л е н и я (так Сорокин предложил именовать их союз) в семьдесят шестом.

Представив собравшимся «Спиридонова» — под таким псевдонимом Сорокин в ту пору работал на юге страны, — Шинкин дал ему первое слово.

— Коллеги, я благодарю нашего друга Гридина (так, в свою очередь, он называл Шинкина, конспирация и еще раз конспирация) за предоставленную возможность поделиться соображениями о ситуации в державе, — начал Сорокин глуховатым баском; от волнения покашливал, словно бы в горле застряла мягкая рыбья косточка. — Хотя ситуация сейчас подконтрольна и вроде бы особых оснований для беспокойства нет, но мои экс-

перты из отдела перспективного планирования считают, что некоторая нескромность высших членов Управления, показное небрежение к законам этой страны — к законам неписаным, к нашей темени, которая может простить голод, холод, издевательства власти, но никогда не простит богатство соседа, даже если оно заработано каторжным трудом, — может оказаться чреватой последствиями. В этом смысле мы страна уникальная, и это следует всегда помнить. К сожалению, ряд наших коллег об этом забыли, что немедленно спровоцировало Комитет: Лубянке пришлось кое-где шваркнуть лапой. Правда, пока что попали не в тех, однако может ненароком и нас зацепить...

Хочу также поделиться достаточно тревожными соображениями по поводу того, как развивается наше дело. С одной стороны, мы имеем громадный рост производства, что способствует насыщению потребительского рынка товарами повышенного спроса, и это — в свою очередь — снижает опасность социального взрыва, который вполне возможен. Для нас нет ничего страшнее государственной нестабильности. Лишь параллельность развития нашего сектора государственному скрежету может служить гарантией устойчивости Системы... С другой стороны, рост нашей активности породил чрезмерную заорганизованность структуры Управления. И в этом я вижу самую главную опасность, ибо тоталитарные режимы — я имею в виду Сталина и Гитлера — многое прощают тем, кто далек от политики, но никогда не потерпят наличия сильной организации... Главным преступлением Вышинского против государственности был проведенный им разгром воровских малин; для отчета, конечно, красиво, но для реальной борьбы с грабежами, домовыми кражами, вооруженным разбоем этот шаг был самоубийственным, ибо лишил НКВД целой сети осведомителей, через которых только и можно было получать информацию о подготовке наиболее кошмарных преступлений... Когда малины были уничтожены, когда нанесли удар по самой структуре воров в законе, преступность стала зримо расти, причем преступность самая страшная, то есть неожиданная, спонтанная, совершенно не подконтрольная... Почему Управление, подобное нашему, было невозможно при Сталине? Потому, что любую организацию — какой бы она ни была — следовало уничтожить в зародыше... Людей нашего типа, то есть истинный цвет нации, ее деловую прослойку,

чаще всего уничтожали воры — в тюремных камерах и лагерях... При сталинском режиме страну морально убивали и тем, что снабжали лишь избранных, отметив их печатью особости, а остальных не брали в счет, в и н т и к и, второй сорт, молчаливое большинство — ибо народ наш, по словам Иосифа Виссарионовича, отличается долготерпением — и в этом он прав. Процесс раскрепощения, начатый Маленковым на августовской сессии Верховного Совета пятьдесят третьего года, когда он снял с крепостных колхозников налоги, — необратим, иначе страна рухнет... Эксперименты Хрущева нам дорого стоили, поэтому он и ушел... Но не думайте, что нынешний режим, с которым мы пока что работаем вполне лояльно, станет терпеть нас, если мы превратимся во всесоюзную организацию, — этого нам не простят, яблоко от яблоньки недалеко падает... Поэтому я предлагаю загодя разукрупниться и создать десять — двенадцать опорных центров, связанных между собой опосредованно.

Шинкин заметил:

— И начнется поножовщина между своими... Ты это предлагаешь? Чтоб мы уподобились американским коллегам? Нет уж, наша сила в единстве.

— Мы сохраним единство, Осип Михайлович. Кадры решают все. Мы подберем людей на ключевые посты, мы будем верстать планы для всех, мы будем контролировать прибыль наших центров, но если будем ворочаться в стране, как слон в лавке, нас станут расстреливать из пулеметов — вот вам мой прогноз... Либо надо загодя поворачивать страну — через наши возможности в высших эшелонах власти — к возвращению в тоталитаризм, опирающийся на наших людей, либо превращаться в монолит, но составленный из региональных центров...

— Когда мы едины, — возразил «Цавребов» из северо-кавказского подразделения, — когда мы знаем каждого, когда, наконец, мы верим друг другу, и эта вера базируется на фундаменте общего интереса, замыкающегося на Москву, значительно меньше шансов, что в наши ряды войдет чужой...

Сорокин улыбнулся:

— Даю гарантию, что стукач немедленно станет известен группе моих экспертов, вы неоднократно имели возможность убедиться в этом... Кстати, хотел бы сообщить, что стоимость нейтрализации скомпрометиро-

вавших себя работников У п р а в л е н и я резко возросла... Прошу предусмотреть в годовом бюджете новые расценки.

— Сколько стоит устранение? — уточнил сочинский «Лузгунов».

— Нейтрализация, — нажал Сорокин, — стоит сейчас как минимум десять тысяч... В особо экстренных случаях или же в условиях повышенного риска стоимость возрастает до двадцати.

— Из кого состоит контингент тех, кто занимается черной работой? — спросил «Цавребов».

— Планированием и подготовительной работой по нейтрализации, — еще круче нажал Сорокин, хотя говорили на открытой веранде ресторана, снятого на весь день, подслушку не наладишь, — занимаются младшие братья (так называли между собой воров в законе). За это им, да и за охрану наших интересов мы теперь обязаны отчислять пять процентов от чистой прибыли — на премиально-представительские расходы... Прежняя ставка — три процента — стала нереальной, растет инфляция, цинк (так назывался рубль) теряет истинную цену... Естественно, непосредственным исполнением р а б о т ы младшие коллеги не занимаются, эти благородные люди живут по з а к о н у, и мы не можем не уважать их традиции... Я встречался с авторитетными руководителями их подразделений, мы провели конференцию в Кисловодске, они поставили меня в известность, что вопрос найма исполнителей черновой работы по-прежнему надежно отработан...

— Думаю, в этом пункте мы согласимся с просьбой экспертов, ставки поднимем, — заключил Шинкин. — А вот как решим с децентрализацией?

— Я против, — сказал «Грызлов» из Днепропетровска. — Я согласен с высказанным опасением: может начаться свара между своими.

Проголосовали: предложение Сорокина забаллотировали.

Вернулись к его доводам значительно позже, когда ЧК арестовала директора Елисеевского гастронома Соколова и начала охоту за руководителем московского торга Трегубовым; тот держался, как мог, — все же председатель ревизионной комиссии МГК, депутат Верховного Совета России; в разговоре с посланцем Шинкина горестно заметил: «Идиотство какое-то, право! Словно я о себе думаю! Я же раб плана, мне каждый

день надо Венгрию накормить! Да, да, именно так — Москва по численности населения сродни целой стране! А откуда брать товар?! Попробуй не поставь в город колбасу и мебель — тут же на ковер! Вот и приходится вертеться! Тому сунь, у этого возьми — попробуй иначе, сразу полетишь с кресла! Система делает из людей преступников»...

Тогда — на второй всесоюзной конференции У п р а в л е н и я, собравшейся в Пятигорске, — Сорокин предложил смелый проект:

— При том, что младшие братья делают свое дело, и делают его отменно, в новых условиях следует переориентировать работу моих экспертов... Расценки на нейтрализацию чужих снова повысились, и мы не можем не поднять ставки — спокойствие работы того стоит... Но я бы предложил резко увеличить расценки на приобретение новых друзей в Системе — до миллиона рублей! Значительно легче контролировать ситуацию сверху, чем рубить засохшие сучья снизу... И треска много, и чужих глаз предостаточно...

— Миллион — не штука, — согласился Шинкин, — в конце концов наша чистая прибыль составляет четырнадцать миллиардов... И все это вкладывается в воспроизводство, мертвым грузом не лежит... Сколько людей с в е р х у придется зарядить?

— Не менее пятидесяти, — ответил Сорокин. — Я готов защищать эту цифру с карандашом в руке...

Шинкин тогда посмеялся:

— С карандашом не надо, «Спиридонов». Зачем грифелем бумагу мазать? Следы могут остаться... Ты ж в кармане солнечный компьютер носишь, на нем и доказывай...

Пятьдесят миллионов Сорокину выделили, возразил лишь «Азилов» из Самарканда: «Деньги будут практически бесконтрольны, не очень, конечно, большие, но все же копейка рубль бережет».

Шинкин удивился:

— Предлагаешь, чтоб «Спиридонов» у министров и секретарей обкомов расписки брал? Так, мол, и так, миллион получил, служу Советскому Союзу?!

...На прошлогодней встрече, когда экстренно съехались ведущие члены руководства У п р а в л е н и я, Сорокин поставил вопрос о том, кого следует считать с о ю з н и к о м, — в свете совершенно неожиданных перестроечных процессов, разворачивавшихся в стране.

— Да, конечно, Система была, есть и будет стержнем нашего общества, — говорил он. — Поскольку народ исстари воспитан так, что без разрешения первого лица — будь то страна, республика, область, город или район — ни одно деяние не может быть проведено сквозь этажи исполнительной власти, мы должны безоговорочно поддерживать аппарат — лишь в этом залог нашего благополучия. Да, бесспорно, Сталин виноват во многом, он был излишне догматичен, спора нет, но то, что он понял — «без железной руки с этим народом не совладать, искомый вариант — диктатура, то есть реанимация абсолютной монархии, когда вместо одного богопомазанника правит двадцатимильонная партия, но ведомая опять-таки одним человеком, а в т о р и т е т о м» — делает ему честь; в этом гарантия того, что мы еще вернемся к переосмыслению этой личности во всех ее противоречиях... Кто станет нашим главным противником? Это теперь понятно: кооперативное движение, хрупкая мечта гражданина Бланка, сиречь Ульянова-Ленина... К счастью, наши друзья в Системе за последние месяцы научились силовым приемам демократической борьбы: они не только задействовали Министерство финансов с его антикооперативным прессом, но и бросили против этих деятелей управляемые ими средства массовой информации... Они не закрывают кооперативы — не надо резких поворотов; они просто ставят их в такое положение, когда лучше самим закрыть дело подобру-поздорову.

Когда ряд изданий ныне постоянно обсуждает суммы заработков кооператоров — а на фоне нашей традиционной нищеты это вызывает к ним понятную ненависть самих широких слоев населения, — можно не бояться их подъема. Мы исходили и пока что продолжаем исходить из того, что при всех возможных передрягах Система сможет сохранить самоё себя и не поддастся кооперативным «рыночникам», ибо реальное появление свободного рынка в этой стране означает конец нашей деятельности.

Кто еще выступает против кооперативного движения? «Демократический фронт»? У них нет серьезной программы. Левые группы? Они поддерживают кооператоров, но левые не страшны до тех пор, пока разобщены и сражаются друг с другом за честолюбивое лидерство. Конечно, «Память» могла бы стать самым надежным партнером, накал ее ненависти к кооператорам безудержен, поскольку те бросили вызов общинной доктрине,

провозгласив примат деятельной Личности, если бы не вызывающая защита ими идей фашизма, абсолютной монархии и достаточно бескультурный антисемитизм...

«Азилов» из Узбекистана бросил реплику:

— При чем здесь фашизм, монархия и антисемитизм?! Они ненавидят всех, кроме русских! Их вопли уже поспособствовали тому, что наша активность в Прибалтике блокируется местными коллегами! Думаете, этого не случится у нас, в Средней Азии?! В Закавказье?! На Украине?! Поддерживая их, Система может оказаться в границах Московии! Они же необразованны и лишены страсти бизнеса! Они не понимают, что все железнодорожные артерии, связывающие нашу экономику с Западом, проходят через Украину и Белоруссию! А там тоже проснулось национальное сознание, чему во многом способствовали именно вопли «Памяти»...

«Азилова» поддержал «Арсен».

Как всегда, накал страстей снял Шинкин:

— Казалось бы, — он усмехнулся, — я должен был первым выступить против того, чтобы работать с «Памятью»... А я, наоборот, такую идею поддерживаю... Действительно, эта группа много глупит, но зато она фанатична, а это сейчас угодно... Как и то, чтобы искать виновных за развал экономики в чужих, но никак не в самих себе. Это привлекает к ним толпу, а с толпой шутки плохи: в армию забривают именно толпу... Так что я бы попробовал с ними поработать... Подвести к ним п о д д а ю щ и х с я ученых и публицистов, цивилизовать их, перенести направление главного удара с евреев на кооператоров и тех экономистов, которые отстаивают идею рынка, немыслимого без кооперации и личностей... А нам ни то, ни другое не нужно... Так что, давайте пока не будем принимать однозначного решения... Вынесем вопрос на очередной съезд, а деньжат я бы им подбросил, но только при условии, что руководить их агитпропом станут люди, управляемые нашими экспертами....И еще: надо постоянно требовать усиления налогового пресса — это убьет кооператоров и сильных руководителей индустрии. Подключить всех, кого можно, к этой кампании — нам налоги не страшны, мы деньги не отдаем и не декларируем... Далее: идет драка за децентрализацию... Это тоже для нас гибельно... Как и любая конкуренция... Пусть твои фашисты, — Шинкин улыбнулся Сорокину, — бьют и по этим позициям, нам о них нельзя забывать ни на минуту... Пусть воют о державности,

о том, что Русь искони стояла Москвой, головою, так сказать, пусть кричат, что только юрким нужна конкуренция, самому духу этой страны отвратительна, потому как бездуховна, пусть на дух жмут, духом сыт не будешь, лишь бы в дело не лезли...

— В дело люди без таланта не влезут, — ответил Сорокин. — В них силен охранительный страх: «А ну, сунусь, да ни хрена не накормлю страну? Не одену? Сметут же людишки!» Нет, в этом смысле они не страшны, им бы покрасоваться, артисты, эстраду любят...

...И вот сейчас, получив вызов шефа (четыре безответных звонка в восемь утра), Сорокин увидел трех региональных руководителей ведущих кланов (днепропетровский — самый сильный, туда, на родину Леонида Ильича, чужих мусоров не пускали; начиная с шестьдесят шестого года этот город стал закрытой зоной). Встреча эта не планировалась; что-то стряслось? Сразу же просчитал в уме: что могло до них дойти? Самое страшное, если кто-то сообщил о паспорте на выезд в ФРГ; здесь и закопают, несмотря на то что три охранника, работавшие в саду, найдены им же, обучены и натасканы. Они же и пришьют; Абакумов годами любовно растил своих ближних, а как Сталин моргнул, так взяли они под белы рученьки своего шефа и преспокойно сунули в камеру внутренней...

В доли секунды он вспомнил все свои наиболее серьезные мероприятия, а также общесоюзные операции, находившиеся — по уставу Управления — под его контролем.

Провалов нигде не было; связь отлажена отменно; случись что в стране, в самом дальнем регионе — сообщили бы немедленно; информация о загранпаспорте, завязанная на двух рукописях, — о них, мафиози, сидящих здесь, и о Зое (миллион зеленых, особенно если продать в Голливуд, как обещал Давыдов) — не могла к ним прийти, иначе бы не звали сюда; хотя почему? Когда он кончил свои разговоры с Зоей, сказал своим вскользь, не педалируя: «Старуха нас больше не интересует, пусть ею занимаются те, кто алчет снять бриллианты или всучить ей живопись, особенно ее интересует Де Вит»; а уж дальше — техника, не его забота; главное, что ее голос и его страницы надежно упрятаны, а то, что Пшенкин перелопачивает манускрипт, — так и он, Пшенкин, не вечен, пора закругляться. И деда Строилова, последнего свидетеля, нейтрализуют, наводка

передана, верная наводка для ш е с т е р о к: геройское золотишко, одна Звезда чего стоит, да и побрякушек с платиной штук пятнадцать, живые деньги. Нет, на меня выходов нет, я играл через седьмых лиц, поди докопайся... Даже если и прихватят фрайеров, они на того покажут, кто с ними повязан, а от того беса надо шесть адресов пройти, чтоб на моих парней выйти, хрена выкуси!

Тем не менее он ощущал себя сейчас так, как бывало порою в кабинете Рюмина или Абакумова: выдернут после бессонной ночи, допрос в пять часов закончил, потом на квартиру Киры махнул, или иностранки, балериночки нежной, выпил в сладость, оттуда домой, к постылой дуре Милке, а в десять звонят — «срочно к руководству», вот и трясешься, пока едешь на площадь: «Что случилось? С какого бока ударят?!»

Он никогда не мог забыть, как однажды Абакумов навалился медведем: «Хозяин требует Федорову! А она в несознанке! Не можешь сломать дуру?! Какой же из тебя мужик? Даю час на размышление. Не внесешь дельное предложение — сорву погоны».

Сорокин понимал, что бешеная баба все вывалит Вождю, нельзя ее к нему пускать; скандал. Хотя, с другой стороны, Сталин сам приехал домой к Кавтарадзе, когда того выпустили, — без зубов, в шрамах, кожа да кости... Но ведь никого из тех следователей, кто с этим самым Кавтарадзе работал, не тронули! Даже, говорят, медали подбросили, вроде бы «За отвагу»... А Кавтарадзе сунули послом в Румынию — на откорм... Нет, в обиду нас Отец, конечно, не даст, но — вонь может пойти, старец на язык злой, скажет, как отрежет, не подняться потом, так и помрешь в подполковниках где-нибудь в Джезказгане...

Придумал он тогда лихо: «Федорова в психлечебнице, сдвиг, невменяема, опасно оставлять одну, сильны проявления агрессивной депрессии, врачи обещают поставить на ноги в ближайший месяц, пока же она все время требует встречи с любимым, день и ночь кричит: «Тэйт, где ты!? Где ты, Тэйт?!»

Абакумов вздохнул: «Оформи рапортом. И налягте же на бабу! Трое молодцов, а скрутить одну американскую раскладушку не можете!»

...Кивнув Сорокину на кресло возле гостей, Шинкин из-за стола не поднялся, хмуро осведомился о здоровье, а потом спросил:

— Кого из твоих б л и з к и х можно отправить в Сочи и Днепропетровск?

— Что-нибудь случилось? — спросил Сорокин, опустившись в низкое, топкое кресло. — Мне никаких сигналов не поступало...

— Случилось, — ответил днепропетровский «Никодимов». — Два наших д и р е к т о р а подали на выезд... Поступок не санкционированный, работу вели тайно...

Сорокин ощутил, как зажало сердце; неужели играют? Могут. Эти могут все, асы; зачем? Если узнали про Дэйвида, будут ждать его прилета, захотят перехватить; связь; самое важное в Деле. Только один раз здесь был р а з б о р, кончившийся смертным приговором, случай из ряда вон выходящий, убрали краснодарского цеховика, который утаил сорок миллионов, — устроили показательный процесс, другим в устрашение...

— Давайте фамилии, — негромко сказал Сорокин, откашлявшись. — Займемся сейчас же... Серьезные люди? С выходами?

— Выходы есть, — ответил Шинкин, думая о чем-то своем. — Не очень серьезные, но тем не менее они бывали на наших региональных конференциях...

— Кто прислал вызовы?

— Веня и Шурик.

— Лос-Анджелес?

— Шурик теперь живет в Атланте.

— Наверное, я сам поеду в Днепропетровск, — сказал Сорокин. — А почему здесь коллеги из Сочи? Тоже что-то произошло?

— Нет... Пока что — нет, — ответил Шинкин. — Коллеги предлагают созвать внеочередной съезд в связи с кампанией, начатой против нас в прессе... Бесы перестраиваются, клеймят нас «организованной преступностью», пора и нам подумать о перестройке... Ты был прав, Эма, когда говорил о децентрализации... То, что мы сделали, — недостаточно, надо ломать структуру, лучше поздно, чем никогда... Когда и где будем встречаться? Нужен такой город, где ты можешь гарантировать стопроцентную безопасность для делегатов...

— Стамбул, — Сорокин хмуро усмехнулся. — Дайте день на размышление...

...Капитан Строилов дослушал последние слова Сорокина, выключил аппаратуру, положил ладонь на плечо шофера и тихонько сказал:

— Поехали...

И в эту как раз минуту генерал Строилов, выйдя из лифта, достал связку ключей и начал отпирать замок чуть трясущейся рукой; когда дверь отворилась, он почувствовал, как его рот зажали потной ладонью и стремительно втолкнули в квартиру; старик упал; в ту же секунду зазвенели стекла; на двух парней, ввалившихся в дверь следом за генералом, бросились с балкона сыщики; за ними стоял Костенко, бледный как полотно, не отрывая глаз от недвижного старика, распростертого на полу...

16

— «Скорую» вызывайте, — сказал Костенко сыщикам из местного (Николаши Ступакова) отделения.

Говорил сейчас очень тихо, как-то заторможенно, не разжимая рта, чтобы не показать обмершим п с а м — в наручниках уже, — как мелко стучат зубы.

Склонившись над мертвенно-бледным генералом, он осторожно подложил ладонь под голову, чуть приподнял ее на себя и, заметив, как дрогнули уголки рта старика, прикоснулся губами к его выпуклому, античному лбу; того ужасающего, невозвратного холодания не было; господи, только б жил!

Костенко поднял глаза на парней — одному лет семнадцать, малолетка, отпустят, гуманисты, второму чуть больше, — оперся ладонями о паркет, поднялся, взял грабителей за уши, яростно вывернул их, шепнув:

— Пикнете — пристрелю, оказывали сопротивление власти... Где третий?

Парни, становясь все более бледными, с о п я щ е молчали...

— Пошли, — сказал Костенко и, продолжая выворачивать им уши, повел на кухню, к окну, в котором торчали зубчатые стекла. Пригнув их головы, он прошептал: — Вы пришли убить отца, псы... Я предполагал, что придут, но не думал, что подставят такую шваль. Сейчас я пригну ваши хлебальники к стеклам и выколю вам

зыркалки, если сейчас же, сразу, не скажете, где ваш третий! Считать не буду... Ну?

— На улице, в «Москвиче».

— Номер двадцать четыре — пять три?

— Да.

Костенко отбросил с у к и достал «воки-токи»:

— Пятый, — шепнул он, — бейте тот «Москвич» в задок. Со всей силы бейте. И составляйте протокол... За рулем сидит их в о ш ь, берите его в отделение и сажайте в камеру.

— Шофер не согласится нашу машину курочить, запчастей нет...

— Приказ слышали? — Костенко едва не сорвался на крик. — За невыполнение под трибунал пойдете! Вторую машину подгоните к «Пионеру», примите гостей... И глядите по сторонам, может быть, заметите четвертого, того, кто наблюдает за всей операцией... Малейшее подозрение — ставьте наблюдение, это — ц е п ь...

Костенко сунул «воки-токи» в карман, снова взял гнид за уши и, не скрывая уж более дрожи в лице, прошептал:

— Сейчас пойдете на улицу. Ясно? Двор простреливается, положат, если вздумаете бежать. Выйдете к «Пионеру». Там будет стоять такси. Ясно? Сядете на заднее сиденье. Все. Идите.

Отпустив их уши, ставшие сине-красными, он снял с парней наручники, провел по коридорчику к двери и, открыв ее, кивнул на человека, стоявшего на лестничном пролете возле окна:

— Таких здесь восемнадцать... Ясно, нелюди? Старик жив, поэтому вышка вам не светит... Но помните: если решите бежать — пристрелим.

Через три минуты зашершавил «воки-токи»:

— Докладывает «пятый»...

— На приеме, — ответил Костенко.

— Операция закончена.

— Подозрительных не было?

— Около «Диеты» стояла «Волга»... Когда наши отъехали, она рванула на разворот к брежневскому дому.

— Садитесь им на хвост! Ведите до конца! Установите их, это сейчас самое важное! Еще раз предупредите ГАИ: псы ощерились! Не упустить! На связь выходите в угрозыск местного отделения...

(Имя друга, Николашки Ступакова, не назвал; еще неизвестно, как пойдет дело, — несанкционированность и

все такое прочее, а тому еще надо пенсию получить, нет ничего хуже, чем подставлять своих.)

...После того как доктор из «Скорой» сделал Владимиру Ивановичу Строилову укол («мне кажется, он упал головой на тапок; сантиметр бы левее, летальный исход неизбежен»), вызвав медсестру из Пятнадцатой клиники, которая шефствует над сталинскими жертвами и афганскими мальчиками, Костенко рванулся к Ступакову.

П с ы сидели в камере: Гуслин Петр Сергеевич, ученик десятого класса, член ВЛКСМ, судимостей и приводов не имел, Залоев Виктор Матвеевич, экспедитор почтового отделения, член ВЛКСМ, судимостей и приводов не имел, и Стружкин Андрей Дмитриевич, шофер отделения связи, член ВЛКСМ, приводов и судимостей не имел.

— Кто дал наводку на квартиру генерала? — спросил Костенко.

— Какого генерала? — Залоев пожал плечами. — О чем это вы?! Мы никакого генерала не знаем... Если б нас на месте задержали, были б свидетели, а так только при Сталине на людей напраслину катили...

Костенко кивнул:

— С тобой ясно... Гуслин, тоже не будешь отвечать?

— А чего мне отвечать-то? Схватили на улице...

— Тебя никто не хватал... Сам сел в такси...

— Это не такси, а ваша оперативная...

— Откуда знаешь?

— Там в багажнике ваш скрючился, пистолетом в спину уперся.

— Стружкин, сколько тебе обещали за д е л о? — Костенко затушил окурок в спичечном коробке, вопросы ставил устало, незаинтересованно, словно бы обмяк, прикрывал то и дело веки, словно они сделались тяжелыми, неподъемными...

— А я их вообще впервые вижу... Вы мне дело не шейте... Мою машину разбили, приволокли сюда ни за что, ни про что, издеваться над собой не позволю...

— Ну что ж, — Костенко кивнул. — Иди, пиши, что этих п с о в никогда не видел, и потом можешь катиться ко всем чертям...

Проводив взглядом Стружкина, которого вывел из камеры милиционер, Костенко дождался, пока стих безнадежно-тюремный звук шагов, достал из кармана конверт с поляроидными снимками, бросил на лавку:

— Можете посмотреть... Тут все зафиксировано... Как вы из его машины вылезаете, как с ним проща-

етесь... А ведь он сейчас возьмет на себя ответственность за дачу ложных показаний... А это — срок. Ясно, нелюди? Что касается свидетелей и улик, то после вас эксперты приезжали, там ваших пальцев полно, это — неубиенная улика... Меня сейчас другое интересует. Кто вам сказал про генерала? Ответите — отпущу... Но вам это невыгодно... Вас сегодня же вырежут, потому что вы — свидетели... Ясно? За три дня я возьму банду... Клянусь, — Костенко медленно поднял на них ненавидящие глаза. — Клянусь жизнью, п с ы... И тогда вы пойдете на процессе свидетелями, а не соучастниками... Гуслину дадут условно, маломерок еще... Тебе, Залоев, светит трояк... Если, конечно, старик не умрет... Вы ж бросили его, восьмидесятидевятилетнего, на пол, сталинские недострелыши... Молчим?

— А мы все сказали, — тихо повторил Гуслин, втягивая голову в плечи; поляроидные снимки рассматривал со страхом, глаза лихорадочно бегали.

Костенко поднялся:

— Пойдем, Гуслин... А ты здесь один посиди, Залоев, подумай... Шагай, Гуслин, я тебя в другую камеру посажу, к серьезным людям, не ровня этому нелюдю, там тебе все по закону растолкуют... Пойдем...

Он стукнул ладонью в дверь, конвоир сразу же рас пахнул ее, словно подслушивал; в темном коридоре, освещенном тусклым светом лампочки, забранной решеткой, Гуслин услышал хриплый хохот, доносившийся из соседней камеры.

— Посмотри в глазок, — сказал Костенко парню. — Полюбуйся на своих будущих учителей...

Гуслин молча замотал головой.

— Да ты не бойся, — усмехнулся Костенко, — смотри, а то наклоню...

Тот приткнулся к глазку; три обросших детины в рванье гоготали, играя в «тюремное очко».

— Отворяйте камеру, сержант, — сказал Костенко.

— Не надо, — прошептал Гуслин. — Я скажу... Наводку на генерала дал Федька Рыжий, он со Стружкой в одном доме живет, на Кропоткинской...

Федькой Рыжим оказался арсений Федяшкин, тридцати двух лет, судимый за квартирные кражи, официант кафе «Отдых»; попросив Ступакова установить связи

п с а, Костенко заглянул в кабинет, где Стружкин кончал строчить показания.

Дождавшись, когда тот поставил закорючистую подпись, разложил перед ним — трескучим карточным пасьянсом — поляроидные снимки.

— За дачу ложных показаний срок получишь, — сказал Костенко. — Бери второй лист и пиши про Рыжего.

— Про какого Рыжего? — Стружкин съежился, голос стал писклявым, слезливым, отчаянным.

— Ты мне вола не верти, паскуда... Арсений Федяшкин на очной ставке скажет правду, а ты умоешься большим сроком.

— Я без адвоката отвечать не буду...

— Ну и не надо... Никтотебя не понуждает говорить без адвоката... Валяй, вызывай... Только сначала я твоего адвоката к старику Строилову свожу... Поглядим, как он тебя после этого станет защищать.

— На одном адвокате мир не сошелся. Другого вызову.

— Пиши фамилию, вызовем, тварь...

— А какое вы имеете право меня оскорблять?! Я что, в фашистский застенок попал?!

— Знаешь, что бы с тобой сделали в фашистском застенке? Или у нас, при Сталине? Знаешь? Думаешь, если мы вознамерились по закону жить, то вам теперь все можно?! Все с рук сойдет?! Ошибаешься, Стружка... Если б ты был сиротой голодным — одно дело, а ты ж барчук, ты жизнью балованный, тебе лагерь внове будет, а до лагеря еще надо через тюрьму пройти...

— Вы меня на испуг не берите... Не расколюсь... Без адвоката ни слова не скажу...

— Ах, если б я был фашистом, — Костенко сокрушенно покачал головой, вздохнул и медленно поднялся. — Сейчас я в «Отдых» еду, что Рыжему передать? Говори — запомню...

С этим и вышел, ощущая глухую, безнадежную ярость; а ведь такие, подумал он, вполне могут нас в фашизм затолкать, если только дать расходить эмоциям...

...В «Отдых», конечно же, не поехал — рванул прямиком в аэропорт «Шереметьево», забитый детьми, стенающими женщинами, угрюмыми стариками — немцами, евреями, армянами, стайками веселых туристов, расте-

рянными иностранцами, счастливыми командировочными, оценивающе-выжидающими носильщиками — вавилонское столпотворение...

Связался по рации со Строиловым; на Петровке его не было, дежурный ответил, что капитан поехал к отцу:

— Генералу очень плохо, товарищ полковник. Он потребовл вызвать прокурора и представителей комитета, хочет дать показания на Сорокина... Считает, что сейчас это единственное законное основание для его задержания... Он требует, чтобы его брали немедленно... Говорит, — голос дежурного сорвался, — «сделайте это, пока я жив»... Где вы?

— Еду в Шереметьево... Предупредили наших?

— Да.

— Скажите Строилову, что мы возьмем его...

— С чем? У нас же на него ничего нет...

...Лицо генерала было пергаментным, виски запали, сделались желтоватыми, голубоватые прожилки чуть покраснели и зримо, то и дело судорожно замирая, пульсировали, существуя как бы отдельно от неподвижных, устремленных в потолок глаз.

— Я, Строилов Владимир Иванович, боюсь реанимации сталинизма, — он говорил с трудом, страшась делать глубокий вдох, порою проводя сухим языком по запекшимся бескровным губам. — Я вижу, как мы поворачиваем вправо... Те, кто начал революцию перестройки, стали опасаться ее размаха... Я не против того, когда спорят на улицах, я за то, чтобы сталкивались разные мнения... Но я был и останусь противником национал-социализма и сталинизма... Обе эти ипостаси сейчас перешли в атаку... На нас... На несчастную страну... Народ, многие годы лишенный знания, слушает демагогов — нацисты всегда кричат громче других... А сталинисты повторяют то, что вдалбливали в головы несчастных людей последние шестьдесят пять лет... Вся наша история — это история абсолютистских запретов, на этом и сыграл Сталин... Он стал Иосифом Первым, и это легло на подготовленную почву: люди, отученные самостоятельно думать и лишенные права на свободную работу — без приказа и надсмотрщика, — ждали того, кто рявкнет, ударит, посадит, казнит... Дождались... Я увидел фотографию человека, которого знал под фамилией Сорокин, Ев-

гений Васильевич... Пусть капитан Строилов даст нам это фото сейчас же... Приобщите его к моему заявлению... К этому исковому заявлению... Сорокин бегает трусцой... Да, да, я в полном сознании. Я хочу подписать записанную вами страницу... Вы ведь пишете протокол? Или только фиксируете мой голос?

— И то и другое, Владимир Иванович, — ответил прокурор. — Все делается по закону, не волнуйтесь...

— Я не знаю, что такое «волноваться»... В последние дни я стал бояться, это страшней... Сорокин бегает трусцой в кроссовках, которые стоят сотни рублей... В спортивном костюме, который не появляется на прилавках магазинов. Он живет хорошей жизнью, тот, который был осужден за «незаконные методы ведения следствия»... Почему ни Русланова, ни Федорова, ни я не были вызваны в качестве свидетелей? Это неправильно, что его обвиняли в «незаконных методах»... Такие методы были законны в его время... Я расскажу вам, какие это были методы... Он и его сослуживцы — если их так можно назвать — связывали мне руки за спиной, крутили жгутом ноги и тянули затылок к пяткам... Это называлось у них «гимнаст». Подложив под лицо подушку, они били меня резиновой дубиной по шее... Такой допрос продолжался в течение десяти часов — пока я не терял сознание... Сорокин требовал, чтобы я признался, будто выполнял шпионские задания члена Политбюро Вознесенского... И секретаря ЦК Кузнецова... Потом он засовывал мне в нос шланг от клизмы и пускал горячую воду... А я был привязан к стулу... И я захлебывался, а он стоял надо мной и смеялся... А со стены, из-за его спины, на меня смотрел тот, кого и сейчас многие жаждут, — фашист по имени Сталин... Руками сорокиных Сталин убивал мыслящих, ему надо было привести к владычеству покорных кретинов, чтобы навечно продолжить в стране ад... Я не нахожу объяснения тому, что происходило... Вы успеваете писать?

— Да, папочка, — всхлипнул Строилов, — товарищи успевают, ты только не торопись, не утомляй себя...

Врач взял руку генерала, нащупал пульс, сокрушенно покачал головой; старик раздраженно поморщился:

— Дайте я подпишу то, что наговорил... Формы протоколов допроса остались прежними? Как и в то время? Эх, вы... Дайте ручку...

— Владимир Иванович, — сказал прокурор, — вы подпишете, когда мы все закончим...

— Нет... Сейчас... У меня в любую минуту может остановиться сердце...

Он медленно сжал в посиневших пальцах перо и подписал две страницы.

— Хорошо... Благодарю... Хочу продолжить... Сорокин называл мне сотни имен, мне казалось, что он хотел превратить всю страну, всех людей во врагов народа... Он торгаш по природе, он торговался за каждого, вымаливал, обещал, снова бил...

Чекист, приехавший вместе с прокурором, спросил:

— Владимир Иванович, сколько раз он пытал вас на допросах?

— Не помню...

— Очень важно, чтобы вы вспомнили... Это крайне важно для следствия...

— Я сидел во внутренней три года... На допросы он вызывал меня раза четыре в неделю... Один день говорил, пугал, путал... Три дня — мучил... Считайте сами... Да, еще я пролежал в больнице два месяца... После пыток у меня случился паралич левой ноги... Он был пьяный, когда бил меня, и попадал дубинкой не по ягодице, а по позвоночнику... Это было в пятидесятом, в мае месяце... Точнее — Первого мая... Я музыку на улицах слышал... Лозунги кричали по радио... А еще я могу свидетельствовать за Лидию Русланову и Зою Федорову... Он их не так мучил, как меня... Он их ставил в карцер, в каменный шкаф... На сутки ставил, на трое — без движения, как в гробу...

— Он знал, что вы ни в чем не виноваты? — спросил прокурор.

— От него требовали, чтобы я стал виноватым... Он прекрасно знал, что я никогда ничьим шпионом не был...

— Но он никогда не говорил вам, что знает про вашу невиновность? Не просил согласиться подписать самооговор, потому что это нужно партии, стране, Сталину?

— Нет... Это говорил Рюмин... Когда меня принесли к нему из лазарета... На носилках... И в камере мне это же говорил... Фамилию не помню... Наседка... Уговаривал признаться, чтобы выйти на процесс... И там открыть всю правду... Но я-то знал, что это за и г р ы...

— Сорокин вас пытал один? — спросил прокурор. — Или приглашал заплечных, чтобы держали?

— Когда как... Меня же к нему доставляли в наручниках... Руки за спиной... Да и на ногах еле стоял,

держали в карцере, на воде и куске хлеба, сил не было защищаться... У него глаза становились какие-то белые, когда он через меня пускал ток... От него очень пахло затхлостью... У некоторых людей есть особенный, душный запах затхлости... И все они отчего-то стрижены под скобу... Я требую, чтобы он, Сорокин, был привлечен к суду не за «нарушение методов ведения следствия»... Я требую, чтобы его судили за осмысленный, звериный, сладострастный садизм... Сорокин страшен как явление: если не соглашаешься с тем, чего он требует, ты перестаешь быть человеком, делаешься тварью, пустотой, насекомым... Это страшнее, чем гитлеровский нацизм, понимаете? Это мистика какая-то... Сорокин пытал большевика, про которого ему сказал начальник, что тот — враг. Одного слова для него было достаточно... Понимаете? Слова барина, который давал ему право на все... Такого не было в истории человечества... А еще — но это было только два раза — он повалил меня и начал прижигать папиросой ступни... Это было накануне Октября... А потом сам мазал язвы мазью Вишневского...

Теперь главное, — схватив синими губами воздух, продолжил Строилов. — В измене Родине, то есть в измене самому себе — понятия «Родина» и «я» неразделимы, — повинен и предатель, но еще более тот, кто подтолкнул его к этому дьявольскому, трудно понимаемому шагу... Так вот... Я стал изменником... Я — предатель... Да, да, пишите это... Я изменил себе, то есть Родине... И повинен в этом Сорокин... Он устроил очную ставку с моим шофером, Кириллом Семенычем, я с ним прошел войну... Тот должен был написать в протоколе, что я приглашал в машину английского консула, показывал ему военные объекты, получал за это пачки долларов и отдавал их — в моей же машине — эмиссарам Вознесенского для разворачивания работы «русского заговорщического центра»... Сорокин два года выбивал из меня признание, что мы хотели вывести Россию из Союза Республик, реставрировать капитализм, да еще пригласить из Штатов Керенского — в новые премьеры... Кирилл Семеныч молчал, отрицал все, хоть был забит до полусмерти... Тогда Сорокин приказал ввести его внучку, девочку-подростка, ей шестнадцати не было... Когда девочку втолкнули, Сорокин сказал: «Ты, лярва, в ансамбле танцуешь?! Раздевайся догола, сучонка, потанцуй напоследок перед дедом, пока я тебя в камеру не отправил! Люблю танцы, лярвочка!» Она

стала белой, внученька его, а Кирилл Семеныч пополз со стула, впадая в медленное, не верующее в реальность происходящего беспамятство... А Сорокин подошел к девочке, начал с нее кофточку снимать... Аккуратно пуговички расстегивал, к себе прижимал... А она стоит, маленькая, трясется, как замерзший воробушек... Вот... Тогда я и сказал, что готов подписать на себя что угодно, путь только отпустит девочку... И мы с ним начали писать сценарий... Про то, как и почему я — один я, без группы, только я — пошел на измену Родине... Значит, Сорокина надо судить за измену, за пособничество измене Родине, за понуждение к тому, чтобы люди становились предате...

— Папа! — Строилов подался к отцу. — Папочка! — Он растерянно обернулся к прокурору, потом перевел взгляд на доктора. — Папочка... Папа мой...

...Костенко сидел в маленькой, без окон, комнате шереметьевского аэропорта, слушал голоса дикторов, смотрел на старый телефонный аппарат, страшась снять трубку и позвонить Строилову. Сердце жало, он чувствовал беду, понимал, что, если бы все обошлось, капитан наверняка связался бы с ним; более всего Костенко ощущал свою случайную и суетную малость на этой земле, когда уходил друг или родной человек; что сказать тем, кто стоит у гроба, неотрывно глядя на загадочную бездыханность ледяной материи, которая обречена на скорое превращение в пепел или тлен? Как выразить скорбь? Слов, адекватных таинству смерти, не существует... Больше всего он страшился тихих разговоров за спиной о том, как добираться на поминки, что удалось достать к столу, кто с кем поедет, где надо прихватить еще одну бутылку; в храме скорби бездумно включался суетный счетчик плотской жизни, словно бы сбросили груз — и айда дальше...

Костенко все же пересилил себя, набрал номер; все понял, услыхав женский голос: почему-то в доме, где случилась смерть, к телефону подходит именно женщина.

— Что? — спросил Костенко, ужасаясь нелепости своего вопроса. — Где Андрей Владимирович?

— Позвоните позже, — тихо ответила женщина, — он собирает отца...

— В госпиталь?

— Нет... Собирает... Одевает его... Владимир Иванович умер...

— Скажите, что Костенко звонил... Скажите... Я очень... Словом, скорблю... С ним я, скажите... Сердцем с ним... Я приеду...

Положив трубку, он явственно увидел лицо генерала, бездонные голубые глаза, скорбный рот с опущенными уголками и тщательно заштопанные рукава старенького свитера (а я даже не знаю, что случилось с женой капитана; почему развод; такой семейный человек; верно, «нежным дается печаль»; кто им стряпал, кто стирал; как поздно мы вспоминаем обо всех этих мелочах, которые и определяют жизнь). Именно эти заштопанные рукава, чиненая скатерть на столе и скрипучие кресла вспомнились сейчас ему особенно явственно; кто объяснит требовательную выборочность памяти?

Через «воки-токи» Костенко вызвал дежурного; тот словно бы понял, что интересует полковника.

— Никодимова и неизвестный с цветами стоят возле официальных делегаций...

— Хорошо... Пусть наша девушка попросит их срочно позвонить в Росконцерт... Дэйвида пригласите в депутатский, я туда подойду... Пусть товарищи смотрят за Никодимовой и ее спутником. После разговора с Росконцертом они будут с кем-то связываться, меня интересует этот номер... Никого из тех, чьи фото я показывал, в зале нет?

— Нет.

— А на стоянке?

— Тоже.

— Здесь должен быть кто-то еще... Смотрите в оба...

Через три минуты Костенко поднялся, надел темные очки и, пройдя через служебный вход, двинулся навстречу Дэйвиду, который, весело болтая с аэрофлотской девушкой, семенил в депутатский зал.

Костенко пристроился рядом, кивнул девушке: «Спасибо» — и, взяв Дейвида под руку, тихо спросил:

— С прибытием, Давыдов, припоминаете меня?

— В чем дело? Кто вы? — Дейвид испуганно повернулся к нему и, побледнев, попробовал выдернуть руку.

Костенко покачал головой.

— Десять минут назад ваши знакомые убили очень хорошего человека... Подельца Зои Алексеевны Федо-

ровой... Пошли кофейку выпьем, здесь рядом... Люди кругом, не волнуйтесь; надо перемолвиться...

— Погодите, погодите! Вы товарищ Костенко?! — деланно изумился Дэйвид. — Рад вас видеть...

— По поводу радости — не надо.

— Нет, но вы меня ошарашили! «Мои знакомые», кого-то «убили». О чем вы?!

— Пошли присядем... Не надо на проходе толочься...

— Знаете что, товарищ Костенко, давайте расставим точки над «i». — Дэйвид полез за сигаретами, но никак не мог попасть в карман. — Я никакой не Давыдов, а Джозеф Дэйвид, гражданин США... И я нахожусь в международной зоне, а не в России! Я еще не перешел вашу границу... Поэтому я сейчас подниму такой крик, что Горбачеву с его перестройкой это не понравится, а уж нашему Бушу тем более...

— Вы-то не перешли границу, — согласился Костенко, — зато ваш паспорт перешел... Вы ж его сами аэрофлотской девушке отдали...

— Это провокация, — сказал Дэйвид упавшим голосом. — Я протестую...

— Против чего? Я приглашаю вас выпить чашку кофе... Только лишь... Разговор пойдет на людях, секретов особых нет... Хотя вы можете попросить меня перенести разговор в другое место, без свидетелей, — чтобы у вас не было неприятностей в Нью-Йорке... Это только кажется, что Двадцать третья улица и ресторан «Эль Кихоте» далеко от Шереметьева...

Дэйвид дрогнул:

— Откуда вы зна... Хорошо, я не против, давайте выпьем кофе, но я не понимаю, в чем дело? Меня люди ждут...

— Если хорошие люди — подождут.

Костенко подвел Дейвида к пустому столику, рассеянно кивнул на стул, отошел к стойке бара; шумная группа туристов, вылетающая «по трассе дружбы Москва — Берлин», толпилась возле бара; судя по одежде, туристы из провинции, цвет пиджаков и брюк удручающе коричнево-черен; когда ж мы оденем по-людски несчастных, чтобы в нас не тыкали пальцами? Где совесть у тех, кто обязан думать о престиже страны? Встречают-то по одежке, не по чему еще...

Заказав кофе, бутерброды с колбасой и две рюмки водки, Костенко терпеливо ждал, пока все это поставят на поднос; не оборачивался, был убежден, что Дэйвид

ждет его, готовясь к разговору, лихорадочно просчитывает варианты ответов, а вопросов-то может быть уйма, есть чем интересоваться; это хорошо, что он сейчас бьется жопой об асфальт, пусть себе, в а с и л е к...

Костенко расплатился с неохватной буфетчицей (бедненькие, со страху ведь толстеют, норовят сразу же утолить вековечный голод, наесться от пуза, боятся, что завтра отнимут место, закроют бар, запретят торговлю, у нас всего можно ждать); повернулся, увидел Дэйвида, который стремительно и жадно, как урка перед допросом, затягивался «Кэмэлом» без фильтра, ободряюще кивнул ему и снова сразу же — высверком, грохотом — увидел лицо генерала Строилова, когда тот медленно, р у ш а щ е, словно старая сосна, падал на пол в прихожей...

Медленно опустившись рядом с Дэйвидом, полковник потер веки; снова появилось лицо Строилова — близкое, прекрасное, живое.

Достав «воки-токи», Костенко вызвал «девятого».

— Слушайте-ка, свяжитесь с нашими, пусть выяснят, где тело генерала... И объясните сыну — это надо сделать архитактично, — что необходимо отправить покойника в морг... Для вскрытия... Меня интересует лобная часть, особенно правый висок... Если там набухла гематома от удара, значит, он не умер, а его убили...

Спрятав «воки-токи», Костенко поднял наконец глаза на Дэйвида; тот сжимал окурок, не чувствуя, видимо, боли, хотя тлеющий огонек явственно жег кожу.

— Погасите, — сказал Костенко. — Пальцы будут болеть...

— Что? Ах да, спасибо... Вы меня ошеломили, товарищ Костенко... Эта встреча... Смерть... Я в полнейшей растерянности... Столько лет прошло, отвык от всего этого...

— Со времени нашей последней встречи прошло двенадцать дней, мистер...

— Вы что-то путаете... Я же помню, когда мы встречались... Это восемьдесят первый год... Вскоре после трагедии с Зоечкой...

— Вы же тогда отрицали свое знакомство с Федоровой... Почему теперь — «Зоечка»?

— *Она для всего советского народа была и останется* «Зоечкой», ее свято хранят в памяти...

— Не паясничайте... А то зачитаю показания, кото-

рые дал на вас Борис Иванович Буряца... Помните такого?

— Что-то слыхал, — ответил Дэйвид; в глазах его наконец появился ужас, пульсирующе расширявший зрачки.

— Ну-ну... Значит, вы меня — с тех пор, как нам довелось беседовать на Петровке, — не видели?

— Откуда, товарищ Костенко?!

— Подумайте еще раз... Вы могли меня видеть совершенно случайно, кто-то сказал на улице, вот, мол, м у с о р, который знает про дело «Зоечки» то, чего не знаем мы... Такого не могло быть?

— Вы как-то странно ставите вопрос...

— Разве это преступно — увидеть человека на улице?

— Я многих видал на улицах! Знаете Ирочку? Из Моссовета?

— Не юродствуйте... Мне трудно говорить с вами, Давыдов... Случилась беда, понимаете? Убили того человека, которого пытал Эмиль...

— Какой Эмиль? — Дэйвид втянул голову в плечи. — О чем вы?

— О Хренкове-Айзенберге... А теперь можете идти в город... Но имейте в виду: вы больше не нужны автору манускриптов о Зое Федоровой и структуре нашей мафии... У него на руках заграничный паспорт... Он уезжает... Ясно? Есть человеческое понятие — «не нужен»... Номер в отеле не нужен... Костюм... Контракт... Бриллиантовый кулон не нужен... А есть — волчье... Так вот, волчье «не нужен» означает лишь одно: смерть...

— Так не выпускайте его! — взмолился Дэйвид.

— На каком основании? Он едет к жене... Воссоединяется, так сказать... Да, вы идите, идите, я не держу вас... Вас люди ждут... Они ведь должны вас отвезти к нему? С третьего этажа прыгать высоко, да и не там вас к о н ч а т, а за городом, вы, возможно, знаете адрес, там и проткнут шилом...

— Погодите, пожалуйста, товарищ Костенко! Только не торопите меня! Я ничего не понимаю, мне нужно собраться, — Дэйвид снова закурил, поднял рюмку, расплескал водку — рука тряслась неуправляемо, да он и не скрывал этого, ужас был в глазах, ставших черными, оттого что зрачки расширились так, словно бы взрывались изнутри. — У вас ко мне, лично ко мне, есть претензии?

— Нет.

— Так чего же вы от меня хотите?

— Ничего.

— А зачем вы меня здесь встретили?! Зачем весь этот ужасный разговор? Я больной человек, у меня страшное давление... Почечное... Что мне теперь делать?

— Не знаю. Берите свой паспорт и отправляйтесь к вашим людям...

— Зачем вы меня пугали шилом?! Это ведь не шутка? Нет?

Костенко поднялся, достал из кармана фотографии, бросил их на стол:

— Это еще не все, Давыдов... Поглядите для начала эти, поймете, что я не пугал...

И неторопливо пошел из бара.

Дэйвид подвинул фотографии, стремительно просмотрел их: Сорокин во время пробежки, возле кратовской дачи, у телефона-автомата, рядом с «Волгой», на скамейке бульварного кольца — рядом с Никодимовой: она смотрит в сторону, он читает газету; стремительно перебрал нумерованные фото из уголовных дел: убитый Мишаня Ястреб, тело Людки на асфальте, укрытый простыней труп Бориса Буряцы, Зоя Федорова с простреленной головой...

— Погодите, — услыхал Костенко крик Дэйвида. — Подождите же! Скажите, что мне делать?!

Костенко неторопливо обернулся, мгновение смотрел на Дэйвида задумчиво, лицо свела гримаса боли, потом как-то досадливо махнул рукой:

— Верните фотографии... Если станете говорить правду, поможете себе... И нам... Разговор будет без протокола...

— А диктофон?!

— У нас это не доказательство.

— Так у нас доказательство!

— Вы меня не интересуете, Давыдов... Решайте свои вопросы в Штатах. Меня интересует только один человек, тот, которого вы продавали своим издателям как «Айзенберга»... Готовы к разговору?

— Только не надо таких вербальных нот в голосе, товарищ Костенко.

— Понятие «вербальная нота» к «вербовке» отношения не имеет. Если уж вас и решат вербовать, то это будет ЧК или ГРУ, мне вы за кордоном не нужны... Да и здесь, повторяю, тоже... Вы мне просто-напросто

нужны живым... На те дни, пока вы здесь... Контракт Сорокину привезли?

— Кому?! Не клейте мне лишних! Я не знаю никакого Сорокина! Я привез контракт Айзенбергу! Да, да, тому, который бегает по улицам в спортивном костюме... И парится у себя на даче... Там же принимает душ Шарко и массажи...

— Это детали, — поморщился Костенко. — Если контракт у вас, то он его заберет, и вы ему больше не будете нужны!.. Ясно? Или еще раз объяснить, что такое «не нужен»? А мне нужны его рукописи... Больше я ничего не хочу... Если договоримся — гарантирую, что выберетесь отсюда живым... Вот, собственно, и все... Я понимаю, что вы мне боитесь верить... Ваше дело... Хотя запомните: нет бóльших либералов в странах, подобных нашей, чем люди в правоохранительных органах — можете называть их карательными... На этом, кстати, всегда горели советологи того государства, где вы сейчас живете... Так вот, если мы уговорились, я предоставлю вам возможность обсудить кое-какие детали с американцем... Он — настоящий американец, не натурализовавшийся. Ну, как?

— Я же ответил...

— Зачем я был нужен Соро... Айзенбергу?

— Вы же сами ответили... Издатель хотел, чтобы был комментарий того же сыщика, кто вел расследование по делу об убийстве Федоровой... Это сенсация, за нее платят...

17

...Приехав к себе в Поволжье летом тридцатого года, Михаил Андреевич Суслов, двадцативосьмилетний преподаватель марксизма-ленинизма, двинутый просвещать молодежь сразу после устранения из Политбюро Бухарина и Рыкова и исключения из партии Троцкого, Каменева, Смирнова, Зиновьева, Радека, Крестинского, Раковского и Преображенского, увидал в родной деревне такой голодный р а з о р, что пришел в ужас: по ночам рубили яблоневые сады, растаскивали избы выселенных в сибирскую каторгу справных мужиков, нареченных отныне «кулаками», и увозили в степные схроны то, что оставалось еще в сусеках.

Дядька, отдавший М и ш а н ь к у в церковно-приходское училище (мечтал направить по духовной линии

смышленого мальца), говорил тихо, то и дело оглядываясь, хотя сидели на завалинке:

— Помрет русское село, племяш... Ты к власти близкий, донеси правду: мор грядет... У мужика с в о е отняли, он на чужой земле работать не сможет, ты ж Библию знаешь, нельзя противу естества идти, сгинет Русь...

Вернувшись в Москву, Суслов засел за изучение партийных документов, заново проконспектировал работы Сталина и лишь после этого написал ему письмо, в котором доказывал необходимость самой суровой борьбы против затаившихся оппозиционеров, которые мутят воду и сбивают с толку колхозника, только-только начавшего приобщаться к социализму.

Он ощущал возвышенное, странное чувство, сочиняя свое письмо, ибо понимал, что оно должно определить его судьбу на многие годы вперед; он совершенно точно понял, что Сталин — самый поразительный в истории человечества ренегат, ибо выписал на отдельные листочки отдельные цитаты из его выступлений только на протяжении двух лет, когда Сталин — руками Бухарина — уничтожил сторонников колхозного строя во главе с Каменевым и Зиновьевым, а потом уничтожил Бухарина, последовательного противника закабаления мужика.

...В двадцать шестом, в а л я Троцкого, Каменева и Зиновьева, генеральный секретарь утверждал:

«Индустриализация страны может быть проведена лишь в том случае, если она будет опираться на постепенное улучшение материального положения большинства крестьян...»

«Чем была сильна зиновьевская группа? Тем, что вела решительную борьбу против основ троцкизма. Чем была сильна троцкистская группа? Тем, что она вела решительную борьбу против ошибок Каменева и Зиновьева...»

«Мы все, марксисты, начиная с Маркса и Энгельса, придерживались того мнения, что победа социализма в одной, отдельно взятой стране невозможна... Вот что говорит Энгельс: «Может ли революция произойти в одной стране? Нет. Крупная промышленность уже тем, что она создала мировой рынок, так связала между собой все народы, что каждый из них зависит от того, что происходит у другого. Поэтому коммунистическая революция будет не только национальной, но произойдет одновременно во всех цивилизованных странах, то есть по крайней мере в Англии, Америке, Франции и Германии...

Правильно ли это положение теперь? Нет, неправильно...»

(Суслов не удержался, черканул: «Потому что власть сделалась собственностью тех, кто пришел наверх»; испугался, порвал на мелкие кусочки, вышел в коридор, заперся в сыром сортире и спустил бумажки в унитаз; ночью проснулся в ужасе: а вдруг какой засор — всплывет?)

«Товарищ Троцкий, видимо, не признает того положения, что индустриализация может развиваться у нас только через постепенное улучшение материального положения трудовых масс деревни... Рост частного мелкого капитала в деревне покрывается и перекрывается таким решающим фактором, как развитие нашей индустрии».

«Разве партия когда-либо говорила, что полная, окончательная победа социализма в нашей стране возможна и посильна для пролетариата одной страны? Где это было и когда — пусть укажут нам...»

«Партия не терпела и не будет терпеть того, чтобы оппозиция пыталась конструировать отношения между крестьянством и пролетариатом не как отношения экономического сотрудничества, а как отношения эксплуатации крестьянства пролетарским государством».

«Что значит политика разлада с середняком? Это есть политика разлада с большинством крестьянства, ибо середняки сейчас составляют не менее шестидесяти процентов всего крестьянства...»

«Недавно на Пленуме ЦК и ЦКК Троцкий заявил, что принятие конференцией тезисов об оппозиции должно неминуемо привести к исключению из партии лидеров оппозиции. Я должен сказать, что это заявление товарища Троцкого лишено всякого основания, что оно является фальшивым...»

И спустя полтора года, после того как Троцкий был исключен из партии, отправлен в ссылку, а затем выдворен из страны, — поворот на сто восемьдесят градусов:

«Группа Бухарина требует — вопреки политике партии — свертывания строительства колхозов и совхозов, утверждая, что совхозы и колхозы не играют и не могут играть серьезной роли в развитии нашего сельского хозяйства. Она требует — тоже вопреки партии — установления полной свободы частной торговли и отказа от регулирующей роли государства в области торговли, утверждая, что регулирующая роль государства делает невозможным развитие торговли... Одновременно группа

Бухарина обвиняет партию в том, что она ведет политику «военно-феодальной эксплуатации крестьянства...»

Суслов помнил, как группа молодых «красных студентов» из Поволжья, запершись в маленькой комнате Власова, ликующе шепталась о том, что после изгнания из ЦК Троцкого, Зиновьева, Каменева, Радека засилье «малого народа» кончилось; именно они, представители «малого народа», шли с атакой на вековечный уклад русского крестьянства, которое было для них безликой массой, никогда ими не понимавшейся.

Однако Суслов боялся признаться себе в том, что, изучая речи Сталина на съездах партии, он не мог вычеркнуть из памяти слова Иосифа Виссарионовича, произнесенные в девятнадцатом году, когда тот поддерживал Предреввоенсовета Троцкого: «Я должен сказать, что те элементы, нерабочие элементы, которые составляют большинство нашей армии, — крестьяне, не будут добровольно драться за социализм... Отсюда наша задача — эти элементы перевоспитать в духе железной дисциплины, заставить воевать за наше общее социалистическое дело...»

Суслов был готов уже в двадцать восьмом открыто выступить против «малого народа» в партии, набросал ряд заготовок, понимая, что такого рода выступление будет угодно генеральному секретарю, сказавшему довольно громко старому большевику Сосновскому: «Что ты вяжешься с партийными раввинами?! Ты ж русский! С нами б тебе и идти, отрекись — дадим хороший пост...»

Что-то, однако, сдержало тогда Суслова, и он потом только диву давался своей проницательности, прочитав интервью генсека еврейскому телеграфному агентству США — после того как на Западе стали открыто говорить об «общепартийном еврейском погроме», учиненном Сталиным под напором черносотенного крыла партийных новобранцев: «Антисемитизм, как крайняя форма расового шовинизма, является наиболее опасным пережитком каннибализма. Антисемитизм выгоден эксплуататорам, как громоотвод, выводящий капитализм из-под удара трудящихся. Антисемитизм опасен для трудящихся, как ложная тропинка, сбивающая их с правильного пути и приводящая их в джунгли...»

...Сочиняя свое письмо Сталину об «идеологических диверсантах» в колхозах, молодой преподаватель марксистско-ленинской теории прекрасно понимал, что он совершает акт особенный, клятвопреступный, но все происходившее в стране убеждало его, что именно такой по-

ступок позволит ему подняться так, что помощь несчастному народу станет делом реальным, ощутимым, весомым, а не митингово-декларативным, пустым, начинавшим постылеть людям, уставшим от посулов, дрязг и постоянной напряженной нестабильности...

И в тридцать первом году, после получения сусловского письма генсеком, дотоле никому не известный преподаватель марксистской теории сделался ответственным сотрудником ЦКК ВКП(б); именно через его руки прошел разгром группы Рютина, решившего — первым в истории партии — уничтожить тирана, захватившего власть; именно он в тридцать четвертом году исключал из партии лучших ленинградцев, верных Кирову; именно он готовил материалы на всех «командиров производства», строителей Днепрогэса, Кузбасса, Сталинградского тракторного, за что и был в тридцать седьмом поднят к руководству, а вскоре введен в ЦК и Верховный Совет и направлен первым секретарем Ставропольского крайкома партии — в кабинет человека, за неделю перед тем брошенного в камеру пыток.

Именно он, Суслов, планировал варварское выселение чеченцев, ингушей, балкарцев, карачаевцев, получая сводки про то, сколько скрывшихся от депортации было выловлено и поставлено под пулемет. Оттуда Сталин перебросил его в Вильнюс, только-только освобожденный от оккупации. Там председатель Бюро ЦК Литвы Суслов осуществил депортацию двухсот тысяч литовцев, в первую очередь крестьян; тут у него случился первый припадок эпилепсии; отсюда он приехал в Москву, на Старую площадь, став секретарем ЦК.

Здесь он погрузился в кураторство идеологии, готовил разрыв с Тито и, затаившись, планировал решающий удар по космополитам, загодя изучая оперативную информацию по делу еврейских врачей; Сталин хотел, чтобы этот спектакль носил ярко выраженный эмоциональный оттенок, никаких двусмысленностей, пришло время открыто плевать на все и всякие еврейские информационные агентства США, с которыми нельзя было не считаться в условиях всесоюзного голода, людоедства, разрухи — тогда еще Сталин побаивался гнева народа, теперь он убедился в том, что снесут все, а уж голод — тем более, стоит только заранее обозначить тех ч у ж и х, которые во всем этом повинны...

Суслов правил статью, написанную для «Правды»: «Американская разведка направляла преступления боль-

шинства участников террористической группы (Вовси, Коган, Фельдман, Гринштейн, Этингер и другие). Эти врачи-убийцы были завербованы международной еврейской буржуазно-националистической организацией «Джойнт», являющейся филиалом американской разведки... Во время следствия арестованный Вовси заявил, что он получил директиву об «истреблении руководящих кадров СССР» через врача в Москве Шимелиовича и известного еврейского буржуазного националиста Михоэлса...»

Он же, Суслов, редактировал заготовку, рожденную в аппарате заместителя министра Рюмина: «Подлая рука убийц и отравителей оборвала жизнь товарищей Жданова и Щербакова... Врачи-преступники умышленно игнорировали данные обследования больных, ставили им неправильные диагнозы, назначали неправильное, губительное для жизни «лечение»...»

Как и тогда, в тридцатом, сочиняя письмо Сталину, в котором винил троцкистов и бухаринцев в агитации среди крестьянства против колхозов, хотя знал, что против колхозов в эмиграции уже выступал Троцкий, а Бухарин был вынужден колхозы поддерживать — поди не поддержи, не на Принцевых островах живешь, а дома, под надзором ГПУ, — Суслов сейчас правил и редактировал б р е д н и с какой-то отрешенной вдохновенностью, зная прекрасно, что Сталин спаивал Щербакова, а Жданова не пускал в отпуск даже когда тот же доктор Коган писал о необходимости серьезного кардиологического обследования «дорогого товарища Жданова»...

Чем явственнее Суслов знал правду, тем вдохновеннее и атакующе писал ложь, находя в этом какую-то жмущую сердце злость к себе, к своей растоптанной жизни, брошенной на алтарь того дела, которое представлялось ему единственным и главенствующим...

Когда после смерти Сталина он был выведен из Президиума ЦК вместе с Брежневым, когда ощутил ватную стену отчуждения вокруг себя, ибо на Старой площади все знали его преданность Сталину, он пошел ва-банк и попросился на прием к Хрущеву — сразу после речи Маленкова на сессии «Верьховного» (иначе произносить не умел) Совета, сделавшей Георгия Максимилиановича самой популярной фигурой в стране.

— Никита Сергеевич, — сказал он тогда, — Родина отблагодарит вас за свержение грязного югославского шпиона Берии, но неужели вы не понимаете, что присутствие Маленкова в главном кремлевском кабинете не

гарантирует нас от опасности нового термидора? Он же спит и видит, чтобы убрать вас, а никто, кроме меня, не может подготовить материалы на Маленкова; хотите вы того или нет, но я — единственный, кто работал под его непосредственным руководством...

Именно этот разговор изменил судьбу Суслова — в очередной раз; несмотря на то что Хрущев достаточно долго колебался, стоит ли ставить на того, кто изгонял в Сибирь целые народы, механика борьбы за власть подвигла его на то, чтобы уже в пятьдесят пятом году, когда Маленков был сброшен и стал министром электростанций, рекомендовать Михаила Андреевича в состав Президиума ЦК.

Именно Суслов выступил на Пленуме против Маленкова, Молотова и Кагановича, отмежевавшись, таким образом, от общего с ними прошлого; именно он — спустя семь лет — стал инициатором свержения Хрущева, именно он начал создавать культ Брежнева — больной, эпилептик, вечно мерзнувший, надевавший калоши уже в сентябре и запрещавший шоферу ездить с дачи на Старую площадь быстрее, чем сорок километров в час; несчастным водителям приходилось тащиться на третьей скорости, сверхмощный мотор «ЗИЛа» жрал тридцать пять литров бензина на сто верст пути, в автобазе сокрушенно качали головами, особенно после того как все звенья партаппарата начали изучать новое теоретическое открытие Леонида Ильича о том, что «экономика должна быть экономной»...

До последнего дня своего он поддерживал Лысенко, не позволяя задевать его в печати ни единым словом; организовал атаку на Дубчека, вторжение в Чехословакию; первым проголосовал за высылку Сахарова в Горький; требовал ареста Валенсы и все более тщательно калькулировал процент инородческого элемента в партийном и государственном аппарате, закрывая некоторые посты даже для украинцев: «Там еще не до конца изжиты западные тяготения, ставка должна делаться на уроженцев восточной части России, тлетворные влияния Европы туда достаточно трудно досягаемы...»

Будучи по природе пуританином, он свято исповедовал мораль и жил, понимая свою трагическую р а з р у б л е н н о с т ь: с одной стороны, он видел себя, знающего всю правду об ужасе коллективизации, а с другой — существовал и действовал как человек, предавший эту правду, сделавший все, чтобы эта ужасная правда стала

«клеветой, работой врагов, злонамерением оппозиции, нацеливавшей свое жало против великого марксиста-ленинца нашей эпохи...»

Понимая, что в нем соседствуют две взаимоисключающие личности, он искал оправдания этому ужасному, разъедающему мозг и сердце (атеросклероз начался еще в тридцать седьмом) состоянию. Он искал оправдания тому, что с ним стало, не в себе самом, но в тех объективных причинах, которые привели его к этой трагедии.

Постепенно, не сразу, исподволь в нем родилась твердая схема: да, я пошел на жертву, отдав на закланье главному делу жизни собственную нравственную целостность, я был обязан пробиться вверх, чтобы отсюда, с Олимпа, быть по-настоящему полезным несчастному русскому народу, ставшему объектом игры в руках членов Политбюро — евреев (Троцкий, Каменев и Каганович), грузин (Сталин и Орджоникидзе), украинцев (Кириченко и Шелест), армян (Микоян), белорусов (Мазуров и Машеров), финнов (Куусинен), латышей (Пельше).

Он ломал себя, приучая — год за годом — к тому, чтобы постигнуть великую науку ожидания; он делал все, чтобы места белорусов и финна в Политбюро были переданы русским, армянина — русско-ориентированному казаху, латыша — русскоориентированному украинцу или же, что еще лучше, русско-украинскому полукровке с последующей заменой на чисто русского партийца.

Он видел, что Брежнев совершенно сдал, дни его сочтены, он напряженно и последовательно готовился к тому, чтобы стать первым лицом, возглавив Политбюро, и поэтому делал все, чтобы имя Леонида Ильича, который подарил стране двадцать лет благостного спокойствия, отмеченного печатью державной, солидной неторопливости, свойственной истории Российской империи, было прозрачно-чистым; он, именно он, Суслов, сможет явить человечеству первый пример того, как наследник не поносит имя предшественника, но, наоборот, делает все для возвеличения его памяти: никогда такого, увы, не было — теперь будет, новая страница в развитии Державы. Умные историки, заранее расставленные им на ключевые посты в науке, смогут объяснить этот феномен преемственности, столь угодный будущему. Хватит, надоело отрезать прошлое! Как ни пытались отрезать Сталина — не вышло, силу не отрежешь,

только слабость исчезаема, из ничего не будет ничего, так угодно Провидению...

Именно поэтому, начав атаку на Цвигуна, провалившего дело опеки семьи Леонида Ильича, позволившего потечь гнусным слухам о тех, кого так любил генеральный секретарь Суслов преследовал свою тайную цель: уже при жизни Брежнева сделаться его добрым опекуном, неназванным поводырем, человеком, радеющим об имени первого лица более, чем само первое лицо...

Суслов знал, что сентиментальность Брежнева может в любую минуту обернуться неожиданностью. Когда генерал армии Епишев, комиссар Советской Армии, доложил ему о том, что режиссер Роман Кармен пошел на поводу у американцев, снимая свой фильм «Неизвестная война» (нашел кого приглашать в комментаторы; лицо кинозвезды Ланкастера вполне типично, смотреть противно, и здесь примазались, ничего не поделаешь, свой свояка видит издалека), Суслов позвонил в Госкино и задал всего лишь один вопрос, понимая, что именно вопросительная краткость вызовет в Гнездниковском переулке смятение:

— А что вы думаете о роли русского народа в фильме «Неизвестная война»? Или отдали право на это размышление главному противнику?

(«Главным противником» в ту пору определялись Соединенные Штаты Америки.)

Вообще, чем дальше, тем чаще он ловил себя на том, что подражает незабвенной памяти Иосифу Виссарионовичу в манере говорить, вести заседания Политбюро и общаться с теми деятелями литературы и искусства, которых порою считал нужным вызвать к себе в кабинет.

Он принял Галину Серебрякову — как-никак написала книгу о Марксе, отсидев в концлагерях добрых семнадцать лет, не озлобилась, гордилась членством в партии, которое ей вернули без перерыва в стаже; довольно стойко перенесла и то, что на Ленинском комитете ее смогли искусно забаллотировать и не дать премии.

Он полагал, что Серебрякова станет просить поддержки при новом туре голосования, видимо, поставит какие-то житейские вопросы — квартира или дача, — однако она стала говорить о другом, неожиданном:

— Михаил Андреевич, ведь вы же знаете, как и я, что ни Бухарин, ни Каменев, ни Серебряков, ни Крестинский с Сокольниковым никогда не были ничьими шпионами! До каких пор мы будем унижать друзей Ленина сталин-

ской ложью? Честные люди, они высказывали свое мнение — вот их вина. Каким бы сложным человеком ни был Троцкий, но ведь он в своем поезде наркомвоена сделал сто сорок тысяч километров по фронтам гражданской...

Суслов поднялся из-за стола, походил по кабинету, потом подошел к огромному сейфу и положил узкую ладонь, казавшуюся бессильной, изнеженно-девичьей, на выпуклый замок:

— Они у меня все здесь, — сказал он тихо, с внезапной болью, удивившей его самого. — Они тут лежат, товарищ Серебрякова, замкнутые... И пока партия доверила мне этот кабинет, возврата к вопросу, который вы ставите, не будет... Товарищ Гроссман вам говорил, наверное, что я беседовал с ним по поводу его рукописи... Талантливо? Да, если страшное можно назвать талантливым... Но издана его книга — ранее чем через сто лет, а то и двести — не будет, нельзя этого делать, я слишком хорошо знаю мой народ, товарищ Серебрякова. Мы, русские, только внешне спокойны и неторопливы, а на самом-то деле нет людей более горячих, чем мы, вам же приходилось видеть н а ш и х в лагерях и тюрьмах... Только следуя линии власти, можно сохранить стабильность... Кулачные бои не французская забава и не английская — наша...

— Немецкие бурши сражались не кулаками, Михаил Андреевич, а кинжалами...

— Русы и пруссы — это не случайная близость, товарищ Серебрякова... Это неподнятый пласт языкознания... Мы близки не только духом, но и кровью. Боярин Кобыла не русак, а пруссак, а ведь был близок к тому, чтобы сесть на наш трон... Так что мой вам совет: не возвращайтесь к той теме, которую подняли, вас не поймут... Я — во всяком случае...

...Госкино доложило Суслову, что с Карменом проведена довольно жесткая беседа, затребован сценарий — для вторичного контрольного прочтения, указано на неточность позиции в отношениях с американской стороной и артистом Ланкастером.

Епишев благодарил сердечно, сказал, что теперь у его аппарата развязаны руки, Кармена вызовут в ПУР для крутой беседы, хватит чикаться с писаками, продыху нет от этих сратых «интеллектулов».

— Интеллектуалов, — поправил Суслов. — Но смысл, конечно, не меняется, вызов традициям, никогда это слово в нашем лексиконе не употреблялось, внесено чужа-

ками, в этом, пожалуй, я согласен с Солженицыным, с его «образованщиной»...

Но через три дня на приеме в Большом Кремлевском дворце Брежнев, заметив Кармена, приглашенного, как обычно, с Майей, женою его, любимицей аппарата Генерального секретаря, совершенно неожиданно для всех покинул свое председательское место за столом Политбюро и направился к пепельно-бледному Роману Лазаревичу, распахнув руки для объятия задолго перед тем еще, как приблизился к нему.

Прижав к себе худенького, хрупкого Кармена, он спросил:

— Слушай, а ты помнишь, когда мы с тобою впервые познакомились?

— В Кремле, — ответил Кармен, — на первой встрече с деятелями искусства...

— Это при Никите Сергеевиче, что ль?

— Да.

Брежнев покачал головой:

— Нет, Роман, короткая у тебя память... Было это в сорок первом, на Украине, я засел с моей «эмочкой» в кювете, а ты мимо ехал, дорога пустая, немец бомбит, танковый прорыв, не выберешься — пристрелят... Все неслись мимо, как мы руками с шофером ни махали, только ты остановился и втроем с твоими товарищами машину мою из кювета вытащили... Ты еще сказал: «С тебя бутылка, подполковник»... Я ответил, что, мол, сейчас отдам, а ты посмеялся, воевать, сказал, надо, а пьяным только дурак воюет... Вот я и решил тебя сейчас при всех отблагодарить, добро не забываю, зла не прощаю, спасибо, Роман...

И Суслов, и Епишев — как, впрочем, и все, собравшиеся в зале, — видели это объятие; Епишев подскакал к Кармену первым: «Роман Лазаревич, ты ж наша гордость, фронтовик, ветеран, герой, на тебя вся надежда, нажми на американцев, чтоб твое кино как следует поднять, ведь такая замечательная работа...»

Суслов горестно подумал: «Никому нельзя верить, предадут вмиг, что за народ, боже праведный!»

Он никогда не мог забыть, как его помощник Воронцов принес ему свой комментарий, написанный совместно с молодым профессором филологии Феликсом Кузнецовым, о том, как еврейская банда ГПУ погубила Маяковского, включив в операцию по травле великого поэта своего давнего агента Лилю Брик, сестру печально зна-

менитой еврокоммунистки Эльзы Триоле, жены Луи Арагона, одним из первых восставшего против «диктата московского ЦК».

Суслов довольно долго изучал воронцовский документ, понимая, что такого рода публикация вызовет однозначную реакцию на Западе и весьма неоднозначную в России. После колебаний он склонился к тому, что вертикализация национального характера значительно важнее европейского брюзжания; в конце концов, Россия — для русских, а не для французов с итальянцами; согласие на публикацию дал, хотя попросил смягчить некоторые формулировки: «лишний гвалт нам не нужен, бить надо фактами».

Воронцов отправил рукопись — комментарий к собранию сочинений Маяковского, издававшегося «Огоньком», — в Главлит, несмотря на то что Анатолий Софронов просил Воронцова убрать ряд абзацев — «слишком остро, не поймут». Тот посмеялся (лежал в Кремлевке, на Мичуринском, отдохнул, чувствовал себя прекрасно): «Боишься шабаша, Толя? Если не мы их, значит, они — нас, усвой это правило диалектики».

Однако руководящий работник Главлита отказался подписать этот комментарий в печать: «Я слишком русский человек и поэтому не могу позволить себе мазаться антисемитизмом; наши аристократы не подавали руки жандармам и юдофобам».

Воронцов поначалу оторопел, а потом даже рассмеялся:

— Слушайте-ка, вы на кого работаете, а?

— На партию, — ответил тот. — То есть на интернационализм.

— Вы мне лозунгами не отвечайте. Вы знаете, кто я? Знаете. Вот и извольте выполнять указание.

Этим же вечером Константин Симонов, к которому Брежнев питал удивительную почтительность, даже на сталинградские торжества приглашал с собою на трибуну, отправил письмо Генеральному секретарю; тот позвонил Суслову домой, на Бронную, вечером:

— Чем там твой помощник занимается, Михаил? Фронтовики протестуют, не надо меня ссорить с творческой интеллигенцией...

Суслов немедленно связался со своей приемной и продиктовал «сидельцу» болванку приказа об увольнении Воронцова по собственному желанию на пенсию — с сохранением дачи, кремлевского пайка и клиники; самому

Воронцову звонить не стал и дал указание впредь с ним не соединять...

Сразу же после этого собрал совещание и нацелил Политпросвет на подготовку цикла теоретических конференций о научном вкладе Леонида Ильича в сокровищницу марксистско-ленинской мысли.

Информация о том, что Цвигун так ничего и не сделал, чтобы немедленно остановить расползание слухов о личной жизни сына и дочки Первого Лица, подвигла его на то, чтобы вызвать члена ЦК и Союза советских писателей, кинематографиста, генерала армии Семена Кузьмича Цвигуна из Барвихи, где тот приводил в порядок расшатавшуюся нервную систему:

— Если в течение недели вы не сможете положить конец гнусным сплетням, распускаемым о людях, которые далеко не безразличны Леониду Ильичу, если вы не добьетесь того, чтобы ни одна капля зловредной клеветы, гуляющей по Москве, впредь не марала имя человека, ставшего лидером всего прогрессивного человечества, — пенять придется на себя, призовем к партийной ответственности.

— Михаил Андреевич, но мне в таком случае необходимы санкции на чрезвычайные меры, иначе ни я, ни кто другой на моем месте не сможет прекратить слухи...

— Инстанция — не нянька! Раньше нужно было думать о м е р а х! Повторяю: если в течение недели порядок не будет наведен, кладите на стол партбилет, партия — не богадельня!

Суслов знал, что делал: он понимал, что Цвигун не может ответить ему исчерпывающе; что ж, в таком случае придется отвечать «политику Андропову, который сумел выстроить себе замок из слоновой кости, спрятавшись в нем от грязи, которую переправляет на стол ему, секретарю ЦК, требуя подписи под каждым решением против тех, кто думал инако и поступал не как все, а по-своему, «якающе».

Требуя пустяшные — в свете всего происходившего в мире (Афганистан, Эфиопия, самиздат, «звездные войны», крах экономики, Камбоджа, либерализация Китая, постоянные заговоры против товарища Чаушеску со стороны эмигрантских террористов, ситуация на Кубе) — данные о том, как, в частности, развивается дело по задержанию убийц Зои Федоровой, пути которой якобы пересекались с тем, кто имел выходы на с е м ь ю, аппарат Суслова постоянно атаковал вопросами Цвигуна и Ще-

локова, а те даже не могли толком переговорить друг с другом, чтобы выработать общую линию, ибо знали, что люди Андропова не спускают с них глаз: трагическая взаимоувязанность тотальной несвободы.

Суслов отдавал себе отчет в том, что, ударяя по Цвигуну, он одновременно бьет и по Андропову — одно ведомство; в этом был глубинный смысл задуманной им операции: Андропов давно перерос свой государственный пост; становился некоронованным королем политики, отодвигая, таким образом, его, Суслова, с кресла «номер два». Суслов при этом сохранял с председателем КГБ самые добрые отношения, как-никак ставропольцы, он там родился, я — состоялся, казачья косточка, мудрость и широта, вольница и смелость...

После очередного разговора с Цвигуном (вышел из кабинета второго человека страны смертельно бледный) Суслов встретился с Брежневым, который теперь бывал на Старой площади только три раза в неделю.

Говорили о Щелокове; слишком много нареканий, идут письма, нельзя не реагировать, Андропов, видимо, не сможет и дальше замалчивать факты.

Брежнев позвонил Председателю Совета Министров Тихонову:

— Слушай-ка, милый, — сказал он своим особым, сытым голосом, так говорил в минуты наибольшего напряжения (захлебно шутил с Твардовским за день до вторжения в Чехословакию, анекдоты рассказывал), — сделай милость, возьми себе заместителем Щелокова..

Тихонов засмеялся:

— Леонид Ильич, да он же вор! Самый настоящий вор! Казни, но в замы не возьму.

...Когда Цвигун застрелился, Брежнев позвонил Суслову:

— Зачем же ты так людей калечишь, а? Ну, виноват, ну, наказали б, но под пулю подставлять не надо... Он же был мне верен, как пес... Или тебе мои люди перестали нравиться? Может, считаешь, что пришло время окружать старика другими? Не рано ли меня хоронишь? Не думай, что в мое кресло сядешь, серым кардиналом не меня называют, а тебя, не меня критикуют в республиках, а тебя, запомни это... Я добрый-добрый, но до поры, шутить со злыми можно, они трусливые, а с добрыми не шуткуй — добрый человек силен... И уже если я твои архивы подниму — по тридцатым и сороковым годам, —

повалишься так, что пол носом прошибешь... Народу ты накосил предостаточно, сотнями тысяч исчисляются, если не миллионами, уважаемый народный избранник...

...Он пожалел об этом разговоре назавтра, когда сообщили, что Суслов при смерти; на заседании Политбюро увидел холодные глаза Андропова, скрытые толстыми стеклами очков, у г о л ь к и Горбачева, сидевшего рядом с «Юрой», бесстрастные — Громыко, единственного, с кем оставался на «ты», и понял вдруг, что остался совершенно один среди этих людей; только Суслов утирал слезы, когда он читал наизусть Есенина (знал почти всего, от корки до корки), остальные — рассеянно внимали; только Суслов стоял с ним плечом к плечу, защищая память Сталина; только несчастный старик в пенсне первым ставил вопрос на Политбюро о присвоении ему, Брежневу, очередной Звезды, не обращая внимания на то, что те же Горбачев и Андропов рисовали на стопках бумаги какие-то сложные диаграммы, стараясь не смотреть на кардинала...

...Вот тогда-то, после всех этих скандалов с артистами, будь они неладны — одну убили, другую ограбили, третьего посадили в острог, чтобы принести горе дочери, — он и начал задумываться о том, кто же примет из его рук империю, кто сохранит по нем благодарственную память...

Тогда-то он и сказал себе, что лишь Черненко или Гришин смогут сохранить то, что он создавал эти долгие и прекрасные двадцать лет, вот тогда-то он и решил лишить Андропова реальной власти, переместив из КГБ, отдав при этом всю кадровую политику Черненко, — в конечном счете все решает математическое большинство голосующих, что ж еще-то?

Как и все люди малой культуры, лишенный глубинного политического чувствования, он не мог себе представить, что выборы Генерального секретаря будут происходить не на Старой площади, а в кабинете министра обороны Устинова — того, который, казалось, всегда и во всем был с ним, с Брежневым.

Вот и пойди разберись в людях...

Маленькая частность — гибель старой русской актрисы — оказалась одной из тех крошечных капель, которые могут оказаться последней, той, которая переполнит ча-

шу — горя ли, терпения, усталости или тотального, пугающего своей тишиной безразличия...

— Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на князей (Псалом 117,9).

— Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человека (Псалом 117,8).

— Так говорит Господь: проклят человек, который надеется на человека и плоть делает своею опорою, и сердце которого удаляется от Господа (Иеремия, 17,5).

— Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они не высоко думали *о себе* и уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения; Чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны, Сбирая себе сокровище, доброе основание для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни (I Тимофей, 6,17—19).

— И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали *в нее.* Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге... В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх; потому что в страхе есть мучение; боящийся несовершен в любви... Кто говорит: «я люблю Бога», а брата своего ненавидит, тот лжец: ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? И мы имеем от Него такую заповедь: чтобы любящий Бога любил и брата своего (I Иоанн, 4, 16, 18, 20, 21).

Как же мог Бог не карать презрительным забвением всех этих несчастных, самопредавших себя Сусловых, Брежневых, Гришиных, главным стимулом которых была не любовь, а страх и жажда удержать наслаждение, полученное ими от обладания властью?

Несчастные, могли ли они дать счастье согражданам своим?

И страдалица Зоя была обречена на муки не только теми, кто арестовал ее в сорок шестом, пытал в сорок седьмом и убил в восемьдесят первом, но и тем, что рождена она была здесь и жила в те страшные годы, которые именуют то «культом», то «застоем», а смысл в них затаен один: предательство того Бога, которому эта страна кланялась с той поры, как изрубила и сожгла прежних богов своих, горестных и добрых Перунов...

18

Варенов пришел в себя только в купе сочинского экспресса: за триста рублей достал купе в международном вагоне, обрушился на мягкую койку, затолкал под голову подушку и, запрокинув руки за голову, хрустко вытянулся, ощутив смертельную, безвольную расплющенность. Все те долгие часы, что он клеил пластырь на разбитую бровь и переносье, кружил по городу, собирал из тайников деньги (распихал по карманам сорок тысяч сотенными, не бог весть сколько, но какое-то время можно продержаться), менял такси и вагоны метро, опасаясь слежки, но усталости не чувствовал, а лишь постоянный, изматывающий, зубоклацающий ужас; только здесь, в вагоне, сломался, перестав ощущать тело...

Он понимал, что, после того как назвал проклятому Артисту телефон Большого Босса, жизнь его рухнула, прошлое перечеркнуто, пощады не будет.

Если бы не ночная операция с Людкой, он бы пошел на Петровку, в ЧК, Прокуратуру, к черту, дьяволу и рухнул бы на колени, взмолившись о защите, отдал бы мусорам этого оборотня Эмиля; он представлял себе, как его участливо выслушают, а потом неминуемо зададут вопрос про то, где он был т о й ночью, и, как бы он ни вертел, все равно развалят до задницы. Даже если и сохранят жизнь, то вломят пятнадцать лет строгого режима — медленная смерть, гниение, лучше уж сразу пулю в затылок. И Эмилю открыться нельзя: он не простит того, что я отдал его телефон, ни за что не простит, его только Никодим знает и я, да и то он открылся две недели назад, раньше к себе не подпускал, общался через Толика, а тому задания передавал кто-то еще, без имени и адреса, конспирация, неверие никому и ни в чем.

Достав из авоськи (специально купил неприметную, на такие ни мусора не зарятся, ни ворюги) бутылку коньяку, расцарапал пробку, приложился к горлышку, начал пить большими глотками, в который раз уже уговаривая себя, что это последняя, сейчас надо быть трезвым, предстоит принять решение, возможны р а з б о р ы и т о л к о в и щ а, надо быть постоянно собранным, это не профсоюзные собрания, каждое слово надо взвешивать, любой миг быть готовым к неожиданностям, на такое рода п р о ц е с с а х все решает мгновение: сумеешь вовремя о т м а х н у т ь с я — твое счастье, нет — смерть, не взыщи, все по з а к о н у...

Мечась по Москве, Варенов постоянно искал выход; ему казалось, что спасение где-то рядом, хотя мысли были рваные, путаные, огрызки какие-то; он верил, что мысль живет отдельно от плоти, по своим, неподвластным человеку законам, и то, чему суждено произойти, свершится вне и без человеческой на то воли, само по себе.

До того мгновения, пока поезд не тронулся, Варенов не очень-то отдавал себе отчет в том, почему он поехал именно в Сочи, а не в Днепропетровск, Ашхабад, Пятигорск, Ригу или Одессу, где тоже были надежные люди; только оторвавшись от бутылки и ощутив размягчающее тепло, он понял, что в Сочи ему нужен Петух, который знал многих авторитетов в стране, потому что снабжал их охрану магнитофонными записями самых популярных певцов и ансамблей. Именно он, Петух, может дать наводку на Артиста. А если Артиста удастся нейтрализовать, тогда дело закроется само по себе: единственный свидетель его разлома раз и навсегда замолчит.

Хорошо, замолчит, очень замечательно, но ведь Эмиль спросит, где я был все это время. Что отвечать? А очень просто: увидел тройную слежку, топтали и в подъезде, решил свалить, оторваться, а уж потом, убедившись, что чистый, позвонил бы.

Он снова приложился к бутылке: хмель не брал, только проходил озноб, не так бил трясучий колотун.

Варенов лежал на кушетке, растирая бесчувственные одеревенелые пальцы о мягкое одеяло. Ладно, допустим, я все это ему выложу. Что б я сделал на его месте? Как бы я поступил?

Когда в дверь резко постучали, Варенов вскинулся, ощутив безнадежную закупоренность: если войдут мусора, только и остается, что тянуть руки в гору; на пороге, однако, стояла проводница:

— Постелить вам?

— Что?! Конечно, постелите!

— Билетик ваш, пожалуйста...

— У меня два... Приятель позже сядет... В Харькове...

Проводница улыбнулась:

— А может, приятельница?

Он покачал головой и, глянув на женщину — под пятьдесят, но сбитенькая, с игрой, — достал из кармана стольник:

— Может, бутылочку найдете?

...Пришла она к нему, когда проехали Тулу; ощущая звенящую дрожь, он быстро раздел ее, нервно, словно мальчишка, лязгая ремнем, разделся сам, ищуще потянулся к ее рту пересохшими губами и, застонав жалостливо, услышал ее молящее: «Тише, услышат, миленький...»

Проснулся он ночью; в купе никого не было; вскочил, ощупал карманы куртки — пачки денег были на месте. А если она их увидела? Сдаст, обязательно сдаст; вышел на перрон в Харькове; молоденькая проводница, сменившая напарницу, посмотрела на него с понимающей улыбкой.

Свалить, что ли? Еще хуже — телеграмму дадут; будь что будет; вернулся в вагон, поскребся в первое купе, отворил дверь; женщина спала, укрыв лицо рукой, он положил ледяную ладонь на ее плечо, шепнул:

— Чего ж ушла? Я жду...

— Сейчас, — ответила она, — только тронемся... Ты ж захрапел, я и подумала, что тебя на всю ночь сморило...

...В Сочи он вышел выспавшимся, колотун прошел, но выпить хотелось по-прежнему; молил себя: «Жди, нельзя сейчас, потом, после Петуха, захмелишься, а то все дело погубишь». Но кто-то другой, живший в нем, посмеивался: «Все погубишь, именно если не выпьешь. Петух почувствует в тебе страх, а с ним надо жестко говорить, держать марку, да ты и кружева не умеешь плести, когда не поддатый».

На привокзальной площади взял такси, сказал везти в «Ахун», накрыл стол на две персоны; зарядив официанта, попросил принести икорки, осетрины, балыка, алчно выпил тягучую соцкую и сразу же позвонил Петуху.

— Жду, друг! Предлагаю выступить по высокому разбору...

— Сейчас не могу, Варево... Что ж заранее не сообщил?

— Я только с самолета... Стол накрыт...

— Ты один?

— А что?

— Нет, ничего, просто интересуюсь... Телок не привез?

— В Тулу со своим самоваром не ездят... На полчаса хоть подгреби... Машину прислать?

— Могу сам на трех приехать, — усмехнулся Петух. — Ладно, жди...

...Пили до упору, потом отправились в «Жемчужину», купили люкс, с н я л и двух проституток, заказали ужин в номер. Там Варенов и обрушился; проснулся словно бы от толчка, потянулся к куртке: денег не было; вскочил, ощупал джинсы, две упаковки стольников лежали в задних карманах; автоматически просчитал, что осталось тысяч пятнадцать, главные деньги рассовал в куртку, благо карманов много; из гостиницы тут же свалил; если лярвы погорят, мусора неминуче придут к нему — п о т е р п е в ш и й...

Петуха дома не было; а может, он меня и почистил? С этого станется, шакал; на обострение идти нельзя, только он в состоянии помочь, больше соваться не к кому, тупик.

Ждал его часов восемь; дождался; тот обрадовался — без игры, от души:

— А я тебя в «Жемчужине» искал, Варево!

— Меня лярвы обобрали...

— Да ну?! Крупно?

Варенов пожал плечами:

— Крупно, мелко, теперь не воротишь... Не мусорам же заявление писать... Мне один друг должен пятьдесят косых, надо взять, хочешь войти в долю?

— Дело чистое?

— Я по мокрому никогда не ходил, сам знаешь...

— Сейчас все смешалось, Варево...

— Я не мешаюсь... Как Артиста, кстати, найти? Записную книжку оставил в Москве...

— Артист давно завязал...

— Ссучился?

— Он большой авторитет, Варево... Таким нет резона сучиться... Устал, наверное... Да и потом, говорили, у него любовь...

— Ну, это его заботы... Пошли, жахнем, зябко мне. Только сначала узнай его номер, а? Или адрес, я лучше к нему без звонка подъеду, чего лишний раз марать человека...

...Петух позвонил в Москву; рассказал о просьбе Варева; адрес Артиста ему дали; информация об этом звонке ушла двум адресатам: Сорокину по одним каналам, Костенко — по другим.

...Варенова и двух вооруженных боевиков, принявших его в наблюдение следующим же утром во Внукове, взя-

ли в подъезде дома, где жил Артист. Операция вступала в последнюю фазу: Айзенберг завтра улетал в Берлин — туда не нужна западная виза, зачем светиться возле посольства, гласность гласностью, а ЧК всех на пленку снимает, контора работает, он-то уж это понимал как никто...

Никто, впрочем, не знал, что у него был билет на поезд Москва — Берлин, который отправлялся с Белорусского вокзала послезавтра вечером, а в кармане к тому же лежал второй паспорт, на имя Андрея Григорьевича Суконцева...

Строилов сломался; отправив отца на вскрытие, вернулся домой, лег на узенький кожаный диванчик, укрылся пледом, подянул острые колени к груди и замер, страшась пошевелиться. На телефонные звонки не откликался, и не потому, что не было сил протянуть руку, но оттого, скорее, что знал заранее, кто звонит и как станут говорить.

Внутри стало пусто, как в квартире, из которой вынесли все вещи жильцы, уезжающие отсюда навсегда...

Чем дальше, тем он обостреннее ощущал, что отец — худенький, беспомощный, с трудом ковылявший в магазин со своей олимпийской пластиковой сумочкой, готовивший ужины (часто пережаривал, бедненький, совсем стал слепеньким), — есть последнее родное существо, связывавшее его с сотнями Строиловых, живших когда-то на земле; он был той пуповиной, которая позволяла капитану ощущать свое родство с прошлым, без которого жизнь возможна только в том случае, если у тебя есть жена, дети, братья и сестры, добрые тетушки, старенькие дедья, родня, одним словом. А когда ты остался один, образовалась такая гулкая тишина в себе самом, что всякое движение страшило, как в детстве, когда просыпался в спецдоме и с ужасом слушал безутешные всхлипы тех, кто вместе с ним был заключен в эту тюрьму — разве что только без колючей проволоки и с решетками на окнах.

...Посадив в машину задержанного Варенова, сунув ему в рот сигарету, Костенко снова набрал номер Строилова, зная заранее, что никто не ответит.

— Догадываешься, куда я звоню, Варево?

Тот покачал головой.

— К человеку, у которого твой хозяин отца убил...

— У меня нет хозяев, — ответил Варенов, обретя

уверенное спокойствие, как только кончилась изматывающая душу неопределенность; до этого он все время ждал подсказки, верил, что в последний момент что-то поможет ему, кто-то возьмет под защиту, нельзя ему гибнуть, несправедливо это, вся жизнь впереди, дохнут те, кто заранее отмечен, а я-то обречен на долгую и счастливую жизнь, зря, что ль, переводил тысячи на гадалок?!

Сейчас, сидя с тем, чью фотографию ему показывал Босс (когда ж это было? недавно ведь совсем, а кажется, жизнь прошла!), Варенов видел лицо Эмиля и слышал его слова: «Сейчас такое время пришло, Исай, что нужно все отвергать, никаких и г р а ш е к, они в суд без улик не пойдут, так что — выпустят, а если нет — мы тебя выкупим, рукастые...»

Он словно бы зубами держался за эти слова, как за спасательный круг держался, и поэтому чувствовал входившее в него успокоение.

— У меня есть твой палец, Варенов, ты знаешь, где мы его нашли, нет смысла запираться... Тем более ты там, видимо, не главный был... Говори правду, у меня времени мало, лучше сразу определим позицию, глядишь, и поможем в чем...

— Вот они, мои пальцы, — Варенов кивнул на кисти, стянутые наручниками. — Каждый человек имеет пальцы, они для того и даны, чтоб следы оставлять...

— Не юродствуй... Я ж тебе не про пальцы говорю, а про палец... И не спрашиваю, откуда у тебя при задержании был пистолет в кармане... Все равно скажешь... Я тебя спрашиваю про хозяина, он меня занимает.

— А я говорю, что нет у меня никакого хозяина! А пистолет вы мне сами в карман засунули...

— У нас кино есть, как ты этот пистоль в подвале на Лесной брал.

— Вы суду кино предъявите, пусть посмеются.

— Не беспредельничай, Варево...

— И вы — не надо... Вы мне вину докажите... Я вам свою честность доказывать не обязан... Ваше время теперь кончилось, по закону будем жить...

Костенко кивнул:

— Верно. И жить будем по закону, но и расстреливать — по закону — тоже будем.

Он снова закурил, сказал сыщикам, сидевшим рядом с Вареновым, чтобы везли его о ф о р м л я т ь на Петровку, и, подняв наконец глаза на арестанта, негромко сказал:

— Думай о том, Варево... какое алиби выставишь на ту ночь, когда Людку убивали... Видишь, я поступаю по закону, силков не ставлю, даю шанс...

...Сорокинские боевики молчали; отрицали все вчистую: и финки им не принадлежат, впервые видят, и Варенова никакого не знают, точка! Ни на один вопрос не отвечали; крутые парни, ничего не скажешь, школа...

Костенко заехал домой, взял из своего НЗ две бутылки «Посольской», написал Маше записку, чтоб не ждала, останется спать у Строилова, выгреб в кулек из холодильника все, что было, и отправился на Кутузовский проспект — буду стучать, закричу, откроет, не может не открыть...

...Он поднялся на четвертый этаж строиловского дома, остановился возле квартиры генерала, положил кулек на пол и прижался ухом к двери. В соседней квартире кто-то бездарно-деревянно разучивал гаммы, в другой визжали дети; в угловой, у телефона, надрывалась глухая бабка, повторяя крикливо-равнодушное: «Громче, Лид, не слышно! Гутарь громче, в трубке трещит, теперя, говорят, всех подслушивают!»

Положив ладонь на дверь, Костенко пошлепал несколько раз; стучать костяшками казалось ему невозможным сейчас, любой резкий звук для Строилова ножом по стеклу...

Никто не отвечал.

Костенко склонился к замочной скважине, прижался губами, ощутив тошнотворный привкус меди:

— Андрей, открой, у меня дело...

В квартире по-прежнему царила тишина.

— Андрей, не заставляй меня карабкаться по лестнице... Все равно войду, окно ж на кухне открыто...

Он не слышал шагов; дверь отворилась внезапно; в проеме стоял обросший, еще более осунувшийся Строилов; на нем были толстые шерстяные носки, поверх джемпера натянут старенький армейский ватник; выутюженные в стрелочку переливные брюки казались чужеродными, словно с другого человека.

— Очень срочно? — спросил он потухшим, заметно севшим голосом.

Костенко поднял кулек с гостинцами, вошел в квартиру, включил свет и только тогда ответил:

— Да.

Строилов по-прежнему стоял не двигаясь, в комнату не приглашал:

— Докладывайте здесь.

— Я принес водку... Вам надо расслабиться.

— Я не пью.

— Да и я не алкаш... Полагается... По-христиански...

— По-христиански полагалось бы предупредить меня, что за папой началась охота... А не играть в самодеятельность...

— Можно пройти на кухню?

— Нет... Мне надо побыть одному...

Костенко положил наконец злополучный кулек на подзеркальный столик, полез за сигаретами, одернул себя: старик просил здесь не курить — надо перетерпеть, оперся о дверь и отчеканил:

— Мне горько напоминать, что именно я просил вас найти человека, который бы эти дни побыл с Владимиром Ивановичем. И мне будет еще горше, если вы скажете, что не помните этих моих слов.

— Я приучил себя не верить словам. Я ненавижу слова. Ненавижу, понимаете?! Каждое слово — перевертыш! В устах одного это правда, у другого — ложь, у третьего — лесть, у четвертого — предательство... Вы что, не могли сказать: «У меня есть данные, что за стариком охотятся»?!

— У меня не было данных, капитан... Я чувствовал это...

— Вы не в театре работаете, а в уголовном розыске.

— Я, между прочим, нигде не работаю... Так что позвольте мне жить так, как я хочу... И если бы, следуя моим чувствам, я не обратился к Николаше Ступакову и не получил у него в помощь двух парней, Владимир Иванович не умер бы у вас на руках, а лежал на полу, исколотый шилом!

— Уходите отсюда...

— Никуда я не уйду... Простите, что брякнул... это жестоко... Пожалуйста, простите... Просто я очень не люблю просить, понимаете? И повторять не умею дважды... Наверное, это плохо...

— Можете дать слово, что у вас не было фактов?

— Клянусь... Это очень страшно — жить чувствованиями, но без этого в нашей профессии нельзя... Думаете, мне легко носить это в себе? А еще я чувствую, что Сорокин может уйти...

— Дайте сигарету...

— Не дам.

— Я не курил только из-за па... Дайте, не надо быть классной дамой, дайте...

Костенко протянул ему пачку и, подхватив свой кулек, пошел на кухню.

Там было холодно, стекол, конечно, никто не вставил; Костенко нашел старое одеяло, заколотил створку, включил газ, нашел сковородку, пожарил вареную колбасу, сделал бутерброды с сыром и, заглянув в комнату (Строилов снова лежал под пледом), спросил:

— Сюда принести?

— Не хочу...

— Я ж старался...

— Ешьте... И пейте на здоровье... Я вам не мешаю.

— Андрей, я понимаю, как вам больно... Но зачем людей обижать? У вас было страшное детство... А у меня? Отец погиб, мать — медсестра... Я голодным был до того дня, пока не попал в университет... Получил стипендию — двадцать семь с полтиной, — впервые наелся от пуза... это очень унизительно — быть голодным, Андрей, и ходить в одних туфлях по три года... У меня с тех пор пальцы подвернуты, нога-то росла, а купить новые ботинки не могли... И комнатенка у нас была при кухне — восемь метров... Стенка фанерная, шепот слышен... А в университете надо было каждый день благодарить товарища Сталина за счастливую жизнь, какой не знает ни один человек на земле... Мы с порванными душами жили...

— Это как? Все понимать и молчать при этом?

— А вы-то сами когда заговорили?! И не путайте меня, оборванца, с собой! Вы после пятьдесят третьего стали неприкасаемым, Андрей Владимирович! И попробуйте сказать, что я не прав!

— Петя Якир тоже был неприкасаемый? Или Красин? Внук того, наркома?! Сажали обоих! Мучили, погубили!

— Вас тоже сажали?

— Хотите доказать, что и я тварь?! Сам знаю... Налейте стакан...

Строилов выпил, от закуски отказался, занюхал хлебом.

Костенко мягко улыбнулся:

— Не думал, что вы так умеете.

— Невелика наука... знаете, как сердце рвет?

— Догадываюсь...

Строилов покачал головой:

— Нет... Не знаете... Когда отец вернулся... Налейте еще... Спасибо...

— Закусите...

— Я не пьянею... Так вот... Когда отец вернулся, он сразу за мной приехал... В детприемник... А я стал от него вырываться... Кричать стал: «Уйди, не хочу!» Извивался, когда на руки взял, по щекам... бил... Плевал ему... в глаза...

Костенко спрятал лицо в ладони, налил себе водки, тягуче выпил ее, закусывать тоже не стал, она сейчас была спасительно-необходимой:

— Воспитатели вдолбили, что враг?

— Нет... Я боялся людей в военной форме... Самое для меня ужасное были погоны... И чем больше была на них звезда, тем страшнее казался человек, олицетворение тюремной несвободы... Я впервые назвал старика «папой», когда мне исполнилось тринадцать... Семь лет, бедненький, жил не с сыном, а с волчонком... Понимаете? Я не верил, что он отец мне... Мне ж вдолбили, что отца нет... И никогда не будет... И объяснял мне про это младший лейтенант Жимерикин, в о с п и т а т е л ь. А ту страницу показаний, которые папа... диктовал перед смертью... где он требовал привлечь к суду Сорокина, подписать не успел... А без его подписи это не документ... Для суда, во всяком случае... И Сорокина за садизм и за пособничество предательству не посадят... Вот так...

Костенко вздохнул, руки беспомощно упали вдоль тела:

— И те, кого мы взяли, молчат... Адвоката требуют...

— Правильно делают...

— Это как понять?!

— А так... Либо станем цивилизацией, либо снова скатимся в привычное для этой забубенной страны прошлое... В зверство скатимся, в фашизм, к новому Сталину... К тому, что дети будут в лица отцов плевать... Знаете, что я отцу говорил? «Из-за тебя мама погибла! Другие молчали и выжили, а тебе покрасоваться *не терпелось, мол, умней других!» Это мне не воспитатели* вдолбили... Это мне девочки из старшей группы объясняли... Будущие матери... Каких они детей воспитали, а?!

— Значит, согласны отпустить Сорокина?

— Я обязан выполнить свой долг... Изобличить и пой-

мать... Пусть закон решает... Да, с адвокатом. Только так... Налейте...

— Подогреть колбаску?

Строилов досадливо махнул рукой, и Костенко увидел, как по его совершенно неподвижному лицу покатились слезы, крупные, как у ребенка...

Поднявшись, Костенко бросился к нему, обнял голову, прижал к себе и сам, не выдержав, затрясся, а Строилов сидел недвижно, только лились безутешные слезы, и Костенко вдруг явственно увидел малыша в черном бушлатике и больших, не по размеру башмаках, стриженного наголо, в комнате с зарешеченными стеклами и тусклым, только нашим тюрьмам присущим электрическим светом, делающим все окрест безнадежно-серым, одноцветным, предсмертным...

— Я не отпущу Сорокина, — продолжая сотрясаться, сказал Костенко. — Все что хочешь говори, а я его не отпущу!

...Он ушел глубокой ночью, когда убедился, что Строилов уснул.

Написал записку: «Пожалуйста, не езди на работу и не поднимай трубку. Я вернусь вечером. Или ночью. Слава».

19

Свет лампы резким овалом высвечивал текст.

«11 декабря 1981 года в 20 часов 30 мин. гр-ном Федоровым Юрием Михайловичем, уроженцем г. Москвы, в квартире № 243 дома 4/2 по Кутузовскому проспекту был обнаружен труп его родственницы Зои Алексеевны Федоровой.

О происшедшем Федоров сообщил по телефону «02» в дежурную часть «Петровки, 38». На место происшествия была направлена оперативная группа Киевского РУВД, а затем оперативно-следственная группа ГУВД. Кроме того, на место происшествия выезжали руководящие сотрудники РУВД и ГУВД.

Осмотром места происшествия установлено:

квартира гр. Федоровой З. А. состоит из трех изолированных комнат и расположена на четвертом этаже в подъезде № 6 девятиподъездного 9-этажного дома;

труп гр. Федоровой находился в полулежачем положении, в кресле, стоящем в гостиной около стола, в од-

ном метре от входа в комнату. Голова запрокинута назад, в правой руке зажата телефонная трубка. Сам телефонный аппарат находился на столе.

Во время Великой Отечественной войны З. А. Федорова вступила в интимную связь с сотрудником военно-морского атташе посольства США Джексоном Роджером Тэйтом, от которого родила дочь Викторию. Некоторое время была замужем за кинооператором Раппопортом. С 1946 по 1955 г. находилась в местах лишения свободы. В 1955 г. была реабилитирована, после чего вновь приступила к работе в кинематографии, находясь в штате Театра-студии киноактера. В 1978 г. вышла на пенсию, но продолжала участвовать в концертах, преимущественно в гастрольных поездках (амплуа — комик). Поддерживала связи с многочисленными работниками искусства в различных городах страны. Ее дочь — Федорова Виктория Яковлевна, 1946 г. р., по окончании ВГИКа была зачислена в штат киностудии «Мосфильм», снималась в 15 кинофильмах, получала призы, в том числе в 1968 г. приз ЦК ВЛКСМ. В 1975 г. В. Федорова выехала в США для встречи со своим отцом — Джексоном Р. Тэйтом, являвшимся контр-адмиралом в отставке, и осталась в США, выйдя замуж за гражданина США Ф. Пойема. В настоящее время имеет сына, проживает в г. Стамфорд, штат Коннектикут. Участвовала в съемках фильма антисоветского содержания, является автором такого же рода книги под названием «Дочь адмирала».

З. А. Федорова трижды выезжала в США для встреч с дочерью и в 1981 г. вновь подала ходатайство для получения визы, в которой ей было отказано.

По мнению некоторых знакомых З. А. Федоровой, последнее время она была несколько ограничена в средствах, в связи с чем часто участвовала в гастрольных поездках.

В целях раскрытия совершенного преступления:

в 123-м отделении милиции г. Москвы создан специальный штаб, в состав которого вошли работники ГУУР МВД СССР, УУР ГУВД Мосгорисполкома, Киевского РУВД г. Москвы, сотрудники Московской городской и Киевской районной прокуратур. В настоящее время к работе по данному делу подключено УКГБ СМ СССР по г. Москве и Московской области;

выполнен ряд следственных действий и проведены неотложные мероприятия оперативно-розыскного характера: назначено проведение экспертиз (трассологиче-

ской — по замкам и ключам, химической — по одежде племянника Федоровой, баллистическая, судебно-медицинская);

о совершенном преступлении дана информация по городу, а также во все МВД (УВД) страны.

Установлено, что 11 декабря 1981 г. Федорова З. А. примерно в 13 ч. 15 мин. звонила гр. Грушинскому, бывшему сотруднику Росконцерта, и просила его назвать ей артистов, которых она могла бы пригласить на совместные гастроли, в связи с тем что к ней приехали из Краснодара и приглашают на гастроли. Грушинский продиктовал ей ряд телефонов, записи которых были обнаружены на столе рядом с телефонным аппаратом.

Имеются также сведения, что Федорова на протяжении ряда лет занималась скупкой ювелирных изделий. При тщательном осмотре квартиры Федоровой были обнаружены 60 пустых коробочек из-под ювелирных изделий.

В целях организации работы по раскрытию совершенного преступления проведено инструктивное совещание при зам. начальника РУВД по оперативной работе. Для городских органов милиции установлена ежедекадная отчетность о проделанной работе по данному делу.

С использованием возможностей МВД СССР проведена работа по установлению объектов утраты или похищения пистолетов системы «Зауэр» в целом по стране. Выявлено таковых 3 случая, обстоятельства которых устанавливаются.

Через УООП ГУВД Мосгорисполкома установлены лица и организации, имеющие в пользовании пистолеты указанной системы. Установленные организации отработаны, а трое граждан, имевших оружие системы «Зауэр», проверяются.

В ходе работы по делу проведен комплекс мероприятий, по результатам которых определены возможные мотивы совершения убийства З. А. Федоровой, на основании которых разработаны следующие версии:

убийство совершено родственными связями потерпевшей из корыстных или иных низменных побуждений;

преступление совершено лицами из числа иных связей Федоровой по тем же мотивам;

убийство совершено лицами из числа уголовно-преступного элемента с целью ограбления;

преступление совершено с целью сокрытия другого преступления или по политическим мотивам.

В соответствии с разработанным по приведенным версиям планом выявлено 13 человек из числа родственных связей Федоровой З. А., 247 человек из числа ее иных связей. Опрошено и допрошено 643 человека.

Непосредственно по 1-й версии проведены следующие мероприятия:

проведена отработка родственников потерпевшей; проверены их алиби, направлялась на экспертизу их одежда. По результатам проверки их причастность к убийству не усматривается;

осуществлены проверки всех родственных связей Федоровой, проживающих в г. Ленинграде;

установлены и проверены два человека, которые ранее состояли в браке с В. Я. Федоровой.

По 2-й версии проведена следующая работа:

проверкой архивных материалов установлена преступная группа П. и Ш., члены которой были знакомы с потерпевшей и в своих преступных целях даже использовали ее автомашину «ЗИМ», которая впоследствии была продана в г. Ашхабад. Известно, что П., 1937 г. р., уроженец Москвы, ранее трижды судимый, перед арестом в 1968 г. работал администратором в Москонцерте, где занимался организацией концертов. Там же он познакомился с С., 1941 г. р., одним из активных членов преступной группы, погиб в 1975 г. С. также был знаком с Федоровой З. А., по доверенности водил ее а/машину «ЗИМ», посещая Федорову, неоднократно занимал у нее деньги. П. и С. организовывали «левые» концерты. Вместе с членами своей преступной группы П. неоднократно выезжал в Краснодар, где имеет обширный круг знакомств среди работников филармонии. В 1970 г. П. и Ш. были осуждены к различным срокам лишения свободы. Фактическое местонахождение П. в настоящее время устанавливается. Ш. в июне 1981 г. совершил разбойное нападение на кассира в г. Калинине, скрывается, находится во всесоюзном розыске. В г. Калинин командировался сотрудник уголовного розыска, имевший фотографию Ш., который сделал выборку его известных связей. В настоящее время проводится работа по установлению связей Ш. и его розыску. Дактокарты Ш. и П. проверены. Совпадений с пальцевыми отпечатками, обнаруженными на месте происшествия, не установлено.

В результате изучения образа жизни Федоровой З. А. установлено, что в октябре — ноябре 1981 года она с

группой артистов принимала участие в гастрольной поездке по Краснодарскому краю. Как следует из допроса Грушинского, к Федоровой приезжали сотрудники Краснодарской филармонии, приглашавшие ее вновь участвовать в гастролях. В УВД Краснодарского края были командированы сотрудники УР, которые установили работников указанной филармонии: Б. (ранее судимого по ст. 58 УК РСФСР — 24 г.) и Г., занимавшихся организацией концертов в честь столетия станицы Привольная, в которых принимала участие З. А. Федорова. Проводится проверка Б. и Г., а также установление и отработка их связей.

Проверена проживающая в Краснодарском крае жена Ш. Кроме того, в Москве установлена еще одна его жена, 1955 г. р., в отношении которой организована необходимая проверка.

В ходе работы по делу в ОБХСС Севастопольского РУВД г. Москвы поступил анонимный звонок, что к данному преступлению может быть причастен гр. Б., ранее проживавший в д. № 4/2 по Кутузовскому пр-ту, хорошо знавший В. Федорову. Установлено, что Б. имеет высшее техническое образование, длительное время не работает, злоупотребляет алкогольными напитками, по месту прописки фактически не проживает, поддерживает связь с неким Г., который владеет немецким языком, встречается с гражданами ФРГ. Также известно, что одной из их связей является Б., проживающая: Кутузовский пр-т, 4/2, поддерживающая связи с лицами, ведущими сомнительный образ жизни, ранее была замужем за Б., место нахождения которого устанавливается (Б. был ранее судим за разбойное нападение с применением огнестрельного оружия). В результате проведенных мероприятий Б. был установлен и допрошен. Проводится проверка Г.

Из показаний связей Федоровой известно, что в начале декабря 1981 г. квартиру потерпевшей посещали трое мужчин, предлагавших ей для приобретения различные драгоценности. В это же время в квартире Федоровой находилась ее подруга Н., в присутствии которой Федорова показывала пришедшим мужчинам уже имевшиеся у нее ювелирные изделия. В связи с изложенным были установлены:

1. Г., 1941 г. р., несудимый, разведен, окончил художественное училище, длительное время не работает, злоупотребляет алкоголем.

2. Л., 1948 г. р., по профессии мастер-ювелир, за недоверие в октябре 1981 г. уволен из ювелирного салона, в настоящее время не работает.

3. М., 1946 г. р., инженер московского завода.

В целях проверки имеющейся информации Г. доставлялся в 123-е о/м, где на предварительном допросе отрицал факт предложения им Федоровой З. А. для продажи ювелирных изделий.

Г. был задержан в порядке ст. 122 УПК РСФСР, по месту его прописки и фактического проживания были проведены обыски, в результате которых материалов, представляющих интерес в связи с расследуемым убийством Федоровой, получено не было, однако в результате проведенной работы он был изобличен в совершении двух мошенничеств и арестован по признакам ст. 147 УК РСФСР.

Также был проведен обыск на квартире гр. Л., в ходе которого был изъят перстень желтого металла с камнем темно-синего цвета, который, по словам жены Л., не принадлежал никому из членов его семьи, и 4 гос. номерных знака. В настоящее время Л. задержан в порядке ст. 122 УПК РСФСР, его отработка продолжается.

Был произведен обыск по месту жительства гр. М., в ходе которого изъята магнитола, которую якобы дала ему З. А. Федорова для производства ремонта.

Определены регионы страны (всего 36), где проживают иногородние связи Федоровой, в территориальные органы милиции которых направлены задания для их отработки на причастность к совершенному преступлению.

Из показаний свидетелей следует, что на квартире З. А. Федоровой длительное время проживал солист ансамбля ВВ МВД СССР по имени Гена, которого после имевшей место ссоры Федорова попросила выехать из ее квартиры. В связи с этим был установлен Т., который был проверен на причастность к убийству Федоровой.

С 11.02 по 20.03.1981 г. на квартире З. А. Федоровой проживала гражданка Италии — Анцелотти Анна Мария, 1937 г. р., со своим ребенком, которая по месту жительства Федоровой встречалась со своим сожителем А., 1940 г. р., работающим референтом. Проверкой установлена их непричастность к убийству.

По 3-й версии:

осуществлены мероприятия по розыску и проверке особо опасного рецидивиста К., 1945 г. р., который в ночь

с 21 на 22.XI.1981 г. совершил в г. Краснокамске Пермской обл. из огнестрельного оружия убийство водителя такси. По адресу: Кутузовский пр-т, 4/2 проживает сестра преступника — Л., а на территории 165-го о/м проживает бывшая жена К.; необходимые мероприятия по установлению и задержанию разыскиваемого К. проводятся.

Из показаний Ф. следует, что незадолго до происшествия в квартире Федоровой З. А. была заменена газовая плита. Принятыми мерами слесари, проводившие данную работу, установлены и проверены на причастность к совершенному приступлению.

Проводится проверка и отработка лиц из числа состоящих на учетах в ПНД и представляющих социальную опасность.

По 4-й версии:

органами КГБ проводится проверка сведений, полученных по месту работы потерпевшей, которые не исключают возможность, что Федорова могла оказывать негласную помощь лицам, выезжающим из СССР.

Также сотрудниками КГБ проводится работа по установлению связей Федоровой З. А., отбывавших вместе с ней лишение свободы в 1946—55 гг.

Продолжается проверка граждан, являющихся установленными владельцами пистолетов системы «Зауэр».

И. о. начальника ОУР Киевского РУВД
г. Москвы подполковник милиции
Цофилс Э. Н.».

I

«УУГРО ГУВД
Мосгорисполкома
капитану Строилову

СООБЩЕНИЕ

В результате мероприятий, проведенных оперативными группами, установлено, что слесарь кооперативного автогаража Окунев отбывал наказание в Саблаге в одной зоне с интересующим вас Сорокиным Евгением Васильевичем.

Заболев острым перитонитом, он был на грани смерти, однако с помощью приятеля Сорокина, некоего Шинкина Осипа Михайловича, из Семипалатинска был вызван профессор-хирург, который и спас Окунева, проведя уникальную операцию.

С тех пор Окунев превратился в «адъютанта» Сорокина, выполнял все его поручения и представлял интересы последнего среди уголовного элемента, поскольку считался «вором в законе». Один из наиболее активных домушников, проникавший в квартиры с самыми эффективными запорами.

Связи Окунева подтверждают, что именно в Саблаге он изготовил несколько уникальных наборов инструментов из металла особой прочности, выплавлявшегося в те годы именно в этом регионе.

Есть сведения, что Окунев готовился к тому, чтобы по отбытии срока наказания переквалифицироваться в специалиста по сейфам, которых в стране крайне мало, однако по приказанию Сорокина от этого отошел, сообщив, что х о з я и н приказал ему «завязать».

Вернувшись в Москву, Окунев реализовал преступному элементу несколько стилетов и финок, сделанных из саблаговского металла, но затем переквалифицировался на изготовление инструментария для автолюбителей, получая металлические заготовки из района, где отбывал срок.

В кооперативный гараж его устроил некто «Никодимов», справки о котором наводятся.

Этот же «Никодимов» был с ним на постоянной связи, передавая Окуневу заявки на ремонт автомобилей лиц, близких к О. М. Шинкину, ибо Окунев считался одним из лучших мастеров по металлу.

В последнее время поступили сведения, что Окунев начал излишне шиковать, купил «Волгу» и «Жигули», приобрел дачу, часто посещал «Метрополь» и Хаммеровский центр, что якобы вызвало недовольство Сорокина, встречавшегося с ним довольно редко.

Между ними произошла ссора, и Окунев якобы сказал: «Я с тобой рассчитался за добро, хочу жить так, как живется, мне кандальной свободы не надо, человек должен быть волен как птица».

При этом Окунев начал пить и в нетрезвом виде ездить на своих машинах; в семье начались скандалы, и его жена Лидия Георгиевна Крисанова жаловалась соседям, что муж «снова связался с урками, приходят к нему ночью, пьют до утра и говорят такое, что волосы шевелятся».

Она же якобы позвонила «Никодимову», заметив подругам, что лишь этот человек может образумить ее мужа: «Пока зарабатывал нормально, был тихим, а как стал грести деньги лопатой, изменился совершенно, дерьмо из ушей поперло».

Последний скандал в квартире Окунева произошел за день до его отъезда на рыбалку. По словам жены, он не думал уезжать на Плещеево озеро, потому что намеревался поехать к своему знакомому художнику, «кажется, Баху, у него родственник в Америку отвалил», но в ее отсутствие неожиданно собрался, оставив записку, что вернется послезавтра.

Послезавтра его тело привезли из морга.

Работа по направлениям «Никодимов» и «Сорокин» продолжается.

Полковник Долев».

II

«УУГРО ГУВД
Мосгорисполкома
капитану Строилову

СООБЩЕНИЕ

Человек, назвавшийся «Эмилем», позвонил в номер Джозефа Дэйвида в 22.10, сказав, что через двадцать минут ждет «дорогого друга в обычном месте».

Как и было заранее условлено, Дэйвид ответил, что у него очень высокая температура и он не может подняться, поэтому просит «Эмиля» заехать к нему.

«Эмиль» ответил, что в таком случае он приедет завтра в десять часов утра.

Однако в 22.45 этого же вечера в номер Дэйвида, по его словам, пришла неизвестная и передала четыре кассеты, потребовав взамен контракт на издание книг.

По словам Дэйвида, неизвестная не вынимала правую руку из кармана, почему он и был вынужден передать ей два контракта.

Кассеты прилагаются.

По данным экспертизы, кассеты были заранее засвечены, никакой информации не содержат.

Наблюдение подтвердило, что действительно к Дэйвиду именно в это время заходила иностранка, в то время как группа была сориентирована на посещение Дэйвида либо «Хреном», либо теми его контактами, фотографии которых были розданы сотрудникам.

Квартира, где прописан «Витман», он же «Сорокин», пуста, к телефону никто не подходит.

Все попытки установить его результатов пока не дали.

Наблюдение продолжается.

Старший лейтенант
Киршун»

III

«УУГРО ГУВД
Мосгорисполкома
капитану Строилову
полковнику Костенко

Сов. секретно

В связи с запросом, полученным вами из ФБР на некоего Баха Игоря Валентиновича, сообщаем: действительно, Бах И. В. эмигрировал в США 27 февраля 1982 года, судимостей не имел, выехал по немецкой визе (мать, урожденная Гаазе Матильда Феликсовна), по профессии инженер-нефтяник, профилактировался Московским городским управлением КГБ СССР по поводу валютных операций с иностранцами, а также торговли живописью.

Его двоюродный брат, художник-любитель Бах Александр Николаевич, по профессии ветеринар, славился тем, что блестяще имитировал работы мастеров голландской школы.

В этой связи считаем нужным сообщить, что незадолго до трагической гибели Зоя Алексеевна Федорова переслала в США своей дочери (через итальянскую знакомую, жившую у нее на квартире) работу голландского мастера Де Витта.

Об этом стало известно за день до гибели З. А. Федоровой, потому что ее дочь, пришедшая с картиной в оценочный отдел фирмы «Сотби», проводящей аукционы не только в Лондоне, но и по всему миру, получила официальный ответ специалистов, что предъявленная ею картина не является подлинником, а лишь искусной подделкой кисти великого голландца.

Уже после смерти Федоровой, в процессе отработки версии политического убийства актрисы, было установлено, что она уплатила за эту картину неизвестному (или неизвестным) девять тысяч (9000) рублей из тех пятнадцати тысяч (15 000), которые были выручены ею от продажи подмосковной дачи.

Будучи по характеру крайне вспыльчивой и открыто-прямолинейной, З. А. Федорова могла вызвать того человека (или тех лиц), которые продали ей Де Витта, и пригрозить им, что обратится в милицию, ибо продана ей была подделка, если они не вернут ей деньги.

Поскольку эта информация пришла к нам только что, считаем необходимым поставить вас в известность.

Ст. оперуполномоченный
Киреев».

IV

«УУГРО ГУВД
Мосгорисполкома
капитану Строилову

СООБЩЕНИЕ

Работа по художнику-любителю Баху Александру Николаевичу позволяет сообщить следующее.

1. В разговоре с «Петром» художник Бах не отрицал, что в начале восьмидесятых годов действительно много работал по мотивам старых фламандцев. Более того, он припомнил, что продал кому-то «Купидонов», написанных им по картине Де Витта. Кому именно, ответить затрудняется, но, во всяком случае, не брату: «Я ему свои вещи дарил за то, что он передал мне свой «Москвич».

2. На вопрос, отчего он не вступает в Союз художников, Бах ответил, что обстановка там и в Министерстве культуры такова, что профессиональные мастера прозябают в бедности, за границу выезжают с большим трудом, а получить право на персональную выставку в стране крайне сложно и связано с тем, что надо, по его словам, «пробивать лбом стену, без связей этого сделать невозможно». Он также добавил, что процедура приема в Союз длится годами, так что «значительно выгоднее лечить пуделей и сиамских котов тех живописцев, которые состоялись в сталинский или брежневский период, денег загребли тьму, внукам хватит, не то что детям, и на вырученные от святого дела помощи «меньшим братьям» вполне можно безбедно жить и заниматься живописью в свое удовольствие, тем более что я от природы человек испуганный, свое говорить и писать боюсь, легче имитировать ушедших гениев...».

3. Контактов Баха с уголовным элементом не просматривается, хотя его посещают люди, связанные в прошлом с кружком Бориса Буряцы, но он этого имени не знает, абсолютно наивен в вопросах бизнеса и, судя по сообщениям его знакомых, равнодушно относится к деньгам — тратит их на альбомы живописи, собрал уникальную коллекцию, на краски и кисти, которые ныне чрезвычайно дороги.

4. На вопрос «Дины», отчего он не уезжает в США, хотя получил вызов от двоюродного брата, Бах ответил, что никогда не эмигрирует, ибо любит Россию, хорошо устроен, живет в свое удовольствие, а там, по его словам, «надо работать, как в наших кооперативах, — до пота

и красных бегунков в глазах, спасибо, не хочу, да и конкуренции здесь никакой, ветеринаров мало, большевики всю живность вывели, что же касается искусства, то пишу в свое удовольствие, честолюбием не заражен, только б не мешали жить, как живу».

5. О своем брате и его жизни в США Бах осведомлен мало, говорит, что тот занят бензиновым бизнесом, вроде бы устроен неплохо, но относится к нему с некоторым юмором: «Слишком суетлив, живчик, такие умирают от инфаркта, все хочет взять нахрапом, никакой созерцательности, хотя парень добрый...»

6. Всю поступающую информацию по работе с Бахом буду сообщать и впредь.

Лейтенат милиции
Жванов».

V

«УУГРО ГУВД
Мосгорисполкома
капитану Строилову
полковнику Костенко

Настоящим сообщаю, что Сорокин Е. В., состоя в органах МГБ, действительно имел сотрудницу по имени Кира, которая умерла в 1976 году и к преступлениям, совершенным Сорокиным, отношения не имела.

Сестра Киры в то время была солисткой танцевального ансамбля Метрополитена им. Л. М. Кагановича.

В те годы ее фамилия была Лазуркина, имя и отчество — Ирина Владимировна, 1936 года рождения, адрес и нынешняя фамилия неизвестны, среди друзей имела кличку «Иностранка», поскольку изысканно одевалась и говорила с английским акцентом. По внешнему портрету, переданному нам, можно допустить, что женщиной, получавшей контракты у Дэйвида, является Лазуркина.

Мл. оперуполномоченный
Краснов».

VI

«УУГРО ГУВД
Мосгорисполкома
капитану Строилову

СООБЩЕНИЕ

Установлено, что в день убийства Ястреба и Груздевой в кооперативном гараже на Ленинском проспекте появились люди, опознанные механиком Тимашевым Григорием Ивановичем и сторожем Беликовым Николаем Михайловичем как Ястреб и Груздева.

Они спрашивали, где слесарь Окунев, говорили, что у них несчастье с машиной, стукнули правое крыло, надо срочно выправить, обещали уплатить любые деньги.

Механик Тимашев дал им телефон Окунева, и Ястреб позвонил ему из гаража, договорившись при этом приехать к нему немедленно.

Мл. лейтенант
Львов»

VII

«Петровка, 38,
Управление уголовного
розыска
тов. Костенко

Дорогой Слава!

Ты не оставил домашнего адреса, поэтому отправляю письмецо на Петровку в надежде, что тебе передадут его.

Итак, по пунктам:

1. Мы намерены поднять на очередной Сессии вопрос о правомерности приема в качестве вещественных доказательств в борьбе с организованной преступностью оперативных записей разговоров мафиози и съемок их операций видеокамерой, хотя, не скрою, существует достаточно сильная оппозиция такого рода предложению: «Уподобляемся западным спецслужбам!»

Наивность такого рода оппозиции очевидна, однако весьма могущественна — при нашей-то дремучей ненависти ко всему чужому, особенно иностранному.

Насколько мне известно, западные службы никогда не сажали изобретателя водородной бомбы Оппенгеймера, нападавшего на Белый дом и требовавшего прекратить гонку ядерных вооружений. Он нападал на президента со страниц ведуших газет и с экранов телевидения, но в Горький его никто за это не выдворял, как и не сажали в психушку Джейн Фонду или в мордовский концлагерь актера Пола Ньюмена, выступавшего против режима...

Сталинская Конституция была самой демократичной в мире, отвергала доказательства, собранные оперативным путем, — записи телефонных разговоров, фотографии, — но при этом разрешала пытать арестованных и удовлетворялась их истеричными признаниями, расстрел неминуем.

Мы — византийцы, нам самое важное соблюсти форму, суть дела нас мало волнует.

2. Даже если это изменение к Уголовному кодексу будет в принципе принято, пройдет очень много времени — при нашей страсти к всенародным обсуждениям, — прежде чем такого рода доказательства станут практикой законотворчества. Так что, если ты помогаешь крутить дело против мафиози и оно близко к завершению, то, боюсь, наши крестные отцы разобьют твои доказательства в пух и прах.

3. Что касается преступлений, совершенных сталинскими садистами против ленинцев, то судить их (да еще по второму разу!) не станут: надо начинать сотни тысяч процессов — прямой путь к гражданской войне, ибо, как ты понимаешь, при нашей жестокой дикости кара обрушится не только на этих зверей, но, главное, на их жен, детей, внуков, а это уже п р о ц е н т, число новых жертв будет измеряться семизначными цифрами... Потяни ниточку: кто ответствен за гибель правозаступника Анатолия Марченко? На скамью подсудимых придется

сажать не только тех, кто подписывал постановления, но и всех тюремных и лагерных охранников, врачей, прокурорских, судей... С этой точки зрения отчаянная попытка Горбачева построить правовое государство и подвести, таким образом, черту под нашей вселенской доносительской злобой — самый оптимальный вариант, если только президента не заблокируют крайне правые силы которых у нас десятки миллионов, а левые и те, кто его поддерживает, разобщены и взаимокусаемы — обычное горе России.

Если чем могу быть полезен, пиши или звони.

Твой Иван Варравин».

VIII

«УУГРО ГУВД
Мосгорисполкома
капитану Строилову

На ваш запрос сообщаем, что Эмиль Валерьевич Айзенберг состоит на учете в психдиспансере № 4 по поводу шизофрении и временных провалов памяти и, таким образом, к судебной ответственности привлечен быть не может без повторного стационарного обследования.

Гл. врач Шамякин».

IX

«УУГРО ГУВД
Мосгорисполкома
капитану Строилову

Настоящим сообщаю, что Шинкин Осип Михайлович, 1918 года рождения, закончил войну в звании подполковника, командира ордена Александра Невского отдельного мотострелкового полка, дважды ранен, награжден тремя орденами Красного Знамени, орденами Отечественной войны I и II степени, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За взятие Кенигсберга» и «За взятие Берлина». В 1952 году уволен из рядов Советской Армии и исключен из КПСС за связь с космополитами и агентами «Джойнта». Еще до увольнения было запрошено согласие командования на его арест как пособника секретных служб США и Израиля. Такое согласие было дано 6 марта 1953 года. В связи с реабилитацией врачей-убийц, агентов «Джойнта», запрос был отозван. С тех пор Шинкин О. М. работал в системе Кожгалантереи. Орден Ленина, которым он, оказывается, был награжден 7.1.1943 за мужество и героизм, проявленный им во время ликвидации формирований Паулюса, а также орден Отечественной войны I степени, которым он был награжден в День сорокалетия Победы, до сих пор им в военкомате не получены.

Зам. райвоенкома
майор Чикин».

X

«УУГРО ГУВД
Мосгорисполкома
капитану Строилову

Настоящим сообщаю, что 11 апреля 1951 года Жарикова Антонина Васильевна изменила в Бауманском ЗАГСе гор. Москвы в метрике имя и отчество своего сына Варенова Ивана Николаевича на «Исай Григорьевич».

Проведенной работой установлено, что отцом Варенова являлся старший лейтенант Советской Армии Варенов Николай Кириллович, попавший в плен в августе 1943 года. Находясь в концлагере Маутхаузен, он возглавлял одну из подпольных групп коммунистического сопротивления и по заданию Комитета вступил в Русскую освободительную армию генерала Власова А. А. для организации перехода солдат и офицеров РОА через линию фронта на соединение с частями РККА.

Ему действительно удалось организовать переход батальона власовцев в Восточной Пруссии, после чего он, как и все его люди, были осуждены за измену Родине на двадцать пять лет лагерей с последующим поражением в правах.

В декабре 1950 года Варенов Николай Кириллович совершил побег, добрался до Москвы и остановился в комнате своей жены Жариковой Антонины Васильевны, чтобы отсюда направить петицию от имени заключенных на имя И. В. Сталина с требованием пересмотра дела и восстановления справедливости.

Однако Жарикова А. Н. сообщила органам МГБ о том, что у нее скрывается ее бывший муж, изменник Родины и власовский недобиток. Варенов Н. К. был арестован, судим и приговорен к высшей мере социальной защиты.

Именно после этого Жарикова поменяла имя и отчество ребенка, но 4 мая 1951 года была выселена на сто первый километр, где и погибла при невыясненных обстоятельствах.

Варенов Исай Григорьевич воспитывался в семье дяди по матери, Жарикова Василия Васильевича, работавшего водопроводчиком в ЖЭКе № 21 Киевского райисполкома г. Москвы, в 1962 году поступил в МАДИ, откуда был исключен, когда выяснилось его подлинное имя и связь с изменником Родины Вареновым.

Реабилитирован Варенов Николай Кириллович был в 1963 году, когда Варенов Исай Григорьевич был осужден за вооруженный грабеж и отбывал наказание в Саблаге.

Его «учителем» в зоне был Сорокин Евгений Васильевич, который, как сейчас стало известно, был следователем его отца и готовил материалы на расстрел Варенова Николая Кирилловича, применяя при этом недозволенные методы ведения следствия.

Мл. оперуполномоченный
Скоробогатько».

XI

«УУГРО ГУВД
Мосгорисполкома
капитану Строилову
полковнику Костенко

Сообщаю, что разрешение на обмен Федоровой З. А. ее жилплощади по набережной Шевченко на трехкомнатную квартиру по Кутузовскому

проспекту было дано председателем Исполкома Моссовета после обращения к последнему одного из лиц, близких к семье Л. И. Брежнева.

Фамилия этого человека устанавливается.

Майор Неустроев».

XII

«УУГРО ГУВД
Мосгорисполкома
капитану Строилову

По неподтвержденным данным (находятся в стадии отработки), брат художника Баха, ныне эмигрировавший в США Игорь Бах, 12.XII.1981 был госпитализирован в городскую больницу № 62 по поводу острого приступа аппендицита, начавшегося, по его словам, в ночь с 10.XII.1981 на 11.XII.1981.

Приступ, однако, был купирован терапевтическими методами лечения, операции не было.

В больнице его навестил некий Никодимов, данные на которого устанавливаются.

Лейтенант Ознобишин».

Костенко откинулся на спинку стула, помял лицо; сюжет всего дела прояснялся, складываясь в полнейшую б е з н а д е г у; рассветало, позвонил на п о с т ы; ответили, что Сорокина по-прежнему нигде нет, исчез, как сквозь землю провалился; Варенов молчит, только улыбается, так же ведут себя боевики; с третьего поста сообщили, что вокруг интересующей квартиры крутятся подозрительные; Костенко провел по глазам ладонью, отключился на десять минут, потом резко поднялся и позвонил оперативному дежурному Глинскому:

— Малыш, выручи машиной, а?

20

Поскольку Берия знал, что Сталин благоволит Федоровой не просто как красивой женщине, великолепной актрисе, но прежде всего как русскому художнику, национальной героине, знакомой в стране каждому и каждым любимой, комбинация по ее устранению — в отличие от сотен тысяч подобного рода устранений и нейтрализаций, когда было достаточно выписать постановление на арест, все остальное прикладывалось само по себе, — готовилась достаточно тщательно.

Берия помнил, как зимой сорок пятого — незадолго перед тем, как на Тушино стали прибывать американские летчики, чтобы включиться в работу по подготовке совместного выступления против японцев, — во время одного из застолий на Ближней даче Сталин сказал:

— После победы экономическое положение народа, видимо, серьезно ухудшится... Все деньги будем вкладывать в создание атомного проекта... Главная задача: накормить Москву... В России всегда все определял центр... Такова историческая традиция... Надо заранее дать сатисфакцию русским, выделив их надежное долготерпение, — во имя славы Державы... Конечно, в условиях нынешнего братания, — Сталин чуть усмехнулся, — с западными демократиями, которые поставляют нам «студебеккеры», орудия, шинели и свиную тушенку, добром терпеть никто не захочет, распустились, забыли про спасительную и необходимую узду страха...

Берия дивился тому, как аккуратно и отрешенно ставил задачи генералиссимус. Раньше, в двадцатых, он мог публично сказать, — да еще в присутствии Троцкого и Каменева: «Грузию придется перепахать», — не думая о том, что эти его слова станут известны в Тбилиси каждому десятому, а это значит — всем.

Новое время, новые песни, воистину.

Теперь, когда миновал ужас коллективизации, которую ныне славили как «гениальную революцию сверху», после леденящих тридцатых, названных «очищающим вихрем», после поражений сорок первого и сорок второго, определенных пропагандой как один из элементов «гениальной военной стратегии», Сталин до конца уверовал в свое надмирное бессмертие и поэтому з р и м о готовился к любой фразе, загодя лепил ее, взвешивая каждое слово, и лишь после того, как проанализировал со всех сторон, отдавал вечности...

Наблюдая Сталина последние шесть лет практически ежедневно, Берия все более и более страшился этого человека, преклонялся перед ним, ощущая свою малость, и учился великой мудрости править теми, кого давно и свысока презирал, относясь к людям как к «массе», «материалу», «толпе».

Прикасаясь к архивам, Берия открывал для себя такие подробности, которые рождали в нем ужас: он жил в стране, где знание сделалось столь же опасным, как работа в чумном бараке или на артиллерийском складе, заминированном искусными диверсантами.

Он читал не только показания ленинцев, выбитые на следствии, но и бесстрастные стенограммы архивов, заключения врачей, свидетельства очевидцев, чудом сохранившиеся в картонных папках, на которых по чьей-то неразумной прихоти было начертано «хранить вечно».

Берия никогда не мог забыть документ, в котором описывалось, как в двадцать седьмом году на заседании ЦК Троцкий бросил Сталину:

— Вы — могильщик революции!

Несколько членов ЦК после этого говорили друзьям по телефону (и это, понятно, было зафиксировано), что Сталин сделался белым как полотно — ни до этого, ни после он таким не был, — пошатнувшись, поднялся и, выйдя из кабинета, так хлопнул дверью, что посыпалась штукатурка.

Но сколько же лет он шел к тому, чтобы отомстить своему врагу за это прилюдное оскорбление! Он выслал Троцкого — сначала в Алма-Ату, потом в Турцию; он мог уничтожить его на Принцевых островах, но не делал этого, потому что знал: в ЧК работают те, кто помнит Октябрь, а значит, и роль Троцкого, следовательно, сначала надо уничтожить память, а уж после этого — самого врага.

Сталин умел ждать; он имел информацию о том, что Троцкий ненавидит Ягоду, но тем не менее не давал Ягоде п р я м о г о поручения убить главного недруга; позволил только п ы т к у — агенты Ягоды умертвили сына Троцкого, Льва Седова, и дочь Зину; не поручал он устранение Лэйбы и Ежову; лишь перед ним, Лаврентием Берией, поставил эту задачу — спустя двенадцать лет после нанесенного оскорбления, но при этом сформулировал ее совершенно особо:

— После того как троцкистские формирования в Испании доказали свое абсолютное военное бессилие, сама идея Троцкого исчезла с поля мало-мальски серьезной политики... Однако, поскольку Молотов подписал пакт с Берлином, что есть апофеоз миротворческой политики, позволяющей нам быть не в схватке, а над ней, укрепляя при этом свое могущество и расширяя границы Союза Республик, Троцкий, конечно, не преминет развязать кампанию по дискредитации этого пакта, стараясь в первую очередь оторвать от нас ведущих художников Запада... Эмоциональные люди, они могут поддаться его доводам, в слове он дока... Именно поэтому нейтрализация такого рода активности Троцкого угодна сейчас истории,

делу победы пролетариата, торжеству русской революции, ставшей государственной сутью марксистско-ленинского учения.

Берия съежился тогда, потому что ночью прочитал перевод последнего выступления Гитлера: «Мы живем в такое время, когда идеи национал-социалистической революции немцев стали основоположением имперской идеи третьего рейха!»

...Когда Берия в далеком сорок первом пригласил к себе Зою Федорову и та посмела не лечь с ним в постель, он, после острой вспышки гнева, п р и г н у л с я, потому что утром спросил себя: «А что, если она по-прежнему бывает у Сталина? Хозяин умеет конспирировать, видимо, не все в его охране сообщают мне о том, кто посещает его, людьми правит страх, а Хозяин — создатель этой теории государственного страха, какого там страха, ужаса...»

Поэтому Берия, готовый прошлой ночью отдать приказ о начале р а з р а б о т к и Федоровой, сдержал себя, повторив презрительную фразу старца: «Не будь примитивным грузином, не бросайся с ножом на горячее говно, дай остыть...»

И он затаился, понудив себя сыграть роль Сталина; «умение ждать — основа успеха».

...В феврале сорок пятого, когда пришла первая информация о том, что сотрудник американской военной миссии капитан флота Джексон Роджер Тэйт бывает на улице Горького в доме лауреата Сталинских премий Зои Федоровой — они познакомились на приеме, об этом уже говорили в кругах творческой интеллигенции, роман начинался у всех на глазах, — Берия ощутил усталое, спокойное торжество: «вот она, расплата»...

Комбинация родилась сама по себе, без привлечения «сценаристов», сочинявших планы мероприятий: идти к Федоровой надо от Тэйта; выскоблить его подноготную, установить связи, настроения, манеру поведения, стиль жизни, выходы на верхние этажи администрации, прошлое...

Первые данные ничего интересного не дали: ирландец, аристократ, генеалогическое древо исчисляется с четырнадцатого века, склонен, как и все «штатники», к авантюрам, воспитывался во Франции, блестящий пилот, мальчишкой еще был близок к штабу президента Вудро

Вильсона в Париже во время подготовки Версальского договора, пользуется особым расположением посла Аверелла Гарримана, высококомпетентен, прекрасно знает Сибирь и Дальний Восток, бредит полярными исследователями Амундсеном, Седовым и Скоттом, пьет в меру, разбавляя виски содовой, поэтому совершенно не пьянеет, в Зою влюблен безмерно, ни на кого, кроме нее, не смотрит, к русским относится с открытой симпатией.

Прочитав донесение, Берия сказал заведующему секретариатом Мамулову, чтобы помяли Седова — из русских-то мало кто знал этого исследователя, — отчего американец говорит о нем с таким восхищением, и переключился на другие дела, забыв вскорости об этом своем поручении.

Каково же было его удивление, когда по прошествии двух недель Мамулов доложил, что Георгий Седов готовил свою легендарную экспедицию вдвоем с Александром Колчаком, и были они самыми близкими друзьями, и только благодаря помощи того человека, который вошел в историю России как «верховный правитель», Седов смог получить шхуну и деньги на экспедицию — правительство относилось к нему, как к безумному мечтателю, и лишь Колчак исступленно, словно бы одержимый, помогал ему, отзываясь о царской администрации как о скопище «безмозглых бюрократов, лишенных полета смелости»...

Берия запросил справку на Колчака, потому что, как и все в стране, знал об адмирале лишь то, что было написано в новых учебниках истории и сталинском «Кратком курсе».

Когда документ был подготовлен, он взял его на воскресенье в Серебряный Бор, устроился на веранде, начал лениво пролистывать страницы и не заметил, как увлекся, растворившись в недалеком еще прошлом — всего двадцать пять лет прошло с той поры, как Колчака расстреляли в Иркутске.

...Командующий Черноморским флотом Колчак сразу же встал на сторону революции, приветствовал падение монархии и присягнул на верность Временному правительству. Однако, когда в армии и на флоте начался развал, позиция Колчака резко изменилась: он не считал нужным скрывать свое отношение к тому, как разваливался русский флот, которому он служил верой и правдой.

Военный министр Гучков, поняв состояние тридцати-

семилетнего адмирала, отправил Колчака в Соединенные Штаты: широко образованный флотоводец должен был загодя готовить переоснащение русской армии, распределять заказы на строительство кораблей, изучать военную технику и знакомиться с новшествами авиации.

Когда власть в Петрограде захватили большевики и начались переговоры с кайзером в Брест-Литовске, Колчак встретился с русским послом:

— Этот позорный мир будет означать наше полное подчинение Германии, Ленин и Троцкий отдают Россию немцу, поэтому я вижу свой долг в том, чтобы продолжать борьбу с Вильгельмом: лишь крушение пруссака может спасти родину.

В тот же день он посетил английского посла в Вашингтоне; имя Колчака было широко известно в Лондоне, адмирал предложил британцам идею минирования входов в лондонский порт — на случай попытки немецкого вторжения.

Его предложение было с благодарностью принято; Лондон откомандировал его в распоряжение штаба Месопотамской армии.

Он отправился в действующую армию через Китай, отплыв из Сан-Франциско; в Шанхае в порту его ждал секретарь русского посла в Китае князя Кудашева:

— Ваше высокопревосходительство, посол ждет вас для крайне важного разговора.

— О чем говорить-то? — вздохнул Колчак. — Россия разваливается, спасение к ней может прийти только через разгром немцев; свалив кайзера, мы повалим и Ленина с Троцким.

С этим он вернулся на корабль, следовавший в Бомбей, где располагался штаб Месопотамской армии англичан.

Однако в Сингапуре ему вручили шифрованную телеграмму английского кабинета: «Адмирал, кабинет Его Величества просит Вас прислушаться к просьбе князя Кудашева и вернуться в Россию: союзники убеждены, что Ваше место — в рядах тех, кто противостоит большевизму на полях сражений на Волге и в Сибири».

Колчак не сразу дал ответ на эту телеграмму. Он прекрасно знал ситуацию, сложившуюся в России от Архангельска — через Уфу и Омск — до Читы и Владивостока. Она была совершенно уникальна и сопрягалась в его сознании с худшими днями Смутного времени.

Действительно, сразу после того как Ленин настоял на

заключении Брестского мира — невзирая на протесты Троцкого, Бухарина и Дзержинского, не говоря уже о подвижнице революционного террора Марии Спиридоновой и герое социалистов-революционеров Натансоне, — союзники провозгласили идею создания Восточного вала антигерманской борьбы. В Архангельске образовалось правительство Чайковского, испытанного борца против царской тирании, который заключил блок с англичанами и пригласил военных советников из Лондона. В Самаре и Уфе к власти пришли эсеры и социал-демократы — Авксентьев, Зензинов, Майский, также стоявшие на позиции революционной борьбы против немцев; ими был создан Комуч (Комитет Учредительного собрания), а после — Директория, тесно сотрудничавшая с пражскими социалистами Массарика, который выводил из России пленных чехов, чтобы они смогли присоединиться к французской армии, эвакуировавшись из Владивостока; здесь же оперировали американская, французская и английская миссии. В Маньчжурии хозяйствовал атаман Григорий Семенов, поддерживаемый японцами и французами. Полосой КВЖД командовал генерал Хорват; границы с Монголией контролировал атаман Дутов. Слоеный пирог, прыщи на теле России, что красные бандиты, что белые: «Соусы разные, смысл один, — заметил Колчак, — развал, эгоизм, злодейство...»

...Колчак прибыл из Пекина в Харбин и сразу же оказался в душной атмосфере российских дрязг — лили грязь друг на друга, болтали невесть что, тащили что ни попадя, повторяя как заклинание: «Рука нужна, железная рука, мы без этого не можем, не англичане какие или французики, нам демократия противопоказана, только нагайки и виселицы».

Колчак начал наводить порядок, выехал на встречу с атаманом Семеновым; тот принял его в своем вагоне (Троцкому подражал, сукин сын!), на вопросы толком не отвечал, посмеивался, зная, что в обиду его не дадут японцы, да и французы помогают исподволь, страшась, впрочем, англичан и американцев: те требовали, чтобы «перчатки были белыми», самовольные расстрелы им, видите ли, не нравились...

Не нравились — так дрались бы! Позицию б заняли! Ан нет! Спокойно наблюдали за тем, как после стычки Колчака с Семеновым адмирала достаточно вежливо, но в то же время твердо пригласили в Японию. Он прибыл в Токио, встретился с начальником генерального штаба

Ихарой и вернулся в отель совершенно разбитым: ему стало ясно, что японцы, готовящие интервенцию в Сибирь, не желают иметь с ним дело — слишком независим и патриотичен, нужны марионетки типа атамана Семенова, а никак не личности.

Встретился с русским посланником Крупенским; тот посмеивался горько:

— Ах, Александр Васильевич, Александр Васильевич, плетью обуха не перешибешь! Японцы берут реванш за девятьсот пятый год, им нужны Владивосток и Хабаровск с Читою, и я готов им в этом помочь, лишь бы сокрушить жидовский большевизм... С ними, с масонами, все средства борьбы хороши... Да, обидно, что раскосые лезут, но что делать, если мы, русские, лишены единого стержня и чужды демократии?! Все-таки я исповедую иерархию целей: сначала свалить главного врага, а потом уж думать о наведении порядка в доме.

Из Токио Колчака не отпускали, созвали консилиум врачей, сокрушались о здоровье адмирала: «Такой молодой человек, а легкие никуда не годятся! Да и нервы словно тряпки! Вы очень нужны России, подумайте о себе, больной политик — не политик, право слово...»

Колчак ярился:

— Чем японская оккупация разнится от большевистской?!

Ему отвечали, как ребенку, спокойно и доброжелательно:

— Ваше высокопревосходительство, никто не собирается оккупировать Россию! Токио всегда относился и продолжает относиться с глубочайшим уважением к русскому союзнику. Наши войска лишь гарантируют спокойный вывод из Сибири чехов, а ведь их не менее двухсот тысяч, и они весьма далеки от тех идей, которые вы исповедуете, — сплошь социалисты... Как только чехи уйдут, как только вы, военные, наведете порядок, уничтожив очаги совдепов, наши части немедленно покинут Дальний Восток...

Колчак слушал собеседников, сердце ныло, он понимал, что ему лгут в глаза. И постепенно он пришел к выводу, что надо бежать отсюда, бежать как можно скорее: на юг, к генералам Алексееву и Деникину...

Однако англичане, державшие ледяные пальцы на кроваво-рвущемся пульсе Сибири и Дальнего Востока, не позволили Колчаку уехать; последний очаг Советов во Владивостоке был сброшен, к власти пришло лоскутное

правительство, составленное из равноненавидевших друг друга кадетов, эсеров и социал-демократов; Омская директория социалистов-революционеров, претендовавшая на то, чтобы считаться Временным Всероссийским правительством, руководимая террористами, принимавшими участие в заговорах против членов царской семьи еще с начала века, — такими, как Зензинов, Авксентьев и Аргунов, — продолжала в а т н у ю борьбу с военными, которые ее ни в грош не ставили; приспело время диктатуры, единственной формы правления, которую, по мнению Лондона, примут русские...

И Колчак был привезен в Омск, где его короновали — после ареста членов Директории («товарищи» сратые, в любой миг могут сговориться с Москвой, одного поля ягодки, как ни крути) — «верховным правителем».

Однако полковник Уорд, командовавший в Омске английским батальоном, не дал расстрелять эсеровскую Директорию, поэтому смысл военной диктатуры был с самого начала выхолощен, тотальный страх не сделался камертоном нового правления, а коли так, то и сам переворот оказался бессмысленным.

Французский генерал Жанен, возглавлявший парижскую миссию в Сибири, с горечью наблюдал за активностью англичан во главе с генералом Ноксом: «Они возят адмирала в своем поезде, как паяца... Россия не примет гастролера, не умеющего отдать приказ на расстрел, угодный здешнему национальному характеру... Вместо того чтобы арестовывать Директорию, надо было превратить ее в истинную Д и р е к т о р и ю; Наполеон стал императором после того, как был призван революционным народом представлять интересы армии в высшем совете республики...»

Особенно французы ярились на полковника Уорда, члена британского парламента и деятеля лейбористской оппозиции: «рабочий» депутат двинул свой мидлсекский полк на защиту военного диктатора, где же ваша честь, полковник?!

Отмычка оказалась куда как простой: Колчак получил эшелоны с царским золотым запасом, сотни миллионов франков, фунтов и долларов...

Поэтому-то его и о т д а л и вскорости красным: надо было р а з л у ч и т ь адмирала с золотом, суп отдельно, мухи отдельно; политика, при всей ее загадочности, только на первый взгляд г л у б и н н а, поскобли ногтем как следует — сразу поймешь, кому на пользу..

Как только Колчак попытался с о б р а т ь Сибирь и Дальний Восток в единую общность, подминая под себя все те девятнадцать правительств, которые существовали тогда между Уфой и Владивостоком, драчливо нападая друг на друга, склочничая и собирая грязь, совершенно не думая об общероссийском доме, так сразу же японцы и французы, как, впрочем, чехи и англичане, изменили свое к нему отношение, ибо стратегия «разделяй и властвуй» возможна только там, где есть что разделять и над кем властвовать.

Эсеры требовали от адмирала остановить крен вправо: «Нельзя победить смуту, если все подчинять идее борьбы с большевистской Москвой, закрывая глаза на злодеяния обезумевших атаманов, ставших не идейными борцами за свободу, а грабителями и бандитами».

Монархисты обрушивались на Колчака за то, что он не ведет войска на Москву и не расстреливает эсеров с меньшевиками.

Кадровые военные во главе с генералом Бодыревым требовали обуздания казачества, которое приказам главного штаба армии не подчинялось.

«...В одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань...»

И тогда-то молодой американский офицер отправился из Владивостока в Иркутск, к Колчаку, с которым познакомился еще в Америке, на лекции, читанной адмиралом для молодых военных; цель его поездки была по-американски прагматична: помочь замечательному полярному исследователю, ставшему верховным правителем, скорректировать его линию в пользу уравновешенной западной демократии. Не успел: Колчака расстреляли большевики. Вернулся во Владивосток, поняв, что страна эта — загадочный сфинкс, мистериозна и алогична...

...Имя молодого американского офицера было Джексон Роджер Тэйт.

...Отложив справку, Берия понял: отмщение теперь не просто возможно, но и угодно.

Его не волновало, что Тэйт не успел к Колчаку; это детали; главное — он х о т е л помочь адмиралу, злейшему врагу Советов, остальное не имеет никакого значения.

Берия понимал, что если следовать логике, то Сталин должен был бы поручить ему арестовать Черчилля еще в сорок втором, во время первого визита сэра Уинни в Россию, — кто, как не он, был мозгом и сердцем самой идеи интервенции в красную Россию?! Однако же Сталин обменивался с Черчиллем дружескими рукопожатиями и поднимал тосты за здоровье выдающегося лидера антигитлеровской коалиции, боевого союзника Советов в их совместном сражении против гитлеризма.

Однако что позволено Юпитеру, то не позволено быку; что мог политик, то было недопустимо для простого капитана; с политиками порою подписывают неожиданные, парадоксальные соглашения, капитанов — высылают из страны.

Тэйт оказался первым среди союзников, выдворенным из России в сорок восемь часов: ни Аверелл Гарриман, ни руководитель американской военной миссии не решились вступиться за него — значит, доводы Наркомата иностранных дел, подготовленные службой Берии, оказались такими, что не позволили янки встать на защиту своего сотрудника.

В Вашингтоне Тэйт бросился за помощью в Пентагон, генералы отводили глаза, похлопывали по плечу, советовали надеяться на лучшее; в конце концов отправили на флот, поближе к Японии, — дали командовать кораблем, никакой связи с сушей или, хуже того, переписки с Москвой: «нельзя дразнить дядюшку Джо».

Выдворили его в тот день, когда Федорову о т п р а в и л и на гастроли в Крым и на Кавказ; они даже не смогли попрощаться.

Через два года он получил от нее письмо, переправленное кем-то из Копенгагена: «Я не хочу ничего знать о вас более. У меня своя семья, прощайте, я теперь наконец счастлива».

Слова были написаны ее рукой — Либачев настриг из показаний, которые несчастная давала во внутренней Лубянской тюрьме совершенно по другим поводам.

...Сорокин не знал подробностей, которые накопали по Колчаку и Тэйту для Берии, но он умел манипулировать словом: лишь однажды Абакумов сказал ему и Либачеву с Бакаренкой:

— Вы ее потрясите по поводу Колчака, может, что скажет, стерва.

Ей сказать было нечего — за это сидела в карцере, не понимая, отчего ее спрашивают про того, кого звали «верховным правителем».

А Сорокину было о чем думать — и в лагере, и потом, когда разворачивал свою работу в мафии: всякое знакомство опасно, любое слово чревато непредсказуемыми последствиями, в наших условиях жить надо, как растение, никаких соприкосновений, всякий человек, если не знаком досконально, опасен; впрочем, и тот, кто досконально знаком, тоже несет в себе тайну; отгороженность, да здравствует отгороженность!

...Вот я их и спрошу: «Откройте свои архивы, давайте поглядим, чем Кремль умел вас пугать и дурить, — отчего предали своего Тэйта? Почему не защищали его? Зачем молчала ваша пресса? Зная прошлое — поймешь будущее...»

...Сорокин заново анализировал свой последний разговор с Грозным и Решительным, конспиративными руководителями его запасных центров. Он помнил каждое слово, сказанное помощникам; последнее выступление за долгие годы, поэтому фразы получились литые, выверенные:

— Система находится в состоянии паралича, исполнительная власть не знает, что делать. Многолетняя привычка получать указания у партии сыграла с практиками закономерную шутку: они окончательно потеряли способность к поступкам в условиях демократии. Когда ребенка бросают в воду, чтобы выучить его плавать, — восемьдесят пять процентов за то, что он научится держаться на воде. Человек, которому за сорок, утонет. Итак, мы имеем дело с изверившимися и напуганными людьми, составляющими хребет Системы... Двадцать миллионов старых птенцов, открывших клювы, куда партийная мама перестала закладывать червяков, а чекистский папа зорко следит, чтобы червячков не положили мы, деморализованы и растеряны, поэтому держава разваливается. Что нам следует делать в этих условиях? Первое: всячески помогать Системе. Если бы Кремль набирал людей по уму и способностям, а не по анкете и знакомствам, он бы просчитал: сколько товаров на деле производится промышленностью и сельским хозяйством и сколько доходит до потребителя. Они этого не делают, потому что лишены сметливой хватки бизнеса. Оказалось бы — наши

службы считали, — что реального дефицита в стране не существует. Правая рука не ведает, что творит левая, Система все хочет с а м а, но разве это возможно? Все могут хозяева, а они Системе страшны — конкуренты. Поэтому ваша задача — помогать этому саботажу, бестолочи. Вы должны сделать все — через экономистов, торговцев, бюрократов, верных нам писателей и журналистов, — чтобы, например, все базы никогда, ни при каких условиях не были ликвидированы... Базы — наш резерв, ибо там оседает дефицит, гниет скоропортящееся, хранится замороженное — «а вдруг нападет Джон»?! На хера мы ему сдались?! Кормить триста миллионов?! Но мы-то как раз и обязаны поддерживать этот страх, ибо в нем спасение нашего У п р а в л е н и я, залог д е л а...

Вторая задача: пугать бюрократов Системы близкими переменами справа, военным путчем, чем угодно, только б не начали шевелиться... Каков главный идейный стержень нашей борьбы? Национальный вопрос. Манипулируя им, мы войдем в еще более тесный блок с Системой, со всеми ее звеньями. Наш доверчивый народ вполне примет объяснение: «В том, что нет товаров и цены растут, а кооператоры богатеют, виноваты масоны и сионисты». Кто такие сионисты? Узбеки? Англичане? Ха-ха. Кто такие масоны? Радищев и Пушкин? «Клевета сионистов!» Они русскими были, не могли вступить в этот сионистский орден. Значит, кто такие масоны? Тоже жиды. Процесс выявления, разбора, выселения или уничтожения «малого народа», а лучше — народов, займет лет пять, мы запрягаем долго... Потом лет пять новому режиму придется отмываться от погромов, выпрашивая взаймы медицинскую, продовольственную и прочую помощь на Западе — арабы вряд ли прокормят. Значит, во время погромной кампании наше гигантское дело, когда народу внушат, что теневая экономика есть дело рук масонских сионистов, будет расти не по дням, а по часам. Поэтому ищите тех, кто сможет зажигать доверчивый и несчастный народ на в ы м а х! Пусть звенят стекла и на улицах стоят танки — с этими договоримся, ам-ам хотят и солдатики, а никто, кроме нас, их не накормит... Запомните, если бы мы успели закончить дело врачей, никакой оттепели и демократизации, столь опасной для У п р а в л е н и я, не было бы: вешая чужих, пугаешь своих, алгебра диктатуры, а в нашей стране невозможно ничто, кроме диктатуры... Все нужно доводить до логического конца: испанская инквизиция не сожгла всех вольнодумных

еретиков — и покатилась вспять, разорилась, превратившись в задворок Европы... Наш государь не дал довести до конца погромы — сам пал жертвой бунта. Гитлер не успел перетравить газом всех жидовинов — пустил себе пулю в лоб. Сталин затянул уничтожение поволжских немцев, крымских татар, ингушей, карачаевцев, повешение врачей-евреев на Красной площади — агукнулся в одночасье... Повторяю: чем хуже обстановка в стране, тем лучше нам и Системе. Мы неразделимы. Повались Система — дело кончено, начнется американский вариант, неприложимый к нашему характеру. Мы не можем, когда правит умный и предприимчивый. Мы алчем жесткого и своенравного, служащего идее государства, а не личности. Из этого исходите в своей практической каждодневной работе. Это наша последняя встреча в этом году. Если и в следующем ничего не изменится, будем отрабатывать новые формы связи, со мной все контакты обрываются — с этой минуты.

...Я был точен в формулировках, думал он, отхлебывая глотки шипучего «Боржоми»; я абсолютен и в прогнозе: Штаты и Западная Европа не простят погромов, а они нужны нам как воздух: назван истинный виновник, ату его, ищите! Пусть резвятся, нам-то надо будет работать в то время, руки развязаны! Изоляция бросит эту страну в объятия Востока, что и требовалось доказать: конкуренции быстрого Запада не будет, непрерывность процесса накопления нами капитала будет продолжаться; лишь интернациональная демократия может арестовать Хонеккера или Живкова за вывоз капитала... Надежная тирания никогда на это не пойдет. Тем более плебсу объяснили, в ком кроется зло, пока-то разберутся, на наш век хватит, а после нас хоть поток... Нет, я абсолютно точен в позиции; если сюда и возвращаться, то лишь под охраной танков, иначе здесь ничего невозможно: страх въелся в поры, разложил мысль, сделался характером, точка...

...Он лежал, забросив руки за голову, порою поднимался с тахты, делал глоток «Боржоми», брал ложку студня, политого чесночным соусом (нет ничего прекраснее этого кулинарного чуда), и снова ложился, неторопливо перебирая в голове фамилии, даты, встречи, свои слова и слова тех, с кем сводила жизнь.

Строилова нет, это последнее звено, связывавшее его с прошлым.

Все остальное двоякотолкуемо, лишь старик мог

привнести эмоциональную окраску делу, а в этой стране нет ничего страшнее эмоций, царствует философия столь угодной традициям с х о д к и, которая никакого отношения к закону не имеет — страсти, вилы, кровь...

Шинкин и его люди — гранит, мой Никодимов — тоже; кто-кто, а они понимают, что спасение лишь в одном — глухой отказ и молчание...

Да и моя психинвалидность — гарантия ото всех случайностей.

Время сейчас быстролетно — как при всех временных демократических деформациях; новости каждый день; только во времена спокойно-надежной диктатуры общество живет долгой и мстительной памятью, информация нулевая, сконструирована пропагандистами, которые строят нужные модели жизни, к самой жизни никакого отношения не имеющие, но именно поэтому и становящиеся настоящей жизнью, чудеса в решете... Ничего, все еще вернется на круги своя, вот тогда-то я сюда вернусь на белом коне и воспою гимн тому, что сейчас стараются предать забвению, гимн верховному вождю, без которого мои соотечественники державу пропьют и просрут в одночасье...

...А Колчак... Сложный вопрос... Спаси бог рассердить американкашек, им нужно, чтоб все было идеально, включи рассказ об адмирале, о том, что на него у нас копали, — вмиг найдутся нелюди, которые обвинят меня в том, что я — агент ЧК... Про адмирала надо будет в Штатах нюхать, советоваться с ихними историками... И козырная карта у меня в кармане: министр Абакумов, по словам полковника Либачева, был вызван Лаврентием Павловичем, и тот предложил пригласить Зойку к сотрудничеству: «Поезжай к своему долбарю, он на юге живет, рядышком с атомным центром, склони его к помощи нам, в золоте выкупаем, все простим». — «А дочка? Ее со мной пустите?» — «Курочка моя, да ты что?! Она у нас в залоге останется! Разве можно тебя с довеском отпускать?! Это после того, как Тэйт станет работать на нас, тогда мы девочку к тебе отправим, сейчас никак нельзя». — «Я не шлюха, принципами не торгую». — «Да разве койка — это принцип?» — «Если любовь — да! Самый что ни на есть высший принцип!..»

Колчака надо расписать с фугасом; они ж недоумки, американкашки-то, минутой живут, вечности чураются... Им надо Колчака так расписать, чтоб поняли: демократия в России невозможна, а миру — опасна. Чем больше у нас

демократии, тем скорее ее зальют кровушкой; того, кто не умеет отдать приказ на массовые расстрелы, прикончат, у нас над демократом Керенским по сю пору смеются, а Ивана Грозного с Иосифом Великим боятся, а потому чтут, парадокса в них ищут, глубинку, хотя любой нормальный человек должен был бы завопить: «Кровавые злодеи, истерики, зачем господь не сжег вас молнией за преступления ваши!» А — молчат! Фокусничают! Лазейку для отступления берегут!

Дай мне сейчас право навести порядок — за неделю б навел.

В первую ночь — арест пары сотен тысяч, на другой день — военно-полевые суды, в тот же вечер публичные расстрелы; на третий день — арест пары сотен тысяч браконделов и лентяев, военно-полевые суды, немедленные расстрелы; на четвертый день — обращение миллиона трудящихся о необходимости ввести карточки и навсегда закрыть границы; специальные выпуски газет и журналов в поддержку этой инициативы рабочего класса; показательный процесс десяти—пятнадцати редакторов газет, журналов и телевидения с показом после программы «Время»: «Да, мы были агентами всемирного масонского союза и хотели реставрации капитализма, получали за это деньги от ЦРУ, Солженицына, Израиля, испанского наследника Романова, неонацистов и ЮАР, пообещав им отдать Украину, Литву и Абхазию».

После показа процесса — выступления рабочих, крестьян, писателей и поэтов, прилежных национальной идее: «Немедленная казнь иудушек!» На пятый день — указ о том, чтобы все носили одинаковую форму, никаких различий в одежде, все равны, нет ни бедных, ни богатых; на шестой день — телеграммы благодарности трудящихся за наведенный порядок и проклятие тому, что враги народа называли «перестройкой». Вот и все, чего проще?!

Ничего, ждать недолго, придет время справедливости, всех гнид на лесоповал отправим, десяток крикунов перекупим, перевертыши у нас в цене...

Только так и будет! Иначе никогда у нас не было и быть не может! Александр Первый двадцать лет свои реформы готовил, бумажки слюнявил, колебался, ждал, взвешивал, все думал, как дворяне к этому отнесутся, не отвернутся ли от него, ведь простолюдинам дается послабление, ну и кончилось Сенатской площадью; Александр Второй пятнадцать лет конституцию вертел, боял-

ся, как аристократы к этому отнесутся, — ну и взорвали бедолагу, поделом... Столыпин, поняв, что Николашка испугался свободного мужика с собственной землей, тихо затаился, вместо того чтобы власть брать, — ну и шлепнули витязя! Решив действовать, — действуй! Да, видно, не в нашем это характере, в крови страх и рабство. Вот потому-то нам Сталин и нужен, вот потому только диктатура может заставить работать наше сборище пьяных лентяев, которые слова не понимают, только пистолет и дубину...

Западу теперь вопли против Сталина тоже поперек горла стали, они гарантий хотят, без гарантий кто ж деньги в дело вкладывает?! Я ж не за сталинскую диктатуру, он, дурак, жидов стал обижать, Запад против себя восстановил, они памятливые, Гитлера не забыли; я за то, чтоб Пиночет пришел, неужто у нас в армии ни одного сильного генерала не найдется?! Такую идею «штатники» примут! Вот что им надо вбивать! Вот на чем я себе имя сделаю! А Колчак — намек: даже ваш человек был ушлепан русскими. «Ты нам диктатуру подавай в полном объеме, что б мы притаилися, ты нам полумеры не суй, свалим, либо — либо!»

Сорокин вдруг услышал шум, подобный морскому прибою, он был шуршаще-галечным, глубинным, а после ему почудилось в этом мощном морском шуме свое имя, скандируемое невидимыми тысячами, «фаши», отряды штурмовиков, охранные батальоны партии фюрера, заградительные отряды Сталина, карабинеры Пиночета — вот она, единственная опора гарантий у нас, а вот я, кто смог сопрячь в себе прошлое с будущим, святую веру в вождя с умением охранять дело, вот я иду, я вернусь к вам, ждите, я вернусь оттуда, вы хотите меня, я дал вам желанный покой тихого равенства, я, я, я, я, я, я...

...Он поднялся с тахты, набрал номер своего помощника, имени и фамилии которого не знал никто, к его услугам прибегал редко, в самых крайних случаях, и сказал, чуть покашливая (обговоренный заранее сигнал срочности):

— Михалыч, помнишь, я тебе фото Славы показывал? Именно... Так вот Манюню его надо бы положить на обследование... Он ведь с ней тридцать лет прожил, душа в душу... Спаси бог, что с ней случится — с ума свернет, а кому псих нужен? Или сопьется, какая для всех нас утрата, а? Никто его не заменит, бедненького...

— Когда? — спросил Михалыч.

— Сегодня. Чего медлить-то? В таких делах промедление смерти подобно... Сегодня и клади...

21

Пшенкин приник к глазку: молодой мужчина в поношенном синем костюме стоял возле двери и медленными кругами массировал левую часть груди.

— Вы кто? — спросил Пшенкин.

— Из Литфонда, по поводу расширения жилплощади...

— А я не писал заявления...

— Я всех московских писателей обхожу, товарищ Пшенкин... В общем-то, как знаете, конечно...

Пшенкин отворил дверь, впустил человека и, подтолкнув ногой разношенные тапочки, пробурчал:

— Осматривайте.

— Спасибо... Только вам бы стоило поинтересоваться моим удостоверением. В городе, знаете ли, неспокойно, грабители шастают...

Пшенкин шарахнулся от него:

— Вы что такое говорите?!

— Правду, — ответил человек и, протянув Пшенкину муровское удостоверение, представился: — Полковник Костенко из розыска.

— А в чем дело? — Пшенкин обмер.

Не ответив ему, полковник достал «воки-токи» и глухо пророкотал:

— «Второй», я у «Травкина», занимайте все точки, «мальчики» уже подъехали...

Пшенкин кинулся в комнату и сорвал трубку телефона.

— На Петровку звонить не надо, — полковник положил ладонь на рычаг телефона, — я только что оттуда. Сядьте, я же вам показал удостоверение... Я пришел, чтобы спасти вас...

— От к-к-к-кого?

— Вы догадываетесь, Борис Михайлович...

— Эмиль?

— Да.

— Я чу-в-в-ствовал...

— Вы же не заикались раньше...

— Со страху...

— Не бойтесь... Те, кого он прислал, чтобы вас убрать, под нашим контролем... Пожалуйста, соберите все

черновики, заготовки, странички, которые у вас остались от работы над его рукописью...

— Да ведь у меня почти ничего нет, он все забрал.. сейчас, одну минуточку... Я давно его п-понял, товарищ.. Как вас, кстати? Память отшибло...

— Полковник Костенко... Начальник отдела по борьбе с особо опасными преступлениями... Давайте, Борис Михайлович, скоренько, я помогу вам... К двери, если позвонят, не подходите, я сам открою.

Конечно, конечно, товарищ Костенко... Я понимаю, спасибо вам... Как г-г-говорится, желтые лица, револьвер... Ах, это наоборот, красные лица, револьвер желт, моя, так сказать, милиция...

— Время, Борис Михайлович. — Начальник отдела по борьбе с особо опасными преступлениями положил руку на плечо Пшенкина. — Время дорого, давайте собирать документы...

— Сейчас... Одну минуточку, вы меня здорово н-н-напугали... Сигаретки нет?

- Я не курю. И вам не советую.

Пшенкин открыл створки книжного шкафа, достал две папки:

Здесь варианты... Разрозненные эпизоды... Нашел д-дурака... Думал, я не пойму, что это про нашу любимую родину... Тоже мне, маскировщик, считает, будто вокруг одни дураки живут...

— А что в других папках?

— Там мое, товарищ Костенко.

— Можно посмотреть?

— Пожалуйста.

Пролистав странички, полковник отложил папку:

— Каких-то отдельных листочков не осталось?

— Сейчас посмотрим. — Пшенкин торопливо копался в пачке исписанных страниц. — Нет, точно, не осталось.. Все, что было, здесь... Я ж чувствовал недоброе, сердцем ощущал... Ведь что он норовил сделать-то?! Он норовил под гестапо наши славные органы подсунуть! Я, конечно, не сразу это постиг, в процессе творчества, но все же — постиг его коварный замысел!

— Борис Михайлович, время... Черканите, пожалуйста, следующее: «Мною передан текст рукописи полковнику Костенко Владиславу Романовичу»... Дата... Подпись... А я вам оставлю расписку...

— А зачем писать-то? Я ж вам все передал? Передал. Не надо лишнюю писанину разводить, не надо..

— Иначе я не смогу приобщить материал к делу... Поймите меня правильно... Кроме благодарности мы ничего к вам не испытываем, Борис Михайлович... Вы поступили как настоящий патриот...

— Я не хочу быть свидетелем... Я вообще ни к чему не хочу касаться... Пойдут разговоры, всякие там вызовы, я систему не хуже вас знаю...

— Давайте я напишу свой текст, Борис Михайлович... Если вас что-то не устроит, скажите, я переделаю... Смотрите: «Я, полковник Костенко Владислав Романович, приношу благодарность члену Союза советских писателей товарищу Пшенкину Борису Михайловичу за то, что он сохранил уликовые материалы. Настоящим подтверждаю, что товарищ Пшенкин Борис Михайлович не может считаться свидетелем по этому делу, ибо он занимался прямой литературной деятельностью...» Устраивает?

— Ну если в таком, как говорится, смысле, тогда устраивает...

— Пишите свой текст...

— Значит, я думаю, так можно будет сформулировать, — Пшенкин достал ручку. — «Передаю полковнику Костенко Владиславу Романовичу тексты, полученные мной из литературной консультации для оказания помощи ветерану войны, их автору...» Устроит?

— Вполне... Только дату поставьте...

— Как раз дату я ставить-то и не хочу.

— Почему?

— А так... Спокойнее... Вы уж не взыщите... Небось знаете, как запуганы люди... Страх в крови...

— Пугать себя не разрешайте — вот и не будет страха... Давайте без даты...

Пшенкин поставил ветвистую роспись, подвинул лист полковнику; тот кивнул:

— Спасибо... Позвольте мне еще раз посмотреть ваши заготовки, нас интересует любая страничка из манускрипта...

— Пожалуйста... Жаль, что сигаретки у вас нет, перенервничал...

Полковник опустился на колени, открыл створки шкафа, вытащил все папки, пролистал их стремительно, но в то же время высокопрофессионально, убедился, что Пшенкин был прав, архив невелик, снова глянул на часы и пошел к двери, словно бы почувствовав, что именно сейчас постучат.

Так и случилось.

Он прильнул к глазку; боевики работали точно секунда в секунду, молодцы; Пшенкин сейчас исчезнет один из самых последних свидетелей, в общем-то, ключевой — прикасался к работе Большого Босса; записочка на имя товарища Костенко останется на столе, красивая комбинация, ай да молодец Большой Босс..

И полковник открыл дверь, но в ту же секунду из противоположной квартиры вывалило четверо парней, сшибли боевиков, бросились на него и, повалив, заломали руки под наручники, повторяя негромко:

— Тихо, Никодимов, только тихо, кричать не надо, никто не поможет...

...Когда Никодимова и боевиков затащили на кухню к обмершему Пшенкину — вся операция продолжалась менее минуты, — в квартиру вошел Костенко.

— Здравствуйте, — сказал он литератору. — Костенко — это я... Человека, который должен был вас убить, зовут иначе, он никакой не полковник, бандюга по фамилии Никодимов... Разговор его с вами мы слышали, он записан на пленку, какая-никакая, все же техника у нас есть... Сейчас сюда придут эксперты, рукопись и записочку изымут, вам действительно ничего не грозит, это Никодимов правду говорил, он Уголовный кодекс знает, готовился загодя. Я уезжаю, поэтому хочу поинтересоваться лишь одним...

— Я п-п-при нем отвечать не стану, — Пшенкин кивнул на Никодимова, лежавшего на полу лицом вниз, руки за спиной в наручниках, неподвижен.

— Почему? Он теперь на пятнадцать лет — в лучшем для него случае — загремит, так что не бойтесь, он более не опасен...

Пшенкин покачал головой:

— Не буду...

— В комнату можно вас пригласить?

— Удостоверение предъявите...

Костенко достал свою пенсионную книжку; Пшенкин долго елозил вытаращенными глазами по строчкам, потом покачал головой:

— Так вы ж отставник...

Костенко обернулся к одному из строиловских сыщиков:

— Покажи-ка ему свое удостоверение, сынок..

Только после этого Пшенкин вышел из кухни; Костенко присел на подоконник и, закурив искрошившуюся сигарету, жадно затянулся:

— Послушайте, ваш знакомец Эмиль Валерьевич наладился в бега... И это для вас опасно... Он узнает, что Никодимов взят и поэтому вы остались живы... Если хотите, чтобы мы помогли вам не погибнуть — а это вполне реально, — постарайтесь вспомнить: как, при каких обстоятельствах и через кого вы познакомились с «ветераном войны и героем-разведчиком»?

А при чем здесь «ушел в бега» и как я с ним познакомился?

— При том, что нам его надо найти... Только вы знаете, что́ было в его подлинных записях и что́ он просил вас из них сделать. Вы можете, таким образом, претендовать на соавторство, а он заключил контракт на сто тысяч долларов... Ясно? Поэтому вы ему опасны... А нам, чтобы его взять — за другие дела, кстати, — нужно знать его знакомых, те места, где он бывал, машины, на которых ездил, любимые выражения, манеру есть и пить...

— Кто-то из наших литераторов нас познакомил... Кто — убейте, не припоминаю...

— Где?

— На Герцена, в кафе, что напротив ТАССа...

— Когда?

— Два года назад... Что-то около этого...

— Вы там с ним часто виделись?

— Раза три... Он больше любил дома встречаться...

— Здесь? Или у него?

— Здесь.

— У него бывали?

— Один раз.

— Когда?

— В день знакомства...

Адрес?

Где-то в переулочке... Дом старинный, красивый...

Адрес? — повторил Костенко.

— Не помню... В центре...

— Он вас к себе привез, оттого что пьяным напились?

Несколько...

— Когда отправил домой? Утром?

— Нет, той же ночью... Он мне всего пару часов дал отдохнуть... Потом договор заключили, он меня сразу в машину и посадил... А те, кто был в машине, меня куда-то в Мытищи отвезли, до утра поили, я и рухнул..

— Что за договор подписали?

— О сотрудничестве... Я уж и не помню...

— Если повозить вас по Москве, вспомните дом, где были?

— Не знаю...

— Какая у него квартира?

— Большая... Комнаты три, не меньше...

Или врет, подумал Костенко, или Сорокин возил его на явку... У него один большой зал, никаких там трех комнат нет...

— Из окон-то что было видно?

Пшенкин задумчиво переспросил:

— Из окон? Что-то было видно... Погодите, вроде бы Белорусский вокзал...

Костенко сразу же вспомнил Нинель Дмитриевну, двоюродную сестру Сорокина, спрыгнул с подоконника, рассеянно похлопал себя по карманам:

— Слушайте-ка, у вас сигаретки случаем нет? Тьфу, забыл, — он усмехнулся, — тот К о с т е н к о вам курить не рекомендовал... Едем со мной, будем искать дом возле Белорусского, это вам нужно больше, чем мне, едем!

...Точно, Сорокин будет уходить по железной дороге, понял Костенко; он нас запутал своим авиабилетом; ну, гадина, неужели свалил, а?!

Попросил ребят связаться с Комитетом, пусть подключают пограничные станции; бросился к машине; Пшенкин семенил за ним, неестественно часто крутя шеей, словно бы ему жал воротник рубашки...

...Костенко сидел закаменев, не спуская глаз с Пшенкина; тот обалдело таращился на дома вокруг Белорусского вокзала, то и дело отвлекаясь — прислушивался к телефонным разговорам, что полковник вел из машины; он чувствовал, как ему передается нервозность этого седого человека, хотя внешне тот был совершенно спокоен; вспомнить ничего не мог, все здания казались ему одинаковыми.

Костенко помог ему:

— Вы как туда добирались?

— На машине...

— Очень были пьяны?

— Сейчас это не наказывается...

— Чем он вас угощал?

— Коньяком.

— Сам пил?

- Очень мало... «Мадеру»...

— Закусывали?

— Да... Он мне шашлык взял, а сам икру ел... Сначала стюдень спросил, а как ответили, что нет, так порций пять икры заказал...

— Вам-то икорки предложил?

— Я ее не ем...

— Почему?

— Из-за сострадания к народу...

— А шашлык — можно? Без сострадания?

— Погодите, — Пшенкин прилип к окну, — а вот не этот ли?

— Остановиться?

— Да... Ей-богу, этот! И подъезд вроде бы тот, четвертый этаж, я ступени считал, лифта нет...

Костенко сразу же посмотрел на дом, что стоял напротив; отселили под ремонт, много пустых квартир, окна открыты; осведомился по рации, где ЖЭК, и попросил шофера гнать туда — с сиреной.

Начальника ЖЭКа на месте, конечно же, не было; главный инженер, как объяснила секретарша, отъехал на совещание, заместитель на участках.

— Кто может подъехать со мною к Белорусскому? — спросил секретаршу.

— А вы кто такой?

— Из МУРа.

— Обратитесь завтра, скоро работа кончается...

— Завтра? А если вас сегодня бандюга ограбит?

— У меня брать нечего.

Несчастная страна, в который уже раз подумал Костенко; никого ничего не волнует, ждут манны небесной... А что они могут в этом затхлом ЖЭКе, возразил себе Костенко. Если бы им позволили д е й с т в о в а т ь, подвалы осваивать, чердаки и первые этажи... Так нет же! Они ничего не могут без приказа сверху, разрешения десяти инстанций... На Западе то, что у нас называют ЖЭКом, — богатейшее учреждение, с компьютерами, своим баром, прекрасной мебелью, люди отвечают за жилье, что может быть престижнее! А у нас? Все просрем, если даже сейчас, когда хоть что-то можно, все равно никому ничего нельзя...

— Послушайте, барышня, — настроившись на лениво-равнодушный темпоритм секретарши, продолжал Костенко, — вы...

Я вам не «барышня»! В общественном месте небось находитесь!

— Как прикажете к вам обращаться?

— Как все нормальные! «Женщина»! С Луны свалились, что ль?! Все нормальные люди обращаются — «женщина», вы что — исключение?!

Костенко тяжело обсматривал ее, чувствуя, как изнутри поднимается отчаянная ярость, но потом заметил ее разношенные туфли, заштопанную юбку, подпоясанную драным пуховым платком, спортивную кофту, уродовавшую и без того ужасную фигуру, и сердце его защемило тоскливой, пронизывающей болью...

Похлопав себя по карманам, он нашел грязную таблетку валидола, бросил ее под язык и тихо вышел из затхлого полуподвала...

...В отделении милиции взял двух сотрудников; и оперативник угрозыска и обэхаэсовец были, слава богу, в штатском; по дороге объяснил суть дела; вороток нашелся у шофера, бинокль лежал в чемоданчике Строилова, у него там и фотоаппарат был, и блокнот, и маленький диктофончик; несчастный парень, как он там?

— Борис Михайлович, а кто в той квартире еще был? — спросил Пшенкина.

— Не помню... Вроде бы никого... Духами пахло...

— Мужскими?

— А разве такие есть?

— Есть... Картины, фотографии были на стенах?

— Были... Много...

— Какие-нибудь запомнились?

— Вроде бы... Погодите... Картины были старинные, не русские, с купидончиками... А фото... Там много танцоров... И танцовщиц... Длинноногие все, срамно одеты, не по-нашему...

Костенко обернулся к оперативнику угрозыска:

— Какие тут балерины живут?

— Сейчас запросим, — ответил тот, — если дадите трубочку... Вроде бы тут несколько артистов жили, мы присматривали, были сигналы, что на них наводки клеили, но потом вроде как отрезало, мы еще дивились — в чем дело?

— Не живет ли здесь некая Ирина Васильевна, в девичестве Лазуркина? Была солисткой балета в ансамбле метрополитена?

Опер усмехнулся:

— Иностранка? Когда не на даче — живет, я ее знаю...

...Они высадили Пшенкина возле метро, вскрыли черное парадное, оперативник остался на стреме — наверняка какой энтузиаст прибежит или, того хуже, постовой, начнут скандал, б у м а г у потребуют, у нас миром говорить не умеют, как что — в истерику, гражданская война, а не разговор; поднялись на пыльный чердак; Костенко вжался в окуляры бинокля, рассматривая квартиры, начиная с цоколя, — литератор от страха прибабашен, четвертый этаж ему мог померещиться.

Окна цоколя были закрыты шторами; на втором с обшарпанного потолка свисала засиженная мухами лампочка; было что-то безнадежное в этих старинных проводах, витых, как косы, — такие девушки плели, пока новый фасон не о к о р о т и л мир; теперь только певцы с косами ходят; борьба полов — что там классовая! Мебель в комнатах была старая, разностильная, стол без скатерти, пожжен утюгом, не портниха ли живет? Нищета, трущобы! В соседней квартире комнаты были заставлены мягкими креслами, маленькая женщина в длинном халате, отороченном мехом, сидела против огромного экрана диковинного телевизора; на одной лестничной клетке две судьбы; р а з б и т о е общество! На третьем этаже в правой от пролета квартире шел ремонт; трое маляров устроились на перевернутых ведрах, дымили цигарками и выпивали по маленькой; на полу, застеленном газетами, стояла бутылка, лежал батон хлеба, три огурца и несколько плавленых сырков; женщина в робе смывала старые обои; мы стали обществом, где работают только женщины, подумал Костенко, пока еще работают; скоро, видно, и они отучатся; «Красный молот, красный серп — это наш любимый герб, хочешь жни, а хочешь куй, все одно получишь х...»; сколь за этот стишок давали сорокины? Кажется, восемь лет каторги; что ж, за правду надо платить...

На четвертом этаже только в двух окнах горел свет; была видна б о г а т а я люстра, краешек рояля и стол. Во второй комнате просматривался угол тахты; на ней — ноги мужчины; на туфлях золотая пряжечка; такие же замшевые туфли были на Хренкове в тот день, когда он подошел к Костенко у библиотеки.

На паркете стояла бутылка боржоми и гофрированная тарелочка со студнем из кулинарии; ай да Либачев-

младший, что за память, а?! Мой пациент обожал студень, ай да лапочка...

— Смотрите за ним, — Костенко передал бинокль обэхаэсовцу и достал из кармана фотографию Сорокина. — На тахте лежит этот человек. Я сейчас вернусь...

Он не сразу поднялся; достав сигарету, сунул ее в рот, но не стал прикуривать; огонек зажигалки вечером подобен далекому выстрелу: слышать — не слышно, но опытный глаз сразу же с н и м е т слежку.

Я потребую от него свидетелей, которые бы доказали, что он был с ними в день убийства Мишани и Людки, думал Костенко, чувствуя, как все чаще молотит сердце; наверняка у него уже есть такие свидетели, ответы заранее срепетированы, мастер писать с ц е н а р и и, школа... И я отвалю, потому что не будет улик... А палец Варенова на Людкином пояске? Отмажется: «Я с ней спал, раздевал ее, поясок снимал, в ночь убийства гулял с ней в ресторане, отвез домой, больше не видел, не клейте мокруху, я не по этому делу». Что дальше? Убийство Строилова? Еще неизвестно, что покажет вскрытие... Потом, Рыжий из кафе «Отдых» напрямую не был связан ни с Никодимовым, ни с Вареновым, там длинная цепочка... Нападение на Пшенкина? Как такового факта не было... Попытка? Доказывайте, мусора, разбивайся в лепешку, Костенко! Хорошо, а показания Дэйвида? Ну и что в них криминального? Сорокин писал книгу о Зое? Писал, не отрицаю, я ж был ее следователем, сейчас понял, что служил нелюдю, решил искупить свой грех, рассказать миру правду... Кто ее убил? Ищите... Я-то здесь при чем? Не надо применять недозволенные методы ведения следствия, осуждено историей... А У п р а в л е н и е? Группа э к с п е р т о в? А он спросит: «Где улики? Записанный разговор? Так он склеен из отдельных слов, л а ж а... Докажите! Факты на стол, письменные документы. Да и потом, запись разговора — не доказательство... И кино ваше — дерьмо, этому веры нет, у нас демократия». За ними стоят могучие люди из Системы, будут выгораживать, незримо давить, в л и я т ь, советовать, напоминать о спасительном для них тридцать седьмом годе, восстанавливать против следствия т о л п у: «Снова милиция начинает злодейство»... А мало ли у нас таких, которые бы мечтали вернуться к злодейству, спросил он себя, чтобы раскрывать дела и получать за это внеочередные звезды?! Только разреши — всё мигом пораскрывают, выбьют любые показания, лишь кости будут трещать!

«Нет ничего страшнее русского бунта, кровавого и бессмысленного...» А следствия? Сталинского следствия, которое стало привычным? «К бунту только те зовут, кому своя шейка — копейка, а чужая головушка — полушка...» А в следствии? Про Сорокина уже многие узнали... Кладем перед ним, если изымем, манускрипт о мафии...

А он лепит: «Речь идет об американцах, здесь же нет имен, инициалы... Докажите, что это Россия...» Хорошо, а разные паспорта? И Витман, и Айзенберг, и Хренков. А где же Сорокин? А он: «Взял фамилию жены, разве это преступление!» Нет, это не преступление, отнюдь. Но отчего Хренков и Витман? А у него заготовлено: «Мы — страна, не умеющая прощать. Со статьей, по которой взяли Сорокина, ему бы не жить в Москве, изгой... Построим правовое государство — вернусь к самому себе, Сорокину...» Конечно, года два за нарушение паспортного режима можно потянуть, но теперь паспорта налаживаются отменять, выскочит...

Если его отпустят за недостаточностью улик — а их действительно мало, — каково будет строиловским ребятам? Они же до конца изверятся в том, что в этой стране есть справедливость... Несправедливый закон — что может быть страшнее?! Значит, возразил он себе, ты волен присвоить себе функцию справедливого законодателя? Ты не вправе делать это, Костенко. Дорога в ад вымощена благими намерениями...

Он заставил себя увидеть лицо генерала Строилова — бескровное, когда его свалили на пол. Ты и это можешь простить Сорокину, спросил он себя. Если ты можешь и это простить, тогда садись к себе на кухню и не высовывай рожу на улицу, чтобы не встречаться с людскими взглядами... Верно написано: не бойтесь врагов, они могут только убить вас, не бойтесь друзей, они могут только предать; бойтесь равнодушных, с их молчаливого согласия совершается и предательство и убийство...

Костенко спустился во двор, кивнул оперативнку, мол, шухари, и вышел на привокзальную площадь.

Двушек в кармане не было: протянул киоскеру «Союзпечати» двадцатикопеечную монету:

— Будьте любезны, разменяйте.

— Я вам не разменный пункт!

— Очень прошу, товарищ...

— Сказал — нет! По-русски не понимаешь?!

Костенко оглянулся; бабулька в платочке торговала цветами, осталось три букетика всего.

— Матушка, двадцать копеек не разменяете?

— Какая я те «матушка»?! Сам дед!

— Не сподобился пока... Вы мне за двадцать копеек хоть пару двушек дайте...

— С этого б и начинал. — Старуха взяла у него монету и протянула двушки. — Всяк человек за каждое движение свой резон должен получить...

Костенко подошел к автомату, снял трубку, долго держал ее в руке, а потом медленно опустил монету; снова полез за сигаретами; сунул крошево в рот, повертел в спекшихся губах, потом чиркнул спичкой, прикурил, затянулся пару раз так глубоко, что, казалось, проглотил дым, и лишь после этого набрал номер.

Ответил сухой мужской голос.

— Товарища Шинкина, пожалуйста, — сказал Костенко, покашливая.

— Кто просит?

— Я только что из Краснодара... Он ждет моего звонка...

Шинкин взял вторую трубку:

— Слушаю...

Осип Михайлович?

— Да. Кто это?

— Вы знаете, что Сорокин сегодня уезжает в Берлин?

— Какой Сорокин?

— Возьмите ручку и запишите его адрес... Готовы?

– Я ничего не понимаю...

— Диктую. — Костенко дважды назвал адрес Иностранки и дал телефон квартиры, установленный оперативником еще из машины. — Успели? Вы обнаружите у Сорокина две пленки — это копия его рукописи: «Управление. Связи. Люди. Методы». Если в течение часа его не возьмут ваши люди, я не отвечаю за последствия... В квартире есть черный ход. До свидания...

...Вернувшись на чердак, Костенко спросил спутника:

— Не двигался?

— Поднялся, взял сигареты и снова лег...

— Он? — Костенко кивнул на фотографию Сорокина.

— Похож, но только он не седой, а черный, и с усиками...

— Значит, он... Ладно... Теперь отваливайте на площадь, там меня ждите... Если какой шухер начнется — услышите... Сразу сюда — и в дело... Оружие с собой?

Откуда? Нет, конечно... Нам же так просто не дают...

– Жарьте в отделение и берите... Одна нога здесь, другая там..

Как только Сорокина — без галстука, встрепанного по-клоунски, пепельно-бледного (это было заметно даже при тусклом свете уличного фонаря) — трое верзил с у н у л и в машину, Костенко кубарем свалился по лестнице, задыхаясь бросился на площадь, прыгнул в машину и прохрипел:

— К трем вокзалам, по осевой, с фарами!

Выскочив из машины у Ярославского, повторил:

– Через два часа езжайте к Строилову, понятно? Не раньше! Если Строилов не откроет, орите в дверь, что я в Кратове, п а с у!

...В Кратове шел мелкий осенний дождик; пахло сосной; ветер — незримой ладонью — ласково гладил кроны громадных деревьев, и они, словно волосы податливо-ласковой женщины, ш у р ш а щ е качались из стороны в сторону.

Костенко шел к даче Шинкина неспешно, то и дело сплевывая под ноги; во рту пересохло, язык был медный, и рот все время наполнялся пузырчатой, горькой слюной, противно.

Во многих дачах еще горел свет; жалостливо, как ушедшая молодость, светились низкие абажуры, сейчас такие не делают; луна была зыбкой из-за того, что на нее то и дело нагоняло тучи, которые становились серебристыми, чтобы снова стать непроглядно-черными, когда их сносило в засыпающее небо.

Машина, на которой вывезли Сорокина, стояла возле ворот; потом — одна за другой — подъехали еще три; прохаживались высокие люди в кожанках; давайте, ребята, кончайте ваш р а з б о р с палачом, времени у вас в обрез, смотрите не опоздайте, я дал вам сто двадцать минут, но и за это должны сказать мне спасибо...

Костенко опустился на землю, откинулся на столб и закрыл глаза; в висках молотило, то и дело накатывали приступы горькой тошноты; он сидел напрягшись, уцепив пальцами мокрую траву, и мучительно ждал, когда же на даче Шинкина прозвучит выстрел.

НЕНАПИСАННЫЕ
РОМАНЫ

Вместо предисловия

Хочу предложить вниманию читателей короткие сюжеты из «Ненаписанных романов», которые уже никогда не станут романами: не успею, увы.

В новеллах нет вымысла: они построены на встречах с живыми свидетелями и участниками описываемых событий.

Литератор не прокурор. Он имеет право на свою версию истории, хотя высшее право беспристрастного судьи присуще именно Истории. Стремление к однозначным оценкам скрывает неуверенность в себе или страх перед *мыслью.* Лишь те выводы, к которым человек приходит самостоятельно, единственно и формируют его нравственную позицию.

Главное, что меня занимало, когда я работал над этой вещью, — это проблема неограниченной власти в годы, именуемые сейчас периодом культа личности.

Механика такого рода власти, ее непреклонная и неконтролируемая воля, низводящая гражданина великой страны до уровня «винтика», — вот что трагично и тревожно, вот что следует в первую очередь анализировать — без гнева и пристрастия.

Понимание такого рода феномена должно помочь наработать в каждом из нас гражданское противодействие даже легчайшим рецидивам возможности возрождения чего-либо подобного в той или иной форме.

1

Сталин читал работы Сергея Булгакова еще до того, как тот был выслан в Париж и стал протоиереем; строй рассуждений философа казался ему любопытным, в нем не было ничего от убеждающе-стремительной легкости

Бердяева, которая болезненно его раздражала, потому что в ней он чувствовал нечто похожее на стиль Троцкого — такая же парадоксальность, раскованность, блеск; естественно, это привлекает к нему широкого читателя, жаль.

Булгаков был ближе к надежной теологической доказательности; очень русский, оттого постоянно искал исток духовности и правды; именно у него Сталин как-то прочитал длинную цитату из Библии без сноски на страницу; это помогло ему на диспуте с лидером меньшевиков Ноем Жордания: когда стало очевидно, что легендарный «Костров» берет над ним верх, Сталин процитировал пассаж, абсолютно подтверждавший его правоту, сказав слушателям, что он оперировал выдержкой из Маркса, — это и решило исход дела; изумленный Авель Енукидзе спросил: «Из какой работы ты это взял, Коба?» Сталин усмехнулся: «Пусть ищут! Откуда я знаю? Главное сделано, люди пошли за нами».

Поэтому, узнав, что Политпросвет не разрешает МХАТу показ пьесы Михаила Булгакова, — как говорят, родственника столь уважаемого им православного философа, — Сталин попросил Мехлиса позвонить Луначарскому и предупредить наркома, чтобы без его, Сталина, посещения театра окончательного решения по пьесе не принимать: «Хочу посмотреть сам».

...Он тяжко страдал от того, что в свое время высказался против привлечения Троцким военспецов в Красную Армию: «Опасно давать командирские звания бывшим офицерам-золотопогонникам; сколько волка ни корми — в лес смотрит!» Он полагал, что его поддержат Дзержинский, первый красный главком Крыленко, Антонов-Овсеенко с Раскольниковым, Невским, Дыбенко и Подвойским: не могут же первые народные комиссары Армии и Флота так легко уступить свое место «команде» Троцкого, все же каждым движет не только понятие чести, но и память, неужели так легко отдадут то, что по праву принадлежит им?

Однако и Подвойский, и Крыленко с Раскольниковым, и Дыбенко с Антоновым-Овсеенко согласились с доводами Троцкого; наверняка запомнили его, Сталина, возражение, именно поэтому, вероятно, главком Вацетис и его штаб так настороженно относились к нему во время сражения против Колчака.

...Время кидать камни и время собирать камни, воистину так. Сейчас, когда Троцкий, Каменев и Зиновьев

потеряли свои позиции в ЦК, именно он, Сталин, должен приблизить к себе буржуазных спецов в сфере культуры; Горький позволил себе стать эмигрантом; таким образом, его детище, ЦЕКУБУ*, вполне может послужить его, Сталина, целям: буржуазные деятели культуры — при том, что маскируются, — таят в себе заряд русской государственной идеи, а это надежный заслон против «мировой революции» Троцкого и иже с ним; русский народ не сможет не оценить этого — в будущем, понятно; торопиться негоже, выдержка и еще раз выдержка, только она являет собою вернейшую константу окончательной победы... Он мучительно, до щемящей боли в сердце, сознавал, что ему ничего не остается, кроме как ждать: он не мог, не имел права выйти на общесоюзную трибуну до тех пор, пока рядом Бухарин — с его эрудицией, раскрепощенностью, с блестящим русским языком; пока приходится терпеть Луначарского, пока в народе свежа память о зажигательных речах бывшего Предреввоенсовета Троцкого — никакого акцента, фейерверк мыслей, какое-то странно-вольготное отношение к чувству собственного достоинства на трибуне...

...И ведь снова он, именно он, Троцкий, — в пику мнению большинства ЦК — выступил с эссе о «талантливом русском поэте Сергее Есенине»; снова оказался впереди, хотя потерял и Армию, и Политбюро. Однако популярность — с ним; ведь именно он заступился за русского поэта; ничего, когда перестанем печатать Есенина, то и статью Троцкого забудут... Пусть порезвится; сжать зубы и ждать, уж недолго осталось...

С его, Сталина, акцентом, с его директивностью стиля и чувством гордой ответственности за каждое произнесенное слово (Мехлис — надежный редактор, недаром его так не любят; ясное дело, зависть: не у них, а у него, Сталина, такой помощник), сейчас надо готовить поле боя, но не выходить на него, рано, народ не созрел еще, он должен устать от дискуссий и свободы, он должен возжаждать единого вождя — кто знает русских, как не он, Сталин?!

Итак, Сталин приехал на *закрытый* спектакль во МХАТ; в ложе рядом с ним сидели Станиславский, Немирович-Данченко, начальник ПУРККА Бубнов; наркома Луначарского, Крупскую, Ульянову не пригласили,

---

* Центральная комиссия улучшения быта ученых. — *Здесь и далее прим. авт*

Мехлис вызвал завагитпромом Стецкого, замзавотделом Кагановича и Николая Ежова.

Сталин оглядел зал: множество знакомых лиц; ясно, собрали *аппарат*.

После первого акта, когда медленно дали свет, зрители обернулись на ложу, стараясь угадать реакцию Сталина; он, понимая, чего ждут все эти люди, нахмурился, чтобы сдержать горделивую — до холодка в сердце — улыбку; медленно поднялся, вышел в *квартирку*, оборудованную впритык к правительственной ложе; заметив ищущий, несколько растерянный взгляд Станиславского, устало присел к столу, попросил стакан чаю; на смешливый вопрос Немировича-Данченко — «Ну как, товарищ Сталин? Нравится?» — и вовсе не ответил, чуть пожав плечами.

И после второго акта он видел взгляды зала, обращенные к нему: аплодировать или свистеть? Он так же молча поднялся и ушел, не позволив никому понять себя, — много чести, учитесь выдержке. С острой неприязнью мазанул быстрым взглядом лицо Сольца, члена ЦКК; ишь, «совесть партии»; а как Старик склонен к политическим спектаклям?! Дело в том, что Мехлис доложил ему: Сольц, ехавший в ЦК, как всегда, на трамвае, зачитался книгой и не заметил свою остановку. Легко вскочив с места, бросился к выходу; здоровенный верзила с мутным, похмельным взглядом закрывал проход.

— Товарищ, разрешите, пожалуйста, — обратился к нему Сольц.

Тот осклабился:

— Куда торопишься, юркий?! Больно шустрый!

Солц не понял потаенный смысл сказанного, повторил просьбу. Верзила зло осклабился:

— Подождешь, жиденыш!

Стоявший неподалеку милиционер усмехнулся:

— Да пусти ты старика пархатого.

— Как же вам не стыдно?! — тихо сказал Сольц, обернувшись к милиционеру. — Что можно пьянице, то непозволительно вам, представителю Советской власти!

Милиционер лениво посмотрел на пассажиров:

— Все слыхали, товарищи? Слыхали, как при вас оскорбили красного милиционера?! — И, не дождавшись ответа, взял Сольца за руку и подтолкнул его к выходу...

В отделении дежурный выслушал милиционера, потом обернулся к Сольцу и попросил дать показания; Сольц рассказал все, как было. Дежурный пожал плечами:

— Конечно, про жида нехорошо, но мы не позволим оскорблять красного милиционера!

Сольц потребовал встречи с начальником отделения; тот слушать его не стал, махнул рукой:

— Нечего оскорблять наших людей, они же вас и защищают, в камеру его!

— Я хочу позвонить Дзержинскому, — сказал Сольц, — немедленно!

Все трое рассмеялись:

— Только что и дел до вас Феликсу Эдмундовичу!

И только после этого Сольц достал трясущимися руками свое удостоверение; имя этого политкаторжанина, героя революции, ленинца было известно всем. Он позвонил Дзержинскому. Через двадцать минут Феликс Эдмундович был на Солянке, в милиции; дверь и окна приказал заколотить досками; через час в ОГПУ был отдан приказ, вычеркивавший это отделение из списка московских: нет такого номера и впредь не будет, рецидив охранки, а не Рабоче-Крестьянская милиция...

...В сороковых годах отделение восстановили: Сталин никогда ничего никому не прощал, оттого что все *помнил*...

...После окончания спектакля Сталин так же медленно поднялся, подошел к барьеру ложи и обвел взглядом зал, в котором было так тихо, что пролети муха — гудом покажется...

Он видел на лицах зрителей растерянность, ожидание, восторг, гнев — каждый человек — человек: кому нравится спектакль, кто в ярости; нет ничего опаснее затаенности; церковь не зря обращалась к пастве, но не к личности — слаба Духом, падка на Слово...

Сталин выдержал паузу, несколько раз похлопал сухими маленькими ладонями; в зале немедленно вспыхнули аплодисменты; он опустил руки; аплодисменты враз смолкли; тогда, не скрывая усмешки, зааплодировал снова; началась овация, дали занавес, на поклон вышли плачущие от счастья актеры.

Сталин обернулся к Станиславскому и, продолжая медленно подносить правую ладонь к мало подвижной левой, сказал:

— Большое спасибо за спектакль, Константин Сергеевич...

В правительственном кабинете при ложе был накрыт стол — много фруктов, сухое вино, конфеты, привезенные начальником кремлевской охраны Паукером; напряженность сняло как рукой; Немирович-Данченко оглаживал бороду, повторяя: «Я мгновенно понял, что Иосиф Виссарионович в восторге! Я это почувствовал сразу! Как всякий великий политик, — нажал он, — товарищ Сталин не может не обладать даром выдающегося актера».

Сталину явно не понравилось это замечание, он отвернулся к Станиславскому и, принимая из рук Паукера бокал с вином, чуть кашлянул, поднялся; сразу же воцарилась тишина.

— Скажите, Константин Сергеевич, сколь часто наши неучи из Политпросвета мешают вам, выдающимся русским художникам?

Не ожидая такого вопроса, Станиславский словно бы споткнулся:

— Простите, не понял...

Сталин неторопливо пояснил:

— Вам же приходится сдавать спектакли политическим недорослям, далеким от искусства... Вас контролируют невежды из охранительных ведомств, которые только и умеют, что тащить и не пущать... Вот меня и волнует: очень ли мешают вам творить эти проходимцы?

И тогда Станиславский, расслабившись, потянулся к Сталину, словно к брату, сцепил ломкие длинные пальцы на груди и прошептал:

— Иосиф Виссарионович, тише, здесь же кругом ГПУ!

...Когда Сталин, отсмеявшись ответу Станиславского, сделал маленький глоток из своего бокала и сел, рядом сразу же устроился Немирович-Данченко; мгновенно просчитав их отношения во время всего вечера, понимая, как Немирович тянется к нему, Сталин обернулся к Владимиру Ивановичу:

— А вот как вам кажется: опера Глинки «Жизнь за царя» имеет право на то, чтобы быть восстановленной на сцене Большого театра?

Немирович-Данченко растерянно прищурился, поправил «бабочку» и в задумчивости откинулся на спинку стула.

Сталин, улыбнувшись, придвинулся к нему еще ближе:

— Говорите правду, Владимир Иванович... Мне — можно, другим — рискованно.

— В конечном счете это опера не о царе, но о мужике Иване Сусанине. Это гордость русской классики, Иосиф Виссарионович. Восстановление этой оперы вызовет восторг артистической Москвы...

Сталин достал трубку, закуривать не стал, спросил задумчиво:

— И Мейерхольд будет в восторге?

— Конечно!

Сталин покачал головой:

— Хм... Любопытно... Впрочем, если Троцкий так поднимает на щит Есенина, почему бы Мейерхольду не повосторгаться Глинкой?

О Немировиче подумал: «Чистый человек, весь наружу, наивен, как ребенок».

...Спустя почти десять лет генсек предложил на Политбюро восстановить оперу Глинки, переименовав ее в «Ивана Сусанина».

...Мехлис позвонил Самуилу Самосуду — в ту пору ведущему дирижеру театра — и сказал, что эту оперу будет готовить Голованов, заметив:

— Кстати, вас правильно поймут, если вы порекомендуете заслуженную артистку Веру Давыдову на роль в этом спектакле...

Мехлис знал, что это будет приятно «хозяину», поэтому решение принял самостоятельно: «кто не рискует — тот не выигрывает...»

Спустя некоторое время Сталин, — зная все обо всех заслуживавших мало-мальского внимания, — позвонил домой больному, затравленному Булгакову: «Может, вам поехать в Париж? Отдохнете, подлечитесь, как бы здесь не доконали, а?»

Булгаков ответил, что русский писатель умирает дома, за любезное предложение поблагодарил, и только; странный человек; насильно мил не будешь.

Положив трубку, Сталин тем не менее усмехнулся: завтра об этом звонке будут знать в Москве; что и требовалось доказать.

2

...Я никогда не забуду руки Сталина — маленькие, стариковские уже, ласковые...

...Звонок «вертушки» раздался около одиннадцати; отец подошел к аппарату — точное подобие того, что стоял в ленинском кабинете, копия с фотографии Оцупа.

— Слушаю.

— Бухарина, пожалуйста.

— Его нет, — ответил отец, дежуривший в кабинете редактора «Известий».

— А где он?

— Видимо, зашел к Радеку.

— Спасибо.

Голос был знакомым, очень глухим, тихим.

Через две минуты снова позвонили:

— Что, Бухарин не вернулся? У Радека его нет...

— Наберите номер через десять минут, — ответил отец, — я поищу его в редакции.

Он, однако, знал, что Николай Иванович уехал к Нюсе Лариной, своей юной, красивой жене, матери маленького Юры: поздний ребенок — родился, когда Бухарину исполнилось сорок семь, копия отца, такой же лобастый, остроносенький, голубоглазый.

Отвечать по «вертушке», что редактора нет на месте, — невозможно: руководители партийных и правительственных ведомств могли разъезжаться по домам лишь после того, как товарищ Сталин отправится на дачу; обычно это бывает в два-три часа утра, когда на улицах нет людей, абсолютная гарантия безопасности во время переезда из Кремля за город.

Отец поэтому решил — от греха — уйти из кабинета, где стояла «вертушка». Тем более в типографии у дежурного редактора Макса Кривицкого возникли какие-то вопросы, есть отговорка: перед самим собой, не перед кем-то...

Вернулся он что-то около трех, лег на диван, положив под голову подушку-думку Николая Ивановича, — тот привез ее из Америки, спал на ней в тюрьме, куда его посадили в семнадцатом: не хотели пускать в Россию, знали, что этот человек может стать одной из пружин новой революции, страшились...

В три часа снова раздался звонок «вертушки». Голос был тот же, тихий, глухой:

— Алло, простите, что я вас так поздно тревожу, это Сталин говорит...

Отец, испытывая звенящую горделивую радость, сказал, что он счастлив слышать Иосифа Виссарионовича, какие указания, что следует сделать?

— Бухарина, видимо, в редакции уже нет? Пусть отдыхает... Тем более сегодня уже воскресенье... Ваша фамилия? Кто вы?

Отец ответил, что он помощник Бухарина, заместитель директора издательства «Известий».

— Вы в курсе той записки, которую Бухарин направил в Политбюро? — спросил Сталин.

— Мы готовили ее проект вместе с Василием Семеновичем Медведевым.

— А не Бухарин? — Сталин чуть усмехнулся.

— Николай Иванович попросил нас сделать лишь экономические расчеты, товарищ Сталин.

— Завтра в три часа приезжайте ко мне на дачу, вас встретят, передадите Бухарину и редколлегии мои соображения по поводу записки...

...Я отчетливо помню, как отец усадил меня в свой маленький «фордик» — подарок Серго Орджоникидзе за организацию выставки «Наши достижения к XVII партсъезду». Называли эту машину «для молодеженов с тещей», потому что впереди было два места для шофера и пассажира, а сзади откидывался багажничек, куда мог поместиться третий человек; вот журналисты и шутили: «Там будет сидеть теща с зонтиком, чтобы не промокли во время дождя», — «фордик»-то был открытый, без крыши...

...Через восемнадцать лет, в январе пятьдесят четвертого, когда приговор по делу отца, осужденного особым совещанием на десять лет тюремного заключения во Владимирском политическом изоляторе, был отменен и его вернули в Бутырку, меня вызвал полковник Мельников, ставший — во время переследствия — другом отца.

— Обыск проводили только в вашей квартире? — спросил он.

— Верно, — ответил я.

— А у бабушки, где в ту ночь почивал отец, обыска не было?

— Не было.

— Скажите, а какие-нибудь отцовские документы могли остаться у вашей бабушки?

— Какие именно?

Мельников помолчал, потом глянул на молчаливого соседа по кабинету, размял папиросу и, наконец, ответил:

— Ну вот, в частности, одним из пунктов обвинения вашего отца было то, что он получил в подарок от

Бухарина автомобиль... А ваш отец утверждает, что был премирован лично товарищем Орджоникидзе...

— А что, нельзя запросить архив Наркомтяжпрома?

— Наркомтяжпрома нет, и архива нет, — ответил Мельников. — Я пытался...

Я вспомнил пятидесятые, ночь двадцать девятого апреля, когда подполковник Кобцов руководил группой, приехавшей забирать отца, вспомнил, как на полу квартиры валялись книги, документы, записки, фотографии, вспомнил, как возле моей левой ноги лежала бумажка: приказ по Наркомтяжпрому о награждении отца автомобилем, подписанный Серго, вспомнил, как, страшась самого себя, я осторожно подвинул каблуком эту бумагу под тахту, а потом, когда обыск кончился, все документы и фотографии отца (с Серго, с генералом Берзариным в Берлине, с маршалом Говоровым, с Константином Симоновым, с Ворошиловым) увезли, а комнату опечатали, я ночью вскрыл форточку, влез в бывший кабинет и достал из-под тахты этот приказ Серго — все, что у меня отныне оставалось от *памяти*...

— А что, если я вам найду этот документ? — спросил я Мельникова. — Это во многом поможет делу?

— Во многом. Отпадет одно из самых серьезных обвинений: согласитесь, подарок от троцкистского диверсанта Бухарина не украшает советского человека...

...Итак, отец усадил меня в свою машиненку, и был он тогда одет в черную косоворотку с белыми пуговичками, в коричневый пиджак, и было ему тогда двадцать девять (одногодок моей старшей дочери Дунечки. Спаси Бог их поколение от повторения ужаса тех лет) и счастливо шепнул:

— Сынок, я еду к товарищу Сталину!

И каким же одухотворенным было его лицо, когда он шепнул мне это, сколько в нем было мальчишеского счастья и невыразимой гордости от того, что увидит «фельдмаршала революции», «вождя народов», «творца нашего счастья», «отца всех одержанных нами побед»...

...Оставив машину возле ворот сталинской дачи, назвал свое имя, несуразно ответив на то, как ему, вытянувшись, откозыряли люди из личной охраны Сталина, отец попросил их поглядеть за мною: «пусть мальчик поиграет рядышком, только б далеко не отходил, ладно?»

...Спустя восемнадцать лет, вернувшись из тюрьмы, он рассказал мне все, что произошло дальше, — в подробностях.

По песчаной дорожке к дому Сталина его сопровождали два человека в форме; Сталина отец увидел издали: тот окапывал молодое грушевое деревцо, делал он это неторопливо, вкрадчиво, но одновременно резко нажимая маленькой ногой на остро отточенную лопату, входившую на штык в жирную, унавоженную землю.

— Знаешь, — говорил мне потом отец, — в его фигуре, особенно когда он наваливался на лопату, чувствовалась литая сила; он наслаждался этой работой, и что-то неестественное было в его единении с жирной землей, тем более что рядом стояла легкая плетеная мебель: столик и три кресла; на столике лежал утренний номер «Известий», придавленный ножницами, коробкой «Герцеговины Флор», трубкой и спичками.

— Садитесь, — Сталин кивнул на кресло, словно бы спиною заметив, что отец подошел к нему.

Вогнав лопату в землю, он обернулся, достал платок, вытер маленькие руки, сел рядом и, неторопливо набив трубку папиросным табаком «Герцеговины», заговорил:

— Мы в Политбюро познакомились с запиской Бухарина... Он предлагает понизить стоимость газеты с пятнадцати копеек до десяти потому, что вырос тираж, газета стала популярной в народе... Передайте редколлегии, что это наивное предложение... Надо просить Пэ-бэ не понижать стоимость номера, а повышать его... До двадцати копеек... Так мы решили... Возможно, Бухарин согласится с нашим мнением... Я бы просил также передать редколлегии ряд моих соображений и по поводу верстки номера... Она пока что оставляет желать лучшего, слишком недисциплинированна, разностильна, точнее говоря... Вы правительственный официоз, поэтому, если первая полоса несколько суховата, надо взрывать ее изнутри — темой передовицы, например. Не стоит бояться острых тем, больше критики, нелицеприятной критики... Газета должна быть единым целым — это азы пропаганды и агитации. Поэтому, во-вторых, на следующей полосе должен быть фельетон, публицистика, развивающая основные тезисы передовицы. И не бойтесь, наконец, и на третьей полосе, где печатаются иностранные материалы, заверстать что-либо, связанное с основной темой номера... Ну а четвертая — в ваших руках, ищите в ней свою,

«известинскую» индивидуальность... Вот, собственно, и все...

— Спасибо, товарищ Сталин, я передам редколлегии все ваши пожелания.

Сталин заметил движения отца за мгновение перед тем, как он *решил* встать с кресла.

— Погодите, — сказал он, пыхнув трубкой. — У меня к вам ряд вопросов...

— Слушаю, товарищ Сталин...

— У вас дети есть?

— Да, товарищ Сталин, есть.

— Сколько?

— Сын — Юлька...

В это время к Сталину подошел высокий крутолобый человек, склонился к нему:

— Звонит Калинин... По поводу сегодняшнего мероприятия... Что сказать?

Сталин неторопливо пыхнул трубкой, положил ее на стол, поднялся и подошел к дому. Отсутствовал он минут пятнадцать; когда вернулся, лицо его чуть побледнело, улыбчивых морщинок вокруг глаз не было, жестче обозначился рот под седеющими усами.

— Трудно содержать ребенка? — спросил Сталин, словно бы все то время, что говорил с Калининым, помнил ответ отца.

— Нет, товарищ Сталин, нетрудно.

— Вы сколько получаете в месяц?

— Партмаксимум, «кремлевку»...

— А жена?

— Она библиотекарь... Зарабатывает сто десять, вполне обеспечены...

— Хорошо, а могли бы вы содержать двух детей на этот ваш максимум?

— Да, товарищ Сталин, смог бы!

Сталин усмешливо посмотрел на отца, но глаза были строгие, несмеющиеся, желтые:

— У грузин есть присказка: «один сын — не сын, два сына — полсына, три сына — сын»... Смогли бы содержать на ваши оклады трех детей? Честно отвечайте, не пойте...

— Конечно, товарищ Сталин, смогли бы...

Сталин, неотрывно глядя в глаза отца, спросил:

— Почему вы ногами егозите? В туалет надо?

— Нет, спасибо, товарищ Сталин... Просто у меня в машине сын остался, я поэтому несколько волнуюсь..

— А что же вы его не привели сюда? Разве можно бросать ребенка? Пойдите-ка за ним...

...Я помню большие, крестьянские руки отца, помню, как он прижал меня к себе, помню, каким горячим было его лицо, помню его восторженный шепот:

— Сейчас ты увидишь товарища Сталина, сынок!

...А я не смог поднять глаз на вождя, потому что торжественное, цепеняще робкое смущение обуяло меня...

Но зато я увидел его маленькие руки, ощутил их ласковое тепло, Сталин легко поднял меня, посадил на колени, погладил по голове и, кивнув на газету, что лежала на плетеном столике, сказал отцу:

— Этот номер «Известий» возьмите с собою... Тут есть ряд моих замечаний по верстке... Может быть, пригодятся Бухарину и Радеку... Счастливой дороги...

...Кортеж «паккардов» обогнал нас у въезда в Москву — Сталин возвращался в Кремль.

В это же время, только с другой стороны, в Кремль въехала машина с зашторенными стеклами, в которой сидели Каменев и Зиновьев; их привезли из внутренней тюрьмы для встречи со Сталиным и Ежовым; вчера они наконец — после двухлетнего заключения — согласились писать сценарий своего процесса, который закопает Троцкого, докажет его фашистскую сущность — взамен заверения о том, что им будет сохранена жизнь, а малолетних детей выпустят из тюрьмы.

...А когда был принят указ, запрещающий аборты, я помню, как отец ликующе говорил всем, кто приходил к нам:

— Как же он мудр, наш Коба, как замечательно он готовит решения! Сначала советуется с рядовыми работниками, выясняет всю правду, а только потом санкционирует указ государства! Мы непобедимы нерасторжимостью связи с вождем, в этом наша сила!

Все, конечно, с ним соглашались.

Бухарин, однако, глядя на отца с грустной улыбкой, восторги его никак не комментировал, молчал.

Только дядька Илья, один из самых молодых наших комбригов, покачал головой:

— Сенька, ты что, как тетерев, заливаешься? Ты

хоть знаешь, где аборты запрещают? Только в католических странах! Там, где последнее слово за церковью. У них за аборт в тюрьмы сажают, а коммунисты поддерживают женщин, которые выступают за то, чтобы не власть, а она сама решала, как ей следует поступить... Кому охота нищих да несчастных плодить?!

Отец побледнел, резко поднялся:

— Что, повторения двадцать седьмого года захотел?! Неймется?!

...Тогда, в ноябре двадцать седьмого, после разгона демонстрации оппозиционеров — отец принимал в ней участие — братья подрались.

Жили они на Никитской, дом этот сейчас снесен; длинный коридор, заложенный поленцами, — еще топили печи; затаенные коммуналки с толстыми дверями — до революции здесь размещался бордель, греховная любовь требует тишины. Комнатушка деда и бабки была крохотной, метров десять, курить выходили в коридор, здесь и схватились, когда Илья, выслушав восторженный рассказ отца, хмуро заметил: «Что ж ты раньше Каменева не тащил за ноги с трибуны, когда его портреты на демонстрации выносили? Как сказали «ату!», так и бросились...» — «Ты на кого?! — отец задохнулся от гнева.— Ты кого защищаешь?! На кого голос подымаешь?!» — «Да ни на кого я голос не поднимаю... Голова у тебя есть? Есть. Ну и думай ею, а не повторяй чужие слова, как попка-дурак».

Отец тогда схватился за полено. Илья легко выбил полено у него из рук, *вертанул* кисть за спину, повернулся и уехал к себе в Люберцы — он был там начальником НКВД. С тех пор братья два года не разговаривали, тяжко переживая размолвку.

Помирились на похоронах общего друга, Васи Сироткина, его зарезали во время командировки на коллективизацию, виновных не нашли, а двое сирот у него осталось, Нюра и Зина, погодки.

...После того как в «Известиях» начали печатать сообщения о расстреле троцкистско-фашистских наймитов Каменева и Зиновьева (заместителя Ленина по Совнаркому и председателя Коммунистического Интернационала), лицо Бухарина сделалось желтым, измученным; он лег на землю (это было на Памире), взял свечку, зажал ее в руках, сложил их на тоненькой груди и, посмотрев на отца, усмехнулся:

— Семен, я похож на покойника, а?

3

Федор Николаевич Петров, один из старейших большевиков, консультировал в шестидесятых мой роман и фильм «Пароль не нужен» о Блюхере и Постышеве. Он-то и рассказал мне историю, которая теперь подтверждается косвенными свидетельствами; хочу верить, что вскоре откроются новые обстоятельства, опровергнуть которые невозможно.

— Когда Каменева и Зиновьева сломали, уговорив признаться в том, что они — по заданию Троцкого — организовали убийство Кирова, когда, после того как Сталин дал им честное слово, что они не будут расстреляны, если помогут «закопать троцкизм как идейное течение», суд провели быстро, в суматохе не проверили «показания» обвиняемых, заранее написанные людьми наркома Генриха Ягоды, тогда и случился трагедийный конфуз, — Петров еще больше прибавил звук в старинном радиоаппарате, стоявшем на его большом письменном столе возле окна, из которого открывался прекрасный вид на Москва-реку и Кремль. — Один из зиновьевцев «признался», что он приезжал в Копенгаген для встречи с Львом Седовым — сыном Троцкого и останавливался в отеле «Бристоль». А скорые на розыск датские журналисты через неделю после того, как обвиняемые были расстреляны, опубликовали официальную справку, что отель «Бристоль» был снесен за много лет перед описываемыми событиями, фальшивка чистой воды... Именно тогда Серго потребовал у Сталина нового рассмотрения этого дела с вызовом свидетелей, оставшихся в живых.

Сталин пообещал и сразу же начал готовить второй процесс — на этот раз против заместителей Орджоникидзе Пятакова и Серебрякова. Их обвиняли уже не только в троцкизме и диверсиях, но и в шпионаже. Однако в отличие от Зиновьева (честно говоря, он был слабым, амбициозным человеком, но, понятно, ни в каком терроре не участвовал) Юрий Пятаков никогда не дрался за власть, от оппозиции отошел. Серго утвердил его первым заместителем народного комиссара тяжелой промышленности — на нем был и Сталинградский тракторный, и Горьковский автозавод имени Молотова, и Кузбасс, и Магнитка, человек действительно горел на работе... Мы все чтили память его брата, Леонида, замученного петлюровцами в девятнад-

цатом, словом, чистый был человек, чистый и открытый... Как можно было повернуть его на признание в шпионаже? Коммунист, ленинец — и гестаповский шпион? Давить на него, как давили на Каменева — у того осталось двое детей, — трудно, семья у Пятакова не сложилась, жена больна, он и ночевал-то порою у себя в кабинете...

...В поселке «Известий» на Сходне, рядом с той дачей, где жили мы, стоял дом Карла Радека, возглавлявшего иностранный отдел редакции; друг Дзержинского и Розы Люксембург, принимавший участие в спартаковской революции, человек не простой, ядовито-остроумный, он, после того как публично отрекся от Троцкого и был за это возвращен в двадцать девятом году из ссылки, стал одним из тех, кто более всего славил Сталина, причем делал это вдохновенно и талантливо. Он-то и рассказывал тогда: «Коба — человек поразительный! Он узнал, что новый заместитель наркома ютится в крошечной квартирке, и приказал перевезти его семью в роскошные апартаменты, обставленные чудной мебелью... Вот так Коба относится к тем, кто честно разоружился и порвал с оппозиционерами, поняв чудовищную сущность Троцкого...»

(Когда прошла очередная волна арестов, во время торжественного банкета по случаю дня рождения Максима Горького помрачневший лицом Радек, неотрывно глядя при этом на секретаря ЦК Ежова, произнес тост: «Я пью за нашу максимально горькую действительность...»

Сталин, не выпуская трубки изо рта, сухо посмеялся вместе с Алексеем Максимовичем, который не отпускал от себя Бухарина; лицо последнего порою теряло обычную живость, замирало и чуть желтело, становясь не по возрасту старческим...)

Из квартиры, подаренной Сталиным, Пятакова вскорости и забрали — в один день с Радеком...

Федор Николаевич вздохнул чему-то и, устроившись поудобнее в кресле, словно бы затолкав свое усохшее тело в привычно-малое пространство между спинкой и подлокотниками, снова изучающе-требовательно обсмотрел меня:

— Я-то скоро уйду, а вам надо сохранить память,

только оттого все это и рассказываю, хоть и рискую... Да, да, это так... Каждый, кто прикасается к той поре, — рискует... Словом, Серго Орджоникидзе потребовал устроить ему встречу с Пятаковым... И получил ее... Никто не знает, о чем шла речь, никто, кроме Сталина, потому что тот дал Орджоникидзе слово: «Пятаков не будет казнен...» Но Пятакова, как и Каменева, расстреляли... Серго был в ярости; Ежов ему ответил: «Пятаков жив». Серго потребовал встречи. Ему пообещали; Ежов уверял наркома: «Юрий (он и после процесса над «шпионом» продолжал так называть Пятакова) перенес шок после фарса, разыгранного норвежцами... Как только он придет в себя, вы увидите его, Григорий Константинович...» Шок действительно был, но не для Пятакова, а для тех, кто писал за него показания: он заученно произнес на суде, что, мол, летал на немецком самолете в Осло на встречу с Троцким. А норвежские социал-демократы опубликовали в газете опровержение: в тот месяц, когда Пятаков якобы летал в Осло, ни один иностранный самолет там не приземлился...

...Серго позвонил Сталину; тот отказался его принять; Серго сказал: «Коба, если нам необходимо развенчать Троцкого, то партии совершенно неугодно избиение ленинцев!» И — начал готовить *свое* выступление на февральском Пленуме ЦК... Он знал, что его поддержат Постышев, Чубарь, возможно, Калинин... Он понимал, что Сталин наверняка поднимет на Пленуме вопрос об аресте Бухарина, а тот был его другом... Он допускал, что если открыто и честно сказать Пленуму всю правду, то далеко не все станут поддерживать Сталина, потому что геноцид, начатый против старой гвардии, принял чудовищные формы. Нам предлагали верить в бред, произносимый на скамье подсудимых теми, кого Ленин вел вместе с собою, поручая ответственнейшие должности в самые крутые месяцы гражданской войны и интервенции. Но мы помнили состав нашего первого правительства! Мы-то помнили, кто составлял костяк Политбюро в самые грозные пять лет — с октября семнадцатого! А теперь оказывается, что эти люди уже тогда были предателями! Чего ж они тогда не захватили власть?! Их — при Ленине — было подавляющее большинство! А был ли один я такой памятливый?! Да нет! Как минимум, миллион партийцев! И столько же — беспартийных активистов! Это — минимум миниморум! Значит, тогда *жили* два миллиона людей с кровото-

чащей памятью — я имею в виду большевиков со стажем. А их семьи?! Понимаете, каким резервом обладали те, кому был дорог Ленин? Понимаете, как шатки тогда были позиции Сталина, несмотря на то что Ежов с его *рукавицами* душил всех, кто продолжал оставаться личностью, — то есть, зная правду, не отрекся от памяти?! Понимаете, что Серго — с его авторитетом — мог повернуть ход истории, прекратив чудовищный террор?! Понимаете, что он мог потребовать у Пленума выполнения воли Ленина о снятии Сталина с поста генерального секретаря?!

... Вторым человеком, консультировавшим наш фильм «Пароль не нужен», был генерал Штеменко. С громадными усами, удивительно тактичный, с печально-доброжелательной улыбкой, неторопливый в словах, он во время одной из встреч со съемочной группой, всматриваясь в лицо Николая Губенко, игравшего роль Василия Константиновича Блюхера, заметил:

— Я попрошу подобрать все архивы по маршалу... Надо бы вам *поискать* чего-то еще для этого замечательного образа.

Я сказал тогда, что все архивы уничтожены; пояснил, что находил *огрызки* документов, просматривая отчеты ветеринарной службы дальневосточной армии, — там чудом сохранились резолюции Блюхера, в которых удивительно прочитывался человек, его моральный стержень, мягкость и непримиримость.

Штеменко усмешливо покачал головой:

— Мы свои архивы не трогали, через три дня вам их покажут.

Однако, когда мы увидались через три дня, он заметил:

— Да, к сожалению, вы правы... Архивов нет, все уничтожено, надо *собирать* по памяти.

...Иван Степанович Конев, служивший в армии Блюхера командиром бронепоезда, а затем ставший начальником оперативного отдела штаба его фронта, показал мне маленькую фотографию главкома легендарного ОКДВО — Особого Краснознаменного Дальневосточного военного округа — Блюхера, стоявшую у него на столе:

— Я не убирал ее с этого места и после того, как маршал пал жертвой клеветы.

...Маршал Блюхер не пал жертвой клеветы, его *надо* было убрать, ибо он посмел сказать друзьям, что не

судил Тухачевского, хотя его именем был подписан приговор одному из самых блестящих военачальников двадцатого века. «Суда не было, — повторял он, — Тухачевского и Якира просто убили...»

Василий Константинович покончил с собой сразу после ареста, чтобы не оказаться сломанным, чтобы не предать свое прошлое чудовищными показаниями на очередном процессе, эти показания убивали не жизнь, а то дело, которому он служил, — Революцию...

...Петров устало поднял руку, указал пальцем на книжные стеллажи и, прикрыв веки, сказал:

— Посмотрите речи Сталина на февральско-мартовском Пленуме тридцать седьмого года... Обратите внимание, что там впервые не было привычных «бурных аплодисментов, переходящих в овацию». Просто — «аплодисменты»... И главный удар Сталин нанес по не названному Серго — по «хозяйственным успехам, которые привели к беспечности»... Серго постоянно говорил, что чем больше наши успехи, тем лучше живут люди, чем они явственнее ощущают прямую связь между трудом и благополучием, тем меньше будет врагов в стране, нет поля для вражды, то есть пришло гражданское замирение... А Сталин, наоборот, гнул свою линию: «чем больше успехов, тем сильнее сопротивление врагов»... А ведь Бухарин еще не был арестован, объявил голодовку, написал письмо членам ЦК о своей невиновности, сидел в кремлевском зале — кандидат в члены ЦК! Именно тот Пленум должен был решить его судьбу... «Бухарин — любимец партии» — не случайная фраза... Ее помнили... После того как Пятаков сказал на суде про аэродром в Осло и всему миру стало понятно, что второй процесс тоже построен на фальшивках, Сталин решил, что Пятаков это сделал намеренно — прокричал о своей невиновности из камеры тюрьмы. И помог ему в этом, считал он, Серго... — Петров говорил тяжело, с одышкой, часто замолкал, словно собираясь с силами. — А за Серго действительно была школа в Лонжюмо, Ленин открыто называл его своим другом. Серго никогда — в отличие от Сталина — против Ленина не выступал, он шел за ним ледоколом...

— А дело Мдивани? — спросил я. — Помните, как Ленин тогда обрушился на Серго? С какой яростью, открыто?!

Петров раздраженно пожал плечами:

— Политическая борьба предполагает чувство! Не надо из Ленина делать икону! Как всякий гениальный стратег, он был при этом ранимым человеком... Он не считал возможным скрывать того, что думал! Увидав, что вытворили его любимцы Каменев и Зиновьев в октябре семнадцатого, он прилюдно назвал их «проститутками»! Но ведь через пять дней после этого Каменев стал Председателем ВЦИКа! То есть президентом революцьённой России! (Петров сказал это именно так, «революцьённой», строкой Блока.) А Зиновьев — секретарем Петроградской парторганизации! А Троцкий, которого — опять-таки поделом — Ленин называл в свое время «иудушкой», по его же, ленинскому, предложению был единогласно избран народным комиссаром иностранных дел, хотя сначала именно Ленин предложил его — председателя Петроградского Совета рабочих депутатов — на пост Председателя Совнаркома! А Троцкий отказался! Троцкий сказал, что Председателем Совнаркома может быть только один человек — Ленин! Это же правда! Как ее ни прячь, она все равно не исчезнет... А как Ленин «колотил» Бухарина и Дзержинского во время Брестского мира?! Но ведь он не предлагал сместить Феликса Эдмундовича с поста председателя ЧК! А у Бухарина — отобрать редакторство «Правды»! Мы отучились дискутировать! Нас приучили к поранжирному повиновению! Мы поэтому... Нет, *вы*... Хотя это нечестно. — Петров прерывисто, всхлипывающе вздохнул, — *мы*, именно *мы*, вина моего поколения перед вами — неизмерна... Мы поэтому не понимаем, как это можно обмениваться резкостями, но при этом продолжать оставаться на одной стороне баррикады... Нам стало важно *слово*, а не *дело*... Постепенно победила сталинская семинария, дисциплина казармы...

Медленно, словно бы собирая себя, Петров поднялся, отошел к кровати:

— Словом, говорили, что Сталин поручил начальнику охраны Ежова убить Серго. И Серго был застрелен у себя на квартире... Наиболее доверенным сказали, что Серго покончил с собой — слишком дружил с Бухариным, Рыковым, Пятаковым. Но ведь шила в мешке не утаишь: те, кто первым вошел в квартиру Орджоникидзе, подписали себе смертный приговор, составив акт о том, что в маузере Серго было семь патронов, а пороховой гари в стволе не было... Этих дзержинцев расстреляли, но — через неделю! Понимаете?! И мы узнали

правду... И мы поняли: теперь все возможно, время вседозволенности, конец надеждам, крах вере в справедливость... А на похоронах Сталин рыдал на груди того, кто был им убит... А было тогда Серго сорок девять лет... А наркомздрав Каминский, который подписывал официальный бюллетень о *«болезни»* Серго, был расстрелян, как и все, кто знал трагедию или слышал о ней... Вот так и закончился термидор... А вот я уцелел...

Петров медленно поднял на меня серые глаза, в которых постоянно жили печаль и невысказанный укор:

— Да, я молчал, это правда... Но я и молчал-то для того лишь, чтобы дожить до сегодняшнего дня... Чтобы сохранить для вас мою память... Хоть какую-то, но все же... Притча о гласе вопиющего в пустыне еще ждет своего толкователя.

4

...Это случилось во время традиционного авиапарада в Тушине.

Рано утром к нам позвонил Бухарин:

— Семен, вы туда едете?

— Конечно, Николай Иванович.

— Слушайте, я ни разу не наблюдал этого зрелища с поля — всегда с трибуны... Заберите-ка меня с собой, а?

Отец заехал за Бухариным, тот взял огромный бинокль, две бутылки боржоми, сказал, что близкие за городом, поэтому бутербродов, увы, не будет, и, задержавшись возле окна, внимательно обсмотрел улицу.

— В пятом году, перед тем как уйти с квартиры, я всегда проверялся, нет ли слежки, — улыбнулся Бухарин. — Не думал, что привычка так въедлива... Даже когда меня охраняли как члена Политбюро, порою ловил себя на мысли: отчего сопровождающие не глядят, *чисто* ли на улице?.. Впрочем, — заключил он, — к несвободе привыкаешь значительно быстрее, странно...

...В ту пору брат моего отца, Илья, комбриг, вступивший в Красную Армию в восемнадцатом году, когда ему было четырнадцать, работал заместителем легендарного начальника московской милиции Вуля. В тот день он отвечал за обеспечение и координацию деятельности ОРУДа. Поскольку на парад приехало все руководство во главе со Сталиным — Молотов, Ежов, Ворошилов, Калинин, Каганович, Андреев, Микоян, Хрущев, Чубарь, Рудзутак, Косиор, Постышев, — регулировка движения на трассе от Кремля до Тушинского

аэродрома была делом весьма ответственным, как и порядок на поле: «...страна кишмя кишит троцкистско-зиновьевскими диверсантами и шпионами, они готовят теракты против товарища Сталина, бдительность и еще раз бдительность, враг не дремлет...»

В отличие от отца, прослушавшего курс у Бухарина в ту пору, когда Николай Иванович возглавлял Институт красной профессуры, Илья был самоучкой, закончил четыре класса в деревне Березине, потом занимался в школе рабочей молодежи, будучи уже командиром эскадрона. Отличала его военная косточка, поэтому, заметив отцовский «фордик» (редакционный пропуск разрешал заезжать на поле), он подошел, никак не предполагая, что человек в косоворотке и кепчонке, устроившийся на капоте машины, не кто иной, как Бухарин; вскинув ладонь под козырек, Илья отрапортовал:

— Товарищ член Центрального Исполнительного Комитета, обстановка на поле нормальная, никаких происшествий не было!

Бухарин недоумевающе посмотрел на отца.

— Это мой брат, — чуть смущенно пояснил отец.

— Ах, это и есть ваш легендарный Илья?! — Бухарин протянул ему руку. — Приятно познакомиться...

И в это как раз время над полем аэродрома пронеслись самолеты; Бухарин, взбросив бинокль, словно любопытный ребенок, приник к окулярам; проводив серебряные машины, подивившись слаженной стройности их треугольника, он случайно *мазанул* биноклем правительственную трибуну и увидел, как Сталин неотрывно рассматривает в бинокль его, Бухарина.

Не оборачиваясь к отцу, Николай Иванович негромко сказал:

— Семен, пусть ваш брат продолжает работу на поле, а вам бы лучше сесть на землю... Подстелите газету, вы хорошо сидите по-азербайджански, как настоящий кунак...

...Через двадцать минут Илья вернулся и, снова взяв под козырек, обратился к Бухарину:

— Товарищ член Центрального...

— Да вы проще, — досадливо попросил Бухарин, не отрывая глаз от бинокля, — обращайтесь ко мне по-человечески...

— Николай Иванович, — товарищ Сталин просит вас подняться на правительственную трибуну, мне поручил это передать вам замнаркомвнудел товарищ Берман...

Бухарин снова *мазанул* окулярами места под полотняным тентом, где наблюдали парад члены Политбюро, и снова *уткнулся* в бинокль Сталина, направленный точно на него.

— Передайте Берману благодарность, — ответил он. — Но мне очень интересно наблюдать парад как журналисту, среди зрителей...

...За неделю до того, как Бухарина — прямо с заседания пленума ЦК — отправили в тюрьму, Илью арестовали.

Следователь, молоденький парень, мобилизованный в НКВД после расстрела практически всего прежнего аппарата дзержинцев, внимательно посмотрел на те места в петличках дядькиной гимнастерки, где еще утром были эмалированные ромбы, отличительный знак комбрига, и очень тихо сказал:

— Нам все известно о вашей преступной связи с врагом народа Бухариным. Вы знаете законы, поэтому нет нужды разъяснять, что чистосердечное признание о совместной вражеской деятельности с троцкистским прихвостнем облегчит вашу участь.

— Я видел Бухарина один раз в жизни, — ответил Илья. — На Тушинском аэродроме... Я подошел, чтобы приветствовать его, как полагается по уставу...

— Как вы его узнали среди десятков тысяч трудящихся? По условному знаку? Или было заранее обговорено место встречи?

— Да не было ничего обговорено!

— Кто привез Бухарина в Тушино?

— Не помню.

— Кто вам его показал?

Илья усмехнулся:

— Вы с какого года?

— Здесь мы задаем вопросы, — так же тихо и корректно ответил следователь. — А вы отвечаете...

— Вам двадцать два, — сказал Илья. — Не больше. Значит, в двадцать девятом вам было четырнадцать, и вы помните, что портреты Бухарина выносили на Красную площадь наряду с портретами других членов Политбюро...

— И вы не препятствовали этому?

— Чему?

— Прославлению одного из диверсантов и убийц?!

— Да разве член Политбюро может быть диверсантом и убийцей?!

— Прошу ответить на конкретный вопрос: вы, лично вы, не препятствовали прославлению Бухарина?

— Слушай, ну что ты, ей-богу, вола крутишь? — Илья вздохнул. — Скажи, что произошло, чего ты от меня хочешь, и на основании этого, когда я пойму суть дела, станем говорить по-людски...

— Это что, призыв к сговору? Так вас надо понимать? Повторяю: с какого года вы поддерживаете конспиративную связь с врагом народа Бухариным, формы, пароли, явки?! Пока не ответите на эти вопросы, из кабинета не выйдете.

И — начался «конвейер»: один следователь сменял другого, работала бригада; в конце вторых суток Илья почувствовал, что готов на все, лишь бы соснуть хоть десяток минут. И вот в то именно время вошел Иван Коробейников, они вместе участвовали в польском походе, в двадцатом.

Он долго сидел за столом, обхватив голову ладонями, потом подбежал к Илье, схватил его за шею, поднял со стула и закричал:

— Ты сколько времени будешь издеваться над людьми, вражина сучья? А?! Ты сколько времени будешь жопой вертеть?!

И, приблизив свое лицо к лицу Ильи, одними губами прошептал:

— Спи, а я буду орать.

И, обматерив *комбрига,* швырнул его на стул.

Илья сразу же уснул, как выключился. Он не знал, сколько времени спал, но очнулся от того, счто Коробейников хлестанул его по лицу, заорав истошно:

— Встать! Я что говорю, вражина сучья?!

Илья, не понимая, что происходит, смотрел на него изумленно.

— Почему не выполняете указаний следователя? — услыхал он чей-то голос у себя за спиной; с трудом обернувшись, увидел замнаркома Бермана. Тот стоял рядом с Николаем Ивановичем Ежовым — маленьким, похожим на калмыка, в скромной гимнастерке и мягких сапогах.

Раскачиваясь, Илья поднялся:

— Я не сплю двое суток, товарищ заместитель наркома.

— Гусь свинье не товарищ, — отрезал Берман. — Будете и дальше отпираться, пенять придется на себя. Сколько лет сыну? Пять? Смотрите, останется сиротой! Пролетарская диктатура умеет прощать заблудших, но беспощадна к вражинам.

Ежов кивнул Коробейникову:

— Продолжайте работать, соблюдая корректность, — и вышел; Берман — следом.

В ту ночь Илья спал четыре часа, это дало ему возможность вынести еще двое суток «конвейера», пока не пришел черед Ивана; и снова тот, надрываясь, кричал, а Илья, отвалив голову на спинку стула, спал.

После этого, на исходе пятого дня, Илью отправили в тюрьму: «с этим типчиком надо работать более серьезно».

И первым, кого он увидел в камере, был тот самый первый молоденький следователь — уже без *кубаря* в петлице и с сорванным с рукава гимнастерки шевроном НКВД; Илья заметил его сразу, хотя вместо четырех человек было набито более тридцати; сидели и лежали по очереди, пока остальные, кто покрепче, стояли, подпирая друг друга спинами, — какой-никакой, а отдых.

Сосед Ильи, судя по следам от ромбов, — начдив, то и дело усмехался, как скалился:

— Я — троцкист, а?! Ты понимаешь?! Троцкист! Все, кто был в Красной Армии с восемнадцатого, — троцкисты! Сами с Троцким на трибунах стояли и в президиумах сидели, а нам — отдувайся! Кто виноват, что Ленин с собою в Смольный одних врагов народа привел?! Кто?! Мы?!

Ночью комдива и еще семерых военных вызвали по *списку*.

— Прощай, браток, — сказал он Илье и дал ему мундштучок, который не выпускал изо рта. — Нас ведут кончать. И тебя кончат, если не признаешься в какой дури... Соглашайся на то, что Климента Ефремовича критиковал, шутковал над ним, но только *дай* им что-нибудь... Я поздно это понял — чего с меня взять, троцкист долбаный, дурак..

...Через три месяца Илья признался, что однажды слышал антисоветский анекдот в трамвае, рассказывал старик в очках, с родинкой на носу, увижу где — сразу на него укажу, виноват, что не задержал на месте,

потерял бдительность, готов отвечать по всей строгости закона.

Решением особого совещания ему дали пять лет, и он был этапирован во Владивосток; там, вокруг вокзала, уже ждали отправки в ванинский порт более тридцати тысяч зэков, спали на земле, где кто как устроится...

Осмотревшись, Илья понял, что урки наверняка пришьют его за чекистскую форму, — «сука», а особенно за следы от ромба — «большая сука». Поэтому, вспомнив молодость (хотя во время ареста ему было всего тридцать три), бои с бандформированиями, когда его под видом блатного мальчишки засылали в состав группировок Булак-Булаховича, он и присел к уркам — кинуть «очко».

То ли урки были квелые, то ли карта шла Илье, то ли он умело *тасовал*, но к утру снял банк, унес наволочку с деньгами, купил валенки, ватник, теплую шапку, кожаную куртку; свою форму продал фраерам и через месяц оказался на руднике «Запятая» — в двухстах километрах от Магадана.

С повозок им сбросили колючую проволоку, чтобы сами обнесли зону, и простыни: «Устраивайте себе ледовые палатки, ничего, перезимуете, челюскинцы трудней жили...»

И началось его лагерное житье.

В забое работал вместе с секретарем Ленинградского горкома (*доходил*, арестовали в тридцать шестом) и начальником политотдела Сталинской железной дороги — Василием Борисовым.

Секретарь горкома тощал на глазах, сох; однажды шепнул Илье:

— Не в коня корм, Илюшка... Меня несет, язва... Как горох поем, так он целеньким и выходит... Горошинка от горошинки... Добро пропадает.. Промывай и ешь. Тут выжить надо, для этого все сойдет, скоро этот бред кончится, погоди, дай только узнать обо всем товарищу Сталину...

Илья начал промывать дерьмо, заливал кипятком и, зажмурившись, ел *горошинки*...

Когда секретаря похоронили — в забое сил не было тащить наверх, — начальник политотдела сказал:

— Илья, с полгода протянем, глядишь, а потом сдохнем... Надо идти в побег, нести правду Москве: здесь же цвет партии гибнет.

— А чего ты жрать в побеге будешь? — спросил

Илья. — До железной дороги не дочапаешь, до Магадана две сотни верст, замерзнем...

— Говорят, есть путь... Помнишь чекиста Бурова? Он еще с помощником Дзержинского, товарищем Беленьким, дружил? Ну, он и говорил, что отсюда было два побега, выходили на материк...

— А где этот Буров?

— Похоронили.

— А Беленький?

— Того в Москве расстреляли, он сокамерникам говорил...

— А ты поверил? Здесь же ссылок не было, тут ссылку начали год назад создавать, Вася, сказки это...

— Так что ж, так и подыхать здесь?!

— Не надо, — усмехнулся Илья, — стоит пожить...

Помог, как и всегда, случай: единственный трактор, который забросили в лагерь еще летом тридцать шестого, сломался. Начальник выстроил зэков:

— Кто исправит машину — дам килограмм масла и три буханки хлеба.

Илья шагнул из строя:

— Я механик, гражданин начальник... Позвольте попробовать?

— Попробовать? Нет, пробовать не разрешу. А запорешь машину до конца, сядешь в бур.

— Слушаюсь, гражданин начальник, согласен.

Было это уже в декабре, мороз лютый, за сорок; Илья развел костры вокруг трактора, взял в помощники начальника политотдела Васю, хотя тот в технике был ни бум-бум, а дядька как-никак кончил шоферские курсы и по праву считался одним из самых лихих водителей Москвы.

Словом, трактор они сделали, начальник был человеком справедливым, дал полтора килограмма масла и четыре буханки.

«Я это мороженое масло топором рубил, ел кусками и Васю политотдельского заставлял, — рассказывал потом дядька. — Я блюю, и он блюет, понял-нет?! «Не могу, — стонет, — кишки выворачивает». А я ему: «Жри! Надо кишки-то смазать, дать им витамин, доходягой в побег не уйдешь!» — «А как же товарищи?! Им что принесем?!» Ну, я тогда и озлился: «Здесь двадцать тысяч наших товарищей, понял-нет?! Хочешь накормить их полутора килограммами?!»

— Однако же, — заключил Илья, — в сердце у меня

была тяжесть, неудобство какое-то, хоть лагерь быстро лечит от сентиментальностей. Отнесли мы маслица старикам-доходягам, политкаторжанам, что еще с Бакаевым сидели, с Рудзутаком и Эйхе, понял-нет?.. А самый уважаемый человек, вроде «пахана», был у нас, политиков, член Реввоенсовета одиннадцатой армии, фамилии не помню, только знаю, что он с Иваном Никитовичем Смирновым дружил, — красный командир был, его одним из первых посадили, в начале тридцатого... Так вот, полизав масла и выслушав слова Васи, что надо нести правду в Москву, он засмеялся беззубым ртом: «Дурачок ты! Сталину, говоришь, намерен нести правду?! Да все, что происходит здесь, угодно одному лишь человеку — Сталину! Он же всех тех *должен* истребить, кто *помнит* Октябрь, кто знает, как он перед Троцким заискивал, как он в его честь в газете «Севзапкоммуны» в восемнадцатом году статью написал, мол, когда говорим «товарищ Троцкий», подразумеваем «Красная Армия». Когда говорим «Красная Армия», всем ясно: «товарищ Троцкий»... Вы погодите, погодите, он еще какие-нибудь документы напечатает, каких слабаков об колено сломит и будет процесс против Ленина как немецкого шпиона! Что контра не успела сделать, он доделает...» Вася тогда аж побелел, масло у него вырвал, сукой обозвал, фашистом... Словом, решили мы с Васей идти в побег в июне тридцать девятого, понял-нет? К счастью, в ту пору меня на трактор перевели, так мы с Васей то хлеба своруем, то масла, подкармливали стариков-ленинцев, да и себе на побег делали запасы... Главное, чтоб в Москву прорваться, иначе следующим летом тут вообще никого не останется, одно кладбище, понял-нет? Назначили мы день побега, а тут утром, понял-нет, начальник лагеря объявляет, что приговор по моему делу отменен: Сеньку-то в партии восстановили после расстрела Ежова, ну, он и пошел за меня молотить... Да, понял-нет... Это я еще тебе смешного не рассказал, у нас там смеху тоже хватало, страх вспомнить...

...На Новодевичьем кладбище на могильной плите моего деда Александра Павловича до сорок девятого года было выбито: «Прости, не успел. Илья. 20-го мая 1940 года» — дядька вернулся в Москву через три дня после похорон его отца.

Я помню, как он — худой, с ввалившимися щеками —

посмотрел на обеденный стол, накрытый у нас на Спасо-Наливковском, и спросил отца:

— А водка где?

Бабушка Дуня принесла пол-литра, Илья накрошил черный хлеб в большую тарелку, нарезал туда лук, залил все это водкой и начал есть большой ложкой — молча и сосредоточенно. Он съел всю тарелку; пододвинул сковородку с яичницей и салом, поковырял вилкой и усмехнулся:

— А ведь правду говорил наш пахан-политик.

...Он продолжал усмехаться, уплетая яичницу, а по щекам его катились быстрые слезы.

5

Хотя Каменев и Зиновьев согласились — после двух лет мук в камере — встретиться с членами Политбюро, Сталин не торопился их принимать, хотя понимал, что это — капитуляция его врагов.

Он ждал смерти «защитничка» — Максима Горького; пока тот жив, процесс невозможен.

Сразу после похорон Горького он приказал привезти своих врагов в Кремль.

Медленно расхаживая по кабинету, Сталин глухо говорил, обращаясь к своим бывшим коллегам по Политбюро; обращался не к ним — к Ягоде:

— Если *товарищи* поведут себя на процессе так, что смогут раз и навсегда похоронить троцкизм как идейное течение, если они докажут миру, что Троцкий не остановится ни перед чем в борьбе против Державы нашей и партии, тогда, конечно, аресты бывших оппозиционеров будут немедленно прекращены, члены их семей отпущены домой, а сами товарищи (Сталин наконец поднял глаза на Каменева и Зиновьева) после вынесения приговора, который будет однозначным, отправятся на дачу, чтобы продолжать свою литературную работу, а затем будут помилованы...

Сталин снова посмотрел на Каменева, остановившись посреди кабинета, и в уголках его рта можно было прочесть горькую, но в то же время ободряющую улыбку.

Каменев поднялся:

— Мы согласны.

Он сказал это человеку, который в семнадцатом считался его другом; во всяком случае, он, Сталин, именно так называл себя в редакции «Правды», где они — до

ареста Каменева Временным правительством — были соредакторами...

Каменев считался другом Сталина и в двадцать четвертом, когда они вели совместную борьбу против Троцкого: «члены ленинского Политбюро Зиновьев, Каменев и Сталин — идейные продолжатели дела Ильича».

И вот спустя двенадцать лет против Сталина, организовавшего убийство Кирова, стоял Каменев, согласившийся принять на себя вину за это убийство и прилюдно растоптать свое прошлое...

...Через два месяца Каменева расстреляют.

...Миронова, присутствовавшего при том, как Сталин дал слово сохранить жизни Каменева и Зиновьева, расстреляют через семь месяцев.

...Затем расстреляют Ягоду, которому Ежов дал честное слово не казнить его, если он обвинит Бухарина.

Самого Ежова убьют в камере вскоре после расстрела Бухарина...

6

Писатель Александр Воинов рассказал мне поразительную историю:

— В конце ноября сорок первого я получил недельный отпуск — после контузии и награждения орденом. Поехал в Куйбышев, там тогда находилась наша вторая столица. Встречаю на улице Киселева, режиссера кинохроники по кличке Рыжий.

— Хочешь посмотреть мой новый фильм? — спросил Киселев.

— Конечно, хочу.

И мы отправились в то здание, где было выделено несколько комнаток кинохронике. В маленький просмотровый зал натолкалось народа видимо-невидимо; фильм смотрели затаенно, многие плакали; мягкие хлопья снега царственно и беззвучно ложатся на брусчатку Красной площади, на Мавзолей, на шинели красноармейцев и командиров, на осунувшееся лицо Сталина и его соратников — товарищей Молотова, Берия, Кагановича, Щербакова, Микояна... Снежное безмолвие, тревожная тишина, ожидание... Только одно живое во всей панораме — дыхание людей; кто простужен — ловит воздух ртом; счастливчики в валенках и теплом белье дырявят студеный воздух струйками теплого белого пара из носа.

Апофеозом фильма был тот момент, когда Сталин приблизился к микрофону и произнес свою короткую речь. Я представил себе счастье красноармейцев моего батальона, когда они увидят эти кадры: Отец — в скромной солдатской шинели, осунувшийся, но такой родной и любимый — говорит со своими Детьми...

— Слушай, — спросил я Киселева, жадно вглядываясь в лицо Вождя, — а почему у него пар не идет изо рта?

Киселев окаменел. Я почувствовал, как замерло его плечо; он словно бы не слышал моего вопроса, а мне тогда исполнилось двадцать шесть, дипломатии учен не был, свято верил догмам: «ничего не таи в душе, спрашивай все, что не понял, товарищи помогут разобраться во всем».

— Нет, но почему все же у товарища Сталина не идет пар изо рта? — продолжал удивляться я. — У всех шел, а у него — нет...

Сзади, из напряженно-тревожной темноты, кто-то спросил требовательным шепотом:

— Кто задал этот вопрос?

Киселев яростно толкнул меня коленом, закашлялся и показал глазами на дверь; поднимаясь со стула, шепнул, стараясь скрыть свои слова надрывным кашлем: «Иди за мной».

Недоумевая, я вышел; в коридоре поразился мертвенной бледности Киселева: «Немедленно возвращайся на фронт, — прошептал он. — Забудь об этом просмотре! Никому не говори ни слова! Знаешь, кто о тебе сейчас спрашивал?! Беги на вокзал, и чтоб ноги твоей здесь не было! Я твою фамилию не помню: какой-то журналист, и ты молчи, что мы дружили, ясно?!»

С этими словами Рыжий вернулся в зал. Я по-прежнему не очень-то понимал, что произошло, но то, как он был испуган, как выступили мелкие веснушки на его побелевшем лице, как тряслись руки, подсказало мне: «дело пахнет керосином, я прикоснулся к чему-то запретному, надо драпать».

И я бегом бросился на вокзал, сел в проходящий эшелон и вернулся на фронт, терзаемый безответным: «так почему же не шел пар из рта товарища Сталина?»

...С режиссером Киселевым я познакомился летом пятьдесят седьмого в Кабуле, где работал на торгово-

промышленной ярмарке переводчиком с пушту и английского.

Киселев делал документальный фильм об этой ярмарке; престиж кинематографиста был тогда еще достаточно велик, он властно командовал директорами павильонов, переводчиками, гостями, организовывая нужные ему сцены; пару раз я переводил ему, когда он снимал эпизоды с наиболее уважаемыми пуштунами.

Вот к нему-то я и обратился с вопросом: «Так почему же не шел пар изо рта товарища Сталина?»

С той поры, когда он снимал легендарный парад, прошло пятнадцать лет, Сталин умер, пришло время Хрущева, в стране настала кратковременная оттепель, люди начали постепенно — со страхом и неверием — пытаться изживать из себя въевшийся страх и привычное неверие друг в друга.

Киселев ответил мне не сразу; мялся, глядя на меня, молодого еще совсем; потом вдруг отчаянно махнул рукой:

— Ладно, расскажу... Наркомкино Большаков назначил меня ответственным за съемку парада на Красной площади... Честь огромная... Сняли... В ту же ночь проявили на Лиховом переулке... Кадры — поразительные, однако речь Сталина на звукопленку не записалась... Представляете?! Нет, вы себе этого представить не можете... Это гибель не только всех нас, всех наших родственников и друзей, но и разгром кинохроники: «злостный саботаж скрытых врагов народа, лишивших человечество уникального документа»... Именно тогда я и начал седеть, в те страшные минуты, когда звукооператор, едва шевеля посиневшими губами, сообщил эту новость.

«Как это могло случиться? — спросил я его, придя в себя. — Ты понимаешь, что нас ждет? Ты понимаешь, что мы — объективно — льем воду на мельницу Гитлера?» — «Да, — ответил мой товарищ едва слышно. — Понимаю... Но ведь я не имел времени, чтобы проверить кабель, все ж было в спешке... Снег... Наверное, что-то не сработало в соединительных шнурах... Я за своих ребят ручаюсь головой, ты ж их тоже знаешь, большевики, комсомольцы...» — «Рыков тоже называл себя большевиком, — ответил я ему, — а на поверку оказался гестаповским шпионом».

— Словом, — продолжил Киселев, — я поехал к председателю комитета кинематографии Ивану Гри-

горьевичу Большакову. Тот выслушал меня, побледнел, походил по кабинету, потом, остановившись надо мною, спросил: «Какие предложения? Кто виноват в случившемся?» — «Виноват я. С меня и спрос. Предложение одно: сегодня ночью построить выгородку декорации в одном из кремлевских залов и снять там товарища Сталина». — «А как объяснить, что съемка на Красной площади была сорвана?» — «Съемка не сорвана. Кадры сняты уникальные. Но из-за того, что у нас не было времени заранее подготовиться к работе, один из соединителей микрофона *отошел* — снег, обледенело, — охрана постоянно гнала наших людей к камере, подальше от Мавзолея...»

Большаков снова походил по кабинету, потом снял трубку «вертушки», набрал трехзначный номер: «Товарищ Сталин, добрый вечер, тревожит Большаков... Кинохроника сняла замечательный фильм о параде на Красной площади... Однако из-за неожиданных погодных условий звук получился некачественный. Интересы кинематографа требуют построить выгородку в Кремле и снять фрагмент речи в Грановитой палате. Что? Выгородка — это часть Мавзолея, товарищ Сталин... Да... Именно так... Это займет тридцать минут, товарищ Сталин... Да, не больше... Хорошо... Выгородку мы построим часа за четыре... Сегодня в три? — Большаков посмотрел на меня с растерянностью; большие настенные часы показывали одиннадцать вечера; я решительно кивнул, мол, успеем; нарком покашлял, потом тягуче ответил: — Лучше бы часов в пять... Хорошо, товарищ Сталин, большое спасибо, в половине пятого съемочная группа прибудет к Спасским воротам, строителей и художников вышлют немедленно...»

...Ровно в четыре тридцать утра дверь Грановитой палаты отворилась и вошел Сталин. Видимо, Большаков его предупредил уже, Верховный был в той же солдатской шинели, что выступал давеча; хмуро кивнув съемочной группе, он поднялся на выгородку, сколоченную за это время нашими художниками; я дал знак осветителям, они врубили юпитеры; свет был ослепительным, внезапным; Сталин прикрыл глаза рукой, медленно достал из кармана текст выступления и начал говорить — в своей неторопливой, *обсматривающей* манере. Я наблюдал его вблизи, видел, как он похудел, какие тяжелые мешки у него под глазами, как отчетливы оспины и седина; обернувшись к операторам, я сделал едва заметное

движение рукой; они поняли: надо избегать крупных планов, вождю это могло не понравиться, народ привык к совершенно иному облику Верховного: широко расправленная грудь, черные усы, прищурливая усмешливость глаз; здесь же, в Грановитой палате, на деревянном помосте, изображавшем Мавзолей, стоял согбенный, уставший старик.

...И в тот короткий миг, когда я обернулся к операторам, мой коллега, отвечавший за звукозапись, показал руками, что и сейчас, в этом огромном, пустом зале, когда мерно стрекотали камеры и юпитеры *жарили* лицо Сталина, текст Верховного по-прежнему не идет на пленку... Я ощутил приступ тошноты, своды палаты начали рушиться на меня, сделалось душно, и я вдруг ощутил свою никчемную, крохотную малость. Зачем надо было класть жизнь на то, чтобы рваться вперед и наверх?! Жил бы себе тихо и незаметно! Умер бы дома, в кругу родных, не обрек бы их на грядущую муку и ужас! Но именно в момент отчаяния, в ситуации кризисной, решения приходят мгновенно... Когда Сталин, закончив читать выступление, снял фуражку, вытер вспотевший лоб и неторопливо пошел к выходу из Грановитой палаты, я *обежал* Большакова, который сопровождал Верховного, и сказал: «Товарищ Сталин, вам придется прочитать выступление еще раз...» Помню испуг Большакова, страх, который он не мог скрыть; никогда не забуду реакцию Сталина: «Это — почему?» Он спросил меня, не подымая глаз, голосом, полным усталого безразличия. И я, глядя на Большакова, словно гипнотизируя его, моля не выдавать мою вынужденную ложь, ответил: «В кинематографе принято делать дубль, товарищ Сталин». Верховный, наконец, медленно поднял на меня свои глаза; они только издали казались улыбчивыми и отеческими; когда я увидел их вблизи — желтые, постоянно двигающиеся, тревожные, — мне стало не по себе. Сталин медленно оборотился к Большакову; лицо наркома сделалось лепным — прочитывался каждый мускул; однако он согласно кивнул, хоть и не произнес ни слова. Медленно повернувшись, Сталин вернулся к выгородке, под жаркий свет юпитеров. Я подбежал к звукооператору, шепнул, чтоб он еще раз проверил все соединения, подошел к микрофону и постучал пальцем по сетке; звуковик обмяк в кресле, и некое подобие улыбки тронуло его бескровные губы — все в порядке, *пошло!* А в моей голове мелькнула шальная мысль: «Вот бы попро-

сить: «товарищ Сталин, скажите-ка: раз-два-три, проба!» И я подумал: а ведь он бы выполнил мою просьбу — важно только было сказать приказным голосом...

...*Дубль* получился; Сталин так же, как и первый раз, не прощаясь ни с кем, медленно пошел к выходу; я семенил за Большаковым, который был, как всегда, на полшага за Иосифом Виссарионовичем. Уже около двери Сталин жестко усмехнулся: «И в кино одни Макиавелли».

Эти странные слова Сталина, которые так запомнились Киселеву, преследовали меня; я искал ответ на вопрос: «почему именно Макиавелли?»

Искал и не мог найти.

...В 1965 году писатель Лев Шейнин (в прошлом помощник Вышинского) позвонил мне из Кунцевской больницы: «Вы хотели поговорить с Вячеславом Михайловичем Молотовым? Он здесь, вместе с Полиной Семеновной, приезжайте, я вас представлю».

Через час я был у него в палате. Маленький, кругленький, работавший — после освобождения из Лефортовской тюрьмы — главным редактором «Мосфильма», Шейнин был человеком улыбчивым, постоянно тянувшимся к людям. В разговорах, однако, был сдержан: как-никак именно он, помощник Генерального прокурора Союза, прибыл вместе со Сталиным в Ленинград на следующий день после убийства Кирова. О Вышинском как-то сказал во время прогулки по аллеям нашего писательского поселка в Пахре: «Это человек тайны, не стоит о нем, время не подошло». В другой раз, тоже во время прогулки, смеясь, заметил: «Когда меня привезли в Лефортово, я сказал следователю: «Если будет боржоми, подпишу все, что попросите, о моей, лично моей шпионской работе», — я-то знал, что исход один... Впрочем, я еще хранил иллюзии. Черток в этом смысле оказался самым умным». — «Кто такой Черток?» — «Это следователь Льва Борисовича Каменева... Чудовище был, а не человек... Он себе такое позволял, работая с Каменевым... Словом, когда за ним пришли, а это случилось через месяц после того, как Каменев был расстрелян, он прокричал: «Я вам не Каменев, меня вы не сломите!» — и сиганул с балкона». Я спросил: «Почему?» Шейнин поднял на меня свои глаза-маслины, судорожно вздохнул и ответил: «Милый, не прикасайтесь вы к этому, не надо, так лучше будет для вас...»

...Именно он, Шейнин, и завел меня в большую пала-

ту государственного пенсионера СССР, бывшего члена партии Молотова, и его жены, ветерана партии Жемчужиной. Разговор был *светским*; Молотов шутил, говоря, что, прочитав мою «Петровку, 38», он начал с опаской гулять по улицам, расспрашивал, над чем я работаю, как начал писать, имеет ли что-то общее с моей судьбой персонаж из моей повести «При исполнении служебных обязанностей» молодой пилот Павел Богачев, воспитывавшийся в детском доме, куда был отправлен после расстрела отца; когда я попросил о следующей встрече (я тогда готовился к роману «Майор Вихрь»), он ответил согласием, написал свой телефон на улице Грановского, попросив при этом никому его более не передавать.

Позвонил я ему, однако, только через год: то он уезжал на курорт, то я шастал по стране, работая в архивах.

Первый раз я поднялся к нему на Грановского, когда Полины Семеновны не стало уже; мы сидели в маленьком кабинете Молотова, обстановка которого напоминала фильмы тридцатых годов: кресла, обтянутые серой парусиной, стол с зеленым сукном, маленький бюст Ленина, в гостиной — книги в скромных шкафах, китайский гобелен и портрет Энгельса в деревянной рамке.

Молотов рассказал ряд эпизодов, связанных с январем сорок пятого, когда Черчилль обратился к Сталину за помощью во время Арденнского наступления немцев, дал анализ раскладу политических структур в тот месяц — как он ему представлялся; потом, улыбнувшись, заметил, что в то время Сталин уже практически «не затягивался, набивал трубку «Герцеговиной Флор», но табаком лишь пыхал». Не знаю почему, но именно тогда я и решил спросить его о Макиавелли.

Молотов цепко обсмотрел меня своими глазами-буравчиками, снял на мгновение пенсне, потер веки и ответил четкой формулировкой:

— Увлечение Макиавелли симптоматично, ибо свидетельствует о сползании в реакцию.

...Я уже знал тогда, что в тридцать шестом году какое-то время позиции Молотова были шатки, поскольку ни Каменев с Зиновьевым, ни Ольберг не назвали его имя в числе тех, кто «подлежал уничтожению»; были перечислены практически все ближайшие соратники вождя — Н. И. Ежов, Г. К. Орджоникидзе, К. Е. Ворошилов, Л. М. Каганович, но Молотова среди них не

было. Лишь после того, как был убит Серго, и Молотов после этого выступил на февральско-мартовском Пленуме ЦК, его имя уже было включено в список будущих «жертв» на втором процессе по «делу» Пятакова.

Знал я тогда и то, что над Молотовым собрались тучи и накануне смерти Сталина: жена арестована как «враг народа», а сам он оттерт на третий план группой Маленкова — Берия. Поэтому меня потрясала та нескрываемая нежность, с которой он произносил имя Сталина; нежность была какой-то юношеской, восторженной, она даже несколько выпячивалась им, хотя Молотов, казалось, не был человеком позы.

— А как Сталин относился к Макиавелли? — спросил я, несколько опасаясь его реакции, ибо рискованная пересекаемость имен подчас вызывает в политиках (особенно с приставкой «экс») непредсказуемую реакцию.

Молотов ответил сдержанно:

— Сталин понимал, как чужд самому духу нашего общества строй мыслей этого философа. Сталин говорил правду, а Макиавелли всегда искал путь, чтобы ложь сделать правдой, — и, помедлив мгновение, он заключил: — Впрочем, порою наоборот...

...Первый том Собрания сочинений Макиавелли был издан «Академией» в Москве и Ленинграде крошечным тиражом в тридцать четвертом году; второй том так и не опубликовали, поскольку предисловие было написано Каменевым, а его — вскоре после убийства Кирова — арестовали. Хотя в предисловии Каменев и подчеркивал, что одна из порочных идей Макиавелли состоит в отторжении морали от политики и что — следуя флорентинцу — высший смысл человеческого существования заключен лишь в работе во благо государства, но при этом советовал помнить: идеал государства — это республика; Древний Рим дал пример такого сообщества, где каждый гражданин вдохновенно сражался и отвечал за престиж и достоинство родины, поскольку имел на то право, гарантированное Законом; однако Республика становится фикцией, если власть убивает в народе добродетели и личное достоинство, предпочитая править страхом и террором.

Будучи по образованию теологом, Сталин знал толк в осмыслении заложенного между строк; он считал что выпуск тома Макиавелли с предисловием Каменева направлен против него, дирижера начинавшегося террора.

Именно поэтому во время процесса Каменеву и было поставлено в вину — наравне с подготовкой покушений и антисоветской борьбой — издание книги Макиавелли.

Сталин достаточно долго думал и о том, чтобы вписать в показания Зиновьева фразы о «вредительской» книге Займовского «Крылатое слово» с предисловием того же Каменева, который утверждал: «Автор далеко не в достаточной степени использовал нелегальную, подпольную прессу эпохи царизма, а также крылатые слова, созданные революционной эпохой. Но это не личная ошибка автора, а скорей наша общая беда. Можем ли мы сказать, что в должной мере изучили — или хотя бы изучаем — подпольную прессу, ее историю, ее сотрудников, приемы, язык? Конечно нет!»

Сталин прекрасно понимал, что если — следуя Каменеву — читатели начнут «изучать подпольную прессу», то в массе своей пришлось бы упоминать имена тех революционеров, которые ныне, по его, Сталина, указанию, были объявлены «врагами народа».

Именно поэтому каменевское предисловие к «Крылатым словам» и не было упомянуто на процессе: еще далеко не все книги были запрещены и изъяты из библиотек, еще не до конца была убита память — надо ждать.

Нельзя было вспомнить и «Замогильные записки» Печерина, изданные также с помощью Каменева. Как поставишь ему в вину книгу блестящего профессора университета, сбежавшего на Запад в 1837 году, если придется зачитывать отрывки из нее?!

Каково Генеральному прокурору Вышинскому процитировать: «Я был уверен, что если б я остался в России, то... попал бы в Сибирь ни за что ни про что. Я бежал не оглядываясь, чтобы сохранить в себе человеческое достоинство!»

(Поди додумайся, царский цензор, что Лермонтов дал своему любимому герою имя первого беглеца из России! Поди разгадай писательскую хитрость: поставь две точки над «е», — и вся недолга, — «Печёрин», а не изменник «Печерин»!)

Искусству или умению изучать русскую прозу следует помогать компьютерами, хотя, думается, даже компьютер не сможет подсчитать все те трагические компоненты отчаяния, надежды, мольбы, страха, любви, что рвали

сердца тех литераторов, кому господь дал ум, — от него у нас горе, от чего ж еще?!

...Впрочем, определенные выводы во время подготовки процесса своих бывших друзей Каменева и Зиновьева были сделаны: Сталин запретил издание «Бесов» и «Дневника писателя», как и переиздание Макиавелли, не говоря уже о запрете публикации ряда работ Энгельса о русской истории, с одной стороны, а Соловьева — с другой.

...Среди режиссеров, которых Сталин высоко ценил, был и Чиаурели; тот подробно рассказывал ему о «технологическом процессе» создания фильма; поэтому Верховный узнал, что в документальных лентах «дублей» не делают — на то они и документальные, одно слово — «хроника».

Большакову — при очередной встрече — Сталин заметил: «А этот ваш режиссер, что снимал в Грановитой палате, смелый человек... Таких бы и посылать на самые боевые участки — не подведет».

Киселев, однако, выжил, судьба не дала ему погибнуть, хотя должен был: «макиавелли» страшны не только в политике, но и в кино.

Александра Воинова от ареста спасло ранение; когда его все же нашли, он лежал в госпитале, думали — не поднимется.

А — поднялся.

7

Летом сорок второго Сталин — после разговора с Черчиллем — затребовал гитлеровскую кинохронику, подчеркнув, что хочет видеть «все, а не цензурированные огрызки, мне политконтроль не нужен».

Просмотрев сцены восторженного приема, устроенного солдатами и офицерами вермахта фюреру в непосредственной близости от линии фронта, он вызвал народного комиссара внутренних дел Л. П. Берия:

— Вашей службе были заранее известны даты приезда Гитлера в окопы?

Берия ответил, что прилет Гитлера на фронт был совершенно неожиданным, заранее не подготовленным, некий экспромт, лишь поэтому «мои люди из Швейцарии не успели нас проинформировать».

— И это вам представляется нормальным? — спросил Сталин. — Разведка, которая «не успевает проинфор-

мировать», недорого стоит... Ваш либерализм по отношению к арестованным, когда вы прилетели в Москву, в тридцать восьмом, был оправдан: тот, кто сменил Ежова, обязан быть справедливым... Думаете, мне не писали, что вы санкционировали слишком много пересмотров дел? Полагаете, не сигнализировали, что на Особом совещании вы предлагали давать обвиняемым минимальные сроки вместо максимальных? Но преступно считать, что либерализм — по отношению к бездельничающим нелегалам, которые отдыхают в Женеве, — в дни битвы народов допустим и оправдан.

Сталин медленно поднял на Берия побелевшие глаза — явный признак раздражения; когда Верховный был в гневе, зрачки исчезали, словно бы растворяясь в размытой желтизне.

...Впервые Берия заметил это, окончательно перебравшись в Москву. Ночью, после долгого разговора о том, как следует *выбрать* из Германии нелегалов, чтобы не раздражать Гитлера после заключения договора о дружбе, Сталин неторопливо походил по кабинету, потом достал из стола бумагу — листочек в клеточку, исписанный четким и, как показалось Берия, детским почерком.

— Ознакомьтесь, — сказал Сталин, кивнув на письмо.

Берия протер пенсне замшевой тряпочкой, которую постоянно носил в левом нагрудном кармане, взял листок, пробежал строки, опустив первые, обязательные, в которых говорилось о том, что Сталин — честь, ум и сердце страны, великий гений, друг всех обездоленных и все в этом роде. Остановился на третьем абзаце: «Когда нашего замечательного дирижера, народного артиста Грузии Микеладзе привезли в кабинет Берия Л. П., он уже был слепым, потому что во время допросов у него выбили глаза, требуя признания в том, что он вместе с поэтами Паоло Яшвили и Тицианом Табидзе входил в диверсионно-шпионскую группу, руководимую из Парижа лидером меньшевиков Ноем Жордания и неким полковником гестапо.

Микеладзе *втащили* в кабинет тов. Берия Л. П., и тот сказал:

— Дирижер, вас изобличили подельцы, у нас достаточно материалов, чтобы расстрелять вас и без официального признания! Но неужели вы не хотите облегчить совесть, выскоблить себя перед народом?!

— Товарищ Берия, — ответил великий музыкант,

я ни в чем не виноват, и вам об этом прекрасно известно!

— Откуда ты узнал, что я — Берия?! Ты же слеп!

— У меня абсолютный слух, Лаврентий Павлович. Я узнаю любого человека по голосу...

И тогда Берия Л. П. сказал тем, кто привез к нему гения грузинского народа:

— Так вбейте ему гвозди в уши, чтоб он не мог никого узнавать по голосу!

И это сделали с Микеладзе. И Родина потеряла одного из лучших своих сынов...»

Берия, выгадывая время, начал читать письмо второй раз, но Сталин сказал:

— Положите бумагу, ее незачем читать дважды... Написанное — правда?

Берия мгновенно просчитал, что, если Сталин вызовет сюда тех трех, что присутствовали в кабинете во время *беседы* с Микеладзе, они неминуемо *развалятся*. Поэтому отвечать надо правду, *замотивированную* правду.

— Да, — ответил Берия, — это правда, товарищ Сталин... Микеладзе, Яшвили и Табидзе прилюдно обсуждали вопрос о том, как я «перекроил историю, приписав Сталину те революционные заслуги, которых он не делал». Более того, они говорили, что «убийство Авеля Енукидзе и Камо санкционировано Сталиным, который убирает тех, кто работал на Кавказе в начале века»... И еще: они повторяли слова бывшего полицмейстера Басилашвили, который рассказывал, что якобы «Сталин был впервые арестован не как пламенный революционер-ленинец, но как... некий Робин Гуд, дерзко грабивший богатеев. И только в тюрьме, под воздействием Ладо Кецховели, он примкнул к социал-демократии и с тех пор занимался экспроприациями для партии»...

— Вам более, чем кому бы то ни было, известно, откуда идет эта сплетня... Меня не волнуют сплетни, я их о себе слышал немало... Меня волнует другое: как могло случиться, что информация о факте с Микеладзе, — Сталин кивнул на письмо, лежавшее на столе, — стала известна людям? Да, да, людям, Берия! Многим людям! Думаете, в отделе писем ЦК об этом не говорят?! В их семьях? В семьях их друзей?! Думаете, об этом не говорит Грузия? Меня во всем этом деле меньше всего интересуете вы! Меня беспокоит престиж моих коллег, которые рекомендовали Берия на пост наркомвнудела...

Словом, я даю вам три дня для того, чтобы этот факт, — он снова брезгливо кивнул на письмо, — перестал быть фактом... Если что-то делаете — доводите до конца. У нас в России грузинские *штучки* не проходят, Берия. Ясно?! Или, может быть, вы такого рода всепозволенностью решили похвалиться своей близостью к Сталину? Особенно после того, как выпустили книгу об истории большевистских организаций Закавказья?! Может быть, это не случай, а организованная комбинация?! Может быть, вы забыли, что накануне следствия по делу Каменева было принято постановление, запрещавшее пытки оппозиционеров?!

Берия опустил глаза, боясь, что Сталин *прочтет* его: всем было прекрасно известно, что два года Каменева и Зиновьева кормили соленой рыбой, не давали воды и держали в камерах, где даже в жару топили печки... Зиновьев валялся на полу, начались печеночные колики, на этом его и сломили, потом сдался Каменев, о каком *постановлении* говорит Коба, он же знает все, абсолютно все!

Вот тогда впервые Берия и затаил ненавидящий ужас к этому человеку, задавленный, однако, неподвижной плитою магического преклонения перед ним.

И вот сейчас, спустя три года, походив по кабинету, Сталин раздраженно бросил:

— Во-первых, всю радиосвязь с вашими нелегалами необходимо прекратить начиная с сегодняшнего дня... Вплоть до моего указания... И, во-вторых, послезавтра я выезжаю на фронт, в район Ржева, пусть Серов подготовится...

...Он никому не верит, подумал Берия; он запретил связь с резидентурами, чтобы мы не передали им о его выезде из Москвы, он не дал мне время на подготовку, чтобы *факт* его поездки не стал известен кому бы то ни было. И Ржев выбрал не зря: видимо, именно для беседы о положении на Северо-Западном фронте он вчера вызывал не только Штеменко, но и Шапошникова с Голиковым, которые привезли оттуда двух командармов.

...Наутро генерал Иван Серов отправил под Ржев эшелон с батальонами охраны — «для проведения маневров в условиях боевой обстановки»; вызвал в штаб всех особистов фронта: «Необходимо обсудить вопросы, связанные с переформированием частей особого назначения».

В тот же день в Ржев прибыло еще три эшелона: охрана начала патрулировать все большаки и проселки в радиусе ста километров.

А назавтра туда приехал Сталин; его отвезли на окраину разбомбленного города и поселили в одном из чудом уцелевших домиков; Серов извинился:

— Товарищ Сталин, беда с водопроводом... Туалет во дворе, там же и умывальник...

— А где, по-вашему, оправлялся Сталин в Туруханском крае? — усмехнулся Верховный. — В ванной комнате?

Утром он вышел из просторной избы; отправился к рукомойнику, прикрепленному к старому вязу. Неторопливо намыливая руки, тщательно вымыл их, потом лицо; больше всего любил земляничное мыло; впервые пользовался им в Берлине, в девятьсот седьмом году, когда, в частности, помогал Литвинову и Красину готовить операцию по спасению Камо из тюрьмы... Золотой был человек Камо, таких больше нет; трагично, но его уход был угоден истории, ибо он знал *все*; тем более, просился к больному Ленину именно в то время, когда тот искал союза с Троцким против него, Сталина. Несмотря на то что завещание Ленина было запечатано в пяти конвертах, генеральный секретарь знал о его содержании; жена, Надя Аллилуева, работала в секретариате Ильича, там об этом говорили, дважды обмолвился Каменев.. Сделать подарок Троцкому, разрешить ему узнать свое прошлое — недопустимо; именно Берия тогда и доказал впервые свою преданность, именно он организовал *трагедию* с Камо, больше доверять в ту пору было некому. Риск? Еще какой, но положение было безвыходным: с одной стороны — теоретик Троцкий, с другой — он, Сталин, связанный с экспроприациями, хорош генеральный секретарь, ничего не скажешь...

...Вытирая лицо мягкими прикосновениями крахмального вафельного полотенца, Сталин заметил двух парней из охраны в однотипных коричневых плащах и кепках такого же цвета — с длинными полуквадратными козырьками.

— Кто это? — не оборачиваясь, спросил Сталин.

Серов, кашлянув, ответил:

— Охрана, товарищ Сталин.

— Это называется не охрана, — Верховный неторопливо обернулся; лицо бледное, глаза щелочками, — это намеренная дешифровка — вот как это называется...

Любой гитлеровский лазутчик за версту увидит этих загримированных остолопов и сообщит в свой центр... Убрать их всех немедленно...

— Слушаюсь, товарищ Сталин!

Проводив Сталина к завтраку, Серов бросился к ВЧ, соединился с Берия.

— Охрану не снимать, — отрезал тот. — Наверное, поставил в оцепление рослых, а ты найди маленьких, вроде тебя, пусть на корточках ходят.

(Спустя семь лет, во время съемок очередной картины о Сталине, заехавший на «Мосфильм» Роман Кармен увидал поразительную картину: народный артист Советского Союза Геловани, утвержденный решением Политбюро для исполнения роли генералиссимуса, шел перед камерой, а за ним, на корточках, семенили Зубов, игравший Молотова, и Толубеев, исполнявший роль Ворошилова. Изумленный Кармен спросил Чиаурели: «Миша, в чем дело?!» Тот ответил шепотом: «Никто не имеет права быть выше Сталина». Видимо, об этом стало известно генералиссимусу, потому что он вызвал министра кинематографии Большакова и сказал: «Сталин — русский человек, и играть его надлежит русскому. Мне нравится Алексей Дикий... Товарищ Каганович находит, что мы похожи, пусть он играет Сталина в новых картинах».

Превозмогая дерзостный страх, Большаков ответил: «Но ведь Дикий был в свое время репрессирован, товарищ Сталин!» — «В свое время я тоже был репрессирован охранкой, — Сталин усмехнулся. — А ведь — ничего, народ простил...»)

...После первого совещания с командующими армией Сталин, перед обедом, снова вышел мыть руки и заметил коротышек, ходивших по улице.

— Серов, — сказал Сталин негромко, — если вы сейчас же не уберете всех этих дармоедов, которые только привлекают ко мне внимание, вам и Берия не сдобровать. Так ему и передайте.

...Ночью два батальона охраны были загружены в теплушки, но в Москву тем не менее не отправлены.

На следующее утро, убедившись, что вокруг дома нет никого, кроме взвода автоматчиков, Сталин, усмехнувшись, сказал:

— А вечером давайте-ка поедем поближе к линии фронта.

...Всю ночь разведка искала хоть один несгоревший

дом примерно в пятидесяти километрах от передовой; нашли; хозяевам было сказано, что приедет «генерал-майор Иванов, остановится на одну ночь, не могли бы переночевать в соседской землянке?».

Здесь, в избе, Сталин и провел совещание с четырьмя комдивами — эти донесут до солдат правду о том, что он, Верховный, был на передовой, но без трезвона, шумихи и пропагандистских штучек, а скромно, как и надлежит вести себя соратнику Ленина, продолжателю его великого дела.

Ящик вина привез начальник его охраны Власик, он же и откупоривал бутылки, угощая молодых генералов «саперави» и «хванчкарой».

За обедом Сталин шутил, расспрашивал комдивов об их семьях, рассказал, как он со Свердловым и Каменевым жил в ссылке, — изба походила на эту; генералы замерли, услыхав в устах Сталина фамилию Каменева, — он говорил о нем спокойно, как о здравствующем и поныне партийце, а не шпионе... Вспомнил и Троцкого: он был маневренным военным, в этом ему не откажешь.

Попрощавшись с гостями, Сталин попросил Власика закрыть бутылки пробками: «Не люблю, когда вино выдыхается... В Грузии тщательно следят, чтобы пробки были хорошо пригнаны, пора бы и нам этому научиться».

Наутро, едва только рассвело, Сталин проснулся, с видимым удовольствием вымылся во дворе, сказал, что время возвращаться в Москву, и поинтересовался:

— Серов, где хозяева этого дома?

— Они ночевали у соседей, в землянке, товарищ Сталин...

— Вы их как-то поблагодарили за это?

— Нет.

— Это плохо, Серов. Очень плохо... Человек, лишенный чувства благодарности, бездуховен... Конечно, особенно баловать крестьян не следует, но отмечать доброе дело — должно... Дайте им в подарок от генерала Иванова денег...

— Слушаю, товарищ Сталин... Сколько?

— Сто рублей, пожалуй, слишком много, — задумчиво ответил Сталин. — А вот тридцать передайте им от меня — в хозяйстве пригодится...

В ту пору буханка хлеба на рынке стоила пятьсот рублей...

По нынешнему пересчету цен этот подарок крестьянской семье выразился бы тридцатью копейками...

8

После того как операция «Багратион» с блеском закончилось, Советская Армия вышла к границам тридцать девятого года. (Константин Симонов, когда я спросил, отчего он не продолжил «Солдатами не рождаются», усмехнулся: «Я воевал за освобождение моей Родины. Все, что произошло потом, — новый цикл, с иными героями и потаенными целями, но писать его будет кто-то другой».)

Сталин пригласил на Ближнюю дачу маршалов, — решил устроить в их честь ужин.

Когда все съехались, Сталин приветствовал гостей в холле, пожал каждому руку; остановившись перед Рокоссовским, задумался на мгновение, молча повернулся и вышел; военачальники переглянулись; Жуков ободряюще кивнул: «Сейчас вернется».

Сталин действительно вскоре вернулся с букетом роз, протянул их Рокоссовскому, глухо кашлянув:

— Это за то, что ему больше вас всех досталось.

Понимать эту фразу можно было двояко: либо Сталин говорил о тяжести боев (хотя Жукову доставалось не меньше), либо о том времени, когда маршала таскали на допросы, выбивая показания о принадлежности к «банде троцкистско-бухаринских шпионов и диверсантов».

Потом Сталин пригласил маршалов во двор, где стол был накрыт по-кавказски, под полосатым тентом; дымились карские шашлыки на углях, жарилась молодая козлятина, на старинных сковородках, привезенных с Кавказа, шипел желто-сливочный сулугуни.

Вино было из Тбилиси; бутылки опечатаны особым сургучом, что означало: «проверено, соответствует кондиции»; ЛСУК — «Лечебно-Санитарное Управление Кремля» — проверяло все, что подавалось на стол Верховному; потом, впрочем, была еще одна проверка, негласная, контролировавшая заключение медиков. Был на столе и коньяк «Варцихе»; водки стояло всего две бутылки (Сталин ее не пил, но знал, что Толбухин и Конев коньяк не очень-то любят, пусть себе порадуются «белой»).

Ужин удался на славу; хороший тост произнес Берия; он знал, что тост этот нравится Сталину, поэтому разыгрывал его в лицах: «Однажды юноша зашел на

старое кладбище в горах и подивился надписям на крестах и могильных плитах: «Гиви Кварцхава, родился в девятисотом году, умер в девятьсот пятнадцатом, жил тринадцать лет»; «Ладо Гудиани, родился в восемьсот сорок пятом, умер в девятьсот двадцатом, жил сорок два дня...» Что такое, думает юноша?! Как такое может быть?! А навстречу ему шел седобородый мудрец в белых одеждах, с посохом. И обратился к нему юноша: «Скажите, уважаемый, отчего такие странные надписи на крестах?» — «Оттого, сын мой, — ответил седобородый мудрец, — что возраст людей в этом краю определяется не годами, прожитыми на земле, но часами дружбы!» Так выпьем же за дружбу наших маршалов, выдающихся военачальников эпохи гениального стратега наших побед Сталина!»

Рассказал свой любимый анекдот и Молотов: «Мужчина был в гостях, постоянно прикладывался к рюмочке, а жена, как и полагается всем женам, удерживала его: не надо да не надо! В конце концов она взмолилась: «Ну хоть съешь что-нибудь! Вон, смотри-ка, хорошая булочка!» Ее муж покорно съел булочку и сразу же обвалился со стула, прошептав при этом: «Это твоя булочка виновата!»

...Потом плясал Буденный.

Ах, как он плясал в восемнадцатом, когда собирались узким кругом; как *шел* Ворошилов; как же быстролетно время, как неудержимо уходит оно, словно песок сквозь пальцы...

...Сталин чувствовал, что вечер удался; редкое состояние спокойствия размягчило его, он откинулся на спинку кресла, чуть вытянул ногу и с прищурливой доброжелательностью обсматривал лица гостей: все *свои*, никакой затаенности, недоговоренности; случилось то, чего он столько лет добивался: наконец-то окружен гвардией, не кто-либо, но именно они передадут поколениям правду о том, что он, Сталин, сломал шею гитлеризму; конец — всему делу венец! Это еще надо будет посмотреть, по чьей вине случился сорок первый год; не сейчас, конечно, сейчас нельзя мешать людям делать их дело, но придет время, и мы найдем истинных виновников трагедии. Генерал Павлов — что? Сошка, мелюзга... Ворошилов не зря рассказывал, как он нашел его в Белоруссии, в июле, на проселке, под дубом, — ноги солнцу подставил, портянки сушил на глазах у всех...

«А я ведь читал твои *донесения*, которые ты против меня сочинял, Павлов, — сказал ему тогда Клим. — Ты ведь *сигнализировал* на меня, псевдонимом подписывался, хотел под монастырь подвести, нехорошо...»

...Перед тем как пришло время разъезжаться, после того как все произнесли тосты за Верховного, Берия попросил слова; Сталин несколько удивился — это не в обычаях *стола* просить второй тост, тем неменее посчитал неудобным отказывать, военные могут этого не понять, у них свое представление о тех, кто на вершине пирамиды, нет смысла это представление менять. Сейчас время устойчивости, все — локоть к локтю, война требует единства...

— Товарищ Сталин, я предлагаю выразить благодарность вашим поварам, охране, всем, кто готовил сегодняшний стол, — Берия обернулся к тем, кто стоял у мангалов, — наши грузинские янычары верны вам, как никто!

Сначала Сталин поднял свой бокал, но потом заметил, как Жуков и Конев, обернувшись, следом за Берия внимательно рассматривали поваров и охрану — рослые грузины, в основном голубоглазые, видимо мегрелы, лица счастливые, вот-вот заплачут от гордости: сентиментальность — гарантия фанатичной преданности.

Сталин поставил бокал на место, лицо собралось старческими морщинами и, не глядя на Берия, а словно обращаясь ко всему столу, сухо посмеялся:

— Значит, грузины Сталина любят и верны ему... Хм... А что русские? Любопытно, как они относятся к Сталину?

Через три дня, перед тем как маршалы разъезжались по своим фронтам, Сталин неожиданно устроил прощальный обед: ни одного грузинского повара не было; стол обслуживали рослые охранники — все как один русские.

Сталин постоянно наблюдал за Жуковым и Коневым, за их реакцией; однако ни один из маршалов попросту не обратил на это внимания.

«...А Троицкий бы понял, — подумал Сталин. — Все-таки разница между профессионалами, техниками войны, и политиком весьма значительна».

...Грузин, однако возвращать в Москву не стал: то что сделано, — сделано, нельзя менять решения, интеллигентщина, слава богу, ушла в прошлое и, полагаю, никогда не вернется.

9

Звонок в секретариат Молотова раздался рано, в девять тридцать:

— Американский посол Аверелл Гарриман просит соединить его с министром иностранных дел.

— Министр проводит совещание.

— Когда вы сможете соединить посла с министром?

— Я затрудняюсь дать точный ответ. Пожалуйста, позвоните в двенадцать.

...Помощник Молотова был предупрежден заранее, что с утра будет звонить Гарриман, ибо уже в восемь подписчики получили «Литературную газету» со статьей лауреата Сталинской премии Бориса Горбатова — «Человек в коротких штанишках». Заголовку было предпослано слово, разверстанное на три колонки: «*предатели*». Речь в статье шла о президенте Соединенных Штатов Америки Гарри Трумэне, главе дружественного — согласно действовавшему тогда Договору — государства.

Молотову было дано указание уклониться от встречи с Гарриманом под любым удобным предлогом; указание пришло от Сталина прошлой ночью.

...Помощник посла звонил в приемную министра иностранных дел до трех часов; в три тридцать Гарриман сам набрал номер секретариата Сталина; по-русски произнес чеканную, нескрываемо резкую, заранее подготовленную фразу:

— Прежде чем я дам рекомендации правительству Соединенных Штатов по поводу известной вам публикации, мне казалось бы необходимым встретиться с маршалом.

(«Генералиссимусом» Сталина никогда не называл только «маршалом», отговариваясь тем, что привык к его званию во время войны — с одной стороны, и — с другой — ему бы не хотелось аллюзий: тиран Испании Франко тоже генералиссимус, как и Чан Кайши, главный противник Мао, верного ученика русского лидера.)

— А почему бы вам не встретиться с Молотовым или Вышинским? — спросили Гарримана, заранее зная, что он откажется от этого предложения, протокол не позво-

ляет, — слишком долго унижали отговорками.

— К сожалению, я не могу более ждать, пока господа Молотов или Вышинский найдут время для встречи с чрезвычайным и полномочным послом Соединенных Штатов. Просил бы доложить маршалу, что встреча с ним была бы в высшей мере целесообразной, — в интересах двух наших народов.

Сталин дожидался именно этих слов Гарримана: игра, начатая в конце прошлой недели, входила в свою завершающую фазу.

Во-первых, он, Сталин, поручил сделать публикацию о *предателе* Гарри Трумэне, президенте Америки, не кому-нибудь, а Борису Горбатову, еврею по национальности. Поскольку в Штатах во время войны значительно увеличилось влияние еврейских кругов в прессе, можно рассчитывать, что далеко не все газеты за океаном выступят против публикации «Литературной газеты», а, наоборот, перепечатают пассажи из опуса Горбатова, особенно республиканцы, — выборы на носу, надо валить демократического кандидата Трумэна. Во-вторых, эта публикация есть не что иное, как пробный шар в переориентации не только советского народа, но и европейцев на нового противника, на человека, отринувшего идеи Рузвельта, а следовательно, и всей Большой Тройки, и, наконец, в-третьих, позиция Гарримана — после такого рода публикации — поможет выработать курс на будущее: как будет реагировать Вашингтон на сокрушительные удары такого и не только такого рода? Кампания в прессе? Пусть. У нас их прессу на читают. А если какого-то рода санкциями? Какими именно? Где? Как скоро? С другой стороны, предстоят серьезные события в России, время «братьев и сестер» военной поры прошло, надо кончать с неизбежным либерализмом, отмеченным печатью союзничества с Западом; поговорили — и будет, время работы, суровой дисциплины, абсолютного единомыслия, иначе Россию из руин не поднять, народ надо держать в руках, направляя и контролируя каждый шаг.

Работник секретариата Сталина сказал послу, что он доложит помощнику генералиссимуса о его звонке незамедлительно, попросил оставить телефон, пообещав связаться в течение десяти минут.

И — ровно через десять минут — перезвонил, пригласив господина Гарримана прибыть в Кремль в восемнадцать тридцать.

...Гарриман вошел в кабинет Сталина, зажав в правом кулаке номер «Литературной газеты», — тогда она выходила на четырех страницах, объемом «Известий»:

— Вы видели это, маршал?! — спросил он, вытянув руку с газетой.

— Здравствуйте, господин Гарриман, — поднявшись из-за стола, Сталин пошел ему навстречу. — Рад вас видеть, присаживайтесь, пожалуйста. Что будете пить?

— После этой статьи, — Гарриман кивнул на газету, по-прежнему зажатую в кулаке, — полагается пить коньяк за упокой наших союзнических отношений.

— Рискованно, — ответил Сталин. — Вам же предстоит составлять телеграмму в государственный департамент, давать рекомендации Белому дому... Неловко, если за океаном поймут, что вы делали эту работу нетрезвым... Что же касается номера «Литературной газеты», то я его прочитал лишь перед обедом...

— И каково ваше мнение?

— Видите ли, господин Гарриман, будь это напечатано в «Правде» или «Известиях», словом, в газетах, принадлежащих партии и правительству, — медленно, словно бы взвешивая каждое слов, ответил Сталин, — мы бы серьезно наказали главных редакторов за такого рода публикацию, можете мне поверить... Однако у нас в стране есть лишь одна газета, не подчиняющаяся ни ЦК, ни Совнаркому... Это газета Союза писателей... Конечно, если вы внесете официальный протест, мы еще больше ужесточим цензуру, еще более ужесточим политконтроль... Но ведь это именно то, за что нас так журят в вашей стране... Неужели вы хотите, чтобы мы завернули гайки?

Гарриман мгновение сидел, окостенев от гнева, а потом рассмеялся, поняв весь ужас того положения, в которое он себя поставил: неужели ему, представителю демократического мира, пристало просить тирана начать новые чистки?! Даже против тех, кто написал пасквиль о президенте? Если он, Гарриман, будет настаивать на этом, то, можно не сомневаться, кара свершится, но мир будет проинформирован, что это произошло по настоянию Соединенных Штатов...

— Мы не хотим, чтобы вы «заворачивали гайки», маршал. Да и потом, рано или поздно резьба может свернуться...

— У нас хорошая сталь, — ответил Сталин. — Мы верим в ее надежность... Тем не менее я обещаю выполнить

вашу просьбу: мы попросим компетентные органы, занимающиеся литературой, быть особо внимательными, кто может поручиться за то, что выкинут литераторы, благодарю вас за совет...

...Этот разговор произошел, когда Ахматова и Зощенко были уже «выброшены» из литературной жизни страны; предстояла кампания по травле «космополитов»; в большой политике мелочей не существует — думая о стратегии, не упускай из виду тактику...

10

В пятидесятых, во время обсуждения кандидатов на соискание Сталинских премий, Александр Фадеев в Кремль не явился.

— Где он? — спросил Сталин помощника.

Поскребышев ответил:

— Прихворнул.

Сталин усмехнулся: знал, что это слово обозначает известную слабость первого секретаря Союза писателей, случавшуюся с ним во время стрессовых ситуаций.

— А Тихонов где? — поинтересовался он, продолжая медленно прохаживаться по кабинету — согбенный, в мягких кавказских ичигах; брюки с маршальскими лампасами заправлены трубочками, военный френч обвис, словно стекая с сутулых старческих, очень узеньких плеч.

— Болен, — ответил Поскребышев.

— Что, и этот *страдает*? — спросил генералиссимус.

— Нет, нет, простуда, — ответил Поскребышев, — ему не разрешили приехать врачи, боятся, не носитель ли бацилл...

— Бациллы не носят, — заметил Сталин. — Они слишком маленькие для этого. Носят заразу, так говорят по-русски, пора бы выучить родной язык...

...Он никогда не мог забыть, как Поскребышев *вполз* к нему в кабинет на коленях, зажав под мышкой список, присланный Берия: среди тех, кого надлежало *устранить*, он, Поскребышев, работавший со Сталиным четверть века, увидел имя своей жены.

— Товарищ Сталин, за что?! — шептал он, продолжая ползти по желтому паркету. — За что, товарищ Сталин?!

Сталин дождался, когда Поскребышев подполз к нему вплотную, протянул руку; тот поднял голову — губы трясутся, слезы катятся по щекам, — подал список, словно челобитную, только что лбом об пол не бил.

Сталин просмотрел несколько страниц (на этот раз список на ликвидацию был довольно коротким, всего четыреста тридцать человек), вздохнул, покачав головою:

— Позвони Берия, скажи, я согласен... И не плачь... Мы тебе русскую жену найдем... Русские — вернее... Она тебя слушаться будет... Она — тебя, а не ты ее... А если не согласен — борись, пиши в ЦКК, будем разбираться...

Через час он снова вызвал Поскребышева. Тот был бледен, но глаза сухие; принес доклад финансиста Зверева о заработках ряда писателей; Сталин просмотрел докладную, глухо спросил:

— Где Зверев?

— В приемной.

— Письмо о жене сочинил?

— Нет, товарищ Сталин.

— Почему?

— Потому что ваша воля — это воля народа...

Сталин покачал головой:

— Я человек маленький, Поскребышев, нечего из меня делать монарха... Я всего не знаю и знать не могу, но я верю моим коллегам по работе, что и тебе советую... Пригласи Зверева...

Когда тот вошел, Сталин, не предложив ему сесть, рассеянно кивнул в ответ на слова приветствия министра и продолжал медленно перелистывать страницы докладной записки о гонорарах.

— Значит, считаете, — негромко заметил он, — у нас появились писатели-миллионеры? Ужасно... Писатели-миллионеры, — он перевернул еще одну страничку, пробежав столбцы цифр. — Писатели-миллионеры... Хм... Ужасно, а, Зверев? Миллионеры-писатели...

— Да, товарищ Сталин, это ужасно.

Сталин поднял свои рысьи глаза на министра и протянул ему папку:

— Ужасно, что у нас так мало писателей-миллионеров, Зверев... Писатели — это память нации! А что они напишут, если будут жить впроголодь? Финансы — это политика. А вы мыслите как завистливый крестьянин, считающий заработки усердного соседа, который не самогон пьет, а работает от зари до зари вместо того, чтобы на собраниях глотку драть...

Снова вызвал Поскребышева, предварительно посмотрев на стенные часы; попросил чая; тот вернулся через десять минут с маленьким подносом — стакан на блюдечке, три кусочка сахару и два обязательных сухих печенья. Обходя стол, Поскребышев ноги поднимал высоко, *словно страус.* (Сталин усмехнулся: помощник начал ходить так в сорок четвертом. У Сталина тогда сидели Жуков и Рокоссовский. Поскребышев вошел в форме генерал-лейтенанта, надел впервые в жизни, только-только сшили в спецателье на Пятницкой. Сталин заметил, как переглянулись Жуков и Рокоссовский: в их глазах ему почудилась издевка; он снова вызвал Поскребышева и попросил разложить на его письменном столе карту — обычно с такой картой работали на длинном столе заседаний. Поскребышев аккуратно расправил клееное полотнище, повернулся, чтобы уйти, и в этот момент Сталин стремительно выставил ногу; Поскребышев неловко споткнулся, чуть не упал; не разжимая рта, Сталин сухо посмеялся:

— Что ж ты, Поскребышев? Генерал, а на ровном месте спотыкаешься?

С армией в ту пору нельзя было не считаться; пусть маршалы сделают свое дело, там видно будет: стратегия и тактика — вопрос вопросов любой политической комбинации; мы, русские, не можем без вождя, без живого бога, так уже мы скроены, но кто знает, что в голове у каждого из нас? Должность бога — заманчива, однако далеко не каждый понимает свою ответственность перед будущим, мы, русские, больше привержены размышлениям о прошлом, вот в чем опасность...

Через двадцать минут Поскребышев вернулся — Верховный попросил убрать карту; был в своем обычном костюме — сталинка, зеленые брюки, заправленные в белые фетровые бурки на мягкой подошве, чтобы шуму не было, когда идешь по паркету, потолки-то высокие, звук *шлепает,* мешает вождю думать...

Жуков с Рокоссовским снова стремительно переглянулись, и Сталин увидел в их глазах нечто похожее на изумление; той издевки, которая почудилась ему ранее, не было и в помине...

Генералиссимус пососал пустую трубку — новые медики, начавшие лечить его после ареста и разоблачения еврейских врачей-изуверов из «Джойнта», категорически отменили все те лекарства, которыми Сталина пользовали врачи, лечившие его с начала двадцатых годов; потре-

бовали провести новые обследования, перешли на качественно новые медикаменты; запретили табак. Сталин, выслушав рекомендации, рассердился: «Братья Коганы и Вовси вытащили меня из инфаркта и инсульта, но отчего-то не требовали ломать привычный ритм! Зачем насиловать волю человека?!» Тем не менее курить прекратил — дисциплина, прежде всего дисциплина, если ты начал комбинацию с врачами, чтобы сделать Средиземное море русским, — следуй ей до конца; стратегия и тактика, ничего не попишешь...)

— Хорошо, а кто же будет докладывать вопрос о премиях? — спросил Сталин. — Видимо, товарища Фадеева не волнует судьба писателей и артистов, которые ждут награды за свой труд? Или он обиделся на мои замечания?

...На прошлом заседании Сталин спросил Фадеева, известно ли ему, что один из выдвинутых им, первым секретарем Союза, на премию литераторов с русской фамилией — на самом деле является евреем?

Фадеев ответил, что ему известно об этом, но ведь партия учит пролетарскому интернационализму, важно, чьему делу служит творчество мастера, какой идее...

— А вам известно, что этот *мастер* был репрессирован в свое время как враг народа?

— Да, товарищ Сталин, — ответил Фадеев, — но мы знаем и то, что этот литератор прошел фронт, удостоен правительственных наград, ранен, искупил свою вину кровью...

— Смотрите, — усмехнулся Сталин, — вы внесли предложение, вам его и отстаивать...

Вот после этого-то разговора Фадеев и *занедужил.*

— Значит, следует понимать так, — несколько удивленно, словно себе самому, заметил Сталин, — что мы сегодня работать не сможем?

Поскребышев знал Сталина, как никто; он не торопился отвечать на его вопрос, потому что генералиссимус, спросив, повернулся и медленно пошел в угол, где стояли часы с вестминстерским боем; к окнам не подходил, хоть они и были затянуты белым шелком, сквозь него контур человека уловить нельзя, плотен.

Лишь когда Сталин обернулся, Поскребышев сказал:

— Прибыл ответственный секретарь комиссии Фадеева, товарищ Сталин. Его фамилия Кеменов.

Сталин остановился перед Поскребышевым, об-

смотрел его, словно видел впервые, и горестно вздохнул. (В день, когда он, Сталин, санкционировал устранение жены своего помощника, он не зря посмотрел на часы, заказав себе чай; обычно Поскребышев приходил со стаканом через шесть-семь минут, а в тот день вернулся через десять.)

Сталин тогда к чаю не прикоснулся, вызвал Кобулова, предупредив по телефону, чтоб прихватил «чемоданчик Генриха» (наркомвнудел Генрих Ягода в начале тридцатых годов занимался ядами и медициной), и попросил одного из самых близких помощников Берия взять на анализ чай, сахар и печенье. Тот позвонил через полтора часа: «Лаборатории сообщают: все чисто, товарищ Сталин». (С тех пор верил Посребышеву до конца: русский человек добр, не мстителен и быстро смиряется с судьбой — раз так надо, значит, надо, плетью обуха не перешибешь.)

— Кеменов, говорите? — Сталин недоуменно поднял плечи. — Ответственный секретарь?

И, обернувшись к столу, за которым сидели его коллеги по Политбюро, заметил:

— Накануне крушения Римской империи патриции предавались развлечениям, передав право управлять государством юным вольноотпущенникам. Похоже, а? Заседание отменяется...

...Неделю назад преемник Виктора Абакумова министр Игнатьев передал Сталину секретный отчет: людей, находящихся в лагерях, — двенадцать миллионов; членов семей врагов народа — «ЧСВН» — двадцать миллионов; крестьян, лишенных паспортов, — пятьдесят два миллиона; исследования по компьютерной кибернетике, которые он, Сталин, запретил финансировать Академии как «космополитическую псевдонауку», возглавляемую агентом «Джойнта», так называемым профессором Винером, ныне переведены в Штатах в промышленную разработку. Информация об успехах американцев — тревожна. Шумят о генетике в Америке — о лженауке Менделя и Моргана, замахнувшихся на основополагающую конструкцию Творца, — прямо-таки сногсшибательно, берут по семьдесят центнеров с гектара, а мы едва-едва скребем двенадцать...

Сталин чувствовал себя раздавленным и покинутым всеми — особенно после того, как прочитал отчет Игнатьева; все чаще думал о своем заместителе Вышинском...

Если бы процессы тридцать седьмого года провалились, прошел бы триумфальный суд над меньшевиком Вышинским, заговорщиком, внедрившимся в партию; именно они, меньшевики, организовали провокацию: ужас чисток, гонения ленинцев. Они, кто же еще?! Однако процессы Каменева и Бухарина прошли спокойно; победителей не судят, а поднимают; вот он и поднял Генерального прокурора... Что ж, если действительно *киберенетика* внесет переворот в военную науку на Западе, Вышинский как заместитель председателя Совета Министров получит свое, — меньшевики были, есть и будут врагами Советской власти, — намеренная ложь Политбюро, сокрытие правды, попытка ослабить оборонную мощь Родины... Да и один ли Вышинский выйдет на этот процесс в качестве обвиняемого?

...Через два дня Фадеев приехал в Кремль — бледный, отекший, без того огня в глазах, который так определял его облик.

Генералиссимус просмотрел список лауреатов Сталинской премии, протянутый ему Фадеевым, и поинтересовался:

— Здоровье поправилось? Врачи помогли?

— Да, — глухо ответил Фадеев, — теперь все в порядке.

— Вы берегите себя, Александр Александрович, — Сталин впервые назвал его по имени-отчеству — высшая степень расположения. — Вы нам нужны, мы вас ценим...

— Спасибо, — нахмурившись, ответил Фадеев.

Генералиссимус снова пролистал список и удивленно поднял голову:

— А где же ваш кандидат, которого вы так мужественно защищали?

— Значится сказать, товарищ Сталин, мы решили вычеркнуть его: действительно еврей... Сейчас, видимо, не стоит акцентировать эту проблему... Да и потом — был врагом народа, это и кровью не смоешь — навечно...

Сталин удивился:

— Разве? Странно... По-моему, одним из первых лауреатов Сталинской премии стал профессор Рамзин, а ведь в тридцатом мы его приговорили к расстрелу — диверсии, антисоветская деятельность, шахтинское дело, промпартия... Значит, Рамзин смыл прошлое? Или мы ошиблись? — Он обернулся к членам Политбюро, но ответа слушать не стал, продолжив: — И потом: что

значит «еврейская проблема»? У нас нет и не может быть такой проблемы... Космополиты? Да, проблема. Шпионский «Джойнт» — да, проблема. А еврейской проблемы нет и не будет. Как может быть еврейская проблема в стране, где существует Еврейская автономная область, родина всех советских евреев?! Будущая земля обетованная для всех наших евреев... В прошлый раз я выдвинул свои доводы, дискутируя предложенную вами кандидатуру лишь потому, что мне казалось целесообразным дать вашему подшефному Сталинскую премию третьей степени, но не второй, как настаивали вы... Есть возражения? — спросил Сталин членов Политбюро, вписывая фамилию писателя синим карандашом в *список*...

(Этот ненаписанный роман *заготовлен* на основании бесед с комендантом ДСК «Николина гора», вернувшимся из лагеря в 1955 году, — его брат был дежурным в приемной Сталина начиная с двадцатых, и генерал-лейтенантом Ильей Виноградовым, бывшим начальником разведки Третьего Украинского фронта, консультантом нашего с Ташковым телефильма «Майор Вихрь».)

11

В Гаграх, осенью шестьдесят четвертого, маршал Жуков — тогда уже уволенный — пришел посмотреть концерт мастеров эстрады; я сидел в двух рядах от него; после окончания представления я подошел к нему — тогда это было нетрудно, поскольку люди смотрели на него с почтением, но — издали, как-никак опальный, а у нас и лыко могут в строку поставить: «с кем контактируешь? по какому праву?!»

Я как раз заканчивал подготовительную работу к роману «Пароль не нужен», заново исколесил Сибирь и Дальний Восток — в поисках хоть каких материалов о расстрелянных маршале Блюхере, командарме Уборевиче и кандидате в члены Политбюро, комиссаре гражданской войны Постышеве; именно во время этой поездки мне и рассказали в Красноярске о трагической судьбе Кати, жены Рихарда Зорге, и некоего мальчика, якобы сына героя*.

Потому-то я и спросил маршала, что он помнит о

* Однако ветераны, знавшие Р. Зорге и его жену, утверждают, что сына у него не было, возможно, это был «приемыш» Кати, жены Зорге.

Рихарде Зорге, какие донесения произвели на него особое впечатление, как он оценивал его информацию.

— Я это имя впервые узнал из фильма «Кто вы, доктор Зорге?», — ответил маршал. — Ни одно из его донесений мне ни разу не докладывали...

В тот вечер он к разговору, видимо, расположен не был, сказал, как отрезал, продолжать вопросы было бы бестактностью; в голову, однако, запало: предвоенный начальник Генерального штаба Красной Армии ничего не знал о выдающемся военном разведчике РККА.

Заново анализируя ответ маршала, я отметил для себя, что он соотнес Зорге с названием фильма французского режиссера Ива Чампи: мы узнали имя героя не из материалов советской прессы, не из наших книг или картин, но из работы француза, да и то случилось это при весьма любопытных обстоятельствах.

Как в годы культа личности, так и во время «волюнтаризма», не говоря уже о «застойном периоде», зарубежные картины в первую очередь смотрели *наверху*; только после этого, в случае благожелательного отношения к фильму, комитет кинематографии получал указание приобрести ленту у продюсера.

И вот однажды Хрущеву привезли на дачу фильм Ива Чампи о внуке одного из руководителей Первого Интернационала Рихарде Зорге, который жил в Шанхае и Токио как корреспондент немецких газет, являлся при этом секретарем партийной организации национал-социалистической рабочей партии Германии в Японии, но был одним из самых выдающихся разведчиков нашей пролетарской диктатуры.

Посмотрев картину, Никита Сергеевич не без восхищения заметил:

— Вот как надо снимать! Сидишь как на иголках, а в наших фильмах сплошная тягомотина или барабанный бой, «ура-ура», смотреть тошно!

Среди приглашенных на просмотр был и тот, кто знал правду о Зорге; он-то и заметил:

— Так ведь это не вымысел, товарищ Хрущев, а чистая правда.

Никита Сергеевич даже изменился в лице, огромный лоб свело морщинами, глаза погасли; помедлив мгновение, он поднялся и, не говоря ни слова, отправился к аппарату прямой связи; позвонил генералам армии Захарову и Серову; те подтвердили — да, правда, был такой Зорге; на составление подробной *справки* попросили

время; Хрущев дал день; через неделю, не посоветовавшись ни с кем из коллег, продиктовал Указ Президиума Верховного Совета: Зорге стал Героем Советского Союза, хотя подписали указ уже после того, как Хрущева *скинули.*

Ходили слухи, что кое-кто возражал против этого акта (я имею в виду ближайших соратников Хрущева; впрочем, «соратниками» их называть рискованно), славя его прилюдно, они уже тогда готовили против него заговор.

Тем не менее с тех пор имя Зорге было канонизировано; не привези Хрущеву на дачу этот фильм Чампи или будь на месте Никиты Сергеевича другой человек, — так бы это имя еще на десятилетия оставалось вычеркнутым из нашей истории.

Впрочем, ни один вопрос никогда не остается безответным, тайное — рано или поздно — становится явным, сие — историческая аксиома.

...Через несколько лет после мимолетной встречи с Георгием Константиновичем Жуковым я уехал с моим другом доктором Кирсановым на приокские заливные луга — весенняя охота там была прекрасной, разрешали ее повсеместно и празднично.

Часов в десять, после того как отцвела зоря и солнце упало на табачный слой облаков, мы встретились с Кирсановым в условленном месте на лугу и побрели к нашей палатке.

Неподалеку горел костер, делавший луг тургеневским.

Мы подошли к трем охотникам, что грелись у огня.

Кряжистый человек с крупным, морщинистым, очень знакомым лицом спросил:

— Ну, как у вас дела? Был лёт?

Доктор Кирсанов, мой охотничий учитель, ответил, как и положено:

— Да так, болталась утка... Слабо... С тем, что было раньше, не сравнить.

Кряжистый рассмеялся:

— Значит, полный мешок набил, знаю я вас, хитрецов... Чаю, небось, хотите?

И тут я понял: да это же маршал Чуйков, Василий Иванович! Легендарный командарм, герой штурма Берлина... После того как Жукова сняли и он уехал к себе на дачу, откуда не выезжал многие месяцы, Чуйков опубликовал статью, в которой дерзко утверждал, что мог взять Берлин на несколько недель раньше, если бы

не запрет Жукова; тот, понятно, ответить не мог — у нас *бывший* не имеет права на слово, отрезанный ломоть...

...Чуйков кивнул сопровождающим, те протянули нам с Кирсановым по кружке крепчайшего чая; маршал поинтересовался, кто мы; представились; он нахмурился, вспоминая что-то, потом спросил, не я ли писал повесть о трагедии полярного летчика в тридцать седьмом; выслушав ответ, поглядел на меня с любопытством, переглянувшись с высоким синеоким полковником.

— Смелые вы стали теперь — Сталина цепляете, — усмехнулся он, — попробовали б раньше.

И я понял тогда, что удача сама по себе плывет в руки!

Поэтому, согласно посмеявшись крутому замечанию Чуйкова, я спросил:

— А вот интересно, почему Жуков даже сейчас утверждает, что он не слыхал о Рихарде Зорге?

Я намеренно подставился, думая, что Чуйков не преминет лишний раз ударить опального маршала, но он, сёрбающе отхлебнул чая из своей солдатской кружки, задумчиво ответил:

— Про Зорге все знал только Филипп Голиков... Он сменил «Павла Ивановича»* и тех, кто его замещал на посту начальника нашей разведки... Берзин-то оказался «троцкистом» — шлепнули... — Чуйков хмуро усмехнулся. — Вообще-то всех наших первых маршалов и командармов, даже Ворошилова с Буденным, по логике тех лет, можно было считать тоже троцкистами... Лев Давыдович утверждал в должностях, кто ж еще, конечно, он, народный комиссар по военным и морским делам... Только Климент Ефремович со времен Царицына работал вместе с Иосифом Виссарионовичем... А Тухачевского в Царицыне не было, да и Блюхера с Якиром и Примаковым — тоже, на других фронтах воевали, вот их и шлепнули в одночасье... Да... Все, абсолютно все высшие командиры времен гражданской войны были открыты и назначены не дядей Васей, а РВС**... Вот вы, писатели, об этом напишите, а то все о председателях колхозов сочиняете... Так вот, Голиков этот самый, — коротышка-выдвиженец, сукин сын, — на всех рапортах Зорге писал:

---

* «Павел Иванович» — начальник ГРУ Ян Берзин; он был рекомендован на эту должность Ф. Э. Дзержинским, Н. И. Бухариным и М. В. Фрунзе. — *Прим. Н. В. Звонаревой, секретаря Берзина.*

** Реввоенсовет.

«Информация не заслуживает доверия». И — точка. Кто ж такой документ начальнику Генерального штаба будет докладывать?! Так что вы Жукову верьте, он человек высокопорядочный, ложь его характеру противна...

...Я любовался этим кряжистым человеком, его крестьянским лицом с рублеными, глубокими морщинами, чувствовал в его глазах какую-то скрытую, стыдящуюся муку и невольно думал о том, что ломать человека можно не только в застенке, но и на воле: первооснова любого действа — рычаг, а сколько их на земле?! Бесчисленное множество, горазды людишки на изобретательство такого рода...

...Слова маршала о том, что Голиков называл Рихарда Зорге «не заслуживающим доверия», запомнились мне.

Поскольку впрямую искать объяснение такого рода заключению было тогда невозможно, я начал исследовать эту загадку, что называется, по касательной; опыт такого рода был у меня уже — накопился в процессе работы над образами Блюхера, Постышева и Уборевича.

Ответ на этот вопрос я получил через два года, *навели* историки и военные, подсказав, что в конце двадцатых годов Рихард Зорге жил в Москве, работал в Исполкоме Коминтерна, являясь помощником председателя Исполкома и шефа журнала «Коммунистический Интернационал».

А секретарем Исполкома продолжал еще работать Николай Иванович Бухарин.

Именно тогда, накануне решающей атаки Сталина против Бухарина, тот до конца точно сформулировал одну из своих концепций: судьбу мировой пролетарской революции решит — вместе с Советским Союзом — «большая деревня», то есть национально-освободительное движение Азии, особенно Китая; ситуация на Востоке рано или поздно понудит «большой город» — то есть Западную Европу и Америку — по-иному взглянуть на мир.

Именно поэтому Бухарин так нуждался в избыточно-точной, по-настоящему интеллигентной информации о положении в Китае. Видимо, он довольно долго колебался, размышляя, на каком *фронте* Зорге мог принести наибольшую пользу (до того времени, понятно, пока Зорге не был приглашен Берзиным).

В свое время с подачи Зиновьева генеральный секретарь, являвшийся членом руководящей «тройки» (Каменев, Зиновьев и Сталин), выдвинул лозунг, обвинявший

социал-демократию в сползании к фашизму. Бухарин занимал иную позицию; он настаивал на том, что невозможно и неразумно валить социал-демократов в одну кучу с нацизмом; наперекор Сталину и Зиновьеву отстаивал возможность совместных выступлений с социал-демократическими рабочими, более того, с их *низовыми* организациями, в то время как обращение к нацистским организациям, даже в тактических целях, считал недопустимым.

(Лишь устранив Бухарина из Политбюро, Сталин *посмел* сказать на Семнадцатом съезде: «В наше время со слабыми не принято считаться, считаются только с сильными... Конечно, мы далеки от того, чтобы восторгаться фашистским режимом в Германии, но дело здесь не в фашизме, хотя бы потому, что фашизм, например, в Италии не помешал СССР установить наилучшие отношения с этой страной».)

Несмотря на то что Бухарина всегда поддерживали Крупская и Клара Цеткин, официальное отношение к социал-демократии оставалось неизменным, зиновьевско-сталинским: немецкие коммунисты не смели объединяться с социал-демократами в борьбе против нацистов. А ведь объединись они, Гитлер бы не собрал большинства на выборах в рейхстаг и дальнейшее развитие европейской истории могло пойти совершенно по иному руслу.

Поэтому, вероятно, Зорге был направлен сначала в Китай, а после в Японию — в Германии он бы мог содействовать объединению коммунистов с социал-демократами, созданию единого фронта, однако это — по меркам тех крутых лет — было *изменой* выдвинутому лозунгу.

...Жуков о Зорге не знал, ибо он стал начальником Генерального штаба уже после того, как закончились процессы, и все те, кто начинал с Лениным, оказались шпионами и диверсантами; в стране изменилось качество государственной памяти: лишь малая часть делегатов Семнадцатого съезда партии дожили до Восемнадцатого, остальные были расстреляны как враги народа. Все друзья Зорге были ошельмованы и уничтожены.

...А знал ли Сталин о Зорге?

Видимо, знал, ибо, когда в сорок первом году суд в Токио закончился вынесением смертного приговора, советский посол запросил Москву, какие шаги следует предпринять для спасения Зорге.

Москва на запрос никак не реагировала. Токио выжидал; Зорге казнили лишь в сорок четвертом, когда поняли, что Кремлю он не нужен.

А в Сибирь поступил приказ: «решить вопрос с женой» Зорге. В то же время погиб и тот мальчик, о котором некоторые говорили как о сыне Зорге.

Расстрел ребенка был тогда делом узаконенным: накануне «большого террора», десятого апреля 1935 года, по предложению Сталина был проведен закон, по которому уголовной ответственности — вплоть до расстрела — подлежали все граждане Советского Союза начиная с двенадцатилетнего возраста.

12

Так уж повелось, что ни один фильм — до просмотра его Сталиным — на экраны страны не выходил.

Председатель кинокомитета Большаков всегда возил в багажнике машины не только новую советскую картину, но и две-три зарубежные — вызвать в Кремль могли в самое неожиданное время, чаще всего поздней ночью, вплоть до четырех утра.

(Однако в августе тридцать девятого, после того как был подписан договор с Гитлером и Сталин обменялся дружеским рукопожатием с рейхсминистром Риббентропом, Большакова вызвали в десять вечера — необычное время. Уже потом ему объяснили, что Сталин пригласил Риббентропа посмотреть любимый свой фильм «Волга-Волга». Риббентроп, однако, отказался: «Я должен написать отчет, господин Сталин». — «Волга-Волга» — одна из лучших картин мирового кино, получите удовольствие». — «Благодарю, господин Сталин, однако фюрер ждет моего доклада». С этим, вскинув руку в нацистском приветствии, Риббентроп откланялся. Сталин осторожно мазанул взглядом лица Молотова и Ворошилова; они оказались невольными свидетелями того, как ему, Сталину, публично отказали — непреклонно и холодно; последние годы такое в стране сделалось невозможным; его слово стало законом для всех. Сталин как-то странно хмыкнул, взял галифе — словно танцор — двумя пальцами, присел в жеманном поклоне и, кивнув на дверь, закрывшуюся за Риббентропом, тихо произнес: «А все равно мы тебя выеб...»)

Во время просмотров Большаков обычно сидел за Сталиным, потому что *главный* часто задавал вопросы,

на которые надо было давать немедленный и определенный ответ, — приблизительности Сталин не терпел. Однажды, принимая фильм «Повесть о русской охоте» с Поповым-старшим в главной роли, заметил: «Почему у волков глаза желтые? Это — неправда, они у них зеленые». Большаков немедленно ответил: «Великий зоолог Брэм, товарищ Сталин, считает, что глаза волков именно желтые, а не зеленые... Впечатление, что они зеленые, складывается у тех, кто видел волчьи глаза лишь в высверке костра, в сумерках». — «На какой это странице?» Большаков назвал. Сталин кивнул удовлетворенно и поудобнее устроился в кресле.

В конце сороковых специально ко Дню Военно-Воздушного Флота — генералиссимус этот праздник высоко чтил — был закончен фильм «Жуковский». Сталин в те годы решил, что в стране должно выходить не более двенадцати картин в год; больше — баловство, может помешать работе; не следует слишком уж баловать зрелищами наш народ; картины надо делать биографические, рассказывать — средством самого массового искусства — о великих деятелях русской науки и культуры, бороться, таким образом, с низкопоклонством перед загнивающим Западом и проявлениями безродного космополитизма.

Как на грех, именно в день праздника сталинских соколов Хозяин уехал на Кавказ. Связываться со Сталиным по телефону было не принято. Место, где он отдыхал, не знал никто; он часто менял дачи, хотя более всех других на старости лет полюбил дом на озере Рица; Крым и Сочи почти не посещал, тянуло на родину.

А коробки с «Жуковским» лежали в багажнике большаковской машины, и он метался из одного начальственного кабинета в другой, спрашивая совета, как поступить: ждать возвращения товарища Сталина в Москву или же выпустить картину к празднику?

Молотов (говорили, что Большаков начал восхождение, работая у него шофером) от совета воздержался; Берия посмеялся: «Принимай инициативное решение, ты — министр, тебе и карты в руки!»

Полагая, что столь категорические слова ближайшего соратника вождя не могли быть произнесены случайно (чувственному искусству угадывания и математическому *просчету* вероятий учились быстро), Большаков подписал приказ о выпуске фильма на экраны. Улицы всех городов Союза заклеили афишами, о новой работе советских ки-

нематографистов сообщило радио, причем неоднократно, да и пресса откликнулась рецензиями, понятно, восторженными, ибо никто и представить себе не мог, что фильм вышел без санкции вождя.

А наутро после премьеры с Кавказа поступила вэчеграмма от Сталина с *просьбой* срочно поставить на повестку дня один лишь вопрос: «О положении дел в советском кинематографе».

Большаков понял; вот и пробил его последний час.

Вечером того дня, когда вернулся Сталин (его поезд был копией поезда Троцкого), председатель кинокомитета был вызван в Кремль и занял место за маленьким столиком неподалеку от большой дубовой двери; перед ним лежала стопка желтоватой плотной бумаги, стояла бутылка боржоми, стакан и три разноцветных карандаша.

Молотов, Каганович, Берия, Маленков и Хрущев заняли свои места за длинным дубовым столом; Сталин, как обычно, медленно расхаживал по кабинету, зажав в руке трубку.

Объявив заседание открытым, Маленков вопрошающе глянул на Сталина.

Тот, продолжая расхаживать по кабинету, молчал, словно бы собираясь с мыслями; остановился, наконец, под портретом Маркса, примял желтоватым пальцем табак в трубке и тихо, чуть не по слогам, спросил:

— Товарищ Большаков, нас интересует только один вопрос: каким образом на экранах страны появился новый художественный фильм «Жуковский»? Конкретно: кто из руководства смотрел эту работу, когда, какие высказал замечания? Еще конкретнее: кто дал санкцию на выпуск этой картины в свет?

Большаков медленно поднялся; лицо враз отекло, побелело.

— Да вы сидите, товарищ Большаков, сидите, — Сталин чуть махнул рукой. — Сидите...

Большаков тем не менее продолжал стоять, чувствуя в себе мерзкое желание вытянуться по швам:

— Товарищ Сталин... Мы тут посоветовались, — моляще глядя то на Молотова, то на Берия, начал он, ожидая их поддержки; те, однако, сосредоточенно писали что-то на листках бумаги. — Мы тут посоветовались и решили...

Сталин словно бы споткнулся; обернувшись к Большакову, изумленно спросил:

— Вы тут посоветовались? — пожав плечами недоуменно, повторил: — Значит, вы советовались... Хм... А посоветовавшись, решили...

Он постоял мгновение на месте, потом чуть ли не крадучись пошел к двери, глухо повторяя слова Большакова, словно бы обсматривая их и примеряя к чему-то своему, заранее выношенному.

— Они посоветовались и решили, — говорил он все тише и тише, будто устав от этих слов. — Они тут все решили, посоветовавшись...

Открыв тяжелую дверь кабинета, он обернулся и, упершись взглядом в лоб Молотова, повторил в задумчивости:

— Итак, вы тут посоветовались... И решили...

С этим он и вышел.

Настала мучительная тишина, было слышно, как скрипел грифель в руках Берия, по-прежнему что-то писавшего на толстой желтоватой бумаге.

Внезапно дверь отворилась, Сталин заглянул в кабинет и вдруг улыбнулся своей чарующей, обезоруживающей улыбкой:

— И... правильно решили...

Когда дверь закрылась, Маленков, откашлявшись, заключил:

— Товарищи, вопрос о положении дел в советском кинематографе можно считать рассмотренным...

13

В начале пятидесятых Сталин, Ворошилов и Косыгин отплыли из Крыма в Сухуми на крейсере «Молотов».

Секретарь Сухумского обкома Мгеладзе, получив сообщение об этом, немедленно позвонил своему шефу Чарквиани — в Тбилиси; после этого распорядился накрыть праздничный стол на даче в честь генералиссимуса и отправился в порт.

(В это как раз время в Грузии были арестованы Рапава, Заделава и Барамия — выдвиженцы Центра; началось «мегрельское» дело; про Чарквиани стали говорить, что он каким-то краем тоже мегрел.)

Прямо с аэродрома Чарквиани приехал на дачу; Сталин, Ворошилов и Косыгин были уже там, когда все расселись за большим столом, Чарквиани сказал:

— Я предлагаю поднять бокалы за самого выдающегося революционера всех времен и народов, соратника

Ленина, гениального стратега нашего счастья, дорогого и любимого товарища Сталина!

Все зааплодировали; Сталин, неотрывно глядя на Чарквиани, поморщился; потом снисходительно усмехнулся в седые, прокуренные усы.

И тут неожиданно для всех поднялся Мгеладзе:

— Я возражаю...

Воцарилась зловещая тишина, оцепенение было общим, давящим; никто не смел глянуть друг на друга.

— Я возражаю, — повторил Мгеладзе еще тише. — По законам грузинского стола, первое слово произносит хозяин, а здесь, в этом доме, я — во всяком случае пока что — являюсь хозяином... Поэтому я не стану поднимать первый бокал за товарища Сталина... Он — грузин, он приехал к себе домой...

Сталин медленно отодвинул свой бокал; Мгеладзе заметил это, как и все присутствовавшие; побледнев до синевы, сухумский секретарь облизнул враз пересохшие губы и на какое-то мгновение замешкался...

...Чем дальше, тем больше Сталина настораживало все то, что было — хоть в какой-то мере — связано с его национальностью. Начиная с той поры, когда он закончил в Вене свою работу «Марксизм и национальный вопрос», к проблемам Закавказья Сталин серьезно не обращался, работал в основном в Петербурге, вращался среди русских рабочих, ни в Тифлис, ни в Баку более не ездил; в крае своей молодости он побывал лишь в начале двадцатых, в пору для него трагическую, когда Ленин требовал его отставки, а его позицию в «грузинском вопросе» клеймил как великодержавную, недостойную большевика.

Ему было непросто приезжать на родину потому еще, что слишком многие знали, как и с кем он начинал свой путь в революцию. У всех на памяти был Красин, координировавший в начале века всю революционную работу на Кавказе. Ладо Кецховели, Филипп Махарадзе, Мдивани, Курнатовский, Кавтарадзе, Енукидзе, Шаумян, Аллилуев, Каменев, Камо, Джапаридзе, Нариманов, Цхакая, Стуруа. О нем, Сталине, в ту пору не вспоминали в газетах, не называли «вождем»; упоминали, да и то не часто, в *перечислении.*

В Москве помнили процесс, возбужденный Мартовым в революционном трубунале против Сталина, ког-

да он шельмовал его тем, что за участие в экспроприациях он, Сталин, «социал-демократ меньшевистской ориентации», был якобы исключен из партии. Слушание дела началось в марте восемнадцатого года; народный комиссар по делам национальностей выиграл процесс: «бесчестно обвинять человека, не имея на руках сколько-нибудь серьезных документов; революционер и клеветник — понятия несовместимые!»

В Тбилиси помнили публикацию, подготовленную в декабре двадцать пятого года газетой «Заря Востока»; там приводилась выдержка из отчета начальника тифлисской охранки о нем, Джугашвили: «Сначала был меньшевиком, потом стал большевиком...»

В Тбилиси, Баку и Батуми архивы таили протоколы его допросов в охранке; кое-кто настаивал на распубликовании этих документов; настаивал на этом не только Троцкий, но и Камо.

Лишь в двадцать третьем году, когда выдвиженец Сталина молодой Лаврентий Берия начал свое триумфальное продвижение *вверх*, началась неторопливая, но обстоятельная корректировка фактов. Все, что было неугодно *новой* линии, изымалось из печати, создавались легенды, выстраивалась новая концепция прошлого. Камо вычеркнули из истории, — боевик, экспроприатор, был близок к Сталину, — не нужно вспоминать об этом. Теоретик марксизма и стратег революции, начиная с начала века, каким должен *стать* Сталин, совершенно не обязан, более того, не должен быть связан с теми акциями, которые проводил Камо.

Затем Чичерина сменили Литвиновым — все-таки именно он, Максим Максимович, был первым, кто в начале века написал Ленину о молодых кавказских публицистах-революционерах, — значит, речь шла о Сталине, о ком же еще?! Именно с ним Сталин работал в Берлине в девятьсот седьмом, стараясь облегчить участь Камо и разменять ассигнации, взятые во время тбилисской экспроприации, организованной им и Камо.

В начале тридцатых была напечатана статья о революционном *меньшинстве* «Месаме-Даси», возглавлявшемся Кецховели, Цулукидзе и Сталиным: именно таким образом был дезавуирован отчет тифлисского охранника, напечатанный «Зарей Востока», — да, Коба был «меньшевиком» в «Месаме», но эти меньшевики были истинными ленинцами, национальная особенность

грузинской социал-демократии, откуда было это знать царскому жандарму?!

Такого рода публикация окончательно дезавуировала и Мартова; впрочем, этот — не страшен, умер в эмиграции, мертвые обречены на молчание.

В тридцать четвертом, после съезда, а особенно когда опубликовали заметки Сталина против марксистского историка Покровского в переводе на грузинский, Берия приехал в Москву и положил на стол вождя папку с высказываниями кавказских большевиков о том, кто действительно стоял во главе революционного движения в Баку и Тифлисе. Хотя имя Сталина и упоминалось (слава богу, не двадцать пятый год), но все кавказские большевики на первое место ставили того же Ладо Кецховели, Наримана Нариманова, Джапаридзе, Мешади, Азизбекова, Виктора Курнатовского, Авеля Енукидзе, Степана Шаумяна; Сталина упорно называли следом за ними.

Просмотрев папку, Сталин усмехнулся:

— Истинным и единственным создателем грузинской социал-демократии был русский марксист Ленин... А Сталин... Что ж, Сталин не гонится за славой, он всегда был верным учеником Ленина, нет почетнее звания, чем быть его учеником и сподвижником...

В тридцать шестом Берия начал повальные аресты ветеранов большевистского движения на Кавказе; архивы безжалостно сжигались, пришла пора переписать историю: аппарат Берия подготовил ему книгу — «К истории большевистских организаций Закавказья».

Берия *помянул* «соратника» Сталина — Виктора Курнатовского; тот начал борьбу с царизмом в прошлом веке, был подвижником «Народной воли» в те уже годы, когда Сталин только читал «Закон Божий» в духовном училище; дружил с Лениным, когда Коба занимался в семинарии, готовясь стать утешителем людским, священником; вспомнил Берия и «учеников» вождя — Кецховели, Цулукидзе, Джапаридзе, — а ведь именно эти *ученики* и привели в свои рабочие кружки никому не ведомого юношу; замалчивалась роль руководителя тбилисского подполья Джибладзе, большевистского ветерана Стуруа, — а ведь они преподавали молодому Кобе азы политической борьбы; тысячи и тысячи грузинских ленинцев и все те, кто все еще осмеливался помнить правду, были уничтожены.

...Просмотрев рукопись Берия, вождь сделал всего не-

сколько редакторских замечаний, добавил абзацы о роли русского рабочего класса, вписал фамилию Калинина (все еще популярен среди крестьян, может пригодиться) и, возвращая манускрипт, заново обсмотрел Берия: этот не подведет, ему и кончать с Ежовым; *подчистит* и в Москве, здесь это легче сделать, Москва — не Тбилиси, здесь горцев нет...

...И вот сейчас в Сухуми молодой еще секретарь обкома (сколько ему было в двадцать втором?) прикоснулся к тому, чего так не любил Сталин — не любил и страшился; ах, люди, бедные, слабые люди, надо бояться грядущего, а мы несем в себе страх перед безвозвратно ушедшим прошлым...

Между тем, *собравшись,* Мгеладзе продолжил свой тост, запрокинув от волнения голову:

— У нас, грузин, первый тост положено поднимать за гостей. А самым дорогим гостем мы сегодня по праву должны назвать замечательного русского большевика Климента Ефремовича Ворошилова, героя гражданской войны, соратника товарища Сталина по работе в Государственном комитете обороны в годы Великой Отечественной, луганского рабочего, ставшего одним из руководителей первого в мире многонационального государства рабочих и крестьян... За Климента Ефремовича, товарищи, а в его лице — за великий русский народ!

Все сидевшие за столом молчали; бокалов никто не поднял.

Сталин глухо кашлянул, чуть пожав плечами, сказал:

— Спасибо за прекрасный тост, — и, холодно глянув на растерянного Ворошилова, поднял бокал, сделав легкий глоток. Было бы плохо, доведись мне, москвичу, исправлять ошибку грузина Чарквиани, молодец, Мгеладзе...

...После обеда, удавшегося на славу, Сталин спросил жену Мгеладзе:

— Вы кто по национальности?

Женщина ответила:

— Полукровка.

Сталину говорили, что жена Мгеладзе еврейка; раскурив трубку, поинтересовался:

— Литературный грузинский хорошо знаете?

— Не очень, товарищ Сталин.

— Надо хорошо говорить на языке народа, среди ко-

торого живете. Учите грузинский, думаю, пригодится.

Вскоре Мгеладзе был перемещен в Тбилиси — первым секретарем ЦК. Подписывая назначение, Сталин заметил Маленкову:

— Я порою опасался, что последним отважным грузином был Авель Енукидзе; к счастью, ошибся; Мгеладзе достойный человек, не боится постоять за себя, такой наведет порядок...

(Маленков тогда — в который уже раз — подивился тому, сколь дружески Сталин отзывался о тех, кто был расстрелян по его указаниям; с особой теплотою, однако, вспоминал эпизоды, связанные с Енукидзе, Бухариным и Каменевым.)

...Вскоре после смерти вождя Мгеладзе назначили директором совхоза; потом и вовсе сошел на нет, «пенсионер республиканского значения».

14

...Свою последнюю речь Сталин произнес на Девятнадцатом съезде партии, когда ВКП(б) была переименована в КПСС, — большевизм как идейное течение русской революционной мысли формально перестал существовать, сделался достоянием истории.

Как всегда, он изредка заглядывал в текст — однако на этот раз всего три страницы, может, чуть больше. Напечатано было на специальной машинке с большим шрифтом — генералиссимус не хотел надевать очки; разрушение привычного образа вождя наверняка обыграют враги, да и советские люди будут недовольны — они не любят перемен такого рода; каким был Сталин с двадцать четвертого года, когда начали печатать его фотографии в газетах, таким он должен оставаться навечно...

Сталин читал медленно, часто замолкая на минуту, а то и больше, словно бы наслаждаясь той гнетущей тишиной, какая была в зале. На самом-то деле сейчас ему это было совершенно безразлично, он давно привык к мертвенному вниманию в любом помещении, как только начинал говорить. Однако поскольку в зале сидели Мао, Торез, Энвер Ходжа, Тольятти, Готвальд, Берут, Ракоши, Пик, Георгиу-Деж, Хо, Ким Ир Сен, Поллит, Долорес, он опасался, что они заметят его старческую шепелявость, хрипящую одышку и то, как порою заплетается язык; *свои* любым примут, Россия стариков чтит куда

больше молодых; дожить до старости — значит войти в вечность; молодых политиков легко забывают, имя должно стать привычным, постоянно быть на слуху, как «отче наш»...

Сталину докладывали, что после последних процессов в Праге, когда расстреляли генерального секретаря ЦК компартии Рудольфа Сланского, а вместе с ним большинство членов ЦК, евреев, воевавших в интербригадах, прошедших антигитлеровское подполье, на Западе началась кампания, организованная, конечно же, «Джойнтом», о том, что он, Сталин, стал творцом качественно новой антисемитской политики.

Генералиссимус попросил приготовить ему переводы из наиболее агрессивных статей в крупнейших журналах и газетах Запада, особенно, понятно, Европы.

Читал Сталин вдумчиво, медленно, делая карандашные пометки на полях; почерк у него был летящий, четкий, почти без нажима; в девятнадцатом году, убедившись, что все его резолюции, записки и пометки на документах навечно останутся в архивах, сделавшись достоянием истории, которая есть не что иное, как вечность, он несколько дней тренировался: раньше-то позволял себе резкости в отзывах, порою даже ломал грифель, раздраженно подчеркивая ту или иную фразу; во всем нужна самодисциплина, следование логике, не чувству, — даже в том, как и что помечаешь на полях.

Всего несколько раз в жизни он поддался чувству; он помнил каждый эпизод в мельчайших подробностях, цепенея от гнева. Особенно горько было вспоминать, как в двадцатом году он предложил альянс Троцкому; сделал это в своей обычной манере: намек, улыбка, приглашение к соразмышлению. Это было после трагедии в Польше, когда Варшаву не удалось взять и он, Сталин, ждал, что Троцкий не приминет оттереть его и опорочить, но тот был занят ситуацией на Дальнем Востоке и Закавказье, по отношению к нему, Сталину, вел себя на этот раз довольно корректно, не обвинив его ни в чем публично: «на войне, как на войне». Сталин испытал нечто вроде чувства благодарности Троцкому за это и после нескольких дней, ушедших на взвешивание всевозможных прикидок, написал ему — во время заседания Политбюро — записку, предлагая встретиться, чтобы исследовать комплекс причин поражения, — урок на будущее.

Пробежав послание, Троцкий даже не взглянул

на него, Сталина, шепнул что-то Ленину, а уж потом, усмехнувшись, начал что-то быстро писать в своем блокноте. Сталин следил за каждым его жестом: сначала захолодел от обиды, когда заметил, сколь рассеянно пробежал Троцкий его предложение о заключении пакта дружества, — новичок в политике не поймет, что значит такая записка, а Троцкий дипломат тертый. Когда же Сталин увидел, что тот, низко склонившись над столом, пишет свою записку, отошел, ибо понял: вот он, ответ Предреввоенсовета. Троцкий, конечно же, прав, зачем обмениваться взглядами, — и Зиновьев и Каменев наблюдают за каждым движением вождя РККА, тяжко не любят его и завидуют. Они, ученики Ильича, работавшие с ним бок о бок пятнадцать лет (эпизод двадцать четвертого октября не в счет), оттерты на третье, а то и на четвертое место, а тот, кто постоянно воевал против Ильича, стал «человеком номер два», и его портреты почти столь же популярны в стране, как Ленина...

Сталин нетерпеливо ждал, что Троцкий ему напишет; он был убежден, что Лев Давыдович верно поймет его, их блок гарантирует несокрушимое единство ЦК, ибо только они, два исполина, могут удержать страсти: в руках Троцкого армия, без которой невозможно гарантировать порядок, у Сталина — не только государственный контроль, инспекция всех наркоматов, но и окраины республики, конгломерат национальностей, а это как-никак Украина, Белоруссия, Кавказ и Туркестан...

Троцкий, однако, перебросил первую записку Крестинскому, а вторую — Фрунзе, приглашенному на заседание в связи с предстоявшими боевыми действиями, план которых был вчера утвержден.

Именно тогда Сталин ощутил нечто подобное ожогу; обычно бледный, он почувствовал, как кровь пульсирующе прилила к щекам.

Назавтра Троцкий позвонил ему по «вертушке»:

— Когда бы вы хотели заехать ко мне, товарищ Сталин?

— К сожалению, — ответил Сталин, — ситуация изменилась: навалилась куча дел.

— Хорошо, — усмехнулся Троцкий, — как разберете кучу, звоните.

Сталин тогда медленно, как-то даже гадливо опустил трубку на рогоподобный рычаг и подумал: «Жди! Не дождешься!»

...Исследуя реакцию западноевропейской прессы, которая всячески обыгрывала тот факт, что среди расстрелянных руководителей компартий восточной Европы — Ласло Райка в Венгрии, Анны Паукер в Румынии, Сланского в Чехословакии — большинство были евреями, стояли у колыбели своих партий, Сталин поначалу решил разыграть карту Ракоши, Кагановича и Мехлиса. Действительно, руководителем Венгрии оставался еврей Матиас Ракоши (усмехнулся, вспомнив соленую шутку одного из своих коллег: «Матиас твою в ракоши»), здесь, в Москве, членом Политбюро является Каганович, а его многолетний помощник, Мехлис, стал министром госконтроля; о каком антисемитизме может идти речь?

Однако в свете того, что готовится в следующем, пятьдесят третьем году, Сталин понял, что такого рода ответ западноевропейским оппонентам будет тактикой, а ему пристало думать лишь об отправных вопросах стратегического плана — на многие годы вперед, на века, говоря точнее. Он понимал, что запланированное им на будущий год (а он начал готовить это еще в тридцать шестом, когда Каменев и Зиновьев признались в том, что служили шпиону Троцкому; то, что было продолжено в кампании против космополитов в сорок седьмом; то, что подтвердили процессы Райка и Сланского, рассказавших, что они служили как Гитлеру, так и еврейскому «Джойнту») будет делом нелегким. Действительно, только наивный политик может верить в то, что старая гвардия простила ему расстрелы членов ленинского ЦК, что она не будет дрожжами памяти о том, что именно Троцкий был первым наркомом обороны, Зиновьев — председателем Коммунистического Интернационала, Каменев — заместителем Ленина; во имя торжества его, Сталина, дела Карфаген должен быть разрушен. Память хранят люди, и только их изоляция гарантирует появление чистого листа, на котором можно написать то, что внуки его внуков будут считать Евангелием от социализма. Именно тогда он заново пересмотрел подготовленный им состав новых членов Президиума ЦК, который надлежит избрать завтра: из стариков, хранящих *память*, остались только Молотов, Ворошилов и Микоян; чужая душа — потемки; смешно предполагать, что Молотов забыл, как он работал с Каменевым, Рыковым и Крестинским; помнит, еще как помнит... А Ворошилов? Забыл, как славил «вождя Красной Армии» Троцкого?

Вопрос с Кагановичем и Мехлисом будет решен иначе, все продумано и взвешено... Нет, именно сейчас, на Девятнадцатом съезде, он, Сталин, должен обратиться к Западной Европе совершенно иначе, никак не реагируя на развернувшуюся кампанию об его, Сталина, антисемитизме...

Поэтому-то, тяжело облокотившись на трибуну, он и прочитал то главное, что за кордоном поймут все — как политики, так и трудящиеся:

— Знамя буржуазно-демократических свобод выброшено за борт нынешними правителями Европы... Его некому поднять, кроме как коммунистам Запада...

(Не отсюда ли, кстати, и надлежит отсчитывать начало «еврокоммунизма»?)

...На закрытом заседании съезда, когда началось выдвижение кандидатур в ЦК, Сталин, сидевший, как обычно, на самой последней скамье президиума, совершенно один, неожиданно для всех поднялся и попросил у председательствовавшего слова; тот вместо ответа истерично зааплодировал.

Сталин медленно шел к трибуне, ощупывая ногами ступени, как слепец, а зал поднялся, устроив ему очередную овацию (первая, когда его имя было названо среди кандидатур в члены ЦК, длилась около пяти минут).

Он снова облокотился на теплое дерево трибуны, словно бы повиснув на ней, как-то безучастно осмотрел неистовствовавший зал, потом медленно поднял руку, прося тишины.

— Товарищи... Я очень устал... Да и годы не те... Спасибо вам за то, что вы так честно и вдохновенно работали вместе со мною... Все эти четырнадцать лет — после Восемнадцатого съезда... Я прошу дать мне самоотвод... Прошу, так сказать, отставку... Я же — в свою очередь — назову того, кого мог бы смело рекомендовать на мое место, — и, повернувшись к президиуму, он медленно обвел взглядом лица членов Политбюро, задержавшись на лице Молотова чуть больше, чем на лицах остальных коллег.

...В зале началось невообразимое:

— Сталина! Сталина! Сталина! — скандировали делегаты съезда. — Хотим Сталина! Сталина! Сталина!

Сталин слушал овацию, по-прежнему обвисающе опираясь на трибуну, а перед глазами стояло демоническое лицо Троцкого, когда тот подал в отставку: было это в июле девятнадцатого из-за разногласий с ним, Сталиным, по поводу стратегии на Южном фронте.

Сталин никогда не мог забыть, что Ленин поручил именно ему, Сталину, подготовить решение ЦК; он понимал, что Ленин не зря поручил именно ему написать проект; обида была непередаваемо тяжелая; это, однако, оказалось для него таким испытанием на прочность и выдержку, за которое он потом не раз благодарил судьбу.

В проекте решения Сталин писал, что Орг. и Политбюро ЦК, рассмотрев заявление т. Троцкого, пришли к единогласному выводу, что принять отставку т. Троцкого они абсолютно не в состоянии. Орг. и Политбюро ЦК сделают все от них зависящее, чтобы сделать наиболее удобной для т. Троцкого и наиболее плодотворной для республики ту работу на Южном фронте — самом трудном, самом опасном и самом важном в настоящее время, — которую избрал сам т. Троцкий... Твердо уверенные, что отставка т. Троцкого в настоящий момент абсолютно невозможна и была бы величайшим вредом для республики, Орг. и Политбюро ЦК настоятельно предлагают т. Троцкому не возбуждать более этого вопроса и исполнять далее свои функции, максимально, в случае его желания, сокращая их ввиду сосредоточения своей работы на Южфронте...

Прочитав проект решения, Ленин тогда как-то по-особому, *взвешивающе* глянул на Сталина и молча подписал документ, не сделав ни одной правки; вернул машинописную страничку Сталину, попросил согласовать с Каменевым, Крестинским, Калининым и Серебряковым; он, Сталин, свою подпись поставил последним; никогда не мог забыть, с какой помпой Троцкий после этого уехал на своем поезде на фронт, к Воронежу.

Тогда именно Сталин и понял всю томящую сладость отставки, которую просят, заранее зная, что никто ее не примет, — истинный триумф авторитета, еще одна ступенька вверх, звенящее ощущение собственной значимости...

Лишь семь лет спустя Сталин решился на то, чтобы повторить фокус Троцкого; он подал в отставку, когда Троцкий был уже снят с поста наркомвоена, а его бывшие враги Каменев и Зиновьев разгромлены, хотя и

кровавой ценой — они публично потребовали зачитать завещание Ленина, в котором содержалось требование: Сталин должен быть смещен. Но с той поры, как Ленин написал свое завещание, прошло три года; Сталин сумел заручиться поддержкой Бухарина, истинного любимца партии, с ним были Председатель Совнаркома Рыков, руководитель профсоюзов Томский, с ним был Серго, которого Ленин называл другом, могущественный зампред ГПУ Ягода, заворготделом Каганович, Куйбышев и Андреев — они сделают так, что делегаты не примут его отставки, отвергнут ее столь же решительно, как он, Сталин, в свое время подготовил решение, отвергавшее отставку Троцкого. Все течет, все меняется; побеждает тот, кто силен, умеет просчитывать вероятия и наделен даром памятливой выдержки. Его, Сталина, жизнь оделила этим даром с лихвой. Он помнил, он помнил все — со страшившей порою его самого фотографической точностью деталей. Он, например, никогда не мог забыть, как в Вене, впервые встретившись с Троцким на квартире одного из меньшевиков, вошедшего затем во Временное правительство, он сидел в углу, возле книжного шкафа, страдая от того, что Лев Давыдович разговаривал с гостями по-немецки, не утруждая себя тем, чтобы хоть пояснить ему, о чем шла речь; один он, Сталин, не знал языков, приехал из глубинки, откуда же в товарище такая невнимательная черствость? Он плохо спал в ту ночь, вертелся под пуховой периной в доме приятеля; чувствовал себя обгаженным, заново анализировал, что думали о нем собравшиеся, когда он, истомившись своим вынужденно-непонимающим молчанием, достал какую-то книгу из шкафа, но и та оказалась немецкой, — не ставить же ее на место, да и дверца скрипит, могли б петли смазать... Тем не менее, когда Временное правительство заставило Ленина и Зиновьева перейти на нелегальное положение, а Троцкого и Каменева бросило в тюрьму, именно он, Сталин, написал воззвание: «Никогда еще не были так дороги и близки рабочему классу имена наших вождей, как теперь, когда обнаглевшая буржуазная сволочь обливает их грязью!»

Он боялся этих воспоминаний, гнал их от себя, но, когда начальник кремлевской охраны Паукер рассказал ему, как Зиновьев перед расстрелом падал на колени и молил о пощаде, а Каменев презрительно сказал: «Перестаньте, Григорий, надо умереть достойно», Сталин с мучительной ясностью увидел свои строки, написанные им

после того, как Каменев, выпущенный Керенским из тюрьмы, был немедленно обвинен буржуазией в том, что якобы сотрудничал с охранкой: «Контрреволюционных дел мастерам надо во что бы то ни стало изъять и обезвредить Каменева как одного из признанных вождей революционного пролетариата...»

Именно он, Сталин, — по поручению ЦК — разоблачил эту клевету, именно он доказал всю вздорность и гнусность такого рода обвинений Каменева, который был тогда его ближайшим другом.

То же самое с ним, Сталиным, произошло и после того, как по его требованию расстреляли Бухарина. Он лежал на диване, и не мог уснуть, и отгонял от себя навязчивые картины — близкие, ощутимые, слышимые; их первая встреча с Бухарчиком в Вене, когда тот проводил с ним целые дни, работая в библиотеке, переводил ему немцев, французов и англичан, делал выписки, советовал, как лучше *строить* «Марксизм и национальный вопрос»... Именно тогда, в ту бессонную ночь, когда все было кончено с последними членами ленинского Политбюро, он услыхал в себе годуновскую страшную фразу, произнесенную кем-то другим, незнакомым: «бухарчики кровавые в глазах»...

И, словно бы защищаясь от нее, этой зловещей, как бы усиленной динамиками фразы, он перекричал ее вопросом, обращенным не к себе, а к кому-то громадному, нависшему над ним давящей тенью: «Каждый из них мог принять бой и умереть молча, но ведь они на это не пошли! А я бы пошел!»

Но он снова вспомнил Троцкого, его указание держать на учете семьи офицеров и принимать их на ответственные посты в том случае, если имеется возможность в случае измены захватить семью.

Он никогда не забывал этих жестоких слов Троцкого, но применил их он, Сталин, в тридцать шестом, когда перед Каменевым поставили дилемму: или два его сына погибнут, или он, Каменев, сыграет ту роль в спектакле процесса против Троцкого, которая будет для него написана...

«А если бы мне предложили такое? — спрашивал себя Сталин много раз. — Я бы отрекся от себя, своего прошлого, своего честного имени — во имя детей?»

Он никогда не отвечал сразу — даже себе; любой ответ должен быть взвешенным и до конца точным.

Нет, сказал он себе, я бы не отрекся от себя и своего

дела. Тарас Бульба пожертвовал сыном во имя общего дела, и он был прав; я бы смог повторить его подвиг, ибо человек до той поры человек, пока за ним не захлопнулась дверь камеры; выхода из нее — так или иначе — не будет, такова жестокая логика политической борьбы. Да и потом, почему я должен верить тому, кто заточил меня в темницу? Это — противоестественно. Почему я должен верить, что моих детей пощадят? Если меня не пощадили, чем они, дети мои, семя мое, лучше? Нет, я бы повел себя не так, как повели себя Зиновьев, Лева и Бухарчик...

Зиновьева — не любил, с Каменевым подружился еще в начале века на Кавказе, когда тот руководил пропагандой, поэтому и сейчас машинально называл его «Левой»; именно так обращался к нему и в ссылке, и весной семнадцатого, в «Правде», когда вместе редакторствовали, стараясь сдержать Ленина от его резкого поворота к социалистической революции, а уж Бухарчик — в самые трудные годы — был словно брат ему, как же ему иначе назвать Николая, как?!

...Сталин стоял на трибуне безучастно, недвижно, потом вновь поднял руку, прося тишины, но это подлило бензина в огонь, — казалось, перепонки порвутся от грохота оваций.

Тогда, досадливо махнув ладонью, словно бы отгоняя надоедливую муху, Сталин сошел с трибуны и покинул зал заседаний...

...Назавтра, во время Пленума, Сталин попросил слова сразу после того, как избрали членом Президиума, заменившего Политбюро. Сталин ввел молодежь — не зря в завещании Ленин советовал делать ставку на новые кадры; он, Сталин, соратник Ленина, во всем следует ему. Он, Сталин, выполнил, кстати, и другой его завет: никогда, начиная с двадцать четвертого года, не разрешал называть себя «генеральным секретарем ЦК».

...На трибуну он поднялся легко, обвисать не стал, овации пресек резко, словно бы наложив руку на рты кричавших в его честь здравицы.

— Если вы заставили меня вновь поработать в качестве секретаря ЦК, — атакующе, без давешних придыханий, сказал он, — то я должен сообщить вам, что в

партии оформился и функционирует новый оппозиционный уклон. Правый уклон по своей сути. И рассказать об этом должны товарищи Молотов и Микоян... Вот чем нам надлежит заняться на заседаниях нового Президиума, именно этим, а ничем другим.

15

В Барвихе, на небольшой даче, где, ожидая второго ребенка, жила Юля Хрущева, внучка Никиты Сергеевича, я повстречался с маршалом Тимошенко — громаднорослым, бритоголовым, в коричневом приталенном костюме и черных лаковых туфлях не менее как сорок пятого размера, наверняка заказных.

После первых же фраз разговор перешел на проблему «культа личности»: только-только закончился Двадцать второй съезд.

— Никогда не забуду лица Сталина, — рубяще, командно заговорил Тимошенко, — когда я приехал к нему на Ближнюю дачу на второй день войны: запавшие, небритые щеки, глаза тусклые, хмельные... Он сидел у обеденного стола, словно парализованный, повторяя. «Мы потеряли все, что нам оставил товарищ Ленин, нет нам прощенья...» Таким я его никогда не видел, а знакомы-то с восемнадцатого, добрых четверть века... Хотя, помню, видел его однажды хмельным в двадцать седьмом году, в день десятилетия Рабоче-Крестьянской Красной Армии... И случилось это при любопытнейших обстоятельствах... Я тогда командовал войсками в Смоленске, провел торжественное заседание, только-только перешли в банкетный зал, как меня вызывают на прямой провод, звонит Лев Захарович Мехлис, помощник Сталина:

— Срочно выезжай на аэродром, бери самолет и жми в Москву! Я отправляю машину в Тушино.

Через два с половиной часа я подкатил на «паккарде» к Центральному Дому Красной Армии — там гуляли годовщину РККА, не поминая, ясно, ни Троцкого (а ведь как-никак первый нарком обороны республики), ни Вацетиса, которого именно Троцкий протащил на пост Главкома: многие были против, мол, из царского генерального штаба, золотопогонник, но Лев Давыдович настоял на своем, крутой был мужик, Сталин у него, честно говоря, много взял, не во внешнем, конечно, облике, а в умении пробивать свое... Шапошникова Бориса Михайловича, полковника царской разведки, тоже Троцкий в РККА

привел наперекор всем, но потом в поддержке отказал: тот уж больно поляков ненавидел, «католические иезуиты, ляхи», даже статью против них бабахнул в двадцатом, за что Троцкий журнал прикрыл, а Шапошникова — «за шовинизм» — бросил, как говорили, на низовку, слава богу, еще не шлепнул сгоряча, он это тоже умел... Потом, когда Троцкого турнули, Шапошников снова поднялся, Сталин его поддержал, был у меня начальником генштаба — единственный беспартийный на таком посту... Думаю, кстати, Сталин его не без умысла ко мне приставил... Да... Прибыл, значит, я, вошел в банкетный зал, а там и Бубнов, и Блюхер, и Егоров, и Якир с Уборевичем, Позерн, Буденный, Лашевич, Раскольников, Примаков, Штерн, Подвойский, Крыленко, Корк, Эйдеман, Тухачевский, ясное дело, ну и Ворошилов со Сталиным... Все, гляжу, хоть и под парами, разгоряченные, но какие-то напряженные, нахохлившиеся... Сталин, пожав мне руку, говорит: «Мужик, нука, покажи себя...» Он меня еще с гражданской называл «мужиком», любил рослых, а особенно тех, у кого в семье был кто из духовенства... Я его спрашиваю, что надо сделать. А он трубку раскурил, — лицо жесткое, глаза потухшие, хмельные, — пыхнул дымком и говорит: «Я предложил провести соревнование по борьбе — кто из наших командиров самый крепкий... Вот Тухачевский всех и положил на лопатки... Сможешь с ним побороться? Но так, чтоб его непременно одолеть?» Я, конечно, ответил, что будет выполнено. «Ну, иди, вызови его на поединок». Я и пошел. А Тухачевский крепок был, не так высок, как я, но плечи налитые, гири качал, как только на скрипке своей мог играть, ума не приложу, она при нем крохотной казалась, хрупенькой, вот-вот поломает... Ну, я к нему по форме, он ведь старше меня был по званию, командарм, я только комдив, так, мол, и так, вызываю на турнир... Тухачевский посмотрел на Сталина, усмехнулся чему-то, головой покачал и ответил: «Ну, давайте, попробуем». Схватились мы с ним посредине залы; крепок командарм, жмет, аж дух захватывает, а поскольку я выше его, мне не с руки его ломать, захват приходится на плечи, а они у него, как прямо, понимаете, стальные... Вертелись мы с ним, вертелись, а вдруг я глаза Сталина увидел — как щелочки, ей-богу, а лицо недвижное, будто стоит на весенней тяге, так весь и замер... Как я эти его глаза увидел, так отчего-то ощутил испуг, а он порою придает человеку

пребо-ольшую, отчаянную силу! Ухватил я Тухачевского за талию и вскинул вровень с собой, а когда борец ног не чувствует, ему конец, потому как опоры нету, будто фронт без тыла... Ладно... Держу я его на весу, жму, что есть сил, а он решил ухватить меня за шею, чтоб голову скрутить, — без нее тоже не с руки бороться... Но я этот миг как бы заранее почувствовал, взбросил командарма еще чуть выше и что было сил отшвырнул от себя. Но — не рассчитал: он спиною ударился о радиатор отопления и так, видно, неловко, что у него даже кровь со рта пошла... А Сталин зааплодировал мне, заметив: «Молодец, мужик! Положил забияку, будет знать, как своей силой похваляться...» Чокнулся со мной, выпил, повернулся и пошел к выходу, ни с кем не попрощавшись...

Тимошенко замолчал, полнял со стола рюмку и, неожиданно для всех, резко поднявшись, откашлялся:

— Предлагаю тост за выдающегося деятеля международного рабочего движения, начал *рубить* он, — гениального военачальника Великой Отечественной, страстного борца за мир и дружбу между народами, нашего дорогого Никиту Сергеевича Хрущева...

...Воистину, никто так легко не отдает права править собою, как мы... Традиция? Или рок? Неужели закономерность?

16

Сергей Николаевич Новиков, большевик с восемнадцатого года, пришел в ЧК в двадцатом, принимал участие в борьбе с басмачеством, переехал в Москву, учился в институте, затем был отправлен в Казахстан, работал в Алма-Ате, в тридцать пятом году стал одним из руководителей местного НКВД.

Однажды ночью услыхал, как к дому, где он жил, подъехали три машины; выглянул из-за шторы, увидал оперативную группу, выскочил во двор, перемахнул через забор и ушел в *бега*.

В Москве он объявился в тридцать девятом уже, после расстрела Ежова, когда из тюрем начали выпускать тех ветеранов, кого не успели уничтожить физически, но сломали морально: именно тогда Сталин и начал разыгрывать карту «большого обмана» — мол,

прежнее руководство НКВД «обманывало» страну, арестовывая невинных людей.

Женившись на моей тетушке Александре Ноздриной, Сергей Николаевич сдружился с моим отцом; дружба перешла ко мне «по наследству»; выйдя на пенсию и поселившись в деревне, Новиков рассказал, отчего его должны были арестовать.

— Ни Филипп Медведь, начальник Ленинградского ЧК, ни его заместитель Запорожец, готовивший убийство Кирова, не были расстреляны, — Сергей Николаевич заметно нервничал, рассказывая мне сокровенное, что он носил в себе больше тридцати лет. — Их отправили на Восток, да и не в лагеря, а на стройки, и не заключенными, а руководителями... Поэтому от Медведя «пошли круги» — он не мог не поделиться с друзьями о том, как после убийства Кирова в Питер приехал Сталин, вызвал к себе Николаева и задал ему всего три вопроса, один из них был решающим: «Вы где достали револьвер?» А Николаев ответил в ярости: «У Запорожца спросите, он всучил!» Сталин приказал немедленно Николаева ликвидировать, обматерив при этом Молчанова, одного из помощников наркома НКВД Ягоды, затем вызвал из камеры Борисова, начальника охраны Сергея Мироновича, побеседовал с ним с глазу на глаз; в тот же день Борисова убили.

Пресса, не подготовленная к тому, как комментировать происшедшее, сразу же обвинила в убийстве Кирова белогвардейцев. И лишь после того, как все свидетели были расстреляны или погибли при загадочных обстоятельствах, был дан залп против оппозиции, а в январе тридцать пятого был проведен закрытый процесс против Каменева и Зиновьева: им дали по пять лет лагерей за то, что они якобы несли моральную ответственность за убийство Сергея Мироновича.

Так вот, поскольку с Медведем я неоднократно встречался, в голове у меня шевельнулись первые сомнения — что-то во всем этом деле нечисто... Но дрогнул я лишь после того, как наш казахский нарком вернулся из Москвы в Алма-Ату в январе тридцать шестого, собрал коллегию, стенографиста попросил покинуть кабинет и сообщил, что начальник управления Молчанов проинформировал собравшихся: в стране открыт грандиозный заговор, во главе которого стоят Троцкий, Каменев, Иван Смирнов, Зиновьев. Главная цель: убий-

ство товарища Сталина и его ближайших соратников — Ворошилова, Кагановича, Орджоникидзе, Жданова, Чубаря; наркомат переходит на военное положение, все иные дела (будь то шпионаж, экономические диверсии, злоупотребления по должности) откладываются, *работаем* троцкистско-зиновьевских террористов... А я, брат, возьми да и бухни: «А кто же этот заговор раскрыл? Почему мы, чекисты, не имели до сих пор никаких намеков на такую разветвленную цепь?» Мой нарком чуть съежился, на вопрос не ответил, но, многозначительно посмотрев на меня, заключил: «За работой следствия будет наблюдать лично товарищ Сталин, а руководить — секретарь ЦК Николай Иванович Ежов. Это все. Готовьте предложения. Срок — двадцать три часа. Точка».

Сергей Николаевич — бровастый, лупоглазый, большелобый — поднялся с табуретки, походил по маленькой кухоньке, застланной домотканными дорожками, остановился возле печки, прижался к ней, словно бы стараясь вдавить в нее свое тело, вобрать ее тепло, ощутить *спину* (нет ничего важнее, чем чувствовать *надежду* у себя за спиной), и, закурив «гвоздик», продолжил.

— Ежова я встречал дважды, — маленький, быстрый, глаза оловянные, улыбка быстрая, располагающая, — и каждый раз дивился тому, отчего товарищ Сталин выдвинул именно его на это дело. Образованием он не блистал, говорил с плохо проставленными ударениями, порой путал падежи; я тогда подумал: мы ж горазды на самоуспокоение, точнее, самообман, — мол, выражается так, чтобы быть понятным самым широким слоям народа. Эрудиция Каменева, честно говоря, порою ставила в тупик, не всем была понятна, — больно уж профессорский тон, сплошная искрометность, афоризмы, иностранные слова... Да, брат...

Был у Ежова друг, заместитель народного комиссара земледелия Конар, приезжал к нам единожды, за день перед этим пришла шифровка: «Обеспечить помощь по всем вопросам. Ежов». Ну, ясно, мы и прыгали вокруг Конара, да разве одни мы? А потом — ба-бах! — берут этого самого Конара, оказался шпионом, настоящая фамилия Полищук, польская разведка ему дала документы на имя красного командира Конара, убитого в перестрелке, внедрился, «рос» двенадцать лет, обосновался в Москве, вошел в «свет», а как свиделся с Ежовым — сразу сел в кабинет заместителя наркома зем-

леделия... А это, брат, не шутка — вся стратегия борьбы с бухаринским уклоном в МТС проводилась в жизнь им, Конаром. Причем не мы, ЧК, его раскрыли... Молодой большевик, из МТС, случайно увидавши Конара, ахнул: «Да я ж с товарищем Конаром в одном полку служил! Никакой это не Конар!» Только после этого мы поставили наблюдение и получили прямые улики шпионской деятельности замнаркома... А ведь поначалу Ежов звонил Ягоде, кричал: «Не сейте семена подозрительности! Не клевещите на честных большевиков! Занимайтесь лучше своими проходимцами, которые бегут на Запад!»

Да, брат, такие вот были дела... Словом, назавтра, в двадцать три по нулям, собрались мы у наркома. Мне дал слово первому: «Ну, что у тебя? Давай фамилии троцкистско-зиновьевских убийц. Кто даст серьезные показания? Какие улики?» Я ответил, что, по данным тех отделов, что я курировал, никаких зацепок нет, оппозиционеры давно разоружились, честно трудятся, никаких претензий. А он: «Плохо работаете». — «Что ж, *выбивать* угодные показания, как в охранке?» Он аж крякнул: «Товарищ Ягода издал приказ, завтра огласите всем сотрудникам: «Любые меры принуждения, угрозы, обещания подследственным будут караться как преступление! Мы работали, работаем и будет работать с чистыми руками!».

А назавтра наркома забрали. А ведь не кем-то был — родственником Сталина, комиссар госбезопасности Реденс... Ясно? А послезавтра я ушел в бега, убедившись, что действительно начался термидор, заговор против самой памяти Феликса Эдмундовича.

В *бегах* я отлеживался в горах, жил в пастушеской сараюшке, газеты — хоть с опозданием, но читал. И постепенно создалось у меня впечатление, что дружба Конара с Ежовым не случайна, Ежов — самый настоящий шпион, вражина, делает все, чтобы оставить товарища Сталина одного, лишить его всех тех, с кем он был в революции. И я написал подробное письмо Сталину. Почерк, конечно, изменил, не подписался, отправил из другого города, в полтысяче километров от тех мест, где скрывался; никакой реакции; еще, наоборот, больше портретов Ежова, да еще новый лозунг выдвинули: «Учиться жить и работать по-сталински у товарища Ежова»...

Когда Ежов исчез, после Восемнадцатого съезда

уже, я прочитал в газетах отчет о судебном процессе над Луньковым, бывшим начальником НКВД в Кузбассе, который арестовывал малолеток и выбивал из них показания, что они, мол, готовили теракт против товарища Сталина. Детей бросали в те камеры, где было полным-полно старых большевиков, а тюрьма — организм особый, через стены, перестуком, информация расходится не то что по городу — по стране, не удержишь... Тогда я и понял, чем Ягода и Ежов вырывали показания у ленинцев: страхом за жизнь детей... Логика: если чужие малыши сидят, значит, и мои мучаются в соседней камере... Вот после того, как открытый суд приговорил Лунькова к расстрелу, я и решил вернуться в Москву... Устроился в Покровском-Стрешневе завхозом строительства и начал чекистскую комбинацию: поскольку в газетах ничего о Ежове не писали, я решил вновь вернуться к гипотезе о его шпионской деятельности: надо ж народу вразумительно объяснить, что страшная трагедия, свидетелями которой мы были, — дело рук иностранной разведки... Поэтому я начал слежку — да, да, именно так, форменную слежку — за домами, где жили сотрудники НКВД, там мои друзья, верные друзья, с гражданской еще... Я хотел поговорить со «стариками», глядишь, подскажут, как надежнее передать письмо о Ежове лично товарищу Сталину... Один дом я наблюдал месяц — каждое воскресенье садился в скверике с газетой и «срисовывал» всех входящих и выходящих... Ни одного из стариков не увидал, все новые лица, значит, *моих* постреляли... Потом перешел ко второму дому — тоже никого... Словом, брат, четыре месяца я *работал*... И только на пятом повезло: увидел Вадима, мы с ним в двадцатых учились вместе... Окликнул его негромко, он заметил меня, но не подошел, только чуть кивнул. Я обернулся — слежки вроде за ним не было, остался на лавочке, сижу, читаю, жду... Он выскользнул вечером, проходя мимо, шепнул, чтоб, мол, я ехал в парк «Эрмитаж», там поговорим. Ну и поговорили... Выслушав меня, он выпил граненый стакан водки, закусывать не стал, словно воду минеральную проглотил, и, склонившись ко мне, шепнул: «Дурак ты, Сережка! Дурак, как все мы... Я присутствовал на собрании, когда Ежов нам объявлял, отчего Ягода арестован... Он, оказывается, изобличен в том, что был агентом охранки еще с девятьсот седьмого года... А ведь Ягода вроде б в девяносто седьмом родился, об этом

в энциклопедии было написано... Десятилетний агент?! А мы? Молчали, Сережа. Все как один молчали... А потом я узнал, что важнейшие ответы Бухарина на процессе писал Сталин... И сочинил ему такое признание, что, мол, я, Бухарин, подозревал Ленина в том, что тот немецкий шпион, еще с семнадцатого года, когда проехал в «пломбированном» вагоне Германию, чтоб скорей попасть в Россию... А после того как Ленин потребовал Брестского мира, я, Бухарин, до конца убедился, что Ленин — немецкий шпион, и поэтому решил его убить... И тут Бухарин взорвался: «Ради Нюси и Юры я готов погибнуть, оклеветав себя, но такого я не подпишу! Стреляйте всех нас, убивайте нас троих, но я не дам Сталину обвинить мертвого Ленина в шпионаже! Не дам, и все тут!» Сережа, Сережа, о чем ты?! Бухарин спас Ленина! Согласись он сказать на процессе то, что написал ему Сталин, — вычеркнули б Ильича учебников, помяни мое слово! А кто нам телеграмму прислал: «применяйте пытки»? Сталин, Сережа, Сталин... Нам эту телеграмму зачитали, потому я тебя домой и не пригласил, я один остался из тех, кто ее слыхал, значит, дни мои сочтены, так или иначе *подберут*... А ты — «письмо товарищу Сталину»... Забудь, Серега, Ежов был его подметкой, а никаким не шпионом...

Сергей Николаевич прерывисто вздохнул, еще резче вмял свое кряжистое крестьянское тело в печку и глухо закончил:

— После Двадцатого съезда я на партсобрании выступил против того, что о Сталине говорили как о человеке, который руководил войной по глобусу... Это было... Но я и за то выступил, чтоб открыть всю правду про убийство Кирова... Зачем я тебе говорю все это? Отвечу. Один старик, из могикан, сказал мне: «Ты ж Юльку знаешь, спроси, зачем он в «Семнадцати мгновениях» Сталина помянул? Разве можно славить сатрапа?!» А я ему ответил: «Трагедия наша в том, что Сталин, который выбил ленинцев, стоял на трибуне Мавзолея седьмого ноября сорок первого, и для нас, в окопах, это было счастьем — для всех без исключения: и кто знал правду, и кто не знал ее... Хочешь, чтоб снова писали лишь одну грань правды? Но разве это история? Нет, брат, история — это когда пишут *всё*.. И — как бы со стороны — без гнева и пристрастия. Иначе — не история это, а подхалимский репортаж; тоже придется вскорости переписывать...»

17

Сразу же после расстрела Каменева и Зиновьева самый массированный удар был нанесен по дзержинцам, ибо все они были потрясены коварством Сталина, обещавшего сохранить жизнь обвиняемым взамен на «спектакль».

Никто из ветеранов ЧК не верил, что те являлись агентами Троцкого, убийцами и заговорщиками, но все они были убеждены в необходимости окончательного идейного разгрома троцкизма, — в этом и видели смысл операции «Процесс 1936».

К концу тридцать восьмого года практически весь аппарат Дзержинского, то есть все те, кто создавал ЧК, были расстреляны — без суда и следствия, как злейшие враги народа, шпионы и диверсанты.

Один из создателей советской контрразведки Артузов первую коронную операцию за кордоном назвал «Трест»; название утвердил Феликс Эдмундович.

Именно «Трест» позволил молодой Республике Советов сломать боевые отряды контрреволюционной эмиграции.

Не один лишь Борис Савинков (человек беспримерного мужества, уходивший из-под царской петли, адепт террора, вождь боевки социалистов-революционеров) был обезврежен ЧК; генералы Кутепов и Миллер, руководители «Русского Общевоинского Союза», также были нейтрализованы службой Артузова.

После смерти Дзержинского (Артузов не верил в естественную *смерть* Феликса Эдмундовича; у всех на памяти была гибель Фрунзе, — кто владеет армией и ЧК, тот контролирует ситуацию) Артузов замкнулся, ушел с головой в работу; против Республики Советов работали все секретные службы на Востоке и Западе.

Попытку вовлечь его в написание *сценария* первого процесса против Зиновьева и Каменева в 1935 году отверг с гневом: «Я против своих не воюю, врагов достаточно».

Будучи арестован с группой первых дзержинцев, вскрыл вены и написал на простыне, вывесив ее — умирающий уже — в окно камеры (тогда они еще были без «намордников»): «Каждый большевик, верный идеям ленинской революции, обязан — в случае первой же возможности — уничтожить Иосифа Сталина, предателя, изменившего делу коммунизма, сатрапа, мечтающего о государстве единоличной тиранической диктатуры!»

18

Отношения Сталина с Глебом Максимилиановичем Кржижановским, первым председателем Госплана республики, задуманного Лениным как высший совет выдающихся ученых и практиков науки — «не более ста человек первоклассных экспертов», — были натянутыми с начала двадцать первого года.

Сталин знал, что Кржижановский был одним из ближайших друзей Ильича, отношения их сложились еще с конца века, в шушенской ссылке; вместе *выстрадали* эмиграцию, вместе работали над планом ГОЭЛРО, любили одних и тех же композиторов (прежде всего Бетховена), никогда не расходились в вопросах теории и практики большевизма. В двадцать первом — с подачи Орджоникидзе, Дзержинского и Троцкого — Ленин порекомендовал Кржижановскому согласиться на то, чтобы его заместителем стал Пятаков: «У него административная хватка, такой вам — интеллигенту с добрым сердцем — поможет по-настоящему, очень талантлив, хоть и крут, подражает Льву Давыдовичу, военная школа...»

Генеральный секретарь разрешал себе подшучивать над Глебом Максимилиановичем иначе — в присутствии тогдашних друзей Каменева и Зиновьева: «Кржижановского надо назначать на самые ответственные участки работы, дать ему собрать аппарат из себе подобных, затем набраться терпения, пока не напортачит, а после выгнать всех его протеже взашей, а Кржижановского перевести на новую работу: пусть снова порезвится в подборе так называемых «кадров» — отменная форма бескровной чистки аппарата».

Зиновьев над предложением Сталина хохотал: «Разумно, а главное — без склок и истерик».

Каменев, однако, качал головой: «Не слишком ли по-византийски? Лиха беда начало, не обернулось бы потом против всех, кто мыслит не по шаблону и подвержен фантазиям. Революции нужны фантазеры в такой же мере, как и прагматики».

Кржижановский знал об этом; Ленину, понятно, ничего не говорил, друга щадил, работал из последних сил, день и ночь; благодаря помощи первого «красного академика» Бухарина привлек к работе Госплана цвет науки: Вавилова, Иоффе, Крылова, Рамзина.

Именно Кржижановский и рассказал семье Подвойских поразительный эпизод, многое объясняющий —

не прямо, но косвенно — из того, что произошло в стране после смерти Ильича.

Когда друзья Ленина приехали в Горки, «Старик» — так называли его самые близкие — уже лежал в гробу: маленький, рыжий, громаднолобый. Каждый из приехавших подходил к нему; слез не скрывали, стояли подолгу, силясь навсегда вобрать в себя лицо друга, человека, который воистину потряс мир.

Всеми нами, вспоминал Кржижановский, владела страшная, пугавшая каждого растерянность: «А что же дальше? Как поступать? Что сказать Надежде Константиновне? Какие найти слова? Когда выносить тело? Мыслимо ли это вообще?!»

— Я, как и мы все, — рассказывал Подвойским Кржижановский, — ощущал себя маленьким ребенком, брошенным на мороз, — ужас, одиночество, растерянность.

Прощаясь, мы стояли подле Ильича, не в силах оторвать глаз от его прекрасного, скорбного лица, стояли безмолвно, потом медленно отходили в сторону, уступая место следующему, надеясь, что Зиновьев ли, Калинин, Бухарин, Рыков, Каменев, Бонч найдет в себе смелость прервать этот ледянящий душу процесс прощания с *эпохой,* революцией, Россией, в конечном счете.

Но никто из них не произносил ни слова: молча плакали; плечи тряслись — странный, как в детстве, звук шмыгающих носов, когда безутешно рыдают малыши, стараясь таить свое горе от взрослых...

А потом к гробу подошел Сталин. Глаза его были сухи, только горели лихорадочно, словно у человека, больного тяжелейшим воспалением легких.

Как и все мы, он стоял возле гроба несколько минут, потом вдруг наклонился к Ильичу, обнял за шею, *поднял* из гроба и поцеловал в губы долгим, *открытым* поцелуем. Это потрясло всех; мы никогда бы не простили ему этого кощунства, если бы он, опустив голову Ильича на подушечку, не сказал сухо, командно даже — всем и никому:

— Выносите тело.

Я никогда не мог и предположить, что именно он, Сталин, найдет в себе дерзостную отвагу *взять* на себя слова такой простой, но столь необходимой всем нам команды.

(Надо бы нам постараться понять, а значит, и объяснить — себе и нашим детям, — для чего революционе-

рам, приехавшим в ту страшную ночь в Горки, людям, испытавшим каторги, эмиграцию, тюрьмы, ссылки, совершавшим побеги из-за Полярного круга, пришедшим в Революцию для того именно, чтобы бороться за личное достоинство сограждан, которое невозможно вне свободы, в условиях абсолютизма, когда за тебя решают, тебе приказывают и от тебя ждут лишь слепого исполнения приказанного, — отчего этим людям, пророкам Революции, потребовалась команда на поступок, резкая, как удар хлыста?!

Каждая секунда истории человечества хранит в себе триллионы тайн. Однозначный ответ на них невозможен, даже если самые совершенные компьютеры будут включены в работу. Впрочем, последние исследования, проведенные с мозгом Альберта Эйнштейна, дали совершенно новое направление философии науки, подтвердив лишний раз, что мы, надменные земляне, стоим на берегу безбрежного океана таинственного незнания: если ранее — до нового исследования мозга гения — считалось, что главной его субстанцией является нейронная масса, а *глия* — лишь связующее звено между нейронами, то теперь ученые просчитали, что мозг Эйнштейна, провозгласившего новое качество мышления, состоял на семьдесят процентов именно из глии... А ведь вся система компьютеров строилась на нейронном принципе! Значит, и в этом случае человечество избрало ложный путь, лишив себя гигантского объема знаний?!)

— Я никогда не забуду те речи, которые были произнесены над гробом Ильича, — продолжал Кржижановский. — Я не любил и поныне не люблю Сталина, но его речь, не редактированная еще его помощниками Товстухой и Мехлисом, была самой сильной из всех, хотя и резко отличалась от той, которая опубликована в собрании его сочинений...

Спустя четырнадцать лет, в том же Колонном зале, Сталин (когда еще не началось прощание) зарыдал и, прижав к себе голову Серго, убитого по его приказу, повалился — в истерике — на пол, увлекая за собой тело человека, воспитанного Лениным в маленьком французском городке Лонжюмо.

* * *

Когда гроб с телом Сталина выносили из Колонного зала, я стоял возле Манежа. Однако среди тех, кто

шел в похоронной процессии, был мой друг — журналист Олег Широков, женатый в ту пору на одной из дальних родственниц Иосифа Виссарионовича. Он-то и рассказал мне эпизод, который навсегда отложился в памяти.

Гроб выносили из подъезда Дома союзов Берия и Маленков, ростом значительно ниже сатрапа; во втором ряду шли Хрущев и Молотов. Гроб чуть перекосило. Берия, не скрывая раздражения, *приказал*:

— Выше поднимайте! Выше!

Все вздернули руки. Только один человек не внял его команде. Его звали Хрущев.

19

Алексей Ильич Великоречин был парторгом того эскадрона, где комсоргом был мой отец; вместе служили на границе с Турцией в двадцать девятом, с тех пор побратались; в начале тридцатых Великоречина избрали секретарем одного из райкомов партии в Горьком, отец стал работать в Москве, в Наркомтяжпроме, у Серго Орджоникидзе.

Великоречина посадили в тридцать седьмом; несмотря на применение «недопустимых методов ведения следствия», он ни в чем не признался; в тридцать девятом состоялся открытый суд, его реабилитировали «подчистую» — Берия провел по стране около двадцати «показательных» процессов такого рода, нарабатывал образ сталинского «борца за справедливость».

Войну Великоречин провел в окопах, был отмечен солдатскими наградами, получил звание батальонного комиссара; потом закончил аспирантуру, защитился и стал преподавателем марксизма в Горьковском педагогическом институте; единственным человеком, кто осмелился написать письмо моему отцу, когда тот сидел во Владимирском политическом изоляторе, был именно он, Алексей Ильич; люди моего поколения понимают, каким мужеством надо было обладать, чтобы пойти на это.

Вот он-то и рассказал мне, почему единственный раз в жизни напился допьяна, — ни до, ни после с ним такого не случалось.

— Я ведь мужик крестьянский, значит, памятливый... Поэтому меня, знаешь, прямо-таки ошеломило постановление Сталина о закрытии обществ — старых большеви-

ков и политических каторжан и ссыльно-поселенцев. Произошло это летом тридцать пятого, вскоре после того как Каменев и Зиновьев были выведены на первый процесс в связи с убийством Сергея Мироновича... В день закрытия обществ я поднял в нашей истпартовской библиотеке подшивки номеров журнала «Каторга и ссылка». Просидел над ними всю ночь напролет, — это, кстати, мне потом ставили в вину на следствии: мол, интерес к «троцкистской клеветнической литературе»... И чем больше я читал, тем зябче становилось: и про Дзержинского там были статьи, и про Фрунзе, Каменева, Свердлова, про Ивана Никитича Смирнова, Антонова-Овсеенко, Дробниса, Радека, Енукидзе, Крыленко, Рыкова, Стуруа, Троцкого, Муралова, Пятакова, Шляпникова, Варейкиса, Кецховели, Бадаева, Орджоникидзе, Шаумяна, Бакаева, Мрачковского, Тер-Петросяна — Камо, Литвинова, а про Сталина — одно-два упоминания, всего-то... Писать про него стали после тридцать первого года, когда Зиновьев, восстановленный в партии, короновал Иосифа Виссарионовича «железным фельдмаршалом революции»... А уж как только Общество старых большевиков закрыли и журнал политкаторжан прихлопнули, порекомендовав перевести его на «спецхранение», — вот тогда и пошли захлебные статьи про то, что лишь Ленин и Сталин делали революцию.

Понял я той ужасной ночью, зачем Сталину понадобилось уничтожить академика Покровского! Друг Ильича, партийный историк, — вся наша плеяда по его книгам училась! В тридцать первом Сталин писал, что царскую Россию лупили все, кому не лень, — за ее отсталость; теперь, когда он стал «вождем», надо было переориентировать народ: «не нас били, а мы бьем и будем бить!» Покровский-то ограничивал рассмотрение советской истории лишь двадцать третьим годом — последним годом работы Ильича; Сталин потребовал продлить *историю*, включить в учебники Семнадцатый съезд — съезд «Победителей», когда он сделался «Великим Стратегом»... А знаешь, кому он поручил эту работу в тридцать шестом? Не столько Жданову, сколько Бухарину, Радеку, Сванидзе, Файзулле Ходжаеву, Яковлеву, Лукину и Бубнову, зная уже, что дни этих людей сочтены, все они будут расстреляны! Можешь объяснить его логику?! Я — не могу! Почему именно смертникам он поручил сделать книгу о себе — «великом вожде революции»?! Полагал, что те до конца растопчут себя,

принеся ему еще одну клятву в верности? Опозорятся, создав фальшивку? Или ему были нужны имена тех революционеров, которых знал мир, — как таким не поверить?! Но почему же тогда он не дождался выхода этой книги и расстрелял их?!

Алексей Ильич отхлебнул горячего, крепкого чая — волгарь, он был «водохлёбом» — и, сокрушенно покачав головой, продолжал:

— Напился я в ту ночь гнусно, до сих пор самого себя стыдно... Теперь-то я понимаю, отчего это случилось: когда я кончил читать старых большевиков, то по всем нормам чести я был обязан на первом же партийном собрании подняться и объявить во всеуслышание то, что я для себя открыл: не был Сталин «великим революционером» в начале века, никто тогда его не знал: не был он — наравне с Лениным — «вождем Октября»! Что ж нам сейчас голову дурачат?! Неужели мы беспамятное стадо, а не союз мыслящих?! Но, возражал я себе, отчего же все те, кто работал с Лениным до революции: Каменев, Орджоникидзе, Рыков с Зиновьевым, Бухарин, — все они начиная с тридцатого года звали партию следовать именно за Сталиным?! Как же им-то не верить?! Ведь Каменев с Зиновьевым начали славить Сталина не в тюрьме, а когда еще жили на свободе! А Радек?! Они, именно они начали создавать его культ, перья-то у них были золотые, воистину! Ну и придумал я тогда себе оправдание: мол, историки двадцатых годов были необъективны к Сталину, пользовались его скромностью, замалчивали его роль в революции...

Алексей Ильич набычился, голова у него была античной лепки, крепкая, крутолобая; замер, словно роденовский мыслитель, а потом закончил:

— Когда меня привели на пересуд — уже после расстрела Ежова, один из профессоров, шедший со мной по делу, сказал: «Я закончу свои показания здравицей в честь товарища Сталина — ведь именно он спас ленинцев от уничтожения бандой Ягоды и Ежова». А новый сосед, которого привезли из Москвы — он раньше в Наркомпросе работал, у Крупской, — процедил сквозь зубы: «Дорогие мои сотоварищи, если даже нонешний суд нас оправдает, то все равно через пару лет шлепнут, ибо по стране все равно *поползет* правда о том, что мы, ленинцы, перенесли, а ее, эту правду, без нового тридцать седьмого не изничтожить...»

...Когда отец вышел из тюрьмы, я спросил его, получил ли он письмо Алексея Ильича. Старик ответил, что ни от кого, кроме меня, писем ему не передавали.

А ведь великоречинское письмо я самолично опустил в почтовый ящик...

Алексей Ильич Великоречин умер в горькие годы застоя: сердце не могло смириться с ощущением тинной, засасывающей болотности — заплыл далеко в Черное море и не вернулся...

20

Мой многолетний партнер по бильярду, писатель Николай Асанов, был человеком труднейшей судьбы: впервые его арестовали в начале тридцатых, потом выпустили, вскоре забрали снова; каждый день он писал письма наркому внутренних дел Ягоде и прокурору Вышинскому, ответов, понятно, не получал. Отчаявшись, обратился к Сталину. Через две недели, в день Первого мая, в три часа утра, его подняли с нар и повели по бесконечным коридорам внутренней тюрьмы, пока он не оказался в большом кабинете.

Напротив него сидела женщина в глубоко декольтированном платье, ангельской красоты и кротости.

— Я не поверил своим глазам, — рассказывал Асанов, выцеливая шар. — Это была Марьяна, видный работник эн-ка-ве-дэ, жена одного из руководителей нашего писательского Союза. Я потянулся к ней, ощутив слезы счастья на щеках; она, однако, чуть отодвинулась, но сделала это так, что я сразу не ощутил пропасть между нами... Тем не менее ласковым, доброжелательным голосом она спросила, как я себя чувствую, нет ли каких жалоб, а затем предложила объяснить — более подробно, чем в письме товарищу Сталину, — почему я считаю несправедливым происшедшее со мной.

Сбиваясь, путаясь, испытывая желание приблизиться к ней, ощутить ее тепло — ведь мы же были на «ты» раньше, — я принялся излагать свое дело, а это ужасно, когда тебе приходится оправдываться в том, в чем ты никак не повинен. Наверное, я был смешон, жалок и неубедителен.

А за окном была рассветающая Москва, и гулькающие голуби ходили по отливам окон громадного кабинета Марьяны. Я ощущал запах ее духов и горечь длинных папирос, которые она курила, сосредоточенно слу-

шая мое бормотание. Марьяна вдруг резко поднялась, и прелесть ее точеной фигуры снова ошеломила меня, сделала арестантом, мастурбирующим на *мечту*, подошла ко мне, протянула папиросу и тихо, с горечью сказала:

— Послушай, Асанов, хватит нитки на хер мотать! Садись-ка лучше за стол и пиши правдивые показания, это, убеждена, спасет тебе жизнь...

Последние ее слова я слышал уже в состоянии полуобморочном, потому что начал сползать со стула на ковер.

Асанов красиво положил шар, посмотрел на меня своими постоянно смеющимися глазами, в глубине которых прочитывалась неизбывная горечь, и, намелив свой фирменный кий, купленный за четвертак у нашего маркера Николая Березина, поинтересовался:

— Не правда ли, прелюбопытнейший сюжетец, а?

Асанова вскоре выпустили. А Марьяну расстреляли — пришел Ежов, начал «подчищать» последние кадры Ягоды; расстрельщик Васюков (официально назывался «исполнитель») с работой не справлялся, пришлось поставить дело на конвейер, убивали из пулеметов; чтобы не было слышно, во дворе заводили грузовики; шоферам велели газовать на всю «педаль» — полная гарантия тишины...

21

ЛЕТО ТРИДЦАТЬ СЕДЬМОГО

Нас тогда на Спасо-Наливковском осталось трое: Витёк, Талька и я. По утрам мы собирались возле шестого подъезда, читали по складам «Пионерку», играли в «классики» или «штандер», а потом ходили по этажам — смотреть опечатанные квартиры. Каждую ночь в нашем доме опечатывали несколько квартир. Иногда их опечатывали сургучом, и тогда мы уходили ни с чем, но если сургуча не хватало, опечатывали воском или пластилином; мы осторожно соскабливали его, лепили солдатиков, опускали их в лужи, и они становились совсем как оловянные.

— Говорят, вчера маршала Буденного арестовали, — сказал я, — за то, что у него на даче жила японская балерина.

— Откуда знаешь? — средито спросил Талька; он не

любил, когда кто-нибудь из нас первым сообщал наиболее важные новости.

Я ответил уклончиво, потому что мама настрого запретила рассказывать про то, что я слышал дома. «Ты уже взрослый мальчик, — сказала она, — ты должен понять, что сейчас надо молчать». «Почему?» — спросил я. И она стала рассказывать про врагов народа, которые теперь, благодаря нашим успехам, со всех сторон окружают родину, — будто я сам не читал об этом в «Пионерке». Родители вообще стали какие-то странные с тех пор, как отец начал меня брать с собою днем. Раньше-то он уезжал на машине к себе в редакцию, где у него были две красивейшие секретарши, которые давали мне печатать на машинке.

Одна, тетя Роза, была дьявольски хороша, и я по ночам мечтал, чтобы она стала моей матерью. Я всегда мечтал о красивой матери, но свою я тоже любил. Я редко видел отца, а теперь мы ходили с ним по улицам, и он расклеивал театральные афиши. А раз я крепко струхнул. В последнее время я часто слышал, как он по ночам тихо говорит матери:

— Краснощекова забрали, а Курочкина и Маршака поставили к стенке.

Я сначала не понимал, что значит «ставить к стенке». Мы, когда играли в «штандер», тоже ставили к стенке, чтобы было удобнее целиться теннисным мячом в того, кто проиграл. А когда отец сказал про дядю Сашу, что его тоже «поставили к стенке», мать охнула и тихо спросила:

— Неужели и Сашу расстреляли?

Стало быть, «расстреливать» и «ставить к стенке» — одно и то же, понял я. Так вот, в воскресенье мы отправились с отцом в Парк культуры. А в вагоне метро ехал один пьяный в лыжных брюках с коричневыми штрипочками, на которые он то и дело наступал каблуками. Когда мы вышли из вагона на станции Коминтерн, пьяный ударил отца по голове. Отец закричал:

— Перестаньте хулиганить! Я вызову милицию!

Образовалась толпа. Подошел милиционер и сказал отцу:

— Гражданин, не мешайте проходу, станьте к стенке.

Я заревел со страху, решив, что отца сейчас будут расстреливать. Я стал хватать его за руку и тащить вверх, на улицу, где было солнечно, и гудели машины, и не было этого страшного кафельного полумрака. Паль-

цы у отца сделались холодными, а еще я увидел, как у него затряслось колено, когда милиционер стал требовать паспорт. На улице отец взял меня на руки и прижал к себе, будто я маленький. Я обнял его за шею, а она у него тряслась, и мне стало за него стыдно: я испугался, как бы все не заметили, что он дрожит.

...Витёк начертил на асфальте новые «классики» с большим «огнем» и начал скакать первым. Он великолепно скакал — и «квадратиком», и «змейкой», и «через раз», и «вслепую». Он лучше всех играл в «штандер» и никогда не мазал мячом, если целился в проигравшего. Он был единственный из нас, кто не обижал девчонок и не скрывал, что влюблен в Алку Блат. Вообще, Алка была не по годам серьезным человеком и знала всю правду о семейной жизни. Когда я сказал ей, что у вождей нет пиписек, она хохотала до слез.

— Вот что, — шепнула она, подойдя к нам. — Но дайте честное октябрятское, что никому не скажете.

Мы дали честное октябрятское.

— Мне стало известно, — сказала она, — как рождаются дети.

— Как? — спросил Витёк.

— Очень просто, — ответила Алка Блат. — Для этого надо крепко обнять друг друга и поцеловаться.

Мы с Талькой начали презрительно смеяться, а Витёк подошел к Алке и сказал:

— Я хочу, чтобы ты родила мне ребенка!

— Ну, пожалуйста, — ответила Алка Блат.

Витёк обнял ее и поцеловал. Мы с Талькой стояли потрясенные. Потом Талька покашлял в кулак, полистал «Пионерку» и сказал:

— Я тоже хочу ребенка.

Алка вопросительно посмотрела на Витька. Тот сосредоточенно скакал в «классиках» и ни на кого не глядел.

— Он мне друг, — убежденно сказал Талька, — он разрешит.

— Давайте, — вздохнул Витёк, — только побыстрей.

Но едва Талька обнял Алку и начал примериваться, как бы ее поцеловать, Витёк пустил камень, который гонял по «классикам», прямо в Талькину ногу. Талька завыл, потому что камень попал в косточку, а она электрическая — в глазах темнеет от боли. Талька скакал на одной ноге и плакал. Алка смеялась и, уперев руки в бедра, говорила, как ее бабушка:

— Какой же ты мужчина, если плачешь?! Нет, только мы, женщины, умеем переносить боль!

...Вечером, после того как мама напоила меня чаем с малиновым вареньем, я сразу же уснул. А проснулся оттого, что в нашей квартире лаяла собака. Сначала я удивился, потому что у нас не было собаки, сколько я ни просил родителей. Я мечтал воспитать ее и отправить на границу, товарищу Карацюпе. Но потом, в перерывах между лаем, я услышал быстрый мамин голос. Как только она смолкала, сразу же начинал лаять пес. Я решил, что родители мне сделали подарок и ночью привели в квартиру немецкую овчарку. Я поднялся с кровати, надел красивые меховые тапочки, которые привез в подарок из Парижа Николай Иванович Бухарин, и тихо пошел в ванную, где лаяла собака, а мама тихонько увещевала:

— Ну, не надо, не надо, успокойся... Не надо, прошу тебя, не надо...

Я чуть приоткрыл дверь и увидел в щелку, что папа сидел на табуретке и лаял, обхватив голову костистыми длинными пальцами, а мама одной рукой гладила его лицо, а другой прижимала к груди отцов маузер, который всегда был заперт в столе.

Я вернулся в комнату, оставив дверь приоткрытой, и сжался под одеялом в комок, чтобы не дрожать. Потом я увидел, как мама подошла к входной двери и долго слушала, прижавшись ухом к скважине. Она осторожно отперла дверь, вышла на площадку и постучалась в квартиру напротив. Там жил отец Витька, папин друг дядя Вася. Я услышал, как отперли дверь, и мне сразу перестало быть так страшно. Я слышал, как мама что-то шептала дяде Васе, но он, перебив ее, громко сказал:

— Оставь меня в покое с провокационными просьбами! Никакого пистолета я у себя не оставлю! А если твой муж, запутавшись в связях с врагами народа, хочет уйти из жизни — не мешай ему!

И захлопнул дверь.

Мама вернулась в комнату и стала плакать. Тогда из ванной вышел отец и, кивнув на меня, сказал:

— Если бы не он, я бы знал, что сейчас надо делать.

— Тише, — прошептала мама, — прошу тебя, тише...

— Мальчика жаль, — повторил отец. — А то бы я сделал то, что обязан сделать большевик.

— Тише, — снова попросила мать, — неужели ты не можешь говорить шепотом?

— Я бы сделал то, что надо делать! — вдруг визгливо закричал отец. — Я бы сделал!

— Что ты говоришь?! — охнула мама. — Ты хочешь погубить ребенка?

— Я не сплю, — сказал я сонным голосом. — Я только что проснулся, мамочка.

Мать подбежала ко мне; щеки у нее были мокрые, а губы сухие и воспаленные.

— А что такое «уйти из жизни»? — осторожно спросил я.

Она вся затряслась, а потом стала меня баюкать. Отец поднялся и зло усмехнулся:

— Бардак, а в бардаке еще бардак.

В дверь постучались. Мать замерла, и я почувствовал, как у нее стало холодеть лицо. А отец засмеялся — весело, так, как он смеялся раньше, когда в нашем доме еще не опечатывали квартиры.

— Кто? — спросил он громко.

— Я, — так же громко ответил из-за двери дядя Федор, отец Тальки, чекист, комиссар госбезопасности.

Отец отпер дверь. Дядя Федя вошел в квартиру. Он был в полной форме, с золотым шевроном на рукаве гимнастерки.

— Сначала предъяви ордер, — сказал отец.

— Дурак, — ответил дядя Федор. — Как только не стыдно, Семен... Давай я заберу оружие, Галя.

Мать дала ему маузер, и он сунул его в карман.

— Тебе лучше бы уехать сейчас, — сказал он отцу. — Куда-нибудь в деревню, в шалашик, — сено косить.

Он хмыкнул чему-то, потрепал отца по плечу и ушел.

...Утром Витёк сказал мне:

— А папа мне с тобой больше не велит водиться.

— Почему? — удивился я.

— Потому, что ты сын пособника врага народа.

— Дурак, — сказал я. — Мой отец работает заместителем Чарли Чаплина.

(Это была правда; отец сам сказал мне об этом, когда мы с ним клеили афиши, а я досаждал ему вопросом: «Кто ты теперь, пап?» В нашем дворе все мы, дошкольники и октябрята, придавали большое значение постам, которые занимали наши родители. Это было важно потому, что определяло, какую должность ты

получишь в военной игре. Вот отец и ответил про Чарли Чаплина.)

Витёк презрительно засмеялся:

— Никогда не говори неправды. Чаплина давно поставили к стенке.

— Он артист, — возразил я.

— Ну и что? Артистов тоже ставят к стенке. Всех можно поставить к стенке.

Пришла Алка Блат с нареванным носом:

— Талька съябедил, что я вам буду рожать детей. Знаешь, что со мной бабушка за это сделала?

— Это правда? — тихо спросил Витёк.

— Нет, — ответил Талька. — Я никому ничего не ябедил. Я просто сказал, что у нас скоро будет ребенок.

— Кому ты сказал? — спросил Витёк.

— Бабушке.

Витёк коротко стукнул Тальку в грудь, а потом ударил ногой по заднице.

— Иди отсюда, — сказал он. — Я больше не стану играть с тобой в «классики».

И мы стали играть в «классики» втроем, а Талька сидел возле парадного на скамеечке, сопел носом, но молчал, потому что боялся Витька.

...К нашему шестому подъезду подкатила зеленая «эмочка», и из нее вышли три человека в кепках с длинными козырьками. Шофер не стал выключать мотор, из выхлопной трубы попыхивал голубенький дымок, солнце сверкало в никелированных бамперах и ослепительных колпаках, на которых красным было выведено: «Завод имени Молотова».

Трое в кепках быстро вошли в подъезд. Мы удивились: куда это они так рано? Талькин отец, чекист дядя Федя, уезжает в двенадцать, и за ним приходит машина с номерным знаком МА 12-41. На шестом этаже никто не живет, потому что там всех забрали, на пятом этаже остался один трубач из военного оркестра, но про него говорят, что он «родственник», и потом у него туберкулез, а на трубе он играет только по ночам. На четвертом этаже живем мы с Витьком, на третьем этаже всех забрали, на втором квартира Тальки, а на первый вселился домуправ — после того, как увезли Винтера с женой, которые оказались японскими шпионами. Они вечно кидали нам леденцы из окна, когда мы играли в «классики» или в войну. После того как к ним приехала Надежда Константиновна Крупская, мы — в знак боль-

шого уважения — стали говорить Винтерам «гутен абенд». Но мы недолго говорили им «гутен абенд», потому что вскоре их арестовали. Наутро после того, как их квартиру опечатали, Талька сказал:

— А я колики в животе почувствовал.

— Ну и что? — спросил Витёк.

— Ничего, — Талька вздохнул. — Если не понимаешь, так подумай.

Мы начали думать, но так ни до чего и не додумались.

— Леденцы-то мы чьи ели? — помог наконец Талька.

— Винтеровские, — ответили мы.

— Вражеские, — поправил Талька. — Вражеские, троцкистско-бухаринские леденцы.

— Ерунда, — ответил Витёк, подумав, — на них было написано по-советски.

— Маскируются, — грустно усмехнулся Талька. — Верьте не верьте, а леденцы были явно отравлены проклятыми Винтерами.

Трое в кепках вышли из подъезда вместе с витькиными отцом, дядей Васей, и мамой, Марией Афанасьевной.

— Витенька! — закричал дяд Вася. — Сынок!

— Сыночек! — крикнула его мама. — Сыночка, дай я тебя поцелую! Витенька, дай я тебя поцелую!

Шофер дал газу, и машина умчалась. Витёк как стоял на месте, так и замер. Талька многозначительно подмигнул мне. На первом этаже открылось окно, и жена управдома внимательно на нас посмотрела. Потом открылась наша форточка, и мама крикнула мне:

— Быстренько поднимись домой!

— Сейчас, — ответил я.

Открылось окно и в Талькиной квартире.

— Таля, домой! — крикнула его бабушка. — Быстро!

— Алла! — пробасила бабушка Блат из пятого подъезда. — Домой!

И мы пошли по квартирам. А Витька так и остался стоять на месте.

Их квартира была опечатана воском. Я сковырнул кусочек, чтобы потом вылепить солдатика. Воск был еще очень теплым и податливым.

Назавтра в школу Витька не пришел. Урок начался с изучения биографии героя Октября и творца всех наших побед: «Сталин — это Ленин сегодня».

22

НЕОБХОДИМЫЙ КОММЕНТАРИЙ

...Брежнев, пришедший в школу в 1915 году, должен был драть шапку перед портретом государя — все драли! Он же кидал в костер портрет государя — все кидали. Он учился в классах; на стенах висели портреты вождей Октября: Ленина и Троцкого; потом прибавили Зиновьева, Каменева и Сталина, затем Бухарина и Рыкова. После убрали Троцкого и добавили Калинина. Затем вынесли Зиновьева с Каменевым, но тиражировали Ворошилова. В комсомол он вступил, когда в партии был признанный «триумвират настоящих ленинцев» — Бухарин, Сталин, Рыков. Занимаясь в институте, он — как и все — покорно принимал новость: Бухарин и Рыков — то есть Вождь Третьего Интернационала и глава Советского правительства — тоже уклонисты. С тех пор для него был лишь один вождь: Сталин, который «Ленин сегодня».

Своего пика такого рода *приписки* достигли в 1937-м. Людей решили до конца отучить думать — под страхом расстрела семьи, близких, знакомых даже.

Людей заставили поверить (и они с готовностью пошли на это), что Сталин был вождем Октября и победителем в гражданской и Великой Отечественной.

Людей приучили слепо верить *последнему* слову, слову того, кто овладел вершиной пирамиды.

Когда Брежнев дал себе орден Победы и пять геройских звезд, он шел по проторенному пути, провозгласив, что истинным автором Победы был он, полковник Брежнев.

Мы не верили, слишком еще кровоточило, но ведь аплодировали на собраниях, еще как аплодировали. И мы, писатели, наравне со всеми, аплодировали вручению ему Ленинской премии за литературу, хотя прекрасно знали, кто именно написал ему «Малую Землю» и «Целину».

В 1937 году люди не могли не аплодировать расстрелам ленинской гвардии — их бы замучили в одночасье, все население СССР было тогда *заложником* Сталина.

В семидесятых *могли* не аплодировать — тем не менее грели ладони.

Инерция страха? Или покорность исторически привычному абсолютизму?

Попробуем проанализировать, как же и когда создавались социалистические *приписки.*

Для этого возьмем «Биографию» Сталина, с одной стороны, и «Воспоминания» Крупской, письма Ленина, протоколы ЦК РСДРП, мемуары ленинцев, опубликованные в двадцатых годах, — с другой.

(С моей точки зрения, «Биография» Сталина, написанная им самим, но оформленная коллективом академических марионеток, явилась началом санкционированных *приписок.*)

Итак, Сталин: «В революционное движение я вступил с 15-летнего возраста, когда я связался с подпольными группами русских марксистов...»

С кем именно? Кто руководил этими группами?

В архивах охранки имя Сталина впервые появляется лишь в 1902 году.

Примечательно: Сталин произвольно определяет начало своей революционной работы практически тем же годом, когда в Питере развернул свою деятельность Владимир Ильич. «Соратник и друг» — воистину! Как же близка Сталину византийская символика!

Обратимся к Крупской: рассказывая о ссылке в Шушенском, она пишет про тех товарищей Ильича, с кем он чаще всего переписывается, — Мартов, Потресов, Кржижановские, а к Виктору Курнатовскому «Ильичи» ездили в гости в октябре 1898 года.

«Биография» Сталина: «По приезде в Тифлис осенью 1900 года он (Курнатовский. — *Ю. С.*) завязывает тесные отношения со Сталиным... становится ближайшим другом и *соратником** Сталина».

Заметим, что не Сталин становится соратником старого революционера, а наоборот, Курнатовский делается другом юного, никому не известного «Сосо».

Да и вообще, чем подтверждается это утверждение? Воспоминаниями старых большевиков? Письмами с Кавказа, полученными Лениным от Курнатовского? Архивами? Ничем это не подтверждается, кроме как «выдающимся марксистским трудом» Л. П. Берия «К истории большевистских организаций Закавказья».

Крупская: «На «Искру» работала типография в Баку... Там работали братья Енукидзе, руководил делом Красин (Лошадь)».

...К десятилетию Октября ГИЗ выпустил воспоминания Красина, в которых он пишет о своих товарищах по нелегальной борьбе на Кавказе, рассказывает о Ладо

---

* В цитатах курсив мой. — *Ю. С.*

Кецховели, Аллилуеве, Авеле Енукидзе, о многих других, однако ни разу не упоминается имя «истинного вождя» кавказских большевиков. Почему? Возможно, забыл? Тогда отчего же его не поправили старые большевики, работавшие тогда на Кавказе? Ведь это был 1927-й, а не тридцать седьмой; ленинцев еще не начали пытать, вынуждая клеветать на себя!

В начале двадцатых годов Авель Енукидзе, старейший ленинец, бессменный секретарь ЦИКа, опубликовал книгу мемуаров. Там не было ни слова о «выдающейся» роли Сталина. В 1935 году Енукидзе принудили переписать мемуары, заставили *сочинить* легенды о роли «вождя» — еще в начале века. Сразу же после этого Авель Енукидзе был арестован и после чудовищных пыток расстрелян как «шпион и враг народа».

Сталин: «Впервые я познакомился с Лениным в 1903 году. Правда, это знакомство было не личное, а заочное, в порядке переписки... Я находился тогда в Сибири, в ссылке... Письмецо Ленина было сравнительно небольшое, но оно давало смелую, бесстрашную критику практики нашей партии и замечательно ясное и сжатое изложение всего плана работы партии на ближайший период».

В архивах партии нет ни копии письма Ленина, ни ответа Сталина.

Крупская: «Весной Ильич познакомился со старым революционером-народоправцем Натансоном и его женой... Он (Натансон. — *Ю. С.*) знал массу людей, знал прекрасно цену каждому человеку, понимал, кто на что способен, к какому делу кого можно приставить. Что особенно поразило Владимира Ильича — он знал прекрасно состав не только своих, но и наших с.-д. организаций лучше, чем многие наши тогдашние чекисты. Натансон жил в Баку, знал Красина, Постоловского и др. Кто-то рассказывал, как этот старый революционер рыдал, когда в Баку впервые в жизни увидал грандиозную демонстрацию».

Л. П. Берия: «Демонстрацию организовал Сталин». Ой ли?

Послушаем Виктора Николаевича Таратуту, кандидата в члены ЦК РСДРП, члена Большевистского штаба, героя декабрьского восстания в Москве. Именно он был участником первой большевистской конференции на Кавказе, состоявшейся накануне третьего съезда, за который так ратовал Ленин.

«В начале 1905 года я, — свидетельствует Тарутута, — впервые встретил товарища Каменева Льва Борисовича в качестве руководителя местных (кавказских — *Ю. С.*) большевистских организаций. На этой областной конференции Каменева избрали в качестве разъездного по всей стране агитатора и пропагандиста за созыв нового съезда партии...»

Крупская: «С Кавказа (на третий съезд РСДРП. — *Ю. С.*) приехали четверо: Миха Цхакая, Алеша Джапаридзе, Леман и Каменев. Мандата было три. Владимир Ильич допрашивал: кому же принадлежат мандаты, — мандатов три, а человек — четыре? Кто получил большинство голосов? Миха возмущенно отвечал: «Да разве у нас на Кавказе голосуют?! Мы дела все решаем по-товарищески. Нас послали четверых, а сколько мандатов — неважно». Миха оказался старейшим членом съезда — ему было в то время 50 лет. Ему и поручили открыть съезд».

Почему же легендарный Миха Цхакая тогда вообще ни разу не упомянул имя Сталина? Ни на съезде, ни в перерывах? Забыл?

Только спустя много лет после Революции его понудили *вспомнить*.

...Когда Ильич и Надежда Константиновна вернулись в Москву в 1905 году, жить им — по условиям конспирации — приходилось поврозь.

Надежда Константиновна вспоминает: «В то время я была секретарем ЦК и сразу впряглась в эту работу целиком. Другим секретарем был Михаил Сергеевич. — М. Я. Вайнштейн. Помощницей моей была Вера Рудольфовна Менжинская. Таков был секретариат. Михаил Сергеевич ведал больше военной организацией, всегда был занят выполнением поручений Никитича (Л. Б. Красина). Я ведала явками, сношениями с комитетами, людьми...

В середине декабря состоялась Таммерфорсская конференция. Как жаль, что не сохранились протоколы этой конференции! С каким подъемом она прошла! ...Там были Лозовский, Баранский, Ярославский, многие другие. Мне запомнились эти товарищи потому, что уж больно интересны были их «доклады с мест».

«Биография»: «На этой конференции товарищ Сталин был избран в политическую комиссию по редактированию резолюций конференции, где работал вместе с

Лениным, как один из выдающихся партийных руководителей».

Может быть, Крупская, ведавшая «явками и людьми», забыла «выдающегося партийного руководителя»?

«Биография»: «Сталин — активный участник IV съезда РСДРП (Стокгольм, апрель 1906 г.), на котором он вместе с Лениным отстаивал против меньшевиков большевистскую линию в революции».

Позволю себе обратиться к роману-хронике «Горение», начатому мною в 1972 году. Я тщательно проанализировал стенограммы Четвертого съезда и привел следующую выдержку из выступления Сталина (Иванович): «...Исходным пунктом нашей программы должно служить следующее положение: так как мы заключаем *временный* революционный союз с борющимся крестьянством, мы не можем, стало быть, не считаться с их требованиями, если они в общем и целом не противоречат тенденции экономического развития и ходу революции. Крестьяне требуют раздела помещичьих земель; раздел не противоречит вышесказанным явлениям, значит, мы должны поддерживать полную конфискацию и раздел. С этой точки зрения и национализация Ленина и муниципализация Плеханова одинаково неприемлемы...»

Это так «отстаивают» линию Ленина?!

Горько, что в воспоминаниях делегатов ничего не говорилось о трагедии, постигшей партию; за несколько недель перед открытием съезда в Тифлисе была провалена легендарная Авлабарская типография РСДРП, поставленная Алешей Джапаридзе. При налете полиции было арестовано более двадцати ведущих большевиков Закавказья. Обидно, что эта трагедия до сих пор не тронута нашими историками. Кто именно был арестован? Когда кого выпустили? Примечательно также и то, что за все время Советской власти не было опубликовано ни одного допроса Иосифа Виссарионовича во время арестов. Не пора ли опубликовать?

Любопытен и такой факт: Сталин, трактующий себя в своей «Биографии» «стратегом и теоретиком», за период с 1898 года вплоть по 1907 год собрал лишь один небольшой томик; в основном туда включены листовки (авторство надо еще устанавливать), статьи и брошюра об анархизме.

За это же время его «соратник» — Владимир Ильич Ленин — написал шестнадцать томов, при этом выпускал «Искру» и провел три партийных съезда и конференцию.

...С 1910 по 1912 год «Ильичи» в Париже постоянно встречались с Курнатовским.

(Человек этот был воистину легендарным. Организатор «Читинской республики» в 1905 году, когда рабочие захватили там власть; республику потопили в крови каратели царского генерала Ренненкампфа, приговорили Курнатовского к повешению, возили его в своем «поезде смерти», чтобы он воочию мог видеть расстрелы революционеров, — такая пытка пострашнее физической. Затем отправили на *вечное поселение* на Нерчинские рудники: оттуда он бежал; через Японию пробрался в Австралию; работал лесорубом, чтобы скопить на билет в Европу; простудился, начал терять слух, в Париж приехал инвалидом. Ленин и Крупская часто бывали у него в госпитале, помогали чем могли, он рвался с ними в Краков, пришел провожать «Ильичей», восторгался первыми номерами «Правды», только-только вышедшими в Петербурге, но о своем «друге», чьим «соратником» был на Кавказе в начале века, не сказал ни слова, что по меньшей мере странно, ибо Сталин в своей «Биографии» пишет: «Она («Правда». — *Ю. С.*) была основана согласно указанию Ленина, по *инициативе* Сталина». Отчего же Курнатовский в разговорах с «Ильичами» даже не упомянул имя «инициатора»?)

Крупская: «В Лонжюмо поселяемся мы и Зиновьевы... В доме, который сняла Инесса (Арманд. — *Ю. С.*), поселились тогда наши волнослушатели: Серго (Орджоникидзе), Семен (Шварц), Захар (Бреслав). Серго незадолго перед тем приехал в Париж. До этого жил он одно время в Персии, и я *помню* обстоятельную переписку, которая с ним велась... С группой кавказских большевиков у нас всегда была особенно дружная переписка».

Нет у Крупской фамилии Сталина в числе ленинских корреспондентов на Кавказе!

(Трагизм ситуации в Лонжюмо также не проанализирован еще волком и, увы, не стал предметом большой прозы. Когда Ленин, Каменев, Семашко, Рязанов, Зиновьев, Стеклов, Раппопорт и Вольский читали лекции ученикам школы в Лонжюмо, нельзя было представить себе, что слушали их два провокатора — Малиновский и Искрянистов, а все остальные ученики в 1937 году были расстреляны как враги народа, только Серго убили, не пороча имени; все учителя — кроме умерших Ленина, Инессы Арманд и по странной случайности уцелевшего

Семашко — оказались «шпионами и двурушниками».)

«Биография»: «Конференция (Пражская. — *Ю. С.*) избрала большевистский Центральный Комитет, создала практический центр для руководства революционной работой в России (Русское бюро ЦК), приняла решение об издании «Правды». Конференция заочно избирает Сталина... членом ЦК партии. Сталин по предложению Ленина возглавляет Русское бюро ЦК».

Крупская: «На конференции был выбран ЦК, куда вошли Ленин, Зиновьев, Орджоникидзе (Серго), Шварцман (Давид), Голощекин (Филипп), Спандарян. Были намечены кандидатуры на случай ареста. *Вскоре после* конференции (почему не на конференции?! — *Ю. С.*) в ЦК были *кооптированы* Сталин и Белостоцкий, питерский рабочий...»

Между *выборами* и *кооптацией* существует значительная разница.

Что же касается «Русского бюро ЦК» и его «руководителя», то здесь существуют две версии: одну предложил Берия, вторую — Собрание сочинений Ленина.

Берия: «...Бюро ЦК во главе с товарищем Сталиным для руководства партийной работой в России... В Русское бюро вошли кроме Сталина Свердлов, Спандарян, Орджоникидзе, Калинин».

Справочный аппарат Собрания сочинений Ленина, первое издание, прижизненное: «Бюро состояло из следующих товарищей: Орджоникидзе, Спандарян, Сталин, Голощекин».

Руководитель Бюро не назван, не было такого *чина* в партии!

Ильич в те месяцы пишет Горькому: «Нам удалось-таки поставить ежедневную «Правду» (Т. 48. С. 81).

Зная любовь Ленина к своим товарищам, можно быть уверенным, что он бы не преминул подчеркнуть *инициативу* Сталина, да и любого большевика-практика; Ленин, однако, этого не делает.

«Огрех» Ленина восполняют Берия и «Биография»: «...1 сентября 1912 года Сталин вновь бежит из ссылки в Питер. Здесь он редактирует большевистскую газету «Правда»...»

Крупская: «...Владимира Ильича... волновало, что «Правда» вначале упорно вычеркивала из его статей полемику с ликвидаторами. Он писал в «Правду» сердитые письма. Лишь постепенно ввязалась «Правда» в эту борьбу».

Сталин санкционировал вхождение в «Правду» меньшевика-впередовца Алексинского и давнего идеологического противника Ленина — философа Богданова. (Крупская по этому поводу глухо замечает: «Об этом Ильич узнал лишь из газет».)

Не без обиды Ильич пишет Горькому: «Не знаю, способны ли Богданов... Луначарский, Алексинский научиться из тяжкого опыта 1908—1911? Поняли ли они, что марксизм — штука посерьезнее, поглубже, чем им казалось, что нельзя над ней глумиться, как делывал Алексинский... Ежели поняли — тысячу им приветов, и все личное (неизбежно внесенное острой борьбой) пойдет в минуту насмарку» (Т. 48. С. 140).

Крупская: «Как Ильич ожидал, так и случилось. С Богдановым вышел скоро острый конфликт: под видом популярного разъяснения слова «идеология» он пытался протащить в «Правду» свою философию».

Трагическим пророчеством звучат ее слова, написанные в тридцать третьем году, накануне «Большого террора»: «Особенностью Ильича было то, что он умел отделять принципиальные споры от склоки, от личных обид и интересы дела умел ставить выше всего... Когда Ильича противник ругал, Ильич кипел, огрызался вовсю, отстаивая свою точку зрения, но когда вставали новые задачи и выяснялось, что с противником можно работать вместе, тогда Ильич умел подойти ко вчерашнему противнику как к *товарищу*... В этом была громадная сила Ильича».

«Биография»: «Сталин... руководит деятельностью большевиков в избирательной кампании в IV Государственную думу».

Крупская: «В Питер для подготовки избирательной кампании... поехали из Парижа близкие товарищи — Сафаров (расстрелян в 1937-м. — *Ю. С.*) и Инесса... По дороге Инесса должна была заехать к Николаю Васильевичу Крыленко (расстрелян в 1938-м. — *Ю. С.*) Восстановлен был Петербургский комитет (ПК), а потом образовано Северное областное бюро, куда кроме Инессы и Сафарова вошли Шотман (расстрелян в 1938-м. — *Ю. С.*) и его товарищи Рахья (расстрелян в 1936-м. — *Ю. С.*) и Правдин (расстрелян в 1938-м. — *Ю. С.*). ...Работа Северного областного бюро подготовила почву для выборов в депутаты от Питера Бадаева — большевика, рабочего-железнодорожника».

В двадцатых годах Бадаев написал воспоминания. О Сталине как «руководителе избирательной кампании»

там не говорилось. В тридцатых годах его сломали — дописал несколько фраз о «выдающейся» роли Иосифа Виссарионовича.

(Что примечательно: выборы были назначены на 16 сентября 1912 года, а Сталин вернулся из ссылки, по свидетельству Надежды Константиновны, лишь 12 сентября; через два дня арестовали Инессу Арманд и Сафарова... Можно ли «проруководить» избирательной кампанией одному, за четыре дня?!)

Вернемся, однако, к «гениальному руководству» Сталиным «Правдой».

Крупская: «Кроме Малиновского правительство постаралось приставить провокатора непосредственно к «Правде». Это был Черномазов... Карта распространения «Правды» (подготовленная Лениным. — *Ю. С.*) получилась интересная. Только она не была напечатана, должно быть, Черномазов выбросил ее в корзину... *Но бывали и хуже случаи — иногда*, хотя и редко это было, *пропадали без вести* и статьи Ильича. Иногда статьи его *задерживались, не помещались сразу*. Ильич тогда *нервничал*, писал в «Правду» *сердитые* письма, но *помогало мало*».

Ясно, что в тридцатых годах Крупская уже не могла открыто обвинять Сталина, но ведь в литературе помимо текста существует подтекст; есть строки, но существует и многозначительное «междустрочье». Поэтому накануне «Большого террора» Надежда Константиновна и Мария Ильинична Ульянова прямо-таки заклинали в своих работах (их публиковали редко и неохотно) и выступлениях перед молодежью:

— Читайте Ильича в *подлиннике*, изучайте его работы, письма, даже конспекты...

Они понимали, что ищущие — обрящут.

Увы, всех, кто начинал по-настоящему читать Ленина, а не сталинские «Вопросы ленинизма», уничтожали немедленно; работы Ильича подвергали строжайшей цензуре, из Собрания сочинений выбросили все неугодные фамилии, изъяли множество документов и писем. Готовя термидор, Сталин в двадцатых годах возглашал: «Помните, любите, изучайте Ильича, нашего учителя, нашего вождя!» Узурпировав власть, уничтожив друзей Ленина, *знавших правду*, сломав несколько ветеранов, согласившихся *забыть*, Сталин выбросил из Собрания сочинений Ильича всякое упоминание (кроме резких, запальчивых, это ж было в характере Ленина) о Бухарине,

Троцком, Зиновьеве, Каменеве, Рыкове, Раковском, Радеке, Преображенском.

Крупская: «Еще осенью 1912 года мы познакомились с Бухариным... Смотрим раз в окно и видим — идет какой-то молодяга с огромным холщовым мешком на спине. Это и оказался Орлов, он же Бухарин... Они довольно обстоятельно потолковали с Ильичем. Бухарин жил тогда в Вене. С тех пор установилась у нас с Веной тесная связь... Когда мы стали спрашивать Николая Ивановича о его рисовании, он вытащил из своего холщового мешка ряд великолепных изданий картин немецких художников, которые мы стали усердно рассматривать...» И — дальше: «По дороге заезжали в Вену, побывали у Бухариных. Жена Николая Ивановича — Надежда Михайловна — лежала в лежку. Николай Иванович занимался хозяйством, сыпал в суп вместо соли сахар и оживленно толковал о вопросах, интересовавших Ильича...»

А каким трагизмом, горьким предчувствием пронизаны вот эти строки Надежды Константиновны: «Зимой... решено было отправить в Россию Каменева для руководства «Правдой» и работы с думской фракцией... Сынишка Каменева и зиновьевский Степа (оба расстреляны Сталиным в 1937-м. — *Ю. С.*) очень серьезно спорили между собой, что такое Петербург — город или Россия... Ходили мы все провожать их на вокзал. Был зимний холодный вечер... Настроение было у всех сосредоточенное. Думалось, долго ли удастся Каменеву продержаться? Когда теперь придется встретиться?

...Незадолго перед этим Ленин вызвал из России Сталина.

Разногласия с «Правдой» принимали размеры угрожающие. Провели совещание членов ЦК. Но что примечательно? После прибытия Сталина в Поронино Ильич срочно отправил в «Правду» своего эмиссара — Свердлова, который и наладил всю работу газеты, поставив ее на рельсы решительной борьбы с соглашателями, впередовцами, троцкистами.

Крупская зашифровывает в «Воспоминаниях» нужные слова для того, чтобы спасти для потомков главную информацию. Сначала она, что называется, «золотит пилюлю», приводя отрывок из письма Ленина Горькому: «У нас один чудесный грузин (несколько, правда, странно, что Ленин не назвал своего «ближайшего друга и соратника» по фамилии. — *Ю. С.*) засел и пишет для «Про-

свещения» большую статью, собрав все австрийские и пр. материалы...»

И — в стык, как резкий монтаж: «Ильич нервничал тогда по поводу «Правды», *нервничал* и Сталин. *Столковывались*, как наладить дело».

Столковались ли?!

...Сталин два месяца прожил в Вене, *занимаясь* национальным вопросом, близко познакомился там с Бухариным, Троцким, Трояновскими...

Понятно, что человек, не знавший ни одного иностранного языка, не мог заниматься национальным вопросом без помощи Бухарина и Трояновских: речь-то шла о критике австрийской «национальной платформы», которая, понятно, была написана по-немецки. Если внимательно исследовать брошюру Сталина, то нельзя не отметить ее отличие от всего остального, когда-либо им написанного. В чем же дело?

Крупская: «...Вспоминаю отношение Ильича к малоопытным авторам. Смотрел на суть, на основное, обдумывал, как помочь, исправить. Но делал он это как-то очень бережно, так, что и не заметит другой автор, что его поправляют. А помогать в работе Ильич здорово умел. Хочет, например, поручить кому-нибудь написать статью, но не уверен, так ли тот напишет, *так сначала заведет с ним подробный разговор на эту тему, разовьет свои мысли,* заинтересует человека, *прозондирует* его как следует, а потом предложит: «Не напишете ли на эту тему статью?» И автор и не заметит даже, как помогла ему предварительная беседа с Ильичем, не заметит, что вставляет в статью Ильичевы *словечки* и *обороты даже*».

Будучи опытнейшим конспиратором, жена и ближайший друг Ленина начала свою тайную войну против диктатора. Отдавая себе отчет в том, каков ее долг перед подрастающим поколением, она умело и тщательно *зашифровывала* свою рукопись, помогая таким образом оставшимся еще в аппарате ленинцам выпустить ее книгу в свет.

Сомкните абзацы, посвященные молодым авторам, манере Ленина наталкивать их на тему, помогать им писать. Возьмите работу Сталина «Марксизм и национальный вопрос» и проанализируйте ее. Все дальнейшие статьи Сталина — а они появились только после революции, когда он окружил себя штабом помощников: Мехлис, Товстуха, Бажанов (удравший впоследствии на Запад и выпустивший там разоблачительную книгу о «хо-

зяине»)*, — повторяют стиль этой, первой.

А еще за несколько страниц до процитированного абзаца Надежда Константиновна замечает: «В краковский период... Владимир Ильич уделял очень много внимания национальному вопросу. С ранней молодости привык он ненавидеть всякий гнет.

Слова Маркса, что нет большего несчастья для нации, чем покорить себе другую нацию, были для него близки и понятны...

Споры по национальному вопросу, возникшие еще во время II съезда нашей партии, развернулись с особой остротой перед войной, в 1913—1914 гг., потом продолжались в 1916 г. ...Ильич в этих спорах играл ведущую роль, четко и твердо ставил вопросы, и эти споры не прошли бесследно».

(Более всего — в советский уже период — Ленину пришлось спорить именно со Сталиным. 30 декабря 1922 года Ленин диктует: «...Приняли ли мы с достаточной заботливостью меры, чтобы действительно защитить инородцев от истинно русского держиморды? Я думаю, что мы этих мер не приняли, хотя могли и должны были принять. Я думаю, что тут сыграли роковую роль торопливость и администраторское увлечение Сталина...»)

Вернемся, однако, к тому, как Ленин руководил работой «Правды» из далекого Поронина, — по всему видно, что его в высшей мере беспокоила ситуация в редакции, контролируемой Сталиным.

Обратимся к «Биографической хронике» Ильича той поры:

1) Январь 1913-го. После окончания Краковского совещания ЦК... обсуждаются вопросы: состав ЦК, работа редакции «Правды» (принята написанная Лениным резолюция о реорганизации работы редакции).

2) В январе Ленин пишет Каменеву о намеченной реорганизации в редакции «Правды».

3) В январе Ленин в приписке к письму Зиновьева к депутатам-большевикам Четвертой госдумы пишет, что обеспокоен отсутствием сообщения о ходе реорганизации редакции «Правды», критикует ошибки редакции; требует установления контроля за денежными средствами газеты.

---

* Когда я беседовал с Л. М. Кагановичем, он заметил: «Это я рекомендовал товарищу Сталину Бажанова. Он был хорошим молодым человеком, но потом попал под влияние зиновьевцев, поэтому и удрал...»

4) В январе Ленин получает письмо Свердлова и Сталина о положении дел в редакции газеты «Правда».

5) В январе Ленин в *письме* к Свердлову (почему не к Свердлову и Сталину — тот был в Петербурге? — *Ю. С.*) подчеркивает значение «Правды», пишет, что́ в ее постановке «*гвоздь* положения», критикует недостатки в работе редакции, требует немедленной ее реорганизации; отмечает, что от правильной постановки «Правды» зависит исход борьбы с ликвидаторами и работа Петербургского комитета...

6) 1 февраля 1913 года Ленин в письме в редакцию «Правды» протестует против напечатания в газете «глупого и наглого» письма А. А. Богданова об условиях его сотрудничества в «Правде», *упрекает* редакцию в *нарушении* ею *условий* сотрудничества с Загранбюро ЦК.

7) В марте в письме Каменеву Ленин сообщает о положительной оценке работы Сталина по национальному вопросу (помните Крупскую: для Ильича личные отношения никогда не перечеркивали деловых! — *Ю. С.*), о его аресте...

8) В *конце* марта Ленин получает письмо из «Правды» о ее борьбе с ликвидаторами...

9) В апреле Ленин в письме большевикам — депутатам Госдумы отмечает *улучшение ведения* «Правды»...

10) Ленин в письме в «Правду» поздравляет с выходом газеты в увеличенном формате (это была давняя идея Полетаева, депутата Госдумы, старого большевика. — *Ю. С.*), выделяет главную задачу: «бороться за 100 000 читателей»; критикует за допущенные ошибки и требует их исправления: «Исправленная ошибка исчезает. Неисправленная станет гнойной язвой...»

Стоит внимательно проанализировать *накал* писем Ленина в «Правду» и о «Правде», чтобы стало ясно, как ему было трудно «столковываться» со Сталиным и как резко изменилась ситуация в редакции после того, как Сталин от работы — волею судеб — был отстранен совершенно...

В марте 1917-го Каменев и Сталин, вернувшись в Петербург из ссылки, становятся во главе Русского бюро ЦК и ПК РСДРП(б), берут в свои руки «Правду»

Крупская: «18 марта стала выходить в Питере «Правда», и Ильич стал, начиная с 20-го числа, писать туда «Письма издалека». Их было пять... Напечатано было *только* первое письмо в *день приезда* Ленина в Питер, остальные лежали в редакции...»

Почему же «Правда», во главе которой стояли Каменев и Сталин, не печатала Ленина?

Потому что именно Сталин и Каменев призывали в «Правде» к продолжению войны: «...на пулю — пулей, на снаряд — снарядом» (Каменев); Сталин утверждал, что «теперь есть все возможности решить национальный вопрос в России»; считал возможным блок меньшевистско-эсеровских Советов с Временным правительством, оговариваясь, правда, что Советы, мол, должны контролировать Временное правительство, которое фактически «закрепляет» завоевание народа и борется против «реакции и контрреволюции». (Это князь-то Львов, премьер, боролся против реакции и контрреволюции?! — *Ю. С.*)

Более того, за неделю перед приездом Ленина именно Сталин и Каменев провели в конце марта Всероссийское совещание большевиков.

Об этом совещании в «Биографии» вообще ничего не сказано, но дается следующее описание роли Сталина в этот период: «Сталин совместно с Молотовым руководит деятельностью Центрального комитета и Петербургского комитета большевиков».

Естествен вопрос: можно ли руководить ЦК, не являясь его членом? Молотов не был членом ЦК. Впрочем, в тридцатых Маленков был назначен Сталиным секретарем ЦК, хотя членом ЦК не являлся; своя рука — владыка!

Итак, почему же «Биография» обошла молчанием Всероссийское совещание большевиков, на котором Сталин делал доклад о политическом моменте?

Да потому, что, во-первых, на этом совещании Сталин приветствовал деятельность эсеровско-меньшевистского Петроградского Совета во главе с Чхеидзе, во-вторых, никоим образом не призывал к свержению буржуазного Временного правительства и, в-третьих, рекомендовал большевикам не торопиться с «откалыванием буржуазных слоев»...

Естественно, после такого пассажа Сталина на следующий же день поступило предложение от правых меньшевиков объединиться с большевистской фракцией.

Сталин рекомендовал это предложение принять.

Многие большевики возражали ему.

Сталин доказывал оппонентам:

— Не следует предупреждать возможность наших расхождений... Без разногласий нет партийной жизни...

(Хм-хм! 1929—1953 годы! Слово против — и к стенке! — *Ю. С.*)

А через неделю Ленин вернулся в Россию.

Крупская: «В Белоострове нас встретили Мария Ильинична, Шляпников, Сталь и другие товарищи. (О Каменеве тогда уже было нельзя поминать. — *Ю. С.*)

Мария Ильинична Ульянова: «Кроме ближайших товарищей Владимира Ильича и его родных сюда приехали и сестрорецкие рабочие». (Заметим, что написано это было сестрой Ленина 16 апреля 1937 года. Она нашла в себе мужество — несмотря на шантаж и беспрецедентное давление сталинских наемников — ограничиться спасительным: «ближайшие товарищи».)

«Биографическая хроника: «Ленина... встречают делегация петроградских рабочих во главе с членами ЦК и ПК РСДРП(б), представители газеты «Правда». В числе встречавших были М. И. Ульянова, А. М. Коллонтай, И. В. Шляпников...»

(Поскольку этот том издан в 1973 году, он прекрасно передает дух того времени: черного и белого не называть, «да» и «нет» не говорить... Упомянуты представители ЦК и ПК, но Каменев не назван, хотя — судя по воспоминаниям Ф. Раскольникова — ему первому и досталось от Ленина за «примиренчество».)

«Биография» Сталина: «Навстречу Ленину, на станцию Белоостров выехал товарищ Сталин с делегацией рабочих».

«Биохроника» Ленина: «Ленин в пути от Белоострова в Петроград высказывает Л. Б. Каменеву критические замечания о его статьях в «Правде»...»

Далее, на шестидесятой странице ленинской «Биохроники», приводится следующая фраза Ильича, которой он закончил свой доклад об «Апрельских тезисах»: «Я слышу, что в России идет *объединительская* тенденция, объединение с оборонцами. Это — *предательство* социализма».

О том, что Каменев был «шпионом, диверсантом, оппортунистом, изменником, врагом народа», мы наслышаны с детства. Но ведь за объединение с оборонцами, то есть за «предательство социализма», первым выступил Сталин — такова правда, пора к ней привыкать.

Из песни слова не выкинешь: «Правда», возглавлявшаяся Каменевым и Сталиным, выступила *против* «Апрельских тезисов» Ленина — на следующий же день.

Положение спасли питерские рабочие, ставшие за Ильича стеной.

В апреле состоялась VII конференция РСДРП(б). Почетным председателем избрали Ленина, председателем — Зиновьева, критиковавшего именно Каменева.

Ни Каменев, ни Сталин в президиум избраны не были.

Каменев, однако, нашел в себе смелость выступить с содокладом, в котором возражал Ильичу по ряду принципиальных вопросов стратегии и тактики.

Сталин сделал доклад о национальном вопросе, против Каменева не сказал ни слова.

«Биография»: «На конференции Сталин... разоблачил оппортунистическую, антиленинскую линию Каменева, Рыкова и их немногочисленных единомышленников».

Так можно было писать в надежде на то, что стенограммы Апрельской конференции никогда и ни при каких обстоятельствах не будут переизданы в СССР.

Так можно было писать тому и тем, кто *брезговал* народом, считая его безмозглым, беспамятным быдлом.

Приведу лишь одну цитату из протоколов Апрельской конференции, достаточно передающую дух и стиль взаимоотношений большевиков той поры: «...Речь т. Ленина меня не убедила: в его речи не было того ответа, который товарищ должен был дать. Я скажу, что если т. Ленин упрекает польских товарищей в шовинизме, то я могу его упрекнуть в том, что он стоит на точке зрения польских, украинских и других шовинистов. Не знаю, что лучше...»

Кто это говорил? По трагической привычке страха ответ однозначен: Каменев, Зиновьев или Рыков. Нет. Это слова Дзержинского, что не помешало Ленину спустя пять месяцев рекомендовать Дзержинского в Военно-Революционный комитет Петроградского Совета, возглавлявшегося Троцким, а еще через полтора месяца назвать его кандидатуру председателем ЧК.

Воистину, мы «ленивы и нелюбопытны». Те, кто сейчас с пеной у рта защищают Сталина, — люди в массе своей малообразованные, некомпетентные, болезненно упрямые, то есть честолюбивые безмерно: «раз я уверовал, отказаться от веры не желаю».

...Прочтем документы Апрельской конференции еще раз.

Посмотрим список кандидатур, выдвинутых в ЦК: Ленин, Зиновьев, Каменев, Теодорович, Сталин, Ногин, Милютин, Глебов (Авилов), Шмидт, Крупская, Шляпников, Калинин, Федоров, Скворцов-Степанов, Свердлов,

Бубнов, Смилга, Правдин, Инесса Арманд, Молотов, Дзержинский, Землячка, Залуцкий, Рыков, Сергей Багдатьев.

Из выдвинутых кандидатов *не обсуждались:* Ленин, Зиновьев, Скворцов-Степанов, Молотов, Дзержинский, Рыков.

Когда началось обсуждение кандидатуры Каменева, против него выступил Соловьев (расстрелян. — *Ю. С.*). Возразил ему Ленин: «...В центральном партийном органе за границей было сказано, что поведение депутатов в процессе, а Каменева в частности, недопустимо. Этим инцидент был исчерпан. Некоторые товарищи считали, что эти меры были недостаточно строги, но, по моему мнению, — достаточны... Поэтому нельзя из-за проступка, за который товарищ Каменев был уже привлечен к суду и достаточно оценен и осужден, нельзя возражать против его кандидатуры... Деятельность Каменева продолжается десять лет, и она очень ценна. То, что мы спорим с товарищем Каменевым, дает только положительные результаты. Присутствие Каменева очень важно, так как дискуссии, которые веду с ним, очень ценны. *Убедив его, после трудностей,* узнаешь, что этим самым преодолеваешь те трудности, которые возникают в массах...»

Он же, Ленин, встал и на защиту Сталина: «Тов. Кобу мы знаем много лет. *Видали* его в Кракове, где было наше бюро. (А раньше, как утверждает «Биография»? — *Ю. С.*) Важна его деятельность на Кавказе. Хороший работник во всяких ответственных работах».

ЦК был избран в следующем составе: Ленин (104— «за»), Зиновьев (101), Сталин (97), Каменев (95), Милютин (82), Ногин (76), Свердлов (71), Смилга (53), Федоров (42).

...Через три месяца после Апрельской конференции Временное правительство начало травлю большевистского руководства; Ленин и Зиновьев скрылись в Разливе; Троцкий, Каменев и Луначарский были арестованы и посажены в Кресты, откуда их вынуждены были выпустить, поскольку генерал Корнилов готовил свой путч; для него разницы между большевиками, меньшевиками и эсерами не было: раз против царя-батюшки — значит, враг, к стенке или на фонарь!

...Сталин Временным правительством не преследовался, жил вполне легально, даже паспорта не менял, полиция его не преследовала, слежки не поставила...

«Биография»: «*Он* (Сталин. — *Ю. С.*) *непосредственно руководит всем делом подготовки восстания*» (курсив оригинала. — *Ю. С.*).

«Революционный Петроград» (издательство «Наука», Ленинградское отделение, 1977): «По заданию ЦК Военно-Революционный комитет создал *полевой* штаб для дальнейшего руководства восстанием. В него вошли Н. И. Подвойский, А. С. Бубнов, В. А. Антонов-Овсеенко, Г. И. Чудновский, К. С. Еремеев».

Где же Сталин?

Хочу привести документ:

«Известия, № 210, 29 октября 1917 года

«ПРИКАЗ
всем районным Советам Рабочих Депутатов
и фабрично-заводским комитетам

Корниловские банды Керенского угрожают подступом к столице. Отданы все необходимые распоряжения для того, чтобы беспощадно раздавить контрреволюционное покушение против народа и его завоеваний.

Армия и Красная Гвардия революции нуждаются в немедленной поддержке рабочих.

Приказываем районным Советам и фабрично-заводским комитетам:

1. Выдвинуть наибольшее количество рабочих для рытья окопов, воздвигания баррикад и укрепления проволочных заграждений.

2. Где для этого потребуется прекращение работ на фабриках и заводах, немедленно исполнить.

3. Собрать всю имеющуюся в запасе колючую и простую проволоку, а равно все орудия, необходимые для рытья окопов и возведения баррикад.

4. Все имеющееся оружие иметь при себе.

5. Соблюдать строжайшую дисциплину и быть готовыми поддержать армию революции всеми средствами.

Председатель Петроградского Совета
Рабочих и Солдатских Депутатов
Народный комиссар

Лев Троцкий

Председатель Военно-Революционного
комитета
Главнокомандующий округом

Николай Подвойский

...Поднимите подшивки газет той поры: фамилии Сталина практически нет, — Ленин, Троцкий, Подвойский, Крыленко, Антонов-Овсеенко, Раскольников, Дзержинский...

Так кто же руководил Октябрем?!

Этот краткий комментарий к «Биографии» Сталина, относящийся лишь к 1898—1917 годам, я хочу закончить, пригласив читателя к новому прочтению книги Джона Рида «Десять дней, которые потрясли мир».

С 1930 года работа американского коммуниста, похороненного в Кремлевской стене, была объявлена «вредной», ее запретили, упрятав в спецхраны; если находили у кого-то в личной библиотеке, сажали по статье 58, пункт 10: «призыв к свержению или ослаблению Советской власти».

Почему произошло такое?

Да потому, что Рид ни разу не упоминает Сталина, словно бы и не было его в Октябре.

Откроем первую страницу.

Предисловие Ильича: «От всей души рекомендую это сочинение рабочим всех стран. Эту книгу я желал бы видеть распространенной в миллионах экземпляров и переведенной на все языки, так как она дает правдивое и необыкновенно живо написанное изложение событий, столь важных для понимания того, что такое пролетарская революция...»

Предисловие Крупской: «...Книжка Рида дает настоящую картину настоящей народной массовой революции, и потому она будет иметь большое значение для молодежи, для *будущих* поколений — для тех, для кого Октябрьская революция будет уже историей. Книжка Рида — своего рода *эпос...*»

А теперь — фрагменты из «Послесловия» издательства, выпустившего эту книгу в 1958 году, после двадцативосьмилетнего перерыва:

«...Джон Рид в силу объективных условий... не мог с необходимой конкретностью и достоверностью изучить деятельность большевистских партийных центров в период подготовки восстания и во время восстания... В книге не получила достаточного изображения та упорная борьба, которую вели Ленин и его ближайшие соратники против капитулянтов и против тактической линии Троцкого... Ошибочно утверждение Рида, что, «быть может, никто, кроме Ленина и Троцкого, и петербургских рабо-

чих и простых солдат, не допускал мысли, что большевики удержат власть дольше трех дней»...»

Вот так в 1958 году те же люди, которые незадолго перед тем выпускали «Биографию» Сталина, позволяли себе, уже после Двадцатого съезда, править и корректировать Ленина, не говоря уже о Крупской, открыто отвергая оценки Ленина!

Сейчас этих редакторов назвали бы «силами торможения», «сталинистами».

Я бы назвал их проще: «антиленинцы».

Среди выпускавших Рида были и тридцатилетние, те, которые сейчас аплодируют перестройке и не перестают восхищаться гласностью и демократией.

И мы позволяем себе непростительную роскошь верить им.

«Прежде чем объединиться, надо раз и до конца размежеваться».

Опасно забывать литые формулировки Ленина, это чревато новой трагедией, которая по своим масштабам может оказаться столь же ужасной, как и тридцать седьмой год, ибо мы еще не отвыкли от тотальной лжи, *поле не перепахано.*

Я не зову к карам. Наоборот: я предлагаю сохранить оклады, содержание, машины и прочие житейские блага всем тем, кто *состоялся* во времена Сталина, для кого он и поныне — единственный и непререкаемый авторитет. Хозяин, Вождь.

Пусть живут в достатке, к которому привыкли.

Но пусть не имеют *прав* ставить палки в колеса перестройки, мешая тем, кто защищает демократию и гласность.

Пусть они уйдут!

23

ОСЕНЬ ПЯТЬДЕСЯТ ВТОРОГО

Ах, какая прекрасная была та осень! Леса стояли тихие, золотые, гулкие. Над полями гудели пчелы. В маленьких речушках, прозрачных и медленных, опрокинувшееся небо казалось неподвижным и торжественным, словно заутреня. Кончался сентябрь, но было словно в июне: травы — зеленые, вода — теплая, ночи — светлые.

— Господи, — сказала старуха в белом платке, стоявшая рядом со мной, — благость-то вокруг какая, а?! Будто и греха нет.

Она оглянулась: очередь на передачу в Ярославскую пересыльную тюрьму тянулась с Волги вверх, прерывалась булыжной дорогой, где стоять не разрешалось, чтобы не было излишнего скопления возле тюрьмы, и плотно жалась на деревянном тротуаре, который вел к маленьким зеленым воротам под сторожевой вышкой.

В очереди стояли старухи с серыми от загара лицами; руки их были коричневые, синие вены казались черными, а ногти были бесформенные от копания в земле; стояли здесь бабы с детишками, чаще всего грудными; на солнце детишки плакали, а в тень отойти нельзя, потому что очередь и есть очередь — к тюремным ли воротам, за сахаром ли: пропустил свое, на себя и пеняй.

И среди сотен женщин в очереди двое мужчин: безногий полковник запаса Швец и я. Швец передвигался на тележке, к которой были приделаны шарикоподшипниковые колесики. Раньше он ходил на двух протезах — с громадным трудом, но все-таки ходил. Однако в тех пор, как арестовали его сына, студента филфака, и по решению ОСО осудили на десять лет по пятьдесят восьмой статье за участие в антисоветской организации, преследовавшей «ослабление и подрыв существующего строя», безногий полковник запил, бросил свои хитрые протезы и стал передвигаться как рядовые инвалиды — на тележке.

Швец стоял под березой, в единственном месте, где была тень; он был, как командир на параде, — с орденами и медалями на белом шелковом кителе, а мимо него к тюремным воротам тянулась бесконечная тихая очередь.

Когда наша очередь подошла к воротам, поджужжал на своей каталке Швец и, подтянувшись на руках, забрался на деревянный тротуар. Старуха, что стояла перед нами, спросила:

— А ты по ком страдаешь, убогонький?

— По России, — ответил полковник запаса, — по России, бабка, ети ее мать...

Нас запустили в ворота. Охранник сказал:

— Быстро, быстро, граждане, не задерживайтесь во дворе!

Мы пошли по асфальтовой дорожке вдоль линии колючей проволоки, протянутой по внутренней стороне забора, мимо окон, забранных намордниками, чувствуя на своих спинах глаза охранников, стоявших с автоматами на вышке.

Запускали в тюрьму десятками. Сейчас шли семь ста-

рух, русая красавица в открытом сарафане и мы со Швецом.

В приемной камере стоял тяжелый запах карболки и хозяйственного мыла. Прямо напротив маленькой входной двери было окошко, а налево — железная дверь, запертая на громадный висячий замок. Старухи, осторожно отталкивая друг друга острыми локтями, сразу же выстроили очередь. Окошко открылось. В квадратном вырезе, освещенном низко висящей лампой, я увидел две большие руки, лежавшие на списках, нацарапанных чернильным карандашом. Больше в окошке ничего не было видно: две руки и списки.

Бабка, стоявшая в очереди первой, быстро прошамкала в окошко:

— Передача для Сургучевых, Павла Васильевича, Михаила Васильевича и Федюньки.

— Сургучевы? — тихо переспросили из окна. — Вы говорите — Сургучевы?

— Да, Сургучевы.

— Какая статья?

— Пятьдесят восьмая, десятый пункт и еще какой-то, — быстро ответила бабка. — Разговаривали они, батюшка, по пьяному делу, разговаривали.

Окно захлопнулось. Стало тихо. Только муха гудела вокруг маленькой лампочки, свисавшей с потолка на кривом шнуре. Я обернулся на Швеца. Он был бледен, и сейчас, в полутьме, стали особенно заметны глубокие старческие морщины на его желтоватых висках. Русая красавица достала маленькое зеркальце и, облизнув припухлые губы кончиком острого языка, принялась рассматривать свое лицо, — то хмуря брови, то, наоборот, чуть улыбаясь.

— Пониже поглядите, — сказал я.

Женщина опустила зеркальце, увидела насосанный синяк на шее, озабоченно разглядела его, поджала губы и покачала головой.

— От гад, — вздохнула она грустно, — гадюка проклятая...

Окошко открылось; голос оттуда донесся глухо:

— Сургучевы выбыли на этап.

— Да что ты, батюшка, — оживилась старуха. — Я ж сегодня ночью этап выстояла: не было Сургучевых.

— Повторяю, они выбыли на этап.

— Ой, батюшка, — заговорила старуха быстро-быстро, — я ж лепешечек им напекла, яец наварила, прямо

из-под курочки. Вот узелок, он маленький, батюшка, вы уж примите для них, Федюнька у нас легочный, маленький он у нас, вы уж похлопочите, пожалуйста.

— Следующий, — сказал голос из окна.

— Батюшка, — тонко заплакала старуха, — лепешечки-то куды? Куды ж лепешечки на масле? И яечки с-под курочки?

— Следующий, — снова ответил голос из окна.

Русая красавица задумчиво сказала:

— Вот сволочь, а? Мать его рожала или сноха?

Швец начал откашливаться, будто в горло ему попала рыбья кость. Но вслух никто ничего не говорил: каждый ждал своей очереди, в глубине души понимая, что получит такой же отказ; однако человек — такой организм, который во всех жизненных перипетиях ждет. Бог его знает чего, а — ждет, даже если и сам уверен, что ждать-то, в сущности, уже нечего.

— Батюшка, — дрожащим голосом сказала старуха, — что же делать мне? Я ж лепешки не сжую, у меня и зубов нет, десны только тесто протягивают, а вкуса во внутрь не дают...

Продолжая говорить что-то быстрое и несуразное, бабка достала из-за пазухи красную тридцатку и, комкая ее в потной ладони, сунула в окно. Тридцатка вылетела оттуда на пол, и в окне появилось лицо молоденького паренька в форме младшего лейтенанта:

— Да что вы, мамаша?! — жалобно крикнул он. — С ума свернули?! Заберите свои деньги и станьте в сторонку, пока другие не пройдут.

Бабка, жалобно причитая, спрятала тридцатку, отошла к окну и там стала мотать головой, словно лошадь, замученная оводами. Плакала она беззвучно, не утирая слез, только часто-часто хлюпала покрасневшим носом.

— Следующий! — сказал младший лейтенант.

Полковник Швец, стоявший под оконцем, выкрикнул с пола:

— Константин Иванович Швец, тридцать третьего года рождения, осужден ОСО на десять лет!

Младший лейтенант рассерженно сказал:

— Что за шутки? Заявитель, покажитесь!

— Не мо-гу!

— Не можете, так покиньте помещение!

— Мальчишка! — крикнул Швец и, резко откинув потную голову, зажмурился.

— Что?!

— То самое. Молокосос!

Младший лейтенант пристукнул кулаками по спискам и стремительно высунулся из окошка. Он увидел меня и решил, по-видимому, что это я с ним так говорил, поэтому побагровел и стукнул ладонью по спискам.

— Вниз посмотри! — исступленно прокричал полковник. — На меня смотри!

Младший лейтенант недоуменно посмотрел вниз, увидел Швеца на платформе с подшипниками, в лице его что-то на мгновение дрогнуло, а потом замерло, будто захолодело.

В камере было тихо, муха вокруг лампочки гудела громко, словно трансформатор. Младший лейтенант спрятался в свое оконце и сказал:

— Следующий!

— Швец, Константин Иванович, тридцать третьего года рождения, осужден ОСО на десять лет!

— Выбыл на этап.

— Когда?

— Вчера.

— Куда?

— По месту отбытия наказания.

Швец попросил:

— А ну, подними меня.

Я уцепил его под мышки и поднял к окну. Выставив колено, я опустил на него платформочку. Швец уцепился своими громадными, как у всех безногих, ручищами за деревянное оконце и сказал:

— Ну-ка, лейтенант, посмотри мне в глаза.

— А в чем дело? — тихо осведомился младший лейтенант.

— Дела нет никакого. Просто посмотри мне в глаза. Вот так. Только не мигай, сынок. Тебе не совестно, а? Как же тебе не совестно, сынок?! — И Швец шепнул мне: — Опускай!

Я опустил его на пол. Швец отъехал к старухе, которая по-прежнему плакала возле окна, и начал громко сморкаться в большой полотняный платок.

— Следующий, — тихо позвали из окна.

Подошел я и, передохнув, сказал:

— Тут у вас в лазарете мой отец.

— Фамилия!

Я назвал.

Младший лейтенант посмотрел на меня огромными глазами святого. Он долго смотрел на меня, почти столь-

ко же, как Швец — на него.

— Вам нельзя с ним видеться. И передачи тоже нельзя, — сказал он наконец. — Только по прибытии к месту отбытия наказания...

Он по-прежнему смотрел на меня своими огромными глазами, в которых было отчаяние.

— А записку? — спросил я. — Просто, чтоб он знал.

Младший лейтенант молча покачал головой. Швец из угла выкрикнул:

— Какого черта ты унижаешься перед этим мракобесом?!

После долгой паузы младший лейтенант ответил:

— Я не мракобес... Я службу несу.

Он сказал это тихо-тихо, почти беззвучно.

Я достал листок, написал карандашом: «Я здесь» — и протянул младшему лейтенанту. Тот проглядел записку со всех сторон, а потом закрыл оконце. Я услыхал шаги по кафельному полу. Где-то лязгнула железная дверь, и стало по-особому тихо. Все эти десять минут, что мы провели в приемной камере, было то очень громко, то ужасно тихо: до звона в ушах. Только кто начинал говорить — все ухало, сотрясалось вокруг, а как ждали ответа из окошка — становилось мучительно, предсмертно тихо, даже уши закладывало.

Я ждал ответа, опершись спиной о холодную стену. Вдруг молчащую громадину тюрьмы разрезал высокий, кричащий плач. Никто еще ничего не понял, а меня прижало к подоконнику. Я почувствовал себя крохотным, руки у меня заледенели, и к горлу подступила тошнота.

— Ишь, балует, словно ребеночек воет, — сказала русая красавица.

Я бросился к двери, через которую нас сюда впустили, отбросил щеколду и закричал:

— Старик, я тут!

Плач прервался, и я услышал страшный, совсем незнакомый мне, но такой родной отцовский голос:

— Пустите, не затыкайте рот! Сын пришел! Пустите же!

— Папа!

Отец глухо завыл.

Я бросился в тюремный двор.

— Назад! — крикнул с вышки охранник.

Я почувствовал, как кто-то схватил меня сзади за шею и больно, тисками, за ноги. Я вырывался и орал что-то, а отец выл в камере.

— Да что ты?! Да погоди! — слышал я снизу сопенье Швеца, который держал меня за ноги.

— Миленький, миленький, успокойся, — шептала русая красавица, повиснув у меня на шее. — Ну, золотенький мой, ну, маленький, успокойся, — твердила она и вся вздрагивала, словно от ударов.

— Па-па!!! — кричал я что было сил, потому что меня уже почти затащили в камеру Швец, женщина и две старухи с сильными и длинными руками. И в это время тюрьма загрохотала, завопила, заулюлюкала. Слышно было, как в камерах стучали чем-то деревянным по стенам, топали ногами и вопили визгливыми голосами:

— Дайте свиданку! Дайте им свиданку, псы! Старика пустите, пустите его, свиданку дайте!

Я увидел, как на сторожевую вышку выскочили еще три охранника, щелкнули затворы автоматов, услышал быстрые команды, на Волге начали басить баржи, заглушавшие вопль тюрьмы, — и меня затолкнули в камеру.

Швец упал возле двери, тяжело дыша; в легких у него тонко свистело, и видно было, как возле кадыка пульсировала артерия.

— Там и мой кричал, — шепнул он. — Константин. Я его голос узнал.

Прибежал младший лейтенант, распахнул свое оконце и крикнул мне:

— Ну?! Вот твоя записочка! Он сознание потерял, а мне отвечай?! Все вы только об себе думаете, совести в вас ни на грош!

— Это он прав, — тихо согласился полковник Швец. — Совести в нас ни на грош. Скоты и есть скоты, только тешимся.

— Разговорчики! Кто получил справку — очистить помещение! — приказал младший лейтенант.

В комнату к нему кто-то зашел, потому что младший лейтенант вскочил со своего места и вытянулся.

В окошке показалась седая голова капитана со шрамом через весь лоб.

— Поди сюда, — сказал он мне.

Я подошел.

— Иди завтра к подполковнику Малову в областное управление. Я ничем помочь не могу, у твоего батьки запрещение на свиданку.

— Как он сейчас?

— А ты что, не слыхал? — вздохнул седой капитан.

— Швец Константин, тридцать третьего года рожде-

ния, осужден особым совещанием, — начал выкрикивать с пола безногий полковник.

— Знаю, знаю вашего Константина, — ответил капитан, — он в карцере за нарушение режима.

— Что он сделал? — спросил Швец.

— Да так, — ответил капитан и посмотрел в глаза Швецу, — только строптив, не сломался б...

Швец просиял лицом и полез за сигаретами в нагрудный карман.

— Ничего, — сказал он, — не сломается.

И — как-то странно подмигнул капитану, а тот так же странно ответил ему: ничего в его лице не дрогнуло, а все равно ответил, и не просто так, а по-человечески, с болью.

— Продолжайте работу, товарищ Сургучев, — сказал капитан младшему лейтенанту и вышел.

Старуха с лепешками, мать троих Сургучевых, услыхав фамилию младшего лейтенанта, стала медленно приближаться к окну. Она утерла ладонью слезы с коричневых, морщинистых щек и спросила:

— А ты не Гришкин ли сынок, Сургучев? Ты не Гришки ли сын, а? С Колодиш?

Младший лейтенант внимательно и с ужасом посмотрел на старуху.

— Кто следующий, граждане? — сказал он скороговоркой. — Вопросы прошу задавать по существу.

— Гришкин, — уверенно сказала бабка. — И нос, как его, — с горбой, и чуб с крутью. Господи, господи, брат на брата и отец на сына, только небо пока не раскололось, когда ж? Когда, господи?!

И, словно слепая, бабка пошла из камеры вон. Следом за ней поехал на жужжалках Швец, а за ним я. В тюрьме было тихо, потому что разносили ужин.

24

После того как в тюрьме нам со Швецом отказали в свидании с родными и посоветовали пойти к подполковнику Малову в областное управление, мы отправились в гостиницу.

Швец поджужжал на своей платформочке к окошку администратора и постучал по нему деревянным утюжком, которым отталкивался от земли.

Администраторша оказалась пожилой женщиной с маленькой головкой на большом теле, но на ее крошечной головке как-то странно умещалось огромное количество крохотных бело-коричневых куделек, что делало ее похожей на барашка.

— Заполняйте бланк, — сказала она Швецу. — Мест у нас нет, но уж вас-то я устрою — как орденоносца и инвалида.

— Мы вдвоем, — сказал Швец, кивнув на меня.

— Хорошо, — ответила женшина, — я дам вам номер люкс из нашей исполкомовской брони.

Швец вернулся к столу, и мы начали заполнять длинные бланки анкет, которые выдают администраторы гостиниц перед тем, как вручить гостю ключ от номера.

Напротив графы «с какой целью приехал, куда, к кому, кем выписана командировка и на какой срок» я написал: «Прибыл как член-соревнователь Всесоюзного общества по распространению политических и научных знаний, для обмена опытом лекционной работы». Меня действительно приняли в общество «Знание», когда отец был еще дома. Тогда я учился на втором курсе и довольно бойко излагал разные истории про те муки, которые испытывает национальная буржуазия в странах Среднего Востока, и как она постепенно уничтожается буржуазией компрадорской.

И сюда, в Ярославль, я, понятно, приехал с красной книжечкой общества, которая так успокоительно действовала на гостиничных администраторов и вокзальных дежурных.

Взяв мою анкету с красной книжечкой, Швец покатил к администратору. Сунув в окошко наши документы, он закурил и, оглядевшись по сторонам, задержался глазами на картине «Утро в сосновом лесу»; вздохнувши, както изумленно заметил:

— Кругом одни медведи — куда ни глянь...

Администраторша, не отрывая глаз от наших анкет, спросила:

— Молодой человек, а вы, собственно, с кем едете обмениваться опытом?

Разыскивая отца, я проехал уже восемь городов, в которых были пересыльные тюрьмы, и всюду устраивался ночевать под маркой обмена «лекторским опытом»; ответил поэтому фразой, которая действовала безотказно:

— С группой начинающих товарищей...

— А командировочка где?

— Идет по фельдъегерской связи, — ответил я туманно.

— Ах так, — понятливо кивнула администраторша, — что ж, хорошо...

И — отложила мои документы в сторону. Взяв анкету Швеца, она бегло посмотрела ее и — скорее для формы — поинтересовалась:

— Что же вы не указали причины приезда, товарищ полковник?

— Прибыл в ваш замечательный город, — начал рапортовать Швец, — надеясь получить свидание с сыном, находящимся в пересыльной тюрьме...

— Где-где?!

— В пересыльной тюрьме.

— Какая досада, — сказала администраторша, поправив свои мелкие бараньи букли на крошечной головке, — оказывается, тот номер, который я собиралась вам дать, только что заняли. Придется немножко обождать.

— То был свободен, а то заняли? — набычился Швец.

— Нет, он, собственно, не был совсем свободен. Он должен был освободиться, — запутавшись, пробормотала администраторша.

— Верните документы, — рявкнул Швец.

И — выкатился на своих жужжалках из темного холла гостиницы на предзакатную, пронзительно-чистую, ветряную площадь. В небе летали голуби. Они были сизовато-белые, но иногда их крылья высверкивали неожиданным желто-красным цветом.

— Где ночевать будем? — спросил я Швеца. — Честно говоря, я уж третий день не сплю, башка звенит.

— Ничего. Сейчас пойдем на вокзал, там выпьем и закусим и про ночлег с кем-нибудь договоримся: что здесь номер, что проститутке тридцатка, все одно выйдет, с точки зрения экономии.

В ресторане мы заказали бутылку черноголовой московской, три салата, селедку, щи и блинчики с мясом. Швец разлил водку по большим фужерам и попросил:

— Ну-ка придвинь меня, а то я на китель буду крошки ронять, неопрятно.

Я поднял его вместе со стулом и придвинул вплотную к столу. Швец кивнул в знак благодарности, цыкнул зубом и возгласил:

— Ну, выпьем за наших с тобой. Дай им бог...

Запрокинув голову, он *вобрал* в себя водку, неторопливо закусил селедочкой и усмехнулся:

— Анекдот есть такой. Один командировочный, вроде нас с тобой, задержался в Москве по делам, а спать негде, мест в гостелях нет. Ну, ему и посоветовали взять на ночь шлюху возле Метрополя, у нее и переспать. Он пришел, а там одни красавицы в чернобурках. Смотрел он на них, смотрел, а потом подошел к одной, галантно поднял шляпу и осведомился: «Тысячу извинений, мадам, а вы, случаем, не блядь?» Что плешка у Метрополя, что здешний вокзал... Сука в бигудях, чтоб у нее сыпь на лбу выметала...

— Она ж служит, зря вы на нее.

— Нет, не зря! Скрыть правду — значит предавать Константина, отрекаться от него, живого!

— Вы его не этим предаете. Мы все предаем друг друга совсем не этим...

Швец грохнул кулаками по столу:

— Выбирай слова! Слышу интонацию врагов народа!

— Вы действительно верите, что маршал Тухачевский был врагом народа?

— А кем же еще?

— Кто штурмовал Кронштадт в двадцать первом?

— Как кто?! — Швец изумился. — Товарищ Сталин.

— Тухачевский, Сталин и Троцкий, — тихо сказал я, оглянувшись невольно.

— Я б тебя за такие слова на фронте к стенке поставил! И самолично пристрелил, как бешеного пса! — Швец разъярился. — Запомни: тридцать седьмой год был годом великого очищения! Мы освободились от скверны японско-германских наймитов! От гестаповцев и шпионов типа Каменева и Бухарина! Понял?! Мы выиграли войну благодаря тому, что обезвредили всех врагов народа!

Лицо Швеца вдруг жалобно сморщилось, он замотал головой и стал жалостливо повторять:

— Косинька, Косинька, мой маленький, за что ж такое?! Почему суки на свободе, а ты маешься?! За что? Почему кругом неправда?

А я до ужаса явственно вспомнил плач отца, который донесся через открытые тюремные окна, и его пронзительный крик: «Сынок!»

— За что такое горе, Косинька?! — Швец сокрушенно качал головой. — Ты ж нашему делу предан до последней капли, ты ж наш, наш!

К столику подошла официантка:

— Щи кончились, может, поменяем на порционную соляночку?

— Ладно, — сказал Швец, вытерев лицо квадратной ладонью, расплющенной «толкалкой». — Валяй сборную.

Он демонстративно отвернулся от меня и стал смотреть на эстраду, где рассаживались музыканты: аккордеонист, слепой скрипач, слепой барабанщик и огромная пианистка, похожая на Петра Первого. Скрипач взмахнул смычком, и оркестр заиграл песню о Сталине — тогда все программы в вокзальных ресторанах так начинались; Швец стал проникновенно подпевать: «О Сталине мудром, родном и любимом, счастливые песни слагает народ...»

В уголках его пронзительно-черных глаз медленно накипали слезы; когда оркестранты кончили играть, Швец, аплодируя, закричал: «Браво!» В зале ресторана было всего два посетителя: он и я. Пять официанток стояли возле синих бархатных портьер, спрятав руки под белыми фартуками на толстых животах. На стене с лепными украшениями, выкрашенной в темно-зеленый цвет, висела громадная репродукция «Утро в сосновом лесу». Я посмотрел на «Мишек», тронул Швеца за руку:

— Простите меня, я, видно, что-то не так сказал...

— Да уж, — просветлев лицом, он сразу же обернулся ко мне, — я еле сдерживался, чтоб не отправить тебя куда следует. Болтаешь черт знает какую ахинею, уши вянут...

Он снова разлил водку по фужерам, мы выпили, в голове у меня зашумело; все, что было сегодня днем, сделалось каким-то отстраненным, далеким, оркестранты уже не казались таким жалкими, а, наоборот, стали представляться мудрыми хитрецами, потому что после обязательной песни об Иосифе Виссарионовиче заиграли печальный и веселый «фрейлехс».

Швец заказал еще одну бутылку водки, быстро опьянел; я тоже. Мы начали мериться силами — у кого крепче руки. Полковник лихо укладывал мою кисть на стол, а я тогда был боксером и подрабатывал на образцово-показательных выступлениях в рабочих клубах.

— Если нет одного, — комментировал Швец свою победу, — тогда обязательно много другого...

Эти слова показались очень смешными, я захохотал, а Швец обиженно постучал себя пальцем по виску:

— Смех без причины — признак дурачины. Не понимаешь, что ль: нет ног — руки сильные!

Швец вздохнул, начал перемигиваться с громадной пианисткой, а потом пригласил ее за наш стол:

— Мадам, не выпьете ли немного потрфейна?

— Вы, случаем, не одессит? — спросила пианистка, опускаясь на стул. — Одесситы говорят «портвейн» через «ф».

— Какой с меня одессит? — Швец засмеялся. — С меня одессит, как с вас балерина.

Пианистка предложила:

— Может, сыграть попурри из военных песен? Мы недорого возьмем...

Швец достал из кармана кителя тридцатку:

— Извиняюсь, что нет конверта. Венерологам и женщинам я всегда давал деньги в конвертах.

Пианистка выпила рюмку, съела кусочек селедки, вернулась на эстраду и что-то шепнула слепому скрипачу. Тот кивнул и сразу же прокричал в шуршащий микрофон:

— Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой!

— Опошляют героику, — заметил Швец. — Всего пять лет после войны отстучало, а уж попурри в кабаках поют. А солдатские кости еще не перегнили. Вот ты — ученый, лекции читаешь, ты мне скажи: сколько времени кость в земле гниет? Или, скажем, череп? Молчишь, член-соревнователь? Хитрые вы, полужидки, змеи извилистые.

Между тем слепой скрипач выкрикнул очередной куплет:

— По берлинской мостовой кони шли на водопой!

Загрохотал слепой барабанщик, а после музыканты стали петь, задирая головы к лепному потолку:

— Казаки, казаки, едут-едут по Берлину наши казаки!

Когда куплеты кончились, слепой скрипач, сделав шаг вперед, нащупал смычком стул, но опустился на него неловко и обвалился на пол. Швец так хохотал, что сам тоже чуть не упал со стула. Он махал руками, вытирал слезы и, плача от смеха, повторял:

— Ой, не могу, не могу, не могу! Как он жопу-то припечатал! Ой, не могу, лектор, не могу!

До полуночи мы ходили вокруг вокзала, отыскивая кого-нибудь, кто бы взял нас на ночлег. Но привокзальная площадь была пуста, только под фонарем дремал

таксист в старой «Победе» да время от времени прохаживался милиционер в малиновой фуражке.

— Где ж ваши проститутки? — спросил я. — Пошли лучше на лавку, всё соснем...

— Ты хоть одну свободную видел? — рассердился Швец. — Сам виноват, — я уж договорился с пианисткой.

— Ей же сто лет.

— Неважно. Зато она большая. Для меня чем женщина больше, тем желанней.

— А скрипач?

— Скрипач? — передразнил меня Швец. — Он слепой, скрипач этот! Что он видит? Тьму, и только!

Швец заметил милиционера, сделал мне знак, чтобы я оставался на месте, и покатил навстречу блюстителю закона. Милиционер опустился перед полковником на корточки, чтобы удобнее было разговаривать.

Я видел, как они закурили, а потом стали смеяться: то Швец, то милиционер — попеременно.

Они смеялись, а я вспомнил, как плакал и трясся Швец, заталкивая меня в камеру, а потом размазывал по своим склеротическим щекам бессильные стариковские слезы...

Милиционер наконец откозырял полковнику, и тот быстро подкатил ко мне.

— Проститутки появляются к трем ноль-ноль, когда прибывает поезд с севера, — отчеканил он. — Но тут одна должна подойти к часу, Роза, — на курьерских теперь не работает, постарела, обслуживает пригородные линии. Мильтон говорит, что ее конкуренция побила, молодежь, говорит, набирает силу, ткачихи...

И вот мы в комнате у Розы. На стенах — вышитые рисунки: красноглазые котята, лебеди в зеленых прудах среди синих башен средневековых замков. На комоде, покрытом узорной салфеткой, фотографии в бумажных рамках, и почти на всех фото — Роза: завитая, губы бантиком, двое детей с одинаковыми челками и мужчина в военном кителе без погон; у него подбритые брови и рваный шрам на щеке.

— Это ему миной рассадило, — объяснила Роза, накрывая на стол: поставила три стакана, порезала хлеб и подвинула большую солонку с желтоватой солью. Швец достал из-за пазухи бутылку водки и плитку шоколада

«У лукоморья дуб зеленый». Роза налила себе стакан водки, выпила по-мужски, резко запрокинув голову; напудренное, дряблое лицо ее покраснело; она взяла шоколад со стола и переложила на комод: «Оставим детям, они до сладкого любители». Потом деловито поинтересовалась:

— Вы меня оба будете или безногий не может?

— Оба, оба! — Швец развеселился. — Безногий может, будь спокойна.

— На широкой ляжем или будете переходить ко мне по одному?

— По одному, — сказал Швец. — Чтоб в движеньях не смущаться.

Мы с ним совсем пьяны, рассказываем Розе анекдоты, она просит нас говорить потише, чтоб не услыхали соседи. Потом, рассердившись внезапно чему-то, предупредила, что с каждого берет по тридцатке. Мы легко согласились, и она начала стелить постели.

— Чего сюда приехали-то? — спросила она. — В командировку?

— В тюрьму, на свиданку к родным, — браво ответил Швец.

— Эх-хе-хе, — вздохнула женщина, взмахнув залатанной простыней, — вам хорошо, у вас хоть надежда есть, что из тюрьмы вернутся, а у меня и этого нет...

— Что, муж погиб в боях за нашу советскую родину? — деловито поинтересовался Швец.

— Да нет, — ответила Роза, — я б тогда на детишек пенсию получала. Он к молодой переметнулся, а от молодых не вертаются, это не тюрьма. Вот теперь и кручусь: днем в гараже, а ночью на вокзале.

— И — давно?

— Через полгода, как ушел, и начала. Сначала-то думала его вернуть добром — начальству писала, к знахарке ходила... А он не дрогнул... Ну и пошло...

— Заработок маленький? — поинтересовался Швец.

— Да нет, — задумчиво ответила женщина, присев на краешек стула, — можно б прожить... Детишек профсоюз в детсад определил... Только липли ко мне мужики, да и сама не каменная. А с горя баба по первому делу мстит, а уж потом начинает выть, когда дров полон воз наломала... Отомстишь, а ведь аборт запрещен, огромных денег стоит, где взять? А если прихватят — тюрьма... С кем дети останутся? Вот и пошло-поехало...

Она достала из комода старенький патефон, постави-

ла пластинку, и хриплый голос запел, выговаривая слова не по-русски:

— Шпи, шеншчин много на швете, шпи, твое сэрдцэ тошкуэт...

Роза сняла платье, пояснив:

— Надо, чтоб все было по-хорошему, с музыкой. Я и потанцевать могу, если хотите.

— Не надо. Баловство это. Нескромно, — отрезал Швец и попросил меня: — А ну подними на кровать, я сам не заберусь.

Он отстегнул лямки, которыми притягивал туловище к подшипниковой платформе, я взял его на руки и положил на кровать. Щеки у него были, как у моего старика, — колючие и морщинистые.

Роза потушила свет, выпила еще полстакана водки, остаток спрятала в шкаф, заперла на ключ и легла к Швецу. Он что-то стал шептать ей на ухо. Я устроился на второй койке. В окне металась ветка тополя, ветер раскачивал ее, и было в этом что-то тревожное и безнадежное, словно прощание.

— Какой же ты маленький, — ласково засмеялась Роза, — как ребеночек.

— Тише ты, — сказал Швец.

— Бородой не щекочись, — шепнула Роза. — Я не могу, если смешно.

— Ну вот! — Швец рассердился. — Молча полежать не можешь?! Это тебе кровать, а не Лига Наций! Болтаешь языком, болтаешь, охоту отбиваешь.

Я отвернулся к стенке. Прямо на меня — в упор — смотрел с фото бывший муж Розы с подбритыми бровями. На стене по-прежнему металась тень от ветки тополя; с Волги резкими порывами задувал северный ветер.

Я проснулся от того, что меня теребили за плечо. Надо мной стояла Роза:

— Проспали! Подымайся, мне на работу пора. Черт безногий, спать всю ночь не давал, и ты еще храпел. Все равно тридцатку плати. Или пусть он вносит, я не виновата...

...Мы тихо вышли из комнаты. Я нес Швеца на руках, чтоб он не будил соседей своими жужжалками. Лицо его было отекшим и старческим. Он не смотрел на меня, дышал тяжело, а лоб его был прорезан морщинами так, словно он решал сейчас для себя самую важную жизненную задачу.

Роза подвела нас к автобусной остановке. Швец с ней прощаться не стал; она грустно усмехнулась:

— Все так... Ночью — «милая», а утром мимо смотрят и рот кривят.

— Не сердись, — сказал я.

— А я и не сержусь. Счастливо вам, горемыки...

Она села в автобус и уехала.

— Сука, — пробормотал Швец.

— Зря, — сказал я.

— Нет, не зря! Все от них, от баб! А я не просто сука, я предатель, вот кто я.

Он съехал на мостовую и покатил к постовому милиционеру, который одиноко стоял на тумбе посреди площади. Я пошел следом за ним. Милиционер откозырял безногому полковнику.

— Где тут областное управление? — спросил Швец.

Милиционер снова козырнул и подробно объяснил, как туда добраться.

И мы поехали к подполковнику Малову, от которого зависело, получим мы свидание или нет. Ярославль еще спал. Небо было серым и низким. Лето сломалось, шла осень.

...Константина ввели в камеру, разделенную решеткой и частой сеткой, первым; моего отца внесли на руках два здоровенных зэка — он дрожал, словно в ознобе, ноги свисали, будто ватные.

— Сынок, — обсмотрев меня, жарко зашептал он, — пиши товарищу Сталину, одна надежда: его обманываю.

Младший лейтенант Сургучев, ходивший взад-вперед по узенькому проходу между решеткой и сеткой, кашлянул:

— Без фамилий и подробностей, иначе прекращу свидание!

Константин Швец усмехнулся, погладив моего старика по седой шевелюре:

— Папа, официально меня осудили за то, что я требовал напечатать письмо Ленина к Съезду... Он ведь предлагал сместить с поста генсека партии Сталина...

— Разговоры! — испуганно воскликнул младший лейтенант Сургучев.

— Какое письмо?! — закричал полковник Швец. — Это клевета врагов народа, Костенька! Ты не смеешь верить вздору. Товарищ Сталин — самый близкий друг и соратник Ильича!

Отец потянулся ко мне:

— Сынок, родной, запомни: если ты сможешь передать письмо Иосифу Виссарионовичу, меня освободят завтра же!

Константин Швец посмотрел на моего старика с горьким состраданием и снова погладил его по всклокоченной седой шевелюре тонкими, прозрачными пальцами.

— Ты приходил в мой институт, папа? — спросил Константин.

— Да, — ответил Швец.

— Ты говорил, что я тайком читаю клеветнические книги типа «Десять дней, которые потрясли мир»?

— Да, говорил, — отчеканил Швец. — Я никогда ничего не таил от товарищей, только они и могли б помочь тебе в беде.

— Вот они и помогли, — усмехнулся Константин. — Написали с твоих слов, что я занимаюсь антисоветской пропагандой, статья пятьдесят восемь, все как надо...

...Той же ночью полковник Швец поджужжал на своей каталке к краю платформы и бросился под товарняк; я похоронил то, что осталось от Швеца, вернулся в Москву и написал письмо товарищу Сталину о несправедливом аресте отца — двадцатое по счету; воистину, «двадцать писем к другу».

25

...«Наши достижения» — так называлась выставка, организованная Серго Орджоникидзе в Политехническом музее в преддверии Семнадцатого съезда, того, который был назван «Съездом Победителей», — начало тридцать четвертого...

Серго гордился этой выставкой, считал своим детищем, приезжал туда и ранним утром и ночью, помогал устроителям добрым словом и делом.

Сейчас, когда история гибели Серго открывается все явственнее, начинаешь по-новому анализировать тот глубинный смысл, который Орджоникидзе вкладывал в ее создание: это была, по его замыслу, выставка примирения в партии: несмотря на все споры и оппозиции (а может быть, в чем-то и благодаря им), достижения промышленности Страны Советов (кроме ситуации в деревне — по-прежнему трагической) стали очевидны.

Именно поэтому на съезде — по его предложению — будут выступать не только те, кто всегда бездумно шел за большинством, но и Бухарин, Каменев, Зиновьев...

(Он, Серго, не голосовал за арест и ссылку Троцкого в Алма-Ату, за его выдворение в Турцию — на этом настояли Рыков и Ворошилов.

Он, Серго, — после того как из Политбюро был изгнан Бухарин, — взял его к себе в Наркомат тяжелого машиностроения, Наркомтяж; в заместители пригласил старых и верных друзей, бывших оппозиционеров Юрия Пятакова и Леонида Серебрякова — он стал начальником транспорта и автомобилестроения; руководителем Кузбасса назначил бывшего троцкиста Шестова.)

Эта выставка, таким образом, была определенного рода намеком Сталину, *политическим* призывом к консолидации; хватит мстить тем, кто отстаивал свою точку зрения; разоружились; от платформы отказались, работают, не щадя сил, словом, время войне и время миру, воистину.

...Судя по тому, что организаторов выставки (одним из них был мой отец) награждал он, Серго, — премиями, а не ЦИК — орденами, Сталин понял намек и отнесся к нему по-своему: после июльских событий тридцать четвертого в Германии, когда Гитлер уничтожил своих ближайших друзей-ветеранов, начал готовить собственную операцию — убийство Кирова; лучшего повода для развязывания террора не найти, опыт фюрера свидетельствовал об этом со всей очевидностью...

Через шестнадцать дней после убийства Сергея Мироновича были арестованы Каменев, Зиновьев, тысячи бывших оппозиционеров — члены партии с начала века, ветераны.

Еще через шестнадцать месяцев они, оклеветав себя и оговорив друг друга, были расстреляны.

Вскоре после этой трагедии были одновременно арестованы все заместители Серго, его ближайшие соратники, — истинные авторы *«наших достижений»*.

Сталин дал Серго честное слово, что Пятаков и его товарищи не будут расстреляны, если добровольно *раскроют* платформу современного троцкизма, помогут стране в ее противостоянии фашизму, — во имя Партии надо уметь жертвовать постами и привилегиями, будут работать на дачах, писать мемуары.

Пятаков согласился «поработать на партию».

...Через семь часов после вынесения приговора все близкие к Серго коммунисты, обвиненные в шпионаже и вредительстве, были убиты выстрелами в висок.

После этого коварства, потрясшего Серго, он начал готовить свое выступление на февральском Пленуме ЦК:

он теперь до конца понял, что если не сказать всей правды, то делу Ленина будет нанесен такой удар, который поставит вопрос о жизни и смерти самой идеи социализма.

Поскольку Сталин знал все обо всех, особенно о тех, кто был *самим собой,* Серго, работавший над обвинительной речью против террора, был убит — по прямому указанию Сталина.

Сразу же после торжественных похорон, проникновенных речей, траура и показных слез Сталин жестоко отомстил Серго за его наивную честность и несгибаемое благородство...

Проанализируем его выступления на страшном февральско-мартовском Пленуме, открывшем полосу тотального террора.

Итак, выступление Сталина:

— Вредительская и диверсионно-шпионская работа задела все или почти все наши организации, как *хозяйственные,* так и административные, и партийные... (Обратите внимание на последовательность перечисления организаций. — *Ю. С.*) Некоторые наши *руководящие* товарищи не только не сумели разглядеть настоящее лицо вредителей и убийц, но оказались до того беспечными, благодушными и наивными, что нередко *сами* содействовали *продвижению* агентов иностранных государств на те или иные ответственные посты.

(Именно Серго *продвигал* Бухарина, Сокольникова, Тухачевского, Серебрякова, Пятакова. — *Ю. С.*)

Видимо, Сталин опасался, что Орджоникидзе заранее написал вариант письма Пленуму и отдал его на сохранение кому-то из *своих* — для публичного оглашения. Если такое случится, если кто-то из сидящих в зале решится зачитать последнее слово Орджоникидзе — будет уже поздно. Потому-то Сталин заранее объяснил и про «беспечную доверчивость», и про «продвижение на ответственные посты иностранных агентов».

Сталин продолжал:

— Можно ли утверждать, что не было у нас предостерегающих сигналов? Нет, нельзя этого утверждать. В «Закрытом письме ЦК» от 18 января 1935 года по поводу злодейского убийства товарища Кирова сказано: «Надо покончить с оппортунистическим благодушием... Оно является отрыжкой *правого* уклона». (Вот, оказывается, когда Сталин начал закладывать фугас под Бухарина — еще за два года до ареста! — *Ю. С.*) В своем

«Закрытом письме от 29 июля 1936 года», — продолжает он, — по поводу шпионско-террористической деятельности троцкистско-зиновьевского блока ЦК вновь призывал: «Неотъемлемым качеством каждого большевика в настоящих условиях должно быть умение распознавать врага партии, как бы хорошо он ни был замаскирован...»

(А это уже прямое обвинение Серго: он, Орджоникидзе, *не внял,* не отдал на заклание своих друзей Пятакова, Бухарина, Серебрякова, Сокольникова, Радека, окружил себя врагами народа, *не желал* их распознавать, что доказал закончившийся в январе процесс над его ближайшими помощниками и друзьями.)

Сталин:

— Наши партийные товарищи не заметили, что троцкизм перестал быть политическим течением в рабочем классе, каким он был семь-восемь лет назад (семь-восемь лет назад Сталин говорил прямо противоположное этому. — *Ю. С.*). Троцкизм превратился в оголтелую банду шпионов и убийц... Что такое политическое течение в рабочем классе? Это такая группа или партия, которая не прячет и не может прятать своих взглядов от рабочего класса, а, наоборот, пропагандирует свои взгляды открыто и честно...

Хочу привести выдержку из стенограммы Пятнадцатого съезда, когда лидеры оппозиции еще пытались отстаивать свои взгляды открыто и честно:

«**Каменев.** Товарищи, я выхожу на эту трибуну с единственной целью — найти путь примирения оппозиции с партией. (*Голоса:* «Ложь, поздно». *Движение в зале.*) Оппозиция представляет меньшинство в партии. Она, конечно, никаких условий со своей стороны ставить партии не может. (*Движение в зале.*) После жестокой, упорной, резкой борьбы за свои взгляды мы выбрали путь — целиком и полностью подчиниться партии. Стать на этот путь для нас — значит подчиниться всем решениям съезда, как бы тяжелы они для нас ни были. (*Голос:* «Формально!», «Никто не поверит».)

Но если бы к тому безусловному и полному подчинению всем решениям съезда, к полному прекращению, к полной ликвидации нами всякой фракционной борьбы во всех формах и к роспуску фракционных организаций, если бы мы к этому прибавили... (*Шум, голоса:* «Партия ликвидирует, а не вы». *Голоса:* «Вы давно это говорите!», «Скажите насчет термидора!»)... если бы мы к этому прибавили отречение от взглядов — это, по нашему мнению,

было бы не по-большевистски. Это требование, товарищи, отречения от взглядов никогда в нашей партии не выставлялось. Если бы с нашей стороны было отречение от взглядов, которые мы защищали, неделю или две недели тому назад, то это было бы лицемерием, вы бы нам не поверили. Мы думаем, что наша критика, которую мы обязуемся проводить в строгих рамках устава партии, она еще пригодится партии... (*Голоса:* «Опоздали!», «Теперь надо на колени стать перед партией».) ... тем более, товарищи, что в ряде вопросов наши взгляды получили подтверждение в жизни, а в ряде случаев партия в той или другой мере усвоила их...

Требовать отказа, отречения от взглядов — это вещь явно невыполнимая. Я возьму еще только один пример, имеющий совершенно злободневное значение...

Финьковский. Когда ты был искренним: когда с Троцким дрался или теперь? В какой ты шкуре? Скажи это сейчас перед съездом, скажи здесь перед всеми! Стыда нет перед съездом!

Каменев. Наши единомышленники во время дискуссии всюду открыто выступали в ячейках в защиту нашей платформы. Они, товарищи, вели себя, — вы можете находить их взгляды неправильными, можете думать, что они заблуждались, — но они вели себя как мужественные революционеры. (*Голоса:* «Позорно вели себя!», «Контрреволюционеры так поступают!», «Далеко не уедете с такими революционерами!», «Революцию против партии делаете!»)

Сольц. И меньшевики защищают свои взгляды мужественно, сидели в тюрьме за них!

Голос. Защищали щеткой портрет Троцкого!

Каменев. Открыто защищали свои взгляды...

Голос. Среди спекулянтов демагогией занимались!

Каменев. И ставили эти взгляды выше своего положения, готовы были пожертвовать своим положением ради того, что вы считаете неправильным, что вы, может быть, осудите, но что они считали правильным, не считаясь с тем, что их ожидает. Зачем вам это отрицать, этого нельзя отрицать!

Голос. Это разложившиеся одиночки!

Каменев. Рабочий класс хочет примирения. Несмотря на все разногласия, несмотря на всю остроту борьбы, у нас есть с вами общий интерес — это сохранение единства партии как основного рычага диктатуры пролетариата (*Шум.*)

Голос. Оно сохранено!

Голос. Пролетарии сохраняют его!

Голос. Так же вы говорили на XIV съезде!

Каменев. Это можно сделать на основе этого подчинения решениям съезда, которое мы вам гарантируем. (*Шум.*)

Голос. Веры нет!

Каменев. Это до́лжно сделать во имя интересов того дела, которое начал Ленин. (*Шум.*) И я выражаю твердую уверенность, что съезд, несмотря на все, это сделает. (*Шум.*)»

...А вот в каких условиях проходило выступление ветерана партии Г. Евдокимова:

— Теперь рабочие, беднейшие крестьяне и середняки из тех тезисов, которые опубликованы в газетах, по крайней мере знают, о чем на самом деле в настоящее время идет спор... (*Голос:* «Они осудили эти тезисы!» *Сильный шум.*) Что же хочет на самом деле рабочий класс? Каждая из спорящих сторон (*Скрыпник:* «Какая там сторона?!»), естественно, утверждает, что рабочий класс (*сильный шум*) хочет именно того, чего хочет данная спорящая сторона. (*Сильный шум.*) Например, здесь, на съезде, утверждают, что рабочие требуют нашего исключения из партии. (*Голоса:* «Правильно! Правильно!» *Шум, смех*). Неправда. (*Шум.*) Немного найдется таких рабочих, которые поверят, что такие вожди партии, как Зиновьев, Каменев и Троцкий (*смех, сильный шум. Голос:* «Именно такие вожди!»), могут являться врагами рабочего класса, партии и Советской власти. (*Сильный шум. Голос:* «Плеханов тоже был вождем, да съехал!») Товарищ Ленин учил нас смотреть действительности прямо в глаза. (*Голос:* «Не спекулируйте Лениным!») Чего же на самом деле хочет рабочий класс? (*Голос:* «Чтобы вас исключить!») Не последним вопросом, интересующим самые широкие рабочие массы, является вопрос о возможности и об опасности раскола ВКП. (*Шум, смех. Голоса:* «Слышали!») Самые широкие рабочие массы, из 100 человек 99, хотят прежде всего, чтобы было сохранено единство нашей партии. (*Сильный шум. Голоса:* «Без вас!» *Голос:* «Оно есть и останется!») Но наряду с этим рабочие, конечно, хотят, чтобы внутри партии давали говорить и большинству, и меньшинству. (*Сильный шум. Голос:* «Это меньшевистское меньшинство!») Что, скажете, неправда? Нет, правда. (*Шум, голоса:* «Ложь!» *Голос:* «Меньшевистской свободы слова не дадим!») Ра-

бочие хотят слушать не только одну сторону, а обе стороны. (*Голос:* Кроме партии, не может быть других сторон!»)

...Вот так — «честно и открыто», как призывал в 1937 году Сталин, — ленинцы с дореволюционным стажем, герои революции «пропагандировали» свои взгляды в 1927 году. В 1936 году их бросили за решетку.

«**Сталин.** На судебном процессе в 1936 году Каменев и Зиновьев решительно отрицали наличие у них какой-либо политической платформы... На судебном процессе в 1937 году Пятаков, Радек и Сокольников признали наличие у них политической платформы. Но они развернули ее не для того, чтобы призвать народ к поддержке троцкистской платформы, а для того, чтобы проклясть ее».

...Будучи «выдающимся конструктором кровавых *игр*», Сталин умел заклыдывать потаенный смысл не только в текст, но и в сами названия отдельных подглавок его выступлений. Одну из таких подглавок он и обратил прямо против Орджоникидзе, обозначив ее: «Теневые стороны хозяйственных успехов».

«**Сталин.** Наши партийные товарищи за последние годы (то есть когда Серго перевели из аппарата ЦК и ЦКК в Наркомтяж. — *Ю. С.*) были до крайности увлечены хозяйственными успехами — и забыли обо всем остальном... Будучи увлечены хозяйственными успехами, они стали видеть в этом начало и конец всего... И как следствие — появляется политическая слепота».

...У любого непредубежденного читателя должны возникнуть по крайней мере два вопроса по прочтении этого сталинского пассажа.

Первое: как можно было достичь хозяйственных успехов — а они, по словам Сталина, «действительно огромны», — если всей хозяйственной работой страны руководили шпионы, вредители и диверсанты?

Либо успехов не было, либо народным хозяйством руководили настоящие большевики-ленинцы, а никакие не «троцкистские диверсанты».

Второе: можно ли упрекать руководителей народного хозяйства в том, что для них успехи дела «были началом

и концом всего»? Ведь именно успех дела и определяет истинного ленинца, а никак не трибунная болтовня.

«Сталин. Успех за успехом, достижение за достижением, перевыполнение планов за перевыполнением — порождает настроения беспечности и самодовольства: «Странные люди сидят там в Москве, в ЦК: выдумывают какие-то вопросы, толкуют о *каком-то* вредительстве, сами не спят, другим спать не дают».

Сталин невольно — и это кажется мне весьма странным, ведь такой опытный интриган, — подставился: тут-то бы ему и рассказать о вредительстве, привести примеры, выложить на стол факты. Почему же он не сделал этого? Где доказательства вредительства? Каковы суммы ущерба, причиненного народному хозяйству «диверсантами» с дореволюционным партийным стажем, прошедшими тюрьмы, каторги, ссылки?

Фактов не было.

Сталин нагнетал истерию подозрительности, без которой невозможен Большой Террор.

Впрочем, он аккуратно страхуется, обязывая соответствующие службы «принять необходимые меры, чтобы наши товарищи имели возможность знакомиться с целями и задачами, с практикой и техникой вредительско-диверсионной работы»...

А ну бы самому — дать хоть один пример! В предыдущих выступлениях Сталин был горазд на примеры, подтверждающие правильность его слов... Нет, он знал правду, он — тогда еще — допускал, что кто-либо из ветеранов мог обвинить его в подтасовке и лжи, поэтому «факты» он требует у «служб» — есть на кого свалить вину в случае, если его ложь будет раскрыта.

(Друзья-врачи рассказывали мне — это, впрочем, надо перепроверять самым тщательным образом, — что психиатр Бехтерев, приглашенный на консилиум к Сталину в 1927 году, выходя из кабинета, бросил одному из своих помощников: «Паранойя».

Вскорости Бехтерев и его жена умерли..

В одной из моих книг герой предлагает тщательно исследовать возможного лидера — не является ли он психопатом; относилось этой к иной стране, иному лидеру, но постановка такого рода вопроса никогда не потеряет актуальности — в том случае, если речь идет о государстве, где попрана демократия.)

«Настоящий вредитель, — аккуратно замечает Ста-

лин, — должен время от времени показывать успехи в своей работе... Я думаю, вопрос этот ясен и не нуждается в дальнейших разъяснениях... Теория о «систематическом выполнении хозяйственных планов» есть теория, выгодная для вредителей»...

Я убежден, настало время напечатать стенограмму этого Пленума ЦК. Иначе попросту невозможно понять происходившее. Что это — массовый психоз, объявление войны логике, памяти, человечности, чувству самосохранения, наконец? Что там происходило?! Отчего логическому безумию не был противопоставлен здравый смысл?!

Как можно было генеральному секретарю и «творцу нашего счастья» всерьез утверждать, что «под шумок *болтовни* о стахановском движении» *некто* отводит «удар от вредителей»?! Кто именно? Серго? Кто *болтал* о стахановцах? Как можно было столь пренебрежительно, по-барски, говорить о качественно новом почине, у истоков которого стоял именно Орджоникидзе?!

Порою, однако, меня не оставляло ощущение, что с речью выступал действительно тяжелобольной человек.

Судите сами: Сталин, например, утверждал, что «необходимо разбить и отбросить гнилую теорию, что у троцкистских вредителей нет будто бы больше резервов, что они добирают будто бы свои последние кадры. Это неверно, товарищи. Такую теорию могли выдумать только наивные люди».

Кто эти «наивные люди»? Серго?

«Сталин». У троцкистских вредителей есть свои резервы. Они состоят прежде всего из остатков разбитых эксплуататорских классов в СССР».

...Стоит только почитать Троцкого (а его надо б издать — объективности ради), чтобы стало ясно: никто из «эксплуататоров», тем более разбитых, за ним не пошел бы! Как они могли пойти за автором «перманентной революции» и военно-бюрократического, «приказного» социализма?!

Словно бы забыв о том, что он говорил в докладе, Сталин в своем заключительном слове утверждает прямо противоположное: «Вспомните *последнюю* (!) дискуссию в нашей партии в 1927 году... Из 854 тысяч членов партии голосовало 730 тысяч... Из них за большевиков голо-

совало 724 тысячи членов партии, за троцкистов — 4 тысячи членов партии, то есть около полпроцента... Вот вам и вся сила господ троцкистов. Добавьте к этому то, что многие из этого числа разочаровались в троцкизме и отошли от него, и вы получите представление о ничтожности троцкистских сил...»

После этого взаимоисключающего противоречия я решил, что действительно имею дело с явным образчиком паранойи.

Затем, однако, посидев над текстом сталинской речи и заключительного слова еще и еще раз, я понял, что это не паранойя (или, точнее, не только паранойя).

Судите сами: в заключительном слове, произнесенном генсеком уже после того, как Бухарина увезли из зала заседаний в тюрьму, не лишив даже (хотя бы для порядка) выборного звания члена ЦИКа, Сталин утверждает: «Теперь, я думаю, ясно для всех, что нынешние диверсанты, каким бы флагом они ни прикрывались, троцкистским или *бухаринским,* давно уже перестали быть политическим течением...»

Бухарин отвергал все обвинения, его, тем не менее, отправляют в тюрьму, до суда еще долгих тринадцать месяцев, а Сталин уже называет его «диверсантом». Вот она, бесовская вседозволенность, вот он, призыв к погрому!

Дальше — еще страшнее. И — логичней! Как и в конце двадцатых, когда Сталин натравливал Зиновьева на Бухарина, так и в тридцать седьмом он спускает на Николая Ивановича троцкистов. Вот как он это делает: «Надо ли бить не только действительных троцкистов, но и тех, кто когда-то колебался в сторону троцкизма? — спрашивает Сталин собравшихся. — Тех, которые когда-то имели случай пройти по той улице, по которой когда-то проходил тот или иной троцкист? По крайней мере такие голоса раздавались здесь, на Пленуме.. Нельзя всех стричь под одну гребенку... Среди наших ответственных товарищей имеется некоторое количество бывших троцкистов, которые давно уже отошли от троцкизма и ведут борьбу с троцкизмом не *хуже*, а лучше некоторых наших уважаемых товарищей, не имевших *случая* колебаться в сторону троцкизма...»

А затем Сталин раскрывает карты — против кого обращены все его туманные намеки, когда речь идет о

«хозяйственниках», об их «достижениях»: «Мы, члены ЦК, обсуждали вопрос о положении в Донбассе. Проект мероприятий, представленный Наркомтяжем (читай, Орджоникидзе. — *Ю. С.*), был явно неудовлетворительный. Трижды возвращали проект в Наркомтяж. Трижды получали от Наркомтяжа все разные проекты. И все же нельзя было признать их удовлетворительными. Наконец, мы решили вызвать из Донбасса нескольких рабочих и рядовых хозяйственников... И все мы, члены ЦК, были вынуждены признать, что только они, эти маленькие люди, сумели подсказать нам правильное решение...»

Дальше следует пропагандистский залп о «демократии», свободе выборов, тайном голосовании, отчетности перед народом.

Все взвешено и скалькулировано.

...Готовя тотальное уничтожение ленинской гвардии, Сталин высказал следующие директивные указания на этом зловещем Пленуме:

Первое. «Необходимо предложить нашим партработникам, от секретарей ячеек до секретарей областных и республиканских организаций, подобрать себе по два партработника, способных быть их действительными заместителями».

(Таким образом, по его *модели*, организованный террор должен срезать три слоя *Памяти — Ю. С.*)

Второе. «Для партобучения секретарей ячеек необходимо создать в каждом областном центре четырехмесячные «партийные курсы». (Этих тоже готовили к расстрелу.)

Третье. «Для идеологической *переподготовки* секретарей горкомов необходимо создать при ЦК шестимесячные курсы по «Истории и политике партии».

Четвертое. «Необходимо создать при ЦК шестимесячное «Совещание по вопросам внутренней и международной политики». Сюда надо направлять первых секретарей областных и краевых организаций и ЦК национальных коммунистических партий. Эти товарищи должны дать не *одну,* а несколько смен, *могущих заменить руководителей* Центрального Комитета нашей партии. Это необходимо, и это должно быть сделано».

Члены Пленума ЦК, таким образом, слушали план, по которому все они должны быть уничтожены.

Неужели никто не понял этого?!

А если поняли — отчего бездействовали? Паралич воли? Страх? «Авось, пройдет мимо меня»? Не прошло.

Почти все участники этого Пленума были затем расстреляны.

...Все те, кто прошел «Курсы» и «Совещания» (и после того остался в живых), бешено аплодировали появлению фильма «Ленин в Октябре», который следовало бы назвать «Сталин в Октябре».

Ни Орджоникидзе, ни Свердлов — не говоря уже о Бухарине, Троцком, Антонове-Овсеенко, Подвойском, Раскольникове, Бубнове — в фильме не были упомянуты. Термидор стал свершившимся фактом — партию за эти месяцы успели *переучить*.

В феврале 1937 года Сталин торопился: он должен был получить к Октябрю, к двадцатилетию Революции, новую версию Истории, которая бы отныне сделалась «Катехизисом» для народа.

Что ж, судя по тому, как много людей и поныне вздыхают о Хозяине, он преуспел и в этом.

Трагедия еще не окончена. Она продолжается.

В наши сердца должен постоянно стучать пепел тех, кто пал жертвой антиленинского переворота.

Если нет — прощения нам не будет: новые любители «острых блюд» уготовят трагедию пострашнее тридцать седьмого — кулинары кровавых пиршеств ждут своего часа.

26

СУДЬБА СОЛДАТА В АМЕРИКЕ

В тот день я продал в букинистическом «Орлеанскую девственницу» с озорными иллюстрациями. За два тома уплатили триста рублей*. Сто я отложил на жизнь, а остальные спрятал во внутренний карман пиджака, чтобы перевести старику во Владимирский политический централ.

После букинистического я поехал к моему другу Леве Кочаряну. Он лежал на тахте и читал книгу Юлиуса Фучика. Тогда эта книга называлась «Слово перед казнью», потому что кому-то наверху «Репортаж с петлей на шее» показался натуралистическим и рекламным.

Я поднял Леву, и мы пошли в «Шары» — так все называли маленькое кафе в проезде МХАТа. Мы тогда выработали особую походку — точь-в-точь копия с американского актера Джима Кегни, который играл в филь-

* Ныне соответствуют тридцати рублям.

ме «Судьба солдата в Америке», — бутлегера и драчуна. Перед гибелью он совершил массу всяческих подвигов и добрых дел. У него был коронный удар: резкий снизу слева в скулу. Мы часто копировали этот удар: левой коротко снизу. Противник падал на затылок, и звук при падении был всегда одинаковым: словно били об асфальт старую керамику.

Уже после того, как эпидемия «Судьбы солдата» прошла, мы узнали, что настоящее название фильма было «Бурное двадцатилетие», но кинопрокат решил — и правильно решил, конечно же, — что народу будет непонятно, про какое «бурное двадцатилетие» идет речь, возможны аллюзии, и поэтому появилось всем понятное название, и сначала на фильм никто не шел, потому что думали, что там про мучения безработных и про то, как угнетают негров, и только после того, как его посмотрело человек сто из нашего института, началась настоящая эпидемия, и смотрели мы эту картину раз по десять, не меньше.

В «Шарах» мы выпили с Левой по стакану водки, закусили ирисками и, сглотнув слюну, поглядели на тарелки с сардельками и темно-бурой тушеной капустой, которые стояли под стеклом на витрине.

— Поедем на Бауманскую, — предложил Лева, — там сегодня в церкви танцы.

— Поедем, — согласился я.

И мы поехали.

Это было двенадцатого апреля 1953 года. Сталин уже умер. Берия стал первым заместителем Председателя Совета Министров и министром внутренних дел, а врачи Кремлевской больницы, лечившие раньше правительство, по-прежнему считались агентами империализма и слугами тайной еврейской организации «Джойнт» — кровавыми убийцами в белых халатах.

...На Бауманской, в маленьком переулочке, который вел от рынка вниз к почтовой улице, в глубине двора стояла старая церковь. Она была приземистой и какой-то уютно-карапузистой, красного цвета, с громадными решетками на окнах. Церковь эту закрыли давно, когда все храмы Москвы закрывали по указанию товарищей Сталина, Молотова и Кагановича, вождя столичных пролетариев. Сначала в этой церквушке устроили овощной склад, а после передали спортивному обществу «Спартак» для нужд секции боксеров и тяжелоатлетов. Три раза в не-

делю мы там тренировались на ринге у Виталия Островерхова, а по субботам устраивали музыкальные вечера. Внизу, в зале, где некогда звучали проповеди, теперь танцевали мальчики с обрубленными челками «а ля Нерон», юные работницы ткацкой фабрики с толстыми, по-спортивному вывернутыми икрами, начинающие штангисты в китайских кедах и местные голубятники. Оркестр Миши Волоха располагался на том месте, где раньше были Царские врата. Джазисты в белых рубашках и черных галстуках самозабвенно играли попурри из «Судьбы солдата», а на хорах, куда сваливали весь инвентарь, стояли два дежурных оперативника — на случай чего-либо непредвиденного.

Мы шли к церкви мимо Бауманского колхозного рынка. (Вообще-то дикость — именем революционера называть базар!) Весеннее небо было предгрозовым. Над городом висела громадная черная туча. Ее края были багровые от зашедшего солнца, и поэтому казалось, что над городом реет черно-красный траурный стяг.

— Ринемся, — предложил Лева, — а то намокнем, складки сойдут, коленки выпрут.

— Дождя не будет, — сказал я, — ветер сильный.

Но дождь все же хлестанул по улице белой косой линией. Заухал гром, небо погасло, потом зазеленело, высветилось, треснуло пополам голубой линией — и начался весенний ливень. Мы спрятались в подворотне. Мутный поток несся мимо нас вдоль по тротуару и ревел, низвергаясь водопадом через тюремные решетки сточной канализации. Дождь гремел, ярился и неистовствовал. Молнии высверкивали, пугая темноту неба отчетливой электрической безысходностью.

Откуда-то из глубины жуткого черного двора, словно Мельник из оперы Даргомыжского, вышел дед с маленьким котенком под мышкой. Котенок тихо мяукал. Дед ласково гладил его за ухом и мечтательно улыбался.

— Куда, старик? — спросил Лева. — Искать русалок?

— Вывелись они теперь, — ответил дед с услужливой готовностью, — одни гниды остались. А иду я этого пса топить, благо луж много.

— Какой же он пес? Он кот.

— Если б... Он — кошка. Вырастет, мяукать станет, кавалеров требовать, сон бередить.

— Перспективно смотришь, — сказал Лева, — трудно тебе, дед.

— Да́ уж нелегко.
— Давай котенка, — сказал Лева.
— Зачем?
— Заберем.
— Хрена. Плати пятерку. За так не отдам, за так лучше утоплю.

Я дал деду пятерку. Лева взял у старика котенка и посадил его к себе на плечо.

— Мурлычет, — сказал Лева. — Очень щекотно.

Дождь кончился так же внезапно, как и начался. Мы вышли из подворотни и стали спускаться к танцевальной церкви — оттуда уже доносились быстрые звуки джаза.

...Танцы пятьдесят третьего года! Дай бог, чтобы памятливый искусствовед смог исследовать те совершенно особые вечера, когда официально рекомендованные к исполнению «падеграсы» и «падэспани» соседствовали с запрещенными «буги-вуги», являющими собою апофеоз буржуазного разложения. Стоило видеть, как юные спартаковские физкультурники и пожилые голубятники с латунными фиксами вышагивали аристократические танцы восемнадцатого века, тянули мысочки и галантно приседали друг перед другом, словно маркизы в монархической Франции. Но едва только директор спортцеркви поднимался на хоры — выпить чаю в маленькой комнатушке вместе с оперативниками, — как джазисты, фанатики ритма и синкопа, ломали тянучий «падеграс», трубы начинали реветь, ухали саксофоны, и спортсмены с голубятниками бросались на своих подруг, весело и страстно перебрасывая их с руки на руку, а подруги смеялись и румянились наивным и чистым весельем.

Трубач — горбоносый красавец в белой рубашке с узеньким, длинным галстуком, завязанным по тогдашней моде узелком величиной с ноготь, — подошел к микрофону, постучал по нему мизинцем и запел на ужасном английском песенку из «Судьбы солдата»:

Кам ту ми, май меланколи бэби,
Кам ту ми энд доит би блю,
Смайл май ханди дир,
Смайл антил вил би ин лав,
Ор элс шел бы меланколи ту...

Зал стонал от восторга, Миша Волох врубил самодельный зеркальный прожектор, и по лицам танцующих побежали мертвенно-голубые блики. Теперь все танце-

вали медленно, нагнувшись над подругами плохо выведенными вопросительными знаками, чуть покачивая головами в такт танго, словно дрессированные лошади на манеже.

Видимо почуяв неладное, начальник спортцеркви выскочил из комнатушки на хорах. Джазисты сразу же заметили его и, сломав ритм, затянули «падеграс». Спортсмены и голубятники немедленно перестроились, развернули подруг в графские позиции и стали приседать перед ними, выворачивая ноги, как истые аристократы восемнадцатого века, в эпоху предреволюционной Франции. Директор церкви ушел, успокоенный, и джазисты снова перешли на «Судьбу солдата».

Мы протолкались с Левой поближе к сцене: там было раскрыто высокое стрельчатое зарешеченное окно. За этим раскрытым окном была черная, после ливня, рассветающая и расцветающая ночь. Котенок, который сидел у Левы на плече, смотрел в окно желтыми глазами и, часто жмурясь, устало мурлыкал.

— Как будешь танцевать? — спросил я Кочаряна.

— Ничего. Котенок не помешает.

В поисках девушек мы разошлись по залу: он налево, я направо. Я видел, как Лева проталкивался вдоль стены, а котенок сидел у него на плече — выгнувшись, подняв хвост трубой; все оборачивались и смеялись, а Лева, похожий на Мцыри, был бледен и невозмутим. Потом я нашел себе девушку и пригласил на «па-де-де». Она танцевала, не глядя на меня, отвернув лицо, лениво разглядывая отсыревшие стены церкви. Такой был в те годы стиль: танцевать молча, не глядя друг на друга, — очень плотно прижиматься, но молчать и не замечать партнера. Девушка оказалась хорошо натренированной спортсменкой. Я понял это, потому что спина у нее на ощупь была гимнастическая: две горы, а посередине ложбинка.

— Если вы раз врежете, — сказал я девушке, — не поздоровится.

Она ничего не ответила, будто не слыхала.

— Вы очень крепкая, прямо стальная, — продолжал я осторожные ухаживания. Я тогда еще был неопытный, я полагал, что такие комплименты приятны девушке. А ей-то, даже чемпионке по толканию ядра, очень хочется чувствовать себя слабой подле мужчины. Ей обязательно надо быть уверенной в его превосходстве, иначе ничего путного не выйдет.

— Видимо, вы — баскетболистка? — прокашлявшись, спросил я. — Первый разряд? Или мастер?

— Можете не болтать? — сердито откликнулась девушка. — Танцевать трудно.

Я обнял ее еще крепче, она сразу же податливо прижалась ко мне, но голову отвернула чуть назад, будто кукла с резинкой вместо шеи. Я мог спокойно разглядывать ее профиль и даже часть затылка — так она отвернулась от меня. Но я не успел ее толком разглядеть, потому что заметил в углу, возле двери — оцинкованной, как в мясном магазине, — толпу, которая стремительно росла. А посередине толпы стоял Кочарян с отсутствующим взглядом. На плече у него сидел котенок, а два парня подталкивали Леву к выходу.

— Вы не умеете себя вести, — говорил один. — Додумались: котенка принести на танцы!

— Распоясались тут! — говорил второй.

Я извинился перед девушкой и протолкался к Леве.

— В чем дело? — спросил я.

— А вас не спрашивают! Отвалите-ка подобру-поздорову, — сказал первый парень, — и не хулиганьте в общественном месте!

— Кому мешает котенок? — холодно допытывался Лева. — У вас есть заявитель?

— Заявителя нет, но котенка вносить в общественное помещение не разрешается!

— Где это записано? — спросил я.

— Да! Где это записано? — оживился Лева. — В правилах это есть?

— Есть!

Толпа напряженно выжидала, когда выявится победитель, чтобы тут же поддержать его.

— Предъявите правила! — потребовал Лева.

— Хватит с ними валандаться! —сказал первый и, взяв Леву за рукав, попросил: — Очистите помещение, гражданин.

— Не применяйте силу, — попросил Лева. — Вы не в Америке, а в Москве!

Мы часто пользовались этим приемом. Мы напоминали в таких сварах, что живем в демократической стране, а не в Америке и что у нас нельзя допускать произвол в отношении гражданина. Это многих отрезвляло, и драка не начиналась, и все мирно рассеивалось. Но в этот раз ничего не вышло — парни попались какие-то несознательные. Один из них ловко сорвал с Левиного плеча

спящего котенка и швырнул его в оцинкованную дверь, котенок пронзительно закричал. Лева сделал короткое движение, точно, как Джим Кегни, и парень растянулся на полу с разбитым ртом — его губы стали ярко-пунцовыми, как у размалеванной проститутки.

Лева ринулся было к двери, где кричал котенок, но ему в ноги кинулся малолетка, и они упали возле сбитого парня. Началась свалка. Сбили и меня. Сквозь пальцы, прижатые к лицу, я какое-то мгновение близко видел трухлявый пол церкви, бело-красный кухонный кафель возле оцинкованной двери, чей-то полуботинок — замша с лаком — и котенка с желтыми глазами.

А потом я ослеп от боли, потому что мне наступили каблуком на кисть правой руки, — это был довольно распространенный прием шпаны, чтобы не позволить тебе драться: попробуй ударь распухшими пальцами! Впрочем, Лева Кочарян умел продолжать схватку, даже если целая кодла прыгала прохарями и микропорками на кистях, — лишь бы подняться. Если он находил силы вскочить, то сразу, каким-то животным чувством определял пахана, прыгал на него, как футболист на мяч, летящий вдоль ворот, и наносил в падении страшный удар лбом в лицо; на какой-то миг оно делалось сахарно-белым, словно обмороженным, а уж потом превращалось в кровавое месиво. Не глядя на валявшегося пахана, Лева мгновенно поднимался, нацелившись на одного из малолеток; тот, как правило, пускался бежать. А если один дал деру, вся кодла развалится, потому что она сильна общностью, до первой трещины, и чтоб пахан стоял королем.

Лева умудрялся *отмахиваться* от самых грозных банд, потому что вел себя, как Джим Кегни: «Самое страшное, что может случиться, — *перо* в бок. А кто в наше время гарантирован от этого?»

Но здесь, в спортцеркви, Лева допустил ошибку; он не учел, что люди не простят ему такой разнузданности — котенка, видите ли, принес на танцы! Люди культурно отдыхают, а этот припер животное, надо ж так презирать общество?! Поэтому, повалив, его били по-черному, не оставляя шанса подняться. Если б вел себя, как все, не выдрючивался, поучили б сколько надо, раз заслужил, и — все. Но здесь был случай особый, высшее проявление индивидуализма, такое прощать нельзя, до добра не доведет Державу...

...А потом была милиция, трехчасовое составление протокола за нарушение общественного порядка, перенос Левы в машину «скорой помощи», потому что ему переломали три ребра и ключицу, а после — раннее утро, перезвон колоколов на Елоховском соборе и отчаяние, потому что двести рублей, отложенные для передачи отцу, пропали во время драки. Денег нет, Лева в больнице, никто не поможет достать две сотни, а в тюрьму разрешалось пересылать двести рублей раз в полгода и одно письмо в год, и если я завтра не перешлю деньги, отец останется без курева, маргарина и мыла, а завтра — последний срок, потом надо ждать еще шесть месяцев, во Владимирском изоляторе зорко следили, чтоб вражинам не было поблажек.

Я шел по рассветающему городу. Не стендах уже расклеили утренние газеты. В передовице «Правды» сообщалось, что еврейские врачи-убийцы и отравители в белых халатах — профессора Виноградова, братья Коганы, Вовси — не были агентами тайной организации «Джойнт», а представляли цвет многонациональной советской медицины. Сообщалось также, что на самом-то деле «Джойнт» — это английское слово «объединенный», а народный артист Михоэлс — никакой не враг, а гордость советского народа. И еще в передовице говорилось, что бывший заместитель министра Рюмин грубо нарушал пролетарский интернационализм и социалистическую законность, — за это он освобожден от занимаемой должности и арестован.

...Вернувшись домой, я заметил в почтовом ящике конверт со знакомым штемпелем.

Я даже похолодел от внезапного чувства отчаянной радости. Наверняка на этот-то раз сообщают, что отец освобожден, что никакой он не член «запасного правого центра», а настоящий большевик, надо срочно ехать за ним во Владимир, — ходить старик не может, видимо, хотят, чтобы я привез его в свою комнату тихо и незаметно, зачем разжигать ненужные страсти, даже в семье бывают ссоры и неприятности, а тут такая огромная страна, всякое могло случиться... Я вскрыл конверт; там был узенький листочек бумаги: «Ваша жалоба рассмотрена, отец осужден Особым совещанием правильно, оснований для пересмотра дела не имеется».

27

Среди многих откликов, которые пришли после публикации первой части «Ненаписанных романов», было письмо Александры Лаврентьевны Беловой, вдовы командарма первого ранга.

В своей книге «Люди, годы, жизнь» Илья Эренбург пишет: «Помню страшный день у Мейерхольда. Мы сидели и мирно разглядывали литографии Ренуара, когда к Всеволоду Эмильевичу пришел один из его друзей, комкор И. П. Белов. Он был очень возбужден; не обращая внимания на то, что кроме Мейерхольда в комнате Люба и я, начал рассказывать, как судили Тухачевского и других военных. Белов был членом Военной Коллегии Верховного Суда (Эренбург ошибался: Сталин *назначил* Белова, как и маршала Блюхера, Егорова и Буденного, членами Особого Присутствия. — *Ю. С.*). Белов рассказывал: «Они вот так сидели — напротив нас. Уборевич смотрел мне в глаза...» Помню еще фразу Белова: «А завтра меня посадят на их место...» Потом он вдруг повернулся ко мне: «Успенского знаете? Не Глеба — Николая? Вот кто правду писал!» Он сбивчиво изложил содержание рассказа Успенского, какого — не помню, но очень жестокого, и вскоре ушел. Я поглядел на Всеволода Эмильевича; он сидел, закрыв глаза, и походил на подстреленную птицу (Белова вскоре после этого арестовали)».

...Сижу в квартире Александры Лаврентьевны Беловой, вдовы легендарного командарма; фотографии Ивана Панфиловича — усы, бородка, крутой лоб, невыразимо печальные глаза, по осанке и облику — потомственный аристократ.

— Он из мужиков, — замечает Александра Лаврентьевна, — из Псковской губернии, ныне эта часть отошла к Вологде... Аристократизм человека нарабатывается приобщением к знанию; Иван Панфилович был восхитительный читатель...

Сама она родилась в Питере, в семье мастера, столяра, речь ее именно петербуржская, очень много бесстрашного подтекста; постоянен юмор и горестное сострадание к людям.

Рядом с портретом комкора — уникальное фото Михаила Зощенко, родителей и сына, Виктора.

— С Зощенко мы давно дружили, это был совершенно невероятный человек, наш Мишечка .. Помню, его

куда-то не избрали на Первом съезде писателей; он пришел ко мне и совершенно серьезно сказал, что повесится, — пусть потом плачут... «Сначала я подумал, что произошла какая-то ошибка, — говорил он дрожащим голосом, — решил пойти в комнату, где отдыхал президиум; открыл дверь, а меня молодые люди аккуратненько под руки и в сторону — без специального пропуска никак нельзя. Я говорю, что, мол, я писатель Зощенко, а молодые люди отвечают, что это очень даже замечательно и книги они мои любят, но без специального пропуска запрещено... А я успел увидеть: там жены начальственных писателей в креслах сидят, ножку на ножку забросили, длинные папиросы курят и чирикают о чем-то веселом, смеются все время...» Я, конечно, рассказала об этом Ивану Панфиловичу; тот — к телефону, связался с Бухариным: «Военный округ, красноармейцы и командиры высоко чтут талант Михаила Зощенко, он должен быть избран, товарищ Бухарин, непременно должен быть избран, иначе это будет горькая несправедливость, нельзя обижать писателя, — если он настоящий писатель, то подобен ребенку: так же раним, и утешить его трудно, ссадина на всю жизнь...»

Бухарин был в крайне сложном положении на писательском съезде; в свое время Сталин попросил его написать статью против Есенина: «Я не имею на это права, Николай, — грузин... А ты русский, до последней капельки русский... Мы окружены с тобою мелюзгой — только ты и я подобны Гималаям, нам и быть во всем вместе...»

Говоря это, Сталин уже знал, что Бухарина — так или иначе — уберет; Гималаи обозначают *единичность*. Логик, он не терпел двузначности. Понимая, что интеллектуалу Бухарину (интеллектуализм — это всегда множественность толкований, вариантность мышления, пренебрежение к формулировкам — с их теологической точностью, *Коля* не поймет затаенного смысла его фразы) трудно будет отказать ему в такой просьбе, тем более что Есенина в свое время поддержал Троцкий, свою статью о нем закончил словами: «Великий поэт умер. Да здравствует поэзия!»

В речи на писательском съезде Бухарин всячески поднимал Пастернака, словно бы оправдываясь за то, что клеймил Есенина «кулацким поэтом».

Сталину нужно было разбить Есенина словами Бухарина, ибо он страшился его, есенинской, вольницы и не-

зависимости; ему была необходима *позиция* Бухарина, потому что он понимал: Бухарин — выразитель и теоретик «крестьянской» концепции России; от столкновения двух этих сил — поэтической и политической — функцию верховной силы получает он, Сталин.

Четыре года — с тридцатого по тридцать четвертый — Сталин жил в страхе: а вдруг *мужик,* не выдержав террора, поднимется? Вдруг страна заполыхает? Красная Армия — в массе своей крестьянская, станут ли стрелять в своих?

Нет. Не поднялись. *Снесли.*

Когда Бухарина вывели из Политбюро и Серго взял его к себе в Наркомтяжпром начальником научно-технического отдела, Ягода ежедневно сообщал Сталину обо всех, кто приходил к Николаю Ивановичу: в сухих сводках наблюдения рассказывалось, как принимала друзей опального лидера «Пеночка» (так Бухарин называл своего секретаря Августу Петровну Короткову). В свое время, молоденькой девушкой, она была отправлена — постановлением Реввоенсовета за подписью Яна Берзина — в Крым, для нелегальной работы в тылу Врангеля, потом помогала ветерану революционного движения Шелгунову, другу Ленина, ослепшему в тюрьме, после этого стала секретарем заведующего отделом пропаганды Коминтерна Белы Куна, а потом уже «Черныш», помощник Председателя ИККИ Коминтерна Бухарина Ефим Цетлин, один из первых членов ЦК КИМа, пригласил ее в секретариат Николая Ивановича.

«С ним я проработала вплоть до того дня, — рассказывала она мне, — пока Сталин не посадил Бухарина под домашний арест на «известинской» даче в Сходне».

Сталин не простил Бухарину той телеграммы, что он отправил — открытым текстом — летом тридцать шестого с Памира: просил не приводить в исполнение приговор над Каменевым, Зиновьевым и Иваном Никитовичем Смирновым; ненависть к нему после этого сделалась у Сталина давящей, постоянной, порою сладостной даже.

Ягода сообщал, что «Пеночка», или «Белочка» — так ее называл поэт Мандельштам, часто заходивший к Бухарину (отдел, возглавлявшийся Николаем Ивановичем, размещался в особняке на улице Кирова, наискосок от нынешнего Управления торговли Мосгорисполкома), каждую неделю готовит чай или кофе для постоянных визитеров: Вернадского, Вавилова (с ним Бухарин был особенно дружен), Горбунова, Кржижановского — ака-

демики приходили к своему коллеге академику Бухарину; Сталин попросил Ягоду повнимательнее *послушать*, о чем они говорят: «вполне возможно зарождение новой «Промпартии».

— В начале тридцатых годов, — продолжала между тем Александра Лаврентьевна, — Белова отправили в Германию, в военную миссию. А он был человек невероятной храбрости, почитайте «Мятеж», это ведь — во многом — о нем. Очень дружил с Фрунзе и Кировым, поэтому Сергей Миронович и пригласил его на должность начальника Ленинградского военного округа. Он никогда ничего не держал за пазухой, говорил, что думал: «Требую, чтобы не было произвола, — телеграфировал он в девятнадцатом году, когда служил в Туркестане, — не заливайте фундамент социалистического общества кровью безвинных жертв...» Думаете, ему эти слова забыли? Сталин не умел забывать, это было против его натуры, он все помнил, все абсолютно... Так вот, в Берлине Иван Панфилович переодевался в штатское и посещал собрания национал-социалистов, слушал выступления фюреров, вождей партии, — Гитлера, Штрассера, Геббельса, Рэма... Этот массовый психоз, этот черный расизм потрясли его, Он написал в Кремль, Поскребышеву, просил передать Сталину: «Я сидел в двадцати шагах от Гитлера, когда он был на трибуне. Это — страшно. Это угроза цивилизации, начало звериной вседозволенности для вождя, который имеет право на все. Я могу попасть на его следующее выступление. Прошу санкцию на уничтожение этого злодея, который сплошь и рядом оперирует нашими лозунгами: «Все права рабочим и крестьянам, долой финансовый капитал, все на борьбу за счастливое будущее германской нации, прокладывающей путь человечеству в лучезарное завтра!».

Сталин письмо это прочитал, пожал плечами: «Анархистские замашки», — Белова приказал отозвать в Москву; вскоре его, Сталина, личный эмиссар начал искать контакты с Гитлером и задействовал нацистский МИД, чтобы через него поначалу выйти на Геринга...

— Когда Иван Панфилович начал работать с Кировым, — продолжает Александра Лаврентьевна, — они целыми днями на границе пропадали, возвращались грязные, все в глине, ставили укрепления... Кстати, немцы с финнами так и не смогли эти укрепления преодолеть, разбились о кировско-беловскую линию обороны, а ту,

что Сталин пытался делать после позорной финской кампании, разрезали, как нож — масло... Жили мы с Иваном Панфиловичем в Левашово, под Питером, кое-кто из стариков и поныне это место называет «Беловской дачей»... Как-то раз Белов говорит: «Знаешь, освободился дом рядом с Сергеем Мироновичем, приглашает нас перебраться». Я, понятно, обрадовалась: быть рядом с Кировым! Начала собирать вещи, как вдруг Белов говорит: «Не надо. Останемся здесь». — Почему? — «Не надо», — повторил он, а лицо — серое, глаза больные, замученные... И было это, если не изменяет память, после первого задержания Николаева, когда его отпустили — с оружием...

Именно в те дни Белов заторопился в Москву, в Наркомат обороны, к кому — не знаю. А когда возвращался, опоздал на поезд, догонял последний вагон по перрону, вспрыгнул, но заметил, как из кармана шинели выпала записная книжка. Дернул стоп-кран, книжку подобрал и — вновь в вагон. А тут паника: «остановка «Красной стрелы» была ЧП, об этом немедленно сообщали Сталину — с тех еще пор, как Луначарский попросил задержать отправление на несколько минут, его жена опаздывала... Анатолию Васильевичу за это вроде бы выговор вкатили, Сталин такое не прощал — сам-то в своем поезде разъезжал, вне всех и всяческих расписаний... Прибежал начальник состава, накинулся на проводника: «Кто сорвал стоп-кран?!» Все молчат, растерянные. «Под суд пойдешь! В тюрьму упрячу!» Тут Иван Панфилович и сказал: «Не надо никого в тюрьму прятать. Стоп-кран сорвал я...» А назавтра Сталин сказал Ворошилову: «Этот Пугачев еще и не то когда-нибудь сделает...»

...Помню, как в Москве уже — Ивана Панфиловича перевели начальником МВО — он рассказывал мне во время прогулки: «Знаешь, мне даже какую-то радость доставляет грохотать сапогами по металлическим лестницам Кремля — сталинские охранники за пистолеты хватаются, каков поп, таков приход». А еще, помню, он долго-долго сидел над книгой «Гражданская война, 1918—1921», выпущенной ГИЗом в 1930 году, и лицо его было скорбным, порою растерянным даже...

Третий том этой книги вышел под редакцией А. Бубнова, бывшего главкома С. С. Каменева, М. Н. Тухачевского и Р. П. Эйдемана. Книга эта — трагический документ, воистину. Например, тщательно разобранная — с

военной точки зрения — Орловская операция Красной Армии в 1919 году перечеркивается *втиснутым* петитом сноски: «Труд был сверстан, когда появилась работа К. Е. Ворошилова «Сталин и Красная Армия», ГИЗ, 1929 год (то есть немедленно после высылки из страны первого Председателя Реввоенсовета Республики и наркома обороны Л. Троцкого). В книге (Ворошилова. — *Ю. С.*) дается ряд *новых* данных...»

Приводится там и письмо Сталина, отправленное с юга Владимиру Ильичу. Заканчивается оно следующими словами: «Без этого моя работа на южфронте становится бессмысленной, преступной, ненужной, что дает мне право или, вернее, обязывает меня уйти куда угодно, хоть к черту, только не оставаться на южфронте. Ваш Сталин».

Итак, запомним: атака на историю гражданской войны началась в 1929 году.

Но Бубнов, Тухачевский, Каменев и Эйдеман не могли и не хотели фальсифицировать историю. Ограничившись приведением сталинского письма и отрывков из книги Ворошилова, они продолжали следовать канве правды. Более того, они резко ударили Сталина — понятно, не называя его — при разборе польской кампании, когда войска Пилсудского захватили Киев, подписав договор с Симоном Петлюрой, и для борьбы с ним было создано два фронта — Западный, который возглавлял Тухачевский, и Юго-Западный, во главе которого был Егоров, а членом Военного совета — Сталин. Тухачевский рвался к Висленскому рубежу, а Егоров и Сталин повернули свои войска на Львов. Примечательно замечание авторов книги: «Согласно директиве (командующего Юго-Западным фронтом Егорова и Сталина. — *Ю. С.*), непосредственное содействие Западному фронту возлагалось лишь на численно слабую 12-ю армию...» В ряде книг той поры приводятся свидетельства неподчинения Егоровым, Сталиным и командиром Первой Конной Буденным плану Главкома Каменева о переброске конницы на помощь Западному фронту.

Буденный утверждал: «Переброску Первой Конной от Львова... нужно рассматривать как предсмертную конвульсию команзапфронта (Тухачевского. — *Ю. С.*). Директива командующего Западным фронтом о переброске... запоздала... Если бы командование Запфронтом не нервировало без нужды своими директивами о переброске конной армии, то... падение Львова было бы обеспеченным...»

Как Тухачевский комментирует *нервическое* заключение своего оппонента? Он бесстрашно и открыто критикует себя: «Укажем и на те ошибки, которые следует отнести к командзапу (Тухачевскому. — *Б. С.*). Командование Западным фронтом должно было дать еще более решительный *бой* в пользу своевременной подтяжки Первой Конной — даже тогда, когда Конармия еще не была ему передана. От его требовательности и настойчивости зависело, безусловно, очень многое. И вот этого в самый решительный момент операции командованием Западного фронта проявлено не было...»

(Примечательно: в тайных параграфах пакта «Риббентроп — Молотов» Сталин свел свои счеты с расстрелянным уже Тухачевским: Варшава была легко отдана Гитлеру, зато Львов отходил Союзу; воистину, Сталин ничего, никогда, никому не забывал.)

Александра Лаврентьевна говорит емко, красиво, при этом очень доверительно:

— Знаете, я физически ощущала на своей спине взгляды Сталина, когда нас с Иваном Панфиловичем приглашали на приемы в Кремль. Он медленно шел по залу, окруженный своими близкими... Он шел демонстративно медленно, словно бы сдерживая тех, кто был рядом... Я обратила внимание на его глаза: желтые, тяжелые, неподвижные... Они испугали меня... Но я женщина, я чувствую больше, чем анализирую, я увидела в его глазах такое одиночество, такую затаенную тоску, что сказала Ивану Панфиловичу, когда мы вернулись домой: «Отвези меня к нему... Ну, пожалуйста... И в грешнике есть частица святого, надо только докопаться до нее... Поверь, я смогу уговорить его остановить ужас происходящего...» Иван Панфилович отмалчивался, я настаивала. Тогда он тихо ответил: «Что ж, пожалуйста... Собирайся... Только заранее простись с детьми, родителями, с друзьями, со мною, наконец, — нас всех уничтожат, Шура, всех. В одночасье...» Я потом только узнала, что Белов написал в письме Сталину, что необходимо организовать Наркомат оборонной промышленности, он ведь не зря в Германии работал, понял доктрину немцев: «лишь техника решит исход будущей битвы». А Сталин? Он считал, что только конница Буденного и авиация гарантируют нам победу над любым врагом... Сталин прочитал записку Ивана Панфиловича, усмехнулся, посмотрел ему в глаза: «Что, готовишь себе тепленькое местечко?» Он мерил всех своими мерками, этот чело-

век... Хотя порою мне не под силу называть его человеком... Я помню, как Иван Панфилович возвратился с процесса над своими товарищами во главе с Тухачевским. Он был совершенно черный тогда... Сел к столу, попросил у меня бутылку коньяку, открыл его и выпил всю бутылку, не закусывая. А ведь он пил редко, крестьянский сын, *блюл* себя... А потом поманил меня к себе и прошептал: «Такого ужаса в истории цивилизации еще не было... Они все сидели как мертвые... В крахмальных рубашках и галстуках, тщательно выбритые, но совершенно безжизненные, понимаешь? Я даже усомнился — они ли это? А Ежов бегал за *кулисами*, все время подгонял: «Все и так ясно, скорее кончайте, чего тянете...» Я спросил Якира — помнишь, сестра его жены была замужем за моим помощником по разведке: «А он тоже враг народа?» Якир даже не посмотрел на меня, ответил заученно: «Да, он тоже враг народа...»

...Судили Тухачевского два его недруга: маршал Егоров, командовавший Юго-Западным фронтом вместе со Сталиным, и Буденный; Блюхер и Белов были фигурами нейтральными, их *использовали*... Было необходимо соблюсти декорум — в этих вопросах Сталин был большим специалистом...

Впрочем, порою меня поражает то, что он вписывал или давал указания вписать в показания арестованных. Например, на процессе «Антисоветского троцкистского центра» Вышинский (а ведь он до сих пор покоится в Кремлевской стене, страшно — это то же, что захоронить там Гиммлера!), допрашивая одного из руководителей Кузбасса, бывшего рабочего, любимца Серго, ставшего «командиром тяжелой индустрии», — товарища Шестова, задал вопрос: «Где вы получили письмо Седова? (Лев Седов — сын Троцкого, отравлен в 1938 году в Париже. — *Ю. С.*). Шестов: «Я получил его в ресторане «Балтимор». Вышинский: «Что же вам Седов сказал?» Шестов: «Он просто передал мне тогда — не письма, а, как мы тогда условились, пару ботинок... В каждом ботинке было заделано по письму...»

Как же надо было презирать людей, какую власть надо было над ними забрать, чтобы разрешать себе такие кровавые шутки! Только кретин, а не конспиратор может приносить в ресторан — да еще такой, как «Балтимор», — ботинки! Обмен письмами незаметен, ботинками — смехотворен!

Или, например, другой эпизод; допрашивая подсуди-

мого Арнольда, Вышинский спрашивает: «Может, это *нескромно*, но я должен уточнить, где вы родились, и фамилию вашего отца». Арнольд: «Я родился в Ленинграде, фамилия моего отца Ефимов, а фамилия матери Иванова». Вышинский: «Почему же вы Васильев, а не Петров?!» Арнольд: «Потому что у меня крестный был Васильев... Потом товарищ отдал мне паспорт на фамилию Карл Раск... После я переменил фамилию на Аймо Кюльпинен... А потом переменил фамилию на Валентин Арнольд и поехал — из Америки уже — оказывать техническую помощь Советской России в Кемерово...» Вышинский: «А вы не были членом масонской ложи?» Арнольд: «Был, когда я жил в Америке, я подал заявление и поступил в масонскую ложу... Я вступил в партию в 1923 году...» Вышинский: «И в это время вы оставались масоном?» Арнольд: «Да, но я никому об этом не говорил... Я должен был организовать теракты против Орджоникидзе, Молотова, Эйхе и Рухимовича...» (Серго, Эйхе и Рухимовича убили не троцкистские масоны, а Сталин. — *Ю. С.*).

Вот откуда пошла «масонская версия» у нашей «Памяти»! От прокурора Вышинского! Ай да корни, ай да традиции!

— Вскоре после расстрела героев гражданской войны, — продолжает Александра Лаврентьевна, — Сталин вызвал Белова... В кабинете сидел Ворошилов... Сталин долго ходил по кабинету, а потом, остановившись перед Иваном Панфиловичем, спросил:

— Любишь меня, Белов?

А Иван Панфилович ответил:

— Вы ж не женщина... — Потом помолчал, нервы, видимо, сдали, и выдохнул: — Да как же вас любить, когда вы революцию погубили?

Сталин хлестанул его по щеке, обернулся к Ворошилову:

— А ты его на новую должность рекомендовал... Нехорошо...

Из сталинского кабинета Белова увезли в тюрьму. На расстрел его вели под руки, шел он, как каучуковый, подскакивал, все кости были переломаны.

Ну, а потом пришла моя очередь... Настоялась в карцерах: это каменный шкаф, повторяющий, как гипсовый слепок, фигуру человека. Стоишь, стоишь, потом теряешь сознание, оседаешь, тебя вытащат, обольют водой и —

на место... В сортир не водили — все под себя... Стакан воды и кусок хлеба на день... Стой и думай...

Детей забрали в детприемник, туда моя мама поехала, а ей говорят, что моя трехлетняя дочка, Клементина, умерла от голода... Мама спрашивает: «А где хоть ее могилка?» А ей в ответ: «Будем мы еще вражеских змеенышей хоронить... Иди вон в ров, там их много лежит, раскапывай, может, по костям *родное* определишь».

...А Мишенька Зощенко пришел в НКВД, сам пришел, никто его не вызывал: «С Иваном Панфиловичем я редко встречался, а за Шурочку кладу свое честное имя, отпустите ее, *пожалуйста...*»

Выпустили меня после расстрела Ежова... Тогда Берия вырабатывал себе имя «правдолюбца», ведь «товарища Сталина обманывали враги народа Ягода, Ежов и иже с ними». (Точное повторение *игры* Гитлера: после того как он расстрелял двух истинных создателей национализма — Рэма и Штрассера, прошли расстрелы ветеранов партии, которые помнили Мюнхен 1919-го, когда Гитлер еще не был фюрером; расстреляли что-то около тысячи человек. Фюрер рыдал; Геббельс комментировал: «Адольфа обманули еврейские плутократы». (Подробнее об этом — в моих книгах о Штирлице; там достаточно подробно дается анализ структуры национал-социализма, его стратегии и тактики. — *Ю. С.*)

...Вышла я из внутренней тюрьмы — одна-одинешенька, ни кола ни двора. Ютилась у случайных людей, узнала воочию, что такое предательство, боялась попадаться на глаза знакомым: вдруг снова заберут?! Хотелось стать крошечной, незаметной. Вот когда люди начали всерьез мечтать о чуде «человека-невидимки»; только б никто не нашел, затаиться, — она вздыхает, — как это у Высоцкого? «Лечь бы на грунт...» Но — нашли, что-что, а находить у нас — если захотят — в миг найдут. А искал меня не кто-нибудь, а, как говорили тогда, «совесть партии» Матвей Федорович Шкирятов, председатель КПК, мерзавец из мерзавцев, палач и садист. Странно, отчего про него мало пишут, он же чудовище, фашистское чудовище, иначе и не скажешь...

Пришла я в КПК. Сидит этот карлик на уголке стола, глаза-буравчики, лицо дегенерата, смотрит на меня неотрывно, а потом — хлоп ладошкой по зеленому сукну и — фальцетом: «А ну, рассказывай, как ты, утеряв бдительность, спуталась с врагом народа?!» А мне терять нечего, у меня день и ночь перед глазами моя кровиноч-

ка, трехлетняя доченька, замученная палачами, вроде *этого... «Мы с тобой на брудершафт на пили*, — отвечаю, — что это ты ко мне дружбой проникся, на «ты» перешел?» Шкирятов аж ростом стал еще меньше, скукожился, как от зубной боли, и тихо спросил: «Комиссию интересует все о ваших связях с врагом народа Беловым». А я ему: «С Иваном Панфиловичем Беловым я спала и детей ему рожала, а вы вместе с ним работали, на заседаниях Верховного Совета вместе сидели, что ж вы-то в нем врага не распознали?!»

Понятно, исключили меня из партии... Что потом было — рассказывать трудно, когда вспоминаю, сердце болит...

...Существует (пока что) две версии по делу наших легендарных военных.

Первая: РСХА во главе с Гейдрихом, зная болезненную подозрительность Сталина, подготовило фальшивки на Тухачевского и его соратников; это было нетрудно сделать, ибо почти все наши военачальники проходили обучение в Германии — после заключения договора в Рапалло, задолго до того, как к власти пришел Гитлер.

Документы подделывал штурмбанфюрер СС Науекс. После разгрома нацизма он дал развернутые показания об этой «работе».

Суть подделки: группа военачальников во главе с Тухачевским готовит военный путч против Сталина.

Гитлеру не была страшна доктрина Сталина: «Все решит конница и авиация». Гитлеру была страшна доктрина Тухачевского: «Только танковые и мотомеханизированные войска вкупе с авиацией могут гарантировать победу над агрессором».

Много лет — после Двадцатого съезда — считалось, что расстрел наших военных был победой службы Гейдриха. Кое-кто продолжает так считать и поныне: «Товарища Сталина обманули».

Вторая версия: по заданию Сталина *идея* о путче советских военачальников была подброшена Гейдриху из Москвы — через генерала Скоблина, который затем таинственно исчез из Франции.

То есть Гейдрих был лишь *статистом* в игре Сталина.

Есть и третья версия, которую большинство исследователей отвергают. Суть ее сводится к следующему: чекисты-дзержинцы, работавшие с тридцать четвертого года в архивах царской охранки, чтобы *накопать* «компру» на Каменева, Бухарина, Пятакова, Рыкова, нашли

документы, свидетельствовавшие о неблаговидных поступках Сталина. Сообщили об этом своим единомышленникам-военным. Те начали готовить переворот, чтобы спасти страну от тирана; основания к свержению Сталина якобы были абсолютны.

...В конце пятидесятых годов Лиля Брик и Катанян снимали две комнаты на даче на Николиной Горе. Однажды, гуляя по поселку, Лиля Юрьевна сказала мне:

— Весь тридцать шестой год я прожила в Ленинграде... Я тогда была замужем за Виталием Примаковым, командиром «Червоного казачества» во время гражданской... И все это время я — чем дальше, тем больше — замечала, что по вечерам к Примакову приходили военные, запирались в его кабинете и сидели там допоздна... Может быть, они действительно хотели свалить тирана? Или *тот играл* с ними, организовав провокацию?

...За всеми участниками Особого Присутствия — сразу же после окончания кровавой трагедии — Ежов поставил слежку. Наладил прослушивание телефонных разговоров, перлюстрацию писем.

О результатах Сталину докладывали ежедневно.

Доложили и о том, что Егоров сник, замкнулся в себе, сказал одному из близких: «Я оказался пешкой в грязной игре. Мне стыдно самого себя».

Смогли записать подобные же разговоры Ивана Белова.

Маршал Блюхер заметил командарму Штерну во время боев против японских армий, вторгшихся в Монголию: «Это был кровавый фарс, но я не могу понять, отчего же они во всем признавались?! Отчего их лица были белые, словно мукой обсыпанные? Почему у них были чужие, мертвые глаза?!»

Егорова и Белова расстреляли после нечеловеческих пыток.

Блюхер — чтобы не выйти на процесс — выколол себе глаза в кабинете Берия и был там же убит.

Буденный одобрял исход процесса, показывал друзьям в лицах, как *кололись* Тухачевский и Якир.

Тем не менее и за ним были отправлены две машины — Берия решил, что убирать надо всех свидетелей, без исключения.

Семен Михайлович жил в Переделкино, на даче, жил, как в былые времена у себя в станице, — с охраной, конюхами, егерями.

Когда его подняли в кровати — «чекисты приехали»,

он, как был, в исподнем, бросился к окну, распахнул его и крикнул охране: «Пулеметы — товь!» И дал несколько выстрелов из маузера. Потом бросился к телефону, набрал номер Сталина: «За мной приехали! Буду отбиваться, это — ежовские последыши». Сталин — после долгой паузы, калькулировать он умел — понял, что Семен не сдастся, так просто, как *интеллигентишки* типа Тухачевского и Уборевича, поднимет своими пулеметами весь поселок, а там писатели живут, пойдут ненужные толки, поинтересовался: «Сколько времени продержишься?»

Буденный ответил: «До конца буду отстреливаться, патронов хватит...»

— Ну, держись, — усмехнулся Сталин, — попробую помочь.

Позвонил в Серебряный Бор, на дачу Берия:

— Заберите ваших людей от Буденного, пусть останется хоть один свидетель, один — всегда пригодится, я ему верю...

...Александра Лаврентьевна Белова проводила меня до двери — маленькая, очаровательная женщина с прекрасными голубыми глазами.

Вздохнула, улыбнулась:

— Мишенька Зощенко носил золотую цепочку на левой руке. Как-то я ему сказала, что мечтаю вставить золотые зубы, — тогда было модно. Он снял свою цепочку, протянул ее мне:

— Возьмите, Шурочка, только вам не пойдут золотые зубы, вы же такая красивая...

Она пожала острыми плечиками:

— Слушайте, вы можете понять тех, кто и сегодня кричит, что «Сталин — отец родной?» После того, как все открыли?! Хотя какое там «все»... Что это: психоз, упрямство или обида за прожитую жизнь, в которой место Бога занял человек с желтыми глазами дьявола? «Без Сталина мы бы не выиграли войну», — с горькой усмешкой она повторила чьи-то слова. — Без него, может, и войны-то бы не было, и уж выиграли бы мы ее не сталинским «пушечным мясом», а стратегией Тухачевского, Якира, Белова... Разве нет?

НЕОБХОДИМЫЙ КОММЕНТАРИЙ

« Без Сталина мы б войну не выиграли»...

Бытующая и по сей день фраза эта ужасает меня глубинным презрением к себе и своему народу.

Такого рода персонификация фактов — трагическое наследство нашей *абсолютистской* истории.

Не будь Сталина — мы были б частью гитлеровского рейха, так, что ли?!

Нет, не выдавили мы из себя по капле раба, далеко нам еще до этого...

«Биография» Сталина: «22 июня 1941 года гитлеровская империалистическая Германия *грубо* нарушила пакт о ненападении и совершила *неожиданное*, вероломное нападение на Советский Союз».

Маршал Василевский. Книга «Дело всей жизни»: «С середины апреля 1940-го я включился в работу над планом по отражению возможной агрессии... В плане предлагалось развернуть наши главные силы от побережья Балтийского моря до Полесья, то есть на участках Северо-Западного и Западного фронтов...»

После этого доклада начальник Генштаба Шапошников был снят со своего поста и перемещен на должность заместителя наркома обороны по строительству оборонительных сооружений; на смену ему пришел К. А. Мерецков, арестованный Сталиным на второй день войны. Почему же он был арестован и подвергнут нечеловеческим пыткам? *Вчитаемся* в мемуары Василевского:

«Как нам рассказал Мерецков, Сталин, касаясь наиболее вероятного направления потенциального удара противника, высказал *свою* точку зрения. По его мнению, Германия постарается направить в случае войны удар... на юго-западе... В соответствии с этим Генштабу было поручено *переработать* план, предусмотрев сосредоточение *главной группировки* на юго-западном направлении...»

Гитлер ударил именно на западном и северо-западном направлениях, как предсказывал Генштаб во главе с маршалом Шапошниковым. Сталинская корректива работы военных стоила нам около ста тысяч убитыми и более трехсот тысяч пленными в первые дни войны, — именно на Западном фронте; надо было найти виноватого; им оказался Мерецков.

Василевский: «Оперативный план отражения агрессии был тщательно увязан с мобилизационным планом Красной Армии и страны в целом...»

Почему же Сталин — когда все знали о близком начале войны — отказался провести мобилизацию, а вместо этого 14 июня опубликовал заявление ТАСС, ко-

торое *демобилизовывало* и народ, и Красную Армию?..

Народный комиссар Военно-Морского Флота адмирал Кузнецов: «17 и 18 марта сорок первого года немецкие самолеты были несколько раз обстреляны под Либавой. Что же делать, если агрессор наглеет? Меня вызвали к Сталину. В кабинете кроме него сидел Берия, и я понял, откуда дует ветер. Меня спросили, на каком основании я отдал распоряжение открыть огонь по самолетам-нарушителям? Я попробовал объяснить, но Сталин оборвал меня. Мне был сделан строгий выговор и приказано немедля отменить распоряжение. Пришлось подчиниться».

Злополучное заявление ТАСС о том, что все слухи о возможной агрессии Германии являются «вымыслом», адмирал Кузнецов комментирует: «Надо было принимать чрезвычайные меры... Но, увы, этого не случилось... Мы решили больше *не ждать указаний*, начали действовать *сами*... Балтийский флот 19 июня был переведен на оперативную готовность «номер 2...»

Маршал Василевский: «Сталин явно промедлил с принятием решения на переход армии и страны на полный режим военного времени... Сталин не решался на это, исходя, конечно, из *лучших* (?!) побуждений... Если бы наши войсковые части и соединения были своевременно отмобилизованы, выведены на предназначенные для них планом боевые рубежи, развернулись бы на них... то можно предполагать, что уже в первые дни войны были бы нанесены такие потери противнику, которые бы не позволили ему столь далеко продвинуться по нашей стране, как это имело место... Сталин, оказывавший огромное влияние на внешнюю и внутреннюю политику страны, видимо, не смог правильно уловить этого переломного момента... То, что Сталин не смог вовремя принять решение, является его серьезнейшим политическим просчетом... В чем причины?.. Прежде всего в том, что наши разведорганы, как справедливо замечает маршал Жуков, не смогли в полной мере объективно оценивать поступавшую информацию о военных приготовлениях фашистской Германии и честно, по-партийному докладывать ее Сталину...»

(Я уже писал, что несколько раз — работая над романами «Майор Вихрь» и «Семнадцать мгновений весны» — встречался с Молотовым.

— Неужели разведка не докладывала о приготовлениях Гитлера, Вячеслав Михайлович?

— Докладывала... Берия сообщил нам, что в германском посольстве в Леонтьевском переулке уже неделю идет дым из труб — жгут документы... Но раз избрана линия — надо было следовать ей до конца...)

Берия сообщал Сталину информацию группы Шандора Радо и Леопольда Треппера из Берна и Гааги — война начнется 22 июня. Сталин приказал прервать с ними связь: «провокация англичан».

Советский военно-морской атташе в Берлине М. А. Воронцов назвал точную дату вторжения — его отозвали в Москву.

Нарком госбезопасности Эстонии сообщил, что 22 июня Гитлер выступит; его вызвали в Москву, но посадить «за клевету и панические слухи» не успели — Гитлер-таки действительно выступил...

Так что дело не в разведке, а в том, что Сталин уже давно стал диктатором, никто не смел ему возразить, его слово и мнение сделались истиной в последней инстанции...

Адмирал Кузнецов утверждает, что получил разрешение наркома Тимошенко и начальника Генштаба Жукова применять оружие в случае нападения лишь *ночью* 22 июня.

«Когда я возвращался в Наркомат, — пишет адмирал, — меня не покидали тяжелые мысли: когда наркому обороны стало известно о возможном нападении гитлеровцев? Почему не само правительство, а нарком обороны отдал мне приказ, причем полуофициально и с большим опозданием?.. Смотрю на часы... 3 часа 15 минут... Вот когда началось! Набираю номер кабинета Сталина. Отвечает дежурный: «Товарища Сталина нет, и где он, мне неизвестно». — «У меня сообщение исключительной важности, которое я обязан передать лично товарищу Сталину...» — «Не могу ничем помочь». Опять звоню дежурному: «Прошу передать товарищу Сталину, что немецкие самолеты бомбят Севастополь. Это же война!» — «Доложу кому следует». Через несколько минут слышу звонок: «Вы понимаете, что докладываете? — Это Маленков... Около 10 утра 22 июня я поехал в Кремль. Решил лично доложить обстановку... В Кремле все выглядело как в обычный выходной день... Наверное, руководство собралось в другом месте, решил я. Не застав *никого* в Кремле, вернулся в Наркомат...»

«Биография» Сталина этот период *«деятельности великого полководца всех времен и народов»* не комменти-

рует, выделяя лишь «*пророчество*», высказанное в его речи от 3 июля, о том, что за демократию вместе с нами будут сражаться Европа (читай — Англия) и Америка, то есть те страны, которые в течение полугода тщетно предупреждали его о дате нападения Гитлера.

Василевский: «Первоначальные неудачи показали некоторых командиров в невыгодном свете. Они оказались неспособными быстро овладеть искусством ведения современной войны, оставались в плену старых представлений...»

(Я отношусь с глубочайшим уважением к нашим замечательным маршалам, героям Великой Отечественной. Но не могу не сказать о трагическом ощущении, которое не оставляет меня, когда я читаю их мемуары: все они пишут о том, как много в их жизни значили такие блистательные военачальники, как Тухачевский, Уборевич, Якир, Путна, Примаков, Корк, Белов, Алкснис... Но ни один из маршалов не произнес ни единого слова об их трагической судьбе — были люди, и нет их, как отрезало... А ведь когда писались мемуары, эти легендарные герои гражданской войны были уже реабилитированы. Кто же запретил нашим маршалам положить венок на их безымянные могилы?!

Почему никто из них прямо не сказал, что «старые представления» о современной войне культивировал именно Сталин?)

Василевский: «Сталин исходил из того, что если боевые действия развиваются не так, как нужно, значит, необходимо срочно произвести замену (или расстрел: дело Павлова. — *Ю. С.*) руководителя. Однако такое отношение к кадрам в первые месяцы войны далеко не всегда давало положительные результаты...»

...Одно из *преступлений* Сталина, приведшее к тому, что Красная Армия потеряла более шестисот тысяч красноармейцев, попавших в плен, и около двухсот тысяч, павших на поле боя, выполняя *сумасбродный* приказ Сталина, относится к трагедии на Юго-Западном фронте.

Об этом свидетельствует Василевский: «Вечером 7 сентября (за два месяца боев немцы уже оккупировали всю Белоруссию, Литву, Латвию, Эстонию, вышли к Киеву и Ленинграду, заняли рубежи в районе Смоленска, потеряв при этом около *четырех процентов* своих солдат. — *Ю. С.*) Военный совет Юго-Западного фронта сообщил, что обстановка еще более осложнилась... Мы

с Шапошниковым (его вновь вернули в Генштаб. — *Ю. С.*) пошли к Верховному с твердым намерением убедить его в необходимости отвести войска за Днепр и оставить Киев... Разговор был трудный и серьезный. Сталин упрекал нас в том, что мы пошли по *линии наименьшего* сопротивления: вместо того чтобы бить врага, стремимся уйти от него... При одном же упоминании о жестокой необходимости оставить Киев Сталин выходил из себя и на мгновение терял самообладание...»

...А далее следует поразительное признание Василевского, которое молнией высвечивает обстановку, в которой им, *профессионалам*, приходилось работать: «Нам, видимо, не хватало необходимой твердости, чтобы выдержать вспышки этого неудержимого гнева...»

Видимо, дело тут не только в «твердости».

И Шапошников, и Василевский не могли не знать, что́ в эти страшные дни войны творилось в застенках, где пытали бывшего начальника Генштаба и будущего маршала Мерецкова, командарма Штерна (расстрелян. — *Ю. С.*), начальника ПВО Алксниса (расстрелян — *Ю. С.*), дважды Героя Советского Союза Смушкевича (расстрелян — *Ю. С.*). (Кстати, немцы, захватившие в Вильнюсе семью выдающегося летчика, героя боев в Испании и на Халхингole, не расстреляли ее, хотя были обязаны — все евреи, — полагая, что эти заложники помогут им в случае нужды выменять на них какого-нибудь своего генерала, буде он попадет в русский плен. — *Ю. С.*)

Василевский продолжает: «Вплоть до 17 сентября Сталин не только отказывался принять, но и *серьезно* рассмотреть предложения, поступавшие к нему от главкома этого направления, члена Ставки Г. К. Жукова, Военного совета Юго-Западного фронта и от руководства Генерального штаба».

(Какой главком, в какой стране мог позволить себе столь презрительно-высокомерное отношение как к докладам с мест кровопролитных боев, так и к позиции *мозга* Красной Армии, ее Генерального штаба?!

А ведь еще 13 сентября начальник штаба Юго-Западного фронта генерал-майор Тупиков сообщал Шапошникову: «Начало понятной Вам катастрофы — дело пары дней».)

Василевский: «Ознакомившись в этим донесением, Верховный Главнокомандующий спросил Шапошникова, что тот намерен ответить. И тут же сам продиктовал от-

вет: «Генерал-майор Тупиков представил в Генштаб паническое донесение. Обстановка, наоборот, требует сохранения исключительного хладнокровия... Необходимо неуклонно выполнять указания т. Сталина, данные вам 11 сентября. Б. Шапошников. 14 сентября 1941 года, 5 ч. 00 м.»...»

Примечательно: понимая возможность катастрофы, Сталин подписал эту шифровку фамилией Шапошникова — будет на кого свалить вину в случае краха.

Василевский: «Только 17 сентября Сталин разрешил оставить Киев. В ночь на 18 сентября командование фронта отдало приказ отходить с боем из окружения. Однако вскоре связь штаба фронта со штабами армий и со Ставкой была прервана... 20 сентября погибли в бою (по иной версии — застрелились. — *Ю. С.*) комфронта М. П. Кирпонос, член Военного совета, секретарь ЦК КПУ М. А. Бурмистренко и начальник штаба Тупиков...»

Тот самый, кого Сталин посмел обозвать «паникером»... А этот герой сердцем болел за жизнь красноармейцев, блестяще выполнял свой долг — под беспрерывными бомбежками нацистов, без сна и отдыха — истинный патриот Отечества. Убежден, что эти военачальники заслуживают того, чтобы быть помянутыми в том Памятнике жертвам сталинского террора, который мы не можем не воздвигнуть: предательство Памяти — преступно и мстит новыми ужасами...

Василевский: «Мне не раз приходилось слышать, что Генштаб в предвоенные годы мало уделял внимания укреплению обороны Ленинграда... Предвидел ли Генштаб возможность агрессии по побережью моря, через Прибалтику? Да, безусловно. И оперативным планом, разработанным Шапошниковым, были предусмотрены меры борьбы с врагом на этом направлении».

Однако же читатель помнит замечание Василевского что Сталин требовал разработки лишь юго-западного варианта»!

...Примечательно, что в «Биографии» Сталина ни слова не говорится о трагической блокаде Ленинграда, о мужестве осажденного города, о гибели сотен тысяч — от голода и холода.

Василевский: «В связи с обострением обстановки под Ленинградом (виною чему было в первую очередь упрямое самодурство Сталина, упрекать советских солдат — кощунственно. — *Ю. С.*) Ворошилов и Жданов были вызваны в Ставку. Разговор происходил на станции метро

«Кировская». Верховный сурово обошелся с ними и потребовал разработать оперативный план защиты Ленинграда. Ворошилов и Жданов не выразили ни слова обиды на резкость тона...»

Почему?! Ведь им же было прекрасно известно, кто повинен в том, что Генеральному штабу было запрещено заниматься разработкой планов обороны Ленинграда накануне войны?! Где чувство собственного достоинства?! Верность правде?! Справедливости?!

В том-то и заключается *преступление* Сталина, что начиная с 1924 года, когда от нас ушел Ильич, он планомерно и по-византийски виртуозно уничтожал всех, кто имел собственное мнение и не боялся его отстаивать под страхом быть объявленным «оппозиционером», «социал-демократом», после — «врагом народа», а уж засим — «диверсантом», «шпионом», «террористом», «фашистским наймитом».

Государственный страх сделался у нас нормой жизни; возражение Вождю каралось смертью; люди ломались, добровольно называя черное — белым, лишь бы выжить!

Василевский: «Ставка Верховного Главнокомандования (то есть Сталин. — *Ю. С.*) приказала войскам Волховского и Ленинградского фронтов нанести поражение вражеской группировке и снять блокаду с Ленинграда... В начале января 1942 года советские войска перешли в наступление. Но нас постигла неудача... В конце апреля 1942 года в Ставку прибыл командующий Ленинградским фронтом М. С. Хозин... Он предложил объединить войска Ленинградского и Волховского фронтов... Шапошников сразу же выступил против такого предложения. Сталин, наоборот, встал на позицию Хозина... Решение Ставки о ликвидации Волховского фронта оказалось ошибочным».

Благодаря этому своеволию Сталина, прошедшему, конечно же, безнаказанно, прорыв блокады Ленинграда был осуществлен лишь через год, в январе 1943-го, что стоило жителям города-героя сотен тысяч жизней.

...А что произошло весной 1942-го под Харьковом?

Генеральный штаб возражал против плана командующего Юго-Западным фронтом Тимошенко — тот поначалу намеревался вернуть Киев, но после категорического возражения Шапошникова скорректировал свои предложения: надо овладеть Харьковом и создать предпосылки для освобождения Донбасса.

«Шапошников стоял на своем, предлагая воздержать-

ся от столь рискованной операции, — свидетельствовал Василевский. — Сталин, однако, дал разрешение Тимошенко на проведение этой операции и *приказал* Генштабу ни в какие вопросы по ней не вмешиваться... 12 мая, то есть в разгар неудачных для нас событий в Крыму, войска Юго-Западного фронта перешли в наступление. Сначала оно развивалось успешно, и это дало повод Верховному бросить Генштабу *резкий* упрек, что по его настоянию он чуть было не отменил удачно развивающуюся операцию. Но уже 17 мая ударная группировка противника перешла в контрнаступление... С утра 18 мая обстановка для наших войск продолжала ухудшаться... Мне позвонил член Военного совета юго-западного направления Н. С. Хрущев. Он сообщил, что Сталин отклонил их предложение о немедленном прекращении наступления, и попросил меня еще раз доложить Верховному об их просьбе. Я ответил, что уже не однажды пытался убедить Верховного в этом... Сталин отклонил мои предложения... Поэтому я порекомендовал Хрущеву, как члену Политбюро ЦК, обратиться непосредственно к Верховному... Вскоре Хрущев сообщил мне, что разговор с Верховным — *через* Маленкова — состоялся, чтот *тот* подтвердил распоряжение о *продолжении* наступления... 19 мая ударная группировка вышла в тыл советским войскам, и только тогда Тимошенко отдал, наконец, приказ прекратить дальнейшее наступление на Харьков... Но, к сожалению, состоялось оно слишком поздно: три армии Южного и Юго-Западного фронтов понесли тяжелые потери. Погибли командарм-57 генерал-лейтенант К. П. Подлас, начальник штаба генерал А. Ф. Анисов, член Военного совета бригадный комиссар А. И. Попенко, командарм-6 генерал-лейтенант А. М. Городнянский, член Военного совета бригадный комиссар А. И. Власов, командующий армейской группой генерал-майор Л. В. Бобкин и заместитель командующего Юго-Западным фронтом генерал-лейтенант Ф. Я. Костенко. Из окружения сумела выйти лишь меньшая часть нашей ударной группировки во главе с членом Военного совета этого фронта дивизионным комиссаром К. А. Гуровым и начальником штаба 6-й армии А. Г. Батюней».

...Ни об одном из этих героев нет ни строчки в Советском Энциклопедическом словаре. Какова судьба тех, кто вывел наших бойцов из окружения? Что с ними стало? Где они?

Энциклопедический словарь вышел в 1981 году, когда

начальником Главного Политического управления Советской Армии был Епишев: ему нашлось место на страницах этого издания. Увы, среди перечисленных должностей, занимавшихся им, не помянут пост заместителя министра внутренних дел, коим являлся Л. П. Берия. Может быть, именно поэтому наши полководцы не могли написать правду о гибели своих учителей — Тухачевского и тех, кто разделил с ним трагическую судьбу?!

Василевский заканчивает так: «В результате этих неудач обстановка и соотношение сил на юге резко изменились в пользу противника. Изменились, как видим, *именно там,* где немцы *наметили* свое летнее наступление. Это и обеспечило им успех прорыва к Сталинграду и на Кавказ».

К сожалению, и в 1978 году, когда вышла книга маршала, ему приходилось — не в такой, правда, мере, как Крупской, — шифровать свою концепцию; умело стыкуя фразы, используя искусство логического монтажа, Василевский обращался к тем, кто *умеет* читать. Проанализируйте его абзац: «Я пишу все это не для того, чтобы в какой-то степени оправдать руководство Генштаба. Вина ложится и на его руководителей, так как они не оказали помощь юго-западному направлению, хоть нас *отстранили от участия в ней».*

Но как же они могли оказать помощь, если их отстранил лично Сталин?!

...Ах, если бы Жуков, Василевский, все наши маршалы дожили до сегодняшнего дня! Как много они смогли бы сказать нам!

...Советский народ потерял — в результате преступного самодурства Сталина — более ста тысяч убитыми и не менее полумиллиона пленными в районе Харькова.

Столько же — под Ленинградом, во время авантюры с объединением фронтов.

Кто же был в этом виноват? Конечно, начальник Генерального штаба Шапошников! Сталин никогда, ни при каких условиях своих ошибок не признавал!

Василевский: По *настоянию врачей* Шапошников обратился в ГКО с просьбой перевести его на менее ответственную и более спокойную работу. Просьба была удовлетворена».

Это произошло сразу же после харьковской катастрофы. Очередной «виновник» был найден и *нейтрализован* — все по-сталински, исподтишка, коварно... А ведь

было тогда этому «больному» маршалу всего шестьдесят лет, на три года моложе Сталина...

...В воспоминаниях о войне много пишется о самообладании Сталина — естественно, после первой недели депрессии, когда он впал в шоковую прострацию и самоуклонился от всякой работы.

Когда — под нажимом членов Политбюро (пастве нужен пастырь, нам нельзя без вождя) — Сталин вернулся в Кремль, его первым актом был расстрел генерала Павлова: опять же главное — найти виновного, на которого следует свалить вину за поражение.

Не «воля» Сталина, а героизм народа, ставшего на защиту Родины, ее гигантских пространств, заставил диктатора обрести себя; впрочем, иного выхода у него не было: *для него* речь шла о сохранении режима личной власти...

Уж если и говорить о самообладании лидера, то нельзя не вспомнить Черчилля: в течение тринадцати месяцев — с мая 1940-го, когда Гитлер вошел в Париж и его офицеры наносили визиты вежливости в советское посольство, и по июнь сорок первого, когда Гитлер обрушился на Советский Союз, сэр Уинни возглавлял *единственную* страну на Европейском континенте, продолжавшую войну против гитлеризма. В самые ужасные месяцы бомбардировок нацистов, когда Лондон горел, превращаясь в руины, Черчилль говорил англичанам: «Мы будем продолжать войну против нацистского агрессора, даже если нам придется — под его натиском — уйти в Канаду. Все равно победа демократии над тиранией неизбежна!»

...Что касается «Биографии великого полководца», на совести которого миллионы жизней наших бойцов (о чем предельно ясно свидетельствуют мемуары маршала Василевского), то изучение «военного периода деятельности генералиссимуса» начинается лишь после 1943 года, когда подвигом народа Победа сделалась неотвратимой.

О наших военачальниках, об их роли в битве под Москвой, в Севастополе, Ленинграде, на Волге, под Курском — ни слова; приводят лишь один *список*, который открывает Булганин, отнюдь не Жуков; адмирала Кузнецова нет и в помине — он в это время сидел в тюрьме, под пыткой, как «английский шпион»; впрочем, попал в этот *список* генерал армии Горбатов — не успели исключить, потому что забрали его, когда уж «Биография» поступила в продажу...

..Итак, без Сталина мы б войны не выиграли?!

Внимательно прочитайте воспоминания Георгия Константиновича Жукова.

Остановитесь на том пассаже, где маршал описывает, как он приезжал на Малую землю, где встречался с полковником Брежневым.

Одна эта фраза сделает для умного читателя понятным, в каких условиях Жуков писал свой труд. Он поймет всю противоестественность его рассказов о Якире, Тухачевском, Примакове, Путне: были «выдающиеся полководцы», «чудесные люди», «патриоты нашей Советской Родины» — и нету! Ни слова о том, как они были расстреляны, — неужели Жукову нечего было сказать о них?! Горькую правду он унес с собою, пепелящую внутреннюю трагедию, — «ведь строки с кровью убивают, нахлынут горлом — и убьют...»

...Маршал Мерецков в своих «Воспоминаниях» не написал ни единого слова, как его пытали, выбивая самооговор и вздорные показания на его друзей по Красной Армии. Полно, а может, написал? Но где они, эти главы? Если уничтожены, следует восстановить по воспоминаниям тех, кто был ему близок, — пока не поздно!

Маршал Рокоссовский ни единым словом не обмолвился о том, как и *за что* он провел долгие годы в одиночках и карцерах ежовско-бериевских застенков. Почему? Кто запрещал? Или запрет высказывался в форме безликого *мнения*?

Может быть, и эти ветераны Красной Армии неосторожно обмолвились, что войны мы *не могли не выиграть,* ибо это была великая война Народа, а народ, воистину, бессмертен.

Помните Чехова! Повторяйте его трагические слова о необходимости выдавливать из себя по каплям ужас нашего векового рабства!

Рабу нужен *помазанник, верховный*, тот, который освобождает от необходимости думать и принимать самостоятельные, то есть *личностные*, решения.

И не будем отказываться от основополагающего жизненного принципа Маркса: «подвергай все сомнению».

Из этой *позиции* высекается не скепсис или неверие, но Правда.

29

...Он был искрометным человеком; друзья звали его «Шура»; бритвенно остроумный, он фонтанировал шутками, каламбурами, уничтожающими метафорами; бледное

веснушчатое лицо с маленькими глазами-льдышками контрастировало с атакующей манерой речи; впрочем, публично он не любил выступать: сильно заикался, но в диалоге был словно танк — ломал и крушил собеседника. Как и обо всех, в московских литературных кругах о нем говорили разное: враги — со «слюнной» яростью, товарищи — с доброй снисходительностью. Одни утверждали, что его брат погиб в тридцать седьмом, другие считали, что, наоборот, ушел на Запад одновременно с Федором Раскольниковым и там выпустил книгу против Сталина и Ягоды; он, Шура, никогда не отвечал на вопросы о родных, булькающе смеялся и, ернически подмигивая, демонстративно переводил разговор на другое: «С-с-старичок, а п-п-правда, что в д-д-домжур* привезли р-раков?»

Постоянно, в самые трудные годы, его поддерживал Константин Симонов; однажды Симонов сказал мне: «Шура — это энциклопедия, только страницы не разрезаны; книга, которую никто не смог толком прочесть...»

...В конце семидесятых он — неожиданно для меня — напечатал большую статью, поддерживая моего литературного героя Штирлица. Встретились мы спустя полгода в писательском клубе. Окруженный людьми, которые говорили громко и, казалось, заинтересованно, но на самом деле не слушая друг друга, Шура помахал мне рукой: «С-с-старика-ша, теперь я ста-а-ал твоим толкова-а-телем, отныне б-б-берегись меня, айда поужинаем у к-к-композиторов, т-т-там тихо, как в морге крематория, г-г-где отпевают провинившихся...»

(Я отчего-то сразу вспомнил маленькую комнатку морга в Кунцево, где стоял гроб с телом Хрущева; народу было мало, зато *сопровождающих* понаехало множество — военные автобусы, спецмашины, шпалеры охраны; я принес красные гвоздики, положил в ноги Никиты, пожал руку детям — Юле и Сереже и вернулся на шоссе, к машине: в тот же день улетал в Чили.)

...Когда мы с Шурой вышли из писательского клуба, было слякотно, снег превращался в дождь, не пав еще на землю, хотя даже на уровне глаз хлопья были звездно-крупные, шелестящие.

— Старичок, объясни мне, — перестав заикаться, как только мы остались вдвоем, спросил Шура — как ты трактуешь слово «самопожирание»?

---

* Дом журналистов.

Я прочитал ему строку поэта «Искры»: «Ах, какая благодать кости ближнего глодать...»

Словно и не услышав меня, Шура как бы продолжал говорить с самим собою:

— Я только что закончил «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Исаевича... Талантливо, но вывод однозначен: «бей жидов, спасай Россию», потому что «империю ужаса» создали именно евреи. А Ежов, Меркулов, Абакумов, братья Кобуловы, Цанава, Голиков, Рюмин? А кто приводил приговоры в исполнение? Севрюков, Серафимов, Царев? А кто расстреливал зэков в лагерях? Я не знаю, доживу ли до того времени, когда будет целесообразно написать правду... Ты — доживешь... Вот я и хочу тебе кое-что порассказать, туфли у тебя, гляжу, на каучуке, не промокнут... Кстати, носишь «Саламандру»?

Я отчего-то вспомнил застывшее лицо Твардовского в тот момент, когда спросил его, отчего он отказался печатать в «Новом мире» горькую книгу одной несчастной женщины, просидевшей в лагерях добрые двенадцать лет. Твардовский ответил не сразу, полез за искрошенными «Ароматными» — других сигарет не признавал, — тяжело затянулся и, по-детски удивленно глядя на кроны наших пахринских осин, вздохнул: «Видите ли, когда она была женою городского головы, и на Казанском вокзале ее «линкольн» встречал, и в гостинице «Москва» был номер «люкс» забронирован, — все было нормально, претензий у нее к Сталину не было, хотя в тюрьмах уже страдали сотни тысяч, да и ужасы коллективизации были на памяти, «головокружение», так сказать. А как самой трагедия коснулась, так и переменилось в корне ее воззрение... А литература — во всяком случае, русская — прежде всего живет страданиями, «окрест меня открывающимися»...»

Голос человека, звучащий в тебе, его лицо, рожденное памятью, не позволяют порою дать ответ на самый, казалось бы, простой вопрос, поставленный собеседником; происходит таинственная реакция несовместимости звучаний; Шура был человеком тонким, чувствительным, притом, что умел, когда требовали обстоятельства, идти словно бронетранспортер, *хрустело*: давил гусеницами.

— Ты знаешь, что сделал Сталин после смерти Дзержинского, — продолжил он, подняв воротник тонкого пальто ангорской шерсти, — скажем *пока* что так — после *смерти* Феликса Эдмундовича? Он сразу же убрал Беленького, бывшего помощника Дзержинского, с поста

начальника охраны Кремля, а на его место назначил Паукера, венгра, который брил его опасной бритвой, — балабос* другому не доверял, а «жиллет», который ему еженедельно привозили из Берлина, царапал... С тех пор — а Бухарин, Рыков еще жили в Кремле, только Троцкий съехал на улицу Грановского, когда перестал быть Председателем Реввоенсовета, — вся информация о них и об их семьях стала поступать прямиком к Сталину. На стол. Ежедневно. Балабос знал *все*, абсолютно все, что о нем говорили те, кто не считал его гением... Он терпел восемь лет, можешь себе представить?! Целых восемь лет ждал своего часа — до тридцать четвертого... Вот воля, а? Вот выдержка! Он *начал* массовый террор, когда узнал, сколько делегатов Семнадцатого съезда проголосовало против него... А ведь ни один из них не выступил против, с трибуны все славословили... Тогда он и решил окончательно рвать с прошлым... Киров был убит Николаевым, русским, заметь; операцию вел Запорожец, русский. *Прикрывал* — Генрих Ягода, еврей. Ему Сталин и поручил готовить процесс против Каменева и Зиновьева — евреев же. С одной стороны, Ягода боялся Сталина, с другой — мечтал стать *вторым*... Поэтому он пошел на то, чтобы сделать страшный спектакль... Но, видимо, еще больше он страшился чего-то такого, что никому из живущих ныне неизвестно, потому что накануне процесса над Каменевым издал подстраховочный приказ, запрещавший какие-либо формы физического или морального воздействия на подследственных... Но тогда появился секретарь ЦК Ежов и взял на себя функции наблюдения за подготовкой процессов... А поручены они были сначала Молчанову и Миронову, а уж потом — Слуцкому, Агранову, Берману с Фриновским... И допрашивал еврея Каменева, глумясь над ним, человек по фамилии Черток, ему тридцати еще не было, носил кличку «зверь»... Словом, евреев Каменева и Зиновьева сделали статистами в жутком спектакле в основном евреи... Они же сделали шпионами участников второго спектакля: и снова это был страшный фарс, нашпигованный еврейскими фигурантами — с обеих сторон скамьи подсудимых... Но Сталин уже знал от Паукера: то, что он дал честное слово Каменеву и Зиновьеву сохранить им жизнь и не сдержал его, известно тем следователям, которые писали признания об идиотских «инструкциях

---

* Балабос — хозяин (*евр. жаргон*).

гестапо» советским наркомам — «как сыпать в масло стекло»... И Сталин приказал посадить Ягоду, расстрелять тех, кто готовил первый и второй процессы; в камере Ягода учил свою роль, топил Бухарина и Рыкова... Процессом дирижировал Николай Иванович Ежов, русский. После окончания третьего процесса, бухаринского, Ягоду тоже расстреляли. Потом — Ежова. Пришел Берия. Но память о них, костоломах-извергах, отныне будет вечной, о них, а не о том, кто расставлял эти пешки на шахматном поле дворцового ужаса...

Берия подчистил *грехи*... Поставил сенсационные процессы против тех, кто еще совсем недавно истязал детей так называемых «врагов народа», добиваясь от них чудовищных признаний в том, что их отцы и матери были шпионами... Так был проведен четвертый спектакль: «Сталина обманывали!» В тех ужасах, что произошли в тридцать седьмом, были повинны, оказывается, скрывавшиеся враги... Ты понимаешь, что мы пережили, с-с-старик?! А в сороковых Сталин чуть оттер Берия, арестовал мегрелов в Грузии и привел в кресло Ежова — Берия молодого Виктора Абакумова... А когда Берия и Маленков начали работать против Вознесенского и Кузнецова, против «русской оппозиции», с одной стороны, и по «еврейским космополитам», «врачам-отравителям» — с другой, Абакумова тоже посадили, и пришел никому не известный Игнатьев... И стал спешно раскручивать дело еврейских «врачей-убийц»... Не успел... Кормчий умер, и поэтому меня не выселили из Москвы — по моей же «просьбе»... А знаешь, как пытали при Игнатьеве? Не знаешь... Мне говорили, что людей вызвали на допрос в январе, когда мороз трещал, и сказали: «Сейчас вас повезут на дознание. По кольцевой дороге. Вы будете в костюме. Когда почувствуете, что замерзаете, попросите сопровождающих дать те ваши показания, которые надо подписать. Подпишите их. Вас оденут в тулуп, напоят водкой, дадут горячего чаю из термоса и отвезут на дачу. И станем писать сценарий. Вам ясно?» Заключенным стало все ясно. Их сажали на дрезину и везли. А они молчали. А потом стали каменными, замерзая. Но они не подписывали фальшивку, старичок, не подписывали... Ты не промок еще? Ничего, у композиторов отогреемся, их крематорий уютный, очень т-т-тепло... А знаешь, отчего *Хозяин* поручил обвинять членов ленинского Политбюро Вышинскому? Думаешь, только потому, что тот был меньшевик? Нет, не поэтому...

Вернее — не только поэтому... Вышинский был поляком, а его брат — ксендз, так сказать, родственные души с Вождем...

Шура остановился вдруг, поманив меня пальцем, оглянулся и прошептал:

— Но ведь седьмого апреля тридцать пятого года, когда у нас был принят закон о том, что все граждане — начиная с двенадцатилетнего возраста — подлежат судебной ответственности вплоть до расстрела, — я не покончил с собой! Я ведь позволил себе *не понять*, что это такое! Когда в тридцать восьмом я требовал на митингах смерти Бухарину, я ж помнил, как девять лет назад проносил по Красной площади его портрет — портрет вождя! Ты думаешь, я не понимал, что грядет и моя очередь — рано или поздно?! Понимал! А в пятьдесят третьем, когда я подписывал вместе с писателями-евреями просьбу о нашем выселении из столичных городов?! Думаешь, я не помнил статью Сталина, опубликованную им еще в начале века: «Не пора ли у нас в партии провести маленький еврейский погром?» Он умел ждать, ждал полвека... Думаешь, я не знал тогда, в пятьдесят третьем, что меня погубят в тех бараках, куда нас должны были выселить — «по нашей же просьбе»?! Знал! Даже если бы ты был последним мерзавцем, все равно оправдаешь себя, обвинив других... Так ответь же мне: это что — жидовская черта характера? Или все люди подобны друг другу?! Еврей Ягода пытал евреев Каменева и Пятакова... Русский Ежов пытал русского Рыкова... Почему я сказал «самопожирание»?

Он вдруг сник, втянул голову в плечи:

— Наоборот, самовыживание... Только живем мы каждый день в ином качестве — неузнаваемые, новые, готовые к тому, чтобы сожрать ближнего и оправдать содеянное... Знаешь, что сказал Ежов в разгар террора? Я помню: «Все, что я делаю, продиктовано преклонением перед достоинством советского человека, которого ждет счастье». А я, зная все, аплодировал ему так, что у меня ладони были пунцовыми.

Шура вдруг остановился, взял меня за руки и, странно улыбаясь, спросил:

— Чувствуешь, какие теперь они у меня ледяные? Не пора ли погреть их заново, а?

30

В Баку летом шестнадцатого года в клубе молодых литераторов встретились и подружились четверо юношей: Мирджафар Багиров, Всеволод Меркулов, Евгений Думбадзе и Лаврентий Берия.

Спустя сорок лет, когда бывшего первого секретаря ЦК Компартии Азербайджана Багирова конвоиры ввели в битком набитый зал суда, где заседала выездная сессия, председательствующий, заняв свое место за зеленосуконным столом, коротко бросил:

— Прошу садиться.

Зал стоял, замерев; взоры собравшихся — скорбные, дружелюбные, понимающие — были обращены на того, кого посмели назвать «обвиняемым».

Председательствующий посмотрел в зал и увидел в глазах людей ненависть, обращенную против него, приехавшего судить легендарного Мирджафара, гордость Республики, верного ученика товарища Сталина, оклеветанного безграмотным мужиком, Никитой Хрущевым.

— Садитесь, — повторил он чуть громче.

Зал продолжал стоять.

Молча стояли и десятки тысяч бакинцев возле тех репродукторов, которые установили в городе, чтобы транслировать судебное заседание — ко всеобщему сведению.

— Прошу садиться, — в третий раз произнес судья, и снова зал не шелохнулся.

И тогда Багиров — в своей обычной «сталинке», чуть осунувшийся, но улыбчивый, — чуть поднял руки и сказал по-азербайджански:

— Отр...

Это значит — «садитесь».

И зал, словно бы протянувшись к нему влюбленными глазами, выполнил его *просьбу*.

Первый день процесса был проигран прокурором; Багиров безучастно слушал слова обвинительного заключения, кому-то из сидевших в зале дружески кивал, кого-то, чуть хмурясь, старался вспомнить; все происходившее, казалось, не имело к нему никакого отношения.

Лишь на второй день, когда стали вызывать свидетелей обвинения — в основном женщин, подвергшихся пыткам и насилиям, чтобы сломать их мужей, ветеранов ленинской партии, — когда эти несчастные, сломанные, давно уже потерявшие себя, глухо рассказывали о том

ужасе, что им пришлось пережить, настроение сломалось, в зале начались истерики.

Багиров скукожился, хрустел пальцами, кусал губы; в последнем слове, когда увидел, что в глазах тех, кто еще три дня назад продолжал боготворить его, загорелась ненависть, прошептал:

— Меня не расстреливать надо — а четвертовать...

В камере, накануне расстрела, сказал прокурору:

— Самой страшное заключается в том, что я совершенно не помнил тех эпизодов, что рассказывали несчастные... Я *забыл*, понимаете? Как забывают дело, выполненное после получения приказа, который, как известно, обсуждению не подлежит... Поверьте, я не помню ни одну из этих женщин, ни одну... Нет мне прощения, какое счастье, что ухожу из жизни, спасибо вам.

...Меркулова расстреляли в один день с Берия; интеллектуал, он вместе со своим соавтором (тоже покойным) написал в июле сорок первого года пьесу «Инженер Сергеев»; поставили в филиале Малого, гнали день и ночь; «товарищ Всеволод Рокк» — таков был его псевдоним — приезжал на репетиции вымотанный до крайности; надо было «*закрывать*» дело командармов Алксниса, Мерецкова, дважды Героя Советского Союза Смушкевича, Рычагова, Штерна; здесь, в театре, отдыхал, расслаблялся, получал «зарядку» творчеством замечательных мастеров русской сцены: героем его пьесы был беспартийный патриот, старый русский интеллигент, начавший борьбу против нацистов, актерам понравился образ, работали самозабвенно.

Мягкий и тактичный, Меркулов советы давал ненавязчиво, интересовался, какие реплики неудобны актерам, здесь же, в зале, вносил поправки золотым пером тяжелого «монблана».

После возвращения в кабинет чувствовал себя помолодевшим: с арестованными, которые пытались отрицать вину, работалось легче; вида пыток он не переносил; когда начинали работать *специалисты*, уходил из камеры; легче всего ему давалась эмоциональная часть, заключительная, когда изувеченного человека надо было приободрить, вдохнуть в него веру, доказать, что признание вины — долг коммуниста, патриота Родины, ведущей борьбу с кровавым агрессором...

Евгения Думбадзе — когда он эмигрировал, поняв, что такое Берия, — убили по приказу давнего «друга и брата» в Париже; а ведь сидели за одной партой в ба-

кинском «Техникуме» — так тогда называли Высшую школу механики и конструкций, — вместе читали Маркса и Ленина; запрещенную литературу приносил Всеволод Меркулов: «Надо учиться владеть толпой; теория даст нам силу, чтобы повести за собой сирых и слабых, нуждающихся в Мессии...»

Лаврентий Берия, присланный на учебу в Баку сухумским меценатом Еркомишвили, держал запрещенную литературу в своей комнате — хватало на то, чтобы жить отдельно, благодетель помогал щедро. Один из старших друзей Берия, безымянный и незаметный, постоянно засиживался за полночь, читая Ленина, Маркса, Жордания, Троцкого, — дядя Авель Енукидзе, подвижник Революции, давал Берия самые интересные брошюры на грузинском языке.

Старший товарищ Берия был сотрудником охранки; используя эту дружбу, жандармы знали все, что происходит в «Техникуме».

Порою «товарищ» подбрасывал юноше деньги: «Лаврентий, запомни — революция против пуританства; ее спутники — поэзия и любовь; потом отдашь червонец, не думай об этом, пустяки, станешь архитектором — озолотишься...»

После Февральской революции, не став сдавать выпускные экзамены, видимо, опасаясь, что разоблачение «старшего товарища» (дурак не поймет, что дружил с осведомителем) может ударить и по нему, Берия сообщает друзьям, что добровольно уходит в армию: вести «пропаганду среди солдат». Он доехал до Ясс, но вернулся в Баку вскоре после победы Октября, когда меньшевики в Грузии провозгласили Республику, а во главе ее стал приятель Сталина — Чхеидзе.

— Я должен внедриться в их партию, — сказал Берия Серго Орджоникидзе, прибывшему тогда в Баку. — Я знаю, как бороться с врагами *изнутри*.

И он получил санкцию на вступление в меньшевистскую партию — чем больше версий и слухов, тем затаеннее правда...

...В Тбилиси он расчетливо *подставился* — намеренно засветил себя, выдавая за агитатора, — и был посажен в тюрьму как *большевик*.

Это снимало с него все подозрения, которые могли возникнуть в Баку, если бы кто-то всерьез занялся материалами охранки; не занялись; это дело профессуры, ученых, а их тогда отринули; впрочем, те и сами отнюдь

не стремились сотрудничать с Лениным, Троцким, Каменевым, Зиновьевым и Луначарским.

За его освобождение боролись — «юноша рискует жизнью»; был депортирован из Грузии, в Баку встретили как героя.

Именно в то время к нему примкнули новые друзья — Гоглидзе, братья Кобуловы, Деканозов. С ними он прошел жизнь, с ними его вели на расстрел, который наблюдал Конев: маршал получил эту привилегию потому, что именно в кабинете Берия был убит его учитель — Блюхер.

Когда в Баку вступили англичане, Меркулова, Багирова и Гоглидзе посадили — были достаточно активны в своей революционной позиции; перестукивались в камерах Баиловской тюрьмы, искали, где «лидер», Лаврентий.

А Лаврентий спокойно пришел в «Техникум» и приступил к сдаче экзаменов на звание «архитектора» — оккупанты его не тронули, потому что *списки* на аресты составляли бывшие офицеры охраны...

Перед тем как в Баку вошла Красная Армия во главе с Кировым и Орджоникидзе, *архивы* спалили; в тот же день Берия сформировал первое Бюро комсомола Азербайджана: Багиров, Думбадзе, старший Кобулов и Деканозов.

(Именно Деканозов был послом Сталина в Берлине; имел встречи с фюрером, Розенбергом, Герингом, Риббентропом и Гессом; всячески крепил «дружество» между «двумя великими народами и идеологиями»; был первым, кто сообщил Гессу, что на партконференции ВКП(б) из состава ЦК выведены Жемчужина и Литвинов — «мы сближаемся и в национальном вопросе; дайте время, у нас не будет принципиальных разногласий».

Когда его вели на расстрел, плакал и терял сознание, молил о пощаде.

Генерал Павел Мешик, которого казнили вместе с ним, плюнул себе под ноги:

— Говно, не позорься!

И — запел «Интернационал». Не все враги — тряпки, умереть достойно — нелегкая штука.)

...Как только Советская власть пришла в Грузию, туда срочно прибыл Сталин; отправился в депо, к рабочим, которые, он был убежден, поддержат его; обратился по-русски; рабочие закричали:

— Говори на нашем языке, ты ж грузин!

— Я говорю на языке русской революции! — отрезал Сталин.

Дружеского собеседования не получилось; Сталин был раздосадован; ночью шестого июля двадцать первого года в ЦК был организован банкет; Буду Мдивани, как герой борьбы против меньшевиков, предложил, чтобы Сталин стал тамадой. Первым зааплодировал Берия, сопровождавший его повсюду.

Сталин словно бы не заметил этого, однако вскоре прислал шифровку из Москвы, предлагая назначить Лаврентия Берия председателем ЧК Грузии.

Серго ответил:

— Рано еще... Пусть поработает в Азербайджане.

Поначалу его назначили шефом отдела безопасности; Берия бросился к Алеше Сванидзе, родственнику Сталина, брату его первой жены...

(Перед расстрелом люди Берия предложили Сванидзе: «Признайся во вредительстве, в этом случае товарищ Сталин обещал помиловать тебя». Сванидзе молча покачал головой. Его расстреляли; выслушав эту историю, Сталин усмехнулся: «Какой гордый, а?»)

Сванидзе позвонил Буду Мдивани и Махарадзе; после их *нажима* Берия прибыл в Баку не только заместителем председателя ЧК, но и начальником отдела «секретных операций» — все архивы теперь были в его руках...

Сделав то, что следовало, собрав наиболее *уникальные* документы — не только о себе самом, понятно, — он был командирован в Грузию; расстрелял благодетеля Еркомишвили — «не мог буржуй помогать революционеру»; провел массовые расстрелы грузинских социал-демократов, стоявших когда-то на меньшевистских позициях, доложил об этом лично Сталину, был назначен начальником Грузинской ЧК и — по представлению Иосифа Виссарионовича — награжден орденом Красного Знамени.

А совершенно необходимым Сталину он сделался в тот день, когда в Сухуми приехал больной Троцкий — зимой двадцать четвертого. Каждый шаг Предреввоенсовета и члена Политбюро немедленно сообщался Сталину; от него и была получена санкция на «прощупывание» (читай — провокационные разговоры) «человека номер два».

Именно Лаврентию Берия и поручил Сталин в двад-

цать девятом негласно наблюдать за выдворением Троцкого в Турцию.

Именно ему Сталин поручил уничтожить старого большевика Алексея Гегечкори — тот отзывался о диктаторе без должного пиетета, в воспоминаниях ничего не написал о «выдающейся роли Кобы», — сфабриковали дело о растрате; Берия приехал к «старшему другу», предложил дилемму: суд или самоубийство — с последующими торжественными похоронами.

Гегечкори был первой жертвой Берия — из числа большевиков-ленинцев.

Тридцать первый год, массовая коллективизация, Гегечкори — народный комиссар земледелия Грузии; «виновник перегибов» назван; наглядный урок Хозяину, как надо страховать возможные поражения в тактике.

Следующим был уничтожен Котэ Цицнадзе — последний из оставшихся в живых друзей Камо, работавший с ним до революции; Берия отправил в Кремль рукопись воспоминаний Котэ о Камо — и в них про Сталина не говорилось ни слова.

Сталин отправил Котэ телеграмму: «Жду в Кремле, подготовил для тебя новую работу. Сердечный привет. Коба».

Котэ выехал в Москву, оттуда был отправлен в ссылку, где и умер.

Это было в 1932 году.

В благодарность за верную службу Сталин назначил своего молодого друга первым секретарем ЦК Компартии Грузии.

Получив от Сталина приказ установить тотальную слежку за народным комиссаром внешней торговли Розенгольцем, которого исподволь готовили на процесс — вместе с Бухариным и Рыковым, — Берия делает это по-своему: он насилует, при помощи двух своих охранников, восемнадцатилетнюю дочь наркома, Лену. Девушка кончила жизнь самоубийством; ее тело выбросили на шоссе, и по ней прокатил «линкольн» — несчастный случай.

У Розенгольца остался сын, маленький еще мальчик, — на нем потом и играли, сломить было нетрудно, трагедия с дочерью постоянно рвала сердце...

В дни, когда решалась судьба Серго, Берия приехал за его старшим братом — Папули Орджоникидзе. Старого большевика пытали в кабинете Берия, здесь же и застрелили; перед смертью Папули выхаркнул кровь на роскошный том «К истории большевистских организаций

Закавказья» — шедевр Берия как литератора и историографа.

...И тем не менее тучи над его головой сгущались; после того, как Сталин вписал в показания героя гражданской войны Серебрякова: «шпионы готовили террористический акт против выдающегося ленинца товарища Берия», народный комиссар внутренних дел, «совесть партии» Николай Иванович Ежов понял: вот он, конкурент!

И — отдал приказ на арест Берия.

Будучи от природы человеком узкого кругозора, истинный выдвиженец Сталина, в партию вступил после Октября, опыта борьбы не имел, — пытки ленинцев в подвалах не в счет, садистские развлечения, а не опыт, — Ежов отправил ордер на арест наркому внутренних дел Грузии Гоглидзе.

В тот же час Берия, меняя маршруты своего поезда, составленного из четырех «пульманов», выехал в Баку, оттуда — потаенными ветками — рванул к Москве: зеленый свет дал Каганович: не мог простить Ежову убийства братьев, боялся за себя, понимая, что на очереди все те, кто знал Сталина до Революции.

(Об одном из героев моего романа «Бриллианты для диктатуры пролетариата» — Савельеве-Шелехесе Лазарь Моисеевич заметил, странно усмехнувшись· «Чистый был человек, тоже попал в *нашу мясорубку*, мог бы работать и работать, настоящий большевик».

Сказав про «мясорубку», Каганович показал своими большими руками, как вертелись эти жернова, в которых хрустко перерезались шейные позвонки братьев, жен, ближайших друзей, героев страны, подвижников революции; сказав так, он, вздохнув, *усмехнулся*, хотел что-то добавить, но — внезапно замкнулся.)

В Москву Берия приехал в час ночи, подгадал, что Сталин еще в Кремле — текущую работу закончил, готовится к завтрашнему дню; Берия запомнил, как в Тбилиси, в двадцатых, в день их первой встречи, проводив его в особняк, поинтересовался, когда делать завтрак и что приготовить для работы, Сталин усмехнулся: «Бог даст день, Бог даст пищу... Тут не работать надо, а пахать... Всю Грузию надо — после меньшевиков с их паршивой независимостью — перепахивать: с потом и кровью... Ишь, почему я не говорю с ними по-грузински?! — вдруг обратился он к какому-то невидимому собеседнику. — Пусть сами учат русский! Не захотят — заставим; отка-

жутся — перестреляем; насилие в определенных ситуациях — тоже путь к счастью...»

Из Москвы Берия практически не уезжал — был назначен заместителем Ежова, постепенно перевел сюда свою гвардию — Меркулова, Деканозова, Гоглидзе, братьев Кобуловых, — с ними как за каменной стеной; расстрел Ежова провел спокойно: *малыш* метался по камере, молил о встрече с «дорогим Иосифом Виссарионовичем», был быстр, как зверь, пули, казалось, его не брали, хотя «сталинка» сделалась бурой и *ощутимо* теплой от крови...

Провел несколько показательных процессов против ежовцев, расстрелял «врагов народа, нарушавших социалистическую законность, поднимавших руку на лучших ленинцев», выпустил из тюрем около семи тысяч человек; в стране пошли разговоры: «что значит пришел человек Сталина! С ужасом тридцать седьмого покончено раз и навсегда, правда восторжествовала!»

Никто, правда, не знал, что накануне его назначения наркомом расстрельщики работали днем и ночью, *подчищали* камеры, уничтожая тех, кто не станет молчать, когда выпустят..

Затем Берия перенес свою деятельность за рубеж: организовал убийство Троцкого, вызвал из Германии всех советских разведчиков и расстрелял их в подвале — даже не допросив: надо было крепить дружество с Гитлером не словом, но *делом*; запретил Шандору Родо все контакты с его друзьями-антифашистами в Европе.

(Шандор Радо, руководитель советской разведывательной группы в Швейцарии, передававший в Москву, Берия, сообщения о том, что говорил Гитлер на совещаниях в Ставке через час после того, как Кейтель объявлял заседание закрытым, был арестован на московском аэродроме.

— Я ведь в «шарашке» сидел, — рассказывал мне Радо, — Солженицын человек весьма талантливый, но его же среди нас не было, в «шарашке» держали только членов партии, ученых с мировыми именами. Берия к нам приезжал довольно часто, кое с кем из зеков здоровался за руку, интересовался работой, особенно *слушающей* техникой, так что наивные включения ваших свободолюбцев, пускавших на всю мощь радио, чтоб их *не записали*, уже тогда были фикцией: мы научились отделять шепот говоривших крамолу от музыки или голосов дикторов... Берия высоко оценил нашу работу — прибавил

питание, приказал продавать не только маргарин, но и сливочное масло.)

Отправил послом к Риббентропу своего старого и верного друга Деканозова; немедленно сажал тех, кто осмеливался говорить о возможном нападении нацистов: «Я не разрешу травмировать Хозяина паникерскими разговорами маловеров!»

Именно он в ночь на двадцать третье июня арестовал военных, которые должны быть объявлены виновниками нашего отступления, — ими оказались как раз те, кто бил тревогу по поводу неминуемости агрессии: Рычагов, Смушкевич, Штерн, Мерецков.

Именно он — в конце сороковых, — чувствуя, что Сталин *отодвигает* его от *органов*, наладил свою личную слежку за каждым шагом Хозяина: Саша Накашидзе, работавшая в доме генералиссимуса, сообщала ему о том, когда, кто и сколько раз звонил Хозяину, о чем с ним говорил, кого он приглашал, сколько времени проводил за столом с гостями, как на кого глядел, кого чем угощал.

Поняв, что с ним может произойти то же, что случилось с Вознесенским и Кузнецовым, что готовилось против Молотова, Ворошилова (английский шпион) и Микояна, внес в «дело врачей» свой *поворот*: его агенты в Кремлевской больнице *отменили* все те лекарства, к которым привык организм генералиссимуса за тридцать лет. Маленького, одинокого рябого старика, полного новых замыслов — процессы в России, продолжение чисток в Праге, Варшаве, Софии, Будапеште, Берлине, Бухаресте, Тиране, начало *нового* курса в Пекине, устранение Тито, — начали продуманно и методично убивать лучшей фармакологией, привезенной из-за рубежа «для укрепления здоровья самого великого человека нашей эры».

(В свободное от работы время Берия отправлял своего порученца полковника Саркисова на «вольный поиск»: тот привозил ему девушек с улиц или же сановных матрон; Берия был галантен, обаятелен, бесконечно тактичен и добр; с актрисами «расплачивался» Сталинскими премиями.

Главный хирург Советской Армии Александр Александрович Вишневский рассказывал мне, что в камере, на шестой день после ареста, Берия начал онанировать; на замечание охраны ответил:

— Это потребность организма, я ничего не могу с собой поделать... Насколько я помню, правилами внутрен-

него распорядка в наших тюрьмах это не запрещается...)

Когда Берия сообщили с Ближней дачи, что Сталин не откликается на звонки, он приехал туда, сострадающе посмотрел на растерянных Молотова, Кагановича, Хрущева и Булганина, обернулся к охранникам:

— Ломайте дверь!

И в первых же его словах, когда он увидел старика, лежавшего на ковре, было ликование:

— Тиран пал!

...После ареста Берия был, конечно же, объявлен английским и югославским шпионом, диверсантом, агентом Тито.

Смешно, понятно, со сталинизмом бороться сталинскими методами: через два года Хрущев, Булганин и Микоян отправились в Белград, к товарищу Тито, — извиняться за произвол генералиссимуса; о «шпионе» Берия не вспоминали, полагая, что люди уже все забыли.

Народ все помнит, только говорит редко, отучили его говорить, зато предметно объяснили, как следует таиться...

О чем же говорит судьба Берия?

Во-первых, о том, что принцип подбора кадров «под себя» неминуемо кончается трагедией. *Гарантия* тому — капризная секретность выбора, да и *самодержавность* самого посыла.

Во-вторых. Если по-прежнему в наших учреждениях останутся отделы кадров, возможен приход новых берия и абакумовых, ибо в задачу нынешних кадровиков не вменено искать по стране *Личностей*, но лишь проверять надежность *анкет* тех, кто им *спущен* сверху: естественный отбор талантов подменяется искусственным созданием покорной номенклатуры.

Традиция показушной «личной преданности», столь характерная для нашей многовековой истории, обходится в дискуссиях о будущем стыдливым молчанием: видимо, по сию пору не хотят *задевать* традиции, а они ведь разные, традиции-то...

В-третьих. Если мы не научимся участвовать в *открытой* конкуренции политиков, выраженной платформой, встречами с избирателями — не для бурных оваций, а для деловых дискуссий, следствием которых будет не арест, но корректировка *общей* линии, — традиция посмертных реабилитаций станет нашей самой устойчивой внутриполитической традицией.

В-четвертых. Если новые общественные организа-

ции — а они неминуемо родятся! — не обретут конституционных форм и гарантий, права на выдвижение собственных кандидатов в депутаты, права на издание своих бюллетеней, дискуссионных листков, а еще лучше газет, программ на ТВ и радио, боюсь, что новые *процессы*, типа «каменевского» или «бухаринского», неминуемы.

В-пятых. До тех пор, пока живет культивировавшаяся Сталиным зависть к Личности, ставка на мнение безликой, неперсонифицированной *массы*, заранее спланированное и проработанное *наверху* право на подсматривание в замочную скважину, отработанный институт доносов, трудно надеяться на стабильность.

В-шестых. Ленин однажды обмолвился, что нэп есть одна из форм борьбы с советской бюрократией. Вне кооперации нэп немыслим; много лет «нэп» считался ругательством; вот она — подмена понятий! Новая экономическая политика — какой же это позор?!

Диктатуре личности страшны сытые люди с чувством собственного достоинства — их не так просто обратить в рабство.

Нынешние попытки душить кооперативное движение (т. е. раскрепощение Человека) угодны той бюрократии, которая не умеет жить без Берия, «верного ученика и соратника» Сталина, — без управителя с хлыстом в руке.

Требуя «железного порядка», сталинисты — в силу своей ограниченности — не понимают, что по логике их же кумира именно их первыми бросят в подвал, а после процесса, где они признаются в участии в любом заговоре, расстреляют.

Шахматы тренируют ум; перестановка офицеров сулит выигрыш позиции, правильная дислокация туры обеспечивает безопасность короля на поле.

Тем не менее проекция шахмат на политику трагична и рискованна: не только каждый солдат, но и любой офицер сам мечтает стать королем.

Побеждает тот лидер, который имеет право свободного выбора среди «звезд» — компетентности, достоинства, мужества.

Его друг тот, кто возражает; его враг тот, кто молчит. Значит, он ждет.

Чего же?!

СОДЕРЖАНИЕ

Пересечения 5
Тайна Кутузовского проспекта 73
Ненаписанные романы 375

СЕМЕНОВ Ю.

Собрание сочинений: В 8-и томах. Т. 8. Повести и ненаписанные романы. — М.: МШК МАДПР, ДЭМ, 1994. 576 с.
ISBN 5—85207—041—6

В 8-й том вошли повести «Пересечения», «Тайна Кутузовского проспекта» и «Ненаписанные романы».

Для широкого круга читателей.

С $\frac{4702010201—006}{МШК\ МАДПР,\ ДЭМ—1994}$ Без объявл. ББК 84.3Р7

Литературно-художественное издание

Юлиан Семенович СЕМЕНОВ

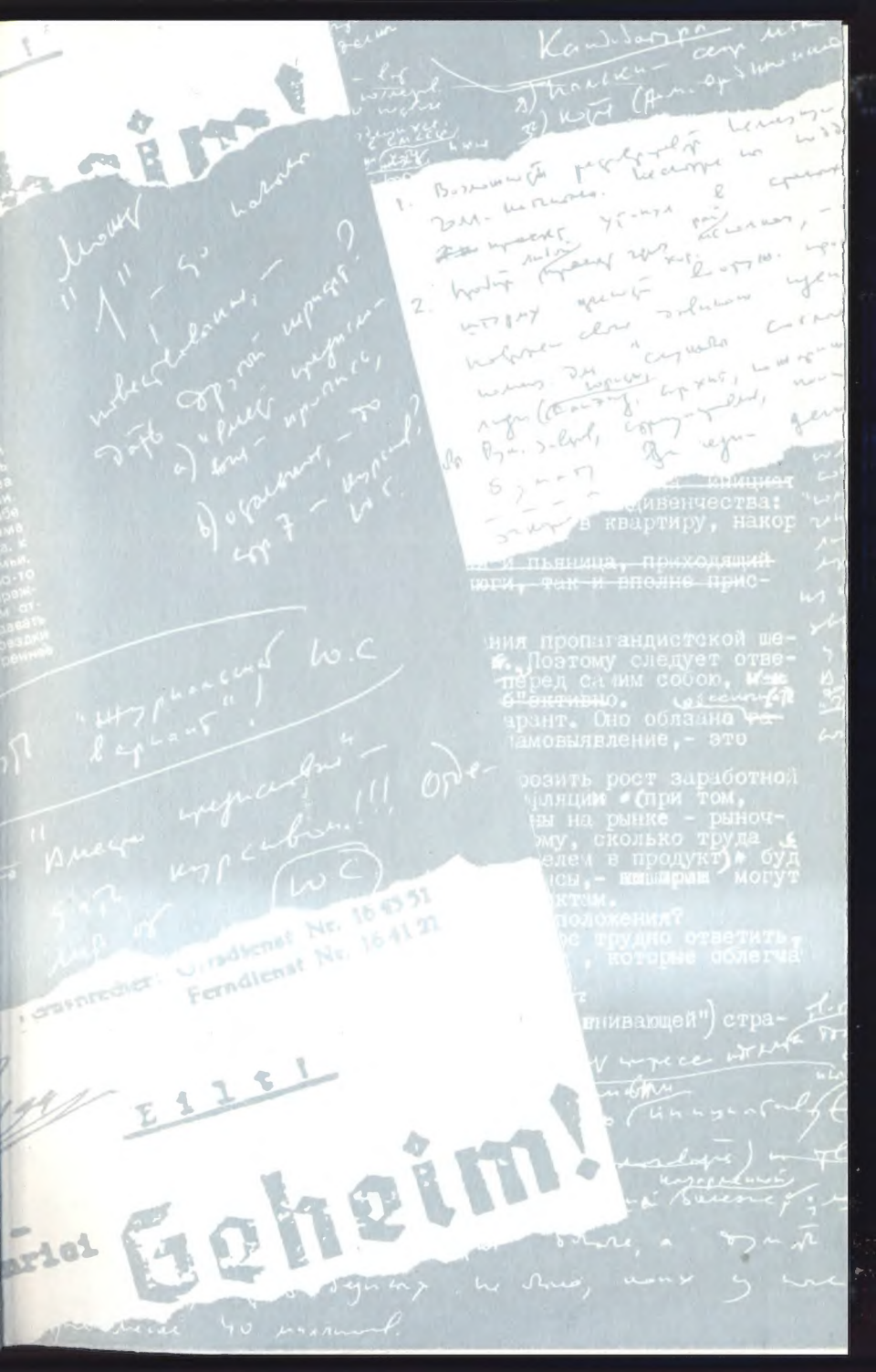
Собрание сочинений в восьми томах
Том восьмой. Повести и ненаписанные романы.

Редактор *И. В. Стабникова*
Оформление художников *В. М. Белякова, В. С. Помочилина, М. Н. Шестопала*
Художественно-технический редактор *Т. К. Койранская*
Корректоры *Т. П. Поленова, А. Л. Курочкина*

н/к

ЛР № 090028 от 01.11.91 Сдано в набор 10.01.92. Подписано в печать 20.07.94. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага типограф. № 2. Гарнитура Литературная. Печать высокая. Усл. печ. л. 30,24. Усл. кр.-отт. 30,87 Уч.-изд. л. 33,1. Тираж 60 000 экз. Заказ № 668. С-11.

СП «ДЭМ» 117049, Москва, Крымский вал, 9.
АООТ «Ярославский полиграфкомбинат».
150049, г. Ярославль, ул. Свободы, 97


Eilt!
Geheim!